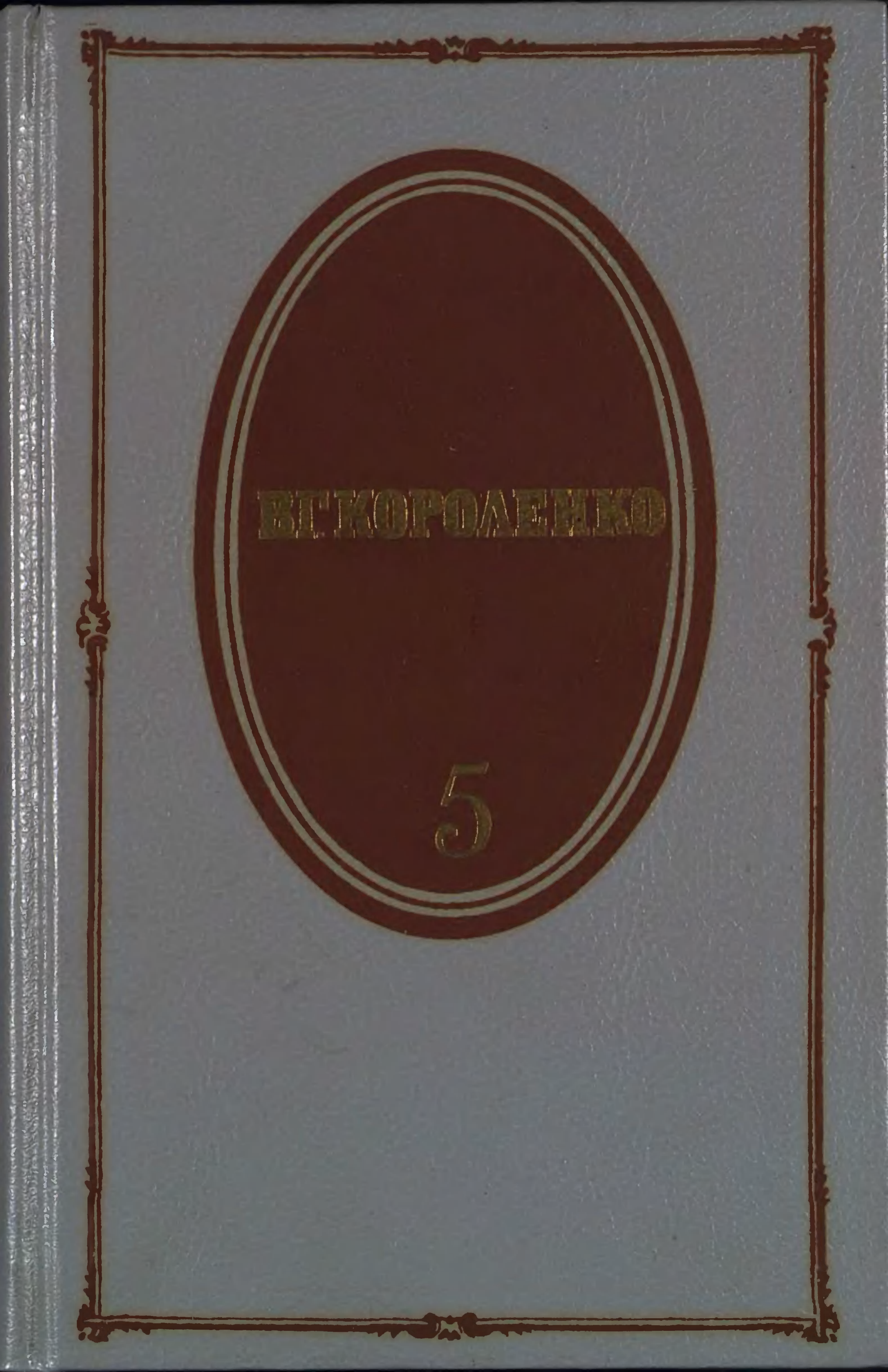

В.Г.КОРОЛЕНКО
5



В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

Г. А. БЯЛЫЙ

Г. В. ИВАНОВ

В. А. ТУНИМАНОВ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1991

В.Г. КОРОЛЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ПЯТЫЙ



ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

КНИГИ
ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1991

ББК 84.Р1
К 68

Составление, подготовка текста,
примечания

Б. Аверина

Редактор

Т. Шмакова

Оформление художника

И. Кулика

К $\frac{4702010101\text{-}056}{028(01)\text{-}91}$ подписное

ISBN 5-280-01351-X (Т. 5)
ISBN 5-280-00850-8

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лесная глушь

I

В СЕМЬЕ ГАВРИ БИСЕРОВА

В предыдущем томе я уже отмечал одну черту моего современника, которая, вероятно, и без моего подчеркивания бросилась в глаза читателю. Черта эта, думаю, была присуща не одному мне, а всему моему поколению: мы создавали предвзятые общие представления, сквозь призму которых рассматривали действительность. У меня, может быть, эта черта сказывалась резче, чем у других, вследствие сильно развитого воображения и раннего чтения.

В этот период перед нами стоял такой общий и загадочный образ народа — «сфинкс», о котором в одном из стихотворений в прозе говорил Тургенев. Он манил воображение, мы стремились разгадать его. Я говорил во втором томе, как он представлялся мне во время первой моей ссылки, на лесных дорогах вологодского тракта: благодушный богатырь, сильный и кроткий, но несколько золотушного типа и со следами изнурения. Здесь, среди этих лесистых холмов, то освещенных солнцем, то затянутых туманами, после первой встречи с угрюмыми бисеровцами этот облик чуть-чуть изменился. Над бесконечными увалами лесистых холмов мне рисовался теперь первобытный облик славянина, величавый и наивный, еще не отрешившийся от общения с силами природы, видящий живые существа в снежных вихрях.

Эта романтическая призма стояла постоянно между мной и моими непосредственными впечатлениями: и во время моего столкновения с бисеровцами в перевозной избушке, и когда жена десятского угощала меня заодно своим хлебом и попреками, и в то время, когда я глядел на жалкий дымок «ворьского починка» над лесом. Ни на одно из этих впечатлений я не воздействовал непосредственно и цельно. Правда, когда в перевозной из-

бушке бисеровцы обступили меня с ругательствами и угрозами, я резко поднялся и, стукнув кулаком по своему ящику, заставил их шарахнуться от меня в испуге. Это было похоже на непосредственную личную вспышку. Но только похоже. И тогда, собственно, гнева у меня не было. Что-то в глубине души говорило мне, что эти люди имеют право относиться ко мне с предубеждением: к ним присылают отбросы городов, и почему же, в самом деле, они обязаны с первого же взгляда отличать меня от этих отбросов. То же я думал о жене десятского, когда, по первому побуждению, швырнул ей пятиалтынный за ее угощение с попреками. А кроткая робость этих людей передо мною и быстрота примирения трогала и подкупала меня, как трогало и отношение десятничихи к семье «ворьского починочка». И над всеми этими эпизодами все носился в туманных чертах тот же воображаемый общий облик народа.

Он меня сопровождал вплоть до починка Гаври Бисерова и даже вошел со мною в его избу... Я все еще чувствовал «розовый туман», странно обволакивавший суровые впечатления. Сначала, когда Гавря Бисеров держал меня довольно долго в неизвестности — примет или не примет,— то его брюзгливый и дребезжащий голос, отзывавшийся с полатей, казался мне довольно неприятным. Но когда в заключение Гавря сошел с полатей и, величаво протянув мне руку, произнес свою приветственную речь,— то его невзрачная фигура сразу выросла в моих глазах и приобщилась к общему облику, который все это время стоял перед моим умственным взором над этими темными лесами, снегами и перелесками. И я засыпал в эту ночь в настроении сугубо романтическом: вот я наконец на самом дне народной жизни, еще не тронутой одностороннею цивилизацией... И если есть в ней драгоценная жемчужина «народной правды», то... она именно здесь, среди этих сумрачно тихих лесов... В моем воображении какими-то туманными образами проплывали бредущие над лесами лешаки, въявь ходящие по этому новому для меня свету, простодушный Фрол-Лавёр, нанявшийся в пастухи к этому лесному крестьянскому миру, который ему за это изладит крышу, «поп-черемиця», кадящий на диковинную лесину... И над всем этим звучал мне сквозь сон величаво-патриархальный привет Гаври...

Кажется, что это было уже последнее романтическое облако розового тумана. С следующего утра начинались трезвые будни...

Проснулся я с какой-то разнеженностью в душе и не сразу мог отдать себе отчет в своем положении. Было темно. Я лежал на узкой холодной лавке под черной от копоти бревенчатой стеной. Стены и потолок уходили куда-то в мутную высь. Надо мной, светя мне в лицо березовой лучиной, стояла странная фигура в овчинном полушубке мехом вверх и в такой же меховой шапке. Незнакомец бесцеремонно поднес лучину к самому моему лицу, и мне при этом свете виднелись лишь два маленьких живых глаза на рябом лице, сверкавшие почти звериным любопытством. В это время дверь открылась и, пахнув холодом, вошла старшая хозяйка, стряхивая снег.

— Чё-кося это?.. Что за мужичок у нас? — спросил незнакомец, отводя лучину от моего лица.

— Не трог,— ответила баба.— Ссыльной это новой. Староста даве привез...

— Эк-ка беда, эк-ка беда,— сказал он слегка гнусавым голосом.— Пошто принял старик. Гнать бы...

— Молчи инó... Платить, слышь, хочет... три рубля... Мужик, староста баял, просужий, чеботнóй, слышь... Принес ли чё? — спросила она вдруг с некоторым беспокойством.— Три дня полевал ведь...

— Ничё не принес...— ответил молодой мужик неохотно, отвязывая пустую сумку и кидая ее на лавку.— Эк-ка беда, эк-ка беда... Заголодал я вовсе... ем бы я чё-кося, мамка.

Голос у него был гнусавый и жалобливый, как у капризного мальчишки.

— Погоди инó... Вот затопляю еще...

И, взяв в руки палку, она постучала по брусу полатей.

— Слезайте, мужички, слезайте инó... Затопляю я, затопляю!..

На полатях послышалась возня и движение...

— Где у меня лапоть... Мамка-а-а, а, мамк... Петрован, че-ерт,— говорил мальчишеский голос.

— Ищи сам... Кто тебе, лешаку, искать будет...— ответил другой.

— А вот я бич возьму,— отозвался дребезжащий и злой голос отца.— Как зачну хлестать по шарам

(глазам), у меня живо встанете... Слышите: мать затопляет...

С полатей слышалось хныканье и ленивая возня... Между тем хозяйка сунула в печку пук зажженной лучины, и оттуда вскоре повалил дым прямо в избу.

В то же время она открыла дверь в сени, и оттуда хлынули клубы холодного пара, обдавая меня на моей лавке. Я торопливо докончил свое одевание. Только теперь я понял предупреждение десятского еще по дороге, что у Гаври «изба черная»... Печной трубы не было. В жерло огромной печи, которая была завалена даже не дровами в нашем смысле, а прямо березовыми плахами,— пыхал дым и пламя. Хозяйка, охваченная темными клубами, пронизанными красными отблесками пламени, казалось, стоит в аду. С другой стороны от двери валил холодный пар, взбивая дым кверху. Между этими двумя течениями началась борьба, и вскоре они поделили между собой избу: холод стал внизу, дым поднялся кверху, до уровня человеческого роста и стоял там, точно опрокинутое и волнующееся море.

— Иди инó к нам, Володимер,— приветливо сказала хозяйка, видя, что я оглядываюсь с недоумением.— Чуднó тебе, видно, не в привычку... Подь к печи, здеся тепляе...

У устья печи собралась вся семья. Здесь действительно было теплее, но стоять приходилось наклонив головы.

По ногам тянуло холодным ветром, дым пыхал вперед и потом подымался кверху... Самого хозяина у печи не было.

— Старик заснул на печи... Не угорел бы,— сказал я с некоторым испугом.

Хозяйка засмеялась.

— Ничё ему не делатся... Привычной!..

— Привычной я,— отозвался с печи, которая была вся в дыму, веселый голос Гаври.— Другие угорают, а меня угар неймет...

И он спокойно оставался на печи. Через некоторое время печь разгорелась, и от нее установилась тяга в волоковое оконце, прорезанное в стене над полатями. Дымное море вверху стало редеть. Показались при начинавшемся свете полати, полки, потолок... Дым тянулся только длинной струей над полатями, потом и он исчез. Дверь закрыли...

Так начался для меня день в «черной» Гавриной избе.

Я с любопытством оглядел при свете дня и моих хозяев, и обстановку. Изба была просторная. Полати начинались выше человеческого роста, и на них можно было стоять взрослому человеку не сгибаясь. Огромная печь доходила до середины избы. Рядом виднелась дверка, сквозь которую открывался ход по лестнице вниз: это так называемый голбец — погреб под избой, где хранились припасы. Потолок и стены, особенно вверху, были сплошь покрыты густым слоем сажи, которая висела хлопьями, как черный иней. Всюду — по столу, по лавкам, по полкам, стенам и потолку ползали тараканы в ужасающем количестве. Тут были тараканы солидного возраста и мелюзга. Вчера, разбирая свои вещи, я поставил на полку жестянку с чаем. Когда утром я раскрыл ее, то заметил, что чаинки шевелятся, как живые: это тараканья мелкота ухитрилась забраться сквозь неплотно прикрывавшуюся крышку.

Когда Гавря сошел вниз с печи и умылся, размазывая по лицу сажу, я с любопытством взглянул на его лицо, ожидая уловить на нем то, что вчера так импонировало мне во время его складной речи. Но я напрасно искал этой черты: ничего величавого не было ни в его лице, ни в фигуре. Это был старик лет пятидесяти с небольшим, небольшого роста, с впалой грудью, с заметной плешью на голове и с редкой черной бороденкой. Черты лица были незначительны. Маленькие глаза блистали раздражительным нездоровым блеском, голос был дребезжащий и жесткий.

Молодой человек, который разбудил меня утром, был его большак, которого по привычке к уменьшительным именам звали Павелком. Он был выше отца, но сложение у него было нездоровое, а лицо все изрыто оспой. Маленькие, как и у отца, черные глазки сверкали диким огоньком. Он был женат, и молодуха была на сносях.

В семье сразу же произошла небольшая драма: Павелко три дня бродил по лесу, «полевал» — по-местному, но не принес ничего. Вчера в лесу, когда я проезжал с десятским, тетерева то и дело срывались из-под ног нашей лошади и бродили невдалеке от дороги. Снег был весь усеян птичьими следами. Бабы

смотрели на Павла с разочарованием, а Гавря раздраженно ругался.

— Не́годь ты, не́годь... Гли-кося, Володимер: три дня шатался по лесу, а не принес ничего... Большой вырос, ума не вынес. Не стану и оружья́ давать дураку...

— Шел бы сам, может, гляди, принес бы...— дерзко ответил сын.

Гавря вскочил с лавки.

— Ты как отцу (он говорил: отчю) отвечаешь, подлечь! Вот возьму вожжи...

— Взял один такой-то,— ответил сын с пренебрежением.

Гавря стоял посередине избы, сложив на груди руки и сверкая глазами. Его, видимо, оскорбляло, что сын отвечает так дерзко в присутствии нового человека. Сын был готов дать отпор.

— Ин полно-те вам, мужички,— примирительно сказала жена Гаври Лукерья.— Собирай-кось на стол, Марьюшка...

Беременная молодуха стала покрывать стол. Лукерья была пожилая женщина с спокойным и умным лицом, на котором виднелось особое выражение. Точно ей много пришлось вынести в жизни, она пережила это, обдумала и обдуманное уложила глубоко в душе. Молодуха была довольно красива, но у нее был изнуренный и усталый вид. Ей приходилось много работать, с раннего утра она уходила «поитьця» и «кормитьця», то есть гонять скотину на водопой и давать ей корм. Мужики ни в чем не помогали бабам, а за ними и ребята ленились и не слушались. Еще старший, Петрован, похожий на мать, охотнее исполнял ее распоряжения, а младший, Андрийко, лицом весь в отца, перекорялся и шел только после отцовских угроз. В усталых глазах молодицы только еще начинало откладываться то выражение, с которым Лукерья давно свыклась. С свекровью сноха жила согласно, видимо, льнула к ней, как бы ища в ней опору, и исполняла ее приказания, махнув рукой на мужиков...

Впоследствии соседи не раз говорили мне, что мужики в Гавриной семье — «непросужие», все у них не как у людей, и, кабы не Лукерья,— все пошло бы врозь. Изба была большая, но плохо проконопаченная, в стены всюду дуло. В других избах давно уже были печи «по-белому», то есть с трубами. Гавря продолжал доказывать, что в черной «много тепляе», на что некото-

рые соседи ухмылялись... Гавря жаловался, что у него «не здымается рука», и на этом основании больше посылал на работу сыновей, чем ходил сам. Понятно, что сыновья, лишенные рабочего примера, тоже ленились, отлынивали и хныкали. Но это не мешало Гавре поддерживать свой авторитет и бахвалиться:

— А я, слышь-ко, а ты, Володимер, бабу свою четыре раза через брус кидал, покуль выучил порядкам-те.

И он самодовольно ухмылялся.

«Через брус» — это значило, что он кидал Лукерью с высоких полатей на пол. Я с недоумением взглянул на Лукерью. Она не возражала, и на ее лице я заметил опять выражение давно пережитого горестного опыта. Я подумал о том, сколько страданий и сколько издевательств этого пустого мужичонка ей пришлось вынести, пока в ее умных глазах отлагалось это выражение, и во мне закипало негодование. Я как-то и не заметил, как от меня ушло воспоминание о Гавре моего первого вечера, и уже неделя-две будней возбуждали во мне только горькие и раздраженные мысли. И я стал горячо отстаивать в семье Гаври «женскую равноправность», не заметив, что мне приходится приводить примеры из культурной жизни городов... Гавря и Павелко слушали с насмешливыми улыбками. Молодуха, видимо, стала откликаться на мои речи и порой раздраженно отвечала мужу... Мне бы, кажется, хотелось, чтобы бабы в семье Гаври, обиженные и забитые, «сознали свое достоинство» и подняли знамя восстания. В случаях, когда при мне разыгрывалась какая-нибудь новая сцена мужицкого бахвальства над бабами, я заступался за баб и принимался доказывать Гавре и Павелку, что бабы у них умнее и лучше их самих... Это порождало некоторое взаимное раздражение, и в конце концов случаи мужицкого самодурства становились только чаще.

Впрочем, кончилось это неожиданно для меня. Однажды мужики уехали на весь вечер бражничать. Я знал, что они вернутся пьяные и задорные и станут показывать бабам свой пьяный нрав. И я готовился к защите. На заре я вдруг проснулся, чувствуя, что на лавку, где я спал, присел кто-то и провел рукой по моему лицу. Рука была мозолистая, но, очевидно, женская.

— Кто тут? — спросил я.

— Нишкни, Володимер,— послышался тихий голос Лукерьи.— Рано еще, чуть светат. Молодиця ушла по-

итьця, мужики еще не вернулись, парнишки дрыхнут... Хочу я побаять с тобой.

Она смолкла и призадумалась. Потом заговорила опять:

— Вот о чем я с тобою побаять хочу... Заступаешься ты за нас, спасибо тебе... Ну только брось ты это, Володимирушко.

— Почему же бросить? Ведь это все правда.

— Верно, чё и говорить. Все правда, много нашего бабьего горя, что море-киян... Ни словами не оказать, ни слезьми не излить... Ну только... не надо этого...

— Чего же не надо?..

— Смешицю не делай в моем житьишке... Верно он тебе баял: четыре раза через брус кидал, да еще беременную... Молода была — руки на себя наложить хотела. Теперь прошло: улеглось, уладилось житьишко мое. Сына, вишь, женила... Теперь мне надо молодицю приучать. Видно, господь велел нам терпеть. Не поможешь ты, Володимер, тому делу.

На полатях кто-то завозился. По лестнице со двора тяжело подымалась молодица. Лукерья наклонилась ко мне и торопливо зашептала:

— Ну вот... Слезно прошу тебя, Володимер. Перестань, не делай смешицю.

Она ушла вздувать лучину, а я лежал на своем жестком и холодном ложе, глубоко взволнованный. Я понял, что эта умная и терпеливая баба рассуждает умнее меня. Чего я, в самом деле, добьюсь своим вмешательством? Жизнь в этой избушке, затерянной среди глухих лесов, превратится в ад. Я помешаю Лукерье ввести молодицу в ее колею, а сам, вероятно, скоро снимусь отсюда и беззаботно перелечу в другое место... Нет, очевидно, лучше, чтобы Лукерья понемногу передала свой горестный опыт снохе, тем более что той при ней все-таки легче...

И я решил послушаться, «не делать смешицю», сдержать свое сердце и свои взгляды...

С этих пор сразу всем стало легче. Начинавшаяся распря прекратилась. Мое воздержание стало оказывать неожиданное действие. Порой кто-нибудь из них — Гавря или Павелко — опять позволял себе грубую выходку и при этом задорно взглядывал на меня. Я молчал и продолжал свою работу. Может быть, мое молчание их не обманывало, но оно их озадачивало

и сбивало с толку... Я «не делал смешицю», и глаза Лукерьи останавливались на мне с благодарностью...

II

«КРАЙ СВЕТА ЖИВУТ, ПОД НЕБО, СУГОРБИВШИСЬ, ХОДЯТ»

Выйдя на крыльцо на помосте Гавриной избы, я видел снега, перелески и дальние леса. Никаких признаков деревни или поселка. Вблизи протекала замерзшая речка. Мне сказали, что это Старица, то есть старое русло Камы, которая здесь роется среди болот, песков и лесов. За нею виднелись расчищенные поляны. Верстах в полуторах стояла густая стена соснового бора. Это уже за Камой. В той стороне вились два дымка: тут жили два «жителя». Одного из них, помню, звали Васькой Филенком. Они поселились у самой Камы. Кое-где еще порой из-за лесов подымались струйки дыма. Над той же Старицей, что и Гавря, верстах в полуторах или ближе был еще починок. Дальше за лесами стоял не видный от нас починок Микешки, с которым я вскоре подружился... Еще далее, верстах в трех по Каме, был починок старосты. Около него, поблизости, еще два-три дома,— а там опять версты три до следующего жилья. Так, на расстоянии десяти — пятнадцати верст по Каме и Старице были разбросаны отдельные дворы этих лесных жителей.

Во всем — и в природе, и среди людей и их поселений — чувствовалось что-то незаконченное, недовершенное. В какую-то седую старь предки бисеровцев пришли откуда-то издалека и осели на пустых и глухих землях, среди вотяков. В их говоре, сильно смягченном и ударявшем на *о*, чувствовалось что-то новгородское. Мне говорили впоследствии, что в Вятской губернии заметны следы новгородских поселений. Может быть, еще ушкуйники заходили сюда, приводя за собой толпы поселенцев, уходивших от московских порядков и тесноты. Они приходили и оседали в лесах. Когда первоначальные поселения разрастались в села и деревни, то часть жителей опять снимались и уходили дальше в леса, расчищали их и ставили починки. Жили дико, но свободно.

— Теперь что,— говорила мне Лукерья,— ноне и мы по-людски живем... А наши старики вспоминают

такое времечко: дочь выйдет замуж в чужи люди... Отец с матерью захотят навестить. Садятся в ладью, да свою квашонку с заведенным тестом туда же ставят. Со своим хлебом, слышь, и в гости ездили...

Не знаю, какие изменения внесло время, прошедшее с тех пор, как я оставил Починки. Но тогда это была страшная глушь и дичь. Люди жили точно несколько столетий назад. О современных общественных отношениях не имели ни малейшего понятия... Когда я уже обжился в Починках и починовцы признали во мне грамотея, то однажды один абориген принес ко мне свое недоумение. К нему придирается «полесовщик» невесть с чего. Из его сбивчивого рассказа я наконец понял, в чем было дело: он срубил часть казенного леса, на пнях положил кучки мха и сжег его. Это по местным обычаям значило, что он занял это место под заимку. Так это и знали соседи. А полесовщик не признает старинного обычая и требует «каку-то, слышь, бумагу»... Кончилось это, кажется, полюбовной сделкой.

Когда впоследствии ко мне стали приходить ссыльные-ходоки и вели разговоры о своих делах и земельных тяжбах с казной или помещиками, то все эти разговоры были починовцам чужды и непонятны. Гавря имел претензию на некоторые познания о том, как люди живут «в прочих сторонах». Он знал даже, что народ там бедствует и жалуется, но объяснял это по-своему. Земля в прочих сторонах «разделена подесятинно». А значит это вот что: выезжай в поле и становись поперек с сохой и лошадью. Только и твоей земли. Правда, в длину паши сколько хочешь, хоть до самого неба... Да неудобно, узко. Это и называется подесятинно. Кто ввел такие порядки, какой в них смысл — это починовца не касалось и не интересовало.

— Мы край света живем, под небо, сугорбившись, ходим,— улыбаясь, говорил мне балагур Гавря.— Про нас это в прочих местах бают, будто бабы у нас белье полощут, вальки на небо кладут...

И действительно, впоследствии мне довелось изъездить много русского света. Побывал я и в дальней Сибири, но такой глуши не видывал. Между прочим, телег в Починках не знают за полным отсутствием летних проезжих дорог. Если уж надо ехать или перевезти «лопоть» (так починовцы называют всякие вещи, могущие требовать перевозки), то лошадь запрягают

в «лодью» и волокут ее до реки или до Старицы. По реке плывут сколько возможно, отпустив свою лошадь, и, когда надо — ловят в лесу любую лошадь и едут на ней до следующего перевоза.

Понятно, что ввиду таких сообщений начальство не беспокоит починцев своими посещениями. Исправника Починки не видали с самого сотворения мира. Становой когда-то побывал, кажется, в Бисерове. Один раз какая-то усердная земская фельдшерица доезжала до самых Починок во время какой-то эпидемии, но, по-видимому, испугалась этой глуши и уехала восвояси, оставив где-то у мужика аптечку и удивленные рассказы бисеровцев о невиданном начальстве — бабе.

Благодаря такому счастливому положению административное воздействие здесь весьма ограничено. Через некоторое время после своего приезда я узнал от «волостного посылки», что бисеровцы, собравшись скопом, отбили весь скот, захваченный урядником, сельской полицией и прасолами, и никаких последствий этот «бунт» не имел. Это все-таки в Бисерове. А в Починках Гаврин отец, которому выпал черед идти в военную службу, просто «отбегался от нее». Как только наезжала в Бисерово комиссия, «дружки» извещали об этом починовцев, те брали ружья и лыжи и уходили в леса. А оттуда спокойно выходили опять, когда раскаты начальственной грозы затихали в отдалении.

У починовцев почти не было огородов. Однажды Лукерья захотела меня угостить экстренным образом и поэтому подала мне... луковицу. Я съел ее с хлебом, а в это время парни с завистью смотрели на меня...

— Уж и сладко небось,— говорили они, глотая слюнки.

Я был очень беззаботен насчет пищи, поэтому теперь затрудняюсь восстановить в подробностях наше тогдашнее меню. Помню только, что стол был самый первобытный. Каждый день Лукерья ставила на стол так называемые «шти». Но это не были наши щи: в них не было ни картофеля, ни капусты. Это было полужидкое месиво из муки и разваренной ячменной крупы. К этому ячменный же хлеб и брага или квас. Все это было похоже на питание пещерных людей. По воскресеньям Лукерья иногда приготовляла лакомства в виде «шанег». Починковские постные «шаньги» состояли из кружка житной или ячменной муки в виде

лепешки, в которую запекался меньший кружок муки пшеничной.

В других семьях, где мужики бывали «попросужее», стол разнообразился порой дичью из лесов или рыбой из речек. Но в семье Гаври этого не бывало.

Вот в какие первобытные места вздумали послать меня вятский губернатор Тройницкий и исправник Лука Сидорович за мои жалобы на них и за язвительность моего стиля. Но — я был молод, на диво здоров, и все, что я видел, вызывало во мне живейший интерес. Чувствовал я себя превосходно и к матери, сестрам и Григорьеву писал прямо радостные письма, которые вятская администрация прочитывала, вероятно, с большим удивлением. Мне, городскому жителю, приходилось на все это смотреть широко открытыми глазами. Положение мое казалось очень определенным. То, что я еще только собирался сделать, будучи в Петербурге, для чего мне приходилось бы менять оболочку интеллигента,— то теперь милостью начальства было мне предоставлено на казенный счет. Здесь я был просто мужик, правда с дальной стороны, но все-таки только мужик, равный этим мужикам, а пожалуй, и ниже их положением, как ссыльный...

— И что такое это за люди — дворяня — на свете живут,— говорил раз при мне Павелко.— Хочь бы в стеклянну дверь на них посмотреть, право.

И никому из них не приходило в голову, что я и есть этот чудной дворянин, которого можно видеть только сквозь стеклянную дверь.

— Чудной кафтан у мужичка,— говорили в другой раз, щупая мой пиджак.— Неуж в вашем месте все так ходят?..

А с тех пор, как я пошел с парнями на болото, срубил там кондовую березу, состряпал из нее сапожные колодки и принялся за работу,— авторитет мой поднялся очень высоко.

— Он тебе и пером, он и топором, он и шилом,— говорили они, а когда я снял с колодки первую пару сапог, сшитую для одного из глазовских товарищей, то починовцы присутствовали при этом, как при некоем таинстве: они знали только лапти...

Для какой бы то ни было политической «пропаганды», правда, простора не было: я мог говорить совершенно свободно о всех общественных отношениях, о царе, о его власти, о необходимости свободы и само-

управления, но для этого у меня с починовцами не было общего языка: их это могло заинтересовать разве как сказка, не имеющая никакого отношения к действительности.

III
ПОЧИНКОВСКИЕ «БОГИ»

Подошло рождество. В сочельник я раньше убрал свои инструменты и зажег свечу, недавно присланную мне братом из Глазова. В этот день моя мать была именинница. Кроме того, с рождественским сочельником соединено для меня столько воспоминаний детства: у нас в этот день не едят до звезды. А вечером — длинный стол с белоснежною скатертью, сено на столе и сноп в углу в воспоминание о хлеве, в котором родился Христос... Я уже не мог назваться верующим человеком, но кто скажет, когда могут потерять силу такие воспоминания... Я захотел в этот вечер написать письмо матери.

— А Володимер у нас праздничать, видно, собирается,— сказал Гавря, по обыкновению сумерничавший на полатях и глядевший на меня через брус своими маленькими глазками.

— А ты, Гавря, разве не собираешься праздновать? — спросил я в свою очередь.— Ведь завтра рождество, а нынче сочельник.

— Ну-к што?

— Да ведь рождество самый большой праздник. Только два таких и есть в году: рождество да пасха.

— У нас этто никакой праздник не живет,— ответил Гавря равнодушно.— У рожественцёв, точно, праздник. Престол у них. А нам ни к чему. У нас приход к Афанасьевскому...

Рождественское — довольно большое село к югу от наших Починок. Гавря признавал только церковные праздники своего прихода. И действительно, на следующий день вся семья Гаври ушла на гумно молотить.

Однако в Починках были все признаки так называемой набожности. Во всякой избе была божница. Каждый раз, входя в чужую избу, починовец прежде всего обращался к ней, трижды крестился на иконы, а уже после здоровался с хозяевами. Садясь за стол и вставая после всякой еды, тоже не забывал креститься.

Я не исполнял этого обряда даже тогда, когда был верующим. В нашем быту это не было принято. Я уже отмечал в первом томе кое-какие свои религиозные переживания. В тот период моей жизни другие вопросы отодвинули их на второй план. Но у меня всегда оставалось уважение ко всякой искренней вере, и уже поэтому мне не хотелось лицемерить: я не стал прикидываться и лицемерно исполнять обряд. В этом для меня было своего рода исповедание веры.

Однажды, когда мы кончили обед, вся семья отправилась, по обыкновению, на печь или на полати для отдыха. Гавря остался и стал как-то переминаться с ноги на ногу, посматривая на полати, как бы ища поддержки. Несколько пар глаз смотрели оттуда на меня и на него.

— Слышь, Володимер, чё-кося я с тобой побаять хотел,— начал Гавря и опять кинул взгляд на полати.

— Ну что ж, Гаврило, давай побаем.

— Всем ты мужичок просужий,— продолжал он как будто в затруднении, почесывая живот обеими сложенными руками.— Не пьешь, не курúшь... Ну, одним мы обижаемся...

— Чем же вы на меня обижаетесь?

— Пошто ты нашим богам не молишься? Чем они тебе неладны?

Мне послышалось в этом вопросе, что Гавря обижается не тем, что видит во мне неверующего вообще, а тем, что я не почитаю его домашних богов, стоящих в его божнице. Я засмеялся.

— Хорошо, Гаврило. Ты хочешь, чтобы я тебе ответил. Я отвечу. Только раньше и ты мне ответь на мой вопрос.

— Ну, ин спрашивай... Пошто не ответить?

На полатях насторожились. Прялка Лукерьи зажужжала тише.

— Скажи и ты мне: почему ты своим богам молишься? Зачем это тебе нужно?

Гавря крякнул, точно его ударили по спине, и стал растерянно оглядываться.

— Г-м,— произнес он.— Чудной мужичок... Чё спрашиват?

— Ну так как же все-таки... Кому и зачем ты молишься?..

— Да оно того... Оно, гли-кося... Будто как лучше...

— Ну вот видишь... Тебе лучше молиться на богов, а мне, выходит, лучше не молиться.

Гавря постоял, все так же недоумело озираясь и почесывая усиленно живот, а потом вдруг полез на полати и скоро захрапел. После этого разговор о богах не возобновлялся. Я тогда чувствовал себя удовлетворенным, решив, что Гавре и вообще починовцам этот формальный ответ был совершенно достаточным. Только впоследствии мне опять пришлось вернуться к этому вопросу, и уже не так поверхностно.

Что касается починковской религии, то я пришел к заключению, что в этом лесном углу никакой, в сущности, религии не было. Однажды, в начале зимних сумерек, я шел по узкой дороге над Камой и встретил знакомую бабу; с ней случилась беда: пала лошадь. Она послала парнишку, чтобы кто-нибудь пришел ей на помощь: надо было запрячь другую лошадь и свезти воз. А пока она стояла над лошадью, глядя на ее оскаленные зубы... Я остановился, и мы разговорились. Кто-то недавно передал ей новость: священник говорил в церкви, что со смертью человека не все еще для него кончено и что есть какая-то жизнь после смерти.

— Я чаю, хлопает поп зря,— сказала она категорически.

— А по-твоему как же? — спросил я ее с любопытством.

— Пал да пропал — больше ничего,— сказала она удивительно просто.

До сих пор помню эту картину. Где-то за лесами только что село холодное зимнее солнце. Снега набухали сумерками. Над ними, тяжело хлопая крыльями, летали вороны. Оскаленная морда лошади смотрела на нас тусклыми глазами... Не помню, чтоб тогда же это категорическое «пал да пропал» вызвало во мне определенный строй мыслей. Но вся картина запала, сохранилась в душе и всплывала каждый раз впоследствии, когда мне пришлось сравнивать эту формулу починковского нигилизма с настроением других крестьян, для которых вопрос не казался так прост. Там тоже было много церковных суеверий, но я должен был признать, что их духовный мир богаче и сложнее...

IV

ЛЕСНАЯ НЕЖИТЬ

И все-таки починовец был весь окружен потусторонним миром. Здесь случались то и дело удивительные происшествия. Однажды Гавря рассказал мне самым обыкновенным тоном, что лешаки крадут у них рыбу из ятров. Лони́сь (в прошлом году) один лешак повадился к жителю ходить каждое утро на Старицу, где у него были ятры, и опустошать их до прихода хозяина. Я засмеялся.

— Чё ты это смеешься?..— спросил Гавря с искренним удивлением.

— Кто-нибудь другой таскает у вас рыбу,— ответил я,— лешаков на свете нет.

Гавря оглянулся на домашних с таким недоумелым видом, как будто я не знаю о существовании лошади, собаки или волка.

— Чюете вы, что мужичок-от бает... Да разве в вашей стороне лешаков не видывали?

— А в вашей видывали? — спросил я в свою очередь, продолжая улыбаться.

— Да что ты это, Володимер,— сказала Лукерья, обращаясь ко мне таким тоном, точно она унимала неразумного ребенка, заговорившего нечто несообразное. И они досказали мне историю о воре-лешем. Мужик пошел посоветоваться к колдуну: таскает неведомо кто рыбу, а подкараулить нельзя. Следы на снегу видны, только след нечеловечий: лапти чуть не в аршин. Колдун посоветовал: заплети, говорит, лапоть в два аршина и повесь на лесине, над тропой, по коей лешак ходит к твоим ятрам. Сам запаси слегу покрепче и притаись в кустах. Посмотришь, что будет. Не бойся.

Мужик послушался: сплел лапоть в два аршина и повесил над тропкой. Сам притаился. Смотрит: идет еще до свету лешак.

— А какой он? — спросил я.

— Да какой!.. Явственно не видно, а только похож на мужика. Вот дошел до лаптя, взглянул, да и почал смеяться... Дальше да больше. Потом пал на снег, так и катается, смеется. Выскочил мужичок да слегой его раз и другой.

— Ну и что же?..

— Да, слышь: сам испужался, убёг. Пришел днем на то место: снег примят, а нет никого. Ну рыбу пере-

стал таскать... Да что ты все смеешься, чудной ты мужичок, сходи, сам поспрошай: не очень далеко и живет-то.

К этому мужику я не собрался, но имел случай видеть другого очевидца. Это был тот самый кабацкий сиделец Митриенок, о котором я рассказывал ранее. Через некоторое время мне случилось опять побывать в селе Афанасьевском для покупки сапожного товара, и я нарочно зашел к Митриенку. Я уже говорил, что это был угрюмый и неразговорчивый детина, довольно мрачного вида, с несколько блуждающим взглядом. Когда я сказал, что мне рассказывали об его встрече с лешаками, он сказал просто:

— Ну-к што?

— Да к тебе разве приходили лешаки?

— А то не приходили, что ль...

По моей усиленной просьбе он рассказал мне следующую историю: дело было в прошлом году под рождество. Под вечер начиналась метель, дальше да больше: «окна, что есть, все замело снегом». Надумал Митриенок кабак закрывать — некому больше быть. Закрыл кабак, лег и стал засыпать. Только слышит: подъехали какие-то на санях, стучат в дверь, а вставать лень... Помешкал малое время... стучат опять, да, слышь, так стучат — дверь хотят развалить. Да тут же метель как взвоет тебе, да как закрутит, то и гляди, крышу сорвет. Догадался тут Митриенок, кто это с метелью ходит. Делать нечего: зуб на зуб не попадает, а дверь все же открыл. Вошли шесть мужиков. Бороды большие, снегом запорошило... Отряхнулись. «Наливай, говорят, по стакану... Потом по другому».

— Почему же ты думаешь, что это были лешаки?

— Кому больше быть-то... Вошли, на икону не крестились. Бороды, сказываю тебе, большу-ущие. Вот ты — бородатый человек, сразу видно — нездешний. А у тех бороды куда твоей больше... Что тут и баять: мне ли не знать здешнего народу...

— Ну и что же?..

— Ничего... Дурна не сделали. Выпили, заплатили честь честью,— уехали. А тут и метель стала стихать. За собой увели...

Митриенок рассказывал это просто, как вещь очевидную. Впоследствии были известия, что в тех местах, на границе Глазовского и Чердынского уездов, при переписи было открыто целое не ведомое начальству

поселение. Это оказались старообрядцы какого-то из непримиримых толков, скрывшиеся в леса от грешного мира. В мое время рассказывали, что откуда-то из-за Камы наезжают порой неизвестные люди: никто не знает, откуда выходят и куда скрываются. Но Митриенково объяснение было гораздо проще. Разве здесь не видят постоянно лешаков, ходящих снежными столбами над лесной чернью... Кругом стоят леса, которые кричат на разные голоса в непогоду, мрачная река роет новые русла, и всякая лесная нежить живет в трущобах. С духовенством починовцы имеют очень мало сношений и, кажется, к богу обращаются только в необходимых случаях, как свадьбы, крестины, похороны. Но с колдунами приходится то и дело советоваться по поводу многих случаев: тут леший ворует рыбу, тут человек заболел от «насыла по ветру». Летом над заводями русалки расчесывают косы, таинственная «лихоманка» ходит по свету, огненный змий летает по ночам в избы к мужикам и бабам...

Я искренно и от души смеялся над этими рассказами, а починовцы так же весело смеялись над моим незнанием очевидных вещей... Скоро, однако, наступило время, когда мне пришлось вступить в прямую борьбу с этой лесной «нежитью», и лесная нежить меня победила на глазах у всего починковского мира... Но об этом дальше.

V

ССЫЛЬНЫЕ: ФЕДОТ ЛАЗАРЕВ, КАРЛ НЕСЕЦКИЙ

От Поплавского в Бисерове я узнал, что в Починках есть уже один политический. Это был фабричный рабочий Лазарев, сосланный за забастовку. Вскоре он явился ко мне, и мы познакомились. Родом он был — «Калужской губернии така́ч», как говорил он своим местным говором. Это был хороший малый, знакомый уже с политическим движением, и мы сразу сошлись. Он успел уже несколько обжиться, так как привезли его сюда еще летом. Мне рассказывали местные жители, что когда он приехал сюда в своих сапогах бураками, в поддевке тонкого сукна со сборами и в узорной косоворотке, то местные бабы на покосе накинулись на него, повалили на сено и... произвели насильственное освиде-

тельствование с целью убедиться, что он такой же человек, как ихние мужики. Когда я спросил его об этом, он застенчиво и стыдливо подтвердил рассказ: он был рослый мужчина, косая сажень в плечах, и большой щеголь.

Жил он в семье Микешки, верстах в пяти от нас, и учил его маленького сынишку грамоте по-церковному: «аз-буки».

Кроме Федота, тут были еще несколько ссыльных уголовных. Однажды Федот предупредил меня, что ко мне собирается один из таких ссыльных, Карл Несецкий, и что этот визит будет мне не очень приятен: Несецкий приедет с безносым Трошкой, тоже большим скандалистом, привезет водку и рассчитывает на ответное угощение. В то время я относился строго к своему личному поведению и к своим отношениям к людям и решил сразу, что водкой никого угощать не стану.

В светлый зимний день к починку подъехали розвальни, в которых сидели два человека. Когда они вошли в избу, я сразу узнал по описанию Несецкого и безносого Трошку. Несецкий был человек среднего роста, худощавый, с какой-то особенной горькой складкой на лице. Трошка успел как-то побывать на одном из вятских заводов, вывез оттуда большую развязность, гармонику и дурную болезнь. Оба были уже выпивши и, ввалившись в избу, поздоровались с хозяевами и сели, развалившись, за стол, поставив перед собой бутылку водки. Я работал у окна над сапогами и не поднялся навстречу гостям, предоставив им угощать Гаврю, у которого загорелись глаза.

Это их, очевидно, оскорбило. Они делали вид, что приехали к Гавре, но, сидя за столом и наливая рюмки, то и дело стали кидать камни в мой огород. Есть, дескать, люди, которые задирают нос выше лесу, и что на таких людей у них найдутся свои средства. Я все молчал. Очевидно, оскорбленные до последней степени, они поднялись из-за стола и стали прощаться с хозяевами. Я чувствовал, что наживаю себе врагов, а между тем в лице Несецкого замечал что-то располагающее и жалкое. Они уже собрались выходить, когда я встал со своей седухи, сложил фартук и встал против Несецкого. По внезапному побуждению я положил ему руки на плечи и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

— Послушайте, Несецкий... Я плохой собутыльник: и сам не пью, и других не угощаю. С пьяными разгова-

ривать не люблю и не умею. Но если вы захотите когда-нибудь прийти ко мне без водки, трезвый, потолковать и попить чаю, то я буду рад вас принять, как и других товарищей ссыльных.

Что-то дрогнуло в бледном лице Несецкого. Он потупился, подумал и сказал глухо:

— Простите меня... Живешь тут в лесу вот с этаким зверьем (он бесцеремонно указал на совсем рассолодевшего Трошку),— и сам завоешь волком. Прощайте.

На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— Завтра приду... Не прогоните?

— Буду рад. Приходите. Я получил из Глазова газеты.

На следующий день Несецкий пришел пешком и без Трошки. О вчерашнем у нас не было и речи. Вечером я зажег свечу и читал газеты. Несецкий слушал внимательно, а наутро ушел на гумно работать с семьей Гаври. С этих пор мы виделись часто, и посещения Несецкого всякий раз доставляли мне истинное удовольствие. Однажды ночью, когда на полатях и с печи несся храп, он рассказал мне своим глуховатым голосом, заложив руки за голову, следующую историю своей ссылки в Березовские Починки.

Он был поляк, служил в солдатах и судился за какое-то военное преступление. Приговорен к лишению воинского звания и ссылке в места не столь отдаленные. Сначала его поселили на Омутнинском или Залазнинском заводе. Тут он начал устраиваться, даже женился. У него родилась дочь. И он, и жена души не чаяли в новорожденном ребенке. Но вот однажды из уездного города приходит приказ: прислать в полицейское управление Несецкого с семейством. Стояли большие морозы, и Несецкий отказался ехать за неимением достаточно теплой одежды. Исправник был самодур, человек крутой, и отказ какого-то ссыльного исполнить его предписание привел его в сильный гнев. Становой получил категорическое распоряжение, Несецкого с женой и ребенком усадили в сани и повезли в город. Когда десятский привез их к полицейскому управлению, то оказалось, что полуокоченевшая жена держала на руках мертвого ребенка.

— Не знаю,— рассказывал мне Несецкий в темной избе своим печально-надтреснутым голосом,— что тут со мной сделалось. Вошел в полицию и — прямо в при-

сутствие. Исправник был тут. Вытянулся я перед ним во фрунт и докладываю громко: «Куда, говорю, прикажете, ваше высокоблагородие, мерзлую говядину свалить?» — «Что такое, что такое?..» — спрашивает исправник. Сразу я его озадачил. «Извольте, говорю, выйти посмотреть». Сам не пошел, послал какого-то писца. Тот возвращается и говорит тихо: так и так, полузамерзшая женщина и мертвый ребенок. Исправник растерялся. «Ты бы его, говорит, куда-нибудь... в снежок, что ли, закопал...» Тут в меня и вступило. «А-а, говорю, крещеного младенца в снежок! Слушайте, говорю, все!.. Будьте свидетели... Я сейчас архиерею донесу, как начальство приказывает крещеных младенцев в снежок зарывать...» И тут же сделал большой скандал в присутствии перед зерцалом.

Дело вышло громкое, затушить его было трудно. Исправника не любили, и свидетели показали правду. Вмешался архиерей. Исправник потерял место. Когда прибыл его заместитель, оба они вызвали Несецкого. Старый говорит новому: «Вот этот человек сделал несчастным меня и мое семейство. Через него я лишился места». А новый отвечает: «Ничего, мы ему самому найдем теплое местечко».

«Подлецы вы оба, говорю. А мое семейство где?..» — И опять сделал скандал перед зерцалом. С этих пор, поверите, жизнь мне стала в копейку. Я никого не боюсь, ничего не стыжусь, а меня люди стали бояться. Вы вот первый меня, спасибо вам, не побоялись — по-человечески заговорили.

До сих пор воспоминание об этом человеке сохранилось у меня как одно из трогательнейших и лучших воспоминаний молодости, когда и сам я был много лучше.

VI

ХОДОКИ.— ИСТОРИЯ ФЕДОРА БОГДАНА, ДОШЕДШЕГО ДО САМОГО ЦАРЯ

В ясный морозный день перед рождеством я застал у себя, вернувшись от Лазарева, только что привезенного нового ссыльного. Звали его Федором Богданом. Его только что привезли из Глазова, и он еще как-то растерянно оглядывался. Поселили его по соседству, верстах в полуторах. Ко мне он пришел вместе с десятским для

разрешения спора: Богдана схватили на родине, не дав ему собраться, и увезли в чем он был. Теперь в бумаге, при которой он был прислан, требовали, чтобы по доставке на место у него отобрали казенные вещи для возвращения в тюремный замок. Это была явная несообразность, но десятский боялся бумаги.

К счастию, на это нашлось средство. У меня тоже была бумага и перо, и я пустил их в дело: написал «отзыв» от ссыльного Федора Богдана, в котором изобразил, что так как Богдана выслали летом в чем он был, а теперь стоят лютые морозы, то он не имеет возможности исполнить требование администрации. Десятский смотрел с благоговением на это мое бумажное колдовство и, получив бумагу, спрятал ее за пазуху и уехал удовлетворенный: бумага была против бумаги. А Богдан остался.

Это был пожилой крестьянин в украинской свитке и бараньей шапке. Он усердно кланялся мне, осыпая меня благодарностями и называя добрым паном. Я объяснил ему, что я такой же ссыльный, как и он, но Богдан качал головой и говорил, что он знает людей и хорошо видит, что «я ж таки ему не ровня». Этого тона он потом держался со мной все время, упорно называя меня паном.

Родом он был из Киевской губернии, Радомысльского уезда, из большого села, название которого я забыл. Попал он сюда после того, как ухитрился подать прошение крестьян в собственные руки Александра II.

Через некоторое время среди других таких же крестьян-ходоков, поселенных частью в наших Починках, частью в других местах Бисеровской волости, распространилось известие о том, что в Починки прислали мужика, который видел царя и подал ему прошение. Вследствие этого к нам стали являться другие ходоки для разговоров и расспросов Богдана. Кроме Федота Лазарева и Несецкого, живо интересовавшихся его рассказами, тут были еще два брата Санниковы, уроженцы той же Вятской губернии, только более южного Орловского уезда, и Кузьмин — помнится, Рязанской или Орловской губернии. Санниковы были хорошие плотники и взяли подряд на постройку часовни в селе Афанасьевском. Теперь они нарочно пришли оттуда. И вот в избе Гаври, тесно набитой этими заинтересованными слушателями, Федор Богдан рассказывал свою исто-

рию. Это было в праздник, и вся семья Гаври тоже свесилась головами с полатей...

Вот этот рассказ.

В Радомысльском уезде, Киевской губернии, крестьяне, кажется, пяти обществ, вели давнюю тяжбу с помещиком Стецким. Дело было запутанное. Богдан был прекрасный рассказчик, и некоторые эпизоды в его рассказе выходили необыкновенно картинно и ярко. Но, как это обыкновенно бывает в таких случаях, юридическая сущность тяжбы исчезала. С одной стороны, взгляды крестьян, основывающиеся на стародавних преданиях стариков, с другой — формальная казуистика помещичьих адвокатов и точные статьи закона. Отсутствие нужных документов, пропущенные сроки для обжалования — этого достаточно, чтобы формальный закон бесповоротно стал на сторону помещика. А крестьяне не хотят знать таких формальностей и апеллируют к высшей правде, которую видят в царе. Впрочем, как будет видно дальше,— на этот раз и формальное право не так уж бесповоротно было против крестьян.

Как бы то ни было, крестьяне пяти обществ Радомысльского уезда решили, что им необходимо послать ловких людей в столицу. Для этого выбрали неграмотного Федора Богдана и в помощь ему двух грамотных. Очевидно, главное лицо, на которое рассчитывали крестьяне, был именно Федор Богдан. И он блестяще оправдал ожидания земляков.

Приехали ходоки в Петербург и остановились у знакомого человека: дочь местного священника была замужем за купцом, торговавшим в Гостином дворе. По письму тестя, последний радушно принял крестьянских уполномоченных и указал им сведущего «письменного» человека. Тот по записке, взятой ими с места, составил несколько прошений, которые они и рассовали в несколько инстанций: в сенат, в министерство юстиции, в земельный комитет, председателем которого был великий князь Константин Николаевич. Ни царя, ни Константина Николаевича в Петербурге они не застали и сочли, что, подав просьбы всюду, куда было возможно, они исполнили свое дело. Так, по крайней мере, думали грамотные товарищи...

Проходили месяцы, а результатов не было. Тогда люди стали на Богдана и его товарищей смотреть косо.

Стали толковать, что они только понапрасну извели много громадских денег, «бог зна на що».

Богдан не мог перенести этих людских покоров и решил ехать вторично в столицу. На этот раз он поехал один, так как уже знал столичные порядки. Дорогой он узнал, что царь как раз в это время приехал в Москву. Он тоже отправился в Москву, нашел там человека, который на основании материалов с места состряпал прошение и научил, как его подать.

«Завтра, говорит, будет смотр на Ходынском поле. Дорога туда через Трухмальные ворота. Стань ты неподалеку от этих ворот и держи ухо востро. Полиция зорко смотрит, чтобы кто не прорвался на дорогу. Ну тут уж как тебе бог даст. Успеешь на дорогу выскочить и стать на колени — твое счастие».

На следующий день вышел Богдан за Триумфальные ворота. Народу — видимо-невидимо. Но пришел он рано и успел стать в первых рядах. Стоит, прошение у него за пазухой. И вот вдалеке послышались крики «ура!..». Все ближе и ближе...

Трудно описать то захватывающее внимание, с каким другие ссыльные ходоки слушали этот рассказ. Когда Богдан дошел до этого момента, помню, в избе Гаври воцарилась такая тишина, что можно было слышать шуршание тараканов по закоптелым стенам. Это было как раз то, о чем мечтали все крестьяне: мужик стоял в ожидании проезда царя, источника всякого права и всякой правды. Что будет?.. Даже невозмутимые починовцы затаили дыхание...

Богдан продолжал:

— Выехал царь из Трухмальных ворот — дорога перед ним расчищена. Все видно... И тут уже спрашивать нечего. «Мала́ дытына» и та узнала бы, который царь: едет один впереди, двое за ним сзади на пол-лошади. А уже за теми остальная свита. Все генералы в звездах. Кругом аж блестит. Вот как стали приближаться к тому месту, где стоял Богдан,— тот перекрестился под свиткой, растолкал солдат и полицейских и внезапно, как заяц, кинулся наперерез, на дорогу. Полицейские побежали было за ним, да куда тут — не догнали. Упал посредине дороги на колени, прошение над головой держит. А сердце в груди так и стучит... «як подстрелена пташка»... Что будет?

— Ну-у! — вырвалось у одного из Санниковых торопливое восклицание.

Подъехал царь к тому месту, чуть-чуть своротил коня и объехал Богдана, что-то сказав адъютанту. И вся свита, как река на ледорезе, разделилась на две струи. Едут генералы, на Богдана смотрят с любопытством, а он стоит на коленях. Только царский адъютант повернул коня, подъехал к Богдану, когда свита проехала, наклонился с коня и взял из его рук прошение. Богдан придержал немного бумагу и говорит адъютанту: «Ваше высокое превосходительство. Будьте милостивы: не поверят наши люди, что я подал царю прошение. Нельзя ли мне дать квиточек (расписку)?» Адъютант выдернул из рук конверт и говорит: «С ума ты сошел, мужик... Не знаешь разве, кому ты подал прошение... какой тебе квиток?.. Убирайся поскорее домой, а то плохо будет».

Повернул коня и поехал за царем. А к Богдану кинулась полиция.

— Не дай бог, что тут подеялось. Полицейские «як тыгры»... Подхватили двое под руки, сзади кто-то в шею толкает, а те его до земли не допускают, несут... Какой-то полицейский офицер, низенький да толстый, так тот спереди на него наскакивает, «в очи сы́кает, як жаба». Сам аж плачет: сукин сын хохол, весь парад испортил. Когда вынесли его с шоссейной дороги в поле, поставили на ноги, низенький к морде кинулся, да другой, высокий, его остановил, стал спрашивать: какой человек, откуда, по какому делу. Записал все и говорит: «Ну поезжай теперь прямо домой. Сегодня в таком-то часу идет смоленский поезд. С ним и поезжай, да смотри, чтобы и духу твоего тут не пахло. Счастлив твой бог, что дешево отделался...» И отпустили.

Пришел Богдан на постоялый двор и думает: хоть я и подал прошение царю, но квитка у меня опять нет... Опять «неймут мені люди виры». Подумал и вместо Смоленского вокзала направился на Николаевский, а на следующее утро был в Петербурге, чтобы опять подать в земельный комитет, а если удастся, то и самому великому князю... Может, дадут и квиток...

В Петербурге опять остановился у попова зятя. Стал спрашивать: великого князя нет. Пошел к его дворцу. Там нашелся добрый человек, который сказал, что великого князя действительно нет, но ждут скоро. А как приедет, то непременно будет в земельном комитете. Вот дня через два хозяин прочитал в газетах: приехал. Богдан опять заготовил прошение и пошел в земельный

комитет в здание «мырвитажа» (Эрмитаж). На лестнице остановил его швейцар и спрашивает: «Что тебе, мужик, нужно?» — «Так и так говорю, нужно мне в земельный комитет».— «Ступай на самый верх». А другой тут и говорит: «Смотри, он в царские покои затешется...»

«Да я ж,— спасибо, ваше благородие, понимаю: на самый верх...» А самого «аж кортыть», как бы на царские покои посмотреть. Не дошел доверху, гляжу: дверь черной кожей покрыта и медными цвяшками (гвоздиками) утыкана. Перекрестился я, открыл тихонько. Гляжу: за тою дверью другая, до половины стеклянная. И видно одну комнату, а за ней другую. И в другой комнате каких-то два «члена» (Богдан часто употреблял это почтительное слово). Один сидит в качалке. Другой ходит по комнате взад и вперед. Ну, думаю, что будет. Не расстреляют же меня. Выждал, как тот пойдет от двери в другую сторону, и стал у порога. Пошел тот назад, обернулся, увидел меня и говорит:

«Ба! Тут мужик стоит». Повернулся и тот, что сидел, посмотрел и поманил меня пальцем.

«Что тебе, любезный, надо?.. В комитет? Так это выше, на самый верх».

«Выбачайте, говорю, я темный человек. Не знал».— «Ну ничего, ступай. Покажите ему». Тот вывел на лестницу, показал наверх. Я рад, думаю: вот царские покои посмотрел, и ничего мне не сделали. Только жаль, поговорил мало. Пришел в комитет, стал спрашивать, куда подать просьбу, а тут как раз забегали: великий князь приехал. Пошел через комнаты мимо меня. Я бух на колени. Великий князь остановился и говорит ласково: «Что тебе, голубок, надо?» — «С прошением от нашей громады по земельному делу».— «Давай сюда». Подал я прошение, а сам все на коленях стою. «Что же тебе еще?» — «Ваше императорское высочество, отвечаю. Я уже подал одно прошение в комитет. Да неймут наши люди виры... Будьте милостивы, квиточек мне».— Чиновники так на меня смотрят, видно, съесть хотят. А князь засмеялся, оторвал кусок бумаги и тут же на столе написал: «Такого-то числа прошение от Федора Богдана принял». И подписал: Константин. Сам я неграмотный, да после люди читали.

Вышел я из комитета радый, будто меня на небо взяли. Теперь уже мне люди поверят, как увидят кви-

ток от самого великого князя. Пришел домой, гляжу: а у моего хозяина сидит какой-то барин. Увидел меня и спрашивает: «Это он самый?» — «Самый»,— отвечает хозяин. Тот и говорит: «Здравствуй, землячок».— «Здравствуйте и вы, говорю. Разве вы тоже с наше стороны?» — «А как же, говорит, прямо оттуда и приехал, да еще письмо тебе привез. Пойдешь со мной, так я тебе и отдам».— «Вот спасибо»,— говорю. Отозвал я хозяина на сторону и говорю ему: «Дайте сколько-нибудь из моих грошей. Надо земляка угостить». Дал тот денег, пошли мы. Хозяин жил, может, знаете, на Садовой улице. Вывел он меня на Невский проспект, по которому в царский дворец надо идти. Улица большая... В каком же, думаю, постоялом дворе он тут остановился? Спрашиваю, а он не отвечает, только говорит: пойдем, узнаешь. Дошли до Морской, гляжу, заворачивает мой земляк. А на Морской канцелярия градоначальника. Я уже знал. Тут я себе думаю: «Пришло на тебя, Хведоре, лихо». Стал задерживаться да оглядываться. Как тут навстречу идет городовой. Тот ему мигнул. Городовой повернулся и пошел за нами. Тут уже я совсем догадался, а делать нечего: иду. Бумага, что дал великий князь, так у меня за пазухой и горит: думаю, отнимут, и опять я без квитка останусь. Дошли до ворот. Стоит пожарный в медной шапке. Мой земляк свернул в ворота и меня пальцем манит: иди, голубок, иди. А тут сзади и городовой в спину поштурхивает.

В канцелярии чиновники встретили Богдана смехом: «Что, говорят, привел-таки. Это он самый?» Потом ввели в комнату, где сидели два генерала: один градоначальник Трепов, другой, надо думать, его помощник Козлов. Повернулись ко мне. «Ты Хведор Богдан?» — «Я Хведор Богдан».— «Пишет ваш губернатор, чтобы прислать тебя на родину, щоб ты тут с прошениями не рывся. Успел подать прошение?» — «Успел»,— говорю. «А куда?» — «Куда было надо, говорю, туда и подал. Министру юстиции, в земельный комитет...» — «А еще куда?» — «Подал и великому князю Константину Николаевичу в собственные руки...» Трепов аж повернулся. «Врешь, говорит. Когда же ты мог подать?» — «Сегодня и подал».— Тот не верит, помощник тихо говорит ему: «Верно, сегодня великий князь был в комитете...» У Трепова аж усы торчком встали. «Вот сукин сын хохол...» А я думаю себе: сказать или не сказать про царя? Ну, что будет. «Еще, говорю, самому

царю подал». Трепов повернулся на стуле. «Врешь, говорит, царя и в Петербурге нет».— «Я, говорю, подал в Москве такого-то числа на Ходынском поле у Трухмальных ворот». Помощник говорит опять: «Верно. Такого-то числа был смотр». И стал тихо говорить Трепову: «Видите, он уже всюду подал. Уедет теперь сам». А Трепов рассердился и отвечает: «Что тут рассуждать! Пишет губернатор, чтобы выслать, так надо выслать». И Федора Богдана выслали по этапу на родину, «чтоб он в столице с прошениями не рывся».

Богдан рассказывал все это по-украински, но, как человек, уже побывавший в России, он отлично применялся к слушателям, и все его понимали. Слова начальствующих лиц он передавал почти чисто по-русски, подражая даже интонации. Я с интересом следил за выражением мужицких лиц при этом почти волшебном рассказе о том, как простой неграмотный мужик до царя дошел. Когда он рассказал об окончании его хлопот кутузкой и этапом, один из Санниковых хлопнул себя по колену и с досадой крякнул.

— Постой,— остановил его старший брат.— Не все ведь еще.

— Чего же тебе еще? Чай, сам видишь! — возразил тот.

— Да ведь прошение-то подано?

— Ну, подано.

— В собственные руки?..

— Верно... Послухаем, что дальше-то.

Рассказ действительно не был кончен, но и конец был не радостен. Прислали Богдана на родину по этапу вместе с ворами и разбойниками. Но прошения все-таки были поданы. Показал Богдан громадянам квиток великого князя. Громадяне оценили его услугу, и стал он у них первым человеком. Через некоторое время приехал в их местность какой-то «член» с поручением разобрать дело и склонить стороны к миру. Так, по крайней мере, понимали его миссию крестьяне. Приехал он и созывает громадян в волость. Сошлись мужики. Член и объявил, что часть спорной земли должна отойти к крестьянам, часть останется за помещиком. И это уже был большой успех, но громадяне, видя, что прошения, поданные Богданом в собственные руки, начинают действовать, зашумели, надеясь, что теперь и вся земля может отойти к ним. Чиновник и говорит: «Нельзя мне говорить зараз со всеми вами. Выберите кого-нибудь

одного». Громадяне кричать: «Пусть говорит Хведор Богдан». Богдан вышел к чиновнику и говорит:

«Когда уже царь прислал вас такою милостию, то доложите государю императору: общество просит, чтобы царь отдал нам всю землю...»

Чиновник посмотрел на Богдана и говорит:

«А не жирно ли это будет? Сможете ли вы платить за всю эту землю?..»

«Почему же,— ответил Богдан.— Если сможет платить помещик, то заплотим и мы. Он царю человек чужой. Сегодня он тут, а завтра уедет себе за границу — ищи его. А мы — люди царские. Никуда не уйдем. Всей громаде можно лучше поверить, чем одному человеку».

Люди услышали это и зашумели: «Правда, правда. Хорошо говорит Хведор». Чиновник осердился:

«Так ты вот как рассуждаешь. Откуда такой умный сыскался? Да ты не тот ли Богдан, что тебя по этапу из Петербурга прислали? Так я с тобой и разговаривать не хочу... Давайте мне другого. Выведите его вон!»

«Незачем меня выводить. Я и сам уйду».

Богдан вышел, а за ним пошли и все. «Когда не хотите говорить с нашим выборным, то и мы уйдем». Сборню — как вымело. Остался только чиновник да староста и сотские...

По-видимому, это было на руку сторонникам помещика: дело было представлено как бунт, а Богдан выставлен опасным агитатором. И стали с этих пор за Богданом приглядывать. Жил он в небольшом приселке около большого села. Видно, что полиция за ним присматривает, а взять боятся: пять обществ не шутка, а Богдана добром не выдадут. Потом как будто и следить перестали.

Только раз случилась в селе богатая свадьба. Из приселка все ушли смотреть на «веселье», и домашние Богдана тоже ушли. Вдруг подкатывает к его хате земская тройка, а в ней — становой и полицейские. Вошли в избу и говорят: «Собирайся, Богдан, поедем». Богдан не идет, те стали брать силой, Богдан отбивается. И взяли бы непременно, да как раз в это время мимо приселка из церкви ехала свадьба, и некоторые из поезжан видят: в пустой улице у хаты Богдана стоит тройка и около нее полицейские. И опять подозрительные громадяне усумнились: «Эге-ге. Это ж, видно, наш Богдан уже с полицией снюхался. Продал громадян-

ское дело». И завернули две-три повозки в улицу, к Богдановой хате. Видят: волокет полиция Богдана, а тот не дается. Рубаху на нем порвали. «Так вот оно что! Ну, поезжайте себе, откуда приехали». Посадили станового в повозку, нахлестали лошадей — «поезжай, покуда цел». После этого люди стали зорко присматривать за Богдановой хатой, чтоб его как-нибудь не выкрали. Даже караулы выставляли. А после и опять все затихло. Так затихло, что громадяне подумали: может, отступились...

Подошла в Радомысле ярмарка, и задумал Федор сходить на ярмарку. Думает себе: на ярмарке же многолюдство, тут его взять не осмелятся. Да на свою беду, пошел в такое время, когда весь народ уже провалил. На дороге пусто, народу совсем мало. И вдруг видит Богдан: скачет тройка. Нагоняет его становой и два стражника. «Стой! Тебя нам и надо. Садись, а то плохо будет». Подхватили и повезли в город. Лошади летят, как птицы. «Пожалели бы коней,— говорит Богдан,—долго ли загнать!» А пристав усмехнулся и говорит: «Знаю, что тебе нужно: чтоб ваши люди меня остановили да в шею наклали. Пошел!..» И летят дальше... За повозкой аж пыль столбом. Люди сторонятся. Увидят, что Богдан сидит между полицейскими, ударят об полы руками, а догнать уже не могут. Привезли стороной к тюрьме, да тотчас же и отправили дальше в Киев — так, в чем был, когда собрался на ярмарку... А из Киева скоро погнали с этапа на этап, пока пригнали вот сюда...

— Так-то,— закончил Богдан печально.— И пошел я по тюрьмам да по этапам... Пока сидел дома, то думал, что и весь порядочный народ дома, а в тюрьмах только воры да розбишаки. А как самого стали гонять из тюрьмы в тюрьму, то показалось мне, что и весь самый лучший народ по тюрьмам сидит...

Административный порядок действовал уже вовсю. И в киевской, и в других тюрьмах Богдану пришлось видеть административно высылаемых без суда и следствия... Были тут и студенты, и курсистки, были земские гласные, был даже один председатель земской управы... И все эти люди, как и сам Богдан, не совершили никакого преступления в обычном смысле. Тогда еще террористические покушения были редкими явлениями. Эти люди виновны только в том, что хотят лучших порядков. Теперь Богдан попал на край

земли. И тут опять видит людей крестьянского мира, повинных в том, что верили в царя.

Некоторое время в избе стояло подавленное молчание. Первый нарушил его, к моему удивлению, мой хозяин Гавря. Он слез с полатей, прошел через избу, стал против меня и сказал своим нервным отчетливым голосом:

— А неладно, слышь, и царь-те делает...

Это был, очевидно, вывод стороннего наблюдателя...

Трудно описать впечатление рассказа на ходоков. Братья Санниковы были высланы сюда из Орловского уезда Вятской губернии, как люди, смутившие крестьянский мир по поводу тяжбы с лесным ведомством. Их история носила, по их рассказам, совершенно фантастический характер. Их давнюю коренную землю под лесом захватил в свою пользу «министр Финлянцев». Насколько я мог понять, это было в то время, когда удельные леса причислялись к министерству финансов. В лесах, которые крестьяне считали своими, поставили межевые знаки с буквами «М. Ф.» («Министерство финансов»). Мужики истолковали это в том смысле, что это какой-то министр Финлянцев позарился на их леса и — своя рука владыка — захватил их в свою личную пользу. Мужики не соглашались поступиться своим добром, шумели, сопротивлялись. Их усмиряли. Потом — сила солому ломит — мир весь смирился. «Не дали рук» только два брата Санниковы. Их и выслали сюда, в эту глушь, вдаль от семейных. Оба они были уже старики с белыми бородами. Оба были многосемейные, и жизнь в ссылке отзывалась на них очень горько. Но они были уверены, что торжество злодея Финлянцева не может быть полным, пока они, два брата Санниковы, не смирятся и «не дадут рук». А они решили не смиряться: лучше умереть за мир в неволе. И они сознательно несли на своих старых плечах тяготу своего мира.

Орловец Кузьмин оставил позади себя какую-то историю в том же роде. Это был нестарый человек, с лицом, сильно изъеденным оспой, и с странной козлиной бородкой. Лицо его напоминало немного «Анчутку беспятого» (нечто вроде русского Мефистофеля), на нем вечно бродила хитрая улыбка, и он был глубоко уверен, что их дело не может не выгореть. Они послали ловких людей, которые теперь бродят вокруг царского дворца, высматривая только случай, чтобы подать просьбу в соб-

ственные руки... А для верности, чтоб этих людей не «изымали» и не выслали по этапу, они поехали в столицу с фальшивыми паспортами... Эту историю он, с хитрой улыбкой, рассказывал мне ранее. И вот теперь Богдан рассказывает, с какими хитростями и с какими усилиями он наконец дошел до царя и отдал ему в собственные руки — «крестьянскую правду»... И вот результаты.

Теперь, когда я вспоминаю этот день, закопченную избу Гаври Бисерова в дальних Починках, группу ходоков, слушающих рассказ Богдана, и непроизвольную сентенцию Гаври, осудившего далекого царя,— мне кажется, точно я присутствовал в тот день при незаметном просачивании струйки того наводнения, которое в наши дни унесло трон Романовых. В те годы ходоки тучами летели в Петербург. Это было целое бытовое явление. Они шли к царю, освободившему народ, с надеждой, что он на их стороне, что он стоит за их правду. А от министерств и от сената они получают лишь формальные ответы: недостает документа, пропущен срок обжалования, статьи такие-то и такие-то, им чуждые и непонятные. Конечно, часто представления этого крестьянского мира были совершенно фантастичны, и самому широкому государственному строю порой приходилось бы вступать с ними в столкновения. «Народной правде», вынесенной из глубины прошлых веков, возникшей и сложившейся при других условиях, противостоял весь уклад современной жизни, основанной на началах римского права. Это была, конечно, трагедия, но разрешить ее можно было только пристальным вниманием к глубоким народным запросам, широким просвещением и законностью.

Народ шел к фантастическому царю, измечтанному им образу... А в распоряжении самодержавия оказался самый легкий и неголоволомный ответ: на все крестьянские дела распространено применение административного порядка. Глубокое разногласие между народными взглядами и формальным правом отдано в руки исправников и жандармов. Цари сами разрушали романтическую легенду самодержавия, созданную вековой работой народного воображения.

Это, конечно, мне видно с такой ясностью теперь... Но и тогда я уже задумывался над этим явлением и начинал сознавать его трагическую сущность.

VII

РЕЛИГИЯ БОГДАНА И САННИКОВЫХ

Не помню, было ли это в первый день рождества или в крещение: Богдан пришел ко мне заплаканный. По лицу старого украинца слезы текли, как горох. Он поздравил меня с праздником и сел, понурясь, на лавку. Я понимал его настроение: в праздник он должен был особенно живо чувствовать чужбину. Я сказал несколько слов в утешение.

Оказалось, что причина его огорчения не одна. Его хозяева, как и мои, работали в праздник, и Богдан был сильно озабочен вопросом — простит ли его бог, что его старые очи на склоне дней видели «такое». И он стал горько жаловаться: что же это за сторона — и люди не люди, и даже малые дети его глубоко возмущали. Мать поставила на печку дежу с тестом. Не заметила, что тесто поднялось и побежало через край.

— Так что же вы думаете... Дети стали хватать сырое тесто руками и пихать в рот... Мать прикрикнула на них и одного ударила ложкой... Так он повернулся и говорит: а того-то не хочешь?.. Такое малое, от земли еще не отросло...

Он с ужасом повторил циничную фразу, сказанную сыном матери, и по лицу его опять покатились слезы. Видно, уже бог проклял его, что послал в такую сторону, где дети так отвечают родителям, а сами родители работают в такие праздники.

— Вот послушайте меня, «старого чоловіка»,— говорил он с глубокой уверенностью, поворачиваясь к семейным Гаври.— Попробуйте нарочно — смелите на мельнице зерно в благовещение. После надрежьте на дереве кору и посыпьте немного этой мукой. Чтоб мне не увидать родную сторону, чтоб тут у вас закрылись мои старые очи, коли то дерево не усохнет...

Он сказал это с необыкновенным одушевлением и прибавил:

— А вы ж такой хлеб в утробу принимаете.

Я постарался успокоить его, как мог, но еще много раз он приходил ко мне до глубины души огорченный, рассказывая о случаях нового нечестья. Ему приходило в голову, что, быть может, это его несчастная судьба занесла в такую семью, а в других этого нет. К несчастью, он ошибался: семья, где его поселили, была не лучше и не хуже прочих. Он вздыхал и порой плакал.

Потом пришел ко мне с просьбой, чтобы я написал ему прошение, что не он мутил односельчан, а делал это такой-то. Он назвал какого-то писарчука и очень огорчался, что я отказываюсь писать донос, хотя бы на врага всего общества. «Видно, уже мне помирать в этом лесу и лежать в грешной земле...» Он отлично помнил все праздники и никогда не сбивался. Когда приходили Санниковы, он пускался с ними в благочестивые беседы, и они плакали вместе.

Санниковы были тоже люди благочестивые. Я сказал, что они взялись строить в Афанасьевском часовню, а пока прислуживали в церкви за богослужением и читали апостола. На постройку смотрели как на дело благочестивое: церковь строить не так просто, как избу или даже хоромы. В своем месте у них есть приятель иконописец. Тот без молитвы краски не разведет, кисти в краску не обмакнет — угодный человек. Понимает, что икона иконе рознь...

И Санников, пытливо вглядываясь в мое лицо, рассказал мне следующую историю, доказывающую, какие ныне опасные времена и как легко по нынешним временам незнающему человеку погубить душу. Везли раз через их село чудотворную икону владычицы... Не простая икона: с земли греческой. Возили ее какие-то люди, тоже не наши: монашки с лица черномазые и волосом черные. Глаза как угли, и владычица на иконе на ихнюю же стать — тоже темноликая. Приехали в село, стали люди молебны заказывать. Санников тоже вздумал помолебствовать, да еще хотел и общество склонить. Так как у них тяжба, то надо бы помолиться владычице об умягчении судейских сердец. Да пошел он к приятелю иконописцу. Так и так — не помолебствовать ли обществом? Тот его даже за руку схватил. «Что ты, что ты, говорит, не моги и думать! Случилось, говорит, мне быть в таком-то селе, так люди сказывали: была и у них эта икона. Более недели стояла. Деньги загребала лопатой. А как закончили да собрались уезжать из села — закутили, дым коромыслом. Пьянство, блуд... Стали считаться. Возчик деньги требует, а монашка пьяная и говорит: какие же тебе деньги, когда ты со мной блуд имел... Вот какая это икона! Теперь, говорит, времена пришли антихристовы. Стал он свои иконы пускать для соблазну. Не знает человек — помолебствует, а иной только на нее перекрестится, а уж он, антихрист-то, его и записал к себе».

— Конечно, мы люди темные, долго ли душу погубить!..— говорил Санников с скорбным выражением лица, пытливо вглядываясь в меня.— Может, поэтому иные люди и не крестятся на иконы... Сказывают, слышь, и синодские теперь бывают со всячинкой. Всюду он свои сети запускает...

Рассказ Санникова заставил меня задуматься. Конечно, и тут было много суеверия, но уже один этот взгляд Санникова, полный пытливости и тоски, каким он смотрел на меня во время рассказа, указывал ясно на душевное страдание, связанное для него с отвлеченными вопросами. Тут вопросы религии уже связывались с вопросами общей мирской неправды, и это до известной степени делало мне его настроение родственным и понятным. И я задумался. Это уже был не Гаврин разговор о «богах». Как мне, в свою очередь, сделать понятным то, что происходит в моей душе? Как указать этим людям, что вопросы высшей правды живы и у нас, только живут они в непонятной для них форме? Где же найти общий язык, простой и понятный для выражения общей правды,— без лицемерия, без лжи, без «прикидывания»... И впоследствии много раз передо мной вставал этот вопрос, и каждый раз мне вспоминались простодушные голубые глаза седого старика, уставившиеся в меня с мучительно-пытливым выражением.

VIII

«ДЕВКУ ПРИВЕЗЛИ»

Как-то вечером, на святках, семья Гаври уезжала бражничать к богатому починовцу Дураненку. Это был тот самый хозяин, который в день моего приезда на сходе у старосты говорил о необходимости «уважить» Фрола-Лавра новой крышей. Его слушали почтительно, и его мнение приняли. Это был, пожалуй, самый зажиточный человек в Починках.

Вернулись мои хозяева от Дураненков поздно и рассказали мне новость: «К Дураненку привезли девку», тоже ссыльную. Они ее видели, и она им сказала, что она «по одному делу со мной».

Я плохо спал эту ночь от нетерпения. «По одному делу со мной»... Может быть, это одна из сестер Ивановских... Наутро, однако, когда проспавшиеся хозяева рассказали подробности, я убедился, что мое предполо-

жение неверно: девушка была светлая блондинка, с кругло остриженными волосами, «как у парня». По одному делу со мной... Я понял, что этим она хотела сказать, что она тоже политическая. По описанию — это была совсем молоденькая девушка. Как она должна чувствовать себя в этой глуши?

На следующее утро к Гавре зачем-то приехал молодой парень — сын Дураненка. Он дополнил рассказы моих хозяев: «Девку привез сам урядник и поселил у них, сказав, что на то есть приказ самого исправника: поселить в лучшей избе, то есть у Дураненка».

— Ну,— сказал я парню,— поклонись вашей новой жилице и скажи, что завтра я приду к ней.

Парень замахал руками.

— И-и ни-ни́. Не моги приходить! Урядник приказал, чтобы ссыльных, особливо тебя, не подпускать на сто сажен к нашему починку. «Коли что, говорит,— из оружья стреляйте».

Это было серьезно. Глупый урядник, может быть, по приказу неумного станового или исправника, вводил совершенно новый мотив в нашу ссыльную жизнь. Раз уже мне прислали для подписи обязательство «не выходить за черту селения». Я ответил в шутливом тоне, что так как я живу не в селении, то и обязательства не выходить за черту его дать не могу. Теперь это была попытка прикрепить нас, как к тюрьме, к пределам данного починка. Бог знает к чему могла бы повести эта попытка, если бы я ей подчинился. Поэтому я вспыхнул и сказал парню:

— Ну когда так, то скажи отцу: завтра я приду к нему в гости не один. Позову еще Несецкого, Лизункова и других ссыльных. Пусть принимает гостей.

Лизунков был тоже уголовный ссыльный, человек загадочный и странный: огромного роста, заросший бородой до самых бровей, с длинными волосами, которые он распускал по плечам и напускал сверху на лоб. Прошлое его не было никому известно: говорили, что заросль на лбу и на щеках скрывает клеймо КАТ, которое когда-то палач ставил каленым железом приговоренным на каторгу. В его отрывочных рассказах порой проскальзывали сведения о дальней Сибири. Он знал, как называется китайская водка («дюже крепкая: выпьешь с наперсток — с ног валит»), и рассказывал, что китайскую лодочку можно унести под мышкой... В бога он не верил и, к удивлению починовцев, любил порой

кощунствовать, ругая и бога, и богородицу, и Николу-чудотворца самыми неприличными словами. Говорил он медленно, глухим голосом, и глаза его при этом глядели тяжело и тускло. Мне казалось, впрочем, что эта устрашающая наружность и манеры были для этого человека только оружием в жизненной борьбе, особенно в Починках, а в сущности, душа у него была не злая... Я раза два принимал его у себя, угощая чаем, и в его глазах читал благодарность и даже преданность. Я был уверен, что он по первому слову пойдет со мной к Дураненку.

Семья Гаври при моем заявлении смотрела на меня с удивлением и даже некоторым страхом. До сих пор они считали меня «смирным», а теперь я грожу привести с собой к Дураненку ораву ссыльных. Но мне не оставалось ничего другого: я был в лесу, среди лесных нравов, и если я позволю уряднику поставить меня в зависимость от его самодурных приказов, то трудно сказать, до чего это могло дойти. Кроме того, в моем воображении стояла эта бедная девушка. Она, конечно, ждет моего посещения среди этих лесных людей. И я не приду?..

— Ну так вот, парень! Так и скажи отцу,— повторил я твердо. Парень, видимо, испугался. Он уехал с озабоченным видом, а часа через три явился сам Дураненок. Я, правду сказать, на это и рассчитывал, вспоминая свою первую встречу с бисеровцами. Я был почти уверен, что Дураненок уступит. Несецкого, Лизункова и других ссыльных я хранил как последнее средство.

Войдя и покрестившись на иконы, Дураненок, плотный, хорошо, даже щегольски по-местному, одетый, солидный мужик, поздоровался со мной за руку и сказал:

— Тут, слышь, Володимер, мой паренек тебе нахлопал зрятины... Коли придешь к ссыльной нашей, мы тебе будем рады... Как не пустить хорошего человека... Наш вотин (я говорил, что урядник был родом вотяк) сам, видно, ничё не понимат в делах-те.

— Ну вот этак-то лучше,— сказал я.— Урядник ваш действительно глуп и наскажет вам невесть чего.

— А ты, Володимер, бабе моей чирки не изладишь ли? В чирках ей хушь в церковь когда ни то съездить...— вкрадчиво сказал Дураненок.

— Достанешь товару — для чего не изладить,—ответил я весело. Для меня стало очевидно, что дело

обойдется без скандала. Глупое притязание полиции было парализовано в лице самого влиятельного из починовцев... Его примеру последуют остальные.

На следующий день я пошел по льду Камы. Починок Дураненка находился верстах в шести от Гаври и стоял над крутым берегом. Каждый починок в этой обильной лесом стороне состоит из двух изб. Одна летняя, другая зимняя. Каждую зиму починовцы непременно морозят тараканов в зимней избе, и на это время семья переходит в летнюю. Остальное время зимы она стоит пустая, и теперь в ней поселилась новая жилица Дураненка. Это оказалась Эвелина Людвиговна Улановская, полька родом, но получившая чисто русское воспитание и уже прикосновенная к русской «политике». В ее избе было опрятно и чисто. На стене висело католическое распятие — благословение матери. На лавках и полках она разложила книги... Дураненок рассказал мне, что новая моя знакомая — «девка бедовая». Один из зашедших к нему парней, увидев девушку, остриженную как мальчик, позволил себе с нею некоторую вольность. Она толкнула его так, что он упал и больно зашибся. После этого парни держали себя с нею почтительно. Несмотря на эту видимую бойкость, я понимал, что бедная девушка, в сущности, очень испугана починковской глушью. Узнав, что я собираюсь ехать в село Афанасьевское, она стала упрашивать меня не делать этого. Если еще меня увезут отсюда «за нарушение циркуляра», то ей прямо страшно оставаться здесь одной.

Сама она была прислана сюда из Олонецкой губернии, места своей первоначальной ссылки, именно за такое преступление. Целая колония политических ссыльных жила в городе Пудоже. В это время вышел приказ министра внутренних дел Макова о том, чтобы ссыльные не отлучались за черту города или села. В виде протеста против этого циркуляра пудожские ссыльные решили целой компанией отправиться за город, за грибами. Узнав об этом, местный исправник снарядил в погоню целую команду. Помнится, эта история была в юмористическом тоне описана в одной из столичных газет, за что газета, кажется, получила предостережение. Произошло чисто опереточное столкновение с инвалидной командой, причем ссыльные, преимущественно молодые девушки, кидали в команду грибами, которые успели набрать до столкновения. Их все-

таки взяли в плен, насильно усадили в лодки, а мужиков из соседней деревни заставили лямкой тащить эту преступную молодежь в город. В результате несколько зачинщиков и зачинщиц этого «грибного бунта» (так и был известен этот эпизод среди ссыльных) были разосланы в разные глухие места с особой инструкцией местному начальству. Улановская, как особенно неугомонная, попала в Починки.

Дослушав эту интересную историю, я невольно засмеялся. Особенно интересной показалась мне роль тех пригородных мужиков, которым выпало на долю по приказу начальства тащить лямкой своих заступников в тюрьму. Молодая девушка презрительно улыбнулась.

— Вы кощунствуете, называя этих людей народом,— сказала она.

Еще недавно я, пожалуй, сказал бы то же. Конечно, ни тех мужиков, ни наших починовцев нельзя было назвать «народом». Но... что же следует считать «народом» в истинном значении этого слова... Где искать его истинного мнения, его взглядов, его надежд... И есть ли, подлинно, такое уже сложившееся народное мнение? И где та грань, которая отделяет подлиповца от «истинного народа»? Все эти вопросы, хотя еще не вполне определенно, бродили тогда в моем уме и воображении. И, помню, я поделился тогда ими с моей новой знакомой.

Она со слезами на глазах упрашивала меня не ездить «самовольно» в село, предчувствуя, что и для меня это может кончиться новой высылкой. Читатель увидит, что это предчувствие впоследствии оправдалось. Боязнь молодой девушки меня трогала, но я не хотел и, пожалуй, не мог отказаться от поездки. Я уже говорил, что губернатор Тройницкий по внушению исправника отказал мне в законном пособии, указав, что я могу получать средства «от родных». На это я опять написал жалобу министру, в которой напомнил, что, как это министру известно,— меня, брата, зятя и двоюродного брата, то есть всех мужчин семьи, без суда и следствия разослали в разные места, оставив одних женщин без всяких средств. Ввиду этого, писал я, нынешний отказ вятского губернатора в законном пособии и особенно мотивировку этого отказа я не могу считать не чем иным, как совершенно неуместным издевательством. Эта новая язвительная жалоба пошла в Петербург, и впоследствии, еще в Починках, я получил посо-

бие. Но в то время дело еще не было решено, и я должен был рассчитывать исключительно на свою сапожную работу. Между тем товар у меня весь вышел, и единственная возможность добыть его состояла в поездке.

Через несколько дней я действительно съездил в село, повидал там описанных во втором томе ссыльных, увидел еще приезжавших к Иерихонскому конспиративно крестьян, поговорил с Митриенком о приходивших к нему лешаках и, запасшись некоторым количеством очень плохого товара, благополучно вернулся и — забыл об этой поездке.

Последствия ее мне придется описать дальше.

IX
ГОСПОДИН УРЯДНИК

Через несколько дней, выйдя еще до зари на крыльцо Гаврина починка, я увидел на поляне за Старицей фантастическое зрелище: по темным полям и перелескам мчались верховые с факелами, или, вернее, с пучками лучины, очевидно кому-то освещавшие дорогу. В самой середине этой светящейся кавалькады можно было разглядеть сани, запряженные цугом, а в санях виднелась одинокая грузная фигура.

Я подумал, что это какое-нибудь важное начальство решило осмотреть наконец Починки, куда теперь стали высылать политических и даже девушек. Но это оказался только урядник.

Он остановился в одном из починков, верстах в полуторах от Гаври, и я решил отправиться к нему, чтобы передать ему заранее заготовленные письма.

Проехав полторы версты на Гавриной неоседланной лошади, я вошел в избу. Урядник был уже в новой форме, наконец полученной, очевидно, из города, и это придавало ему необыкновенную важность. Он сидел, развалясь, один за столом, на котором стоял ковш браги, раскупоренная бутылка водки и разная снедь. На лавках, на почтительном расстоянии от важного начальства, сидели починовцы, среди которых я заметил и старосту Якова Молосненка. Урядник едва кивнул мне головою и растопырил руки, стараясь занять для важности как можно больше места за столом. Он был уже заметно выпивши. Я подошел к столу и, бросив письма, сказал решительным тоном:

— Передайте становому для дальнейшей пересылки.

Урядник важно стал вынимать одно письмо из конверта. Я посмотрел на его руки и сказал спокойно:

— Вы не имеете никакого права контролировать мою переписку. Это дело исправника. Ваше дело — только переслать письма. Помните это.

Урядник смутился. Рука его как-то заерзала, но он тотчас же пугливо спрятал письмо в лежавшую около него сумку. Урок при мужиках был ему, видимо, неприятен. Он еще больше развалился и спросил грубо:

— У девки уже побывали?

— У какой это девки? — спросил я.

— У ссыльной, что поселена у Дураненка.

— У Эвелины Людвиговны Улановской, хотите вы сказать... Был...

— Раз были... И два были?

— И десять раз был, и еще буду много раз.

Мужики насторожились. Урядник встрепенулся как ужаленный и повернулся к старосте...

— Ты не обязан пущать. Не пущай!

Староста, рослый мужик, посмотрел задумчиво вопросительным взглядом на урядника и на меня. Я чувствовал, что должен во что бы то ни стало разрушить это нерешительное настроение, и поэтому, улыбаясь, сказал:

— Ты, староста, спроси теперь же у урядника, как тебе меня не пускать, когда я все-таки пойду. Силой, что ли?

— Силóм не пущай! Чтобы ни отнюдь, ни-ни! На сто сажон чтобы никто из ссыльных не смел подходить.

— Хорошо,— сказал я, все так же улыбаясь, и повернулся к мужикам,— все вы слышали, что урядник сказал старосте. Это незаконно. Я ходить все-таки буду, а если у нас с старостой что-нибудь выйдет нехорошее — вы свидетели, что это приказал урядник.

Мой спокойный тон, видимо, испугал урядника. Он стукнул кулаком по столу и торопливо крикнул старосте:

— Ни-ни. Не моги!.. Пальцем не моги тронуть!

И староста, и мужики посмотрели на него с недоумением. Я догадался: урядник вспомнил о моем дворянском звании, которое значилось в бумагах. Я решил воспользоваться этим обстоятельством и сказал:

— Вы, урядник, не знаете своего дела и только сбиваете людей с толку. Слушай, староста, я тебе объясню то, что не умеет объяснить урядник. Ни не пущать меня силой, ни драться со мною ты не обязан. Ты можешь только узнавать при случае, куда я хожу, и, когда приедет урядник, сказать ему.

— Вер-рно! — сказал урядник, с удовольствием подтвердив восклицание ударом кулака по столу.— Обязан донести мне... А сам не моги тронуть пальцем. Других ссыльных бей в мою голову.

— И это опять неверно,— сказал я.— Никого вы тут не можете бить. Это самоуправство. Вы можете унять в случае буйства и пожаловаться... Но сами расправляться не имеете права. За это ответите.

— Вер-рно,— опять, хотя и не столь решительно, подтвердил урядник.

— Ну вот, запомните, что говорил урядник раньше и что говорит теперь. А пока прощайте.

И, попрощавшись со старостой и мужиками, я вышел.

На дворе светало. Когда я подъезжал к Гаврину починочку, поезд урядника двинулся еще куда-то. И опять его сопровождали верховые с зажженной лучиной, хотя в этом не было теперь ни малейшей надобности.

Я был доволен этим эпизодом: бисеровцы убедились в том, что их вотин не имеет понятия «о делах», и не станут так слепо исполнять его распоряжения. Но, припомнив весь разговор с этим «начальником», я невольно улыбнулся. Что делал я сейчас в этой избе, наполненной темными бисеровцами? Я — человек, настроенный революционно,— разъяснял им азбуку законности. Впоследствии много раз я имел случай заметить, что людей, апеллирующих к законности и особенно разъясняющих ее простому народу, наша администрация всякого вида и ранга считала самыми опасными революционерами. Таким меня, очевидно, считала теперь вся вятская администрация, начиная с этого урядника и кончая губернатором...

И до самой старости меня проводила та же репутация опасного агитатора и революционера, хотя я всю жизнь только и делал, что взывал к законности и праву для всех, указывая наиболее яркие случаи его нарушения. И, может быть, это инстинктивное

отвращение людей самодержавия было основательно: около этой оси наша жизнь могла еще повернуться и стать на другой путь. Но в конце концов он все-таки должен был привести к упразднению самодержавия.

Не могу сказать точно, чтобы все эти мысли так ясно, как теперь, стояли уже в моей голове в то время, когда я пробирался на неоседланной лошади в утренние зимние сумерки к починку Гаври. Помню только чувство удовлетворения, которое я уносил с собою в это утро: мужики так легко усвоили мою точку зрения. Я знал, что урядник не простит мне этого урока, но знал также, что его слова теперь потеряли силу. Действительно, дня через два молодой парень из семьи Микеши, у которого жил Федот Лазарев, рассказал мне, что урядник собрал несколько мужиков в одном починке и стал им говорить, что я — человек опасный и что меня надо остерегаться. По некоторым чертам этой «политической речи» я узнал отголоски маковского циркуляра, о котором говорил выше. Очевидно, идеи министра внутренних дел прошли через головы исправников и становых и дошли до урядника, который тоже говорил, что вот я не пьянствую, не скандалю и что это-то и есть «опасность». Политика оказалась тонкой для понимания бисеровцев. Молодой крестьянин передавал слова урядника с насмешкой, как доказательство полной несообразности вотина. Когда он кончил, один из мужиков ответил простодушно:

— Чего опасный!.. А по-нашему так: хучь спи с ним, ничего тебе не сделает... Что его беречься!..

Конечно, если этот результат стал известен высшей вятской администрации, то это могло ей внушить идею о том, что мое вредное влияние уже укоренилось в Починках и что это, в свою очередь, угрожает прочности российского престола...

Впоследствии, когда я уже уехал из Починков, брат мне писал, что мужики все-таки избили до полусмерти Лизункова. Очевидно, агитация урядника после моего отъезда стала все-таки оказывать свое действие, и я пожалел, что в свое время не обратил на нее больше внимания.

X
ИСКОРКИ

Читатель видит, что я в это время очутился действительно на самом дне народной жизни, но нашел на этом дне только... подлиповцев. Мне все чаще и чаще вспоминался теперь забытый ныне писатель Решетников, нарисовавший когда-то поразительные по реализму и правде картины народной темноты и некультурности. Невдалеке от Починков, за Камой, проходила граница Чердынского уезда, родины решетниковских Пилы и Сысойки, и мне порой казалось, что Решетников писал своих подлиповцев с нынешних моих соседей.

Все здесь, начиная с языка, указывало на обеднение культуры и регресс. Язык починовца отличался местными особенностями нашего северо-востока и Сибири. Здесь, например, говорили «с имя́» вместо «с ними». Но некоторые выражения я встречал только в Починках и вообще в Бисеровской волости. Было тут слово «то́-оно». Починовец прибегал к нему каждый раз, когда ему не хватало подходящего слова, а случалось это постоянно, точно в самом деле русский язык в этих дебрях оскудел. «То́-оно» означало что угодно, и слушатель должен был сам догадываться, о чем может идти речь. Это было нечто вроде существительного, общего и смутного, пригодного для любого понятия и точно не выражающее никакого. Починовцы сделали из него и глагол — «то́онать». «Мамка, скажи Ондрийку... Пошто он то́онает!» — жаловался один парень на другого, и мать понимала только, что между парнями возникло неудовольствие. Такое же неопределенное значение имело слово «декаться». Я истолковал его сѐбе в смысле быть где-то, возиться с чем-то... «Долго декается парень»,— это означало, что парень отсутствует неизвестно где и неизвестно что делает.

Вообще наш язык, богатый и красивый, в этих трущобах терял точность, определенность, обесцвечивался и тускнел. Отражалось, очевидно, обеднение сношений с внешним миром. Порой, однако, на бедном фоне вспыхивали искорки, и судьба дарила меня приятными неожиданностями. Правда, что по большей части это вспыхивало прошлое. Однажды в знакомой семье мне указали девушку, полуребенка. Она пришла нарочно, чтобы повидать меня, грамотея с дальней стороны, читавшего занятные книжки. Про нее мне сказали, что

она умеет «сказывать» и без книжек. Некоторое время после моего прихода она сидела на лавке в дальнем углу, и оттуда на меня поблескивали ее большие черные глаза с наивным любопытством. Когда же ее вызвали ко мне, она держала себя очень застенчиво и робко, как будто раскаиваясь в своей смелости и стараясь стушеваться. Но когда я показал ей принесенную с собой книжку с картинками и обещал прочитать сказку, она оживилась, села на лавку на виду, её окружили любопытные слушатели, и она начала «сказывать». Я очень жалел, что не мог срисовать ее. Черты ее смуглого лица были необыкновенно тонки и красивы, а глаза сразу загорелись каким-то внутренним одушевлением. К сожалению, я теперь не помню «старинного сказа» или былины, которую она сказывала ровным певучим голосом, точно прислушиваясь к чему-то. Вполне ли она понимала все, что запало ей в душу из таких же рассказов какой-нибудь старой бабушки? Едва ли... На нее смотрели, ее слушали с удивлением, и, кажется, она сама так же удивлялась голосам старины, говорившей ее устами. Когда я, исполняя обещание, стал, в свою очередь, читать одну из народных сказок Пушкина и спросил ее, все ли ей понятно, она ответила скороговоркой: «Где, поди, понять-то», и тотчас же жадно подхватила: «Читай инó, читай дальше». Мое чтение было плоско и бледно сравнительно с ее сказом, но я видел, что она жадно ловит и каждое слово, и ритм пушкинского стиха, непроизвольно откладывая их в памяти. Потом, когда я уже говорил с другими, ее глаза смотрели мечтательно и губы шевелились: может быть, она затверживала пушкинские стихи.

На меня это свидание произвело сильное впечатление. Многое уже исчезло из новгородского эпоса, и вот — я присутствую в глуши этих лесов при внезапном пробуждении умершего прошлого...

После этого я стал замечать и другие искорки такой же непосредственной даровитости, хотя и не такие яркие, рождающиеся и умирающие в глухом лесу. Может быть, читателя удивит, когда я скажу, что одну из таких искорок я заметил в «непросужем» и малосимпатичном Гавре Бисерове. А между тем именно своим природным талантом он привел меня в восторженное настроение в первый мой починковский вечер. Впоследствии я понял, что восхитившая меня речь принадлежала не лично Гавре Бисерову. Так встречали при-

шельцев целые поколения его предков. У Гаври был природный дар — схватывать и откладывать в памяти слова ритуала на все жизненные случаи. И слова, и все приемы. Однажды в Починки заехал прасол, пронюхивавший, нельзя ли здесь делать выгодные дела со скотиной. Гавря, очевидно, не имел в виду продавать ему скотину, но все же стал торговаться, чтобы щегольнуть передо мной, новым человеком, своим умением. Прасол был, видимо, тоже артист своего дела и не отказался от вызова. Я был изумлен необыкновенным богатством образов, красотой и меткостью выражений этого словесного турнира. Заметив, с каким интересом я следил за ним, Гавря был очень доволен. «Отечь у меня вот мастер был торговаться»,— сказал он с довольной улыбкой. Я не узнал Гаврю: лицо его оживилось, маленькие глазки сверкали. Очевидно, у него была чрезвычайно острая память и, так же как в уме сказочницы непроизвольно запечатлевались не совсем понятные слова старинных былин,— Гавря сохранял в памяти все, что имело характер ритуала на разные случаи. Язык починовца, в обычном обиходе бедный и однообразный, в таких случаях у Гаври расцвечивался особым богатством и яркостью, вспыхивая совершенно неожиданными огнями.

И опять я начал понимать, что это говорит прошлое. Жизнь дает мало впечатлений и сведений. Ее новизна и разнообразие совершенно чужды починовцу, и, конечно, я не мог получить ничего в своих поисках народного отклика на наши интеллигентные запросы. Но — тем интереснее было мне замечать эти проблески непосредственной природной даровитости, сохранившиеся в глухих лесах, вдали от внешних влияний.

XI

ТРАГЕДИЯ ЛЕСНОЙ ГЛУШИ.— КАК МЕНЯ ПОБЕДИЛА ЛЕСНАЯ НЁЖИТЬ

Одной из ярких самородных искорок казался мне тот самый староста Яков Молосненок, которому урядник старался внушить всякие строгости по отношению к ссыльным. История его и его семьи внушала починовцам почти суеверное удивление. Ефим Молосный, его отец, был теперь красивый седой старик, как будто навсегда чем-то придавленный в прошлом. Ефимиха тоже была, по-видимому, когда-то очень красива, но

теперь вся как-то высохла, и только прекрасные глубокие черные глаза обращали невольное внимание. Семья одно время сильно бедствовала. Ефиму и его бабе приходилось даже побираться. Они часто в те времена просили у других починовцев «молочка для деток» — отчего их и прозвали «Молосными». Все думали, что семья эта уже никогда не подымется; к их старости у них вырастал один работник, сын Яков. Хозяйство пришло в полный упадок, а два младших сына были «килачи», то есть страдали грыжей, и, значит, оба были не работники. Казалось, что одному Якову не справиться. Семья так и захиреет в бедности и недостатках.

На деле вышло другое. Яков оказался необыкновенно удачлив. Все спорилось у него в руках на диво, спорилось так, что на соседей его удачи производили впечатление чуда. Он стал отличным плотником: топор ходил у него в руках как-то особенно ловко. Не довольствуясь плотничеством и пашней, он брался и за другие дела и, между прочим, выучился красить узорные дуги и подумывал даже об иконах. Дуги эти он мне показывал: узор их был мелкий, довольно пестрый и своеобразный. Очевидно, недовольный ходячими образцами, он старался придумать что-то свое. Узнав, что я умею рисовать, он нарочно приходил ко мне, чтобы расспросить, что нужно для живописного дела. В несколько лет, когда Яков вошел в полную рабочую силу, положение семьи совершенно изменилось. Теперь у Молосных на берегу Камы стояла новая изба из свежего леса, с обширными пристройками, разными узорными коньками и оконницами, просторная, светлая и белая (то есть с печной трубой). О том времени, когда старики выпрашивали молочишка, сохранились лишь воспоминания. Только благодушное лицо старика Ефима отражало на себе тяжелое прошлое, а глаза старухи все хранили выражение застарелой горечи.

Между прочим, рассказывая о лешаках и прочей лесной нежити, мне как-то передали, что на заводях летом водятся еще русалки, которые расчесывают над водой косы, и что их видел, когда был мальчиком, Яков Молосненок. Рассказывали, впрочем, сдержанно, как будто чего-то не договаривая. А не договаривали того, что Яков — колдун и знается с нечистой силой.

Все это интересовало меня все более и более. Я представлял себе этого человека с сильно развитым вообра-

жением и художественными задатками, глохнувшими в диком лесу. Он красит дуги, расспрашивает о живописи, видит в детстве на заводях чудесных русалок... И я стал искать случая сблизиться с Яковом Молосненком и поговорить с ним подробно.

Но это оказалось не легко. Яков был рослый молодец с широкими плечами, но несколько впалой грудью и не совсем здоровым цветом лица. Глаза у него были особенные: взгляд их, несколько тусклый в обычное время, производил впечатление какой-то настороженности и углубления. Потом, стараясь объяснить себе впечатление этих глаз, я сказал себе, что взгляд их был как будто двойной: точно на вас смотрели этими глазами два человека. Один вел обычные, довольно тусклые разговоры с недоумениями и колебаниями: господин урядник приказал то-то, или из волости пришел рассылка, принес такой-то приказ, и он не знает, как с этим быть... И все время из-за его обычного взгляда проблескивал мерцающе и смутно другой, настороженный, чутко притаившийся и тоскующий.

Мне придется рассказать, как эта искорка, загоревшаяся в глухом лесу, погасла. Если бы я писал художественный очерк, то тема была бы очень благодарная. И даже теперь художник во мне подвергает искушению бытописателя. Все это могло бы выйти так красиво: глухой лес, говорящий голосами лесных призраков, художественная натура, неудовлетворенная и тоскующая о чем-то красивом и лучшем и поэтому не приемлющая того, что дает эта лесная жизнь. И затем — ее гибель. Так соблазнительно устранить случайные черты, слишком реальные, чтобы быть красивыми.

Но — я пишу только то, что видел сам и что испытал среди этих лесных людей. Поэтому буду рассказывать лишь так, как видел.

Началось это очень прозаически — с приезда урядника в тот раз, когда я говорил с ним в починке Гаврина соседа. Урядник объехал много починков позажиточнее, и всюду его угощали. А так как староста всюду его сопровождал, то угощался и он. В одном починке была пасека, и хозяин угостил почетную компанию одновременно брагой и медом. Яков Молосненок страдал, очевидно, старым катаром желудка, и его после угощения сразу «схватило». Как-то с утра с этим из-

вестием явился ко мне отец Якова, старик Ефим Молосный. Лицо его носило следы всегдашней спокойной скорби. Он обратился ко мне как к предполагаемому лекарю:

— Помоги ты нам, Володимер. Более не к кому, инó к тебе...

— Да ведь я не лекарь, лекарств никаких не знаю, да и лечить не умею.

Он смотрел на меня своими круглыми глазами и говорил с тоскою:

— Нет уж, Володимер, Христом-богом прошу — поезжай ты со мной. Сам вот как просит: привези ты, бает, чужедального человека. Коли он не поможет — смерть моя.

В это время ко мне подошли Гавря и Лукерья. Их дочь была замужем за Яковом Молосненком. Лукерья смотрела на меня таким взглядом, что я тотчас же сдался, хотя меня и удивляло немного, что они придают такое значение простому несварению желудка от меду и браги.

— Зельё-то у нас есть,— прибавил повеселевший старик.— Летось баба-начальница проезжала, зельё у нас оставила. Поеду, бает, назад — захвачу. Да, вишь, проехала на Феклистят, а зелье и бросила. Баба моя мекает — какое зелье ему дать... Ты, может, лучше знаешь.

Я подумал, что если среди этих лекарств («зелья») найдется касторовое масло, то я могу оказаться полезным. Мы поехали со стариком. С нами поехал на своих дровнишках и Гавря.

При нашем приезде Яков сошел с полатей, одетый, в валенках и теплом полушубке. Когда он тяжело привалился к стенке голбца, мне показалось, что стенка провалится под напором этого огромного тела. Шея у него была обвязана бабьими платками. Он встретил меня своим двойственным взглядом, в котором мне виделась сдержанная надежда. Старуха мать сидела за столом и разглядывала на свет пузырьки с лекарством. Лицо у нее было озабочено и печально.

— Погляди-кося, Володимер, какó бы зелье дать ему. Не вот это ли?

Она показала что-то совсем не подходящее. Я просмотрел пузырьки. Касторового масла не было.

— Не годится, баешь? — сказала бедная старуха,

опуская руки на колени.— Чё делать-то нам, чё делать?..

И она посмотрела на меня своим скорбным взглядом, в котором виднелся испуг. Больной сидел на лавке, опустив голову. У него был прежде озноб, теперь жар. Я подошел к нему, пощупал голову, велел показать язык. Голова горела. Язык был обложен.

К сожалению, этими приемами исследования ограничивались все мои медицинские познания. Сам я с детства был очень здоров, лечили нас редко, обходясь липовым цветом, завязыванием горла чулком и только иной раз касторкой.

Я сообразил, что и тут без касторки не обойдешься. Где же взять ее? Я вспомнил об Улановской. До ссылки она училась на фельдшерских курсах, и, может быть, у нее есть домашняя аптечка. И я отправился верхом за три версты в починок Дураненка. Поговорив с Улановской, которая, увы, знала немного более меня, я узнал еще одно средство: мыльные свечи — и с этими сведениями, а также с небольшим количеством касторки отправился опять к Молосным, где дал больному слабительное. Он подчинялся всему покорно, но с каким-то безнадежным видом. Когда я наливал касторку в деревянную ложку, вся семья смотрела на меня, точно я совершал священнодействие. Испуг по поводу пустой, на мой взгляд, болезни по-прежнему чувствовался во всей семье. Килачи смотрели на меня разинув рот. Дочь-подросток с такими же выразительными глазами, как у матери, заглядывала из-за их спин с видом испуга и надежды. Я чувствовал себя в роли благодетельного волшебника.

Когда я возвращался от Улановской, были уже сумерки. Вдоль Камы несло легким снегом, и мглистые тучи покрывали звезды... В избе теперь слышалось порывами легкое шипение метели...

Больного по-прежнему то прошибал пот, то знобило так, что у него стучали зубы.

Выпив, не поморщившись, противное лекарство, он задержал меня в своем углу на лавке под полатями. В этом углу было темно, так как полати нависали над головами. Тут уже была приготовлена постель. Я немного удивился, что ее устроили внизу, а не на печи или на полатях, где было теплее. В это время старуха выслала семейных на двор с разными поручениями. Старик лежал на печи. Казалось, я остался наедине

с больным. Он посмотрел на меня своим странным взглядом и сказал:

— Побаять я с тобой хочу...

Он потупился, посидел некоторое время молча и потом спросил глухо:

— Помогет ли, слышь, зельё-то твое?

— Поможет, поможет, Яков. Да и болезнь-то твоя совсем пустая...

— Пустая, говоришь... Нет, не пустая... Это ведь лихоманка...

Я знал, что лихоманкой зовут в народе лихорадку, и тоже не придал заявлению того значения, какое мне невольно слышалось в его тоне.

— Ну так что же,— сказал я.— И на лихоманку есть зелье. Погоди, вот я выпишу из города хину, тогда примемся и за лихоманку...

Он оглянулся кругом и, увидев, что мы в нашем углу одни, сказал:

— Ходит она ко мне...

— Кто ходит? — спросил я с удивлением.

— Да лихоманка же...

— Как ходит? Что ты говоришь!..

— Так и ходит... Давно повадилась, проклятая...

И, понурив голову, он прибавил едва слышно:

— Сплю я с нею, бывает. Боюсь я.

Зубы его застучали, и, справившись с ознобом, он рассказал мне «как на духу» следующую странную историю.

Ему и прежде часто являлась «она» под видом женщины... Да и баская же, подлая (красивая)... Все заманивала... А когда он затеял свадьбу — она пришла к нему и запретила жить с женой. У него не было силы ослушаться, и вышел большой грех: три месяца после свадьбы он не жил «с родной женой»...

В это время над нашими головами раздался взрыв женского плача, такой внезапный и сильный, что мы оба вздрогнули. Оказалось, что это Алена притаилась незаметно в темном углу полатей и слушала, затаив дыхание, наш разговор.

— Послухал ее, прокля-ту-ю,— говорила она среди рыданий.— Поверишь ты, чужедальний человек: вышла я замуж и долго не знала, какой муж бывает... А это он с нею, с проклятущею, спутался... О-о-ой... головонька моя бедная! Зачем коли и женился на мне...

И опять взрыв истерического плача заглушил ее слова, прорываясь порой почти кликушескими восклицаниями. Старуха кинулась на полати и почти силой стащила ее на пол...

— Молчи, а ты, болезная, молчи, горемычная...

Она гладила сноху по голове, уговаривая, как малого ребенка. Потом помогла «оболочься» и услала к скотине.

Теперь тяжелая драма этой семьи стала передо мной ясно. Когда пришло время женить Якова, старики посылали сватов в несколько семей, но всюду получали отказ. Семья еще недавно побиралась, и в прочность ее благосостояния соседи не верили. Пришлось обратиться к «непросужей» семье Гаври и взять оттуда невесту. Алена выросла под руководством толковой Лукерьи и была хорошая работница. Она была довольно красива, но, как и младший братишка, походила не на мать, а на отца: в ее лице была какая-то особенная складка, которая довольно резко кидалась в глаза, портя ее красоту. Якову она не нравилась... Еще с тех пор, как в детстве он видел, наяву или во сне, русалок, расчесывающих волосы над заводями в камышах,— в душе его поселился другой женский образ, посещавший его в сонных грезах... И он жил двойственной жизнью: *она* посещала его во сне, а наяву он считал ее лихоманкой, нечистой силой, которая когда-нибудь придет по его душу...

Я постарался, как мог, рассеять этот кошмар: никакой женщины-лихоманки на свете нет. Он видит ее только во сне... А простая болезнь, лихорадка, легко излечивается лекарствами. Я уложил его, предсказав скорое действие касторки, и отошел в другой конец избы к старухе... Она слышала наш разговор и, когда я подсел к ней, сказала:

— Ты вот баешь, Володимер, будто нет ее... Напрасно... Да ведь не один Яков, все мы ее слышим.

— Как это вы слышите ее? — спросил я с некоторой досадой.

— А так и слышим: взлает кыцян[1] раз и другой. Сам лает, а сам, видно, боится: взлает и завизжит да в подклеть забьется. Потом отворяет *она* калитку, идет во двор... скрыпит под ею лестница.

---

[1] Кыцян — по-местному, собака. (Здесь и далее, где это не оговорено особо, примеч. В. Г. Короленко.)

Ее большие глаза смотрели на меня пристально и неподвижно, но голос был ровен, точно она рассказывает самые обыкновенные вещи...

— Потом, слышь, скрыпнет дверью, входит в избу... Потом на полати полезет, подваливатся к Якову...

— Да что вы мне рассказываете!..— крикнул я невольно.

— Истинная правда — вот те крест. Потом, слышим, начинает он ее целовать... И дверь пробовали запирать... Ей ничего, и запор не берет. И слышь — не видно никого, а только слышно... Кого хошь спроси.

В это время Ефим слез с печи и подошел к нам. Поражавшее меня в его лице выражение угнетенности и скорби теперь было особенно сильно. Темно-синие детские глаза глядели с наивной трогательной печалью.

— Верно,— подтвердил он.— И я чую... Да не то что я — все чуют, вся семья.

Мне осталось только предположить, что вся эта семья переживает то, что мы по-книжному называем коллективной галлюцинацией. Но — как объяснить им, что это — только простой обман чувств и что в действительности темный бор над Камой, шумевший и в эту минуту под налетами ветра, не посылает к ним своих роковых посланцев...

В это время Яков зашевелился и поднялся с лавки. Старуха кинулась к нему, и оба они вышли. Она поддерживала его под руку. Я обрадовался: очевидно, действует моя касторка... Авось, думал я, это простое прозаическое средство окажется сильнее мрачных призраков, осадивших эту лесную избу.

Через некоторое время оба вернулись. Яков сел на свою лавку в углу, а старуха подсела ко мне. Она видимо повеселела.

— Легче, слышь, от зелья-те,— заговорила она, глядя на меня благодарными глазами.

— И совсем пройдет,— сказал я.— Только почему вы устроили ему постель в углу? На полатях и просторнее, и теплее...

Она наклонилась ко мне и сказала, понизив голос:

— Нарочно мы это... Тут ей, проклятой, подвалиться-то некуда... Лавочка-те узка.

Семья стала возвращаться со двора. Пришла и Алена, покормив скотину. Я подошел к Якову и пощупал голову. Мне показалось, что жар спадает.

Собрали на стол к ужину. В избе точно повеяло другим настроением. Все повеселели. Яков попросил есть. Старуха налила ему квасу и стала крошить в чашку хрен...

— Любит он,— сказала она, указывая головой на Якова.

— Нет уж, с этим погодите. Нет ли чего полегче?..

Полегче ничего не было. День был постный. Больной поел то же, что и другие члены семьи. У меня все-таки хватило познаний, чтобы посоветовать есть поменьше, но... всякий врач скажет, вероятно, что я должен был настоять на большей диете. Повторяю, я был совершенный невежда.

Ужин еще не был кончен, как на Каме послышались бубенцы. Звуки то доносились с порывами ветра, то стихали. Старуха прислушалась и сказала:

— Фатька это гуляет... Три дня, сказывают, крутит.— Лицо ее стало озабочено.

— Гли-кося... К нам сворачивает.

Лицо больного нахмурилось... Было видно, что посещение Фатьки неприятно ему и всем. Сани, очевидно, изменили свое направление: звук бубенцов донесся явственней: сани подымались по взъезду...

Потом послышался шумный говор и топот. Компания всходила по лестнице. Дверь отворилась, и в избу ввалились три мужика. Впереди шел коренастый мужчина в тулупе мехом вверх... Это и был три дня крутивший Фатька. За ним шел тот самый безносый мужик, который приезжал ко мне в первый раз с Несецким. Третьего я не знал. Все были пьяны.

Фатька, не забыв покреститься, не разболакаясь, остановился шагах в трех от стола и посмотрел на Якова и его семейных насмешливым взглядом.

— Что, брат: одолевает она тебя?..

Яков поморщился, как от удара, и сказал с видимой досадой:

— Брось!..

— Чего брось...— И Фатька грубо захохотал.— Ослаб ты, видно, Яшка. Одолеет она тебя, не справишься дак... Гляди на меня: третий день крутим этак. Не поддаюсь я ей. Я ее не испужаюсь: сама меня испужается... Вишь, я какой!

Он действительно был похож более на медведя, чем на человека. Я вспомнил, что когда мне рассказывали о лешаках и прочей нежити, то, между прочим, упоми-

нали и о Фатьке; к нему тоже повадилась лихоманка: ходит под видом умершей жены и заставляет жить с ней. Он очень любил покойницу. Она тоже. После ее смерти сильно тосковал. И вот лихоманка стала приходить к нему по ночам, под видом жены... Но он ей не поддается. Заметив меня, Фатька захохотал и свистнул:

— И ты, чужедальной человек, тут. Ну, пропал ты, Яков... Не помогет тебе чужедальной человек, коли сам подашься.

— Послушай,— сказал я ему,— ты бы приехал когда в другой раз. Видишь сам: человек болен. Ему не до гостей.

— Гонишь!..— сказал Фатька и опять захохотал.— Ну, ин быть по-твоему. Поедем, товарищи, в ино место, где нам будут рады: вишь, водку-те не всю еще вылакали. Прощайте ино, молосняты...

Вся компания вывалилась из избы, и скоро звон шаркунцов смолк на Каме. Я остался ночевать.

— Ляг, Володимер, подле меня... Постелите вон тут, на лавке,— указал Яков в ногах у своей постели. Я понял: он думал, что лихоманка побоится чужедального человека. Когда все улеглись, я услышал, как старуха говорила Алене:

— Слышь, он бает: не лихоманка это — сонная греза.

Алена грустно простонала что-то в ответ. Может быть, сонная греза казалась ей не легче лихоманки. Ночью, проснувшись, я прислушался: Яков спал. Дыхание его было ровно. Лихоманка в эту ночь не приходила.

Наутро настроение в нашей избе совсем просветлело. Жар у Якова заметно упал. Он видимо ободрился, а за ним ободрились все. Мне теперь казалось странным, что даже я подчинился вчера до известной степени общему настроению, и положение показалось мне таким устрашающим. Конечно, то, что им кажется, действительно грозно для них. Они, как дети, боятся темноты, лесного шума, призраков своей фантазии. Но как случилось, что и я-то сам, очевидно, преувеличил значение для них этих призраков. Я теперь опять шутил над лихоманкой...

— Вот видите: немного зелья, и вашей лихоманки как не бывало. Яков видел ее во сне. Мало ли что человеку пригрезится. А вы поверили, и вам чудится от страха.

Они слушали мои слова с недоверчивой улыбкой так же, как раньше починовцы слушали мои шутки над лешаками. Они знали свое так же твердо, как и я знал свое. Для нас это были две противоположные очевидности. По их мнению, лихоманка «испугалась» меня и моего зелья. Я был чем-то вроде светлого гения, прогнавшего нечистую лесную силу. Вся семья смотрела на меня с благодарностью и почтением...

До сих пор во мне живо еще сожаление, что я не остался у них до полного выздоровления Якова. Но, уезжая с Ефимом, я оставил дома неоконченную работу и начатое письмо: я ждал, что скоро должен представиться случай отправить письмо в Глазов, и не хотел пропустить его. Я попросил конька и собрался уехать на несколько часов домой. Старуха вскинула на меня свои черные глаза, но успокоилась, когда я сказал, что к ночи вернусь: они, очевидно, все еще боялись. К сожалению, я-то совершенно перестал бояться, и мне было немного совестно перед собой за вчерашние опасения. Поэтому, все так же шутя, я уехал на молодом коньке. Это был любимый конек Якова.

Утро было светлое. Метель как будто стихла, но погода была ненадежная. Когда я ехал по Каме, бор то и дело принимался шуметь глухими порывами, а местами на поворотах реки ветер взметал накиданный прошлой метелью снег. Ветер все крепчал. В семье Гаври меня встретили тревожными вопросами и, видимо, очень обрадовались успокоительным вестям.

Было еще рано. Я кончил работу и принялся за письмо. В этом письме я описывал в шутливых тонах, как обстоятельства сделали меня лекарем и как я чувствую себя в этой роли беспомощным невеждой. Между тем я вижу теперь, какое огромное значение имеют простейшие медицинские сведения, и очень жалею, что ничего в этой области не знаю.

Я доканчивал письмо, когда со двора пришел Гавря с несколько встревоженным видом.

— Слышь, Володимер,— сказал он.— Чтой-то конек Якова шибко мечется в загоне. Не чует ли каку беду на свово хозяина.

Я вышел наружу. Метель усилилась. Это было заметно по голосам леса. Близкие перелески шипели на разные голоса, а гул закамского бора раздавался протяжно и глухо, составляя как бы фон для этих звуков. Я посмотрел на конька. Он подымал голову, насторажи-

вал уши, раздувал ноздри и смотрел перед собой испуганными глазами. Временами он подымал хвост трубой и принимался бегать кругом небольшого загона. Очевидно, его беспокоила метель и незнакомое место, где он был отлучен от обычных товарищей.

Я осмотрел жерди, загораживавшие выход из загона, и вернулся в избу кончать письмо. Потом запечатал и отдал Гавре на случай появления «посылки», который недавно пришел из волости с каким-то приказом в дальние починки и скоро должен был вернуться. В это время один из парней вошел со двора и сказал:

— Конек-то убёг. Перемахнул через воротину и понесся... Только пылит за ним.

Гавря и Лукерья забеспокоились:

— Гляди, с хозяином-те плохо. Неспроста. Экую высоту перемахнул!..

Я выбежал на взъезд... Метель усилилась. На равнине за Старицей еще мелькала темная точка. Это конек Якова несся по направлению к Каме. Я вернулся в избу, наскоро оделся и пошел по той же дороге. Я вспомнил вчерашний квас с хреном и пожалел, что сегодня, успокоенный и, может быть, слишком беспечный, не дал особых наставлений насчет диеты.

— Погоди, вот Павелко вернется с сеном — отвезет тебя...— сказал было Гавря. Но мне ждать не хотелось. С приближением вечера и метели на душе опять становилось тревожно.

— Поди, Володимирушко, поди,— поощряла меня и Лукерья.— Павелко еще коли вернется, а у меня сердце чует беду...

До починка Молосных было версты три. Дорога почти все время пролегала по Каме между крутыми берегами, кое-где меж двумя стенами леса. Сбиться не было возможности, но дорогу сильно перемело, и идти приходилось по колена в снегу против сильного ветра. Порой я останавливался и поворачивался спиной к метели, чтобы отогреть хоть немного лицо и руки. Вечерело. Сумрачный гул бора действовал на мое настроение.

К починку Молосных я подошел уже среди густых сумерек: избы едва виднелись в снежной пыли. И вдруг я увидел на горе какие-то движущиеся огни. Пучки лучины, раздуваемые ветром, сыпали искрами. Они прошли от избы к одному из надворных строений. Я догадался: для больного, очевидно, истопили баню.

Что же это? Стало ему лучше, или, отчаявшись в моих средствах, они прибегают к своим, привычным.

Я прибавил шагу и скоро был в избе... На лавке, опустив седую голову, сидел Ефим. На мой вопрос он сказал, что Якова повели в баню. С обеда ему стало хуже. Опять весь горит и говорит невесть что. Все с *ею* разговаривает. Грозил посечь ее, коли придет за ним... Вон, гляди-кось... Сам косу повесил.

Над изголовьем постели Якова я увидел в щелеватой стене косу-горбушку с прямой короткой ручкой, какие употребляют в лесных и болотистых местах. Кроме того, в той же стене неподалеку виднелся серп и нож-косарь. В разных местах подальше торчали еще разные орудия в том же роде. Очевидно, вся семья готовилась эту ночь к генеральному бою с лихоманкой.

— А чем кормили Якова? — спросил я.

— Да чем кормили!.. Все будто здоров был. Есть запросил. Поесть, бает, больно охота мне. Налила старуха квасу-те, хлеба накрошила, да хрену... Больно охоч он до квасу с хреном. Чашки три, гляди, опростал. А стало вечереть, тут его и схватило пуще вчерашнего.

Сердце у меня упало. В извинение себе могу только повторить, что в нашей семье уход за больными был явлением редким и я привык полагаться на здоровую натуру. Как бы то ни было, благоприятные результаты вчерашнего приема «зелья» пошли прахом. А больше лекарства не было.

На крыльце послышался топот многих шагов, потом шум, среди которого выделялся неистовый протяжный мужской крик. Я не сразу узнал голос Якова: это был как будто вой крупного, смертельно испуганного животного, прерываемый исступленными ругательствами и угрозами. Общими усилиями женщин и килачей Якова втащили в избу и положили на его постель. Он метался, вздрагивал и кусал губы...

Я подошел к нему и громко поздоровался. Он глядел несознательно, но, видимо, все-таки узнал меня: схватил мою руку и стал крепко прижимать к своей груди, бормоча что-то невнятно. Мне слышались среди этого бормотания слова: «Не давай, не давай».

Понемногу он как будто начал успокаиваться. Порывистые движения стихали. Голова его лежала на подушке, глаза то закрывались, то бродили по сторонам. В другом конце, у печки, светила лучина, и эта половина избы рисовалась отсюда светлым фоном.

Вдруг Яков выпустил мою руку и весь рванулся.

— Вот она, пришла за мной!..— крикнул он испуганным и диким голосом.

Я невольно оглянулся и вздрогнул. За мной стояла женская фигура, рисуясь на светлом фоне резко очерченным силуэтом. Я не сразу узнал Алену, подошедшую тихо к постели. Старуха тоже кинулась к сыну.

— Что ты, что ты! Ай не узнал родную жену...

Но глаза Якова стали совершенно безумными. Он, видимо, ничего уже не понимал и был весь во власти завладевшего им образа. Лицо его исказилось. Скошенные глаза блуждали и сверкали белками. Сильно рванувшись, он протянул руку к косе, но я сразу уперся руками в его плечи, отвалил его на подушку и старался держать его в этом положении.

— Зарублю... посеку...— бормотал он сквозь стиснутые зубы.

Я напрягал все силы, понимая, что если безумный овладеет косой, то может произойти какое-нибудь страшное дело. Между нами началась борьба. Я все время налегал на его плечи, не давая ему подняться. Он шарил руками кругом, стараясь захватить со стены серп или косу. Я хотел сказать кому-нибудь, чтобы убрали косу, но, оглянувшись, увидел себя в центре какого-то повального безумия. В избе водворился настоящий шабаш. Все члены семьи, особенно женщины, похватав заготовленные в стенах орудия, размахивали ими как сумасшедшие в надежде убить невидимую «лихоманку». Даже девушка-подросток, сверкая в исступлении своими черными глазами на побледневшем лице, вертелась на середине избы, размахивая серпом. Только старуха мать, видимо, не потеряла головы и могла еще рассуждать. Я увидел ее около себя: она тоже держала в руке большой нож-косарь и колола им в воздухе с таким расчетом, чтобы ранить лихоманку, когда она захочет навалиться на Якова. Лицо ее было скорбно, но спокойно, как у человека, сосредоточившего внимание на одной трудной задаче. Старик сидел беспомощно на лавке, килачи забились в угол у печки.

Мне удалось совершенно овладеть Яковом, и я чувствовал, что не дам ему подняться. Глаза его теперь смотрели как-то покорно и неподвижно...

— Пришла, пришла!..

Этот крик вырвался у Ефимихи сосредоточенно и печально, и она стала колоть и рубить воздух у самых ног

Якова. Ей на помощь кинулась Алена с искаженным злобой лицом.

— Что вы, безумные! — крикнул я.— Видите: больной успокаивается.

— Ай ты не видишь, Володимер? — прозвучал надо мной печальный голос матери.

Я взглянул пристально в лицо Якова, и дрожь прошла у меня по телу. Глаза его уставились в пространство с странным выражением истомы и безнадежности. Все тело ритмически двигалось под моими руками, из груди вылетали такие же ритмические, прерывистые вздохи... Он походил на человека в любовном экстазе.

Я все еще растерянно держал его за плечи и почувствовал, что рубашка его стала вся мокрая. Он сделал еще несколько движений, все слабее и слабее...

— Ну вот ему лучше,— сказал я.

— Кончается,— сказала мать.

Что это она говорит?.. Не может быть. Это безумие, подумал я, но через некоторое время заметил, что, пылавшее прежде жаром, тело Якова начинает холодеть у меня в руках. Лицо его странно и быстро успокаивалось, и через некоторое время на него точно кто накинул покров полного спокойствия... Я взял его за руку. Она была холодна...

Алена завыла.

Я еще не мог опомниться от пережитого кошмара и почувствовал неодолимую потребность выйти на свежий воздух. Так, как был в избе, я вышел наружу.

Метель как будто стихала, но все еще шипели близкие деревья и гудел бор. Порой звуки крепли, перемешивались, сливались в разноголосый и торопливый шум, порой широкими взмахами летели вдаль. И мне показалось, что глухой лес полон своеобразной жизни, а в голосах метели мне невольно чудилось злорадство... Еще вчера я так беспечно торжествовал победу над лесной нежитью. Теперь я продрог и чувствовал себя беспомощным. Войдя в избу, я застал здесь картину признанной всеми смерти. Яков лежал неподвижно. В сложенных руках виднелась небольшая иконка. Старуха приглаживала у него волосы. Глаза ее глядели так же печально, как всегда: точно их прежнее выражение было только предчувствием этой минуты... Ефим еще более понурил голову, точно придавленный новой тяжестью. Алена причитала на полатях, точно пришибленное и испуганное животное, а два килача стояли,

обнявшись, посреди избы и, раскачиваясь со стороны на сторону, протяжно выли...

Старуха остановила их и послала одного к соседям. Нужно было обмыть тело, пока не началось окоченение. Но парень взвизгнул от страха и отказался идти один. Пришлось послать обоих к соседям, в версте или полуторах. Килачи оболоклись и вышли, но через полчаса вернулись. Никто нейдет. «Бают: страшно». Старуха низко нагнула голову... Я понял: по мнению соседей, Якова уволокла ночью нечистая сила... И может быть, бедная мать сама думала то же...

Через некоторое время дверь тихо приотворилась, и в ней показалась огромная, мрачная голова Лизункова. Он осторожно оглянул избу. Увидев меня, направился прямо к тому месту, где я сидел, и сел рядом со мною. Между тем в избе все стихало. Старуха полезла к старику на печь, и оттуда послышались звуки, точ стонала большая птица. Это плакал старик. Старуха говорила что-то. Может быть, успокаивала. Алена временами начинала причитать, девочка всхлипывала сквозь сон.

Мы с Лизунковым тихо разговаривали, поддерживая свет заготовленной лучины. Весь какой-то тяжел и мрачный, он говорил тихо своим глухим голос , наклоняясь к моему уху:

— Отослано, не иначе...

— Что отослано? — спросил я.

— Насы́л... Вы разве не знаете? Оттого и соседи не идут... Покойник, не тем будь помянут,— колдун был. Умел лихоманку посылать по ветру... Да, видно, нап ла коса на камень. Тот сам был колдун: сумел отослать; вот она прилипла к нему, да и утащила с собою.

— Лизунков,— сказал я с досадой.— Вы, кажется, в бога не верите, даже ругаете нехорошими словами...

— Могу... Думаете, боюсь сейчас...

— Нет уж, пожалуйста, не надо. Но как же это, не веря в бога, вы верите в колдовство и чертовщину...

— Да я что ж... Люди говорят... Мне — что...

Наутро солнце встало ясное и чистое. Сквозь изморозь и снег, наметенные метелью, оно весело заглядывало в избу Молосных. Ночные страхи рассеялись, и в избу пришла стайка молодых женщин с соседних починков.

Я хотел уйти, чувствуя себя беспомощным и лишним. Но когда я выразил это намерение, одна из при-

шедших, самая бойкая молодая вструха, пройдя мимо меня, шепнула: «Не уходи, слышь, ночью-те страшно будет нам».

Я остался еще на ночь. А на следующий день, отказавшись присутствовать на проводах и поминках, ушел из починка Молосных, точно с поля битвы, где потерпел позорное поражение...

XII

БУДНИ.— РОДЫ.— ПЕРВОБЫТНАЯ, НО НЕУСТОЙЧИВАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

После этого жизнь в Починках пошла своей колеей. Даже в семье Гаври смерть зятя не вызвала заметных перемен и забот. Алена была отрезанный ломоть, и ей предстояло делить горе и заботы с семьей Молосных. Не стало в Починках одного человека, упала одна семья — и только.

Гавря и Павелко стали собираться в извоз. Для этого они стали готовить сани: прямо в избе они распаривали в печи березовые плахи, гнули полозья и дуги, тесали, строгали, рубили. Видя, что я с интересом присматриваюсь к их работе, мужики, казалось, щеголяли передо мной, а Лукерья прямо посветлела. Мне казалось, однако, что у других это сделано давно, еще с осени, и теперь сани должны бы уже устояться и высохнуть. Но я этого не высказал.

Собирались починовцы целым обозом в Буй, городок Костромской губернии. Один из жандармов, которые везли нас с братом в Глазов, привел как-то местную поговорку: «Буй да Кадуй черт три года искал, трое лаптей истаскал, да так и не нашел». Этот «город» был все-таки ближайшим городским центром, к которому тяготели Починки. Каждую осень починовцы сряжались в извоз: в Буй доставляли хлеб от афанасьевских «торговых», а им привозили оттуда разные нужные для нехитрого мужицкого обихода товары. В извоз пускались не сразу: сначала приходилось «уминать снег» из починковской глуши до каких-нибудь проезжих трактов, где по Каме, где лесами и междулесьем, а уже потом, проложив тропы по цельному снегу,— вторично выезжать с кладью. Когда мужики уехали, в Починках только и было разговора, «как-то там наши извозничают». Лукерья, видимо, беспокоилась, и я понимал ее

настроение: она боялась, что у «ее мужичков» что-нибудь выйдет не как у людей. Ночью, а иногда на заре я слышал, как она тихо пробиралась к слуховому оконцу над полатями, открывала его и долго прислушивалась, не скрипят ли полозья на Каме. Однажды она живо пробралась к тому месту, где я спал, и не удержалась, чтобы на радостях не растолкать меня. «Едут наши, едут». Я радовался ее живой радости... У нашего починка весело лаяли собаки...

У Улановской в семье Дураненка выходила, как прежде у меня, большая «смешиця». Они перестали кормить своего старика Дурафея, усыновившего Ларивона, теперешнего хозяина. Я уже говорил, что этот первый починковский богач был приемыш. Безродного сироту взял в дом бездетный Дурафей, вырастил, женил и после смерти своей старухи передал все хозяйство в надежде дожить свой век в почете и на покое. Но расчет простодушного старика оказался ошибочен: Ларивонова баба сразу невзлюбила приемного отца мужа, стала гонять его на работу, как батрака, и, недовольная, что он уже не справляется как следует с работой, перестала кормить «дармоеда».

Это явление, по крайней мере в нашу седую и дикую старину, было, по-видимому, довольно распространено, и Улановская имела случай наблюдать этот интересный пережиток доброго старого времени. Помнится, у Даля отмечены поверья, с ним связанные. Может быть, когда-нибудь стариков буквально обрекали на голодную смерть. Мой дядя, капитан, рассказывал случай из старинной судебной практики нашего юго-западного Полесья, когда сыновья убили родного отца, который во время охоты пропуделял лося. Их за это судили, и старый капитан с большим юмором рассказывал, с каким простодушием они отвечали на вопросы судьи: «Ну так что, что убили. Своего убили — не твоего». Я считал этот рассказ анекдотом, но впоследствии в газете «Волынь» встретил воспоминания старого «полещука», который рассказывал, что обычай уничтожения стариков долго держался среди диких жителей Полесья. В самом смягченном виде это производилось как обряд: с стариками прощались, усаживали их в сани, вывозили в лесную чащу и там оставляли на произвол судьбы. Некоторые исследователи склонны видеть в выражении

Владимира Мономаха, читающего наставление сыновьям, «сидя уже на санѣх»,— остаток этого обычая седой старины.

В Починках этот обычай в таком виде уже исчез, по крайней мере я не имел случая наблюдать его. «Перестали кормить» надо понимать не буквально. Старика просто перестали сажать за стол, и злая сноха кидала ему объедки, как собаке, к порогу, где было его место на лавочке. Браги же ему совсем не давали. Надо заметить, что брага, а когда ее не бывает, то квас, составляют обычный напиток починовцев. Воды они совсем не пьют. Старик, уже впавший в детство, рассказывал при мне с горестным удивлением, что бражки ему сноха не дает вовсе.

— Попьешь, бает, и водицы. Чуете вы?.. водицы, бает, попьешь... А что в ей, в водице-те?..

Он жалобно всхлипывал, как ребенок, и по старому лицу катились крупные слезы. Как и я в первое время, Улановская не могла равнодушно переносить этой семейной драмы без одушевленных протестов, которые выражала довольно бурно, то и дело заступаясь за старика. Она стыдила сноху и приемного сына, а порой отдавала старику свой кувшин с брагой. Не могу сказать теперь, привело ли это заступничество к улучшению положения бедного старика.

Однажды ночью, когда мужики, захватив даже мальчишек, уехали к кому-то бражничать, я проснулся от звонкого детского плача. Очнувшись, я увидел следующую картину. Какая-то женщина, одетая в полушубок и закутанная платками, сидела на лесенке, ведущей на печь, и держала на руках ребенка. Я подумал сначала, что это ночью забрела какая-нибудь сторонняя женщина, но, приглядевшись, увидел, что это наша молодуха. Она ходила на сносях и в эту ночь родила. Мужики, вероятно, поэтому и уехали. Со мной, очевидно, поцеремонились — я мог бы тоже уйти куда-нибудь ночевать, хотя бы к Федоту Лазареву, но я не знал о предстоящем событии, а сказать мне об этом не полагалось по обычаю. Из-за этого бедной женщине пришлось родить в черной бане, и тотчас же после родов Лукерья привела ее в избу. Сидя на лестнице, она держала у груди ребенка и тихо стонала. Мне слышалось в этом стоне какое-то изнеможение и усталость от этой безрадостной

и тяжелой жизни. Лукерья суетилась, то выбегая, то возвращаясь в избу. Она развела на загнете огонь и скоро приготовила для ребенка ванну в корыте. Я торопливо оделся и подошел к ней.

— Молодица у вас, видно, родила... А мужики бражничают!.. Не могу ли я помочь тебе?

Лукерья усмехнулась над моей наивностью.

— Нишкни, Володимер... Не понимаешь ты нашего бабьего дела. Нехорошо тебе и быть-то тут... Полезай инó на полати, спи!

На рассвете мужики приехали пьяные и развязные. Гавря как будто обрадовался рождению внука, парнишки тоже были, видимо, заинтересованы семейным происшествием. Только Павелко не проявил к событию ни малейшего участия. Когда он вошел в избу, убравшись с лошадью, и отец сообщил ему о том, что он сам теперь стал отцом, он как ни в чем не бывало полез на полати, пробормотав только:

— Мне-ка што, родила, дак...— И вскоре с полатей послышался его храп.

Я был возмущен и не мог скрыть этого от Лукерьи.

— Молчи, Володимер, молчи инó... Молод еще — не понимат...— сказала она просто под богатырский разноголосый храп, несшийся с полатей.

Все это показалось мне тогда чуть не катастрофой, но, в сущности, это было только в порядке вещей: и роженица, и ребенок, которого выкупали в порядочно настывшей избе, при сквозняках от всех стен, оказались совершенно здоровы. Молодуха полежала этот день на печи. Дня два ее еще щадили, а на третий день Павелко уже покрикивал:

— Чё валяешься, стельна корова!.. Пошевеливайся!..

Чтобы покончить с починковскими буднями, я должен отметить еще один эпизод, своего рода нравственную проблему, которую поставил перед починовцами уголовный ссыльный, поляк Янкевич. Об этом случае я слышал еще в перевозной избушке.

Янкевича этого я видел всего раза два. Это был человек небольшого роста, очень коренастый и сильный, с крупными чертами лица, с мясистым носом и большими усами, висевшими врозь. За что он был сослан — не знаю. Держал себя с починовцами очень нахально, не скрывая своего глубокого презрения

к ним. Он был недурной столяр и умел делать хорошие «укладки», то есть сундуки. Когда он сделал себе такую укладку, то хозяин, у которого он жил, попросил сделать ему точно такую же. Янкевич согласился, и две укладки, похожие друг на друга как две капли воды, стояли в избе рядом.

Случилось однажды, что хозяин поехал в Афанасьевское, продал там хлеб, получил еще старый долг, выпил на радостях изрядно и привез еще домой восемьдесят рублей. С пьяных глаз он сунул эти деньги вместо своего сундука в сундук Янкевича. Говорили, будто в предвидении такой возможности Янкевич переставил укладки, но никто этого наверное сказать не мог. Как бы то ни было, деньги оказались в укладке Янкевича, который, проснувшись раньше пьяного хозяина и заметив свою «удачу», тотчас же взял свой сундук и перешел с ним в другой починок. Хозяин, заметив пропажу, поднял кутерьму, но Янкевич решил воспользоваться «своим счастием». Он не отрицал ошибки хозяина, но утверждал, что все, что попало в его укладку, принадлежит ему «по закону». Дело доходило до начальства. Становой приказал произвести у Янкевича обыск и отобрать деньги. Но по обыску денег не нашли.

В первый раз я увидел Янкевича у Гаври. Тут же был староста Яков Молосненок, и, когда я вошел в избу, Янкевич, Гавря, староста и еще двое починовцев сидели на лавках у стола и вели разговор о недавно происходившем обыске. Янкевич откровенно смеялся над старостой и над понятыми.

— Где же дуракам найти то, что умный человек спрятал! — говорил он.— Хочешь знать, где у меня были эти деньги?.. Вот где.— И он показал на подклейку голенищ.— Вы дураки, ёлопы, и сапог настоящих не видывали, так где вам догадаться... Ха-ха-ха...

Староста глядел на него своим задумчивым и тусклым взглядом, другие удивлялись, но ни в ком я не заметил ни негодования, ни возмущения, по крайней мере в присутствии Янкевича.

Когда Янкевич ушел, починовцы стали жаловаться на ссыльных и ругали Янкевича... Лукерья, слушавшая эти толки, вмешалась:

— Ну, мужички, чего бы я и баяла... Посуди хоть ты, Володимер, кakó у них дело-то вышло.

И она подробно рассказала мне случай, подавший повод к обыску.

— Ну вот скажи: нешто он эти деньги сбостил? Ведь Тимоха сам ему положил в укладку...

Как всегда, мне понравилось вмешательство Лукерьи. Справедливая баба чувствовала, очевидно, что осуждающие сами едва ли поступили бы иначе, чем Янкевич... Но все-таки — проблема оставалась проблемой, и я сказал Лукерье:

— Слушай, Лукерья... Но ведь Янкевич знал, что это деньги не его, а Тимохины.

— Ну знал... Коли он сам положил их...

— Что же из этого. Положим, так: идешь ты по дороге, а я иду за тобой сзади. И вижу, что у тебя выпал из кармана кошель с деньгами... А я его подыму... Ты этого не видала и помешать не можешь...

И Лукерья и остальные слушатели с интересом слушали это предположительное развитие событий. Когда я сказал последнюю фразу, Лукерья перебила меня живо:

— Неуж отдашь?.. Хлопаешь, Володимер, зря!..

Это было сказано с бесповоротным убеждением. По лицам других слушателей я видел, что убеждение Лукерьи разделяют все остальные. Очевидно, в глазах всех починовцев я хвастался (хлопал зря) невозможной и совершенно сверхсметной добродетелью, которой никто не мог поверить. За Лукерьей оставалась ее искренность и справедливое заступничество за «чужедального человека», который сделал только то, что сделали бы и все починовцы...

С такими глухими местами у нас вообще связано представление об элементарных, простейших добродетелях. Я сначала думал то же, видя, например, как хозяева оставляют избы без запоров. Достаточно приставить снаружи «подожок», чтобы показать, что хозяев нет дома. Значит, думал я, хоть кражи-то здесь неизвестны. Но и в этом я ошибся. Впоследствии меня поразило обилие глаголов, которыми в бедном починковском языке обозначалось понятие кражи. Теперь я многие из них забыл, помню только два, которых не встречал в других местах: сбондить и сбостить, которые слышал довольно часто. Вообще, на прочность этой первобытной нравственности рассчитывать нельзя. Это какое-то странное состояние неустойчивого нравственного равновесия, могущее качнуться в любую сторону...

История Янкевича имела характерное продолжение. От далекого начальства пришло наконец распоряжение арестовать ссыльного Янкевича и препроводить его в город. Янкевич исчез с починковского горизонта. Уже под самый конец моего пребывания в Починках я получил вдруг письмо от Янкевича. Доставил его в мое отсутствие другой ссыльный, только что вернувшийся из Глазова, где он больше года сидел в тюрьме. С ним-то Янкевич и прислал мне письмо.

Оно было кратко и гласило: «Которые вам будут приносить мои деньги, то, пожалуйста, сохраните их у себя, пока я их потребую». Я сначала недоумевал, потом понял: Янкевич во избежание нового обыска рассовал похищенную сумму разным почтенным починковским обывателям и теперь требовал, чтобы они отдали их мне, в лестной для меня уверенности, что я их не присвою. Мне, таким образом, предстояло стать хранителем краденого, чего, разумеется, я ни в коем случае в виду не имел.

Через некоторое время ко мне явилась женщина и попросила прочесть полученное письмо. Получение писем в Починках было вещью совершенно небывалой, и прочесть их, кроме меня, было некому. В письме тем же почерком, как и в письме, полученном мною, говорилось: «Которые я дал тебе на сохранение деньги, отдай их такому-то (мне)». Еще дня через два-три ко мне стали приходить с такими же письмами другие лица. Тут были по большей части солидные хозяева, были две вдовы бывших старост,— вообще люди, на которых Янкевич рассчитывал. Я с интересом следил за этой перепиской. Оказалось, что сумма этих вкладов приблизительно соответствовала сумме кражи. Но Янкевич ошибся в расчете: починовцы сумели воспользоваться своим счастием не хуже, чем он сам. Когда я прочитывал письмо, на лицах получателей изображалось удивление:

— Чё-кося пишет мужичок... Каки деньги?.. Не знаю я...

Никто не пытался принести ко мне вклада Янкевича... Очевидно, Лукерья имела основание беспристрастно заступаться за «чужедального человека».

XIII
ОТГОЛОСКИ ДАЛЕКОЙ ЖИЗНИ.— ЦАРСКИЙ ЮБИЛЕЙ.— КАК Я УЗНАЛ О ВЗРЫВЕ НА НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.— ГАЗЕТА В ПОЧИНКАХ

В один светлый морозный день к нашему починку приехал знакомый уже читателю бисеровский волостной старшина, тот самый, который старался запугать меня в перевозной избушке. Читатель помнит, что после этого отношения наши наладились и он старался оставить меня в Бисерове. Это был молодой еще мужик, повидимому не глупый и не злой. Близкие отношения с Дурафей Ивановичем, «господином урядником», еще не успели испортить его, и отзывы о нем населения были недурные. Поплавский тоже говорил о нем хорошо. Теперь он приехал по каким-то делам, может быть в связи со смертью старосты, и привез мне пачку газет и письма.

Я очень обрадовался и радушно встретил старшину.

— Поставим, Гавря, самоварчик — угостим старшину чайком,— весело сказал я Гавре. Гавря тотчас же принялся хлопотать. Всякий раз, когда рассылка из волости доставлял мне корреспонденцию, я непременно угощал его чаем, и это невиданное угощение (чай с сахаром), казалось, вознаграждало парня за шестьдесят верст пешего пути по бездорожью. Гавря тоже любил такие случаи, так как при этом я приглашал и его. Он уже умел обращаться с моим жестяным самоварчиком и, доставая его с полки, забывал порой, что у него «не здымается рука».

На этот раз вид у старшины был какой-то особенный. Сняв большую медвежью шубу, отличавшую его от других бисеровцев, покрестившись на иконы и поздоровавшись, он важно развалился за столом, подражая уряднику, и сказал:

— Ну, Володимер, теперь, гляди, все вы у меня под ногтем...

Я взглянул на него с недоумением, а он картинно показал на столе, как я у него нахожусь «под ногтем».

И, развалясь еще больше, он прибавил напыщенно:

— Дурафей Иванович, господин урядник, как уехачи к становому, а может, и в Глазов, то, значит, передал мне свою власть. Теперь я вам за урядника.

Я увидел, что молодой старшина опять нуждается в маленьком уроке.

— Гавря,— сказал я.— Самовара не надо. Поставь опять на полку...

Гавря остановился с самоварчиком посредине избы, растерянно глядя то на меня, то на старшину. Последний тоже немного растерялся.

— Я думал,— пояснил я,— что вы приехали ко мне от себя, а не вместо урядника. Урядника я бы не стал угощать чаем...

Неглупый мужик понял.

— За обиду, что ль? — сказал он.— Так ведь я пошутил...

— А, когда пошутил, тогда другое дело. Я тоже пошутил. Наливай, Гавря, воду...

Этот маленький обмен шуток произвел самое благотворное действие: передо мной опять был простодушный бисеровец, говоривший просто и толково. Он рассказал мне, между прочим, что урядника вызвали нарочно в стан и он сказал при этом, что, может быть, проедет и к исправнику в Глазов. Наклонясь ко мне, так чтобы Гавря не слышал, старшина прибавил:

— Об тебе начальники будут спрашивать... Сам небось нахлопал чего ни то... Не любят тебя...

Видя, что я придаю очень мало значения любви Дурафея, он перешел к другим темам и рассказал мне о новых проделках Левашова, того самого дворянина, высланного по желанию отца, о котором я говорил ранее. Это тот самый Левашов, который катался по всей волости на земских лошадях, предъявляя на станциях объявление придворных поставщиков чая братьев К. и С. Поповых с государственными гербами на печатях.

Теперь я узнал от старшины, что Левашов затеял судьбище с Михаилом Поповым, политическим ссыльным, жившим прежде в Починках. Он обвиняет его в оскорблении дворянского звания, а в числе свидетелей вызываюсь и я... И действительно, в пакете, в котором я получил свою корреспонденцию из волости, находился, между прочим, вызов меня на такое-то число в камеру мирового судьи. Я понял: дворянин Левашов затеял нарочно шуточное дело, чтобы дать и мне случай проехаться на земских лошадях в волость и повидаться с товарищами. Я тогда к таким вещам относился довольно щепетильно и не был обрадован этим случаем...

Впрочем, до наступления срока разбирательства моя судьба изменилась, и мне не пришлось воспользоваться любезностью дворянина Левашова за счет земских ямщиков. Впрочем, я успел все-таки познакомиться с новым политическим ссыльным, так как Михаил Павлович Попов вместе с Поплавским приехали тайно из Бисерова, и мы повидались у Улановской.

Старшина, привезший мне бисеровские новости, уехал, но газеты, которые он привез мне, заключали много новостей из другого, широкого мира. Они были полны отголосками близкого двадцатипятилетнего юбилея Александра II. По обыкновению, ко мне сошлись кое-кто из ссыльных, чтобы послушать газеты, и при этом произошел интересный разговор о русском государственном устройстве. Двадцатипятилетний юбилей «царской службы» возбудил в народе оживленные толки: останется ли царем Александр II или его не утвердят «на вторительную службу» и он передаст престол наследнику. Разговоры такого рода я слыщал еще в Глазове. Как-то осенью я сидел на берегу реки Чепцы и удил рыбу. Ко мне подошел вотяк, порядочно говоривший по-русски, и предложил мне вопрос, как знающему и бывалому человеку: «На сколько лет выбирается наш царь?» Я услышал этот вопрос с величайшим удивлением и ответил, что царь у нас не выборный, как их сельские старосты, а наследственный, «служит» до конца жизни, а когда умирает, то престол опять без выбора переходит к сыну. Эти толки, очевидно, были связаны с отголосками юбилея и, пожалуй, указывали на зачатки недовольства царствованием «Освободителя». Теперь в глухих Починках я услышал те же толки: останется ли царь «на вторительную службу» или нет? Вопрос был предложен Санниковым и горячо подхвачен Кузьминым. Общее желание было — чтобы Александр ушел, передав дела более молодому наследнику. Когда я опять указал на то, что у нас наследственная монархия и никаких сроков для царской службы нет, то со мной не согласился даже умный и довольно развитой Несецкий. С авторитетностью бывшего солдата он решительно заявил, что я ошибаюсь. Царь тоже «утверждается» на срок, причем Александр II поступил на службу по николаевским правам, то есть на двадцать пять лет. А его наследник поступит уже по новым правам, то есть на восемь лет... А потом?.. Могут его утвердить или не утвердить. Это мнение решительно

восторжествовало. Когда же я спросил, кто же у нас утверждает царя, то Несецкий не так уж уверенно ответил, что это делают «господа сенатóры».

Прошел Новый год, миновало крещение, подходил февраль. У нас все шло по-старому, но в России совершались крупные события. Об одном из них мне пришлось узнать при следующих своеобразно починковских обстоятельствах.

В один из холодных вечеров с сильной метелью к нам приехал старик Молосный. За смертью сына обязанности местного старосты перешли пока, до выбора нового старосты, к нему, и бедный старик покорно нес их, развозя по починкам разные официальные приказы и мирские распорядки. Он вошел к нам, поздоровался, посидел на лавке и уже собрался уходить. Я подумал, что он заехал на раздорожии погреться, и несколько удивился, что между ним и Гаврей как будто нет никаких родственных разговоров. Мне казалось даже, как будто Гавря избегает разговоров о новом положении своей дочери, и только Лукерья часто ездила к Молосным и проводила у них немногие свободные часы. Посидев недолго со мной, причем Гавря даже не слез с полатей, старик остановился перед уходом и сказал, обращаясь на полати:

— А тебе, Гавря, завтра везти бревно...

— Ну-к што. Коли так, то и повезу я...

— Вези в воскресенье.

И старик двинулся к выходу без дальнейших объяснений, но я остановил его. «Везти бревно...» Я знал, что это значит. В селе Афанасьевском прихожане строили новую часовню (или даже церковь — теперь не помню). Лес доставлялся всем приходом. Это была известного рода натуральная повинность, которой не избегли и Починки. От них должно быть доставлено известное количество бревен, и по разверстке одно из этих бревен падало на Гаврю. Повинность была не особенно трудная: Гавре предстояло отправиться в Афанасьевское, где-нибудь поблизости от этого села срубить бревно и приволочь его к церкви. Все это было мне понятно. Но почему именно в данное воскресенье?.. Обыкновенно это предоставлялось на усмотрение самих хозяев. Я остановил старика и спросил у него объяснения.

— Черемиця приказал... Чтобы, бает, непременно был от вас кто-нибудь... Молебствовать будут. Ну, а Гавре все одно надо бревно везти. Пущай едет.

Для Гаври, значит, к обязанности везти бревно присоединялась другая: заодно представительствовать от Починков на молебствии...

— Постой, постой, старик! — остановил я опять Молосного.— А молебствие по какому случаю?

Он оглянулся от порога и сказал:

— Там, слышь ты... в царя, что ли, палили... Так приказано молебствовать...— И с этим Молосный вышел.

Так я услышал в первый раз о покушении на Александра II, произведенном посредством взрыва на Николаевской дороге.

Близкие предметы закрывают в перспективе предметы отдаленные. Бревно Гаври и необходимость везти его именно в данное воскресенье совершенно заслонило в глазах Гаври и старика Молосного интерес к мировому и потрясающему, но далекому событию...

Совсем иное впечатление произвело оно на ссыльных, особенно на ходоков. Ко мне то и дело заходили и братья Санниковы из Афанасьевского, и Федот Лазарев, и Богдан, и Кузьмин, и Несецкий узнать, не пришли ли столичные газеты.

Наконец сильно запоздавшие газеты пришли. В избе стало тесно от собравшихся ссыльных. Братья Санниковы подошли вплоть ко мне, жадно заглядывая в газетные листы. Меня особенно интересовало впечатление этих двух стариков, настоящих коренных крестьян. Что скажут они о людях, так святотатственно посягающих на основной столп крестьянского миросозерцания. Наконец среди общего жадного молчания я раскрыл газету, если не ошибаюсь, «Молву».

К сожалению, я не имею теперь возможности дословно воспроизвести репортерскую заметку, воспроизводившую по свежим следам условия покушения и первые шаги расследования. Но вся картина этой темной починковской избы, наполненной жадно слушающими мужиками, все их замечания и отдельные слова так ярко запечатлелись тогда в моей памяти, что и теперь, почти через сорок лет, я все это вижу и слышу так ясно, точно это происходило недавно.

Газета сообщала о том, что перед приходом царских поездов в Москву порядок их следования был изменен:

прежде впереди шли вагоны со свитой, а царские в середине. Но перед Москвой этот порядок был изменен: царь проследовал ранее, а свита за ним. Взрыв последовал тогда, когда царь уже был на станции, и силой этого взрыва вагон со свитой был поднят и поставлен поперек рельсов. Тотчас же кинулись обследовать ближайшую местность. Полиция вбежала в дом, занимаемый мещанами — мужем и женой Сухоруковыми. Скоро стало ясно, что именно отсюда руководили взрывом. Домик стоял недалеко от полотна железной дороги. В заборе, его окружавшем, было прорезано четырехугольное отверстие. Отсюда, очевидно, следили за проходящими поездами и был подан сигнал для закрытия тока.

Все эти технические подробности были малопонятны слушателям. Но дальше шло описание того, как следственные власти и полиция вошли в самый домик, и на этом сосредоточилось все внимание моей аудитории. Когда я кончил, один из Санниковых попросил прочесть еще раз и стал слушать, сдвинув брови, стараясь не пропустить ни одной подробности.

— «В комнате Сухоруковых обстановка была чисто мещанская. В углу перед иконой теплилась лампадка...»

— С именем божиим, значит,— сказал старший Санников.— Ну читай, читай дальше.

— «В комнате стоял буфет... На буфете сидел большой серый кот...»

Лицо Санникова оживилось.

— Что же они... взяли его?..

— Кого?

— Да кота-то...

— Да зачем им кот?..— удивился я.

Лицо седого мужика приняло лукавое выражение.

— Да ведь это он самый и был... Котом обернулся... Не догадались!.. Колдовство...

— Да что вы, Санников! Какое тут колдовство!

— Да уж я тебе говорю... Верно это — без колдовства дело не обошлось! Прочти еще раз насчет иконы...

Я исполнил его желание.

— Ну — кончено его дело! Шабаш!

— Чье дело?

— Лександры-царя. Видишь: с именем божиим за него принялись. Против царя с нечистою силою ничего не возьмешь. Сказано: помазанник! А уж коли с име-

нем божиим против него пошли, помяните мое слово,— обратился он к другим слушателям,— тут уж ему, раньше ли, позже ли — несдобровать... Тут выйдет толк.

Я был озадачен этим неожиданным рассуждением, и озадачен довольно неприятным образом. Весь наш кружок не разделял террористических приемов, к которым силою вещей склонялось русское революционное движение. Я попытался и на этот раз отстоять свои взгляды.

— Никакого толку тут не выйдет,— сказал я.— Дело не в том или другом царе, а в тех или других порядках. Убьют одного царя — будет другой, и еще неизвестно — лучший ли...

Санников посмотрел на меня.

— Другому без манифеста не короноваться...

— Ну так что же?

— Ну...— И он привел известную поговорку о собаке и клоке шерсти.

— Верно,— подхватили слушатели.— Будет манифест, авось и нас отпустят...

Эту сентенцию высказал богобоязненный седой мужик, и такие же мужики ему сочувствовали. Читатель сильно ошибется, если припишет такой резкий переворот в мужицких головах моей «зловредной пропаганде». Очень может быть, что до последнего времени Санниковы думали о царе иначе: царь и рад бы, да не дают господа и начальство. Но если это и было так до последнего времени, то окончательный поворот мог совершиться под влиянием яркого рассказа Федора Богдана: он подал просьбу в руки царю — и очутился в Починках. Это был факт, и этот факт, а не чьи-либо коварные комментарии уронили в этих мужицких головах обаяние царского имени... Да, это была отдельная струйка, но сколько таких струек просачивалось уже тогда в народном сознании под влиянием бесправия и бессудности русской жизни... Административный порядок, примененный к крестьянским делам, доставлял народной мысли все новые и новые факты в этом роде...

XIV
МНЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЖЕНИТЬСЯ И ОСЕСТЬ В ПОЧИНКАХ

Около этого времени я задумал переехать в другой починок. В избе Гаври появилась зыбка-качалка, и стал часто слышаться крик ребенка. Стало беспокойнее. Мне надоела копоть черной избы, и, кроме того, я достаточно насмотрелся на порядки в семье Гаври. Во мне чаще и чаще стало просыпаться стремление к писательству. Я уже говорил ранее о той полосе своего настроения, когда я решил отказаться от своих литературных замыслов, так как скоро должны явиться «писатели из народа», и это будут настоящие писатели, тогда как мы с своей «односторонней культурой» можем только извращать литературу [1]. Теперь у меня все чаще являлись позывы к перу и бумаге. В свободные минуты, особенно по вечерам, я присаживался к столу. В светце светила лучина; от нее то и дело отламывались угольки и с шипением падали в корытце с водой... А я сидел и писал, под храп с полатей или под плач ребенка. И порой мне хотелось пожить где-нибудь, где было бы меньше суеты и суматохи, чем в семье Гаври.

Такое место скоро нашлось. Не помню теперь, как звали моего нового хозяина. Знаю, что рядом помещался починок Васьки Филенка, который я успел срисовать из окна своего нового жилья, и оба починка стояли близ самого берега Камы. С семьей Гаври мы расстались дружески. Парнишки, Петрован и Андрийка, запряглись в салазки, куда я взвалил свою нехитрую «лопоть», и я переехал в починок над самым берегом Камы.

Семья оказалась тихая, немногочисленная и приятная. Молодые муж и жена, паренек лет семи и маленькая девочка по второму году. Муж — один работник, очень старательный. Сын уже немного помогал отцу, и оба они целые дни ковырялись на дворе, что-то прилаживая и устраивая. Он только недавно поменялся с братом усадьбами, перенес сюда свою прежнюю избу, и у него было много работы над ее устройством. Жена хлопотала со скотиной и тоже часто отлучалась из избы. Тогда мы оставались вдвоем с девчонкой. Мать пристраивала ее на полатях, но девочка предпочитала

---

[1] См. во II томе главу «Похороны Некрасова и речь Достоевского».

сидеть прямо на полу, и у этого крохотного существа были на это свои очень основательные причины. Она то и дело подползала к брусу и просила знаками снять ее, что я охотно исполнял.

Дело в том, что на полатях ее в буквальном смысле ели тараканы, которых было здесь неимоверное количество. У Гаври их тоже было много, как, впрочем, и всюду в Починках, да, пожалуй, и во всей деревенской России. Но у Гаври их вымораживали каждую зиму. Для этого мы на две недели переселились в летнюю избу, а зимнюю оставили нетопленой. Тараканы от холода подымались по стенам все выше и выше, потом взбирались на потолок, собирались для тепла большими кучами, замерзали и сваливались на полки, на полати, на лавки, на пол. Отсюда эти мертвые тела выметали метлой.

В моем новом жилище этого почему-то сделано еще не было (кажется, не было еще другой избы), и тараканов было неимоверное количество. Изба была белая и довольно теплая, но на полу было все-таки холоднее. На полатях же они кишели кишмя. Когда бедная девочка засыпала, они взбирались на ее личико, расползались радиусами в уголках губ, у глазных впадин, в ушах и ели ее, поводя своими длинными усами. Постепенно отступая, они оставляли целые участки объеденной верхней кожицы, что заставляло бедную девочку сильно страдать. Я то и дело отгонял их, но они тотчас же сбегались опять. Поэтому бедняжка предпочитала днем сидеть на холодном полу. Засунув пальчик в рот, она целыми часами смотрела, как я работаю на своей седухе у окна или пишу у стола.

Между тем я все больше сживался с Починками. Начальство было далеко, может быть, уже забыло обо мне, и я мечтал о том, что, когда придет весна, начнутся работы и предо мной откроются новые стороны этой жизни... Я уже получал предложения сняться с места и попытаться пройти отсюда лесами на вольный широкий свет. Но пока определенно я еще об этом не думал...

Однажды взрослые, но не женатые сыновья Микеши предложили мне и Федоту сходить на посиделки. Я согласился.

Мы с Федотом пришли, когда вечерка уже началась. В просторной белой избе ярко светила лучина. Под стенами сидели на лавках парни и девушки, по большей части парами. Когда мы вошли и Федот привет-

ствовал собравшихся какой-то фабричной шуткой, мы тоже уселись на лавке. Парни и девушки сошлись вместе, взялись за руки, запели песню, которую я теперь забыл, и стали кружиться, притопывая в лад. Это и был, очевидно, починковский хоровод. Все было както чинно, степенно, флегматично. «Северное веселье»,— подумал я, вспомнив украинскую пляску. Когда песня и хоровод кончились, все опять сели по местам, парами. Я заметил Феклушу, дочь Микеши, и двух ее взрослых братьев. У парней были пары, у Феклуши не было. Девушки, смеясь, толкали ее по направлению к нам. Она прошла через горницу, подошла ко мне, села ко мне на колени и поцеловала в губы. Очевидно, это было принято. Феклуша была белобрысенькая, как и отец, девушка лет восемнадцати, с круглым простодушным, довольно миловидным лицом. Когда я бывал у Микеши и мне случалось читать книжки, она всегда внимательно слушала и выказывала мне расположение. Мы разговорились.

— Скажи, Феклуша, тут нет ли твоего жениха?

— Нет-то,— сказала она, тряхнув головой, и прибавила, потупясь: — Не пойду я замуж...

— Что ж так?.. Или нет тебе никого по сердцу?

Она посмотрела прямо на меня своими простодушными глазами и сказала:

— За тебя вот пошла бы я.

Я засмеялся.

— Что ты это, Феклуша... За ссыльного-то! А что тятька скажет?

Я счел это объяснение шуткой. Оказалось, что Феклуша не шутила. В первый же раз, как я после этого посетил семью Микеши, он отозвал меня в сторону и заговорил ласково и душевно. Я кажусь ему человеком хорошим и умным. Даром что ссыльный, а лучше иного жителя. Если бы я посватался, он не прочь бы отдать за меня дочь...

Я был тронут этим полупредложением. Семья Микеши была местом, куда я приходил часто, чтобы отвести душу от суровых починковских впечатлений, и всегда уходил отсюда освеженный. Я мог бы причислить этого славного мужика к тем искоркам-самородкам, о которых говорил выше. В нем откуда-то залегло начало общественной нравственности, и он был признанным авторитетом при разрешении всяких споров. Однажды, незадолго до моего приезда, вышел такой случай. Двое

починовцев решили поменяться землей и усадьбами. Эти мены, как читатель заметил еще с вожделения «заседателя» поменяться со мной сапогами, вообще сильно развиты в той местности. Для таких крупных обменов, как обмен усадьбами, существует известное обычное право: собирается группа домохозяев, меняющиеся заявляют об условиях обмена, и общественное мнение как бы утверждает сделку. На этот раз один из менявшихся оказался человеком неосновательным и вздорным и раздумал меняться после того, как мена уже вступила в силу. Вышел спор. В начале зимы предстояло свезти с земли спорщика стожок сена, накошенного уже новым владельцем. Вмешалось общественное мнение, и вместе с новым хозяином к стогу выехало несколько починовцев, присутствовавших при обмене, в том числе Микеша. Спорщик, узнав об этом, прискакал навершной с ружьем и, став у стога и исступленно сверкая глазами, божился, что он застрелит первого, кто тронет сено. Мужики струсили и готовы были отступиться. Но тут выступил Микеша и сказал спокойно исступленному человеку:

— Дурак, ты, Иванко, дурак... Чем пугать вздумал. Что ж, пали, коли такой твой нрав... Аль у меня не на кого семью покинуть? Слава те господи! Два сына работники, хозяйство справное, баба умная: сыновей женить, дочь выдать замуж есть кому... Пали, коли охота.

И, спокойно подойдя к стогу, он первый воткнул вилы. Его речь произвела такое впечатление, что Иванко опешил, подавленный его спокойным самообладанием, и — стог был свезен, то есть утвержденная общественным мнением сделка состоялась.

Приведенный выше мой разговор с ним произошел после одного небольшого случая. Не помню, по какому поводу мы своей ссыльной компанией решили устроить праздник и попросили у Микеши позволения попировать у него. Он охотно согласился. Собрались тут мы с Федотом, ходоки Санниковы, Богдан и Кузьмин, из уголовных ссыльных Несецкий и, кажется, еще Лизунков. Семью Микеши мы пригласили тоже. Распорядителем пирушки был Федот Лазарев. Он устраивал ее, по-видимому, по своему калужскому ритуалу — с песнями и величаниями. Пили поочередно за здоровье участников, причем пели величание, и в конце Федот предложил «ура». Когда дружное

«ура» в первый раз огласило избу, это на починковскую семью произвело совершенно неожиданное действие: все ее члены в страшном испуге кинулись на печь и на полати, ожидая, что ссыльные сейчас кинутся на них. Один Микеша остался на месте, хотя и он смотрел на нас с недоумением и легким испугом. Когда дело объяснилось, все стали смеяться, и дальнейшие величания всех по очереди, в том числе хозяина и хозяйки, уже не вызывали испуга. Пирушка шла чинно и спокойно. Пели песни и плясали, пили очень умеренно, и все это очень понравилось семье Микеши, сильно опасавшейся вначале нашего сборища.

Не помню, в тот самый вечер или несколько спустя Микеша и завел со мною разговор о сватовстве. Вообще наши нравы, очевидно, пришлись Микеше по душе, особенно после того, как оказалось, что даже недавняя гроза Починков, Несецкий, перестал совсем пьянствовать и вел себя в нашей компании примерным образом. Микеша и решил, что звание ссыльного, где есть такие люди, как Санниковы, Богдан, Кузьмин и я, не может служить препятствием для союза. Меня же они все полюбили.

Тронутый словами Микеши, я объяснил ему, что глубоко признателен за его отношение, что очень ценю его семью, что Феклуша очень хорошая девушка, но дело это не может сладиться. Я вернусь в свою сторону...

— Нет, брат, напрасно,— сказал Микеша с убеждением.— Попадали к нам с чужедальной стороны. Тоже баяли: ненадолго, мол, а вот и живут годы... Разве убегёшь... Так уже это что и за жизнь беглого...

— Нет, Микеша... Это все дело другое... Кто сослан по суду, тому нет срока. А мое дело, дело Федота, Богдана, Санниковых — такое: переменится начальство, и нас могут вернуть... Что ж мне тогда делать с женой...

Микеша задумался. Отношения мои с этой семьей остались хорошие до тех пор, пока мое предсказание не исполнилось и политические течения в России опять подхватили мою утлую лодочку и вынесли ее из бисеровских лесов.

XV

ОПЯТЬ ДОРОГА.— БЛЮСТИТЕЛЬ ЗАКОНА.— КАК Я УЗНАЛ О ВЗРЫВЕ ЦАРСКОГО ДВОРЦА.— ВЕРНОПОДДАННАЯ РОССИЯ

Это случилось вскоре после нашего разговора с Микешей. Как-то ночью, когда я спал крепким молодым сном, я почувствовал, что кто-то тормошит меня.

— Вставай инó, Володимер. Вставай... Приехали за тобой,— говорил мой хозяин.

Я раскрыл глаза, но долго не мог сообразить, в чем дело. В избе ярко горела лучина. У стола стояли два жандарма в походной форме, с шашками и револьверами. Моя маленькая приятельница проснулась и смотрела на них широко открытыми испуганными глазками. Хозяйка слезла на пол и с серьезным, печальным лицом возилась с чем-то у печки, чтобы что-нибудь делать.

Жандармы оказались из Вятки. Один из них, очевидно «старшóй», предъявил мне предписание: доставить немедленно политического ссыльного такого-то в губернский город. Он был заметно пьян и вел себя развязно и грубо.

— Покажите свои вещи и бумаги. Я произведу обыск.

Я посмотрел в предписание. Там ничего об обыске не говорилось.

— Вы умеете читать? — спросил я у старшого.

— Я унтер-офицер,— заявил он надменно.

— Так посмотрите предписание. Где тут сказано об обыске?

— Ваше дело не рассуждать! — И он двинулся к моему ящику.

— Постойте,— остановил я его.— Вам известно, что при обыске должны по закону присутствовать понятые. Слушай, друг,— обратился я к хозяину.— Сбегай, пожалуйста, к Филенку, к Гавриным, еще к кому-нибудь из соседей и зови их сюда. А до прибытия понятых,— обратился я к жандармам,— не смейте трогать мои вещи.

Хозяин тотчас же убежал исполнять мою просьбу или мое распоряжение, и через четверть часа в мою избу стали входить один за другим рослые и непри-

ветливые починовцы. Угрюмой толпой они сгрудились у порога, глядя выжидающе на меня и на жандармов. У меня были свои причины действовать таким образом. Кроме постоянной склонности не уступать незаконным притязаниям, я вспомнил, что в моих бумагах есть начатое письмо к брату, не назначенное для полицейского просмотра, а в заметках о починковской жизни тоже есть кое-что, что не надо было читать администрации. Когда в избе набралось достаточно народа, я обратился к мужикам и сказал:

— Ну, добрые люди, приходится мне от вас уезжать... Не поминайте лихом.

— Чё лихом поминать,— сказал кто-то из знакомых мужиков.— Жил не худо...

— Теперь еще вот что: за мной приехали вот эти люди. Это жандармы. Один из них, вы видите, пьян. Он хочет непременно сделать у меня обыск и читать мои бумаги. Но в предписании нет никакого распоряжения об обыске... Вот слушайте.

Я прочел бумагу.

— Так вот, если он будет упрямиться, я составлю протокол, а вы дадите руки...

— Для чё не дать,— сказал тот же мой знакомый.

Жандармы сильно присмирели. Младший из них, которого я впоследствии описал в одном из своих очерков, человек более разумный и умеренный, отозвал старшого и стал что-то говорить ему. Тот сдался.

— Не надо понятых, господин. Обыска делать не станем.

Доро́гой этот младший жандарм признавался мне, что эти починки в темных лесах и вид этих угрюмых людей, так охотно исполнявших мои распоряжения, нагнал на них сильную робость, хотя... весь секрет был в моем уверенном тоне, и если бы они сами держались увереннее, то еще неизвестно, кого бы послушались эти робкие люди.

— Ну вот, так бы сразу,— сказал я и опять обратился к починовцам: — Так как жандармы отказываются от своего незаконного требования, то вам больше делать тут нечего. Спасибо, что пришли. Теперь прощайте. Скажите Федоту Лазареву, Несецкому, Гавриным и Микеше, что меня увезли в Вятку, а может быть, и дальше, и что я им кланяюсь.

— Дай бог счастливо,— послышалось в толпе, и, тесно столпившись у порога, мужики ушли один за

другим, а я принялся укладываться. Старшой захрапел в углу, младший вышел зачем-то к саням, и я успел передать хозяевам кое-что неудобное для полицейских глаз. Хозяева были искренно опечалены. На глазах у хозяйки виднелись слезы, когда я на прощание поцеловал ее маленькую дочку.

Наконец мы вышли. Ночь была тихая, темная. С противоположной стороны Камы несся знакомый мне протяжный шум бора. Старшой подошел к повозке, порылся в ней и приставил ко рту бутылку. Послышалось бульканье водки, и он тотчас же завалился в сани. Младший предупредительно расчистил мне место и сам сел напротив, на козлы. Сани спустились на Каму и поползли меж стен бора.

— Ты знаешь дорогу? — спросил я у ямщика.

— Бывал со старшиной и урядником.

— Поезжай через Дураненков двор.

— Ладно.

Рядом со мной храпел старшой. Другой жандарм, сидя, клевал носом на облучке. Я не дремал: меня обступили недавние воспоминания. Вот, с берега направо, глядят темные окна Молосных. Вот часовня Фрола-Лавра и чуть видная лесина, перед которой «черемиця» кадит и поет молебны... А вот на берегу темные постройки Дураненкова починка.

— Стой тут,— сказал я ямщику и, не дав жандармам очнуться, выскочил из саней. Ко мне сразу кинулись Дураненковы собаки, но, признав знакомого, обратили свою ярость на младшего жандарма, который выскочил за мною.

— Сидите в санях,— крикнул я, видя, как он обороняется от собак шашкой, а сам быстро взбежал на крыльцо и повернул в темный проход, который вел к зимней избе Дураненка — жилищу Улановской.

— Кто тут? — спросила девушка испуганным голосом.

Я наскоро объяснил, в чем дело, и успел сунуть ей некоторые бумаги и, помнится, письмо к брату. Она зажгла свечу, и мы обменялись торопливыми словами: ее предчувствия исполнились, и ей, бедняге, приходится опять оставаться одной.

Между тем младший жандарм решил не отставать от меня и пошел теми же переходами. Не зная их как следует, он провалился в люк, куда кидают корм скоту, и застрял в нем со своей шашкой и револьвером. Я вы-

шел к нему со свечкой и помог ему выбраться. Он очень обрадовался, видя, что приключение окончилось для него благополучно, и не мешал нам с Улановской переговорить на прощание. Затем мы горячо, по-товарищески обнялись с искренно опечаленной девушкой, и я вышел. Старшой беспечно храпел в санях, ничего не подозревая о тревоге товарища.

Дальнейший путь, к великой радости младшего жандарма, обошелся без приключений. Мы ехали то по льду Камы и ее стариц, то пересекая реку и углубляясь в леса. Надо мной, как призраки, проплывали то вершины сосен, то туманные облака на небе. В моем расколыхавшемся воображении проходили, как эти облака, картины, места и люди, которых я оставлял позади себя...

А что ждало меня впереди? Я был молод, здоров и силен, и мое воображение стремилось навстречу туманному, неизвестному, но все же, казалось, заманчивому будущему. Под эти мысли и под ровный скрип полозьев я незаметно заснул.

Я очнулся ясным зимним утром, пропустив перепряжку в Афанасьевском или Бисерове. Наши сани подымались на возвышенный берег реки по довольно крутому взъезду. Мы переехали через Вятку. Впрочем, не помню теперь, была ли это Вятка или другая река или речка. Но когда я оглянулся с высокого берега, за нами внизу широко и далеко расстилалось море «черни» — лиственных лесов, какими я ехал в Починки... Был уже день... Увалы, холмы уходили вдаль, меняя цвета и оттенки. Я старался угадать среди них далекие Березовские Починки на верхней Старице, где мне в такое короткое время пришлось пережить столько ярких впечатлений. Но угадать их в этом сплошном море лесов было трудно...

В Вятке мы остановились — иначе сказать, меня отвезли из канцелярии губернатора в тюрьму. Место мне было знакомое: здесь мы с братом, по пути в Глазов, провели около недели. Смотритель, довольно добродушный и неглупый старик, предупреждал нас тогда, что Глазов — страшная глушь, и теперь с удивлением узнал, что я попадаю к нему из Березовских Починков... О Починках в Вятке слышали, и ко мне в тюрьму нарочно приходили два чиновника губернского правления, пожелавшие увидеть человека, побывавшего в знаменитых Починках. У меня не было особен-

ной охоты удовлетворять их любопытство. На мой вопрос, обращенный к полицеймейстеру, крупному, хорошо упитанному субъекту,— за что я содержусь в вятской тюрьме, он ответил дипломатично, что меня, вероятно, решили перевести в губернский город, но сейчас губернатор в отъезде, и мне придется подождать его приезда. Это была, конечно, явная ложь, и я засмеялся прямо ему в лицо.

Дни шли за днями, губернатор не приезжал. В один холодный день, когда снаружи в окна тюрьмы глядел слепой зимний туман, смотритель сообщил мне, что сегодня тюрьму посетит прокурор (или товарищ прокурора, теперь не помню). Я выразил желание повидать его.

— Он все равно зайдет к вам, так как будет обходить все камеры, но...— И умный старик улыбнулся, давая мне понять, что мое обращение к «представителю закона» будет напрасно. Я в этом, пожалуй, не заблуждался, но все-таки пожелал предложить ему свой вопрос.

Дверь моей камеры широко распахнулась, и на пороге появился «представитель прокурорского надзора». Это был молодой еще человек, очевидно из какого-то «привилегированного» заведения, вероятно лицеист. Черты лица его были тонки и изнеженны. Он был одет в пальто и глубоких калошах, а шея его была повязана большим шарфом. Казалось, этот молодой человек не просто обходит помещение, где живут сотни людей, а только старается пройти, по возможности не запачкавшись, по какому-то грязному месту. Войдя в мою камеру, он тотчас же скользнул поверхностным взглядом по стенам и потолку.

— Господин товарищ прокурора,— сказал я,— я имею заявление.

Взгляд молодого человека с потолка прошел на меня, и он вежливо сказал:

— Я слушаю.

— Если не ошибаюсь, существует закон, по которому арестуемым должно быть в трехдневный срок сообщено о причинах ареста.

— Совершенно верно.

— И на лицах прокурорского надзора лежит обязанность следить, чтобы этот закон не оставался мертвой буквой.

— Да.

— И даже своею властью освобождать заключенных, если закон нарушен. Я сижу в тюрьме уже вторую неделю, и единственная причина этого, как мне в присутствии смотрителя заявил полицеймейстер, та, что из города уехал губернатор.

Молодой человек с вопросительным взглядом повернулся к смотрителю. Тот вытянулся по-военному и ответил:

— В административном порядке-с...

Эти два слова произвели на молодого юриста действие электрической искры. Он сразу задвигался и стал отступать к дверям, двигаясь спиной вперед и говоря в то же время:

— Извините... но... тут я ничего, нич-чего не могу сделать...

— Значит,— усмехнулся я,— достаточно написать на двери мелом «в административном порядке», и действие данной статьи закона прекращается. Можно держать человека сколько угодно.

— Нич-чего не могу сделать,— сказал прокурор, уже стоя на пороге, и с этими словами исчез со своими шарфами и калошами. Смотритель глядел на эту сцену со своей умной улыбкой.

Наконец за мной явились жандармы. Это были те самые, которые привезли меня из Починок,— один вежливый и довольно приятный, другой грубый и пьяный. Мы поехали с ними тем же путем, каким в прошлом году ехали с братом, и останавливались на тех же станциях. На печках и косяках я встречал надписи, сделанные тогда. Встречалось, между прочим, и имя Клавдии Мурашкинцевой. На меня пахнýло недавним прошлым. Тогда были чудные весенние дни... Ехали мы из тюрьмы, и даже ссылка казалась нам выходом на свободу... Вспомнились мне тогдашние хороводы, песни... Теперь я ехал навстречу, вероятно, новой тюрьме... Те, кому пришлось бывать в подобных обстоятельствах, вспомнят, наверное, то особенное чувство, которое вызывают в душе такие напоминания о прошлом, в виде какой-нибудь надписи на стене, которую прочитываешь в пути...

Местами ямщики или почтовые писаря узнавали меня и порой спрашивали: «Вы тогда ехали вдвоем. Два брата, похожие друг на друга... А где же теперь твой брат?»

В одном месте нас повез молодой веселый парень, который тогда очень восхищался пением Мурашкинцевой. Он, очевидно, тоже узнал меня и все поворачивался, как будто собираясь сказать что-то. Но его, очевидно, останавливал суровый вид старшого. Наконец, пустив лошадей легкой рысцою по ровной дороге, он не выдержал. Скручивая папиросу, он повернулся на козлах и сказал:

— Слышь... А без тебя там еще подбавили!..

Видя мой недоумевающий вопросительный взгляд, он лукаво подмигнул мне и пояснил:

— Царской-от дворец... вконец, братец, нарушили.

Пьяный старшой очнулся от дремоты и заворочался.

— Что так-кое?.. Ты как можешь!..

Ямщик еще раз подмигнул мне и повернулся к лошадям.

Так я узнал на костромской дороге о взрыве царского дворца, произведенном Халтуриным. Ямщик говорил веселым, но, в сущности, безразличным тоном. Тебе, дескать, интересно, а мне наплевать... На меня опять пахну́ло починковским безразличием...

Однако чем более мы подвигались к юго-западу, оставляя за собой костромские леса и трущобы, продолжение вятских трущоб,— тем более я чувствовал, как кончается это безразличие. На станциях под Костромой уже слышались разговоры о Лорис-Меликове, о данных ему царем особых полномочиях, о покушении на него со стороны Млодецкого. В одном месте станционный писарь, молодой и толковый отставной солдат, рассказывал жандармам о Лорис-Меликове, под начальством которого он служил на Кавказе. Его отзывы были проникнуты восторгом и... политикой. В его речах слышалось осуждение террористических покушений. Он посматривал при этом на меня, но удержался от прямых намеков. Такие разговоры то и дело звучали в моих ушах и на других станциях. Через Кострому мы проехали утром, не останавливаясь. Было как раз 19 февраля, день царского юбилея. Толковали о «царе-освободителе», об уничтожении крепостного права, о взрывах на железной дороге и во дворце... Казалось, починковское равнодушие осталось далеко позади. Все, что мне приходилось слышать теперь, было проникнуто верноподданством и недоуменным осуждением таинственных людей, неведомо из-за чего посягающих на царя и на власти... Процесс, уже закончившийся в ду-

шах Санниковых, Кузьминых и Богданов,— еще не начинался в широких массах, ожидавших всего от царской милости. Говорили о каком-то особенном манифесте, который должен был выйти, а теперь уже, наверное, вышел в день царского юбилея.

Через несколько дней в газетах стали появляться известия, что день юбилея далеко не везде обошелся спокойно. В Петербурге на Невском проспекте кучки рабочих задирали интеллигентных людей и даже кое-где избивали их. То же повторилось в некоторых других местах, особенно в Саратове. А в одном из уездов, помнится, Тверской губернии среди крестьян распространились волнующие слухи, «что господа стремятся извести царя». Под «господами» тут разумелись все представители правящих классов, и в одном месте толпа крестьян долго гналась за исправником, проезжавшим мимо какого-то села с колокольцами. Звон колокольцев почему-то на этот раз возмутил крестьян: начальство, дескать, радуется, в то время как на царя то и дело производятся покушения. Впрочем, газеты об этих случаях писали лишь вскользь, и причины остались невыясненными.

Мне лично в моем пути не пришлось наблюдать таких проявлений своеобразной преданности царю. Но когда я, под вечер 19 февраля, подъезжал к Ярославлю на тройке, запряженной в крытый возок, то впереди меня весь горизонт пылал огромным заревом, кидавшим отсвет на волжские снега. Навстречу нам, а еще более в обгонку, ехали сани, в которых жители сел стремились в город, чтобы посмотреть царский праздник. Я открыл окно возка и старался прислушаться к обрывкам разговоров. Это удавалось плохо, но все же у меня было ощущение, что на этой волжской дороге, а вероятно, и в приволжских селах, как это зарево, стоит теперь торжественное настроение царского праздника и не остывшей еще благодарности к царю-освободителю.

Россия была тогда еще очень далека от оппозиционного настроения свободолюбивой интеллигенции. И все-таки было здесь что-то, что делало мне это настроение более близким, чем тупое равнодушие лесной стороны. Здесь был уже интерес к тем же вопросам, которые занимали и нас. Пусть это интерес враждебный, но все-таки хоть общая почва для спора...

Мне теперь часто вспоминается этот далекий вечер. Над умами народа стояло, как это зарево вверху, фантастическое представление о царях, непрестанно пекущихся о народном, и главным образом крестьянском, благе... Нужно было еще почти три десятилетия и усилия трех царей, объявивших своей программой после освобождения полный застой и остановку жизни великой страны, чтобы разрушить в русском народе эту легенду о царской власти. Я оставил за собой начало этого процесса в душах ссыльных ходоков, которых деревня посылала к царю с наивными ожиданиями. И их история знаменовала разочарование в царской власти, постепенно просачивавшееся в народные массы.

XVI

В МОСКВЕ.— ШПИОН.— РАЗГОВОРЫ О ЛОРИС-МЕЛИКОВЕ.— ВЕСЕЛЫЙ ЖАНДАРМ И ЕГО ДОГАДКИ.— ПРИЕЗД В ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Из Ярославля по железной дороге меня привезли в Москву, и опять я попал в ту же Басманную часть, в которой успел побывать уже два раза... Я, конечно, тотчас же попытался перестукаться с соседями, чтобы узнать новости. По одну сторону сидел некто Устимович, украинец, кажется заподозренный в сепаратизме. Но едва я вступил с ним в разговор через стенку, его куда-то увели. Пришлось обратиться к другой стенке. Тут сосед не ответил мне обычным стуком, а только постепенными ударами кулака показал направление к печке. Оказалось, что почему-то тут жестяная труба, соединявшая печи двух камер, испорчена и в нее можно разговаривать без стука. Тотчас же в нее послышался громкий шепот:

— Кто вы?.. Когда вас арестовали?..— И так далее. Я, в свою очередь, предложил такие же вопросы собеседнику. Но он, не ответив, спросил меня торопливо:

— Не знаете ли вы Гартмана? Очень бы нужно сообщить ему важные для него известия. Где он скрывается?

— А кто такой этот Гартман?

— Ну разве вы не знаете! — сказал он с разочарованием и недоверием.

— Но ведь меня только что привезли из Вятки...

— Ну, может, знали раньше... Может, укажете мне его близких знакомых. Мне вы можете вполне доверять...

— Да кто же все-таки этот Гартман?..

— Он произвел взрыв на железной дороге, и очень важно сообщить ему кое-что. Понимаете...

Я понял: со мной рядом сидел, очевидно, шпион. Неужели его посадили нарочно для меня?.. В это время в трубу я услышал покашливание и шаги. В камере, очевидно, был еще кто-то.

— Кто еще с вами? — спросил я.

— Так это... другой, тоже политический.— Он понизил голос до шепота и прибавил: — Бедняга помешался.

В это время мою камеру отперли, и служитель пригласил меня выйти. Я вышел в коридор и очутился среди настоящей сутолоки. В коридоре было несколько человек: кого-то уводили, кого-то приводили, ключник бегал с ключами. Это, очевидно, он выпустил меня, но затем не обращал на меня внимания. Не зная, в чем дело, я подошел к двери другого моего соседа. Устимович был уже тут. Подойдя к своему окошечку и оглядев меня, он сказал:

— Ого, какой у вас дикий вид!.. За одну такую наружность могли бы арестовать на улице.

Я действительно все время пребывания в Починках не стриг волос. Баня у Гаври была черная: копоть висела хлопьями, и мыться в ней было трудно: белье пачкалось в саже. Копоть черной избы въелась в поры моей кожи, и действительно вид у меня был совершенно дикий. Я, в свою очередь, оглядел Устимовича. Это был человек лет тридцати, с приятным, спокойным лицом и заметным украинским выговором.

— Кстати,— сказал он.— Имейте в виду, что рядом с вами сидит сыщик-доброволец. Это какой-то кавалерийский юнкер, подделавший вексель тетушки. Об нем производится дело, которое, по-видимому, замнут... Он уже на свободе, но его посадили сюда нарочно: случилась большая кража, наделавшая много шума, и его подсадили к одному из предполагаемых участников...

В это время ключник торопливо подбежал ко мне.

— Ваша фамилия? — спросил он у меня с тревогой. Я назвался. Он открыл опять мою камеру и, сказав мне «пожалуйте», тотчас опять захлопнул дверь.

— Где тут Иванов? (за точность фамилии не ручаюсь),— спросил он громко в коридоре.

— Я, я Иванов! — ответил мой сосед. Замок щелкнул, и сосед вышел. Я с любопытством взглянул на него: невзрачная фигура в штатском платье с неприятным и ничтожным лицом. Он весело ушел «на волю», а я заговорил с оставшимся соседом.

— Вы политический? — спросил я.

— Врет он,— ответил мне сиплый, как будто с перепою, молодой голос и тотчас же прибавил с подкупающей откровенностью: — Я — жулик.

Он с некоторой гордостью рассказал о громкой краже, «о которой даже писали в газетах», и затем сказал:

— Подсыпается тоже... дурака нашел. Я вам нарочно кашлял, чтобы вы ему не верили...

На следующий день за мной явились два жандарма и повезли на Николаевский вокзал. Вагон третьего класса был тесно набит пассажирами. Я сел на лавочке среди публики. Один из провожатых сел рядом, другой — напротив. Рядом с нами за узким проходом сидел какой-то благообразный молодой человек в русском полушубке, покрытом тонким серым сукном, и в высокой барашковой шапке. В его наружности было что-то аристократическое: член какого-то благородного семейства, временно вынужденный ехать в третьем классе... Против него сидел худощавый и даже тщедушный господин с нервным и желчным лицом, то и дело заговаривавший с своим визави, а рядом с ним — выпивший купец. Господин оказался техником из Саратова, ехавшим по делам в Петербург. Эти три человека говорили о последних событиях, о состоявшемся назначении Лорис-Меликова, о выстреле и казни Млодецкого. Говорил больше техник. Аристократический молодой человек отвечал сдержанно. Купец вмешивался громко и экспансивно, вовлекая в разговор остальную, по большей части серую, публику. Вскоре поезд тронулся, и разговор стал общим. Говорили о событиях, по большей части осуждая революционеров. На одной из близких станций купец собрался уходить и перед уходом кинул собеседникам лукавую реплику:

— Ну все-таки, господа милостивые, позвольте мне сказать: все это от ученых людей происходит, вот как вы, к примеру, а не от нас, вахлаков необразованных. Так ли я говорю? — сказал он, оглядываясь на серых слушателей.

Серая публика, очевидно, была на его стороне. Раздался сочувственный смех и шуточки. Техник и его собеседник, очевидно, почувствовали себя неловко. Когда купец ушел, техник заговорил тише:

— Да, вот каковы суждения толпы!.. Нет, как хотите, нельзя не признать: устарел государь. Не тот уже, что был прежде... Будь он тот же, что был смолоду, непременно бы дал (он несколько понизил голос), дал бы непременно кон-сти-туцию... Написал бы: «Быть по сему» — и кончено! Разумеется, разные негодяи, которые кидают бомбы, этим бы не удовлетворились. Но все просвещенные люди, как вы, я...— Он пытливо посмотрел на меня и благосклонно прибавил: — Вероятно, вот они приветствовали бы новую реформу, и все вошло бы в колею. Как вы полагаете?

Аристократический господин приподнял брови: видимо, он считал разговор не совсем уместным. Техник переменил тему:

— Позвольте спросить: вы зачем изволите ехать в столицу?..

— Не знаю точно. Дядя зовет зачем-то.

— А... Иван Степанович N (он назвал фамилию, довольно известную в чиновничьих сферах).

— Да... Там, по-видимому, наклевывается место... в верховно-уголовной комиссии при Лорис-Меликове...

Техник почтительно замолчал. Очевидно, еще не выяснилось вполне, какого курса будет держаться Лорис-Меликов. Я жадно слушал эти разговоры, и мне казалось после вятской глуши, что я очутился среди настоящего кипения политических мнений... Вскоре, однако, разговоры стали стихать, публика редела. К моим провожатым подошел из другого вагона молодой жандарм, очень развязный, выпивший и веселый. Он ехал домой в отпуск, очень гордился своей службой писаря в жандармском управлении и новыми сапогами, которыми намеревался пощеголять в деревне. Когда кондуктор стал штемпелевать билеты, он без церемонии взглянул на них и радостно свистнул:

— Вышний Волочек!.. Так это вас, господин, везут в централ...

Только тут я узнал, что меня везут из Вятской губернии в Вышний Волочек. Зачем?.. Веселый жандарм, заметив на моем лице выражение сомнения, прибавил тем же радостным тоном:

— В централ!.. Это уж верно. Не извольте беспокоиться: я уж эти дела знаю. В централ — и кончено!

По-видимому, это была полная нелепость. В центрально-каторжную тюрьму нельзя было попасть без суда. Но — пути русской жизни неисповедимы. Лорис-Меликов получил какие-то экстренные полномочия, и, может быть, наша жизнь докатилась уже до центрально-каторжных тюрем в административном порядке.

Нельзя сказать, чтобы у меня было весело на душе, когда уже темным ранним вечером мы ехали с вышневолоцкого вокзала куда-то довольно далеко за город. Была оттепель. Небо затянуло густыми низкими тучами, скрывшими звезды. Такие же тучи затянули мое, вообще довольно бодрое, настроение. Извозчик свернул с шоссе и подъехал к тюремной ограде; ветер шевелил и качал висевший над широкими воротами фонарь. За стеной едва виднелось двухэтажное здание тюрьмы, в котором тускло светились несколько окон. После обычных формальностей нас ввели в ограду, а затем — в тюремную контору, которая показалась мне какой-то мрачной мурьей. Здесь мне предложили раздеться, убрали мое платье и сапоги, а мне дали арестантские коты, бушлат, штаны и шапку без козырька. На спине бушлата были черные буквы «В. П. Т». Обращение служителей, особенно одного, по-видимому старшего, было грубо и неприветливо. Он предложил мне подождать, пока придет смотритель. Я сел на свободный стул. Служитель посмотрел на меня пристальным неодобрительным взглядом, как будто осуждая эту вольность...

Наконец дверь конторы отворилась, и, сильно согнувшись, в контору вошел человек огромного роста, с очень крупными чертами лица, который в тогдашнем моем настроении показался мне гориллой. Он сел за стол и сразу же приступил к осмотру моего чемодана и ящика. Увидев рукописи, он с интересом стал их просматривать. Какой-то листок, написанный очень мелко, обратил, по-видимому, его особенное внимание. Брови его сдвинулись.

И вдруг огромное лицо поднялось от стола, и на меня взглянули добрые глаза, полные какого-то наивного участия.

— Что это? — сказал он, покрывая листок своей огромной ладонью.— Г'опот на жизнь?

Я посмотрел на него с недоумением.

— Г'опот на жизнь,— повторил он.— У многих, знаете, встг'ечается г'опот на жизнь...

— Нет, господин смотритель,— ответил я, улыбаясь.— Никакого ропота тут нет...

— А я думал: непг'еменно г'опот... Ну, добг'о пожаловать. Пойдем...

И он повел меня в здание тюрьмы. Через минуту я был в большой камере, где меня встретили новые товарищи, жильцы не центрально-каторжной, а только Вышневолоцкой политической тюрьмы, что и значилось теперь у меня на спине в виде трех букв «В. П. Т.».

В камере, куда я попал, было уже человек пять. Первым подошел ко мне молодой человек с очевидной военной выправкой и, шаркнув так, как будто на нем были сапоги со шпорами, отрекомендовался:

— Прапорщик Верещагин.

— Кожухов,— сказал за ним старообразный коренастый молодой человек, похожий на плохо выбритого консисторского чиновника.

— Волохов Петр Михайлович.

Волохов был сильный брюнет с довольно тонкими чертами лица.

— Дорошенко,— произнес совсем юный молодой человек, похожий на гимназиста.

— Иванайн...

Фамилия Волохова напоминала мне два рассказа, недавно напечатанные в «Отечественных записках»: «История одной газеты» и «Панфил Панфилыч». Многие думали, что на литературном горизонте появилась новая звезда. На мой вопрос Волохов ответил просто:

— Да, тот самый.

Иванайн оказался тем финном-рабочим, которого Денисюк, смотритель Спасской части, бил по щекам, за что получил угрозу от революционеров. Дорошенко тоже был моим соседом по Спасской части. Когда он подошел к глазку в дверях и стал на весь коридор оглашать привезенные мною новости, я сразу узнал звонкий голос юноши, распевавший кощунственные ектении, о котором отец-генерал разговаривал с Денисюком. Теперь в нем не было заметно никаких признаков умственного расстройства... Он старался выражаться поизящнее и фамилию Лорис-Меликова произносил на французский лад: Лёрис-Мэликоф...

Таким образом, в В. п. т. я сразу встретил знакомых.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вышневолоцкая политическая тюрьма

I

НАСЕЛЕНИЕ В. П. Т.— АНДРИЕВСКИЙ, АННЕНСКИЙ, ПАВЛЕНКОВ

В то время когда меня привезли в В. п. т., в ней было около сорока человек, и число заключенных все увеличивалось. Противоправительственное движение росло, росло и сочувствие к нему в обществе, а у самодержавия был один ответ — полицейские репрессии. С осужденными поступали очень сурово. В Белгороде и Борисоглебске, Харьковской губернии, были основаны центрально-каторжные тюрьмы, о порядках которых ходили чудовищные слухи. Люди были точно замурованы: ни переписки, ни свиданий не допускалось. Проводилась система абсолютного одиночества. Обращение тюремщиков было нарочито грубое, непременно на «ты». А так как эта система практиковалась и в то время, когда харьковским генерал-губернатором был Лорис-Меликов, то его возвышение было встречено сомнением и враждой. Выстрел Млодецкого был выражением этих чувств, а немедленная казнь его, казалось, подтверждала усиление репрессий.

Но кроме явных революционеров, осужденных судами, было много «сочувствующих», для суда над которыми не было данных. «Административный порядок» должен был бороться с этим «сочувствием». Жандармский строй изощрялся над реформами в этой области. Уже процесс Засулич показал, как широко разлито это неблагонадежное настроение. Начавшиеся забастовки показывали, что пропаганда начинает проникать в рабочую среду. «Неблагонадежных» всех слоев хватали и высылали. Но это обходилось дорого казне. Придумали усовершенствованные приемы: административную ссылку целыми партиями. Мценская и Вышневолоцкая политическая тюрьмы и были назначены для такой оптовой эвакуации «неблагонадежных».

Одна из таких партий была уже выслана из В. Волочка в Сибирь в прошлом (1879) году. Теперь набирали другую, и я понял, что меня продержат здесь до открытия навигации, после чего отправят в Восточную Сибирь. Оставалось примириться с этой перспективой, как уже примирились мои новые товарищи. Кажется, что в обществе к этому времени водворились «ожидания» и надежды, связанные с назначением Лорис-Меликова, но мы были настроены скептически. В последнее время все «реформы» сводились на технику полицейских мероприятий. Институт жандармов выдвинулся на первый план русской жизни. Основывались новые окружные управления, увеличивались жалования, расширялись штаты, жандармы появились в самых глухих углах. Поэтому если и были теперь новые ожидания со стороны общества и прессы, то нам они казались обычными российскими упованиями, вроде тех, какие когда-то высказал в своей газете покойный Гирс по поводу назначения шефом жандармов боевого генерала Дрентельна... Газета получила предостережение, и все осталось по-старому.

Общество, которое я застал в В. п. т., было довольно разнообразно. Самым старшим и самым солидным из нас был Алексей Александрович Андриевский, педагог, преподаватель русской словесности в одной из одесских гимназий. Он был родной брат моего ровенского учителя словесности Митрофана Александровича, о котором я говорил в первом томе. Это был настоящий педагог, очень серьезно относившийся и к своему учительству, и к своей карьере. Он был дружен с Драгомановым и, очевидно, попал в В. п. т. именно за эту дружбу. По убеждениям он был ярый украинец, как тогда называли,— украинофил. Заключение он переносил тяжело и пускал в ход все свои связи, чтобы избавиться от ссылки, что в конце концов ему и удалось. У него была заметная складка украинского юмора, и порой он не мог отказать себе в удовольствии писать по тому или другому поводу довольно язвительные отзывы... Смотритель Лаптев относился к нему с почтением и гордился, что под его начальством состоит коллежский советник.

Через несколько дней в нашу камеру, под внимательным руководством самого Лаптева, внесли еще одну кровать.

— Кого это бог нам дает, Ипполит Павлович? — спросили мы у смотрителя.

— Привезут с поездом... надворного советника.

Этот надворный советник оказался Николаем Федоровичем Анненским. Я уже видел его раз, попав на собрание «трезвых философов» — неузаконенного кружка, группировавшегося около «Отечественных записок». Там кидался в глаза человек лет уже за тридцать, полный, необыкновенно жизнерадостный и веселый. Во время перерывов за ним постоянно следовал хвост молодежи, прислушиваясь к его метким замечаниям, сдобренным постоянными шутками, каламбурами, остротами... В то время он уже приобрел известность своими экономическими статьями. Он все готовился к кафедре, но разные обстоятельства мешали его ученой карьере; пока он занимался литературой и служил в министерстве путей сообщения, куда министр (кажется, Посьет) охотно принимал лиц свободного образа мыслей.

— Вы, конечно, конституционалист,— говорил он одному из кандидатов,— это вашей службе помешать не может. Все просвещенные люди теперь конституционалисты.

Жандармы, конечно, думали иначе и после приказа «не стесняться ни званием, ни состоянием» — произвели атаку на либеральное ведомство. Одной из жертв этой атаки и стал Н. Ф. Анненский.

В нашу камеру он вошел с улыбкой и шуткой на устах и сразу стал всем близким. Какая-то особая привлекательная беззаботность веяла от этого замечательного человека, окружая его как бы светящейся и освещающей атмосферой. К своей служебной карьере он относился насмешливо, как к временному этапу. У него была та бодрая уверенность в собственных силах, которую придают солидные знания и способность к работе. В ссылке он принялся сначала за литературу, а затем стал одним из самых выдающихся организаторов земской статистики в Казани, а потом в Нижнем, пока не переехал в Петербург, где принял живейшее участие в «Русском богатстве».

Вскоре после его водворения к нам внесли еще одну кровать, уже седьмую, и Ипполит Павлович заявил, что

на этот раз прибыл «майор» Павленков. Вид у Лаптева был особенно торжественный.

В тот же день, после вечерней поверки, дверь нашей камеры открылась, и в нее вошел Ипполит Павлович. Он пришел познакомиться с майором. Войдя, он прямо подошел к его койке и, попросив позволения, присел на ближайшую кровать.

Я очень жалею, что не могу воспроизвести эту картину. Друг против друга сидели два человека, представлявшие прямую противоположность. Лаптев, огромный, неуклюжий, с топорным лицом простодушного гиганта, в мундире, застегнутом на все пуговицы, как будто он явился к начальству. И против него — маленький человек в арестантском халате, с мелкими чертами лица и вздернутым носиком. Его живые темные глаза сверкали лукавой усмешкой...

Некоторое время оба молчали и глядели друг на друга. Лаптев начал первый:

— Как же это, господин майор?..

— То есть?..

— То есть... За что же?..

Павленков пожал плечами и усмехнулся.

— Не знаю,— сказал он кратко.

— Ну... может быть, все-таки... хоть догадываетесь?..

— И не догадываюсь,— решительно сказал Павленков и, тотчас же, кинув исподлобья взгляд своих быстрых глаз на смущенное лицо Лаптева, прибавил: — А ведь я знаю, что вы сейчас подумали, господин смотритель.

— Этого не может быть,— сказал Лаптев с сомнением.

— Вы сейчас подумали: вот бывший офицер, отставной майор... А как врет...

С Лаптевым случилось что-то необычайное. Его большие глаза остолбенели, он невольно поднялся с своего сидения и растерянно оглянулся на нас всех.

— Пг'авда,— сказал он с изумлением.— Ей-богу, пг'авда... Извините меня, господин майор, но ей-богу — подумал... И как вы могли угадать...

Впоследствии, когда мы все, свидетели этой сцены, давно оставили В. п. т. и наши места заняли другие временные жильцы, Лаптев любил показывать места, где у него жил надворный советник и писатель Аннен-

ский, другой писатель — Волохов и, наконец,— издатель многих книг, майор Павленков.

— Пг'оницательный человек,— прибавлял он каждый раз,— мысли в душе человека читает, как в открытой книге...

За что, в самом деле, был выслан Павленков? В точности я не знаю, какие доносы поступили на него от филеров и сыщиков, но основную почву составляло, конечно, то, что он был один из неблагонадежнейших издателей. Молодой офицер во времена Добролюбова и Писарева бросает военную службу и приступает к изданию книг. Для него это был, несомненно, не способ заработка (хотя и в этом отношении он вел свои дела очень практично), но также и «дело идеи». Я помню, одну лекцию в Историческом музее в Москве, где лектор, излагая учение известного астрофизика аббата Секки, привел параллельно места из его книги «Единство физических сил» и русского перевода этой книги, изданного Павленковым. В переводе оказались исключенными все места, где автор, замечательный ученый, но вместе иезуитский аббат, допускал непосредственное влияние божества на основные свойства материи, как тяготение. Когда я передал об этой лекции Павленкову, он усмехнулся и сказал: «Еще бы! Стану я распространять иезуитскую софистику».

С энергией, с настойчивостью, с присущим ему необыкновенным лукавством, в целом ряде изданий он старался провести известное мировоззрение, так что изданная им библиотека представляла в этом отношении известную цельность. Цензура не могла справиться с этим: он умел ее обойти — где взяткой, где просто лукавством. При издании сочинений Писарева цензура уничтожила одну статью, а издателя постановила привлечь к суду. В промежутке между конфискацией книги и судом Павленков успел съездить в Москву, представил в московскую цензуру запрещенную статью Писарева и... получил разрешение. На суде цензурное ведомство оказалось в глупейшем положении: в Петербурге судят за то, что в Москве одобряет цензура. Суд оправдал Павленкова, но постановил уничтожить самую статью. Павленков привел на гласный суд стенографа, который записал прения. Прокурор цитировал ту часть статьи, которая подавала повод к обвинению. Защитник привел обширные цитаты из других ее частей. Таким образом, почти вся статья цитировалась

в прениях, а так как процессы гласного суда тогда печатались, то Павленков ввел стенографический отчет в последний том издания. Судебное преследование не помешало появлению статьи, а только содействовало ее огласке.

Помню еще такой случай: Павленков издал какую-то азбуку с книжкой для начального чтения, которую цензура тотчас же конфисковала. Известие о «неблагонадежной азбуке» тотчас же распространилось среди молодежи, и книжечка стала ходить по рукам нелегальным образом. Затем Павленков заказал предисловие, автор которого жестоко разносил изданную им азбуку и предлагал вместо критикуемой книжки для первоначального обучения свою. Цензура пропустила книжку, не заметив, что к этому предисловию был приложен... тот же запрещенный ею текст... Павленкову оставалось только устранить предисловие, на что он имел законное право, а книжку пустить в продажу с большим успехом, так как его проделка стала опять широко известна. На этот раз цензура не рискнула вторичным процессом.

Вся его издательская деятельность прошла в такой борьбе с цензурой. Конечно, все это было неуловимо для точной законной квалификации. Нельзя же было карать человека по закону за то, что цензора глупы или продажны. Но административный порядок с его «неблагонадежностью» — дело другое. Павленков сначала был выслан в Вятку.

Здесь он опять ухитрился издать сборник под названием «Вятская незабудка», для которого соединил литературные силы ссыльных. Сборник был ярко обличительный, имел громадный успех не только на месте, но и на общем книжном рынке и опять причинил много хлопот цензуре.

Здесь же с Павленковым случился очень характерный для него эпизод. Он получил из столицы известие, которое призывало его в Петербург недели на две. Добиться отпуска из ссылки не было никакой надежды. Приходилось опять пуститься на хитрость.

В то время в Вятке существовал уже особый порядок надзора: ссыльные обязаны были являться ежедневно и расписываться в полицейском управлении. С Павленковым все-таки поцеремонились: он сказался больным, и к нему посылали полицейского на квартиру. Павленков сумел добиться и еще одной уступки: полицейский

не являлся к нему лично, а справлялся у хозяйки. Павленков облегчил ему этот надзор: его квартира была во втором этаже, и окна ее выходили на улицу. Каждый вечер в определенные часы Павленков прогуливался по своей комнате, и его тень размеренно мелькала на освещенных лампою шторах. С некоторых пор хозяйка — кстати сказать, очень преданная своему неблагонадежному жильцу — сообщила полицейскому, что Павленков нездоров, очень раздражителен и даже ей не позволяет без крайней надобности входить в его комнаты. Но все-таки в определенные часы силуэт поднадзорного появлялся на освещенных шторах к полному удовлетворению полицейского.

Так прошла неделя. Павленков был в Петербурге, а на шторах появлялся силуэт хозяйкина сына, обвязанного, «в виду болезни», шарфами. У полицейского явились все-таки подозрения. Он стал беспокойно приставать к хозяйке и наконец потребовал, чтобы она допустила его к жильцу. Та отговаривалась под разными предлогами, а сама в это время послала в Петербург условную телеграмму. Полицейский еще дня три довольствовался созерцанием силуэта на окне, но его подозрения и беспокойство росли и принимали все более осязательные формы. Он стал настоятельно требовать свидания. Положение обострялось. Наконец полицейский потерял терпение и, устранив после некоторого шума хозяйку, бросился наверх по лестнице, громко требуя, чтобы Павленков ему показался. Он был уже на верхних ступеньках, когда дверь вдруг открылась, и на пороге показался... Павленков.

— Что вы тут дебоширите!.. Вон! Я пожалуюсь губернатору!

Ошеломленный полицейский чуть не кубарем скатился с лестницы. Только за полчаса перед тем в сумерки Павленков вернулся и незаметно пробрался в квартиру. Этот эпизод Павленков охотно рассказывал, и при этом воспоминании его живые глазки сверкали удовольствием.

Благодаря разносторонним связям и настойчивости ему удалось освободиться из-под надзора и вернуться в Петербург. Жандармы имели удовольствие увидеть его опять с теми же мефистофельскими приемами относительно цензуры и... с «Вятской незабудкой», на которую из Вятки летели жалобы: неблагонадежные ссыльные жестоко высмеивали в сборнике благонамеренную

вятскую администрацию. Это наконец надоело, и Павленков очутился в В. п. т. Мог ли он точно ответить на вопрос Ипполита Павловича Лаптева, за что его высылают?..

Он был «сочувствующий» — это несомненно. Однажды в нашей камере затеялся разговор о том, что можно делать для политического развития России, кроме террора. Я продолжал доказывать, что необходимо поднять уровень сознания в народе, что для этого необходимо идти с широкой проповедью культуры со стороны мирной интеллигенции и нелегально проводить только политические взгляды о необходимости изменения строя. Павленков резко возразил: просвещение подавляется, учитель превращен в казенную машину для обучения азбуке, а нелегальная идейная работа требует совершенно «сверхсметных» качеств со стороны пропагандистов. Остается только один путь. Это — террор.

Меня поразил тогда решительный тон, прозвучавший в этом возражении. Вообще мягкий и слабый голос Павленкова звучал какими-то гневными нотами. Большинство собеседников с ним соглашалось. Это носилось в воздухе... Это была сила вещей.

II

ИСТОРИЯ ПЕТИ ПОПОВА

Одной из самых оригинальных фигур среди интеллигентной молодежи, наполнявшей тогда камеры В. п. т., представляется мне Петр Зосимович Попов, которого все мы называли попросту Петей Поповым. Родом он был из Петрозаводска, где учился в одной гимназии с моим зятем, Лошкаревым. Я познакомился с ним еще на воле, и мы вместе ходили на Петербургскую сторону к П. А. Лебедеву, мастеру патронного завода, где пытались изучать слесарное дело.

В то время (1879 год) ему шел двадцать первый год. В его наружности не было никаких внешних признаков «интеллигента». Небрежно одетый, в простой блузе, он скорее походил на фабричного мальчишку, чем на студента Медико-хирургической академии... Только разговорившись с этим простоватым на вид юношей, можно было заметить, что под невзрачной наружностью скры-

вается незаурядная и чрезвычайно оригинальная личность.

Есть у Щедрина рассказ «Непокорный Коронат». Сын священника не хочет идти по стопам родителя, а желает пахать землю. Впоследствии желание вымышленного щедринского героя оказалось до такой степени нецензурным, что уже в отдельном издании этот юноша превратился в «непочтительного Короната», сына кузины Машеньки, и непочтительность его смягчена: он уже стремится не к землепашеству, а только желает сменить выбранную маменькой юридическую карьеру на карьеру медика. Сыну почтенных родителей даже в беллетристическом рассказе не полагалось пахать землю, как мужику...

А между тем такое стремление было у очень многих молодых людей моего поколения, и, может быть, это-то и казалось опасным. Сначала пашня, а потом пропаганда. Между тем целые годы народническо-литературной проповеди не прошли даром, и стремление просто зажить трудовой жизнью, опроститься, даже без сторонних целей,— уже тогда сказывалось у многих, и Петя Попов был одним из таких юношей. Он говорил совершенно откровенно, что убеждения его еще не сложились, что он не считает себя революционером, а только хочет сделать опыт,— сможет ли он жить трудовой жизнью, так как его не манит ни одна из интеллигентных профессий. При этом было что-то в его характере, что очень быстро сближало его именно с простыми людьми. Он не имел в виду ни учительства, ни пропаганды: ему только хотелось жить жизнию трудового народа, в одинаковых с ним условиях... Для этого он решил поступить на одну из петербургских фабрик.

Познакомившись с кружком молодых рабочих, кажется, патронного завода и, по обыкновению, скоро сойдясь с ними на товарищескую ногу, он устроился на заводе, причем рабочие на первое время, не без ведома мастера, помогали ему исполнять уроки. В то время он был студент Медико-хирургической академии и этого, конечно, от рабочих не скрывал. Держался он с ними просто, как сверстник и товарищ. По праздникам они вместе ходили в театр и досуги проводили за чтением. Чтение, конечно, бывало всякое: кружок уже был отчасти затронут начинавшимся тогда брожением. Петя Попов был не пропагандистом, а только членом кружка рабочих, совместно старавшихся решить поставленные

временем вопросы. В это время я виделся с ним редко, но когда мы виделись, он с увлечением рассказывал о жизни в новой среде. Революционером себя по-прежнему не считал и решительно отклонял всякие «партийные поручения».

Чем кончился бы для него этот опыт — сказать трудно. Но — почва для таких «Коронатов» была тогда скользкая. Щедринский Коронат (в первой редакции) тоже скоро узнал все неудобство для сына привилегированных родителей заниматься непривилегированным делом. Узнал это на опыте и Петя Попов. Кружок рабочих, проводящих досуги не в пьянстве, а в совместном чтении, навлек на себя донос и обратил внимание жандармов. В один день, когда товарищи были на заводе, а Петя оставался на квартире один вследствие нездоровья, он увидел в окно полицию и понятых. Догадавшись, что это идут к ним, он успел взять в руки невинную брошюрку «Сельцо Отрадное», и неожиданные посетители застали его погруженным в чтение. Он был моложав не по возрасту и имел вид рабочего парня, по складам разбирающего печатное.

На этом он основал план защиты и разыграл свою роль так искусно, что, даже найдя кое-что нелегальное, обыскивавший жандарм поверил всему, что ему рассказал «простоватый паренек»: нелегальщину принес молодой господин...

— В очках и пледе? — проницательно вставил жандарм.

— Да, в очках и пледе, и приказал непременно прочитать. Но читать его книги скучновато — «Сельцо Отрадное» много занятнее...

В эту минуту вернулись с завода товарищи. Попов кинулся им навстречу и, захлебываясь, с увлечением стал говорить, что он уже все рассказал его благородию про студента в очках и пледе. Пусть, ежели эти книги вредные,— сам и отвечает...

Все это было так натурально, что дня через три рабочих, для порядка все-таки арестованных, отпустили, прочитав соответствующее наставление. Пете Попову жандарм посоветовал еще особо — уезжать лучше домой: таким дурачкам в столице неудобно — как раз запутаешься и пропадешь. Вот видишь, ты и фамилии своей подписать не умеешь...

Так этот эпизод и сошел бы благополучно для всего кружка, если бы не особое обстоятельство. В числе

понятых при обыске случился дворник того дома, где Петя еще недавно жил в качестве студента-медика. По странной прихоти этого своеобразного юноши он даже не переменил фамилии, поселившись с рабочими, и только в паспорте изменил звание студента на звание крестьянина. Дворник был парень глуповатый и смотрел с изумлением на непонятное превращение студента в фабричного рабочего. Так он и не решился сказать о своем открытии во время обыска, но дня через два, тяжело обдумав весь эпизод, он все-таки понес свои сомнения к управляющему домом, который тотчас же направил его к начальству. Жандармы сначала не поверили: трудно было думать, чтобы пропагандист не переменил фамилию. Но все-таки, наведя кое-какие справки, убедились, кого они сочли дурачком и кому давали снисходительные советы — уезжать из Петербурга.

Совет этот Попов, конечно, исполнил. Дав товарищам подробнейшие наставления, как им держать себя, он уехал на родину, в Петрозаводск, чтобы записаться на призыв в воинском присутствии, так как личный вопрос о продолжении образования он еще для себя считал нерешенным. Рабочих арестовали вторично, но скоро опять отпустили, а Попов, беспрепятственно отбыв формальности по воинской повинности, уехал пока что в Москву.

Тут злая судьба захотела, чтобы он, скрываясь, попал как раз на конспиративную квартиру шпиона Рейнштейна, о котором я говорил во втором томе. Роль Рейнштейна к тому времени выяснилась вполне, и он был убит. Я уже упоминал о тех кошмарных днях и ночах, которые наступили для жильцов конспиративной квартиры после убийства ее хозяина. Напомню теперь эту историю. Жильцов в квартире Рейнштейна было трое. Попов, затем С—в, тот «любитель революции», о котором я тоже упоминал во втором томе. Несмотря на урок с первым арестом, С—в опять принял участие в какой-то конспирации и вынужден был скрываться. С ними жил еще один, недавно приехавший из провинции, рабочий из крестьян. У бедняги тотчас по приезде в Москву украли деньги и паспорт. Петя Попов нашел его на вокзале в полной растерянности от пропажи и тотчас же предложил ему приют на конспиративной квартире, пока ему вышлют по этому адресу

новый паспорт. Затем Попов тотчас же подружился с ним и до прихода паспорта не мог его бросить.

В течение почти двух недель полиция не знала, что ее ловкий агент лежит убитый в номере одной из московских гостиниц. «Партия», знавшая о конспиративной квартире, решила предупредить об этом С—ва. В середине ночи раздался звонок. С—в пошел отворять. На его вопрос ответил дворник, который привел какого-то незнакомого человека. Тот подал С—ву запечатанный конверт, и тотчас же оба ушли. С—в вошел в спальню, вскрыл конверт, страшно изменился в лице и, выскочив на площадку, стал звать ушедших. На темной лестнице никто ему не откликнулся. С—в вернулся к себе, бросился на кровать лицом в подушку и на все вопросы Попова только отмахивался: «Не спрашивай, ради бога, не спрашивай...» Попов насильно взял у него таинственный конверт. В нем сообщалось, что хозяин квартиры, шпион Рейнштейн, убит по приговору партии. С—в предупреждается об этом, но с тем, чтобы он никому не сообщал «под страхом смертной казни».

На следующее утро С—в оставил квартиру, но Попов не мог этого сделать из участия к рабочему, ни к чему не причастному и выжидавшему со дня на день паспорта. Легко представить настроение этих двух жильцов роковой квартиры. С утра рабочий уходил на фабрику, а Попов в Петровскую академию и по студенческим квартирам, где нужно было предупредить людей, имевших дело с Рейнштейном. Попова не пугала «угроза смертной казни», и скоро вся радикальная молодежь знала о судьбе Рейнштейна. Попов первое время не верил, что его приятель-рабочий был провокатором, и считал убийство роковой ошибкой. Только впоследствии, из показаний его жены, убедился, что подозрения были основательны. А пока — каждый вечер он возвращался к товарищу, и они вместе проводили тревожные ночи, ежеминутно ожидая, что к ним нагрянет полиция. Рабочий, кроме того, питал суеверный страх, и ему казалось, что по темной квартире ходит ее мертвый хозяин.

Наконец паспорт был получен, и Попов мог оставить своего товарища, который поселился легально на новой квартире. И только после этого трупный запах, распространявшийся из номера гостиницы, заставил вскрыть

дверь. Убийство было обнаружено. Кинулись на квартиру Рейнштейна, но там никого уже не было.

Для Попова начались нелегальные скитания, как и для С—ва. В Москве шли сплошные обыски, и скоро С—в был арестован. «Любитель революции» тотчас же прибег к своему обычному приему: рассказал все, о чем его спрашивали, и даже то, о чем совсем не спрашивали. Рассказал и то, кто были другие жильцы конспиративной квартиры. Полиция, конечно, решила, что в лице Попова она имеет дело с «важным и опытным политическим преступником», и стала его усиленно разыскивать. Скоро и он был арестован.

По делу Рейнштейна была назначена особая следственная комиссия, заседавшая в здании окружного суда. Заседания эти происходили очень торжественно, до тех пор по крайней мере, пока комиссии не пришлось допрашивать Попова. Попов поставил себя в отношении следователей совершенно особым образом. Когда его ознакомили с показаниями С—ва, который их закончил обращением к товарищам с просьбой вспомнить, что «давая эти показания, он сидел в темнице», то Попов откровенно заявил, что еще не составил себе определенных политических убеждений, но со школьной скамьи питает отвращение к доносу. Поэтому, сколько бы его ни держали в тюрьме, от него не добьются ни одного показания о других. О себе он скажет все. Когда председатель все-таки дал ему лист бумаги и предложил, ознакомившись подробно с показаниями С—ва, ответить совершенно откровенно на все вопросы, то Попов, пожав плечами, бумагу взял, но вернул ее с такими показаниями, что председатель, начавший читать с тем же важным и торжественным видом, вскоре потерял всю свою важность и едва мог дочитать ее громко. Начав тем же торжественным и официальным тоном, Попов совершенно неожиданно, нигде не отступая от принятых канцелярских форм, уснастил свои показания такими юмористическими выходками, что за столом стоял сплошной хохот. Даже чиновники из других отделений суда открывали двери и тихонько проникали в комнату, где происходило такое веселое следствие. И это повторялось каждый раз, когда для допроса приводили этого простоватого на вид, невзрачного мальчика. Он умел отлично пользоваться особенностями торжественного канцелярского стиля в юмористических целях и неожиданно находил смешную сторону

в официальных действиях. Вначале к нему относились с тою надменною снисходительностью, какую вызывал его простоватый вид. Однажды он попросил, чтобы его перевели из какой-то части, где он до тех пор содержался, в более приличное и более здоровое помещение. Один из участников комиссии, молодой товарищ прокурора, важно заметил, что он сам, будучи студентом, тоже содержался в этой части. Попов вздохнул и посмотрел на него восторженными глазами.

— И с тех пор успели искупить заблуждения и достигнуть таких высоких степеней... Скажите мне, пожалуйста, как вы этого достигли? Может, и меня удостоит господь?..

Опять за столом раздался хохот. Вероятно, у молодого товарища прокурора были свои причины не открывать благодетельного рецепта, и он пожалел о своей снисходительности к лукавому юноше.

Я не помню фамилии председателя этой комиссии. Это, должно быть, был человек неглупый и успел разглядеть истину: юноша, почти мальчик, замечательно даровитый и необыкновенно симпатичный, благодаря только особенностям наших порядков — вовлечен в трагическую историю политического убийства. Под конец следствия он совершенно оставил по отношению к Попову сухой и официальный тон и даже... признал на прощание, что желает ему остаться и впредь таким же и что в его отвращении к доносу есть много здорового...

Комиссия дала о Попове самый лучший отзыв, и если бы дело решалось ею, то Попова оставалось бы только немедленно освободить. Но... жандармы строже смотрели на проделку «непокорного Короната» с их петербургским товарищем, и в один прекрасный день Попов присоединился к обществу В. п. т., а затем последовал в Восточную Сибирь.

В наши тюремные будни он внес большое оживление. По-видимому, он сам начинал все больше и больше сознавать в себе присутствие внутреннего юмора и с некоторым удовольствием как бы прислушивался к нему. Порой он даже любил испытывать его силу. Часто в часы, когда у нас водворялась тюремная тоска, стоило Попову появиться в камере со своим простоватым видом и неожиданной шуткой, чтобы тоскливая атмосфера рассеялась. Под конец он достигал этого одним своим появлением. Был у нас рабочий по фамилии Волосков. Это был дюжий, несколько мешковатый парень с мед-

ленными и как будто утомленными движениями. Во время одного из бунтов заключенных в доме предварительного заключения — кажется, во время расправы Трепова над Боголюбовым — на него «надели нарукавники». Это приспособление при несколько неосторожном употреблении «может навсегда испортить человека», как говорил Волосков. И его действительно испортили: он кашлял, приобрел вялость движений и тоску... Развеселить его мог только Попов. Последний приобрел над ним такую власть, что стоило ему порой мигнуть особым образом или показать палец, как Волосков начинал смеяться, а при некотором продолжении кидался с хохотом на кровать и упрашивал товарищей увести Попова.

И все-таки это был только «веселый меланхолик», как Пушкин когда-то назвал Гоголя. Однажды, когда ему удалось опять разогнать тучу тюремной тоски своими неожиданными выходками, я сказал ему, сидя с ним рядом на тюремной постели:

— Счастливый вы человек, Петя. В вас такой неистощимый запас жизненной радости.

Он задумчиво посмотрел перед собой внезапно потускневшими глазами и сказал:

— А между тем... вспомните когда-нибудь этот разговор. Я, вероятно, кончу самоубийством...

Я счел это тогда шуткой. Забегая вперед, скажу, что в ссылку Попов попал сначала в Красноярск, а потом в Минусинск, и в обоих этих городах в то же время жил мой зять с семьей и моя мать. Петя был с ними очень дружен, проводил у них много времени и по-прежнему оживлял все ссыльное общество. По временам, однако, в нем стала появляться некоторая нервность и неровности...

В чем же крылся источник меланхолии этого веселого юноши?

Мать и сестра рассказывали мне следующий случай... В Красноярске составился большой и дружный кружок ссыльных. Потом администрация решила, что так как Красноярск лежит на большом сибирском тракте, то ссыльных лучше перевести в Минусинск. Кажется, именно в Минусинске их посетил известный исследователь сибирской ссылки американец Кеннан. Описывая один из устроенных для него ссыльными загородных пикников, он рассказывает, между прочим, о целой стайке совсем молоденьких девушек, выслан-

ных с юга одесским генерал-губернатором Тотлебеном, вернее, его адъютантом Панютиным. Набросав силуэт одной из таких девушек, детски веселого полуребенка, Кеннан приводит затем свой разговор с сопровождавшим его приятелем-художником: «Знаешь что,— сказал один американец другому.— Если бы я был русским императором и не мог спать спокойно до тех пор, пока такие девочки не удалены от меня на десять тысяч верст, то... я бы лучше отказался от этого беспокойного престола...»

С одной из таких девушек, может быть даже с той самой, которую описывал Кеннан, у Попова установилась большая дружба, и, приходя в квартиру матери и сестры, они целые часы проводили в веселой болтовне и хохоте. Девушка любила общество веселого Пети, но порой обижалась, что он относится к ней несерьезно и часто насмехается.

В действительности он относился к ней даже слишком серьезно. Однажды, когда оба они опять беседовали в соседней комнате, шутки и смех как-то стихли, и вдруг раздался удивленный голос девушки:

— Послушайте, послушайте!.. Ей-богу, Петя объясняется мне в любви!

— А ты и поверила! Ну как же считать тебя умной,— ответил Попов обычным насмешливым тоном.— Станет серьезный человек объясняться ей в любви!

И он опять засыпал ее дразнящими остротами... Но через некоторое время вновь наступила тишина, и вновь послышался торжествующий голос девушки. Она хлопала в ладоши и кричала:

— Честное слово, он целует у меня руки... На глазах у него слезы!.. Плачет, плачет! Что, скажешь, и это несерьезно?

— А ты опять поверила... Дура ты, д-дура!

И опять в соседней комнате все стихло. Чуть доносился тихий голос Пети. Что говорил он? Может быть, убеждал посмотреть на его слова серьезно, без ребяческого ехидства, может быть, старался разъяснить, как тяжело порой даются эти шутки, просил серьезно оценить его чувство... Но безжалостная девочка знала только, что Попов «смешной», что с ним весело, и не могла представить себе других чувств под такой не рыцарской наружностью. А вскоре в ссыльный город прибыл студент-поляк из Варшавы, и она стала его женой.

Я не знаю наверное, имела ли эта романическая история прямое влияние на решение Попова или явились еще другие причины, но только в ссыльных кругах еще до конца моей ссылки разнеслось известие: веселый Петя Попов застрелился...

III

ИСТОРИЯ ЮНОШИ ШВЕЦОВА

Был среди интеллигентной молодежи В. п. т. и еще один интересный юноша с любопытной дотюремной биографией. Это Сергей Порфирьевич Швецов, впоследствии известный сибирский статистик и писатель, игравший в последние годы довольно видную роль в период неудавшегося Учредительного собрания. Когда он прибыл в В. п. т., ему едва исполнилось девятнадцать лет. А между тем он успел уже испытать период нелегальной жизни и сидел в тюрьме в Тифлисе, в так называемом Метехском замке.

Совсем юношей, он был членом такого же юного кружка революционеров, который снарядил его однажды «на пропаганду». Ему дали в руки целую связку нелегальных изданий и послали пешком вдоль Николаевской железной дороги. По пути он должен был вести пропаганду и скреплять ее раздачей листков. Юноша отправился, сразу увидел, что для его пропаганды нет подходящих условий, никакой агитации не вел и нелегальные листки так и нес все время завязанными в тючок, пока дорогой он не свалился где-то больной. Его подобрали и доставили с его тючком в больницу какого-то уездного города Тверской, кажется, губернии. Здесь он некоторое время пролежал в беспамятстве, потом выздоровел, выписался из больницы, получил в неприкосновенности свой тючок и вернулся к товарищам. Здесь уж шел разгром, и его сочли нужным отправить для безопасности в Тифлис, где он и проживал нелегально, попав по рекомендации в кружок князя Орбелиани.

Этот грузинский князь, вращавшийся в высшем обществе Тифлиса, успел, по-видимому, сорганизовать в этом городе какую-то революционную конспирацию, с участием светской молодежи. Говорили в то время, что в его кружке участвовала даже дочь бывшего кавказского наместника (фамилию его, к сожалению, за-

был). Жандармы кое-что узнали об этом. Были даже произведены обыски, но осязательного ничего не нашли. Слухи дошли до Петербурга, и здесь неудачу принятых мер приписывали участию и заступничеству влиятельных лиц.

Во время одного из обысков арестовали Швецова, жившего под вымышленной фамилией. При виде этого юноши, почти мальчика, у власти явилась надежда, что он может кое-что рассказать об интересующей их организации. Но юноша не давал никаких показаний.

Тогда произошел почти невероятный эпизод. Однажды, когда Швецов сидел в своей камере в одном белье,— дверь внезапно отворилась и в камеру вошел немолодой офицер в черкеске и белой папахе. Пройдя в глубь камеры, чтобы положить папаху на стол под окном, офицер повернулся к койке, на которой сидел Швецов, и, подойдя к нему, сказал:

— Молодой человек! Вы попали в опасную компанию, и вам грозит серьезное наказание. Но вы еще можете избегнуть грозящей вам участи, если расскажете все, что знаете о князе Орбелиани и о всех, причастных к его кружку.

Юноша получил самое простое воспитание, не отличался утонченными манерами и был вспыльчив. Он понял, что ему для смягчения собственной участи предлагают стать предателем, и — рассердился.

— П-послушайте,— сказал он, слегка заикаясь, что случалось с ним всегда, когда он волновался.— П-послушайте! Возьмите свою папаху, подите вон и никогда не являйтесь к честным людям с подлыми предложениями.

Офицер был, видимо, озадачен, но тотчас же взял свою папаху и ушел. Оказалось, что юноша выгнал таким невежливым образом... самого великого князя Михаила Николаевича. Его высочество был, по-видимому, очень заинтересован делом князя Орбелиани, считал, что влиятельные участники ловко тормозят расследование, и, узнав из докладов о юноше, арестованном при обыске у Орбелиани, решил подавить его своим величием и исторгнуть важные показания. Результаты показали, как неудобно иной раз совмещать высокое звание с функциями полицейского Лекока.

Вскоре после этого — юноша еще даже не успел одеться — как к нему ворвались надзиратели и, так, как был, в одном белье, бросили в карцер. Этот карцер

находился посреди тюремного двора. Метехский замок был когда-то крепостью, а карцер представлял некогда пороховой погреб. Стены были толщиной почти в сажень, отверстия окон шли зигзагами в несколько поворотов. Темнота была абсолютная, пол покрыт липкой грязью. На нем шевелились и ползали какие-то гады. Сюда сажали только за особо важные проступки. На этот раз проступок показался «особо важным».

Держали его тут несколько дней и унесли в беспамятстве в тюремную больницу. С ним случился гнойный плеврит. Могло бы кончиться еще хуже, если бы заключенных в этот карцер не охраняла особенная заботливость арестантской общины. В тот же день после обеда во время прогулки во дворе вдруг раздался неистовый шум: среди каторжных вспыхнула общая свалка, одна из тех драк, на какие способны пылкие кавказцы. Казалось, что это настоящий тюремный бунт и что арестанты разносят стены тюрьмы. Все надзиратели и весь наличный караул кинулись в отдаленный угол двора, откуда неслись крики. В это время дверь каменного мешка кто-то открыл отмычкой. Вбежал арестант, подал Швецову бутылку коньяка и сверток с едой, сказал торопливо: «На три дня», и исчез тем же путем. А вскоре после этого и драка стихла. Такая же история повторилась через три дня, и только благодаря этому юноша уцелел.

В В. п. т. он прибыл сильно ослабевшим, с удушливым кашлем, и, только благодаря богатырскому сложению, ему удалось все-таки оправиться...

IV

РАБОЧИЕ

В дальнейшем мы встретимся еще с представителями интеллигентной молодежи, населявшей тогда В. п. т. Тут были студенты разных высших заведений, были гимназисты, как Дорошенко и, помнится, Базилевский, мой земляк, ученик шестого класса житомирской гимназии, были служащие в разных учреждениях, как Кожухов, был молодой, только что окончивший врач Н. И. Долгополов, был прапорщик Верещагин, был другой отставной офицер, Ахаткин, человек, впрочем, уже за тридцать лет и больной... Помню еще студентов

Алексеева и Боголюбова и, кажется, народного учителя К—ского. Очень возможно, что биографии некоторых из них тоже представляли интересные черты, но я их не узнал.

Затем следовала целая группа рабочих, которых стали привозить к нам из дома предварительного заключения и из московских частей. Все это были по большей части еще очень молодые люди, за исключением белоруса Девятникова, которому было уже за тридцать. Среди этой рабочей молодежи особенно ярко всплывает в моей памяти фигура почти еще ребенка Шиханова. Когда его привезли в В. п. т., ему едва ли исполнилось девятнадцать лет, но по наружности он выглядел еще моложе. У него было круглое лицо с ямками на щеках, детски свежее и румяное, несмотря на то что этот полуребенок уже года четыре провел в доме предварительного заключения. Представители нелегально существовавшего политического Красного Креста сразу обратили внимание на этого очень милого мальчика-рабочего и усиленно носили ему все, в чем он мог нуждаться. Он особенно просил книг и жадно поглощал сочинения самого серьезного содержания. Читал он запоем целые дни и — трудно представить, какой кавардак произошел в юной голове от этого чтения. У бедного юноши, впитывавшего новые мысли, как губка, без предварительной подготовки и без руководства, как говорится, зашел ум за разум. Когда камеры (часть нашего дня) бывали раскрыты, звонкий голос Шиханова (или Шиханёнка, как мы скоро стали называть его) то и дело выносился из той или другой камеры, куда он врывался, внося с собой шумные споры. Спорил он страстно и с необыкновенным оживлением, то и дело забрасывая противника массой цитат. Порой цитаты эти вызывали хохот, до такой степени он приводил их вразрез тому, что диктовал простой здравый смысл, но Шиханов мало стеснялся этим, всегда предпочитая цитату здравому смыслу.

Память у него была удивительная, тон всегда детски восторженный.

— Великий английский экономист Джон Стуарт Милль, написавший гениальную книгу об утилитаризме и свободе...— звенел его задорно-мальчишеский голос в одной камере...

— Великий русский филосо́ф Николай Константинович Михайловский говорит по этому поводу...— через полчаса неслось из другой.

— Истинно практичный русский рабочий Обручев говорил мне,— звенело в третьей. Этот Обручев, по-видимому, произвел на мальчика Шиханова такое неизгладимое впечатление, что его мнение он ставил наряду с самыми мудреными цитатами. Все наше общество относилось к Шиханёнку с некоторою нежностью, как к ребенку, что не мешало порой со смехом выводить его из иной камеры, где он уж слишком надоедал неудержимым шмелиным жужжанием...

Его услали в Восточную Сибирь с первой партией. Один из товарищей по ссылке встретился с ним там и впоследствии рассказывал мне об его чудачествах на почве все той же начитанности. Как-то они вдвоем решили бежать с места ссылки где-то в Красноярском или Минусинском округе. Часть пути пришлось плыть в лодочке по чрезвычайно быстрому течению Енисея. Шиханёнок, не умевший править, сидел на веслах, более опытный товарищ — у руля. В известном месте на берегу Енисея их должны были ждать, чтобы сообщить нужные сведения и адреса. Было условлено, для избежания ошибки, что у гребца щека будет повязана, как будто от зубной боли. Но когда лодка приблизилась к условленному месту, то Шиханов, к удивлению товарища, наотрез отказался повязать щеку. Поворот был опасный, рулевой не мог оставить своего места, а Шиханов на все убеждения отвечал, что платок придаст ему неэстетический вид, и засыпал товарища цитатами о важности «эстетического эле́мента» в жизни. Могло случиться, что на условном месте ожидает ссыльная девушка или дама. Так, среди препирательств и цитат быстрое течение пронесло лодку, и условленных сведений получено не было.

В другой раз во время этого же побега им случилось идти через деревню под видом приискателей. На ночлеге Шиханову захотелось молока. День был постный. На замечание хозяев по этому поводу Шиханов с большой горячностью стал приводить цитаты из популярной гигиены о значении молочной пищи и — чуть было не выдал себя. К счастию, в это время в деревню еще не дошло известие о побеге двух политических.

Когда-то в журнале «Вперед» П. Л. Лавров сделал математический расчет, в какое время, по закону воз-

растающей прогрессии, Россия вся будет охвачена революционным сознанием. При этом принималось, что один пропагандист из рабочих равен пяти интеллигентам. Теоретические выкладки не всегда совпадают с действительностью. Из моих тогдашних наблюдений я вывел другое заключение. В то время многие рабочие, поглотив революционную литературу, разучивались говорить со своим же братом просто и не замечали, какое юмористическое удивление вызывали их слишком книжные речи. Однажды мне пришлось уже в пути наблюдать такой случай: политическая партия прибыла в томский пересыльный замок. Места в кухне были все заняты прибывшими раньше уголовными партиями. Для переговоров послали одного рабочего, о котором было известно, что он прочел Маркса, и с которым свободно можно было говорить о любом отвлеченном вопросе. Его послали в качестве посредника. Я в то время был старостой партии, и через некоторое время мне сказали, что нужно идти на выручку нашему парламентеру. Я застал его в кухне окруженным тесно сгрудившимися арестантами. Он стоял в середине и говорил по-книжному о необходимости солидарности. Арестанты смотрели на него как на невиданное чудо, и со всех сторон на него сыпались остроты и язвительные замечания... Между тем несколько простых слов было достаточно, чтобы уладить дело.

— Так бы и говорил сразу,— послышалось из толпы,— а то городит невесть что.

Впрочем, такую же черту я встречал порой и среди интеллигентов, захваченных вихрем новых идей в слишком юном возрасте...

V

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛОХОМ МЕСТЕ

Режим В. п. т. был суровый. До нас доходили слухи, что в другой пересыльной тюрьме, в Мценске, политические арестованные пользовались большей свободой, получали книги, даже газеты, родственники допускались в камеры, порой обедали вместе с заключенными, и даже, говорили, в тюрьме устраивались целые конференции по злободневным вопросам. Это зависело, вероятно, от тогдашнего орловского губернатора и от смотрителя,

которые смотрели сквозь пальцы на отступление от строгих инструкций.

У нас было не то. Тверской губернатор Сомов, седой старик, чисто чиновничьей складки, был вообще жесток к уголовным, часто назначал телесные наказания и любил присутствовать при них лично, а к политическим относился с суровой враждебностью. Поэтому у нас строгая инструкция исполнялась до мелочей. На наше питание отпускалось, помнится, тринадцать копеек на все, и прибавлять с своей стороны не полагалось. А так как при этом существовала еще разница между привилегированными и непривилегированными, на которых полагалось еще меньше, то все мы питались очень скудно. Книг у нас не было. Было установлено, что о каждой книге, которые были у иных арестованных, нужно было подавать особую просьбу, которая шла в Тверь на разрешение губернатора, и долго мы не получали ответов. Бумаги, карандашей, перьев не допускали ни в каком случае; белье и платье полагалось только казенное.

Нет сомнения, что при другом смотрителе этот режим повел бы к постоянным столкновениям, а может быть, и к тюремному бунту. Мы выносили его только потому, что проводил его Ипполит Павлович Лаптев.

Это поистине был хороший человек на плохом месте. Я уже говорил о первом впечатлении от встречи с ним. Это была топорная фигура, огромного роста и необыкновенного добродушия. Когда-то, во время русско-турецкой войны, ему пришлось заведовать тюрьмой, где содержались пленные турки. Ему донесли, что пленные бунтуют. Он подошел к шумевшей толпе, высмотрел одного из зачинщиков, подошел к нему и... неожиданно поднял его за ноги на воздух...

— Они, дуг'ачки, сг'азу, пг'исмиг'ели,— говорил он об этом случае с выражением благодушного сожаления к «дурачкам»... Эта необыкновенная сила соединялась в нем с таким же необычайным добродушием и честностью, поэтому Лаптев отлично ладил с простой арестантской средой и чувствовал себя на месте.

Не то было теперь. Он долго отказывался от назначения в политическую тюрьму, и только то обстоятельство, что ему оставалось два года до пенсии, заставило его принять эту службу.

Прежде всего он не одобрял ее. Я заметил вообще, что усиление «административного порядка» и бессуд-

ных арестов вызывало недоумение у старых служак тюремного ведомства. До сих пор они привыкли всетаки, что в России начинала устанавливаться законность. В тюрьмы приводили воров, разбойников, людей, так или иначе прикосновенных к нарушению законов. Всякий арест сопровождался точным указанием статей обзинения. Теперь приходилось иметь дело с людьми, по большей части интеллигентными и ни в чем, в сущности, не обвиняемыми. Это сбивало с толку прежних служак и вызывало в них неуверенность в правоте их собственного положения. Эту черту я заметил уже у старика вятского смотрителя, а у Лаптева она кидалась в глаза и вызывала эпизоды, вроде недоумелых вопросов Павленкову...

Но... сила солому ломит. Пенсия дело важное, и Лаптев принял назначение. Он был очень робок. С одной стороны — инструкция, нарушение которой, казалось, грозит ему самому превращением в государственного преступника, с другой — искреннее сочувствие к положению заключенных. И Ипполит Павлович стал для нас каким-то парадоксальным добрым тираном. Видя, как сам он трепещет перед возможностью доноса на него, и вместе — как ему тяжело стеснять нас,— мы мирились с бессмысленной инструкцией и подчинялись ей с своего рода юмором, вытекавшим из положения нашего благодушного тирана.

Особенно озабочивал его вопрос о книгах. Человек мало образованный, к книге он относился с каким-то суеверным почтением. А между тем тупой формалист Сомов то и дело запрещал выдачу книг. Был случай, что он ответил отказом на просьбу выдать Тургенева, находя, что роман «Новь» может произвести на нас деморализующее влияние. Когда пришлось сообщать об этом отказе, то Ипполит Павлович взамен Тургенева принес Адама Смита. Эта книга каким-то образом попала к нему в собственность и была его настольной книгой. Многие из моих бывших товарищей по В. п. т., наверное, помнят этот экземпляр Смита («О нравственности»), весь испещренный заметками Лаптева в таком роде: «Мы,— говорит Адам Смит,— любим, когда к нам относятся дружелюбно, и нам неприятно, когда нас порицают». Лаптев на полях написал: «Глубочайшая истина. Смит — великий знаток души». Остальные замечания были в том же роде, и все они обобщались

в следующем заключении на обложке, выраженном даже в стихотворной форме:

Адам Смит, говорят, спит!
Нет, он живет и далеко пойдет!
Его душа жила для пользы.
Читайте сей книги больше.

Штабс-капитан Ипполит Лаптев

В этом творении он был так уверен, что выдавал его без справок у начальства, в убеждении, что оно может отвратить нас от заблуждений, которые привели нас в В. п. т.

Вспоминаю и еще один случай такого же самовольного отступления. У одного из новоприбывших варшавян оказался в чемодане... «Капитал» Маркса, и у него возникла смелая мысль получить эту книгу в камеру. Мы считали предприятие безнадежным, но через некоторое время Абрамович вернулся с Марксом в руках. На вопрос Лаптева: «Что это за книга?» — тот ответил просто:

— Эта книга учит, как наживать капиталы.

Лаптев с любопытством развернул такое полезное руководство и наткнулся на формулу: «20 аршин холста = одному сюртуку». Ему показалось, что он понял.

— Знаю,— сказал он.— Этой книгой часто пользуются военные приемщики.— И «Капитал» был допущен в камеры, из которых старательно изгонялся Тургенев.

Возможно ли было негодовать и возмущаться при таком добродушии. Мудрено ли, что основной тон наших отношений к этому тюремщику был не враждебный, а скорее юмористический.

Мы держали себя как школьники с старым учителем-формалистом, снося его благодушную тиранию. Не могу забыть, как мы с «надворным советником Анненским» потихоньку воровали чернила из конторы. Анненский передал мне банку чернил, стоявшую на другом конце стола, за которым мы писали письма родным, а я потихоньку отлил из нее часть чернил в пузырек из-под лекарства. В это время мы от скуки затеяли писать коллективный роман. К сожалению, старший надзиратель заметил нашу проделку, но я, уже незаметно для него, опять передал пузырек Анненскому, который и ушел из конторы. Когда я вышел, в свою очередь, то на тюремной лестнице меня догнал Лаптев.

— Мне донесли,— сказал он взволнованным голосом,— что при вас есть банка чернил. Я не хочу вас обыскивать. Я вам поверю: скажите мне — правда это?

— Я скажу вам правду: при мне никакой банки с чернилами сейчас нет.

— Правда?

— Правда,— сказал я, улыбаясь.— Даю вам слово, что если бы вы меня обыскали, то и тогда ее не найдете, потому что сейчас ее у меня нет.

Он, по-видимому, понял условность моего ответа, но все-таки очень обрадовался, тотчас же сошел вниз и стал строго говорить старшему надзирателю, что он осмотрел меня и никаких чернил не нашел...

Наши свидания с родными происходили в особой комнате в нижнем этаже тюрьмы. В комнате были два барьера, оставлявшие в середине промежуток аршина в полтора. Мы помещались за одним барьером, наши посетители — за другим, в проходе между нами прохаживался кто-нибудь из администрации, по большей части сам Лаптев. Моя мать или какая-нибудь из сестер приходили часто вместе с женой Анненского, известной детской писательницей, и ее племянницей, которая воспитывалась у Анненских. Девочке было тогда семь лет, и Ипполит Павлович не препятствовал незаконному переходу этой посетительницы на нашу сторону. Мы с Анненским подымали обыкновенно девочку на барьер и держали ее между собой. И тут, увы! — иногда мы злоупотребляли доверием Лаптева: девочка переносила на нашу сторону карандаш, записочку, газету или другую контрабанду. Однажды, обнимая меня, она сунула цельный новый карандаш. Но он попал мимо кармана арестантского халата и с резким звоном упал на асфальтовый пол. По лицу Лаптева пробежало выражение страдания, но он продолжал ровным шагом ходить в проходе. Я наступил ногой на карандаш, потом поднял его и торопливо сунул за халат. Резкий звук падения повторился, повторилась и волна страдания, пробежавшая по лицу Лаптева. Я опять по возможности незаметно поднял карандаш. Я понимал настроение Лаптева: он был формалист и должен был установить так или иначе факт преступления, причем соучастницей являлась бы светловолосая и светлоглазая девочка. На это у него не хватило мужества, и... карандаш остался у меня.

История этого карандаша имела свое продолжение. Однажды утром, еще задолго до поверки, я проснулся от странного ощущения, будто на меня надвигается какая-то гора. Раскрыв глаза, я увидел, что над моей постелью стоит Лаптев и укоризненно поматывает своей огромной головой, причем взгляд его прикован к какому-то предмету на стуле, стоявшем рядом с кроватью. На нем лежала открытая книга, кажется тот же Адам Смит, а на ней — преступный карандаш. Очевидно, его заметил в глазок старший надзиратель, может быть знавший о происшествии на свидании, и — поднял Лаптева, жившего довольно далеко от тюрьмы. Огромный указательный перст протянулся по направлению к неосторожной улике, и затем, видимо глубоко огорченный, Лаптев повернулся и вышел из камеры. Я был уверен, что он унес с собой карандаш. Но я ошибся: карандаш остался на месте.

А между тем он, очевидно, доставлял Лаптеву много заботы: когда мать после этого еще раз, уже на прощание, приехала в Вышний Волочек с сестрой, Лаптев встретил ее ласковыми словами. Он знал, что вся наша семья была разбита и матери предстоял долгий и трудный путь в Красноярск к зятю с сестрой и ее ребенком. Он встретил ее с участливым вниманием и, зная, чем угодить матери, стал хвалить меня:

— Хаг'оший сын у вас, очень хаг'оший.

И потом прибавил, как бы невольно:

— Ну, есть одно...

— Что такое? Ради бога! — спросила мать.

— Есть, есть одно,— продолжал он таинственно и, видя, что мать встревожена, прибавил: — Каг'андаш у себя имеет...

— Ну это еще ничего,— облегченно вздохнула мать, опасаясь услышать что-нибудь более «политическое».

— Напг'асно вы так думаете... Ах, напг'асно...

Матери пришлось уехать задолго еще до отправления нашей партии. Ей надо было торопиться с отъездом до такой степени, что одно из свиданий, на которое она получила разрешение, должно было остаться неиспользованным. Она пришла утром, и наше свидание проходило печально. Она сидела на этот раз со мной рядом и с грустью говорила о том, как тяжело ей будет ожидать поезда, который уйдет только вечером. Ипполит Павлович ходил по камере, мрачно насупясь. Лицо его

становилось все суровее и мрачнее. Вдруг он резко остановился против матери и спросил ее строго:

— Сколько свиданий вам разрешено?

— Четыре,— ответила мать.

— Так вы и обязаны (это слово он произнес с натиском) прийти четыре раза... Надо исполнять г'аспог'яжения начальства. Непг'еменно п'гиходите еще раз до отхода поезда...

Все это он говорил так сурово, точно изрекал приговор, и все это назначалось для слуха старшего надзирателя. И мать в неурочное время просидела у меня, сильно сократив тоскливое ожидание вечернего поезда.

Наша жизнь печальна: скверных мест в ней и до сих пор еще слишком много. Было бы уж слишком тяжело жить, если бы на этих скверных местах хоть изредка не попадались люди вроде Ипполита Павловича Лаптева, или того жандарма в Третьем отделении, который после нарочито суровых окриков («не велено разговаривать!») шепотом сообщал мне сведения о брате, или того служителя в Спасской части, который, сначала прищемив мне ногу дверью, затем с опасностью для себя ввел в мою камеру Битмита. К счастию, на темном фоне этих моих воспоминаний то и дело, как искорки, мелькают и еще будут мелькать неожиданные проявления человечности со стороны «добрых людей на скверных местах».

VI

ЖИЗНЬ В В. П.Т.— ТЮРЕМНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОМАН

Наш тюремный день в В. п. т. проходил следующим образом. Прежде всего в нашей камере просыпался прапорщик Верещагин. Проснувшись, он подымал ноги перпендикулярно туловищу вверх, потом быстро опускал их вниз и, как пружина, вскакивал с постели на пол. Тотчас после этого он принимался трубить зорю, искусно подражая горнисту. Его звонкий голос разносился по коридору, указывая, что скоро пройдет поверка и, значит, всем пора вставать. Караульный офицер, смотритель или его помощник с полувзводом солдат обходили камеры, проверяя число арестованных. После этого на некоторое время камеры остава-

лись открытыми. Мы выходили к общему умывальнику, потом собирались в общую столовую для чая или чаще (ввиду недостатка средств на покупку чая) для ячменного кофе.

Затем камеры опять запирались до обеда. В это время, особенно вначале, в наши камеры прокрадывалась тюремная скука. Все мы были здоровы, бодры и сильно томились невольным бezделием. Впоследствии рядом настойчивых, официальных прошений, которыми мы засыпали губернатора и даже министра, нам удалось добиться некоторого количества книг. Но вначале и их не было. Поэтому особенно дороги были люди, не поддававшиеся скуке. Одним из таких людей был прапорщик Верещагин. За что он попал в политическую тюрьму, никто из нас в точности не знал. Язвительный Кожухов утверждал, что это постигло прапорщика «за пьянство, за буянство и за побитие фонарей». Нельзя сказать, чтобы Верещагин опровергал это с особой убедительностью. Вообще он застенчиво избегал разговоров о причинах своей ссылки. Известно было, что до катастрофы он ходил добровольцем в Сербию. Он с восхищением рассказывал о том, как в Сербии рядовые вне строя свободно протягивают руку военному министру и тот охотно отвечает рукопожатием. Вернувшись опять в Россию, он уже не мог забыть сербских порядков и привыкнуть к российской армейской дисциплине. Кроме этих демократических воспоминаний, он вывез из Сербии замечательную коллекцию сербских, болгарских и турецких ругательств и, кажется, больше ничего. Вообще же он обладал многими общежительными талантами. Во-первых, он знал все военные сигналы и отлично разыгрывал их на губах. Кроме того, мог на разные голоса выкрикивать командные слова. Когда стало тепло, Верещагин, устроившись у открытого окна, производил примерные учения и смотры, изображая в лицах начальство разных рангов, начиная от командира полка и кончая дивизионным генералом. Особенно удавался ему старый полковник с сильно осипшим голосом. Все это он производил так артистически, что даже караульные офицеры и солдаты прислушивались к этим примерным учениям, ухмыляясь и с видимым интересом, пока прапорщику не пришлось их прекратить.

Был у нас одно время в числе караульных офицеров подпоручик Соловьев. Человек еще совсем молодой,

с нездоровым и желчным цветом лица, он, по-видимому, не пользовался расположением ни солдат, ни товарищей офицеров, поэтому они слушали, весело улыбаясь, как Верещагин, голосом старого полковника, распекал Соловьева:

— Па-ад-паручик Соловьев!.. Что это у вас за походка! Вы ходите не как бравый офицер, а как старрая ба-ба!

Представление всегда имело большой успех, пока однажды Верещагин, то ли не заметив смены караульного, то ли не удержавшись от соблазна, проделал примерное учение с распеканием в присутствии... самого Соловьева. Тот пришел в бешенство и пригрозил Лаптеву, что в случае повторения он прикажет караульным стрелять в окно. Лаптев явился встревоженный, и примерные учения пришлось прекратить.

Были у веселого прапорщика и другие таланты. Он часто ходил в кухню и умел порой разнообразить наш скудный стол. Кроме того, он сочинял стихи, перемешивая фривольные казарменные темы, имевшие у нас мало успеха, с темами нравоучительного свойства. Эти последние порой вызывали у нас настоящий фурор. Особенное веселье возбуждало в нашей аудитории одно стихотворение Верещагина, начинавшееся словами:

— Кор-рыстолюбие!! Тебя я презираю.

Прапорщик становился в позу и декламировал с большим оживлением, указывая перстом в ту сторону, где стояла койка Кожухова. С Кожуховым вообще у него происходили столкновения из-за разницы темпераментов. Корыстолюбие этого молодого человека прапорщик усматривал в той тщательности, с которой он охранял свое мыло и другие мелочи, оберегая их от посягательств безалаберного Верещагина.

Наконец тот же веселый прапорщик ввел у нас для развлечения тюремные игры. Все они были заимствованы от уголовных, и все были более или менее спартанского свойства. Двум завязывали глаза и одному из ослепленных таким образом давали в руки туго скрученный жгут. Остальные становились вдоль стен и наблюдали, как оба действующие лица искали ощупью друг друга. Вся соль состояла в том, что жертва, порой с самым хитрым видом, прислушиваясь к шагам палача, как раз устремлялась навстречу его ударам. Иногда, когда жгут бывал в руках Верещагина, а избегать

ударов приходилось Кожухову или наоборот,— игра приобретала довольно драматический характер.

Почти такой же характер имела другая игра. Часа на два или на три после обеда камеры не закрывались, и мы свободно разгуливали по коридору. Вот в эти часы чаще всего устраивалась «скачка с препятствиями». Один из нас изображал лошадь, другой садился ему на плечи в виде седока и скакал вдоль коридора. У каждой камеры становились другие участники, и, в то время когда всадник мчался мимо их дверей, они имели право наносить ему удары по мягким частям. Всадник обязательно был в одном белье, и чем звонче раздавался шлепок, тем более это возбуждало веселья. Андриевский и Павленков не решались на роль всадников, а Анненского трудно было бы нести вскачь по коридору. Поэтому предполагалось, что они лишены также права наносить удары. Но это лишение фактически коснулось только Андриевского. Что же касается Анненского и Павленкова, то они не могли отказать себе в удовольствии хоть изредка шлепнуть проезжающего всадника. Не могу забыть, как Павленков, притаясь за косяком, внезапно выскакивал в коридор и, радостно сверкая глазками, ухитрялся порой с своей стороны нанести удар.

В часы, когда камеры запирались, мы устраивали порой общие чтения. За неимением книг приходилось порой сочинять самим. В чемодане Волохова были номера еженедельных приложений к «Новому времени». Это было допущено, и он читал нам свои очерки из фабричной жизни. Верещагин или Дорошенко поставляли стихи, соперничая друг с другом на поэтическом поприще. Критика допускалась, и нам доставляли большое удовольствие взаимные критические замечания двух поэтов. Прапорщик находил, не без некоторого основания, что стихи Дорошенка представляли сладкую водицу. Они действительно гладки, но очень сентиментальны. В свою очередь, Дорошенко то и дело находил у соперника грубые промахи против логики и даже грамматики.

Случайные темы скоро иссякли, и Дорошенко предложил начало повести. В чудный вечер, на берегу гладкого пруда, при луне, под развесистым деревом молодой человек сидит с юной девушкой. Он революционер-пропагандист и зовет ее от дряхлого мира уйти с ним на пропаганду в Рязанскую губернию. Молодые люди об-

мениваются длинными поучительными разговорами. Слушатели находили, что молодой человек похож на меня, и я стал по этому поводу предметом шуток... Вторую главу написал я, третью — Волохов, четвертую — Николай Федорович Анненский. Постепенно герои преображались, и интрига усложнялась. Девица, наружность которой Дорошенко описал лишь самыми общими чертами, приобрела некоторые особенности. Один глаз ее был голубой, как ясная синева неба, другой черный, как адская бездна. Голубым глазом она смотрела на героя, звавшего ее в Рязанскую губернию, но черный то и дело обращался на мрачного нигилиста, подобно Гану-исландцу, жившему в пещере с медведицей. Он зовет ее за собой в вологодские леса и начинает с того, что в первый же вечер кидает сладкого героя в пруд. В следующей главе героиня поступила в распоряжение прапорщика Верещагина с некоторыми обязательствами, которые автор и выполнил. Он вводит героиню в избранное общество героев-офицеров, которые отвращают ее от обоих штафирок изысканностью и тонкостью обращения. При этом, однако, вследствие некоторого разлада автора с грамматическими правилами, с героиней то и дело выходили недоразумения. Она уже начинает мечтать при лунном свете о великолепном гусаре. Когда наконец она подходит к своему девственному ложу, то, по игре своеобразного стиля, оказалось, что место уже занято. По грамматической оплошности автора вышло, что в постель легла не девица, а луна. Я иллюстрировал этот роман и набросал картинку: девица в изумленной позе стоит у постели, а на нее из-под одеяла глядит, улыбаясь, полная луна.

Эта глава подала повод для очень бурных критических споров, причем прапорщик Верещагин, оскорбленный язвительными замечаниями Кожухова, кинул в него туфлей. Впрочем, это было единственное острое столкновение, происшедшее в этот период пребывания нашего в В. п. т.

Читатель простит мне это сокращенное изложение пустяково-шутливого романа, но я позволил себе привести его как характерный образчик нашего тогдашнего настроения. Мы все попали в своего рода заводь. Где-то шумели события, шла все обострявшаяся борьба, а мы, известная группа революционеров, или сочувствующих и «неблагонадежных», вынуждены были пассивно ожидать высылки. Кроме того, среди нас были люди, уже

не чуждые литературе; роман должен был переходить из камеры в камеру, и возможно, что в нем отразились бы характерные черты тогдашнего настроения. Наконец не лишена характерности и судьба, постигшая это детище коллективной тюремной музы. В один прекрасный день роман вдруг исчез, и через некоторое время вероятная судьба его выяснилась: по всем видимостям, он погиб жертвой... цензуры.

Был у нас такой строгий человек, некто К—ский. Во всех его манерах, даже, как шутили порой, в его походке, сквозило чрезвычайное сознание достоинства и даже важности. Говорили, что он осуждал наше легкомысленное детище, находя, что недостойно «радикалам» заниматься такими пустяками. Когда роман попал в его камеру, он счел себя не только вправе, но и обязанным его уничтожить. Таким образом, карьера разноглазой девицы прекратилась на ее мечтах о гусаре, и продолжение не попало ни к Пете Попову, ни к Павленкову, о чем я лично очень жалел... Впрочем, скоро последовало событие, на время оживившее тюремные будни, и судьба так своеобразно запрещенного романа отошла на второй план.

VII

РЕВИЗИЯ КН. ИМЕРЕТИНСКОГО

Ипполит Павлович сообщил нам, что тюрьму должен посетить «адъютант гр. Лорис-Меликова» и всех нас будут вызывать в контору для опроса.

Это к нам докатилась волна «диктатуры сердца», как (впоследствии) иронически назвал период лорис-меликовской власти Катков, вначале, впрочем, горячо ее приветствовавший. 12 февраля 1880 года последовал известный указ о предоставлении графу Лорис-Меликову особых полномочий, а 4 марта под его председательством последовало первое заседание верховно-распорядительной комиссии. На этом заседании постановлено было, между прочим: рассмотреть и проверить списки арестованных, а также привести в известность лиц, подвергшихся высылке и отдаче под надзор полиции в административном порядке.

Об этом мы, разумеется, ничего не знали, пока Лаптев не сообщил нам, что к вечеру кн. Имеретинский, командированный для проверки, будет нас опрашивать.

Мы стали ждать с некоторым нетерпением, хотя, сказать правду, мало ожидали от этого посещения. Наконец стали вызывать в контору. Одним из первых был вызван Алексей Александрович Андриевский. Порядок нашего тюремного дня был нарушен, камеры долго не затворялись, и мы с жадным любопытством бросились к вернувшемуся с допроса Андриевскому. Он, смеясь, рассказал нам, как, войдя в канцелярию, где за столом сидели Имеретинский и его два секретаря, он тотчас же снял с ноги арестантскую туфлю и сказал, поставив ее на стол:

— Вот, ваша светлость, в какой обуви вынужден ходить государя моего коллежский советник.— И затем он драматически потряс вдобавок полу арестантского халата.

Рассказывая нам этот эпизод, он сам хохотал. В его лукавом юморе, как всегда, были две стороны: с одной — он высмеивал тех, к кому обращался, но с другой — понимал, что это производит на них известное, совсем не юмористическое, впечатление. Удивленному Имеретинскому могло показаться, что старый, заслуженный «коллежский советник» от горя немного тронулся в уме, но его волнение было, конечно, понятно служилым людям.

Моя очередь пришла уже поздним вечером. За столом в тесной канцелярии сидел кн. Имеретинский в генеральской тужурке. Это был человек неопределенного возраста с приличной и интеллигентной физиономией. Один из секретарей сидел рядом с ним и записывал результаты опроса. Другой секретарь, тоже с пером и бумагой, сидел поодаль. Оба они были в штатском. В манере князя мне почуялось несколько пренебрежительное отношение военного человека к тому, что могла натворить штатская администрация. Он вежливо попросил меня сообщить... за что я подвергся ссылке...

— На все вопросы об этом, с которыми я обращался до сих пор к властям,— сказал я,— я получил ответ — за неблагонадежность... На вопрос о фактах, в которых она выразилась, нам отвечали неизменно, что это государственная тайна. Мы надеялись, узнав о вашем посещении, что на этот раз хоть это нам станет известно. Но... из вашего вопроса я вижу, что и эта надежда нас обманула... Что же мы можем сказать вам?

Я говорил, вероятно, с некоторой горечью. Имеретинский попросил меня успокоиться и повторил вопрос:

может быть, я хоть догадываюсь о причинах моей первоначальной ссылки и затем высылки сюда. Я ответил, что считаю бесполезным пускаться в такие догадки. Факты состоят в том, что тогда-то все мужчины моей семьи были арестованы и высланы без объяснения причин. Так же без объяснения причин я был выслан из Глазова в Починки, а оттуда переведен сюда. Это все, что могу сказать о себе. Но если князю это любопытно, то могу ему сообщить, что такой же порядок практикуется теперь относительно крестьян, повинных в подаче прошения на высочайшее имя.

И я рассказал ему в кратких чертах историю Богдана и других ходоков. Он слушал с интересом, и секретарь, сидевший поодаль, записал мой рассказ. На этом опрос прекратился.

Какие последствия имел этот опрос — читатель узнает впоследствии. Тогда же весь эпизод вызвал у нас лишь скептические насмешки: еще одна бесплодная командировка важного генерала, и ничего больше. Генерал, по-видимому, охотно отметит некоторые ошибки штатской администрации, но правовое миросозерцание у них одно и то же. В лучшем случае — несколько лишних запросов по адресу губернаторов, может быть, в том числе и вятского. Ответ не будет ему стоить много труда: такой-то представляет опасную личность, с которой иначе справиться было невозможно. И затем — ссылка на полицейские донесения. Опровергать все это я не имею возможности. Да наконец, что же и опровергать: несомненно, что, с точки зрения администрации, в том числе и этого генерала, а может быть, самого Лорис-Меликова, я — человек, на которого самодержавное правительство «благих надежд» возлагать не может, так как я глубоко ненавижу весь произвол существующего порядка.

Оглядываясь теперь на это время, я вижу, что общий скептицизм, с которым В. п. т. встретила миссию Имеретинского, был довольно правилен. Конечно, Россия тогда еще далеко не созрела для настоящего народоправства, но всякая страна всегда является созревшей для законности. Если бы Лорис-Меликов понимал это настоящим образом, он мог бы поддержать требование законности сильным еще тогда авторитетом царской власти, и, кто знает,— может быть, эпизод Лорис-Меликова мог бы стать поворотным пунктом, своего рода осью, вокруг которой повернулась бы русская жизнь —

от самодержавия, через твердый просвещенный абсолютизм, к конституционному строю.

Но... все это лишь гадания. Сам Лорис-Меликов не понимал этого и дал только «диктатуру сердца». Одной рукой он старался смягчить действия административного произвола, отпускал арестованных сыновей и дочерей, «утирая слезы родителей», а другой — принципиально закреплял тот же произвол. До сих пор существовала хоть фикция: административные репрессии не считались наказанием, а лишь «презервативной мерой», ввиду смутного времени. Лорис-Меликов первый ввел «приговоры на сроки» в административном порядке. Так, дело сестры Петра Зосимовича Попова и моего приятеля студента Мамикониана, о которых жандармы давали самые ужасные и, надо сказать, совершенно лживые сведения, Лорис-Меликов разрешил бессудным приговором к тюремному заключению на срок. Срок, сравнительно с обычной в то время практикой, был непродолжителен, но... принципиальное значение такой меры очевидно.

Да, это была только «диктатура сердца», не способная отвратить страшную трагедию, уже нависавшую над царствованием «царя-освободителя». И тот невольный скептицизм, с которым наша политическая тюрьма встретила миссию Имеретинского, служил зловещим предзнаменованием глубокого недоверия ко всем «реформам сверху», вызвавшего катастрофу 1 марта.

VIII

«УКРАИНОФИЛЫ» В В. П. Т.

Из этого периода жизни в В. п. т. я почти не припоминаю тех тяжелых тюремных дрязг, которые так легко охватывают людей, приневоленных жить вместе в бездействии. В общем, мы жили дружно. Горячие споры возникали порой главным образом около украинофильства.

У нас было два украинофила: Андриевский и Долгополов. Они успели убедить Дорошенка, что он (с такой исторической фамилией) является тоже настоящим украинцем, и с этих пор Дорошенко стал пописывать сладенькие стишки хотя и на русском языке, но с украинскими мотивами. К нему присоединился почему-то очень хороший простодушный студент Алексеев, родом

феодосийский грек. А так как моя фамилия тоже кончалась на *енко,* то скоро я стал до известной степени центром нападений Андриевского и Долгополова.

В первом томе я уже говорил о том, как на мою юную разноплеменную душу заявили притязания три национальности: польская по матери и по материнской речи, на которой мы говорили в семье, русская, так как отец считал себя русским и после восстания ввел в нашу семью русский язык, и, наконец, украинская, явившаяся в лице учителя Буткевича, который показался мне как будто подделывавшимся под что-то чужое.

В конце концов этот душевный кризис разрешился тем, что меня всецело привлекла русская литература. Некрасов победил в моей душе Шевченка, а никогда не виданная в детстве Волга — такой же не виданный Днепр. «Унылый, сумрачный бурлак» захватил мою душу гораздо сильнее, чем гайдамаки Шевченка, которые вдобавок резали, как Гонта, своих детей только за то, что они, как и я, происходили от матери-польки. Я стал безнациональным народником, до известной степени космополитом, как и вся передовая русская интеллигенция моего поколения. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Печаль и гнев властно нарастали в душах, пробужденные и воспитываемые всей русской литературой, занимая первое место в душах одинаково украинца Лизогуба и такого же украинца Осинского, как и их русских товарищей, вместе с ними отдававших свои жизни общерусскому освободительному движению. Уже в недавнее время профессор Грушевский дал очень злую характеристику тогдашнего «украинофильства», а тогдашнее украинское движение все еще оставалось в пределах украинофильства, слабого по сравнению с могучим течением, увлекавшим нашу молодежь. Драгоманов пытался придать украинскому движению политический и социальный характер. Но практически эта его работа проходила в Галиции, где он господствовавшие тогда консервативно-москвофильские течения стремился направить в народническое русло, для чего сравнительная свобода давала известный простор. Наряду с проповедью языка Шевченка и Котляревского, понятного народу, он горячо пропагандировал также знакомство галицкой молодежи с русской передовой литературой, которая боролась с консервативными течениями у себя... Но эта работа Драгоманова была сравнительно мало известна

в России. Кроме того, нам казалось, что вопрос о национальной культуре есть вопрос частный, который должен разрешиться на почве общей свободы...

На этой почве происходили у нас споры главным образом в обеденные часы. Украинцы называли общеруссов «беспочвенными радикалами». Только проповедь родного языка и на родном языке придает задушевность и силу освободительной проповеди вообще... Пока не явился Николай Федорович Анненский, мне пришлось выдерживать главный натиск Андриевского и Долгополова. Анненский, отвечавший на вопрос о его родине — «Офицерская улица города Петербурга»,— с большим одушевлением и горячностью поддерживал «космополитическую» точку зрения и с присущим ему юмором рассказывал о хлопотах одесситов и киевлян над «конспиративным словарем». Он знал о работе Драгоманова в Галиции. Но именно эта работа давала ему аргументы против «беспочвенного национализма». Сила драгомановской проповеди в Галиции истекала из возможности говорить с народом на родном языке... Но о чем говорить?.. Об его жизненных интересах, о борьбе за эти интересы. Итак, прежде всего нужна свобода политического слова... Остальное приложится.

Как это бывает обыкновенно, споры принимали иногда довольно горячий характер, и порой наша столовая обращалась в жужжащий улей. На насмешки над нашей беспочвенностью мы отвечали такими же указаниями на беспочвенность национализма. На упреки в национальном угнетении со стороны «русских» мы отвечали, что в угнетении участвуют одинаково и известные слои украинцев. На меня лично довольно яркое впечатление произвел один недавний для того времени эпизод. Когда я был студентом Петровской академии, мне пришлось ходить порой в московское жандармское управление, куда я носил разные вещи арестованному товарищу Царевскому. Однажды, когда я передал принесенное и дежурный офицер вышел из приемной, ко мне подошел из соседней комнаты другой жандармский офицер и сказал, что он услышал мою фамилию. Значит, я его земляк. И он стал растроганным голосом говорить о нашей общей родине, о том, какая там «ковбаса та варенуха», сыпал украинскими словечками и поговорками... Я холодно слушал излияния «земляка», и теперь в спорах мы с Николаем Федоровичем ссылались на этот пример: вопрос не в «варенухах

и ковбасе», а в том, чтобы не было жандармов с их деятельностью,— будь они украинцы или великороссы. А тогда была полоса, когда именно украинцы охотно вербовались в жандармскую службу...

Все эти споры, повторяю, были долгое время совершенно благодушны и носили скорее юмористический характер. Помню, например, как однажды Долгополов затеял отпраздновать «роковины» смерти Шевченка, для чего испросил разрешения Лаптева — прибавить к обычному скудному обеду кутью, которую взялся приготовить самолично с помощью прапорщика Верещагина. Эта кутья для нас была целым событием, и мы ждали ее с понятным нетерпением. Наконец прапорщик внес маленький столик, который поставил посредине комнаты, а Долгополов водрузил на него блюдо. Андриевский произнес речь о значении Шевченка, которую все мы прослушали с сочувственным вниманием. Шевченка знали многие, даже не понимавшие украинской речи. Дорошенко прочитал слабенькие стишки, в которых изъяснялось только, что «Шевченко народ свой любил». Наконец наступила очередь Долгополова. Он стал над блюдом, свесив свою длинную чуприну и держась за стол обеими руками. Долго молчал, потом внезапно выбежал в коридор... Это было уже некоторым испытанием общего долготерпения. Долгополов вернулся, опять взялся за столик обеими руками, опять свесил свою чуприну, так что она едва не касалась кутьи, и... опять молчал...

— Браво, браво, начинайте, Нифонт Иванович,— раздались поощрительные крики.

Но Долгополов опять молчал, все ниже наклоняя голову... Наконец он начал:

— Ото бачите, добродии... Кутья... Батько Тарас... кутья... батько...

Бедняга не мог преодолеть волнения, заплакал и опять выбежал из комнаты.

Это было уже слишком. Терпение аудитории иссякло: все бросились с тарелками к кутье — и мигом она вся исчезла. Вернувшись в столовую, Долгополов укоризненно посмотрел на всех и сказал:

— Подлецы вы, подлецы, господа! И мне ничего не оставили...

Но тюрьма — все-таки тюрьма, и понемногу в споры о взаимной «беспочвенности» стала проникать нота раздражения.

Виноваты в этом были обе стороны, вернее — не виноват никто, кроме тюрьмы... Споры надоели и стали раздражать, как раздражает по временам все. У Долгополова был звонкий высокий тенор, и каждое утро, порой даже раньше верещагинского сигнала, из его камеры неслось постоянно повторяемое двустишие:

Ой умру я, моя мамо,
Ой умру-у, о-о-ой умру...

Дальше песня не шла, но этот вопль повторялся так звонко и часто, что иной раз какой-нибудь нетерпеливый человек, ворочаясь на постели, говорил сердито:

— Черт возьми! Все только обещает, и все орет истошным голосом...

Это беспредметное взаимное раздражение нарастало и в спорах. Вообще национальные чувства всего легче порождают психологию беспредметного и неосмысленного раздражения, и это сказалось раз так заметно, что Андриевский, старый педагог, спохватился. Однажды, за обедом, он встал и произнес небольшой спич на тему из одного стихотворения Полонского, начинающегося словами: «Боже мой, боже мой, поздно приду я домой» и кончающегося моралью: «Есть у нас люди, общества нет». Это было сказано так кстати и так умно, что после этого следы взаимного раздражения исчезли, по крайней мере не проявлялись более ни в каких вспышках, и у меня осталось прекрасное воспоминание и об Андриевском, и о Долгополове, и обо всем этом периоде пребывания в В. п. т.

IX

ОТПРАВКА ПЕРВОЙ ПАРТИИ.— ВАРШАВЯНЕ-«ПРОЛЕТАРИАТЦЫ» И НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ПЛЕВЕ.— КОММУНИСТЫ И АРИСТОКРАТЫ

Наступила весна, вскрылась Волга, и мы стали подумывать о предстоящем путешествии, так как никаких результатов от посещения кн. Имеретинского не ждали. Наконец, помнится в начале мая, мы узнали, что вскоре должна выступить из В. п. т. первая партия.

В эту партию я не попал и очень жалел об этом, так как в нее попал Николай Федорович Анненский. Тут же были назначены еще Волохов, Швецов, Андриевский

и Павленков. Андриевский тотчас же заболел, потребовал медицинского освидетельствования, пустил в ход все свои связи в министерстве народного просвещения, где он справедливо считался одним из лучших педагогов, и ему удалось остаться сначала от первой партии, потом от второй, и наконец он совершенно реабилитировался и занял место инспектора в одной из провинциальных гимназий. Здоровье его было действительно сильно расстроено.

С Анненским и его семьей и я, и приезжавшие ко мне мать и сестры успели подружиться так крепко, что дружба эта осталась навсегда. Такие связи, возникающие в условиях общего заключения или общего посещения заключенных, бывают вообще прочны, и я мечтал, что, быть может, мы попадем с Анненским в одно место. Александра Никитишна, известная уже и тогда писательница для детей, решила следовать за мужем вместе с племянницей. Моя мать и сестры должны были уехать в Красноярск, к зятю, и мне казалось вероятным, что наши сдружившиеся семьи смогут устроиться где-нибудь вместе. Но список первой партии был объявлен, и я в него не попал.

В известный день с утра в тюрьму явился усиленный конвой. Назначенных к отправке вызывали сначала в контору, потом выстроили во дворе. Вещи после осмотра выносили на телеги. Какой-то чиновник из канцелярии тверского губернатора прочитал список, в котором объявлялись ссылаемым «основания» ссылки. Это были, по большей части слишком общие указания на известный высочайший указ, и мало кто этим интересовался. Арестанты посмеивались и разговаривали в окна с остающимися товарищами. Все мы, разумеется, приникли к решеткам, стараясь обменяться последними приветствиями. Мне кажется, что в этот раз на непривилегированных, которых в этой партии было мало, надели наручни. Это было уже прямое беззаконие, так как по закону кандалы надеваются только после лишения прав... Но мне вспоминается выразительная фигура Кожухова, который в последнюю минуту перед выступлением партии поднимал к нашим окнам скованные руки. Это могло возбудить протест, но тотчас же тюремные ворота раскрылись, и колонна двинулась со двора среди двух рядов солдат... Через короткое время она появилась на шоссе, пролегавшем мимо нашей тюрьмы. Помню особенное чувство, которое невольно

шевельнулось в груди, точно эти случайно сведенные здесь люди были родные, и теперь мысль невольно бежала за ними в эту безвестную даль. Несколько кликов привета, несколько прощальных слов вдогонку, и колонна, выстроенная в порядке, двинулась по шоссе и скоро заволоклась пылью.

Мы сошли с окон в опостылевшую тюрьму. Особенно опустела наша большая камера. В ней не стало Анненского, Павленкова, Верещагина, Волохова и Кожухова. Скоро, впрочем, она наполнилась вновь, и даже с излишком.

К нам стали присылать новых жильцов, и через короткое время число заключенных возросло до шестидесяти — семидесяти человек. Одно время в нашей тюрьме появилась даже маленькая девочка лет пяти, попавшая сюда, впрочем, ненадолго вместе с полькой-матерью. Это был очень милый, изящный ребенок, глядевший на новую обстановку широко открытыми голубыми глазками. В часы прогулок она бегала по двору, заглядывая во все углы, подходила к караульным солдатам, простодушно предлагая им вопросы на польском языке, а раз ее до такой степени заинтересовала сабля подпоручика Соловьева, которою он гремел по мостовой и на которую в ту минуту картинно опирался, с кем-то разговаривая,— что она подбежала сзади и с любопытством схватила ручонкой за это смертоносное оружие. Надо заметить, что этот подпоручик демонстрировал всячески свое нерасположение к нам и необыкновенную строгость: когда мы выходили на прогулку, он считал нужным раздавать при нас патроны караульным и громко наставлял солдат относительно неуклонного их применения. Сам был постоянно в боевой готовности и, почувствовав, что кто-то схватил сзади за его саблю, резко повернулся: перед ним стояла голубоглазая девочка, с любопытством глядя в упор на интересного дядю. Не только мы, но и солдаты ухмылялись при виде этой картины.

Значительный контингент новых заключенных составляли польские студенты, присланные из варшавской цитадели по делу так называемого «Пролетариата». Это было революционное тайное общество с марксистско-социалистическим направлением. Действовало оно среди городского рабочего населения. В Польше рабочий пролетариат был и в то время многочисленнее и, пожалуй, культурнее нашего. Освобождение

крестьян, и особенно польское восстание 1863 года, с его контрибуциями и отнятием имений, сказалось на польских помещиках гораздо сильнее, чем в России. Отложился довольно значительный контингент юношей, не успевших докончить образования и вынужденных явной необходимостью взяться за физический труд. Таким именно интеллигентным рабочим был, между прочим, Вацлав Серошевский, писавший хорошие стихи и впоследствии получивший широкую известность в польской и русской литературе. Через этих своих бывших товарищей варшавские студенты легко проникали в рабочую среду с социалистической пропагандой. С другой стороны, у «пролетариатцев» были связи с молодой польской литературой. Я уже говорил о своей встрече в Починках с Поплавским. Он тоже был членом тайного общества и одновременно сотрудником газеты «Przeglad Tygodniowy» («Еженедельное обозрение»), в котором работали так называемые «позитивисты», в том числе Свентоховский и Сенкевич. К нам в В. п. т. попали тоже сотрудники «Обозрения» — Венцковский, Геринг и, кажется, некоторые другие.

Дело это обратило в свое время серьезное внимание, а с ним вместе привлек внимание высших сфер В. К. Плеве. Он был тогда скромным товарищем прокурора варшавской судебной палаты. Прокурором был, если память не изменяет мне относительно фамилии, некто Устимович, странный человек, совмещавший деятельность прокурора с полусектантским образом мыслей. Впоследствии, отказавшись от должности, на которой мог бы сделать блестящую карьеру, он стал издавать в одном из приволжских городов небольшую газету с полутолстовским направлением. Когда следствие по делу «пролетариатцев» было закончено и в министерство поступил обстоятельный доклад, Устимовичу предстояло получить за него награду. Но он, очевидно, не дорожил этой наградой и, отправившись в Петербург, разъяснил там, что, в сущности, все дело провел не он, а его молодой товарищ Плеве. Это и привлекло впервые благоволение бюрократического Олимпа к скромному и дотоле малоизвестному имени будущего министра.

Прибывшие к нам «пролетариатцы» много и с очевидным интересом рассказывали об этой новой звезде юридического мира. По их словам, Плеве был человек,

несомненно, способный и умный, но бессовестный карьерист. Он любил, между прочим, вступать с допрашиваемыми в неофициальные разговоры принципиального характера, причем выставлял себя убежденным конституционалистом. «Для России,— говорил он,— давно наступила пора политической зрелости и конституционного правления. Это сознало уже все просвещенное общество, сознает и государь. И только вы, господа революционеры, мешаете реформе. Как хотите — простое самолюбие не позволяет дать конституцию во время борьбы. Это походило бы на вынужденную уступку, а самодержавие еще не так слабо». Поэтому даже искренние либералы, например, и он, Плеве, считают нужным бороться с революцией, чтобы расчистить дорогу реформе...

Сначала успокоение, потом реформа.

Вся эта польская молодежь отличалась от русского студенчества большей внешней культурностью. Были тут и такие утонченные фигуры, которых было странно видеть в тюремной обстановке. Среди них выдавался молодой инженер Венцковский, живший в Петербурге и обращавший на себя внимание на сходках живостью речи, а впоследствии окончательно слившийся с петербургскими интеллигентными кругами. Помню еще Геринга, помещавшего в «Еженедельном обозрении» и, кажется, в «Glos»'е («Голосе») экономические статьи, затем двух братьев Грабовских, из которых старший был врачом. Он был теперь, пожалуй, самый старший из всего населения В. п. т. В его широкой окладистой черной бороде уже мелькала красивая седина. Вспоминаю еще Абрамовича, Августовича, Гельперина, Рогальского, Мондштейна и другого врача, Даниловича. Все это оказались хорошие малые и отличные товарищи, и скоро мы сжились с ними. После этого жизнь в В. п. т. пошла прежней колеей, пока... не возникло совершенно неожиданное столкновение, разделившее нашу мирную среду на «аристократов» и «демократов», или коммунистов.

Случилось это разделение на партии следующим образом. До тех пор отношения в В. п. т. были простые, товарищеские. У нас были «привилегированные» и «непривилегированные», получавшие от казны меньший паек. Различие это, конечно, фактически не существовало: кухня была общая. Когда первой партии пришлось собираться в путь, мы постарались выяснить, сколько

можно отложить в общую кассу, для того чтобы, приходя на место, каждый мог выйти из тюрьмы хотя бы с несколькими рублями. Для этого те, у кого было денег несколько больше среднего, добровольно определяли, сколько они могут отложить в общую кассу. Все это делалось по-товарищески, просто и ни в ком никаких сомнений не возбуждало.

Когда пришло время собираться в путь следующей партии, мы тоже решили выяснить возможную наличность общей кассы. Я сел за стол с карандашом и бумагой и стал записывать. Сначала все шло, как и в прошлый раз: я вел запись, считая это самым простым делом, как вдруг случилась заминка.

Был у нас некто Рождественский, студент, кажется, из саратовских семинаристов. Он прибыл в В. п. т. уже в последние дни и имел очень жалкий вид: все лицо его было покрыто какой-то экземой, которая, кажется, объяснялась истощением от долгого заключения и продолжительными разговорами в «клубе». В доме предварительного заключения можно было разговаривать из этажа в этаж по клозетным трубам, если особенным образом выплескать из резервуаров воду. «Клуб» был не особенно приятный, но некоторые любители проводили в разговорах целые дни, а Рождественский был, очевидно, человек очень общительный. Как бы то ни было, к нам он приехал весь в экземе, с большими темными очками на глазах, придававшими его пестрому лицу вид филина. Мы скоро полюбили этого добродушнейшего человека и почему-то прозвали его «Жертвой». Он сразу вошел в колею нашей вышневолоцкой жизни, участвовал охотно, но не особенно ловко в наших спартанских играх, причем мы все хохотали, глядя, как он при игре в чехарду усаживался на шею стоявшего в согнутом положении товарища. Зрелище действительно бывало «достойно», как говорится, «кисти художника»: согнутая фигура и на плечах у нее, судорожно в них вцепившись, восседал человек с лицом в экземе и с темными кругами на глазах.

И этому-то добродушнейшему и очень неглупому человеку суждено было нарушить надолго доброе согласие в нашей тюремной жизни. Когда до него дошла очередь заявления относительно доли участия его в общей кассе, он подошел к столу и сказал с каким-то особенным натиском:

— Я... жертвую рупь... Рупь на бедность!..

За ним вышел К—ский и тоже, ударив по столу рукой, повторил:

— И я жертвую на бедных один рупь...

Дело становилось ясно: речь шла о том, что добровольные сборы имеют унизительный характер «пожертвования». Откололась партия, считавшая, что вместо добровольных пожертвований нужно произвести принудительный раздел имуществ. Все заявляют о том, сколько у кого денег, и затем «общество» производит раздел поровну.

Душой этого «переворота» был, очевидно, К—ский, тот самый строгий человек, который так немилостиво отнесся к нашему коллективному роману и которого подозревали в его цензурном запрещении. Лозунг казался правильным, и к нему сразу примкнули очень симпатичные люди вроде «Жертвы», Пети Попова, Швецова и других. Рабочие сразу же стали на сторону «коммунистов», почувствовав себя оскорбленными «добровольными даяниями». Поляки в большинстве оказались «индивидуалистами» и отошли в лагерь «аристократов».

Я сначала не придал значения этому «вопросу», поставленному «Жертвой». Он мне казался просто «бурей в стакане воды», которые так легко возникают в тюрьме. Скоро, однако, вскрылась более серьезная сторона дела. Ко мне пришел один из поляков и рассказал следующую историю. В Москве у него есть невеста, больная и слабая. Едва ли проживет долго. Еще в Варшаве они решили повенчаться. Это была свадьба не для счастливой жизни, а для спокойной, по возможности, смерти больного и измученного человека. Кружок ближайших товарищей собрал небольшие средства, назначенные не столько для Даниловича, сколько для его невесты, но они числятся его наличностью. Почему он должен отдавать их случайно собранным мерами правительства товарищам по заключению?.. Когда я вошел в камеру К—ского, где шло обсуждение вопроса с демократической точки зрения, и поставил, не называя имен, этот вопрос,— кое-кто задумался, а К—ский сказал решительно:

— Пусть изложит это перед обществом. Общество рассудит и, может быть, согласится с его просьбой.

Это была явная нелепость, и поляки прямо возмутились. Они считают данное «общество» товарищами только по заключению и готовы сделать, что в состоя-

нии, в этих пределах. Но у каждого из них есть на воле и в других тюрьмах гораздо более крепкие связи, которых они не намерены отдавать на суд случайного состава данной тюрьмы...

С этих пор мирная дотоле жизнь В. п. т. была отравлена. Люди, до тех пор считавшие себя товарищами, оказались во «враждебных партиях». Помню такой случай. Был в нашей среде рабочий Девятников. Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд он походил на медведя, и, когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем, передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай. Однако, несмотря на фигуру медведя, этот человек был нервен, как слабый ребенок, и преувеличенно реагировал на все. Сначала его приводила в восторг атмосфера простого товарищества, господствовавшая в В. п. т. Он старался пополнить свое образование и просил несколько человек, в том числе и меня, заняться с ним кое-какими предметами. Я попросил Ипполита Павловича позволить нам заниматься в ранние часы, еще до поверки, в пустой столовой. Он так обрадовался этому, что в первый же раз, когда нас выпустили из разных камер в столовую, бросился мне на шею со слезами на глазах. После того как в нашем мирном строе произошел переворот, Девятников стал коммунистом, а я, возмущенный притязаниями К—ского, решительно отошел к индивидуалистам-аристократам. В первое же после этого утро Девятников явился на урок совершенно расстроенный: он не мог примириться с тем, что мы принадлежим к разным партиям, и заниматься даже нейтральными вопросами элементарной арифметики стало трудно.

Затем начались дрязги среди самих «коммунистов». Один из рабочих явился ко мне раздраженный и заявил, что среди них идет такой разговор: К—ский является главой их партии. Между тем некоторым товарищам известно, что в воротнике его халата зашиты семьдесят пять рублей, о которых он не заявил обществу. Эта история вызвала много дурных чувств и гадких подозрений. К—ский объяснил, что деньги эти доставлены лично ему на случай побега. И это, конечно, правда. Но противники замечали, что «случай побега» —

это именно такой случай, в котором товарищи должны иметь право голоса и общего решения. На это К—ский ответил прямой угрозой побить всякого, кто осмелится возбудить этот вопрос.

Вообще об этом периоде нашего пребывания в В. п. т. у меня сохранилось воспоминание далеко не столь безмятежное, как о первом. Впрочем, это сглаживается многими интересными знакомствами и тем, что история нашего «коммунизма» после инцидента с К—ским стала постепенно отступать на задний план. Впрочем, она держалась даже в пути и только уже на одном из сибирских этапов расплылась в одном благодушно-комическом эпизоде.

X

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В ПУТИ.— ИСТОРИЯ КРЕСТЬЯНИНА КУРИЦЫНА.— МЕНЯ ВЫБИРАЮТ СТАРОСТОЙ, И Я УЗНАЮ ТОЧНО, ЗА ЧТО МЕНЯ ВЫСЫЛАЮТ В ЯКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ

Наконец пришла и наша очередь. Кажется, приблизительно во второй половине июля 1879 года партия двинулась из В. п. т. Я был назначен в эту партию. Все происходило в том же порядке, как и в первый раз. Губернаторский чиновник монотонно читал список с фамилиями и с перечислением указов... Мы более были заняты разговорами с остающимися товарищами, и я как-то даже не поинтересовался прислушаться, за что именно меня высылают. Ну конечно, сугубая неблагонадежность и особенно вредный образ мыслей... Не интересно. Но когда эта процедура была кончена, один из товарищей подошел ко мне и сказал:

— Послушайте... Разве вы бежали с места ссылки? Почему же вы нам не рассказывали об этом?

Я удивился:

— Откуда вы это взяли?

— Сейчас чиновник прочитал.

— Это не может быть... Вы, наверное, ошибаетесь.

Среди товарищей начался спор. Некоторые из них утверждали, что тоже слышали нечто в этом роде, но что это относилось к кому-то другому. Оставалось вы-

яснить вопрос из первоисточника, но когда я протолкался к столику, где чиновник укладывал в портфель бумаги, он на мой вопрос ответил торопливо:

— Я уже читал.

И, спешно окончив укладку, он скрылся среди кучки караульных офицеров и другого начальства. Товарищи возбужденно зашумели. Легко могла возникнуть вспышка, если бы я настаивал. Но я подумал, что тут, наверное, какое-нибудь недоразумение, и — махнул рукой... Наверное, не за побег, а за что именно — не все ли равно! Когда мы пришли на вокзал (около двух верст) и сели в арестантский вагон с решетками, этот эпизод испарился из моей головы, и мое внимание устремилось навстречу новым впечатлениям.

По железной дороге нас привезли в Нижний Новгород, без остановки в Москве, и посадили сразу на арестантскую баржу. Отсюда до Перми путь лежал по Волге и Каме. Мы уже знали из писем прежде уехавших товарищей, что это самая приятная часть пути: арестантская баржа, буксируемая небольшим буксиро-пассажирским пароходом Курбатова, тихо плывет между живописными берегами Волги и Камы, и даже больные поправляются после тюрьмы.

Отправка предстояла на следующий день: к нам должны были присоединить несколько человек из Москвы и из Мценска, а поезда оттуда приходили, помнится, ранним утром. Войдя на баржу, мы сразу обратили внимание на молодого человека, одетого в штатское платье и белый картуз, на котором при каждом движении звенели ножные кандалы. Это оказался Иван Иванович Папин, осужденный по одному из ранних процессов, вместе с Гамовым, Дмоховским и другими.

При этом имени в моей памяти встал один эпизод из первых годов моей студенческой жизни. Одно время наша компания сильно увлеклась театром. В тот сезон в Большой опере пели одновременно Патти и Нильсон. Места все были абонированы, оставалась только галерка. Чтобы получить билеты на эти несколько десятков мест, приходилось простаивать у театрального подъезда целые ночи. Несмотря на это неудобство и на скудость бюджета, мы все-таки часто доставали дешевые билеты. Подъезд, куда надо было являться накануне, часов с одиннадцати вечера, выходил на Театральную площадь, к стороне Офицерской улицы. От-

сюда были видны за каналом темные ворота Литовского тюремного замка. Компания завсегдатаев вся перезнакомилась, установились свои обычаи, и время ожидания сокращалось шутками и весельем. Однажды, в ранние утренние сумерки, ворота Литовского замка вдруг распахнулись, и из них выехал тюремный возок, окруженный отрядом жандармов. Они вскачь пронеслись мимо нас и исчезли за углом театра. Через некоторое время подошел какой-то никому не знакомый студент и сообщил нам, что это провезли политических, приговоренных по последнему процессу. Он назвал несколько фамилий, в том числе Папина. Их повезли на Конную площадь, где над ними теперь производится на плахе процедура лишения прав.

Тогда еще проделывалась над осужденными дворянами эта церемония с эшафотом и с палачом, ломающим шпаги над головами осужденных. Мне ярко запомнилось мглистое и слякотное петербургское утро и эта черная карета, окруженная скачущими всадниками. Даже мои театральные увлечения с этого утра стали проходить...

Папин провел несколько лет в Белгородской централке и теперь стоял среди нас. Несмотря на то, что, прежде чем отправить на поселение в Восточную Сибирь, его продержали несколько месяцев в мценской тюрьме, в сравнительно свободном режиме, у него еще сохранились следы многолетнего тяжкого заключения. Лицо было какое-то землистое, и он странно оглядывался на толпу, с любопытством его окружавшую. Мы тоже рассматривали его, точно выходца из другого мира.

Вечером нашу баржу подвели к пристани Курбатова и поставили рядом с буксиро-пассажирским пароходом. Нас заперли в трюме. Посредине довольно большого помещения был проход, отгороженный проволочными решетками. В этом проходе стояли караульные жандармы, которые могли видеть все, что мы делали. Маленькие круглые люки отворялись для освежения воздуха. Я выглянул в один из них, чтобы поглядеть на Волгу. Но реки не было видно. О борт с нашей баржой стоял пароход, и прямо против нашего люка находилось такое же круглое оконце пассажирской каюты. Какая-то семья собралась пить чай. В окно выглянула маленькая кудрявая девочка, которую, видимо, заинтересовала близость наших окон с выглядывавшими в них арестантами.

— Мамочка, мама!..— защебетала девочка. Красивая молодая дама подошла к окну, взглянула в него и тотчас же брезгливо задернула занавеску. Наше близкое соседство показалось ей, должно быть, соблазнительным, а может быть, и опасным.

Рано утром наша баржа плавно потянулась на буксире. После проверки нас выпустили на палубу, и, когда баржа обогнула гору и город скрылся из виду, занавески решетчатого тента были раздвинуты, и мы могли беспрепятственно любоваться чудесной панорамой волжских берегов. Так началось наше плавание, о котором, я уверен, многие и до сих пор вспоминают с удовольствием. Погода была чудесная, и мы целые дни проводили на палубе, знакомясь с новоприбывшими. К двум из наших товарищей присоединились невесты, сидевшие в московской тюрьме. Одна была женщина не первой молодости, совершенно больная и разбитая, другая — совсем молоденькая девушка, тоже худенькая и бледная, с прекрасными глубокими черными глазами, сохранившими еще детское выражение. К нам присоединили еще целую партию из мценской тюрьмы, среди которых помню И. П. Белоконского, впоследствии довольно известного писателя, а тогда сотрудника одесских газет, а также каторжан Коленкину и Бердникова, молодого человека, очень полного, побрякивавшего, как и Папин, ножными кандалами.

Общее внимание вызвала еще одна характерная фигура. Это был простой крестьянин, присоединенный тоже в Нижнем, куда, впрочем, он был прислан к отходу нашей партии, из Тверской губернии. Он долгое время оглядывался на нас серыми простодушными глазами, в которых можно было заметить недоумение и страх: общество, видимо, казалось ему чуждым и непривычным. Нам тоже казалась странной эта нетронуто-деревенская фигура, попавшая неизвестно почему в политическую партию. Первое время он всех чуждался, но потом, заметив, что среди нас есть и рабочие, то есть свой брат, разговорился кое с кем из них и простодушно рассказал свою историю.

История была странная. Он был коренной крестьянин Тверской губернии, занимавшийся, кроме земледелия, еще торговлей. Из него, по-видимому, начинал вырабатываться деревенский кулачок, но он не отказывался еще от земли и вообще разделял все интересы однодеревенцев. У крестьян его деревни шла зе-

мельная тяжба с помещиком, и Курицын принимал в ней горячее участие. Я выше уже упоминал о настроении, которое водворялось в некоторых местностях в связи с покушениями на царя. В Петербурге и Саратове рабочие в день царского юбилея кидались на интеллигенцию и вообще на господ. В Тверской губернии толпа крестьян гналась за исправником. Вообще тогдашнее верноподданство обнаруживало некоторый уклон к своего рода пугачевщине: за царя против господ, которые хотят его извести. Крестьяне того села, в котором жил Курицын, решили, что лучшим их ходом в тяжбе против помещика будет теперь политический донос, который и был состряпан в лавочке Курицына и при его участии: к их помещику приезжал, дескать, какой-то незнакомец, они таинственно запирались в кабинете, долго шептались, и затем последовало покушение. Время было тревожное. К удовольствию мужиков, к помещику нагрянули жандармы, произвели обыск, и дело казалось выигранным. Но донос коснулся сильного человека, кажется даже родственника князя Долгорукова, тогдашнего московского генерал-губернатора. Наивная подкладка крестьянской стряпни скоро разъяснилась. Некоторых крестьян арестовали, а Курицына, явного зачинщика, решили сослать в Сибирь, как... «политического преступника».

Все это он простодушнейшим образом рассказывал рабочим, рассчитывая на их полное сочувствие.

— Видите... Помещик наш пошел супротив царя. Мы, значит, крестьяне, царя пожалели, донесли... А начальство, смотри ты, вместо его да упекло меня. Известное дело: нет у царя верных слуг.

После этого многие стали сторониться этого верноподданного доносчика, но меня заинтересовало его мировоззрение. Оно имело общую почву с знакомыми мне ходоками, но было так далеко по конечным выводам. Я решил присмотреться к Курицыну пристальнее.

По Каме мы доехали до Перми. Здесь прямо с баржи нас усадили в вагоны Уральской железной дороги и привезли в Екатеринбург. Отсюда до Тюмени нас везли на подводах по двое, предоставив свободно выбирать себе путевых товарищей. Я выбрал себе в товарищи Курицына, которого другие избегали. Он, по-видимому, был этим тронут и охотно согласился.

Наш поезд растянулся длинной вереницей по широкому сибирскому тракту. Мы ехали между волнующи-

мися, еще не созревшими хлебами. Курицын смотрел на все широко открытыми глазами, с чисто ребяческим любопытством, направленным, конечно, на самые интересные для мужика предметы. С нами в телеге ехали два вооруженных конвойных солдата и ямщик-крестьянин. Курицын то и дело обращался к последнему:

— Чья это земля?.. А вот эта?.. А эта?..

Ямщик отвечал неизменно:

— Чья!.. Известно, крестьянская...

— Да где же у вас помещичьи земли? — спросил с удивлением Курицын.

— Каки помещики?.. У нас их сроду не бывало.

Курицын оглянулся на меня с изумлением и даже хлопнул себя по колену...

— Слыхал ты это, а?.. Ах, братец мой, числивые вы какие... А у нас их точно черт н—ал... Или бы нес в дырявом мешке да просыпал. Вишь ты, у нас их густо, у вас пусто. Числивые вы! А еще говорят: Сибирь!

Сибирь стала ему казаться не такой страшной. Он принялся даже мечтать: приедет он на место, выпишет к себе жену, Матрену Ивановну...

— Эх, братец! — говорил он мне доверчивым тоном.— Погляжу я на ваших баб, на политических. Жидкой народ, посмотреть не на что! То ли дело моя Матрена Ивановна... Вот это баба! А уж работница, скажу тебе. Куда хошь ее поверни... Что в поле жать, что в лавочке торговать, на все годится... Достаток у нас есть: снимем землицы, лавочку откроем... Что ты думаешь, а?.. И слышь — как устроимся, напишу тебе... Просись и ты к нам, ей-богу. Полюбился ты мне. В подручные тебя возьму, заживем вместе...

Я смеялся, но оказалось, что Курицын говорил серьезно. Месяца четыре спустя я получил через приказ о ссыльных письмо от него с известием, что он устроился где-то в Забайкалье. Места отличные, земли довольно... И он по приятельству зовет меня к себе, как обещал тогда в дороге, и даже невесту мне присмотрел...

Вообще, в этом этапном пути на широком тракте, между буйными хлебными всходами, Курицын распустился и расцвел. От его недавней запуганности не осталось и следа. Он шутил, запевал песни, болтал о «числивых сибирских местах» и несчастливой Расее, сыпал прибаутками, так что наша тележка была, пожалуй, самая веселая во всем поезде...

Так подъехали мы к тому месту, где на грани стоит каменный столб с гербом, в одну сторону Пермской губернии, в другую — Тобольской. Это и есть начало Сибири. Здесь наш длинный кортеж остановился. У всех зашевелилось в душе особое чувство, как будто эта грань резко пролегла по каждому сердцу. Женщины сошли с телег и стали собирать у дороги цветы. Кое-кто захватывал «горсточку родной земли», вообще все казались несколько растроганными.

Не помню точно, здесь ли, или на другой такой же остановке по тракту — с Курицыным случилось небольшое приключение, которое могло кончиться трагически. Он тоже сошел с телеги и стал оглядываться по сторонам. Наш поезд стоял, вытянувшись по тракту, обведенному с двух сторон канавками. Невдалеке виднелся перелесок, за которым начинался лесок погуще. И вдруг Курицын, весело улыбаясь, бросился бегом, перескочил через канаву, и его фигура замелькала между редкими стволами и кустарником.

Это было так неожиданно, что мы не могли понять его поступка. Один из конвойных солдат соскочил на землю и торопливо вскинул ружье. Мечтам бедняги о «числивой жизни» легко мог прийти неожиданный конец, но вдруг наш беглец скинул с себя ремень и сделал на бегу несколько телодвижений, которые выяснили его намерения в самом миролюбивом смысле. Нам удалось удержать руку конвойного. Когда Курицыну рассказали, какой опасности он подвергался, он удивленно перекрестился.

— Неуж выстрелил бы, чудак! — сказал он конвойному.— А ведь мне и ни к чему...

— Караульная служба, известно...— ответил конвойный.— Зачем побежал?.. Нешто полагается арестанту бегать, как зайцу...

Двигались мы довольно медленно, на ночевки останавливались на этапах... После некоторых переговоров нашего старосты, которым был избран для нашей вышневолоцкой партии Грабовский, нам разрешили однажды ночевать на этапном дворике. Помню теплую ночь и луну, глядевшую с высокого неба... Молодые супруги, которых у нас было несколько пар, долго сидели, тихо воркуя, когда остальные спали...

Так мы приехали в Тюмень. В этом городе находился знаменитый «приказ о ссыльных», распределявший ссыльных по местам Западной Сибири. Нас подвезли на площадь перед большой тюрьмой, и здесь мы имели удовольствие увидеть часть нашей первой партии: из-за решеток выглянул сначала прапорщик Верещагин, потом Кожухов, Швецов, Анненский. Между площадью и тюрьмой начался оживленный обмен приветствий и разговоров, в котором скоро приняла участие и посторонняя толпа. Был, помнится, праздник и базарный день... Скоро, однако, оказалось, что нас здесь не остановят. Отобрали человек двадцать, оставляемых в Западной Сибири, а остальных на пристани уже ждала баржа, в которой нам предстояло по Туре спуститься в Тобол и Иртыш. Миновав Тобольск, наша баржа стала подыматься на север по Иртышу, и чудесные виды Волги и Камы сменили для нас унылые берега сибирских рек с редкими поселениями. Здесь я отдался воспоминаниям и написал очерк «Ненастоящий город», в котором, сильно подражая Успенскому, описывал Глазов. Очерк этот был напечатан в журнале «Слово», но когда я попытался восстановить также некоторые починковские впечатления и впоследствии отослал их в Петербург, то из редакции ответили, что это могло бы быть напечатано только за границей, в нелегальных газетах.

У большого села Самарова мы достигли самого северного пункта, повернули на юг по Оби и проплыли мимо Нарыма и Сургута. Обь еще неприветливее и пустыннее Иртыша. На десятки верст порой тянется тундра, покрытая бледным тальником. Соответственно с этим и настроение становилось тусклее и раздраженнее. В партии возникли неудовольствия между товарищами и старостой. Грабовский был очень хороший человек, но он плохо понимал настроение молодежи, озлобленной и раздраженной. Ему казалось, что дело просто: нас везут, и мы должны подчиниться, по возможности избегая столкновений. Но в этих случаях действует сложная и двусторонняя психология. На нашей барже, кроме политических, следовала также уголовная партия. Нас сопровождали жандармы, уголовных — простые конвойные. Начальником последнего конвоя был офицер конвойной команды, и сопровождавший нас полковник Владимиров, как это бывает всегда, опасался с его стороны доноса на распущенность поли-

тической партии. Мы подолгу оставались на палубе, не прекращали пения на пристанях, и порой наши песни имели не совсем цензурный характер. Владимиров требовал большого подчинения, и Грабовский, не довольствуясь передачей этих требований, убеждал и с своей стороны в необходимости подчинения. По большей части он был прав, но так как порой его уговоры носили характер наставления старшего по возрасту, а порой и педагога, и притом их могли слышать жандармы, то это раздражало и волновало партию. Все чувствовали, что если при этих условиях уступить раз, то за этой уступкой последуют дальнейшие требования, и этому не будет конца, пока субординация не достигнет степени безропотного подчинения даже нелепым требованиям.

С другой стороны, в массе (а нас было около сотни) всегда найдется известный контингент людей слишком раздраженных или бестактных, которые обостряют отношения в другую сторону. У нас было таких несколько человек, в том числе некто Баранов, портняжный подмастерье из Петербурга или Москвы. Небольшого роста, коренастый, с горячими черными глазами,— он находился в настроении постоянного кипения. Еще при приеме партии на баржу, на Волге, у нас сделали довольно поверхностный просмотр вещей, но при этом осталось многое, запрещенное арестантскими правилами: какой-нибудь ножик, карандаш, записная книжка и т. д. У Барабанова был нож и ножницы, которыми он порой работал. Ими, конечно, приходилось пользоваться так, чтобы это не кидалось в глаза. Но Баранов выносил все свои орудия на палубу и демонстративно раскладывал их вокруг себя, что, конечно, вызывало в конвойных раздражение и соблазн.

Кое-как шло до Сибири, хотя у Грабовского часто срывались желчные реплики. Выходило так, что на одной стороне была вся наша партия, в общем все-таки не одобрявшая выходок Баранова и других людей с таким же настроением, но оказывавшая упорное сопротивление полному подчинению, на другой — Владимиров и наш староста. Отношения обострились до того, что потерявший терпение Владимиров объявил Грабовскому, что он произведет новый осмотр вещей, и Грабовский предупредил об этом партию.

Это вызвало такое волнение, что многие стали готовиться к отпору. Помню, как поручик Соловьев, человек

необыкновенно раздражительный, тотчас же снял с себя длинные сапоги, готовясь пустить их в ход в качестве оборонительного оружия. Дело могло принять плохой оборот: многие, не сочувствовавшие вызывающему образу действий Баранова, просто из товарищества примкнули бы к самым крайним мерам сопротивления. Конвой мог пустить в ход оружие.

В это время Петя Попов и еще несколько человек пришли ко мне и сказали, что Грабовский отказывается и партия хочет выбрать старостой меня. Я не счел себя вправе уклониться. Разговор шел в стороне, и я попросил передать товарищам, что, в общем, я скорее на стороне Грабовского и не могу одобрить вызывающих демонстраций, но, если и с этой оговоркой меня выберут, я не откажусь. Меня выбрали единодушно, и я понял, что огромное большинство, в сущности, против бесполезных вызовов.

На следующий день мы подошли к какой-то пристани, и закупки делал уже я. Владимиров, которому пришлось выдавать деньги, принял меня очень холодно. Я держался с ним так же. Когда, после отхода от пристани, он сказал, что намерен произвести обыск и чтобы я передал об этом товарищам, я сказал, что передам, но не ручаюсь, что обыск сойдет благополучно. Обыска Владимиров не произвел ни в этот день, ни на другой. А в это время большинство товарищей потребовали у Баранова, чтобы он прекратил демонстрации. Это так раздражило его, что он подбежал к жандарму, помахал ножом перед самым его носом и — бросил нож в воду.

Волнение понемногу улеглось. С Владимировым у меня по-прежнему были очень холодные отношения, и я довольно резко отклонял его завоевательные попытки. Но, с другой стороны, он заметил также, что вызывающие выходки прекратились. Установился известный режим, не стеснительный для нас, но и не грозивший столкновением. Он почувствовал известный предел, у которого следовало остановиться, и не стремился преступить за него.

Тогда и его отношение ко мне стало меняться. Однажды, когда опять мне приходилось сводить с ним счеты и я делал это все тем же официальным тоном, он вдруг откинулся на своем стуле и неожиданно для меня сказал:

— Ну вот... все хорошо... А я, признаться, очень вас боялся...

— Почему?..

— Выбрали вас вместо Грабовского, и я ждал столкновений... К тому же о вас ужасные отзывы вятской администрации.

Мне вдруг вспомнился эпизод с «причиной высылки», и я сказал:

— Послушайте... Не можете ли вы показать мне статейный список?.. За что именно я высылаюсь?..

— Этого никак не могу. Не имею права.

Я не настаивал. Но на одной из следующих остановок он опять заговорил об этом:

— Если вы дадите мне слово, что никому не скажете, то...

Я дал слово, и он подал мне, очевидно заранее приготовленный, статейный список. Я взглянул и... изменился в лице. В списке действительно было написано: «Высылается в Якутскую область на основании высочайшего повеления 8 августа 1878 года за побег с места ссылки в Вятской губернии».

Я не думал, что эта гнусная ложь вятской администрации произведет на меня такое действие.

— Если поблизости есть телеграф,— сказал я Владимирову,— то я должен сейчас же телеграфировать министру внутренних дел. Это гнусный подлог. Я ниоткуда не бежал.

— Да, конечно, конечно...— заговорил смущенно Владимиров.— Но... Я не имел права показывать вам статейный список, а вы дали слово...

— Ну хорошо... Но скажите, что же мне делать?..

— Когда мы приедем в Иркутск, подайте просьбу, чтобы вам дали выписку из статейного списка.

— И вы думаете, что просьбу удовлетворят?.. Скажите по совести...

— По совести?.. Нет, вероятно, откажут... А вот по прибытии на место...

— То есть в Якутскую область?.. Спасибо за совет. Слово свое я, конечно, сдержу. Но понимаете ли вы, полковник, как много вы препровождаете людей, над которыми совершены величайшие подлости... И как трудно требовать от нас покорного подчинения вашим «законным требованиям».

Жандарм казался смущенным. Как читатель увидит ниже, мне скоро пришлось с ним расстаться, но впо-

следствии я слышал, что всю остальную дорогу до Иркутска он держал себя очень корректно и никаких больше столкновений у него с партией не выходило [1].

Теперь мы шли по Оби на юг, приближаясь к Томску. Стало теплее, берега разнообразнее, настроение веселее. Мне остается досказать о наших «партиях» — то есть «коммунистах и аристократах». В Томске предстояло новое разделение: кое-кто мог остаться в Томской губернии. Поэтому нужно было перед приходом в Томск разделить по рукам общую кассу. У прибывших из Мценска такого разделения не было. У нас тоже рознь, вызванная этим «переворотом», как-то сгладилась. В качестве старосты вышневолочан я принимал участие в делах как той, так и другой части.

Однажды Петя Попов пришел ко мне и стал восторгаться одной из невест, примкнувших к нам в Москве. Это была очень изящная полечка, существо хрупкое, с почти детским лицом и большими глубокими глазами. Попов, кажется, был влюбчив и теперь часто выражал свой восторг: «Посмотрите, какие у нее глаза. Это один восторг! И лицо юного ангела». Когда у нее спросили, к какой «партии» она хочет присоединиться — к демократам или аристократам,— она ответила без колебаний: «Конечно, к демократам!» — «Это она без должного разумения,— говорил Попов.— Ведь это совершенный ангелочек... Ах, какая прелесть!» И на этот раз трудно было разобрать, серьезно ли он восхищается или просто смеется. Всего вернее, что было и то и другое...

Перед прибытием в Томск, когда приходилось приступить к разделу общей кассы, Петя Попов торопливо пришел ко мне и, почти захлебываясь от веселого оживления, сказал:

— Скорее, пожалуйста, скорее... Пойдем. Спросите у М—н, куда она теперь причислит себя.

Мы пошли. Я предложил вопрос и объяснил практические последствия, вытекающие из принадлежности к той или другой партии. Муж устранился, предоставляя решение жене; у них было около сотни рублей. Поняв, что ей придется отдать их в общую кассу, молоденькая женщина задумалась, подняв кверху свои чу-

---

[1] Об этом см., между прочим, воспоминания И. П. Белоконского «Дань времени», стр. 166.

десные глаза... Попов следил за нею восхищенным взглядом.

— Знаете,— сказала она наконец.— Это прекрасно в теории, но... на практике, право, неудобно.

Лицо Попова выражало полное восхищение. Он составил себе известное представление и был в восторге, что оно оправдалось. Окружающие тоже благодушно улыбались. Это было последнее мое впечатление от нашего коммунизма... Дальнейших эпизодов нашего разделения на партии я уже не узнал... Через два-три дня после этого мы прибыли в Томск.

XI

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКУЮ РОССИЮ.— ТОБОЛЬСКАЯ ТЮРЬМА.— ЯШКА-СТУКАЛЬЩИК ФОМИН.— БРОДЯГА ЦЫПЛОВ — ПРИБЫТИЕ В ПЕРМЬ

В Томске были две тюрьмы. Одну арестанты называли «содержающей», другая была пересыльная. В последней, кроме постоянных корпусов, были еще просто обширные бараки, в том числе из натянутого полотна. В ней царило большое оживление, так как то и дело вливалась партия за партией. Нас поместили в большом каменном одноэтажном корпусе. Предстояла остановка дня на два.

Кажется, на следующий же день в тюрьму явился губернаторский чиновник с сообщением: верховная комиссия Лорис-Меликова, рассмотрев наши дела, постановила освободить несколько человек, а шестерым объявить, что они возвращаются в пределы европейской России для отдачи под надзор полиции.

В том числе оказался и я... Очевидно, подлог вятской администрации обнаружился после ревизии Имеретинского, и, впредь до разбора дела, меня возвращали в первобытное состояние, то есть восстановляли ссылку в европейской России.

С партией мне приходилось расстаться. Я уже сжился с нею, и мне казались одинаково близки и коммунисты, и демократы. Когда партию усадили на повозки и она тронулась с тюремного двора, огибая красивую новенькую церковку, мы, остающиеся, провожали ее тоскливыми взглядами. Наконец последняя повозка

скрылась за углом, и мы вернулись в опустевший корпус.

В ожидании отправки назад нам пришлось провести в пересыльной несколько томительных дней. Две большие камеры, еще недавно занятые политической партией до ста человек, теперь были предоставлены нам шестерым. В одной жили мы с Вноровским, в другой помещались женщины. Впрочем, камеры запирались только на ночь. Весь день мы могли свободно ходить к нашим спутницам и выходить на тюремный двор. Потянулись скучные дни ожидания.

Наша возвращающаяся компания состояла из двух мужчин и четырех женщин. Тут были, во-первых, супруги Вноровские, оба уже не очень молодые люди. Она (урожденная Мищенко) имела очень болезненный вид, и ей приходилось вдобавок кормить грудного ребенка. Участь этого малютки была бы очень печальна, если бы, к его благополучию, в нашей партии не случилась другая мать, тоже с грудным ребенком. Это была Вера Павловна Рогачева, жена Рогачева, осужденного в каторгу по «большому процессу». Сильная брюнетка несколько цыганского типа, она была женщина необыкновенно здоровая и отлично справлялась с кормлением обоих ребят. Третья женщина была Осинская, вдова казненного террориста, четвертая Фекла Ивановна Донецкая, жена Донецкого, тоже заключенного в Белгородскую пересылку и, как говорили, сошедшего там с ума.

В дни этого ожидания ко мне вдруг явились мать и сестра. Они ехали в Красноярск и проездом через Томск выпросили свидание со мной. Скоро, впрочем, мы опять распрощались, быть может надолго, и они уехали. Через два-три дня они обогнали на сибирском тракте нашу партию...

Перед нами стоял немаловажный вопрос: кто и как нас повезет обратно; придется ли нам следовать этапом в сопровождении солдат конвойной команды, или нас повезут жандармы. Помимо удобств пути на почтовых, тут был и еще вопрос: жандармы были гораздо культурнее и уже привыкли к обращению с политическими... Конвойная команда, наоборот, состояла из людей грубых, привыкших к самому грубому обращению с уголовными. Их офицеры стояли немногим выше солдат в культурном отношении. Останавливаться пришлось бы на грязных, зараженных вшами и болезнями

этапах. Поэтому совершенно понятна радость, с которой наши женщины встретили появившихся в глубине двора жандармов. Мы с Вноровским, сидя в своей комнате, услышали вдруг громкие рукоплескания и крики:

— Жандармы, жандармы, жандармы!..

Шесть жандармов подходили к дверям, вероятно удивленные этой радостной встречей. Им командировка была тоже выгодна: удавалось сэкономить на прогонах для тысячеверстных путешествий взад и вперед. Поэтому они тоже с удовольствием пускались в путь. Мы наскоро собрались, и обратное «лорис-меликовское» веяние помчало нас с востока на запад.

Скоро мы прибыли в Тобольск. Здесь сразу же возник маленький конфликт. Меня, не помню зачем, вызвали сразу в контору, кажется, для расчета с жандармами за всю нашу небольшую партию. Когда я пришел в тюремный коридор, то здесь застал смотрителя и вызванного им полицеймейстера среди довольно резких объяснений с женщинами. Нас хотели рассадить всех по отдельным камерам, а они требовали, чтобы нам всем отвели одну большую камеру. Смотритель, грубый субъект с глупым, но хитрым лицом, очень горячился. Полицеймейстер — красивый офицер в форме сибирского казачьего войска — отвечал спокойно, но настаивал на «исполнении закона». Заметив, что с ним дело иметь легче, мы с Вноровским постарались объяснить ему положение: мы возвращаемся в Россию. Применять к нам лишние строгости нет никакой причины, а тут вдобавок дело идет о жизни одного из малюток.

Красивый полицеймейстер быстро сдался, и мы заключили компромисс: нас с Вноровским поместят в подследственном отделении мужской тюрьмы, женщин всех вместе в большой камере женского отделения. Полицеймейстер, по-видимому, сам довольный тем, что не пришлось прибегать к лишним насилиям (что сначала казалось довольно вероятным), разговорился с нами:

— Ну, господа!.. По-видимому, действительно в России начинаются какие-то новости. Я видел много людей, в том числе вашего брата — политических. Все они шли на восток... Но чтобы кого-нибудь возвращали из Сибири — этого я не видал... Советую вам теперь вести себя смирно, потому что... Если вы опять попадете сюда, тогда уж кончено! Два раза таких чудес не бывает. Тогда, господин Короленко, прямо женитесь на сибирячке и обзаводитесь домком...

Мы на время распрощались с женщинами и пошли в «подследственное отделение», которое я впоследствии описал в рассказе под тем же названием и где я встретил сектанта Яшку-стукальщика. Параллельно с этим я описал также порядки, заведенные смотрителем — человеком тупым и жестоким,— например, холодный коридор, откуда наказанных уносили прямо в больницу.

Однажды к глазку нашей камеры подошел арестант и сунул мне записку. Нам писал Фомин, заключенный в одиночную камеру военно-каторжной тюрьмы. Мы знали эту фамилию. Он пытался освободить Войнаральского, когда жандармы везли его в Новобелгородскую центральную тюрьму. Собственно, он не участвовал в нападении, при котором был ранен один из жандармов, так как сбился с дороги и выехал на нее позже, когда все было уже кончено и освобождение не удалось. Но жандармы заметили всадника, выехавшего после нападения на дорогу, и когда его вскоре арестовали, то оказалось, что это Фомин, сам бежавший из киевской тюрьмы и участвовавший в попытке освободить других. Его судили, признали особенно опасным и заключили в тобольскую тюрьму. Он писал нам, что везли его сюда в сопровождении целого отряда жандармов, в помощь которому сбивали на этапах еще толпу мужиков из деревень. По ночам этапы походили на военные лагери, окруженные кострами и ожидающие нападения неприятеля...

Теперь его держат в одиночке. К нему особый ход через комнату нарочно приставленного к нему надзирателя. Пищу подают через особо запирающееся отверстие. Окно, выходящее на узкий дворик военно-каторжных, снаружи загорожено досками, так что ему виден лишь клочок неба. Ни на прогулки, ни в баню его не пускают. Раз в месяц в камеру вносят ванну, в которой он моется под непосредственным наблюдением смотрителя. Этот тупой и жестокий человек при этом отпускает язвительные шуточки: «Вот, дескать, живет каким барином! В ванне моется». Книг не дают. Однажды он надергал проволок из оконных решеток и сделал из проволок и хлеба прибор, демонстрирующий вращение земли около солнца и луны — вокруг земли. Смотритель с этих пор позволил ему делать такие же приборы для продажи. Продает их его благородие сам, платя ему по полтора рубля за прибор. Из этих денег он покупает материалы для дальнейшей работы. В заключе-

ние письма, написанного очень убористо на маленьком клочке бумаги, Фомин просил сообщить ему новости и прислать сколько-нибудь перьев, чернил и денег.

Я всегда ухитрялся проносить в тюрьмы карандаши, перья, бумагу и тушь. Заделав незаметным образом десять рублей в конец копченой колбасы, я передал ее принесшему записку арестанту вместе с письменными принадлежностями. На следующий день Фомин с тем же арестантом прислал ответ: он получил все и просил доверять передатчику. Я написал ему о событиях в России, о покушениях на царя, о полномочиях Лорис-Меликова и о том, что мы являемся, быть может, первыми ласточками смягчения режима. Помню, что мне тогда так хотелось утешить беднягу Фомина, что в моем письме оказалось веры несколько больше, чем было у меня самого.

Под вечер следующего дня к моему глазку подошел высокий молодой арестант, назвался старостой арестантской партии и спросил, не приносил ли мне Семенов записки от Фомина. Я сказал, что не намерен отвечать на такие вопросы.

— Послушайте,— сказал староста.— Вы мне не верите... Но «общество» (он разумел общество арестантов) хочет предупредить вас: не доверяйте Семенову... Подлец. Обманет!

На меня этот арестант произвел очень приятное впечатление, но... я получил уже тогда ответ Фомина и, не доверяя своему впечатлению, отнесся к предупреждению довольно холодно. Впоследствии оказалось, что «общество» было право, а я ошибался. Вообще тюремная артель свято блюдет интересы товарищей, испытывающих исключительный режим. Первые и лучшие порции из общего котла отводились Фомину и заключенным за что-нибудь в карцер. Затем некоторыми преимуществами пользовались каторжники, и уже за ними шла остальная тюремная масса, носящая презрительную кличку «шпанки».

В то же время мы узнали, что в тобольском замке содержится некто Цыплов, уголовный бродяга, приговоренный к смертной казни за сношения с политическими и за участие в попытке устроить правильную нелегальную почту между европейской Россией и Сибирью. Цыплов пользовался большой известностью по сибирскому тракту как опытный бродяга. Некоторые ссыльные познакомились с ним и стали посылать его

с письмами в Екатеринбург, откуда он приносил ответы. Таким образом возник проект организации побегов, впоследствии случайно раскрытый во время обыска у Валентина Яковенка. Во время одного из путешествий по тракту Цыплова арестовали переодетые крестьянами жандармы. Он отчаянно отбивался и теперь был приговорен тобольским судом к смертной казни за «вооруженное сопротивление властям». Приговор ему объявлен, и теперь он ждет со дня на день смерти. Его камера выходила крохотным оконцем в проход к тюремным воротам, и я до сих пор помню жуткое чувство, с которым я, проходя в канцелярию, взглядывал на это затененное оконце, за которым мне чудилось истомленное лицо приговоренного. Казнь впоследствии не была приведена в исполнение, да для этого и не было оснований: Цыплов сопротивлялся не властям, а предполагаемым разбойникам, неожиданно на него напавшим на дороге... Но власти надеялись, что уголовный бродяга не выдержит пытки ожидания и выдаст своих политических сообщников. Тобольская Фемида согласилась служить орудием этой нравственной пытки. Цыплова держали сорок дней в одиночке, и арестанты рассказывали нам, что чуть не каждый день к нему приезжает кто-нибудь из прокуратуры, пугает близкой казнью и убеждает назвать тех, кто его посылал и к кому он носил письма. Но — бродяга выдержал. Впоследствии, живя в Перми, я познакомился с участниками этой конспирации, и они все остались неприкосновенными... Очевидно, было что-то в тогдашнем движении, что даже у каторжников и убийц вызывало чувство самопожертвования, доходившего до подвига. Впоследствии отношения между политическими и уголовными сильно осложнились...

В Тобольске мы пробыли несколько дней, которые мы с Вноровским провели в коридоре подследственного отделения, под громовый стук протестанта Яшки и под вой сумасшедшего еврея, сидевшего в том же коридоре. Наконец за нами опять явились жандармы, и мы поехали Барабинской степью на «вольных» (так называемых «дружках»).

Это была большая экономия для жандармов, а нам давало большую свободу в пути. На одной остановке у «дружка» мы встретили петербургского присяжного поверенного (помнится, Волкенштейна), который ехал на защиту какого-то дела в Томске или в Иркутске.

Жандармы не мешали нашей беседе. Мы вместе пили чай, и Волкенштейн рассказывал петербургские новости. Все общество охвачено порывом надежды. Лорис-Меликов разрабатывает проект конституции. Он имеет огромное влияние на царя, в котором сумел пробудить его молодые настроения освободителя. Тюрьмы раскрываются, и в нас он видит первых ласточек освобождения.

Мы далеко не разделяли этого оптимизма. Из нашей партии, численностью около ста человек, освобождено только двое (или трое), а мы возвращаемся в европейскую Россию опять под надзор полиции. Остальная же партия, в которой большинство административных, идет и теперь по направлению от Томска к Красноярску

Иркутску... Он не хотел верить таким скромным размерам лорис-меликовского освобождения, считая это недоразумением и временной задержкой («нельзя же вдруг»), и мы расстались с ним, увозя на запад свой скептицизм, тогда как он повез на восток свои розовые надежды. Жандармы прислушивались с большим интересом к нашим разговорам, и на их лицах читался вопрос: а что же тогда будет с нами, с нашим начальством и нашими выгодными командировками? Кажется, впрочем, что они разделяли наш скептицизм: их мир стоит еще прочно.

Наконец по Уральской железной дороге мы приехали в Пермь. Полицеймейстер, высокий худощавый человек желчного вида, тотчас же отправился с нами к скромному одноэтажному губернаторскому дому. Нас ввели прямо в гостиную, где нас встретил губернатор Енакиев. Это был человек средних лет с оригинальной наружностью. Полный, с довольно большим животом, с выдающимся резким профилем, без признаков растительности, эта фигура как будто сошла с какого-то дагерротипа XVIII столетия, изображавшего екатерининского вельможу.

Он принял нас с удивившим меня радушием. Пригласив остальных в столовую, он остался в гостиной со мной одним.

— Вы назначены под надзор полиции ко мне, в Пермскую губернию,— начал он.— Но Пермская губерния велика, и я не знаю, что мне с вами делать: оставить вас в губернском городе или послать в Чердынский уезд... Сведения о вас, по отзывам вятской администрации, ужасные.

Я улыбнулся.

— Это зависит от вас, и Чердынский уезд меня не пугает.

Он посмотрел на меня пристальным взглядом своих круглых глаз и сказал:

— Мне почему-то кажется, что сведения вятской администрации... преувеличены...

Я поклонился и ждал.

— И если вы обещаете мне, что будете вести себя соответствующим образом, то я предпочел бы оставить вас в Перми.

— А что я должен разуметь под соответствующим поведением?

— Видите ли... Прежде всего, какие знакомства вы заведете. Есть люди, не поддающиеся никакому вредному влиянию... Например, я или мой приятель, начальник жандармского управления, ну и еще другие в таком же роде... Но если вы станете сближаться, например, с учащейся молодежью...

— Я попрошу вас в таком случае сразу отправить меня в Чердынь,— сказал я.— Я не могу смотреть на себя как на зачумленного и, соответственно с этим, оберегать кого бы то ни было от своего вредного влияния. Знакомиться я буду со всеми, кто этого пожелает... А полезно или вредно знакомство со мною — судить не мне...

Человек восемнадцатого столетия с интересом и вдумчиво выслушал меня и сказал:

— Вы правы... Я вижу, что вы говорите откровенно... Остается еще одно. Из Перми чуть не ежедневно ходят пароходы... Если вы обещаете мне, что не воспользуетесь этим обстоятельством для побега... то дело можно считать конченым.

Я невольно задумался, а Енакиев, с любопытством поглядев на меня, прибавил:

— Имейте в виду. Внутреннее положение России, по-видимому, скоро должно сильно измениться... Я уверен, что, если вы не подадите с своей стороны особенных поводов, ваше пребывание под надзором скоро должно прекратиться, и вы будете свободны...

— Хорошо. Даю слово, что бежать не намерен.

— Ну, дело, значит, решено... С этой минуты вы свободны. Если вам угодно пробыть еще некоторое время с вашими товарищами, пока полицеймейстер подыщет им комнату в гостинице,— то милости прошу...

И он указал мне на соседнюю дверь. Она вела в столовую, где я застал нашу компанию за чайным столом. Донецкая сидела за самоваром, разливала чай, а оба младенца, распеленатые, лежали на роскошной кушетке, на которой были разбросаны пеленки.

— Ну что скажете? — весело спросила Донецкая, когда Енакиев вышел.

Я недоумевал...

— Конечно, может быть, это только личные особенности здешнего губернатора, похожего на человека екатерининских времен... Но... все-таки знаменательно и странно.

Через некоторое время явился полицеймейстер и сообщил, что номер в гостинице готов, и мы отправились туда, попрощавшись с губернатором. Дорогой я спросил у полицеймейстера, есть ли здесь другие поднадзорные. Он назвал Зарудневу и Панютину. Я уже знал, что в Перми остался тоже Петр Михайлович Волохов, от которого еще в Вышнем Волочке я получил письмо. Но на мой вопрос о нем полицеймейстер нахмурился.

— Не советую вам знакомиться с этой личностью. Это опасный, опасный человек, и сношения с ним могут вам сильно повредить.

Я засмеялся. Волохова я знал как человека очень умеренного образа мыслей, в ссылку попавшего по недоразумению. Он, как и я, обвинялся, кажется, в побеге с первоначального места ссылки, которого не совершал уже потому, что и выслан никуда не был. По-видимому, его смешали с кем-то другим. Поблагодарив полицеймейстера за дружеское предостережение, я сказал, что мне не приходится знакомиться с Волоховым, а хочется просто разыскать приятеля, и я все-таки прошу сообщить его адрес. Он насупился еще мрачнее, но адрес все-таки сообщил, и через некоторое время я уже был у Волохова.

— Скажите, Петр Михайлович, чем это вы заслужили такую опасную репутацию?

Он засмеялся.

— Мы с ним не кланяемся. Когда меня ссадили здесь с баржи, он обошелся со мной очень грубо и продержал без надобности в отвратительной каталажке. Увидев, что губернатор держится иначе, он тоже изменил обращение и теперь ждет с моей стороны любезных поклонов. Но я ему не кланяюсь... Ну вот он и считает, что

я непочтителен к нему... А он власть... Значит, я непочтителен и враждебен властям.

Можно сказать, что на таких характеристиках была основана значительная часть административных высылок... На первые дни, впредь до устройства, я поселился вместе с Волоховым и этим, конечно, бесповоротно погубил свою репутацию в глазах мрачного полицеймейстера.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Перми

I

АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВИЧ МАЛИКОВ

Через несколько дней я нашел себе квартиру в пригородной слободке, на улице, которая, кажется, называлась Односторонкой. Ряд домиков глядел прямо на широкий пустырь. У мелкого лавочника, бывшего кантониста-еврея, женатого на христианке, я нашел маленькую комнатку, на окне которой тотчас же вывесил изображение сапога из сахарной бумаги, чтобы известить, что в слободке поселился новый сапожник.

Почему я сделал это?.. На этот вопрос точного ответа дать не могу. Когда-то, до своей ссылки в Вятскую губернию, я мечтал вместе с братом и Григорьевым, что все мы перейдем на физический труд, чтобы жить общей жизнию с народом. Теперь, после того что я видел в Глазове и особенно в Починках, цельность этого настроения сильно нарушилась. Порой еще в Глазове, засидевшись долго, особенно ночью, за сапожной работой, я точно вдруг просыпался с странным ощущением... В руке у меня — сапог... Почему именно сапог?.. Но тотчас я находил и ответ: я живу в слободке, и сапог мне нужен для того, чтобы войти в среду слобожан... И, наконец, для заработка. Теперь, в Перми, я мог найти другой заработок, но мне не хотелось расстаться с образом жизни сапожника. Это было нечто вроде психической инерции. Я уже увидел и пережил много такого, что сильно подточило мои недавние наивно-народнические настроения. Но это были еще как бы подпочвенные воды. Скоро они изменят даже внешний вид местности. Но пока они делали еще невидимую работу... Ко мне стали заходить обыватели, я снимал мерки, пригонял колодки и шил для слобожан нехитрую обувь... Некрасиво, но крепко...

Скоро, однако, я начал приходить к убеждению, что для губернского города я еще сапожник плохой. Даже

слобожане, а особенно слобожанки, требовали работы более изящной, чем я мог дать после обучения у глазовского мастера и короткой практики. Настоящая, а не дилетантская работа — дело нелегкое. К ней надо привыкать с детства. Однажды городская портниха принесла мне обрезки, оставшиеся у нее от какого-то заказа, и попросила сшить из них теплые башмаки. Мы с нею вместе примерили выкройки и решили, что обрезков этих достаточно... Но когда я снял башмаки с колодок, то увидел, что осрамился: башмаки избоченились вдруг так потешно, что на них нельзя было смотреть без смеха. Оба мы, примеряя выкройки, не приняли в соображение направления ткани... Добрая женщина утешала меня: сапоги шьются для того, чтобы их носить на ноге. А на ноге они опять принимают нормальный вид.

Но я понял, что для города я еще не работник. Жизнь здесь стоила много дороже, чем в Починках или даже в Глазове, и мне трудно было заработать достаточно, разве что пришлось бы работать от зари до зари или даже по ночам, не разгибая спины. Побившись с месяц, я перешел на службу табельщиком в железнодорожные мастерские. Здесь опять вышла неудача. Работать приходилось у самых ворот, которые не запирались весь день, в маленькой каморке, в которой замерзали чернила, стыли руки, и казалось, что застывает даже всякая сообразительность. Я покорился судьбе и пошел на более легкую канцелярскую работу: стал письмоводителем в статистическом отделении службы тяги. Дорога была новая, штат еще не вполне укомплектован. Начальником дороги был молодой инженер Островский, а делопроизводителем — Александр Капитонович Маликов, на личности которого я остановлюсь подробнее...

Это был человек необыкновенно интересный. Тун, в своем известном труде «Революционное движение в России», упоминает имя Маликова, привлекавшегося еще по каракозовскому делу, а впоследствии, уже в 1874 году, «основавшего в Орле кружок молодых энтузиастов, так называемых богочеловеков». После смерти Маликова (в 1904 году) появилось в литературе несколько заметок, где о Маликове говорилось как о предшественнике Л. Н. Толстого в теории непротивления.

Когда судьба столкнула меня с Маликовым в Перми, у него было уже довольно бурное и разнообразное прошлое. Сын крестьянина Владимирской губернии, он

окончил Московский университет в первой половине 60-х годов и поступил на службу судебным следователем в Жиздринский уезд, Калужской губернии, в местность, где были расположены известные Мальцовские заводы. При освобождении крестьян заводские местности стали ареной борьбы между рабочими и владельцами заводов. Богатые заводчики умели отстаивать свои интересы правдой и неправдой, и, например, долгая тяжба из-за усадебной и полевой земли между заводчиками и рабочими на Урале закончилась уже, помнится, в конце столетия, причем, даже после окончательного решения сената, губернатор при поддержке высшей администрации противился проведению в жизнь сенатского решения. Так сильно было влияние богатых заводоуправлений.

Не помню точно, как шло это дело на Мальцовских заводах, помню лишь смутно рассказы Маликова о беспорядках и усмирениях рабочих. Молодой следователь принял сторону рабочих. А. Фаресов в своей статье («Один из семидесятников») упоминает о том, что губернатор потребовал молодого следователя к себе для объяснений (по жалобе какого-то губернского туза, вероятно заводчика), но Маликов не поехал, считая, что он губернатору не подчинен. В конце концов он был уволен по третьему пункту.

В 1866 году Маликов привлекался по каракозовскому делу вместе с своим другом Бибиковым, служившим мировым посредником в том же Жиздринском уезде. Оба они принадлежали к группе каракозовцев, не причастных к самому покушению, и дело ограничилось ссылкой в Холмогоры, а потом переводом в Архангельск, где Маликов работал в качестве секретаря губернского статистического комитета. Затем он получил возможность выехать из Архангельска и поступил в Орле на железную дорогу. Как человек уже «с прошлым», он имел влияние на молодежь, охваченную революционно-народническим настроением, и состоял в известном в те времена «кружке чайковцев».

В это именно время его почти внезапно охватило религиозное настроение. Он стал пламенно проповедовать свою религиозную систему: в каждом человеке есть божественное начало. Стоит обратиться к нему, отыскать в человеке бога — тогда не нужно насилия: бог все устроит в душах людей, и все станут справедливыми и добрыми. Маликов был человек необыкновенно

страстный. В романе Тургенева «Новь» Нежданов говорит о сектанте-проповеднике: «И ведь черт знает что он мелет... Зато глаза горят, голос твердый, кулаки сжаты, и сам весь как железный. Слушатели не понимают, а благоговейно идут за ним». У Маликова к пламенному красноречию и красивым образам присоединялась тоже эта сила непосредственного внушения, и я думаю, что он с удивлением почувствовал ее в себе и принял за внушение свыше. Фаресов рассказывает, что еще за несколько дней один из чайковцев видел его в Орле в обычном тогда интеллигентском настроении. А через короткое время застал его уже в полном экстазе, проповедующим «богочеловечество». У него явились последователи. На его сторону перешел и глава кружка, Н. В. Чайковский, а два артиллерийских офицера (Теплов и Аитов) отправились на открытую проповедь нового учения; оба скоро были арестованы, причем в обвинительном акте по делу 193-х было сказано, что у Теплова, задержанного на ярмарке в Муроме, «отобраны выписки из Священного писания». Арестовали и Маликова, который в комиссии (с участием жандарма Слезкина и следователя Железовского) произнес пламенную речь, после которой его решили освободить, но открытую проповедь нового учения запретили. Маликов призывал к мирным средствам пропаганды, говорил о христианстве, но в его учении заключалось все-таки осуждение существующего строя и официальной церковности. Тогда Маликов решил эмигрировать в Америку, чтобы основать там «свободную коммуну» на религиозно-трудовых началах.

В это время эмиграция в Америку влекла многих русских, мечтавших об американской свободе и о коммунистических опытах. Было известно, что в Америке существует уже коммуна русского выходца Фрея (Гейнса). Это была фигура тоже очень характерная. В газете «Вперед» появилось около этого времени его письмо, излагавшее учение коммунистов с его точки зрения: разделу подлежали не только материальные блага, но и... свобода, которой ныне одни пользуются с излишком, другие — пребывают в рабстве. Помню, что письмо было написано сжато и энергично. Он звал ищущую правды интеллигенцию примыкать к его коммуне. Сам он, член аристократической семьи (брат его был губернатором в Казани), отказался от всех преимуществ рождения и жил в Америке сначала у перфекционистов

(библейских коммунистов), потом в общине «Union» в Миссури, а затем вместе с Бриггсом основал «Прогрессивную коммуну» в Канзасе. К нему и решила обратиться группа «богочеловеков», находя, что тут они найдут родственное настроение. Маликов и Чайковский поехали в качестве депутатов в Канзас.

Сам Маликов с большим юмором рассказывал об этих своих скитаниях. Депутаты рассчитывали найти благоустроенную общину, с солидными постройками и огороженными полями. Но, приехав на место, нашли жалкую хибарку с щелями в стенах и с адским холодом внутри. Потолка не было. Вверху была только щелеватая крыша. Вдобавок недавно свалилась балка и нанесла сильные повреждения жене Фрея... Вместо того чтобы примкнуть в этой колонии, эмигранты пригласили Фрея к себе и основали поблизости свою коммуну...

Тон коммунальной жизни, естественно, давал Фрей, как уже «опытный коммунист». Он был строжайший вегетарианец и даже не вегетарианец, а какой-то своеобразный позитивистский аскет: считал, например, что всякая искусственно приготовленная пища есть извращение природы и приносит вред организму. Поэтому он стремился упразднить даже варку пищи в кухне. Соли он также не употреблял сам и приучал к тому же свою семью. Когда впоследствии он вернулся в Россию и обратился к врачу по поводу начавшихся недомоганий, тот, осмотрев его, нашел, что организм сильно расстроен, и приписал это «излишествам». Когда удивленный Фрей объяснил, кто он и какой образ жизни вел до сих пор,—врач сказал: «Ну, батюшка, крайности сходятся!»

Новая коммуна в смысле благоустройства оказалась не лучше «прогрессивной коммуны» Бриггса и Фрея. Постройки вышли так же непрактичны и плохи. Никто не умел как следует работать, доить коров, ухаживать за ними. Коров скоро перепортили. Начались и несогласия. В коммуне были люди семейные, что усложняло отношения, и пришел момент, когда одна из матерей заявила прямо, что ей все равно: пусть десять коммун погибает, лишь был бы жив ее ребенок. Цельное настроение искателей новой правды разлагалось, один только Фрей оставался непреклонен, как маниак. Маликов с большим юмором рассказывал о том моменте, когда коммуна выбилась наконец из-под нравственной

ферулы Фрея. Коммуна голодала, но было существо, которое пользовалось в ней привилегированным положением. Это была большая свинья, которую неизвестно зачем содержали и кормили. У коммунистов стало созревать преступное намерение зарезать эту свинью. Фрей не допускал и мысли о таком ужасном преступлении. Когда заговор созрел и вышел наружу, Фрей долго противился и наконец сказал: «Делайте что хотите. Я уйду в лес, чтобы не присутствовать при вашем каннибальском пиршестве и чтобы вам не было стыдно». Коммунисты, с «циничным смехом» заявили, что им и без того не будет стыдно.

Маликов был замечательный рассказчик, и в его передаче все эти эпизоды расцвечивались сильным оттенком комизма. Это была в нем черта до известной степени парадоксальная. Он умел во всем этом отметить смешное, и все-таки... это не спасало его от участия в этом комизме. Когда я думаю об этом, мне все вспоминается слышанная мною фраза одного сектанта. Он долго спорил с представителем другого толка и потом, вздохнув, сказал: «Видно, всяк по-своему с ума-то сходит». Другой повторил ту же фразу с тем же вздохом. Впоследствии мне приходилось ее слышать в таких случаях не раз. Оттенок грусти, которым она сопровождалась, относился, очевидно, к необходимости, которая заставляет людей, признавших основную ошибку господствующей церкви, отколоться от ее соборности и искать истину на раздорожьях...

То же, может быть, еще в большей степени, относится к интеллигентным исканиям общественной правды. Целое поколение было выкинуто на раздорожье и вынуждено искать ее вне связи со своим народом. Одно из таких раздорожий была и эта американская коммуна. Они ехали в Америку, чтобы на свободе произвести опыт, рассчитывая найти там не только нужную свободу, но и связь хотя бы с чужой жизнью. Свободу от внешних запретов они нашли, но связи с жизнью не было. Даже американцы Фрея были какие-то чудаки, производившие впечатление полусумасшедших. Один из них, между прочим, признавал грехом носить одежду и стал в коммуне ходить нагишом. Я не помню теперь, было ли это и при Маликове или еще в то время, когда Фрей скитался у перфекционистов или в Миссури. Коммуна признала право этого чудака на хождение в виде Адама. Но когда однажды он пожелал проехать

с другими коммунистами в таком же виде в ближайший город, то американцы возмутились. Началось с того, что каждый, ехавший по той же дороге, обгоняя коммунистическую телегу, непременно вытягивал голяка кнутом... А затем они помчались вперед, чтобы в городе приготовить Адаму чисто американскую встречу, то есть посадить голяка в бочку с дегтем, обсыпать перьями и затравить в таком виде собаками. Американцы, исполненные предрассудков, считали, что у них есть тоже свое право не видеть в публичных местах голых людей. А так как за этим правом стояла и сила, то... новому Адаму пришлось спрятаться под козлы, и коммунисты вернулись домой, не побывав на ярмарке[1].

Мне трудно восстановить теперь юмористический тон, который проникал все эти маликовские рассказы. Тот же юмор, и даже очень близкий к маликовскому по формам, я встретил еще у одного интересного человека, сверстника и близкого товарища Маликова, жившего тоже в Орле,— Зайчневского. В свое время он был широко известен в радикальных кругах как «якобинец». Впоследствии Нечаев пытался осуществить ту же «русско-якобинскую» теорию: охватить всю Россию крепко спаянной сетью ячеек, растущих в геометрической прогрессии и железной дисциплиной подчиненных таинственному центру. По приказу из центра в один прекрасный день вся страна сразу переходит к будущему строю... Зайчневский был человек замечательно образованный и умный. И это не помешало ему до конца жизни держаться нелепой теории, и Маликов по-своему рассказывал об его стараниях сплотить центральную ячейку и о том, как спропагандированные им молодые люди, уезжая в столицы, быстро переходили к другим партиям. Зайчневский платил своему насмешливому другу той же монетой. Между прочим, я лично слышал от него рассказ о том, как однажды, придя в квартиру Маликова, он впервые услышал о новой религии. Маленький сынишка Маликова, подпрыгивая на одной ножке, сообщил ему новость:

— А папка-м бог!.. А папка-м бог!..

Оба были талантливы, оба были умны, оба ценили юмор, и все-таки — оба продолжали по-своему «схо-

---

[1] Замечательно, что такой же случай повторился в одной из позднейших русских колоний... В последнем случае — Адам был русский.

дить с ума» на раздорожьях мысли, лишенной деятельной связи с общим потоком жизни, проникнутой рабством и неправдой...

В то время когда я познакомился с Маликовым, ему было лет под сорок. В буйных волосах не было седины, но лицо было изборождено глубокими морщинами. Точно страсти, потрясавшие эту пламенную натуру, провели неизгладимые борозды по его выразительному, грубоватому лицу с неправильными чертами. У него тогда уже была вторая семья. С первой женой он разошелся, сохранив, впрочем, дружеские отношения. Она, по-видимому, не могла примириться с цыганством мужа и рассталась с ним, полюбив одного из его друзей и взяв с собой дочь. Тогда Маликов в свою очередь соединил свою судьбу с Клавдией Степановной Пругавиной (сестрой известного писателя). Из-за семьи он и поступил на железную дорогу. Вообще он был отличный администратор, легко овладевал всяким новым делом, и все у него кипело в руках. И все-таки чувствовалось, что, овладевая всяким делом, он не дает ему овладевать собой. С сослуживцами он не сближался, от губернского общества держался в стороне, окружая себя только бродячей интеллигенцией, преимущественно ссыльными. В его гостиной прежде всего кидался в глаза столярный станок, и вообще обстановка напоминала скорее временный бивак, чем жилище окончательно осевшей семьи. Казалось, ее хозяин остановился здесь на время для роздыха, чтобы опериться и вновь взлететь в неизвестном направлении...

Трудно себе представить человека привлекательнее Клавдии Степановны Маликовой. По темпераменту она казалась прямой противоположностью мужу. Уроженка севера, блондинка с прекрасными светлыми, как льдинки, глазами, она, однако, не производила впечатления холода. Наоборот, от нее исходило какое-то теплое, греющее сияние. Она, очевидно, глубоко пережила в свое время увлечение идеями Маликова, сопровождала его в американских скитаниях, уже имея детей, и как-то особенно относилась к постигшему их разочарованию. Оно, по-видимому, не имело для нее решающего значения. Как и муж, она не отдала ударам судьбы всего запаса молодой веры... Оставалось еще что-то, что она вручила любимому человеку, с доверием ожидая, когда для этого настанет новая очередь...

И действительно, у Маликова и теперь, когда, казалось, он угомонился и с таким юмором рассказывает о прошлом, что-то тлело, готовое вновь разгореться. Порой он действительно загорался. Юмористические ноты исчезали, и он отдавался бурному течению своего красноречия. Слегка курчавые, густые волосы точно вставали дыбом над его головой, глаза сверкали глубоким огнем, и речь лилась бурным потоком, пламенная, красивая и часто... малопонятная... Его можно было невольно заслушаться. Клавдия Степановна откладывала работу и неподвижно смотрела на мужа своими прекрасными глазами.

Общество, собиравшееся в уютной квартире Маликовых, было немногочисленно. У них жила, в качестве близкого друга семьи, Лариса Тимофеевна Заруднева, как и Клавдия Степановна, уроженка Архангельска. Когда-то она была домашней учительницей и, вероятно, под влиянием Берви-Флеровского прониклась освободительными идеями. Она передала эти идеи целому кружку совсем юных девушек, своих учениц, и вместе с ними уехала в Москву. Здесь — кажется, за знакомство с Мышкиным, перед которым Заруднева прямо преклонялась,— она была арестована, и ее молодежь попала тоже в тюрьму и ссылку. Ее питомицы были захвачены движением слишком рано, и для них вскоре наступило разочарование. Драма довольно частая в те времена, когда рекрутировалась слишком зеленая молодежь.

Заруднева, уже немолодая и некрасивая девушка неопределенного возраста, была человек глубокий и очень сдержанный. Мне не случалось говорить с нею об этом, но мне казалось, что и она переживает драму своих прежних и новых питомиц, из которых одна, Вера Николаевна Панютина, тоже жила в Перми под надзором и тоже служила на железной дороге. По своему настроению Панютина напоминала мне нашего вышневолоцкого Шиханёнка. Такая же неглубокая начитанность «популярного характера» и такая же вера в цитаты. Она служила в канцелярии главного управления, и на ее обязанности лежала записка в журнал уходящей и приходящей почты. Почта уходила в одиннадцать часов, а Панютина являлась на службу к двенадцати, занятая предварительным приготовлением завтрака. Это было, конечно, очень неудобно, и однажды я вместе с Маликовым завели с нею по этому поводу

внеслужебный разговор. Панютина очень огорчилась и в оправдание засыпала нас цитатами из популярной гигиены о важности хорошего приготовления пищи. В конце концов бедняга расплакалась, но изменить порядка своей жизни оказалась не в силах.

Кружок ссыльных дополнялся еще мужем и женой Сергеевыми. Он был сын уральского заводчика, окончил коммерческое училище в Петербурге и был захвачен революционным народничеством, которое и привело его в Пермь. Жена разделяла те же идеи... Своими людьми были у Маликовых еще два человека: Александр Александрович Криль и Александр Александрович Лобов. Оба служили торговыми агентами железной дороги — Лобов в Перми, Криль в Екатеринбурге. Лобов был прежде артиллерийским офицером; Криль, женатый на сестре А. Н. Анненской, вращался среди петербургской интеллигенции, был в родстве с известным тогда журналистом Ткачевым, эмигрировавшим после нечаевского дела, и в Петербурге занимался по большей части переводами. Кружок переводил преимущественно книги «с направлением», и именно с направлением материалистическим. Криль был рыхлый гигант, добродушный и несколько расплывшийся, человек даровитый, но беспорядочный дилетант во всем. Лобов, худощавый и нервный, был, наоборот, склонен к педантизму. В его комнатах лежали на столе в раз навсегда установленном порядке разные предметы, и я помню его испуганный взгляд, когда кто-нибудь в рассеянности прикасался к ним. Он был женат, но детей у Лобовых не было, и с воспоминанием о них соединяется у меня также воспоминание о Бьюти, маленькой, довольно противной собачке, которую Лобов с женой окружали чисто родительскими заботами. Однажды, придя к ним, я услышал испуганные, предостерегающие крики. Оказалось, что Бьюти только что вынута из ванны, сейчас ее заворачивают в простынки и сквозной ветер может ей повредить...

Таково было общество, собиравшееся у Маликовых. Заруднева и Панютина были, по-видимому, целиком во власти его идей. Идеи эти все еще, в общем, были близки к «богочеловечеству». К официальной церковности Маликов тогда относился отрицательно[1]. Я находился

---

[1] В своем возражении на статью А. Фаресова Н. Чайковский, близкий друг и бывший единомышленник Маликова, говорит, что

тогда в периоде спокойного позитивизма. Волохов, человек вообще необыкновенно трезвый, очень уважал в Маликове его деловитость и сдержанную силу, но когда Маликов впадал в транс, Волохов посматривал на него, как мне казалось, с искренним удивлением. Вообще присутствие мое и Волохова до известной степени расхолаживало, но вместе и подстрекало Маликова. Что касается Лобова и Криля, то они, видимо, поддавались маликовскому настроению если не вполне, то отчасти. Помню один разговор. Маликов был в своем трансе и, по обыкновению, весь горя и пламенея, говорил о могуществе чуда. Чудеса — это проявление и лучшее доказательство присутствия бога в человеке. Нет ничего, что бы устояло перед могуществом чуда. Оно побеждает даже физическую природу... Христианских мучеников жгут на кострах или железных решетках, а на их лицах — выражение блаженства.

— Да, это большое могущество духа,— сказал я.— Но победы над физической природой в прямом смысле я тут не вижу: победа духа и ограничивается духовными процессами — настроением. Тело мучеников все-таки сгорало...

Маликова в таком настроении смутить было трудно. Он бурно несся дальше. Да, тело сгорало... Но всегда ли?.. Можно себе представить еще шаг в этом направлении, еще большее напряжение веры, и огонь потеряет силу сжигать тело. Очень начитанный в Священном писании, он стал приводить примеры, где можно допустить именно такую прямую победу. Он весь пылал, как тургеневский оратор-сектант, и его настроение видимо передавалось слушателям. Мне это показалось интересным.

— Скажите,— обратился я к Лобову и Крилю.— Неужели и вы допускаете, что под влиянием чисто нервных процессов тело человека может стать несгораемым?..

Не помню точно, что ответил Лобов, но Криль, старый материалист, сказал без колебаний: «Да, допускаю»,— хотя это шло совершенно вразрез его обще-

---

учение «богочеловеков» прямо-таки противополагалось христианству и по своему этическому содержанию, и по отношению к опытному положительному знанию («Вестник Европы», 1905, № 5, в отделе хроники). Прямое противоположение христианству кажется мне выражением слишком сильным. Несомненно, однако, что «богочеловечество» было довольно далеко от официальной церковности.

му настроению до пламенных речей Маликова и, думаю, вскоре после них.

В то время Маликов состоял в переписке с Победоносцевым. Она началась еще в те годы, когда Маликов был судебным следователем в заводском районе. В Московском университете он слушал лекции Победоносцева по гражданскому праву и вспомнил о своем профессоре по поводу возмутительных приемов администрации в отношении рабочих. Победоносцев тогда был еще не тот, каким Россия знала его впоследствии. Не знаю, как отозвался он по существу дела, но на письма Маликова отвечал и судьбой его заинтересовался. Порой со стороны Маликова переписка принимала довольно шероховатые полемические формы, но Победоносцев не переставал следить за судьбой своего строптивого корреспондента и помог ему выбраться сначала из Холмогор в Архангельск, потом из Архангельска в Орел.

В первое время по прибытии в Пермь нового правителя дел Уральской железной дороги его прошлое, его замкнутый для общества образ жизни и близость с поднадзорными навлекли на него подозрения и даже обыск. Но с первых же шагов жандармы натолкнулись на письмо Победоносцева, и это их так смутило, что они извинились, объяснили обыск недоразумением и с тех пор оставили Маликова в покое, не мешая ему пристраивать на службу ссыльных.

II

ГУБЕРНАТОР ЕНАКИЕВ И ЕГО ДРУГ — НАЧАЛЬНИК ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В первые же дни по приезде в Пермь меня очень занимала мысль о проделке вятской администрации с моим побегом. Кто и зачем это сделал?

Зачем — это мне было ясно: администрация расплачивалась со мною за язвительность стиля. Исправник мстил за жалобы на него губернатору, губернатор за жалобу министру, урядник за то, что постоянно оставался в дураках перед крестьянами. Мой побег и был, вероятно, состряпан после вызова урядника и совещания в Глазове, о чем мне говорил бисеровский старшина. Впоследствии, когда тайны архивов стали

постепенно выходить на свет божий, в одном из сибирских журналов[1] были напечатаны выдержки из переписки о «государственном преступнике Короленко». Оказывается, что «во время пребывания в Глазовском уезде в декабре месяце минувшего года Короленко самовольно отлучился из назначенного ему места жительства — Починка Березовского, при вершине старицы Березовской, Бисеровской волости, и задержан был в селении Бисерове, отстоящем от названного Починка в 35 верстах».

Читатель уже знает, что это была ложь. Я действительно отлучался для покупки сапожного товара, но не в Бисерово, а в ближайшее село Афанасьевское, никем при этом задержан не был и сам вернулся в Починки. Мне было очевидно, что это — распространительное толкование высочайшего указа и прямой подлог. Кто именно виновен в этом? Теперь мне кажется вероятным, что состряпано это урядником с благословения, пожалуй, Луки Сидоровича, но тогда я был уверен, что проделка не обошлась без санкции и губернатора Тройницкого. Впрочем, и теперь я считаю это вероятным. Брат писал мне впоследствии, что некий член крестьянского присутствия Иванов жаловался губернатору на беспокойного ссыльного, который пишет крестьянам жалобы на притеснения местных сельских заправил и администраторов. Я оказывался, таким образом, «беспокойным человеком», а указ 8 августа 1878 года давал такое соблазнительное оружие для укрощения моего вредного влияния... Возможно, что губернатор посмотрел сквозь пальцы на «благонамеренный» подлог исправника.

Как бы то ни было, мое негодование искало исхода, и я решил огласить этот эпизод в газетах. Для этого я написал письмо в редакцию «Молвы», в которое вложил много язвительности и горечи по адресу «административного порядка». Начав с того, что нынешние ликования кажутся мне несколько преждевременными, пока продолжаются прежние бессудные порядки, я закончил прямым вопросом, обращенным к вятской администрации, начиная с его превосходительства господина вятского губернатора и кончая урядником: «Где, когда, откуда я совершил побег, за который чуть не

[1] «Сибирские вопросы».

попал в Якутскую область?.. А ведь это, шутка сказать,— не близко!..»

Волохов, которому я прочитал это письмо до его отсылки, только улыбнулся: «Неужели вы думаете, что такое письмо напечатает какая-нибудь русская газета?» Правду сказать, я не думал этого, но не мог приняться за другие дела, пока не излил своих чувств в этом протесте, может быть и бесплодном. Письмо отправилось.

Дней через десять, в какой-то праздник, Волохов, только что вернувшийся из общественной библиотеки, сказал мне, улыбаясь:

— Сходите в библиотеку. Там есть кое-что для вас интересное.

Я пошел и увидел над одним из столов кучку читателей, со всех сторон склонившихся головами над номером, помнится 312-м, «Молвы», в котором мое письмо было напечатано почти без сокращений.

Перед вечером того же дня ко мне пришел губернаторский служитель с запиской: губернатор просит меня прийти к нему завтра утром для получения писем, пришедших на мое имя. Я отправился. Губернатор мне сообщил, что он сделал распоряжение, чтобы мои письма доставлялись ему. Я понял. Он не решил еще, можно ли официально обходиться без контроля моей переписки, а если бы письма шли через полицию — они были бы непременно вскрыты. Передав мне (невскрытыми) письма от матери и сестры, он положил руку на лежавший на столе номер газеты и сказал серьезным тоном:

— А теперь — вот это... Скажите, господин Короленко... Вы о двух головах, что позволяете себе писать и печатать такие письма?.. Ведь это... прямое публичное обвинение вятской губернской администрации в злоупотреблении высочайшим указом и даже... в подлоге.

— Я и имел в виду обвинить вятскую администрацию в злоупотреблении высочайшим указом и в подлоге...

— Я уверен, что последует опровержение, и вы можете подвергнуться тяжелой ответственности.

— А я уверен, наоборот, что никакого опровержения не последует... Что касается ответственности, конечно, по суду, я был бы рад возбуждению этого дела...

Он покачал головой, как человек удивленный и озадаченный.

Разумеется, никакого опровержения не последовало, хотя письмо по тому времени явилось некоторым событием. Его цитировали осмелевшие газеты, и внутренний обозреватель «Русской мысли» (С. А. Приклонский) посвятил ему значительную часть очередного обозрения. Мне рассказывали впоследствии, что Абаза, игравший довольно видную роль при Лорис-Меликове, приезжал в редакцию «Отечественных записок» с просьбой — не подчеркивать «раздражающих и волнующих общество известий», каким он считал и мое письмо. «У графа самые лучшие намерения... Вы видите: уже теперь хорошо, а будет еще лучше. Дайте графу делать свое дело спокойно...» В «Отечественных записках» мое письмо воспроизведено не было.

После этого Енакиев по поводу писем, а иногда и без особенного повода, стал приглашать меня к себе, и я видел, что он чрезвычайно интересуется тем, что происходит в России.

— Что же это делается? — говорил он.— И откуда эти постоянные покушения на царя, освободившего крестьян, и на его слуг?

Волохов рассказывал мне, что, зная об его участии в литературе, Енакиев в первое время приглашал и его и задавал те же вопросы. Но Волохов был человек очень сдержанный. Он предоставлял говорить самому губернатору, отвечая на его вопросы лишь односложно.

— Ему нужно говорить, пусть говорит. А мне с ним разговаривать не о чем.

Меня, наоборот, Енакиев очень интересовал, и я не видел причины отказываться от этих разговоров, особенно после одного случая. Как я и сказал Енакиеву сразу, я не уклонялся ни от каких знакомств, и вскоре ко мне стали ходить гимназисты, семинаристы, народные учителя... У одного из таких моих знакомых, семинариста Кудрявцева, была найдена при обыске «нелегальная» библиотека. Книг прямо «преступных» тут не было, но были сочинения, изъятые из обращения по «неблагонадежности»: Писарев, «Политическая экономия» Милля с примечаниями Чернышевского, «Исторические письма» Миртова (Лаврова), печатавшиеся в «Неделе», и т. д. Архиереем был тогда какой-то сухой монах, который пришел в изуверный ужас и настаивал на самых суровых мерах. Губернатор Енакиев и его приятель, начальник жандармского управления, старались, наоборот, не раздувать дела. Енакиев лично от-

правился к архиерею, чтобы уговорить его не исключать всех семинаристов, значившихся в списке читателей преступной библиотеки. Когда кроткий монах настаивал на исключении нескольких десятков юношей, Енакиев сказал:

— В таком случае, ваше преосвященство, я вынужден написать своему высшему начальству, что вы намерены кинуть эту молодежь в объятия социализма...

— Как это? — испугался монах.

— Очень просто: вы выкидываете их, не дав окончить образования, и их тотчас же подберут другие наставники.

Это, разумеется, было, в сущности, не очень страшно. Светское правительство само только и делало, что кидало таким же образом целые кадры юношей в «объятия социализма». Но архиерей все-таки испугался, и никто из участников неблагонадежной библиотеки исключен не был, кроме, впрочем, Кудрявцева, у которого были найдены присланные кем-то из Казани прокламации. Архиерей был искренно убежден, что Кудрявцева за это повесят, а уж об оставлении его в семинарии не могло быть и речи.

Кудрявцев был высокий, худощавый и болезненный юноша. Он сразу испугался и стал давать слишком откровенные показания. Между прочим, в числе своих знакомых он назвал меня и Панютину.

— Вы от них получили прокламации? Давали они вам запрещенные книги?

Кудрявцев ответил отрицательно и перечислил сочинения, которые я рекомендовал ему прочесть.

— Так знаете что,— сказал этот феноменальный жандарм,— лучше не упоминайте этих фамилий. Они — поднадзорные, и это только напрасно усложнит дело.

Я знал от молодых людей обо всем этом деле и, конечно, ждал обыска. Но обыска не последовало, и юноши объяснили мне эту «бездеятельность местной власти». Впоследствии и Енакиев рассказал мне всю историю, и понятно, что у меня не было оснований относиться к нему с недоверием. На его недоуменный вопрос, «что это у нас происходит», я ответил совершенно откровенно. Я не террорист. Объясняю террор невыносимым правительственным гнетом, подавившим естественное стремление к самодеятельности русского общества. Знаю, что стали террористами люди, раньше

не помышлявшие о терроре, и считаю людей, гибнущих теперь на виселицах, одними из лучших русских людей. Очевидно, правительство, обратившее против себя такое отчаяние и такое самоотвержение, идет ложным и гибельным путем.

Енакиев слушал эти мои откровенные мнения с явным интересом, и в этом месте нашего разговора встал, заглянул в приемную и запер дверь. После этого всякий раз, когда я приходил к нему, он не забывал эту предосторожность. Часто он и сам при закрытых таким образом дверях сообщал мне новости и слухи из административных сфер, в которых звучала видимая заинтересованность к каким-то еще не вполне определенным грядущим реформам. Ожидания перемен носились в воздухе даже канцелярий и губернаторских кабинетов, и несомненно, что реформы встретили бы приверженцев даже в иных бюрократических сферах.

В это время я напечатал в журнале «Слово» две статьи. Одну — «Ненастоящий город», другую — «В подследственном отделении». В этом последнем очерке шла речь о тобольской тюрьме и сектанте Якове, неустанно громившем свою тюремную дверь во имя протеста «за бога, за великого государя». Оказалось, что этот Яшка-стукальщик и его дело известны Енакиеву. Яков был житель одного из крупных уральских заводов и принадлежал к секте «неплательщиков», поэтому Енакиев чрезвычайно заинтересовался этим моим очерком. Он понимает, конечно, что одни репрессии бесцельны. Было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь, наблюдательный и беспристрастный, осветил эту малоизвестную секту и ее взгляды. Он считает, что я мог бы это сделать. Скоро, вероятно, все мы получим свободу, но даже и без этого он мог бы перевести меня с моего согласия для жительства в это заводское село. Это, конечно, менее удобно, но ведь сумел же я сделать свои наблюдения над Яшкой даже в коридоре подследственного отделения. Там у меня, конечно, будет более простора.

— Вы, конечно, разумеете наблюдения с чисто литературными целями,— сказал я.

— Конечно, конечно...

— Хотя бы мне пришлось писать вещи, неприятные для местной администрации?..

— Да, да! Вы напишете то, что увидите.

Мы расстались, вполне довольные друг другом. Передо мной раскрывались новые перспективы и новое поле для интересных наблюдений.

III

МОЯ СЛУЖБА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.— СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Жизнь в Перми надолго мне не очень улыбалась. Служба на железной дороге давала заработок, но сама по себе была чрезвычайно неинтересна.

Я был письмоводителем статистического отделения службы тяги. В этом отделении регистрировалась работа личного состава этой службы, то есть главным образом машинистов, их помощников и кочегаров, а также паровозов и их частей, вплоть до осей, бандажей и подшипников. К нам поступали ежедневные рапортички машинистов, порой очень курьезные... «На такой-то версте,— писал, например, один машинист,— произошла остановка вследствие лежащего на пути мертвого тела. Сия трупа оказалась принадлежащей стрелочнику номер такой-то в пьяном виде, которая и доставлена на станцию для протрезвления». Или: «Произошла остановка вследствие попавшего между буферов тормозного кондуктора». И ничего больше. Дальнейшая судьба злополучного кондуктора в кругозор машиниста, а с ним и нашей статистики, не входила, тем более что кондуктор служил не в «тяге», а по «движению».

Мои обязанности состояли в составлении запросов, отношений, рапортов и приказов разным лицам относительно доставления тех или других сведений. Вначале мне то и дело приходилось срамиться. Случайно заглянув в только что составленную мною бумагу, один из сослуживцев сказал мне с укоризной:

— Ай, ай, ай! А еще студент, образованный человек! Как же вы не знаете, к кому и как надо обращаться. «Прошу не оставить уведомлением»... И это начальнику дороги!..

— А как же нужно?

— «Честь имею покорнейше просить не оставить уведомлением». «Прошу не оставить уведомлением» можно еще написать начальнику тяги... Да и тот недавно на нас обиделся...

Один раз мне пришлось переписать бумагу с обращением: «Г-ну Начальнику дороги»...

— Г-ну, г-ну!.. Да разве можно писать начальнику дороги: «Г-ну»?.. Надо непременно полностью: «Господину».

— Это, конечно, для дела не важно,— говорил, улыбаясь, мой непосредственный начальник Владимир Иванович Драве (бывший петербургский студент, сам сидевший когда-то в крепости во время студенческих беспорядков 1868 года),— но... все-таки вам придется ознакомиться с этими формами.

Это было нетрудно, и скоро я узнал, кому можно писать: «Прошу немедленно ответить», а кому: «Честь имею покорнейше просить не оставить ответом». Но и это не избавило меня все-таки от одной крупной служебной ошибки.

Моим непосредственным подчиненным был молодой человек по имени, скажем, Потап Иванович. Это был юноша феноменально аккуратный, но и столь же феноменально медлительный. Его несложные обязанности состояли в переписке составленных мною бумаг, в размножении на гектографе циркуляров и в ведении входящего и исходящего журналов. Почерк у него был четкий и красивый, но при этом его эстетические склонности решительно мешали необходимой быстроте работы. Не довольствуясь ровными, как крупный бисер, строчками на странице, он стал заботиться о том, чтобы и на обеих сторонах страницы строчка совпадала со строчкой. Я порой с любопытством следил, как он, сидя почти рядом со мной за дверью соседней комнаты, подымал вертикально страницу журнала, стараясь обозреть обе ее стороны, одну левым, другую правым глазом. Признаюсь, я питал к Потапу Ивановичу некоторую слабость за его простодушие и своего рода «типичность». Мне казались до такой степени любопытными и его приемы, и его разговоры, что я стал ходить с ним в одну кухмистерскую, и через некоторое время наши отношения превратились в товарищеские — благодушно-юмористические с моей стороны, фамильярные со стороны Потапа Ивановича. А это уже было заметным нарушением приличного «служебного тона», привлекавшим внимание служебной среды.

На этой почве и возникло обстоятельство, чуть не вызвавшее служебную катастрофу. Эстетическая

медлительность Потапа Ивановича, соединенная, правду сказать, с изрядной ленью, привела к тому, что он решительно не справлялся с делом. Я, наоборот, с письменной работой справлялся быстро, и у меня оставалось много времени. Само собой вышло както, что я сначала снял с Потапа Ивановича переписку начисто составленных мною бумаг, потом стал сам писать их гектографическими чернилами, размножать их и, наконец, часто стал даже записывать в «исходящий» журнал, требовавший порой особенной спешности. Не знаю, сам ли Владимир Иванович заметил, что ему приходится подписывать бумаги, написанные сплошь моей рукой, или кто-нибудь обратил его внимание на это явление, безнравственное с служебной точки зрения, только один раз наш начальник, заглянув в «исходящий», а затем обозрев гектографические циркуляры, резко объявил Потапу Ивановичу, что он более в статистическом отделении не служит. Я понимал, конечно, что в этом крушении бедняги значительная доля вины падает на меня, и мне удалось, не без некоторого труда, смягчить Драве. Потап Иванович остался на службе, но уже с «замечанием» и «предупреждением».

В тот же день, отправляясь в кухмистерскую, я заметил, что Потап Иванович на меня дуется, даже, можно сказать, прямо разъярен... На мой шутливый вопрос о причинах этого гнева он ответил тоном, в котором злоба была смешана с чем-то вроде презрения:

— А вы будто не знаете: ведь я чуть не лишился места и попал на дурной счет. А через кого?.. Все через вас!..

— Потап Иванович,— попробовал я возразить,— припомните. Ведь я говорил вам, что надо работать быстрее и меньше любоваться своим почерком.

— Говорил, говорил!.. Разве так говорят начальники... Прикрикнули бы, выругали бы построже, я бы давно подтянулся... А то поди ты!.. Я и не заметил, как вы всю работу стали делать за меня...

Я более не возражал, и через некоторое время Потап Иванович смягчился.

— И ведь вот удивительное дело,— сказал он доверчиво.— Отчего я такой на службе?.. А до баб, представьте, проворен!..

И он рассказал, что еще на днях один машинист, вернувшись домой в неурочное время, застал его у своей

жены, и жизни его грозила сильная опасность, которой он избег, выказав чудеса ловкости и проворства...

— На это вот проворства хватило...— заключил он с раздумием...

Мне приходится еще отметить появление на пермском горизонте одного старого знакомого. Как-то по дороге со службы я обратил внимание на встречного господина, который прошел мимо меня, оставив за собой резкую струю водочного запаха. В его фигуре мелькнуло что-то знакомое, и я оглянулся.

— Кажется, прапорщик Верещагин!..

Он тоже оглянулся, и через несколько секунд я очутился в его объятиях.

— А я вас разыскиваю... Устал как черт и, признаться, сейчас с устатку немного выпил и закусил... Ну как живете? Слышал, что вас вернули. Меня, как видите, тоже... Надо здесь устраиваться, найти работу. И прежде всего — квартиру.

— Отлично,— сказал я.— У меня есть на примете квартира, в которой я жил сам... Может быть, найдется и служба.

Я с сомнением взглянул на прапорщика. Лицо у него было отекшее, точно с перепою. Очевидно, выпивкой «с устатку» дело не ограничивалось. Как бы ни было, я привел вышневолоцкого товарища к себе, а затем свел к своему бывшему хозяину в слободке... Я сказал Верещагину, что сведу его к Маликову, но... с этим придется подождать, пока минует его «дорожная усталость». Оба мы, конечно, понимали, о чем идет речь. От совместного пребывания в В. п. т. у меня осталось от прапорщика довольно благодушное воспоминание. Теперь я видел, что он пережил период запоя, но думал, что это временное и что он подтянется. Ведь жил он в В. п. т. столько времени и, по-видимому, даже не вспоминал о водке.

Но ни на следующий, ни на второй, ни на третий день прапорщик не являлся, а затем пришел хозяин с просьбой — избавить его от моего товарища.

— Совсем не тот коленкор,— говорил он с искренним возмущением.— Я считал его приличным господином, вроде вас или господина Волохова... А он оказался дебошир, скандалист, пьяница... С тех пор как вы привели его, мы не знаем покоя. Целые ночи проводит

в скверном доме, а до свету приходит, будит всех, скандалит... У меня жена и дочь... Избавьте, пожалуйста...

Я тотчас же отправился с ним. Прапорщик, очевидно с сильного похмелья, еще спал. Пришлось разбудить. Физиономия у него еще более обрюзгла, глаза были мутны. И с первых же слов я убедился, что отношения прапорщика с хозяином стали совсем невозможны. Как только прапорщик проснулся, они сразу стали ругаться.

— Вот этак все дни,— сказал хозяин.— Пришел в пять часов, лыка не вяжет, а кричит, скандалит — на это его хватает...

— Молчи, мерзавец, экс... плуата-тор...— ответил Верещагин с натиском и, взглянув на иконы, продолжал: — Навешал идолов и считает себя святым... Скажите ему хоть вы, что все это идолы... Мне он не верит...

— Конечно, тебе не нравится. В церковь тебя калачом не заманишь, тебе лучше в публичном доме... Недаром ты и книжку туда снес... Спросите у него, куда он снес вашу книжку?

Уходя от меня, Верещагин попросил у меня книжку «Слова» и теперь, по словам хозяина, просвещал обитательниц веселого дома моей статьей.

— Молчи, р-р-р-акалья... Ты думаешь, я для пакостного удовольствия хожу туда! Может, я души извлекаю из хаоса...

— Извлекаешь, как же! У меня есть дочь, жена... Ты бы им почитал честно, благородно... Нет, тебя туда тянет... Ну ты не очень,— сказал он, опасливо косясь на воинственные приготовления прапорщика,— а то ведь я и полицию позову!..

— Ну вот что, прапорщик,— вмешался я.— Мне приходится извиниться за вас перед хозяевами. Берите свои вещи. Вы сейчас переедете ко мне.

Я его привел к себе и сказал:

— Вы понимаете, что никакого места я вам доставить не могу, пока вы не докажете, что это на вас напал временный запой и что вы способны вести себя, как подобает порядочному человеку. На это нужно время. Поживите у меня, но предупреждаю: если вы станете стучать ночью, то вам не отопрут, и вам придется ночевать где угодно.

Прапорщик обещал, даже прослезился, но дело оказалось безнадежно. Порой он совсем не являлся на ночь, порой приходил пьяный. Я укладывал его на

диван, и он спал целые дни без просыпу, очевидно пропивая остатки денег, которыми товарищи ссыльные снабдили его на дорогу. Ко мне приходили порой молодые люди и девушки. Мы читали что-нибудь или разговаривали. С прапорщиком мы условились, что в таких случаях он должен терпеливо лежать за перегородкой и я буду говорить, что он болен. Но однажды он не выдержал и внезапно появился из-за перегородки, полупьяный, с опухшим лицом и хриплым голосом. Выйдя на середину комнаты, он принял какую-то странно эффектную позу и счел нужным поделиться с незнакомым обществом неожиданными сведениями: в Сибири между Туринском и таким-то селом есть лес. В лесу — буерак... В этом буераке — сборное место всех бродяг Сибири...

— Ну так что же?..— спросил я, не зная, куда клонит прапорщика нетрезвая мысль...

— Хочу шайку совокупить,— неожиданно закончил прапорщик, застенчиво улыбаясь, как человек, обнаруживший затаенную честолюбивую мечту...

Я подумал, что это пьяный бред, и, смеясь, препроводил его за перегородку... По общему совету мы с Волоховым решили расспросить прапорщика о месте пребывания его родных, собрали несколько денег и — отправили его на родину, где у него была, кажется, замужняя сестра. Через некоторое время, однако, он опять появился в Перми, но не с запада, а с востока, где, по-видимому, пытался осуществить свою мысль о «совокуплении шайки». Что его постигло в этом предприятии — об этом он не распространялся. Мы еще раз собрали денег, но на этот раз не дали их ему на руки, а купили пароходный билет, усадили прапорщика и поручили его попечениям одного знакомого, ехавшего в Казань. До отхода парохода прапорщик успел все-таки изрядно клюкнуть и галантно посылал нам воздушные поцелуи с рубки, пока пароход не отчалил. С тех пор я ничего больше о нашем веселом вышневолоцком товарище не знаю... Очевидно, он годился лишь для сидения в тюрьме, в хорошей компании... При этом только условии он походил на недурного человека...

IV
ТРАГЕДИЯ 1 МАРТА 1881 ГОДА. ОТКАЗ ОТ ПРИСЯГИ

Разразилась потрясающая трагедия русского строя...

Не помню, на второй ли или на третий день пришла в Пермь весть о цареубийстве 1 марта. Утром в этот день я шел, помнится, к Маликовым, чтобы от них пойти на службу, когда на перекрестке двух улиц услышал разговор. Какой-то крестьянин или рабочий из Мотовилихи (пригородный завод), говорил извозчику:

— Чудак! Как же ты говоришь — не твое дело... А кто дал волю?..

Извозчик махнул рукой.

— А по мне, хоть белая береза не расти... Мне все одно...

Придя к Маликову, я понял значение этого разговора... В Петербурге убили Александра II. Самодержавие выродилось в режим исключительно полицейский, все творческие функции великой страны были обращены на одну охрану, но и этого одного выполнить не сумели.

Через некоторое время пришли петербургские газеты... Конечно, скоро цензура наложила запрет на газетные известия, помимо официальных, но одна газета (помнится, «Голос») успела напечатать бесцензурное репортерское сообщение. Надо сказать, что изложение было далеко не точно, даже фантастично. Но тон этой фантазии был характерно мрачный и устрашающий. «Мещанин Рысаков», юноша, как известно, далеко не героического склада, малодушно выдававший товарищей, в этом сообщении принял вид мрачного героя. После первого взрыва, когда Александр II вышел из кареты и перекрестился, сказав: «Слава богу»,— Рысаков будто бы возразил:

— Ну, еще слава ли богу!

Вообще все происшествие изображалось в тонах неизбежности и испуга перед мрачной, неумолимой и роковой силой...

Маликов, согласно своим взглядам, отнесся к событию отрицательно. На меня оно произвело впечатление тягостного раздумья: огромный, чреватый последствиями удар, брошенный с какой-то неизбежною роковой слепотою. И прежде всего — жертвы с обеих сторон.

Я еще помнил — хотя это было в детстве — радостное оживление первых годов после освобождения крестьян, вызванное им в лучших элементах общества. Оно продолжалось в 60-х и отчасти в начале 70-х годов. Но скоро оказалось, что Александр II был гораздо ниже начатого им дела и слишком скоро изменил ему. От молодого царя, произносившего освободительные речи, к концу семидесятых годов остался жалкий, раскаивающийся и испуганный реакционер, говоривший с высоты престола: «Домовладельцы, смотрите за своими дворниками».

Близко видеть его мне пришлось только один раз, совершенно случайно, но этот случай произвел на меня незабываемое впечатление. Это было вскоре после русско-турецкой войны. Я шел с Верой Зосимовной Поповой, с которой мы вместе работали в «Новостях», по Загородному проспекту на Гороховую, где была типография этой газеты. Мы оживленно разговаривали и не заметили, что на улицах от Царскосельского вокзала были близко расставлены полицейские, которые делали нам знаки. Мы их тоже заметили не сразу и дошли до середины перекрестка, когда услышали быстрый грохот и увидели открытую царскую коляску, сворачивающую с Царскосельского на Гороховую от вокзала... В одном из седоков я легко узнал царя, но мы остановились уже тогда, когда коляска свернула совсем близко, так, что промчалась, чуть не задев нас. Я был в высоких сапогах, блузе и широкополой шляпе. Моя спутница подстригала волосы. Обе наши фигуры могли показаться типичными, и, конечно, полиция сделала промах, не остановив нас на тротуаре. Теперь нам пришлось несколько отстраниться, и я с любопытством посмотрел на царя, сняв, конечно, шляпу для поклона. Царь сделал под козырек, повернув лицо, когда коляска пронесла его мимо. Меня поразило лицо этого несчастного человека, каким его описал Гаршин в «Записках рядового Иванова». В нем не было уже ничего, напоминавшего величавые портреты. Оно было отекшее, изборожденное морщинами, нездоровое и... несчастное. И когда он повернул голову, чтобы особо поклониться курсистке и студенту, мне показалось в этом что-то нарочитое. Говорили, что он отзывался очень тепло о деятельности курсисток и студентов-санитаров на театре военных действий...

Многое и тогда, и впоследствии глубоко меня возмущало в поведении этого царя в трудные годы борьбы. Говорили, что в нем была фамильная жестокость Романовых. Ни разу не промелькнуло с его стороны желание смягчить суровость казней и репрессий по отношению к своим противникам. Наоборот, он лично увеличил наказания по «большому процессу», где люди и без того понесли слишком суровые кары, допустил несправедливую казнь Лизогуба, беззаконное заключение Чернышевского в Вилюйске... И все-таки из-за этих действий царя, попавшего в руки неумных и злобных сатрапов, в моей памяти вставало жалкое лицо несчастного старика... Так начать и так кончить!..

Большинство нашего пермского кружка разделяло мою рефлексию и не видело причины для особенной радости. Но были и другие чувства. Жена одного ссыльного, человек вообще недурной, выражала злобную радость при мысли об окровавленных ногах царя и об его беспомощной просьбе: «Везите во дворец... Там — умереть».

В то время у меня жил рабочий Башкиров, тоже возвращавшийся на родину по распоряжению лорисмеликовской комиссии. Когда, придя со службы, я сообщил ему новость о цареубийстве, этот дюжий и простодушный человек сразу поднялся на ноги и, инстинктивно повернувшись к иконе, осенил себя широким радостным крестом. Я вспомнил озлобленных ходоков в Починках, вспомнил предсказание Санникова и, наверное, радость этого богобоязненного коренного крестьянина, когда мрачное предсказание сбылось,— вспомнил равнодушие одних, проснувшуюся вражду других... Было ли бы все это, если бы самодержавие, тогда еще очень сильное, продолжало идти путем дальнейших реформ? Скоро стало известно, что Александр II убит в самый день подписания указа о созыве уполномоченных — первого шага к конституции... И, может, думали многие, если бы это было сделано смелее, если бы не боялись открыто выступить против ненавистной реакции, это удержало бы руку террора...

Это была ошибка — трагедия была глубже и не так легко излечима. Террор созревал в долгие годы бесправия. Наиболее чуткие части русского общества слишком долго дышали воздухом подполья и тюрем, питаясь оторванными от жизни мечтами и ненавистью. Конституция представлялась только обманом народа.

Среди русской эмиграции был только один орган, отстаивавший необходимость конституции для России. Драгоманов уже тогда, приглядевшись к очень несовершенной австрийской конституции, понял ее значение для политического развития даже славянских народов, которых австрийский режим держал в тени и загоне... Другие русские революционные партии не признавали конституции и шли своими путями, без связи с народом. А такие партии начинают всегда жить своей самостоятельной жизнью, обращаясь в своего рода самодовлеющие политические организмы. Такой самодовлеющей организацией стал и террор. Во мраке подполья он созрел, сосредоточил страшную силу самоотвержения и ненависти и сознавал эту силу в единственном направлении, для которого был пригоден. Усилия и жертвы, принесенные для такого страшного творчества, не легко теряются даром. И террор достиг той наибольшей цели, для которой назначался. Это был акт своего рода революционной инерции, вызванной глубоким недоверием ко всем реформам сверху... И когда он достиг этой непосредственной цели, когда от его руки пал не Мезенцев, не какой-нибудь прокурор или градоначальник, а царь, глава существующего порядка,—перед людьми, отдававшими жизнь для достигнутого успеха, встал вопрос: что же дальше? И тогда оказалось, что в первой же прокламации террористы потребовали введения... конституционной свободы.

Извиняюсь перед читателями за это отступление от чисто повествовательной формы мемуаров. Не могу сказать, чтобы все это я так понимал тогда же и мог бы так изложить в то время, но общее мое представление было именно таково. Когда вскоре после этого судьба опять увлекала меня на далекий север, среди пустынных и холодных берегов Лены в моем воображении стояли два образа и зарисовывались черты поэмы в прозе. Александр II, молодой, одушевленный освободительными планами, и Желябов, его убийца, смотрят с далекой высоты на свою холодную родину и беседуют о далекой трагедии, обратившей их лучшие стремления друг против друга... Когда-то одна правда, хоть в разное время, светила им обоим, но она затерялась во мгле и туманах... И две тени говорят о том, как разыскать ее... Это было очень наивно, и поэма кончалась примечанием какого-то революционера, которому поэма автора, умершего в далекой ссылке, попадает в руки:

«Господи боже, какой дикий бред!.. А ведь когда-то наш товарищ был с очень трезвым умом». Теперь я разыскал в старой записной книжке неясные каракули, записанные урывками на станциях коченеющей рукой, и мне они показались своего рода человеческим документом того времени. Может быть, такие мысли приходили в голову и не мне одному...

Через несколько дней на службе нам сообщили, что в железнодорожной церкви будет панихида о старом и молебствие о новом царе... После службы священник прочел манифест и затем текст присяги... При этом мне невольно пришло в голову: вот мы присутствовали при присяге новому царю. А мог ли бы я по совести дать такое обещание?.. Помню, что я поделился этой мыслью с Волоховым. При его трезвом образе мыслей он немного удивился. Простая формальность, которой никто не придает серьезного значения. Я был рад, что никто и передо мной не ставит этого вопроса не как простую формальность...

Но... приблизительно через неделю, когда я шел по главной улице, навстречу мне попался мрачный полицеймейстер. Заметив меня, он сделал мне знак, сошел с пролетки и подошел ко мне.

— По этому листу,— сказал он, подавая мне сложенный лист бумаги,— вы должны принять присягу на верноподданство новому государю и вернуть его мне с удостоверением вашего приходского священника.

— По чьему распоряжению вы этого от меня требуете?

— По распоряжению губернатора.

Разговор происходил недалеко от губернаторского дома, и я отправился к нему. Он вышел ко мне тотчас же.

Лицо его было печально. По-видимому, он был глубоко огорчен кончиной царя.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я сейчас получил от полицеймейстера вот этот лист, и он сказал, что дал его мне по вашему распоряжению.

— Да... Ну так что же?

— Скажите, ваше превосходительство... Вы от всех граждан требуете таких сепаратных присяг?

— Нет, конечно. На это не хватит времени...

— Значит, это требование относится ко мне, как к ссыльному?..

Лицо его стало холодно и серьезно...

— Позвольте... Нам нужно знать, считаете ли вы себя верноподданным нового государя или нет.

— И это именно потому, что я потерпел бессудное насилие, что моя семья без всяких причин рассеяна по дальним местам, что я видел слишком много такого же насилия над другими. Именно поэтому вы сочли нужным вызвать меня из ряду и предложить мне лично этот вопрос. Ну я и отвечаю: присяги я не приму...

Он опять задумался с тем выражением, какое я у него уже знал, и через некоторое время сказал:

— Да, вы, пожалуй, правы. Это ошибка. Пока еще это только мое распоряжение, но я почти уверен, что через некоторое время последует такая же общая мера... Подумайте хорошенько... Зачем вам портить свою молодую жизнь?.. А пока дайте мне этот лист... Полицеймейстеру, если спросит, скажите, что лист передали мне.

Затем мы начали опять разговаривать о разных предметах. Между прочим я спросил:

— Еще недавно вы говорили, что ждете близких перемен к лучшему, и ожидали скорого возвращения нам свободы... Можете ли повторить это и теперь?

Он нахмурился и ответил:

— Я, конечно, не могу сказать наверное, какой оборот примут дела... Но по совести скажу вам: теперь ничего хорошего не жду...

Когда после этого я пришел к Маликовым, то оказа- что и другие ссыльные мужчины получили такие же листы.

Клавдия Степановна остановила на мне свои боль- ие глаза, но не сказала ничего ни за, ни против моего решения. Только с этих пор часто ее взгляд останавливался на мне с тревожным вниманием.

С детства я был склонен к рефлексии, мешающей цельности поступков. По первому побуждению я очень твердо и без всяких колебаний сказал Енакиеву, что присягу не приму. Но теперь порой что-то щемило у меня на душе. Что будет? Как поступят с теми, кто отказывается от присяги? И стоит ли это делать? Какой новый удар придется еще нанести матери и сестрам? Не будет ли это донкихотством, смешным и бесцельным? Я ходил по-прежнему на службу, по-прежнему вечера проводил у Маликовых, ничего нового не происходило,

но на душе залегла где-то туча. Наконец уже, помнится, в мае или начале июня Енакиев опять пригласил меня к себе и сказал:

— То, что я предвидел, случилось, и теперь присягу предлагают как общую меру. Постойте! Я прошу вас пока не принимать окончательного решения. Вот вам присяжный лист. С ним вы придете ко мне завтра. А пока...

Мы сидели с ним друг против друга за столом. Он посмотрел на меня и сказал растроганным голосом:

— Пусть это будет не разговор губернатора с поднадзорным. Я мог бы быть вашим отцом. Послушайтесь моего совета: не делайте этого... Я говорил уже с прокурором — на всякий случай... Он говорит, что свод законов не предвидит такого преступления и... кто знает, что придумают в административном порядке... Послушайтесь меня... Ну... так — до завтра!

Я взял лист и ушел. Душевная туча надвинулась близко. Я сказал себе все, что мог сказать против отказа. Кому, в самом деле, это нужно? О широком «неприсяжном» движении ничего пока не слышно... А два-три случая... Действительно, донкихотство... Не лучше ли поступить так, как поступили другие... Как просто смотрит на это, например, Волохов...

Но... поступить с такой цельностью, как Волохов, я не мог. Что-то возмущалось во мне независимо от всяких практических соображений... Моим приходским священником был человек, несколько известный в духовной литературе. О нем много говорили в Перми, и говорили разно. Теперь его назвали бы черносотенцем. Тогда называли ханжой и лицемером. Я не мог представить себе той минуты, когда я перед ним стану повторять слова присяги... И он, пожалуй, примется читать мне своим лицемерным голосом трогательные наставления. У Маликовых я просидел вечер, скучный и печальный... Дома я старался представить себе, как поступил бы в моем положении В. Н. Григорьев. Я привык давно мысленно обращаться к нему и поступал так, как, мне казалось, поступил бы он. Но на этот раз и образ друга не давал ответа.

Потом мне пришел в голову вопрос: почему я колебался при первом разговоре с Енакиевым? Тогда я заявил отказ без колебаний и был спокоен... Очевидно, это первое побуждение было мое... То, над чем я теперь думаю и колеблюсь,— не мое, чужое... «Рука не поды-

мается»,— мелькнуло воспоминание. И пусть не подымается — очевидно, так лучше. С этой мыслью я крепко заснул, а наутро наскоро написал на листе бумаги: «Поднадзорного такого-то заявление», в котором сказал, что не искал этого случая для вызова и демонстрации, но если у меня считают нужным спросить мое личное мнение, то я намерен ответить по совести. Я испытал лично и видел столько неправды от существующего строя, что дать обещание в верности самодержавию не могу... Не заботясь особенно о стиле, приведя разительные примеры беззакония и неправды и поставив в конце спешную кляксу, я наскоро подписал заявление и спокойно отнес его к Енакиеву.

Он с грустью принял бумагу, прочитал ее, попытался еще раз вернуть мне лист и затем, видя, что я настаиваю, сказал серьезно-официальным тоном:

— Итак, вы желаете, чтобы я дал ход вашему заявлению. Хорошо. Я должен бы тотчас же арестовать вас и отправить в тюрьму. Но мне этого не хочется. Поэтому, если вы продолжите действие данного вами слова, я оставлю вас на свободе впредь до распоряжения свыше.

Я дал слово, и мы расстались. Енакиева я тогда видел в последний раз.

Было еще рано, и я перед службой зашел к Маликовым.

— Вы получили какое-то хорошее известие? — спросила Клавдия Степановна. Когда я сказал, что сейчас отдал Енакиеву свое заявление, она посмотрела на меня тревожно и вместе ласково и сказала неожиданно:

— Мне кажется, что если бы вы поступили иначе и приняли присягу, то... стали бы в конце концов террористом...

Не знаю, стал ли бы я террористом. Для этого у меня была слишком рефлектирующая и созерцательная натура... Но — сколько людей, которым террор был совсем несвойствен, было захвачено этим вихрем и шло против собственной природы... Впоследствии мне часто приходилось встречать людей, которые смеялись над донкихотством «неприсяжников». Порой и я сам смеялся над собой, когда оказалось вдобавок, что правительство и с своей стороны не обратило на ничтожное количественно движение никакого внимания и не увеличило нам даже срока ссылки... Но, оглядываясь на этот

эпизод моего прошлого, я должен сказать, что тогда я поступил именно так, как этого требовала моя совесть, то есть моя природа, и спокойствие, наступившее для меня тотчас после принятого решения, доказывало ясно, что в этом отношении я был прав.

V

СМЕРТЬ МАЛИКОВОЙ.— ДРАМА В. П. РОГАЧЕВОЙ

После этого жизнь для меня пошла опять старой колеей. Должен отдать справедливость пермской администрации, что меня не только не арестовали, но я не заметил даже признаков особого надзора за собой... Из этого периода мне приходится отметить лишь печальное событие, происшедшее в семье Маликовых.

Клавдия Степановна была беременна. Приближались роды. Маликовы перебрались на лето в маленький загородный, чисто деревенский поселок, расположенный близ Перми, так что сам Маликов мог оттуда ходить на службу. Семья жила в скромной деревенской улице, широкой перспективой уходившей в поля.

Предстоящие роды не внушали никому опасений. Клавдия Степановна, отпрыск здоровой северной семьи, обладала особенным женским свойством: она удивительно хорошела во время беременности и к концу этого периода выглядела удивительно здоровой, как говорится — кровь с молоком. Роды ей давались легко.

Так все это шло и в этот раз. Только однажды, придя к ним на дачу, я застал ее несколько встревоженной: ей приснился сон, будто она родила девочку и находится при смерти... В семье Маликовых присутствовала мистическая струйка и вера в сны и предсказания. Я посмеялся над этим предчувствием. И действительно, через несколько дней она родила не девочку, а мальчика, и роды опять прошли на диво легко. Клавдия Степановна лежала в постели с здоровым румянцем и живыми, сияющими глазами... Я застал у них соседку по даче, женщину-врача земской больницы, по фамилии Скворцова.

Это был, по отзыву Маликовых, очень хороший человек, но на меня она производила странное впечатление: еще молодая, но преждевременно увядшая, с лицом в мелких морщинах и утомленным, почти потух-

шим взглядом, она производила впечатление человека, который взвалил на себя непосильное бремя и идет под ним шатающейся и неверной походкой.

Когда я, весело болтая, напомнил Маликовой об ее предчувствиях, из которых одно уже не оправдалось, да и другое, судя по ее далеко не изнуренному виду, очевидно, не оправдается, Маликова улыбнулась.

— Ах, в самом деле, Клавдия Степановна,— заговорила Скворцова,— это просто удивительно, какой у вас вид! Просто феноменально. Позвольте, милочка, я посмотрю вас...

Нас выслали, и женщина-врач приступила к осмотру.

Через несколько дней я застал в семье Маликовых беспокойство. У Клавдии Степановны был жар и на руках появились какие-то пятна. За Скворцовой посылали, но она еще не вернулась из больницы... Мы с Маликовым пошли к ней во второй раз.

Помню, был чудный летний вечер. Полная луна стояла почти в зените, заливая деревенскую улицу сверкающим серебристым сиянием и сильно сгущая тени. Прислуга Скворцовой, сидевшая с соседками на завалинке, сказала, что барыня вернулась, но очень устала и тотчас же легла спать. В окнах света не было.

— А говорили вы, что приходили от Маликовых?

— Говорила...

Это нам показалось странным. Маликов подошел к избе и постучал в окно. За стеклом мелькнуло лицо Скворцовой, перекошенное, бледное и точно испуганное.

— Не могу, не могу...— замахала она руками.— У меня в больнице вторую неделю умирает женщина, разлагающаяся от родильной горячки...

И ее страдающее лицо утонуло в сумраке...

Маликова отшатнуло от окна. Я поддержал его, чтобы он не упал, и так мы вышли на середину улицы. Тут он резко повернулся... Он был бледен, как стена, глаза горели ужасом.

— Она сказала: вторую неделю... Слушайте, ведь это смерть,— сказал он, до боли сжимая мне руку...

Это действительно была смерть, которую Скворцова занесла роженице из праздного любопытства... Позвали другого врача. Сомнений не оставалось. Признак за признаком появлялись в определенные сроки, и в такой же определенный срок Клавдия Степановна умерла.

Маликов, казалось, был раздавлен, как человек, на голову которого внезапно свалилась каменная глыба. Я не мог равнодушно думать о Скворцовой... Зачем ей понадобился этот ненужный осмотр? И как она могла забыть, что у нее в больнице как раз теперь такой случай и что она может занести смерть? «Хороший человек!» Пусть — хороший... Но, очевидно, взявшийся за дело не по силам. Это была первая женщина-врач, которую я видел на деле, и потом мне долго не приходилось встречать другую... Передо мной неотступно стоял образ прекрасной женщины, загубленной так напрасно. Такие впечатления тяжелым камнем падают в душу, и потом трудно их вытравить. После этого случая я долго считал себя противником медицинской профессии для женщин, и только уже через несколько лет в Казани, у Н. Ф. Анненского, я встретил другую женщину-врача, которая вытравила во мне этот предрассудок. Это было совсем не воздушное существо. Наоборот — очень полная и сильная, совсем не изнуренная, мать значительного семейства... И когда мне рассказали вдобавок, что, пользуясь большой популярностью среди простых татарок, она в то же время отлично умеет устраивать свои дела среди казанских помещиков, которые знают, что за ней нужно посыл удобный экипаж и «прилично вознаграждать» ее труд,— только тогда я почувствовал, что мой предрассудок испаряется: фигура казанской представительницы медицины вытеснила образ истомленной Скворцовой.

До сих пор я храню память Маликовой как одно из самых светлых воспоминаний из времен моих ссыльных и поднадзорных скитаний.

Как-то в один из дней ранней осени (или еще лета) мы узнали, что по Каме снизу прибыла баржа с политической партией. Поезд на Екатеринбург уходил в восемь часов вечера. К этому времени от пристани по горе к самому дебаркадеру выстроили двойной цепью вооруженный конвой, и скоро снизу, звеня кандалами, поднялась многочисленная партия... Тут были по большей части эпигоны русской революции, просидевшие по многу лет в ужасном режиме крепости и централок и теперь ссылаемые на Кару: Джабадари, Цицианов, Сажин-Росс, Рогачев, Мышкин, Зданович, Дмоховский,

Гамов, две сестры Фигнер и другие. Я вперед знал о прибытии этой партии, так как состоял в переписке с Верой Павловной Рогачевой, с которой возвращался из Томска и которая теперь следовала за мужем. Когда партия проходила по площади перед вокзалом меж рядами солдат, я стоял в публике и скоро заметил Веру Павловну. Она шла с ребенком на руках и имела очень печальный вид.

— Вера Павловна,— окликнул я ее почти невольно.

Она вскинула глаза, увидела меня и так обрадовалась, что сразу порывисто рванулась, прорвала цепь конвойных и жандармов и совершенно неожиданно для них через несколько мгновений очутилась рядом со мною. Нас, конечно, тотчас же разлучили, и меня увели в дежурную комнату для составления протокола. Когда эта процедура кончилась, я еще успел выйти на дебаркадер и увидел Веру Павловну уже в вагоне перед самым отходом поезда... Вид у нее был очень грустный, и в том, как порывисто она кинулась ко мне, я видел, что у нее какое-то горе.

Я догадывался о его причинах.

В свое время Вера Павловна Рогачева пользовалась в радикальных кругах большой известностью. Это была красивая молодая женщина, несколько цыганского типа, с черными страстными глазами. Все в ней указывало на бурный темперамент. Рогачев, молодой артиллерийский офицер, тоже красивый атлет, был захвачен революционным народничеством. Они были единомышленники, сильно любили друг друга и составляли прекрасную пару, которой можно было залюбоваться. В «Московских ведомостях» автор каких-то разоблачений, вероятно из шпионских источников, упоминал, что ранее выстрела Засулич «Верочка Рогачева» приезжала в Петербург, чтобы убить Трепова. Я не знаю, сколько тут правды, но считаю это вероятным. Рогачев во время «большого процесса» вел себя очень резко, в числе других «главарей» был приговорен в каторгу и назначен в одну из централок Харьковской губернии. Туда Вера Павловна не могла последовать за мужем. Жизнь в это время могла потерять для нее цену, и она готова была отдать голову за любое революционное дело. Тогда эта жертва не была принята партией по каким-то соображениям, а затем Вера Павловна сама была арестована и попала в ссылку в один из отдаленных уездов Казанской губернии. Здесь она встретилась

с человеком, которого, казалось, полюбила... Я уверен, что Рогачев не желал связывать свободу молодой женщины... Он стоял почти за гробом. На лорис-меликовщину никто тогда не рассчитывал. Строй был крепок, а с ним вместе крепки были и каторжные тюрьмы. Из каменного мешка Рогачев мог выйти только стариком... В ссылке у Веры Павловны родился ребенок, тот самый, которого она кормила вместе с ребенком Вноровских, когда мы возвращались из Томска. Еще до этого она разочаровалась в отце этого ребенка и разошлась с ним. Затем, уже по возвращении в европейскую Россию, узнала, что центральные тюрьмы раскрываются и ее муж, которого она, наверное, не переставала любить, переводится на Кару. Там для него в близком будущем наступит срок «вольных поселений», то есть возможность семейной жизни. Она написала ему письмо с предложением последовать за ним. Он радостно согласился.

Письма шли через руки начальства. Предстояло раскрывать перед чужими людьми, да еще врагами, исповедь своего сердца, или... отложить эту исповедь до личного свидания... И то и другое было плохо, последнее едва ли не хуже. Правда, прежде, при их молодых взглядах, оба они признавали «свободу чувства», и обстоятельства были исключительные... По теории, она могла считать себя в своем праве... Вера Павловна ни о чем не написала мужу и получила разрешение пристать к партии на одной из пристаней Камы, ближайшей к месту ее ссылки.

И вот Рогачев жадно смотрит на пристань. От нее отделяется лодка. В лодке — жандармы и женщина с ребенком на руках. Мне передавали впоследствии те, кто присутствовал при этой встрече, что Рогачев не мог скрыть неприятного чувства. Ах, так легко высказывать «рациональные взгляды», пока любовь не подвергается испытаниям, и так трудно сдержать чувства, может быть «нерациональные», но вечно живые и вечно болящие. Встреча оказалась нерадостной.

И вот почему в Перми бедная женщина кинулась ко мне с таким страстным порывом... Ей, очевидно, нужно было чье-нибудь дружеское сочувствие.

Поезд привлек общее внимание, и целая толпа собралась, чтобы посмотреть на эпигонов русской революции, вышедших из каменных гробов... К вечеру около восьми часов поезд тронулся и скоро исчез в направле-

нии к Уральским горам, оставив по себе много толков в публике, а во мне воспоминание о печальной фигуре Веры Павловны и ее грустных глазах...

VI
СВИДАНИЕ С ЮРИЕМ БОГДАНОВИЧЕМ.— ОПЯТЬ В ПУТИ

Не помню точно — после прохода этой партии или еще до этого,— Башкиров сообщил мне как-то под вечер, что меня ожидает «один человек» за оврагом, расположенным против дома, где я тогда жил. Незадолго перед этим мне принесли такое же сообщение. Тогда «один человек» ожидал меня в так называемом «Козьем загоне», садике, недавно разбитом по береговому откосу над Камой. Меня предупредили, что человек этот принимает крайние предосторожности и я тоже должен быть осторожен. В левой руке у меня должен быть носовой платок, по которому он меня узнает. Отправившись в «Козий загон», я увидел в нем только одного студента, уже не юношу, сидевшего на скамейке. Я прошел мимо него с платком в левой руке; он только пристально посмотрел на меня и оглянулся по сторонам, но подойти как будто не решился. Тогда я подошел к нему, назвал себя и спросил, не меня ли он ожидает.

Он ожидал именно меня, но сказал, что ему внушено при передаче мне письма соблюдать крайнюю предосторожность. Я вскрыл письмо. Оно оказалось от Т., недавно проехавшего из Томска бывшего ссыльного, который при этом проезде виделся со мною и передал тогда несколько адресов по сибирскому тракту. Теперь он дополнял их пустяковыми сведениями и законспирировал передачу из простой любви к таинственности. Я познакомился со студентом и предложил ему отправиться ко мне пить чай, если он не боится сношений с поднадзорным. Он не боялся, мы пошли ко мне и весело провели вечер, смеясь над конспирацией Т. Последний прислал еще раз такое же пустое письмо и с такими же предосторожностями, и теперь я подумал, что «один человек», ожидающий меня за оврагом, будет номером третьим.

Но я ошибся: за оврагом ждал меня человек, и, когда я подошел, он спросил мою фамилию. Когда я назвался, пожал мне руку и сказал:

— Здравствуйте. Я — Юрий Богданович.

Юрий Богданович!.. Этой фамилией были зловеще полны газеты. Прежде это был народник-пропагандист, собравший целый кружок пропагандистов у знаменитой в свое время торопецкой кузницы. Но это был уже пройденный путь. Разочарованные в силе пропаганды и озлобленные свирепыми преследованиями, Богданович и его товарищи решительно свернули на путь террористической деятельности. Теперь передо мной стоял видный участник цареубийства: Богданович, под именем мещанина Кобозева, содержал ту лавочку на Малой Садовой, откуда была проведена мина, которую предполагалось взорвать при проезде царя. Вследствие оплошности полиции поверхностный обыск, произведенный в лавочке, не открыл ничего, и хозяева скрылись. Но теперь все это стало известно, и голова Богдановича-Кобозева была оценена.

Прежде я с ним не встречался. Передо мной был красивый молодой человек, лет немного за тридцать, с приятным и умным лицом, с недавно обритой бородой, в синей сибирке тонкого сукна со сборками. Он походил на заводского мастера или на управляющего. Мы сели на землю и около часу просидели, пока над нами спускались сумерки.

Он слышал обо мне от своих местных знакомых, знает, что я отказался от присяги и со дня на день жду ареста. Он хочет предложить мне бежать. Его знакомые дадут мне безопасный приют. Кстати, предстоит, может быть, дело, для которого понадобятся решительные люди...

И он изложил план, к которому пришла партия. Нужен толчок. Предполагается, что в известный день большое количество решительных людей отправятся по селам, соберут сходы и объявят, что вся земля отдается крестьянам. Здесь пришлось бы объявить это на заводах, которые тягаются из-за земли с самого освобождения с заводоуправлениями. Может быть, и я согласился бы принять в этом участие.

Я был в недоумении. От чьего же имени будет объявлена эта «милость»? Кто санкционирует приказ? Будет ли это сделано именем царя, как в чигиринском деле, в свое время единодушно осужденном всем революционным народничеством, или именем партии, убившей царя? Это осталось для меня неясным, да мне казалось, что неясно это и для Богдановича. Я отказался бежать.

На нас из наступающего сумрака глядели окна тюрьмы, стоявшей в стороне, за тем же оврагом. Если бы не доверие Енакиева к моему честному слову, я теперь не беседовал бы с Богдановичем, а сидел бы за одной из этих решеток. Я понимал, что мои отношения к Енакиеву были делом очень маленьким в сравнении с тем масштабом, каким мерял события этот человек, ежеминутно рисковавший жизнию, но у меня вдобавок не было веры ни в террор, ни в его последствия...

Мы проговорили около часу, а затем Богданович поднялся и ушел по направлению к городу. Я смотрел, как его стройная молодая фигура расплывалась в сумерках, а затем вернулся и сам в свою комнату, размышляя о будущем этого человека, который произвел на меня симпатичное и волнующее впечатление. Его дело я считал роковой ошибкой, но чувства, которые привели к этому делу его и других, были мне близки и понятны.

Что ждет его в скором будущем? Уедет ли он за границу или попытается вместе с другими извлечь все, что возможно, из страшного успеха партии и... погибнет. Я чувствовал, во всяком случае, что имел сейчас дело с настоящим революционером, и мое дело с присягой и с последствиями отказа показалось мне таким маленьким сравнительно с темной грозой, нависшей над только что оставившим меня человеком. На прощание он выразил надежду, что, быть может, мне удастся бежать с дороги, когда я уже не буду связан словом, и тогда мы можем увидеться таким-то образом. Не помню, в этот ли раз он передал мне фальшивый паспорт на имя какого-то чернского мещанина, отправляющегося за сбором на церковь, или прислал его с кем-то после. Я тщательно зашил его в воротник подаренного мне Башкировым полушубка.

11 августа 1881 года решение наконец последовало. В этот день ранним утром ко мне явился мрачный полицеймейстер с городовым и объявил, что я арестован. Могу сходить на службу, покончить там свои дела, но всюду меня будет сопровождать городовой. А к вечернему поезду я должен собраться в путь. За мной явятся жандармы, которые будут сопровождать меня. Куда?.. Это ему неизвестно. Губернатора в городе не оказалось.

Поезд уходил часов в восемь вечера. До тех пор полицейский уже не отставал от меня. С ним я сходил на

службу, известил Маликова, Волохова и других товарищей о своем отъезде, попрощался с сослуживцами. Среди них было немало людей неглупых и симпатичных, и многие на прощание выражали мне искренние пожелания. Я побывал у Лобова, повидал Криля, который в это время был в Перми, провел часа два в обществе товарищей, собравшихся у Маликова, и затем, кажется в сопровождении Волохова, явился домой. Здесь меня уже ждали полицеймейстер и два жандарма, которые формально приняли меня у полиции, и мы отправились на вокзал. Мне было приятно увидеть здесь и некоторых сослуживцев, которые не побоялись проводить «государственного преступника». Правление дороги сочло нужным в тот же день составить постановление о выдаче мне «награды». Я служил недолго, и цифра была скромная. Владимир Иванович Драве лично привез ее на вокзал.

Короткие прощальные разговоры, горячие объятия на перроне, рукопожатия в окно, маленькое столкновение товарищей с железнодорожными жандармами и — поезд тронулся, увлекая меня на восток... Далек ли был путь, какая судьба ждала меня — я не знал.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

По пути в Якутскую область

I

ЖАНДАРМ МОЛОКОВ.— В ВОЕННО-КАТОРЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТОБОЛЬСКОЙ ТЮРЬМЫ

Вагон был почти пуст. В нем везли еще одного административно-ссыльного и, вероятно, нарочно удалили публику. Моего спутника сопровождали петербургские жандармы, так как он следовал прямо из дома предварительного заключения. Сидел он, как оказалось, рядом с моим другом, В. Н. Григорьевым (о котором я много раз упоминал ранее), и последний ухитрялся как-то пересылать ему мои письма из Починков. Когда я назвал себя, Г—ч с удивившей меня горячностью кинулся обнимать меня и так меня сжимал в своих объятиях, точно я был самым близким его другом, которого он увидел после долгой разлуки.

В тюрьме и ссылке часто проявляется такое экзальтированное отношение к товарищам, хотя бы и случайным. Мир резко делится на «мы» и «они», вызывая слишком порой презрительное отношение к одной стороне, слишком восторженное к другой. Г—ч стал сразу говорить со мною так, точно мы были сообщники, участвующие в общем заговоре. Он принялся рассказывать при этом такие вещи, которые, на мой взгляд, при жандармах говорить не следовало. Когда я дал ему это понять, он ответил по-немецки, что эти идиоты не поймут интеллигентного разговора. Я видел, что один из моих жандармов при этом улыбнулся, и поэтому я настойчиво попросил Г—ча перейти к другой теме. Он огорчился и даже обиделся. Но у меня были свои основания. Когда я еще жил в слободке, мой хозяин показал мне однажды проходившего мимо какого-то пропойцу, в старой фризовой шинели и опорках на босу ногу, и сказал, лукаво улыбаясь:

— Жандарм это, приятель мой... Молоков по фамилии, может, слыхали?..

— Какой-то пьяница?..

— Нарочно это он... Кого-нибудь непременно выслеживает. Взыщик, скажу вам, самый пронзительный...

Действительно, вскоре после этого была прослежена шайка столичных фальшивомонетчиков, перенесшая временно свою деятельность на Урал, и дело это привлекло внимание даже столичной прессы. Впоследствии, когда хозяин указал мне того же Молокова уже в форме, я едва узнал его.

Теперь этот «взыщик» сопровождал меня. Лицо у него было проницательное и умное. Он как будто даже не прислушивался к словам Г—ча, но когда мы поехали дальше, уже на тройках, от Екатеринбурга, он повторил мне даже то, что Г—ч говорил по-немецки.

— Только мне это ни к чему,— прибавил он.— В Перми — какая уж политика, и с нашим тем более. В прошлом году поступил донос на ваших железнодорожников. Одного арестовали. Вот призывает меня полковник и говорит: «Не узнаешь ли, Молоков, в чем тут дело? Пустяки какие-нибудь, я думаю».— «Рад стараться, говорю». Стал я приглядывать кое за кем из ваших служащих. Пошел переодетый в трактир, где господин Ф—в — вы его должны знать — время проводил. Подсыпался к нему. «Так и так... Сам, говорю, по этим делам хожу... Нельзя ли мне узнать, как наше дело идет в Перми?» Ну, он ничего не сказывает, только улыбается. «Что ж,— говорю после рюмки-другой,— когда вы ничего не знаете, придется обратиться к другим...» Как я сказал это слово, он и загорелся... Стукнул кулаком по столу. «Кто это не знает?.. Это я-то не знаю!..» Да все выложил. Докладываю полковнику все дочиста. «Ну, говорит, так и знал, что болтовня одна...»

Я знал Ф—ва, о котором рассказывал Молоков, и теперь он встал передо мною, как живой: недурной малый, но взбалмошный, с беспокойно сверкающими глазами и чрезвычайным самолюбием. Я слышал об этом деле, и оно действительно кончилось пустяками.

С Г—чем мы проехали по железной дороге до Екатеринбурга и потом еще некоторое расстояние на тройках до того места, где дороги разделяются: одна отходила, кажется, на Ялуторовск, другая — на Тобольск. Г—ч поехал по Ялуторовскому тракту. Он был, по-видимому, огорчен недостатком горячности с моей стороны, и когда я спросил у него, не нуждается ли он в деньгах, которыми я в небольшом количестве мог бы

с ним поделиться, то он отказался. Я понял: ему нужно было все сразу или ничего. Или горячая дружба, или полное отсутствие даже простого товарищества. Я попытался, как мог, объяснить ему, что в ссылке, где много всякого народа, ему придется поневоле быть в товарищеских отношениях со всеми, а дружба является редким даром судьбы. Но денег он все-таки не взял, и я с некоторой грустью смотрел, как его фигура долго еще мелькала на уходившей вдаль дороге... Мне было жаль, что он уезжает огорченный, и я предвидел, что ему предстоит много разочарований.

И действительно, впоследствии я получил от него два письма. В одном Г—ч горько жаловался на мою холодность, на то, что я лучшие его чувства обдал ушатом холодной воды. А в другом благодарил меня за предупреждение... В Ялуторовске разыгралась одна из громких историй в ссыльной среде, которые часто возникают на почве отсутствия живых интересов. Обе стороны закидали другие города изложением ее, требованиями третейского суда, протестами... Имя Г—ча упоминалось в самом центре свалки.

Расставшись с Г—чем, мы поехали по большому тракту на Тобольск. Молоков оказался человеком словоохотливым и интересным рассказчиком. Он говорил о людях, которых знал и я, и часто давал очень меткие характеристики... Его умные глаза пытливо вглядывались порой в мое лицо как бы с вопросом — верно ли?.. Мне было интересно слушать эти рассказы о Перми с точки зрения жандарма-психолога. Впрочем, в данном случае это была точка зрения, далеко не характерная для жандармов. Молокова тянуло больше к уголовному сыску, а его начальник представлял своего рода феномен. Прослужил он после моего отъезда, кажется, недолго, как и его друг Енакиев. Енакиев умер скоропостижно, причем мрачный полицеймейстер остановил занятия во всех присутствиях и учебных заведениях, а начальника жандармского управления заменили новым, который проявлял более усердия в раскрытии даже небывалых злоумышлений.

Незадолго передо мной Молокову пришлось сопровождать до Тобольска другого политического ссыльного, А—ва, и опять в его рассказах передо мной вставала, как живая, очень типичная фигура. Это был один из якобинцев Зайчневского.

— Господин, надо прямо сказать, хороший,— говорил Молоков.— Ну только горяч, беда... Натерпелись мы с подручным, пока довезли до Тобольска, особенно спервоначалу. В первую же ночь вздремнул я маленько. Дело дорожное. Колокольчик ноет, заливается, лошади бегут рысцой, ну и вздремнешь поневоле. Только вдруг слышу — лезет ко мне кто-то в сумку. Я цап за руку. «Это, мол, что такое, Александр Петрович?..» — «А ты, говорит, что думал? Думал, со мной поспишь? Мы враги с тобой, а враг, известно, не дремли! Если бы удалось захватить бумаги, тут бы выхватил у тебя еще револьвер, одного бац, другого бац! Если бы ямщик стал препятствовать, и ямщика — бац! Потом — на все четыре стороны!» — «Вот ты, говорю, какой?..» — «А ты думаешь какой! Говорю: недаром я враг существующего порядка — значит, я со всеми вами, его слугами, в войне...»

— Что делать с этаким человеком?.. Мне, положим, не верилось: думаю — на словах только грозен. А подручный мой испугался. «В первом волостном правлении, говорит, надо потребовать кандалы». А по инструкции мы действительно имеем право, если арестант буянит, заковать в ножные-ручные кандалы. Ну только это уж в самой крайности. Какое может быть удовольствие. «Ладно, говорю, авось обойдется». Научил подручного, и на следующей станции, как стали усаживаться, лег он в середине телеги — мы на его с обеих сторон и навалились. Я-то человек, видите, плотный, а мой подручный и еще того грузнее. «Что вы, черти, говорит, задавите ведь!» — «Ладно, мол, поезжай, ямщик, пошибче. Дремать нечего, надо скорее доставить».

Сжал он зубы, молчит. Проехали этак с полперегона, запросился: «В самом деле, говорит, черти этакие, ведь кости переломаете... Будет!» — «А станешь в сумки да в кобуры лазить?» — «Не стану, говорит, черт с вами. Ваша сила!» — «И слово даешь?» — «Даю, говорит, слово революционера».— «Ну,— говорю подручному,— отпускай...» Подручный опасается, а я говорю: «Небось дал слово революционера — сдержит». И правда, после этого ехали за милую душу: и ели, и пили вместе... Была, положим, и еще раз склёка порядочная. Приехали на одну станцию. Я вышел с бумагами, подручный остался. Только, на грех, выходит тут со станции проезжающий чиновник. Как раз ему пару подали. Вышел он на крыльцо, и дерни его нелегкая сказать

подручному какое-то слово насчет ссыльного. «Посматривай хорошенько», что ли. Тому не понравилось. Слово за слово, выскочил мой Александр Петрович из повозки, да к чиновнику... Тот от него, тот за ним. Раза три кругом телег обежали. Тут уж подручный схватил его вполобхвата, чиновник в это время уселся в телегу, ускакал от греха... Чудак этот Александр Петрович. В какой городишко ни въедем, проезжаем мимо тюрьмы, сейчас станет в телеге, кричит во весь голос: «Женя, Женя!..» — «Что вы, говорю, кричите?» — «А это, говорит, я про невесту спрашиваю... Может, она тут?..» — И смех с ним, и грех. Сдали мы его в Тобольске честь честью, распрощались просто как друзья-приятели... Все же перекрестился я после этого. Слава те господи!

15 августа перед вечером мы въехали в Тобольск. Когда наша тройка проезжала по какой-то улице, из ворот выкатилась коляска, в которой сидел знакомый мне уже красивый полицеймейстер в казачьей папахе. Он лихо соскочил и подбежал к нам.

— Ба-ба! Что я вижу?.. Никак опять господин Короленко! Ай-ай-ай! Говорил я вам в прошлом году... Раз вернулись, в другой раз не попадайтесь... К губернатору! — крикнул он ямщику, и сам поскакал вперед.

Губернатор, помнится Лысогорский, долго меня не держал. Узнав мою фамилию, он с любопытством посмотрел на меня (для Тобольска моя статья в «Слове» была, вероятно, событием) и любезно обещал тотчас же переслать мои письма (что и исполнил). Затем, с полицеймейстером впереди, мы отправились в тюремный замок.

Его благородие тюремный смотритель, о котором в своей статье я отзывался не особенно благоприятно, стал о чем-то шептаться сначала с полицеймейстером, потом с старшим надзирателем. Наступали уже сумерки, когда меня пригласили следовать за смотрителем. Мы вышли из знакомых мне ворот, но пошли не направо, как в прошлом году, а свернули влево и подошли к другим воротам. Над ними я прочитал надпись: «Военно-каторжное отделение». Калитка, запертая на замок, открылась, и мы вошли в узкий дворик. С одной стороны был длинный бревенчатый сарай цейхгауза, примыкавший прямо к тюремной стене, с другой —

одноэтажный каменный корпус с рядом решетчатых окон. В эти окна военно-каторжные арестанты с бритыми головами провожали глазами штатского новичка. Я рассчитывал, что сейчас меня введут в общий коридор, где начнутся расспросы и разговоры. Но, взойдя на несколько ступенек крыльца, находившегося в самом конце корпуса, смотритель не пошел в коридор, а остановился перед запертой дверью. Когда ее открыли, мы вошли в тесную каморку надзирателя, а затем щелкнул еще замок, и я наконец очутился в узкой камере. Вещи мои внесли за мною. Смотритель вошел вместе с «поверкой», и, таким образом, меня ввела в эту каторжную одиночку целая эскорта из солдат и офицеров. Смотритель, как мне показалось, с каким-то злорадным торжеством посмотрел на меня, и все вышли. Мне как будто вспомнилось что-то... Я стал осматриваться. На стене были следы глубоко врезанной и затем выскобленной надписи. Так и есть. Первая буква была, очевидно, *Ф*. А вот и окно, забранное в пространстве между крыльцом и тюремной стеной высокими досками, так что из-за них можно рассмотреть лишь клочок неба. Я, значит, попал в камеру Фомина...

Свои ощущения в те несколько дней, которые я провел в этой камере, я описал в автобиографическом очерке «Искушение» и повторять их не стану. Скажу лишь кратко, что, тщательно осмотрев камеру, я разыскал в спинке кровати свою прошлогоднюю записку, несколько перьев и кусок туши, посланные тогда Фомину... Сомнений, значит, быть не могло.

Не могу сказать, чтобы я был особенно мнителен или пуглив, но при данных обстоятельствах мне стали приходить в голову довольно мрачные мысли. Почему меня, пересыльного, поместили в камеру, где несколько лет безвыходно провел Фомин?.. Правда, мне оставили мой чемодан, где были даже перья и бумага. Но, может быть, это лишь временно, впредь до окончательных инструкций. Мне вспомнились слова Енакиева о том, что свод законов не предусматривает отказа от присяги на верноподданство и что он не может предвидеть, что придумают для меня в административном порядке. Когда я писал в прошлом году Фомину разысканную теперь записку, вся Россия говорила о «диктатуре сердца» и о предстоящих реформах. Теперь господствовала мрачная реакция. Не надо было особой мнитель-

ности, чтобы будущее казалось мне неопределенным и мрачным в этой камере, где еще как будто бродила тень моего, вероятно погибшего здесь, предшественника.

У меня чередовались два надзирателя. Один был груб и звероподобен, другой, наоборот, показался мне человеком симпатичным и часто тихонько вступал со мной в разговоры. 19 сентября он сообщил мне, что сегодня мимо Тобольска пройдет баржа с политической партией и что меня, наверное, отправят с нею. Но баржа пришла, постояла и ушла. Когда долгий пароходный свисток смолк на реке за большой горой, откуда в прошлом году мы любовались красивым видом Тобольска, на меня напала тоска. Я очень редко писал стихи, но тут я написал короткое стихотворение, которого теперь не помню. Помню только, что начиналось оно первым впечатлением в этой камере:

Вкруг меня оружье, шпоры,
Сабли брякают, звенят...
И у каторжной затворы
На пол падают, гремят.

А кончалось глубоко меланхолической нотой:

...Божий мир сошелся клином,
Только света, что в окне...

В упомянутом выше автобиографическом рассказе я изложил подробно «искушение», которому меня подвергли «военно-каторжные» арестанты.

Ко времени моей прогулки, которая происходила после поверки, я нашел стену цейхгауза утыканной в щелях щепками, которые представляли как бы лестницу до верха тюремной стены... Мне оставалось взобраться на крышу, сделать по ней два шага и соскочить с тюремной стены на пустырь.

Я и до сих пор не представляю себе ясно, что это было и какую цель преследовал арестант, делавший мне знаки и указания из крайнего окна, из которого был виден угол двора, скрытый и от часового и от надзирателя, усевшегося в другом конце дворика, у ворот... Было ли это простое любопытство «одиночки», соскучившегося в четырех стенах, или доброе желание, относившееся к человеку, посаженному в камеру, где Фомин провел столько лет в исключительных условиях,—и почему сами каторжане не воспользовались этим как

будто легким путем для побега, этого я и до сих пор не знаю. Знаю только, что искушение было сильно, и я, хоть и с сомнением в душе, решился на побег и взобрался уже аршина на два по импровизированной лестнице. Что вышло бы из этого и писал ли бы я теперь эти воспоминания — неизвестно, если бы не случайное вмешательство небольшой и очень смирной на вид собачонки, которую добродушный надзиратель водил с собой на прогулку... У нее, очевидно, были инстинкты тюремщика: очень ласковая со мною обыкновенно, тут она кинулась на меня с лаем и, взобравшись на кучу мусора, вцепилась зубами в полу моего пальто. Мне пришлось соскочить, пока подбежал надзиратель, чтобы унять собачонку, а на следующий день за мной явились жандармы, чтобы везти меня дальше. Красивый полицеймейстер приехал опять проводить меня и опять советовал считать себя окончательно сибирским жителем, приглядеть невесту и обзаводиться домком. Когда я спросил, почему меня, административно пересылаемого, держали в военно-каторжной тюрьме, он усмехнулся и ответил:

— Оттуда меньше видно. Мы не любим, когда об нас пишут...

Его предсказание не исполнилось: я еще раз вернулся из Сибири. Но когда я впоследствии спрашивал у тоболян об этом удалом полицейском казаке, который, в общем, оставил во мне довольно приятное впечатление, то мне сообщили странное известие: кончил он довольно скверно. Не довольствуясь скромной деятельностью полицеймейстера, обязанного ловить воров и мошенников, он усложнил ее еще ролью... главаря шайки конокрадов. Дело в свое время получило значительную огласку.

Предполагалось официально, что меня повезут на почтовых. Мы так и начали свой путь. Но жандармы сочли более для себя удобным свернуть через некоторое время к одной из обских пристаней. Помню в тот вечер какой-то перевоз и особенное чувство, с которым я теперь смотрел на речные дали, на леса под лунным светом, на туманы, залегавшие в низинах... Когда мы переправились, наш паром встретила кучка народа, неясно видневшаяся в сумраке. Какой-то высокий татарин, в остроконечной бараньей шапке, вглядевшись в нашу кибитку, сказал мужикам, стоявшим в кучке с ним рядом:

— Царёв враг...

Я в первый раз услышал этот термин, примененный к политическим преступникам. Впрочем, в этом определении мне не слышалось ни гнева, ни осуждения...

Выехав по проселкам на какую-то пристань, мы сели на пароход «Нарым» и до Томска доехали водой. Для жандармов это была большая экономия, для меня более удобства в пути. Я ехал на пароходе между пустынными берегами, почти не чувствуя над собою надзора. Это был уже последний рейс парохода. Публики было мало. Дали то и дело заволакивались на Оби снегом, хотя был только конец августа, начало сентября. Порой для погрузки дров пароход тыкался носом в какой-нибудь крутояр, с него кидали мостки, и я с случайным моим спутником, каким-то томским или иркутским купцом, человеком довольно интеллигентным и выражавшим мне свое сочувствие, сходили на берег. Помню такую остановку в Ляминином бору. Кругом стояла тишина с протяжным шумом соснового бора. На берегу был только шалаш караульщика дров, а в сотне шагов — домик. Когда мы подошли к нему, дверь приоткрылась, в щель выглянули два острых, почти еще детских глаза, а в руках парнишки сверкнуло дуло винтовки.

— Что ты это, парень? — спросил мой спутник.

— Гляжу, как бы вам тут чего не украсти,— просто отвечал парнишка.

Порой на ходу парохода к нему приставали с кормы остяцкие лодочки. В первый раз мне показалось, что лодочку с двумя гребцами захлестнуло пенистыми валами, бежавшими от колес, но через минуту остяки уже зачалили свою лодочку и ловко по канатам взобрались на пароход среди улыбающихся матросов. Они привезли рыбу. «Ви́нцо, ви́нцо»,— спрашивали они весело и, выменяв вино на рыбу, спустились, слегка уже пошатываясь, в свою лодку, опять нырнули в пенистые валы и пристали затем к барже, зачаленной к пароходу. Тихий, смиренный, бессильный, но очень ловкий и проворный народ. У одного из посетивших нас остяков не было и признаков носа... «Цивилизация» проникла, очевидно, и сюда.

II

В ТОМСКЕ.— «СОДЕРЖАЮЩАЯ».— ГУБЕРНАТОРСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.— ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ

Четвертого сентября мы приехали в Томск и после зимы на Оби здесь застали еще почти лето. На этот раз после губернаторской канцелярии меня доставили не в пересыльную, а в так называемую по-арестантски «содержающую». Это было дряхлое здание без ограды, как-то цинично глядевшее решетчатыми окнами прямо на улицу. В окнах второго этажа сидели арестанты, обмениваясь с улицей не всегда скромными шуточками. Нам пришлось объехать это здание с переулка. Здесь уже была ограда и ворота. Нас остановили у этих ворот, и, пока шли переговоры, я имел случай видеть любопытную картину: в полуоткрытую калитку на тюремном огороде виднелся господин в рыжем пальто, окруженный тюремным штатом и арестантами-огородниками с лопатами. Это оказался томский губернатор М—лов. Он только что, видимо, открыл беспорядок: на кочне капусты он нашел червяка и указал на него смотрителю. Смотритель почтительно наклонился, за ним наклонился помощник, старший надзиратель...

Затем нас провели в канцелярию, и нам пришлось ожидать, пока придет смотритель. В канцелярии я застал сцену, которая никогда не изгладится из моей памяти. За столом, огражденным барьером, сидел помощник стряпчего, каждые две недели приезжавший для того, чтобы давать арестантам справки о движении их дел. У барьера, напирая друг на друга, тесно жалась толпа арестантов.

— Как мое дело, ваше благородие, Ивана Сидорова?..

Чиновник рылся в бумагах и отвечал:

— Дело у заседателя такого-то участка.

— Господи! Который уж месяц, а он меня все не допрашивает!..— отчаянно вскрикивал арестант.

Его оттирали, выступали новые вопрошатели и получали такой же ответ. Впечатление было такое, будто в Томске дела в то время совсем не двигались и вся эта толпа забыта здесь навсегда. Волнение среди арестантов по мере этих справок росло, то и дело прорываясь злобными замечаниями, а порой и ругательствами по адресу, может быть, совсем неповинного чиновника.

Особенное негодование вызвало одно дело. Крестьянин из недальнего села приехал зачем-то в город. Полиция потребовала паспорт. Паспорта не оказалось, и мужика взяли за бесписьменность. Взяли и... оставили в тюрьме. Дело было самое простое: справка о личности. Село было недалекое. Между тем родственники арестованного приходили на свидания, общество доставило удостоверительный приговор, староста нарочно приезжал с этим приговором, а дело все покоилось у заседателя такого-то участка, а мужик все сидел в тюрьме, получая каждые две недели один и тот же ответ... Когда на этот раз помощник стряпчего опять повторил его, мужик прямо завыл истошным голосом, и дело Ивана Ларионова как бы обобщило впечатление всей этой злополучной массы. Я стал опасаться за участь бедного чиновника; барьер трещал под натиском арестантов. Даже привезшие меня жандармы не могли сдержать негодования по адресу «чужого ведомства»... К счастию, чиновник успел наскоро собрать свои бумаги и ускользнуть из канцелярии. Иначе трудно сказать, чем бы это могло кончиться.

А в это время губернатор (М—лов) с величайшим вниманием исследовал на огороде червей на кочнях капусты. Арестанты, зная об этом, просили меня, чтобы я заявил, что у меня есть до губернатора дело. «К вам он придет,— говорили они.— А мы тут хоть пропадай, ему все равно». Я согласился, но когда пришел смотритель, бывший с губернатором на огороде, то оказалось, что губернатор уже уехал... Смотритель обещал передать мое заявление, и это дало арестантам надежду, что при сем случае и они смогут заявить свои жалобы.

Я уже знал немного об этом губернаторе от некоторых томских ссыльных, возвращавшихся во времена «диктатуры сердца». М—лов сначала заигрывал с ссыльными. Один из них (Поспелов) писал корреспонденции и статьи в сибирских газетах. Узнав об этом, М—лов пригласил его к себе и выразил горячее сочувствие прессе. Но когда после этого появились корреспонденции, задевавшие томскую администрацию, то — приятные отношения кончились. Очевидно, его превосходительство считал, что выражение «сочувствия прессе» достаточно для того, чтобы застраховать свою губернию от неприятных обличений.

Мое заявление подействовало, и на следующий день его превосходительство посетил не только тюремный

огород, но и самую тюрьму. Я придумал предлог: меня посадили в одну камеру с сумасшедшим, и смотритель заявил, что перевести меня в общую камеру не может без разрешения губернатора. Мой сожитель по камере был политический Рабинович, участник довольно громкого процесса, которого теперь везли, кажется, с Кары в казанскую психиатрическую лечебницу. Мне пришлось провести беспокойную ночь: Рабинович курил без перерыва принесенные арестантами папиросы, а потом, докурив последнюю, сидел на койке и, как автомат, повторял одну фразу:

— Папиросу мне... Нет ли папиросы? Послушайте, папиросу мне!

Я не мог уснуть до самого рассвета.

Наутро стало известно, что в тюрьму приехал губернатор. Арестантов загнали в камеры и заперли на замки. Предосторожность, как оказалось, была не лишняя. М—лов прошел прямо ко мне и прежде всего нашел беспорядок: сырое пятно на стене. Затем, выслушав мое заявление и приказав перевести меня в другую камеру, он вышел в коридор, в котором изо всех камер неслись отчаянные вопли:

— Ваше превосходительство!.. Зайдите к нам... И к нам, и к нам... И к нам!.. Имеем жалобы...

Весь коридор гудел, как растревоженный улей, а из некоторых камер неслись отчаянные вопли и даже удары в дверь. М—лов, человек худощавый, желчный, с обозленными глазами, видимо, смотрел на эти вопли как на крайние проявления беспорядка и даже бунта. Приказав открыть одну дверь наискосок от меня, он вошел туда, и я слыхал отрывками его жесткую речь. Мне было слышно не все, но то, что я слышал и что мне потом передали, поразило меня крайней степенью бюрократического цинизма. Содержание речи было кратко: «Кто вы такие?.. Арестанты, то есть преступники. На кого хотите жаловаться?.. На чиновников, то есть на царских слуг. Кому же я должен верить — преступникам или царским слугам?.. Поэтому — никаких жалоб!..»

Этот силлогизм, который, по-видимому, казался М—лову неопровержимым, закончил посещение первой камеры... Губернатор вышел, и конвойные после короткой возни захлопнули дверь. После этого вся тюрьма закипела старательно закупоренным в камерах негодованием и гневом, а губернатор, с резко сдвинутыми бровя-

ми и озлобленным против бунтовщиков лицом, проследовал дальше. Он приказал открыть еще одну камеру, из которой при его проходе арестант резко крикнул: «Где же у вас правда!..» Но и там дело закончилось такой же соломоновски краткой и безапелляционной губернаторской речью, а затем возней арестантов и конвоя. После этого выходной блок взвизгнул, затем коридорная дверь хлопнула, и посещение кончилось... Кого-то увели в секретную... Коридор некоторое время шумел и кипел, откуда-то слышались крики, ругательства, удары в дверь, а затем... понемногу все стихло. Камеры стали открывать для обеда. Тюрьма проголодалась.

Между тем достаточно было бы самого поверхностного взгляда, чтобы понять, что в «содержающей» далеко не все благополучно. Не говоря уже о вопиющих жалобах на задержку дел — никогда я не видал такой оборванной тюрьмы. Арестанты ходили в каких-то фантастических лохмотьях, и даже нижнее белье не всегда прикрывало наготу. Мне до сих пор вспоминается живописная фигура одного арестованного купчика, который, сидя в привилегированной камере, надевал крахмальную манишку и красный галстук, но, выставляя грудь, старался драпировать ноги полами изорванного халата. Среди жалоб, которые неслись из камер, слышалось между прочим: «Сами посмотрите, в чем мы ходим! Обносились до крайности».

Несмотря на то что губернатор сделал все, чтобы вызвать бунт, и что было несколько «беспокойных» арестантов, которые, очевидно, старались поднять тюрьму на какое-нибудь яркое выступление,— волнение скоро стихло. Мне объясняли сведущие арестанты, что шумела больше тюремная мелкота, «шпанка», а тюремная аристократия, «ива́ны», ее не поддержали. Смотритель, по-видимому, знал, с кем имеет дело. Он как-то радостно признавал свою вину, когда губернатор замечал пятно на стене или червяка на капусте, и в то же время умел ладить с влиятельными элементами тюрьмы. В тюрьме допускались кутежи и повальное пьянство, что подкупало «ивано́в»...

Меня перевели в «привилегированную», дворянскую камеру, и я получил возможность свободно ходить по всей тюрьме. Это была, собственно, первая тюрьма, которую я имел случай узнать поближе с ее уголовной средой, и мне приходится отметить несколько выдаю-

щихся эпизодов. Прежде всего я здесь увидел заключительный акт прошлогодней моей переписки с Фоминым. Читатель припомнит, что арестантский староста предупреждал меня тогда же, что арестант, через которого я вел эти пересылки,— подлец и надует Фомина. Так это и случилось: Фомин написал письма в Россию, сообщил, что он (его кличка была Ursus[1]) находится в тобольской одиночке, и просил прислать ему денег. Но так как на собственное имя Фомина (он его скрывал от начальства) выслать было нельзя, то он дал фамилию этого арестанта. Помнится, фамилия его была Семенов. Он оказался действительно мошенником. Срок его заключения близился к концу, и он должен был уйти из тюрьмы на поселение. Получив деньги Фомина, он их присвоил... Но тюремная Немезида уже протянула над ним карающую руку. Случилось так, что Семенов прибыл в томскую тюрьму как раз в то время, когда я находился там, и вслед за ним пришло сообщение о его поступке. Его стали жестоко избивать. Арестанты сообщили мне, что тут есть «изменник общества», который прячется под нарами, в пустых камерах... В конце концов он успел упросить смотрителя, чтобы посадить его в секретную. Я увидел его там в глазок и узнал старого знакомого. Он был плох: избили его жестоко, и — что хуже всего — ему предстояло еще несколько переходов, и на всяком его будут избивать... Его томили мрачные предчувствия: вряд ли дойдет живым. Он надеялся, что история разоблачится не так скоро и он успеет выйти на поселение, но надежда его обманула. У меня не хватило духу упрекать его, и я постарался через лиц, пользующихся доверием арестантской среды, смягчить отношение к нему арестантов. Но «измена обществу», каковой считался поступок Семенова в отношении Фомина,— к особому снисхождению не располагала. Дальнейшей судьбы Семенова я не знаю.

В камере, куда меня перевели после камеры Рабиновича, было три человека, в том числе бывший помощник смотрителя той же тюрьмы, человек сурового и меланхолического темперамента. Ему приходилось теперь сидеть под присмотром своих бывших подчиненных. Интереснее было общество, помещавшееся в другой привилегированной камере. Особенно заинтересовали меня два приятеля, если память не изменяет мне, Пе-

---

[1] Медведь *(лат.)*.— *Ред.*

карский и Овсянников, или Овсянкин. Это были молодые люди, служившие волостными писарями. У них, по-видимому, бродили какие-то идеи, странным образом преломившиеся в головах сибирских полуинтеллигентов. Они составили фантастический план ограбления почты, но, осуществив его и овладев заснувшим почтальоном и струсившим ямщиком, они затем не решились «дойти до конца», отпустили обоих, поверив их клятвам, и вскоре были пойманы облавой из соседних деревень...

— Все это было глупо,— говорил мне Овсянкин, прогуливаясь со мной по коридору,— теперь мы уже будем действовать иначе...

— А как, если это не секрет? — спросил я.

— Подкоп под казначейство, как Сашка-инженер,— ответил он.

— А разве необходимо ограбить почту или казначейство? — спросил я.

— Мы «для дела»,— не без важности ответил Овсянкин. Его друг был сдержан и серьезен, а сам он довольно экспансивен, мягок и мечтателен. Вообще пример Александра Юрковского произвел сильное впечатлене на полууголовную среду, и впоследствии я получил большую рукопись от некоего Сорокина, который подробно описывал совершенный им подкоп под гродненское казначейство...

В той же томской тюрьме я приобрел еще одно интересное знакомство. Камера Пекарского и Овсянкина служила, так сказать, интеллигентным центром «содержающей». Сам Пекарский представлял странную фигуру, с детски узкими плечами и громким басом, который во время замешательства, вызванного посещением М—лова, гулко разносился по коридору. Вообще он, видимо, старался поднять «шпанку» и выражал презрительное негодование за ее неумение постоять за себя. В его камере, кроме того, фабриковались разные документы, способствующие побегам. Все в этом мире относительно, и, входя к Пекарскому, я чувствовал, что этот уголовный преступник при других обстоятельствах мог бы выработаться в незаурядного человека и что по сравнению не только с тюремной шпанкой или тюремными «ивана́ми», но даже по сравнению с «его превосходительством» удельный вес его личности был гораздо значительнее.

У меня было несколько набросков из моих ссыльных скитаний. Тут были Починки, камера Фомина, вид двора томской пересыльной тюрьмы. В камере Пекарского их рассматривали с большим интересом. Особенно внимательно приглядывался к ним один арестант, которого называли, кажется, Иваном Ивановичем. Это был человек, чисто говоривший по-русски, но в котором чувствовалось что-то инородческое: немец или латыш. Как и в Пекарском, в нем угадывалось что-то позначительнее среднего арестантского уровня. Рисунки он рассматривал с видом знатока и на следующий день принес мне новенькую рублевую бумажку.

— Вы должны понимать в этом толк,— сказал он.— Что скажете о работе?

Я понял, что бумажка фальшивая, но работа была превосходная, и я не мог бы отличить ее от настоящей. Оказалось, что Иван Иванович был тоже артист, фальшивомонетчик. Говорили, что он «пустил в ход» несколько приобретавших в то время известность сибирских фирм, которые начинали со сбыта его изделий. Они заводили мастерскую где-нибудь у себя на лесной заимке и начинали сбывать бумажки где-нибудь подальше. В это время обе стороны держали себя начеку. Для купца была опасна невыдержанность или пьяная болтовня мастеров... Ходили мрачные рассказы о том, как порой такие лесные заимки после более или менее продолжительной работы сгорали дотла вместе с «мастерами».

Иван Иванович производил впечатление человека сдержанного и серьезного, и болтовни с его стороны можно было не опасаться. Наоборот, сам он попался на этот раз из-за невыдержанности и неосторожности сибиряка. Производство было еще не закончено. Готовы были только рублевки. Сибиряк, торговавший скотом, поехал покупать скотину и, закупив много в одном месте, заплатил толстыми пачками этих рублевок. Один из продавцов обратил на это внимание и заметил, что на всех бумажках один номер.

После того как я похвалил действительно артистическую работу, Иван Иванович отлучился из камеры и, вернувшись, неожиданно предложил мне пачку кредиток.

— Возьмите... Бог знает что вам придется испытать...

Когда я отказался, он спокойно спрятал бумажки в карман...

При этом присутствовали Пекарский и Овсянкин. Пекарский молча наблюдал эту сцену, а Овсянкин не удержался:

— Вам надо идти в монастырь, а не заниматься революцией...

Он назвал одного политического, недавно провезенного на север Томской губернии, который не выказал такой щепетильности.

Ивану Ивановичу доставили с воли хорошо припрятанный литографский камень, и он возобновил производство в самой тюрьме. Я не знаю, участвовала ли в этом тюремная администрация или нет. Знаю только, что в то же время одна из сибирских тюрем (нижнеудинская) была настоящей фабрикой фальшивой монеты. Об этом знали все арестанты и вся администрация тюрьмы. Одни производили, другие сбывали, и наша политическая партия (от которой я отстал в Томске) застала в этой тюрьме очень свободные нравы: водку можно было получать не дороже, чем на воле. Чем это кончилось, не знаю, но нижнеудинская тюрьма пользовалась широкой известностью в уголовной среде.

Мне приходится отметить здесь еще одну встречу в той же «содержающей». Однажды с двумя спутниками — Пекарским и Иваном Ивановичем — я пошел в тюремную церковь. Самая церковь произвела на меня своеобразное впечатление. Арестанты помещались прямо против алтаря, на хорах. Середина была отведена для «вольной публики» и тюремного начальства, а по бокам, отделенные деревянной загородкой внизу и на некоторой высоте еще проволочной решеткой, были узкие пространства для привилегированных арестантов. Прямо за алтарем вместо запрестольного образа рисовалось большое распятие. Огромный крест и большая фигура распятого резко выступали на фоне огромного окна, которое тоже все было перекрещено толстой тюремной решеткой. Заметив, что я присматриваюсь к этому зрелищу, Иван Иванович сказал, улыбаясь своей умной улыбкой:

— Да... Христа тоже посадили за решетку...

Это было естественно: конечно, нельзя было оставить без решетки церковных окон в тюрьме, но когда впоследствии я отметил это в своих очерках, то самое упоминание о распятии за решеткой оказалось нецен-

зурным... Есть такие символы, которые совершенно правдивы и неизбежны, и все-таки неприятно режут цензурный слух.

Я думал об этом, прислушиваясь к возгласам старенького священника, когда мой спутник обратил мое внимание на фигуру, стоявшую впереди нас на коленях. Какой-то старик в кандалах усердно клал поклоны и, казалось, горячо молился.

— Посмотрите на этого святого человека,— довольно громко и бесцеремонно сказал Иван Иванович.

Молившийся при этом бесцеремонном замечании повернул голову. На нас взглянуло старческое сухое лицо с длинной узкой бородой и острым колючим взглядом. В этом лице было столько затаенной злобы, что мне стало страшно, но Пекарский и Иван Иванович нимало не смутились. Из их рассказов, дополненных после того, как мы вышли из церкви, я узнал странную историю этого старика. Мне сказали, что это глава секты «покаянников». «Без покаяния нет спáсения, а без греха нет покаяния». Значит, грех нужен для спасения. Не могу сказать ничего более точного об этом странном учении. Мне рассказали только, что человек этот сидит в тюрьме уже не первый раз, как глава опасной разбойничьей шайки, но каждый раз успевает откупаться от сибирского правосудия. И на этот раз на нем позванивали кандалы, но он пользовался в тюрьме привилегированным положением, и мои собеседники нимало не сомневались, что и теперь он выйдет сух из воды. Меня поразила глубокая ненависть, которую мои собеседники питали к этому святоше. Остальная арестантская среда относилась к нему с некоторым уважением, как к значительной силе. Пекарский и Иван Иванович не считали нужным скрывать своего чувства...

Случилось так, что вскоре мне пришлось ехать по пути к Красноярску с молодым ямщиком, который, разговорившись со мной «по душе», рассказал, что он тоже сидел в тюрьме, без вины, сказавшись бродягой... Это была странная, темная душа, в которой какие-то неоформленные стремления к правде одно время сказались сильной гнетущей тоской, которая и заставила его «принять добровольный крест». Теперь он уже вышел из этого периода, даже женился и живет спокойной семейной жизнью. В Сибири вообще очень мало распространено сектантство, хотя «старый обряд» распростра-

нен довольно сильно. Но в этом человеке бродили именно сектантские запросы. Мне вспомнился старик из «содержающей», и в воображении я соединил образ этой простодушной тоскующей души и мрачного ханжи-душегуба. Я изобразил это сочетание, как умел, в рассказе об «Убивце». Но сколько ни старался узнать более подробно о странной секте «покаянников», ничего более точного узнать не мог. Попадались мне лишь поговорки, вроде «Грех и спáсение в шабрах живут», «Не покаешься — не спасешься» и т. д. Но сколько-нибудь систематического учения, где бы оно было приведено в стройную систему, я не встречал. Может быть, мрачная фигура зловещего старика и его влияние представляли явление единичное.

III

В КРАСНОЯРСКЕ.— ДОЛГУШИН, МАЛАВСКИЙ, ЦЫПЛОВ, ЕМЕЛЬЯНОВ

В «содержающей» я пробыл четыре дня и под вечер 7 сентября в сопровождении двух жандармов двинулся из Томска по направлению к Красноярску.

Проехав без остановок Мариинск и Ачинск, на пятый день мы приехали в Красноярск. Когда, по обыкновению, меня привезли к канцелярии губернатора, я попросил, чтобы мне позволили остановиться на несколько дней и повидаться с родными, которые жили в этом городе. Губернатор Лохвицкий выразил, довольно даже любезно, свое согласие. Впрочем, вероятно, и без просьбы произошла бы остановка.

Зато в тюрьме меня ждал довольно грубый прием. Смотрителем в это время был некий Островский. Если в Томске мне пришлось видеть бывшего помощника смотрителя в роли арестанта, то здесь, наоборот, бывший арестант, пришедший с партией из России, занимал теперь должность тюремного смотрителя. Ему удалось поступить на службу в какую-то канцелярию, сначала частным образом, потом добиться восстановления прав, и наконец он получил место смотрителя в той самой тюрьме, которая видела его в арестантском халате. Нельзя сказать, чтобы собственный опыт расположил его к особенной гуманности. Наоборот, Островский был известен как самодур и человек, жестокий к арестантам.

Не знаю, по каким соображениям он решил посадить меня не в общую политическую камеру, а в одиночку, грязную и тесную мурью, вдобавок с выбитым окном. На мое замечание по этому поводу Островский ответил решительным тоном, что он знает, что делает, а мое дело только повиноваться. При этом надзиратели имели какой-то многозначительный вид, а тщедушный арестант, принесший парашку, явно покушался, когда смотритель вышел, сказать мне что-то, но, очевидно, побоялся и только многозначительно оглядывался на окно, под которым виднелось странное серое пятно и болтался обрывок веревки.

Все это настроило меня особенным образом, и я провел довольно беспокойную ночь. Ветер залетал в разбитое окно, свистел в железных решетках, и луна светила мне прямо в лицо. На следующий день Островский вдруг переменил свое обращение и перевел меня в общую политическую камеру. Тут я узнал, между прочим, что в той камере, где я провел ночь, незадолго перед моим приездом нашли повесившимся тюремного палача. Она служила секретной. Палач был известен своей жестокостью. Ловкие палачи могут наносить удары по желанию. Порой кажется, что удар должен совершенно изрезать тело, но наказываемый едва его чувствует. Даже наружные следы можно наносить таким образом, что знаки представляются страшными, но не болезненны. Но этот палач не поддавался ни влияниям, ни задабриваниям, «бил на совесть», и Островский особенно дорожил им. Недавно в Красноярске была произведена такая экзекуция, после которой наказанного унесли почти замертво в больницу... А так как он пострадал за общественное дело, то арестантская среда потеряла терпение. Как-то наутро палача нашли в секретной повесившимся на оконной решетке. Положение тела было таково, что он, очевидно, мог стать ногами на пол, но ноги были поджаты. Это возбудило подозрение, но Островский не считал удобным поднять настоящее расследование, и палача похоронили как самоубийцу. Говорили после этого, что арестантам одной камеры удалось подобрать ключи и ночью открыть камеру свою и секретную. Они задушили палача и устроили подобие повешения. Пятно на стене осталось от того, что сильный палач бился, очнувшись уже в петле, и ободрал штукатурку. Но его держали до тех пор, пока он окончательно задохся. Камера после этого внушала суевер-

ный ужас и арестантам, и надзирателям, и я понял странные взгляды, которыми они сопровождали мое заключение в эту камеру. Едва ли я был не первый, проведший в ней ночь после трагедии, и, может быть, Островский имел именно это в виду: мною он «обживал» эту камеру.

Как бы то ни было, я очень обрадовался, когда меня перевели в общую политическую. Здесь я застал довольно интересных людей. В центре, как самая значительная фигура, стоял Долгушин, именем которого называли один крупный политический процесс (долгушинцев). Он отстал «по болезни» от той политической партии, которая еще при мне прошла через Пермь. Дело долгушинцев было чисто пропагандистское. О терроре еще не было и речи. Но это не помешало жестокой расправе. Долгушин и его товарищи провели несколько лет в ужасных условиях печенежской тюрьмы (в Харьковской губернии). Это заключение отразилось страшной худобой и бледностью нервного лица. Но движения и речь Долгушина были как-то по-особенному отчетливы, и во всей фигуре этого некрупного человека сквозила железная воля. Его отец был губернским прокурором как раз в Красноярске, и его влиянием, а также лорис-меликовскими веяниями объяснялось то обстоятельство, что Долгушину удалось на время остаться в Красноярске. К нему допускали даже не в урочное время его сынишку, который до этой встречи не знал отца. Приходил также ежедневно старик прокурор, с привычными манерами важного губернского чиновника, но как-то угнетенный и подавленный положением сына, которого, очевидно, сильно любил. Приходила также и жена, жившая это время у тестя.

Второй жилец политической камеры был Малавский, тоже приговоренный к каторге. В противоположность Долгушину, это был человек крупного роста, но с типичными чертами медлительного украинца. Третий их сожитель был тот самый Цыплов, который в прошлом году, во время моего пребывания в тобольском подследственном отделении, сидел в камере, окошко которой выходило под своды тюремных ворот. Это он был приговорен к смертной казни за сопротивление напавшим на него на дороге переодетым жандармам, но, в сущности, для того, чтобы выведать у него следы конспиративной организации.

Я с любопытством взглянул на эту чрезвычайно характерную фигуру. Среднего или несколько выше среднего роста, он был очень широкоплеч и коренаст. Фигура у него была как будто медвежеватая, что, однако, не мешало известной ловкости движений. У него были большие навыкате глаза, толстые усы и хищный нос крючком. Физиономия обладала той особенной выразительностью, которая делала ее мелодраматически страшной. Глаза у Цыплова легко загорались и как-то особенно таращились, лицо легко наливалось кровью, и толстые усы становились торчком. Он, очевидно, знал за собой эту особенность и часто делал страшную физиономию.

В момент моего прибытия в камере происходила небольшая драма. В ней недавно был и еще один жилец. Это был некто Симский, бывший офицер, как и Верещагин, попавший в политические неизвестно за что. Товарищи, очевидно, не захотели мириться с некоторыми чертами его характера и, охотно приняв к себе Цыплова, потребовали удаления Симского в другую камеру. Теперь он был отсажен в больницу. Узнав еще вчера о моем приезде, он прислал мне с парашечником записку, как знакомый. Он был одно время в Глазове и теперь принял меня за моего брата. Я слышал о нем кое-что, еще будучи в Починках, и теперь постарался рассеять его недоразумение. Когда я отдал записку нашему посланцу, которого звали по имени, а может, только прозвали Меркурием, Цыплов прибавил ему решительным тоном:

— Кроме того, скажи Симскому, что Цыплов требует, чтобы он прислал сапоги. Да чтобы сейчас!

— Слушаю-с,— почтительно ответил парашечник.

Оказалось, что кто-то в камере был нездоров, и Симский отдал ему на время свои теплые валенки, а сам взял новые сапоги Цыплова. По миновании надобности валенки были отосланы Симскому, но с возвращением сапог он медлил, оттягивая день за день. А так как ему предстояло скоро выйти на место поселения в Енисейской губернии, то у Цыплова явилось опасение, что и его новые высокие сапоги могут последовать туда же.

— Так смотри, чтобы сей-час... Понимаешь!..— подтвердил Цыплов. Но через некоторое время наш Меркурий вернулся без сапог и вместо этого подал записку. Цыплов прочел, и лицо у него налилось кровью. Сим-

ский писал, что «мы все социалисты, значит, не признаем собственности... Так может ли между нами быть речь о том, что *твое* и что *мое*». Цыплов, весь красный, с взъерошенными усами, схватил тотчас же бумажку и карандаш, уселся за стол и, пыхтя, что-то долго писал, с очевидным трудом выводя строки. Кончив, он поднялся и сказал, обращаясь к нам:

— Вот послушайте, что я написал ему...

Голос его прерывался от бешенства. Мы с интересом приготовились выслушать его реплику по поводу социализма, но она была очень кратка и гласила только:

— А я тебе, сукин сын, говорю: отдай мои сапоги!!!

Но последнюю фразу Цыплов произнес с таким бешенством и таким неожиданно громовым голосом, что бедняга Меркурий, человек, очевидно, чрезвычайно робкий, мгновенно вылетел за дверь, и его пришлось вернуть из коридора, чтобы все-таки вручить записку. Цыплов, очевидно, всю силу своего письма, вложил именно в свою бешеную интонацию, не соображая, что интонация не передается почерком. Впрочем, он не ошибся. Робкий Меркурий, очевидно, сумел передать часть своего ужаса Симскому, и через несколько минут сапоги были уже у Цыплова.

Громовый оклик Цыплова разбудил еще одного жильца камеры. Кто-то, ворча, зашевелился на одной из кроватей, и с нее поднялся молодой человек с одутловатым, как будто налитым, нездоровым лицом и сел, запустив руки в волосы, как будто в тяжелом похмелии. Когда через несколько минут он пришел в себя и поздоровался со мной, я узнал в нем еще одного знакомого и вспомнил характерный эпизод.

Когда мы жили в Петербурге, на Клинском проспекте, к нам как-то неожиданно явился земляк из Житомира. Это был некто по фамилии, помнится, Станкевич. Он был, собственно, хороший знакомый нашего родственника, офицера Туцевича, но, как земляк, явился к нам и как-то быстро прижился. С матерью говорил о житомирской родне и очень любил стряпать, изобретая разные польские соусы. Он служил в Житомире в качестве мирового посредника и приехал хлопотать о чем-то по службе. По-видимому, особенными служебными талантами не отличался, но отлично рисовал на слоновой кости миниатюрные портреты губернатора, губернаторши и милых превосходительных деток, и на этом покоилась его карьера. Нам он начинал порядочно

надоедать, тем более что порой проговаривался. Однажды, говоря о своих заслугах и о неблагодарности начальства, сообщил, что у губернатора было свое имение и ему, Станкевичу, удалось отлично устроить «соглашение» с крестьянами в пользу его превосходительства. Только чрезвычайное простодушие и какая-то особенная наивность этого любителя миниатюр и соусов кое-как спасали нас от столкновений, но все-таки мы ждали, скоро ли уладятся его дела.

Однажды я остался с ним вдвоем в квартире. Сестры ушли на курсы, мать за покупками, брат и зять на дневную работу. Станкевич возился около плиты над каким-то редким кушанием, которое должно было к обеду удивить всех нас, начинающих уже терять всякую веру в его кулинарные способности, когда раздался звонок и к нам вошел тот самый юноша, которого я увидел в камере. Он был одет очень неряшливо, в грязной блузе и сильно обтерханных снизу брюках. В этой неряшливости было что-то нарочитое, в сущности же в его наружности и манерах видно было нечто, пожалуй, утонченное. И действительно, с первых же слов он заявил, что он сын генерала Емельянова, но что ему, в сущности, плевать на генеральское звание, да, пожалуй, и на самого родителя, так как последний заражен предрассудками, а сам юноша от всяких предрассудков избавился. Ко мне он явился потому, что слышал о моих знакомствах с рабочими и желает проникнуть на одну из фабрик в качестве пропагандиста или хоть в какую-нибудь типографию.

Разумеется, в то время устроить это было нетрудно, но юноша производил до такой степени легковесное и прямо противное впечатление, что ни я, ни вернувшийся к тому времени брат не имели ни малейшего желания оказывать ему какое бы то ни было содействие. Но и после нашего отказа он продолжал сидеть, развалясь за столом, и болтал все в том же роде. Станкевич, слышавший все из кухни, через некоторое время вошел в комнату и, сев к столу, смотрел на юношу не отрывая глаз. Емельянов продолжал, не только не стесняясь постороннего, но еще как будто подстрекаемый его присутствием. Тогда я заметил, что во взгляде Станкевича является какое-то почти плотоядное выражение. Наконец он отозвал меня в другую комнату и сказал:

— Послушайте. Здесь нас только четверо. Давайте сейчас высечем этого мальчишку... Отец, если он чело-

век действительно почтенный, будет нам только благодарен.

Станкевич был очень разочарован моим отказом.

С этой встречи прошло несколько лет. Передо мной был тот же юноша, только лицо у него было еще более нездоровое. Не знаю, за что именно он опять попал в тюрьму. Кажется, за побег, который он устроил вместе с Вишневецким, тоже юношей, но только скромным и более приятным, который помещался в той же камере. Емельянов теперь держался не так мальчишески задорно, как в первую нашу встречу, но при первом взгляде было видно, что это человек конченый. У него было лицо молодого пропойцы, набряклое и одутловатое. Оказалось, что, живя в Красноярске, он предавался самому грязному разгулу и в конце концов пристрастился к морфию. Некоторые сердобольные женщины из политических старались удержать его от этих пороков, но только напрасно потратили время. Через несколько лет он вынырнул и даже одно время приобрел некоторую, довольно печальную известность, печатая в «Московских ведомостях» свои воспоминания, очень бесцветные и бледные. Видно было руку недоучившегося, хотя и бойкого гимназиста, который соответственно требованиям катковской газеты старался по возможности облить грязью всех, с кем встречался во время ссыльных скитаний. Вспомнил он и о встрече со мной в красноярской тюрьме. «Это субъект,— писал он,— которого, будь он даже в десять раз талантливее, ни одно правительство не потерпело бы в среде мирных граждан». В том же роде были отзывы и о других лицах...

Каждый день ко мне приходил кто-нибудь из родных, и мы проводили вместе по часу. Порой вместе с матерью или сестрой являлся еще кто-нибудь из ссыльных. Это была уже некоторая вольность, и смотритель Островский допускал ко мне без разрешения губернатора тех, кто ему нравился. Так познакомился я с С. Н. Южаковым. Те, кто знал Сергея Николаевича в петербургском периоде его жизни, не представляют себе того худощавого, очень живого и изящного молодого человека, которого я увидел в красноярской тюрьме. Высокий, стройный, одетый с очевидной заботливостью, он производил впечатление изящного джентльмена...

Тогда у него не было еще и привычки к вину и пиву, которая явилась впоследствии.

Мой зять, студент второго курса Медико-хирургической академии, устроился провизором в аптеке. Очень деловитый, он скоро овладел работой, и им дорожили как работником. Семье жилось сносно. Мать уже привыкла к неожиданным ударам судьбы, и хотя по временам не могла удержать слез при мысли о дали, куда меня гонит судьба на этот раз, но я успевал передать ей часть моего оптимизма... Общество в Красноярске собралось симпатичное. Тут была, между прочим, семья Лесевичей, и эти две семьи служили центрами, которые так дороги в ссылке...

Эти свидания служили как бы маяками, освещавшими мое пребывание в Красноярске. Остальное время проходило обычным тюремным порядком. Отношение местной администрации было, в общем, довольно мягкое. Ежедневные посещения губернского прокурора налагали свою печать и на отношения остальной администрации. Полицеймейстер часто заходил в нашу камеру с вопросами, нет ли у нас каких-нибудь просьб. Все мы держались с ним корректно, за исключением Емельянова, который, едва очнувшись от постоянной сонливости, то и дело отпускал сальные фамильярности, от которых всем становилось неловко...

— Что давно не приходили?.. Чем вы там занимаетесь?..

И он делал непристойное предположение, от которого всем становилось совестно.

В провинции все веяния доходят поздно, и новый реакционный курс, водворявшийся в столицах, до Красноярска еще не дошел. Скоро после моего отъезда наступили события в красноярской тюрьме, после которых даже влияние губернского прокурора не могло смягчить отношений.

Для меня не было тайной, что из красноярской тюрьмы готовится побег. Хотя уже 7 мая 1881 года Лорис-Меликов вышел в отставку и реакция уже определилась в центрах, но на такой дальний восток эта перемена еще не докатилась. В обществе все еще ждали чего-то, относились с большим интересом к политическим заключенным, сидевшим в красноярской тюрьме, среди которых был сын важного губернского чиновника, и готовы были оказывать им услуги.

Обыкновенно нас выпускали гулять после поверки, когда все остальные заключенные уже запирались по камерам. Приходил старший надзиратель или помощник смотрителя и объявлял о прогулке. Я старался не терять времени, накидывал халат и выходил во двор.

Однажды я вышел таким же образом одним из первых. Передо мной ушел только Цыплов. Когда я сошел вниз, то на маленьком дворике никого не оказалось. Большой фонарь освещал его весь. Цыплова не было. Когда я оглядывался с недоумением, Цыплов вдруг вышел из-под широких затененных ворот. Он быстро подошел ко мне и, схватив мою руку, крепко, до боли сжал ее. Лицо его при свете фонаря было бледно, и дышал он тяжело, как человек, глубоко взволнованный.

— Что это с вами, Цыплов? — спросил я.

— Сейчас был за воротами,— сказал он, наклоняясь ко мне.

Оказалось, что ключник только что выпустил помощника смотрителя, когда его вдруг окликнул Островский из канцелярии. Канцелярия помещалась за тюремной оградой, и ход в нее был снаружи. Островского страшно боялись, и на его нетерпеливый окрик ключник бросился опрометью, не закрыв ворот тяжелым и тугим замком. Цыплов это заметил и по первому побуждению тотчас же очутился за воротами...

— А там... воля! — говорил он мне, почти задыхаясь.— Сегодня базарный день. Мужики возвращаются с базара пьяные. Кинулся к первой телеге, схватил чалдона за горло...

И он показал мне, как бы он это сделал. Его страшное лицо с вытаращенными и горящими глазами наклонилось близко к моему лицу...

— Ночь темная... Погнал бы лошадь... Подумали бы, что пьяный чалдон гонит. До зари где был бы... А там тайга-матушка приютила бы привычного бродягу... Да и не спохватились бы до утренней поверки.

— Так в чем же дело?..

— Нельзя,— ответил он со вздохом.— Неловко перед товарищами. У нас есть план... Если нельзя будет всем, первый пойдет Малавский...

В то время к воротам торопливо прибежал ключник, и раздалось щелканье замка. Цыплов тяжело вздохнул...

Я оценил эту жертву бродяги на алтарь политического товарищества. И это была не первая жертва.

В этот же вечер он рассказал мне, как во время одной из поездок с поручениями политических, в поезде между Екатеринбургом и Пермью, он очутился в вагоне с толстосумом-купцом, который имел неосторожность при нем вынуть из кармана бумажник, а потом беспечно задремал.

— Эх, по прежнему бы моему поведению... Схватил бы купчину за горло... Вытащил бумажник, да на ходу поезда в тайгу... А тут... убеждения не позволили...

Этот рассказ Цыплов любил приводить как доказательство, какую силу над ним приобрели новые убеждения... И по тому, как он рассказал мне этот случай, как его рука невольно потянулась к горлу купчины и как сверкали страшные глаза, я понял, что «сила убеждений» должна была быть большая...

Впоследствии, когда Цыплов попал на Кару, он некоторое время все еще держался общей дисциплины. Но со временем гнет «убеждений», принципиальные споры в пустоте надоели старому бродяге, и он при посещении тюрьмы петербургским чиновником подал покаянную просьбу и был переведен в привычную, общеуголовную среду...

Я прожил в Красноярске двенадцать дней, и в это время никаких особых происшествий не происходило. Но после моего отъезда разыгрался целый ряд событий, отразившихся трагически на судьбе моих знакомых. План побега был приведен в исполнение: убежал Малавский. Ему помогли несколько человек с воли, в том числе молодая девушка, кажется портниха, которая приютила его на своей квартире. Предполагалось, что он проживет у нее лишь первые дни, пока кругом города будут идти особенно тщательные поиски. Помещение было неудобное: бедняге Малавскому большую часть времени приходилось проводить под кроватью, особенно когда начальство почему-то обратило внимание на портних. К тому же выбор оказался не совсем удачен: Малавский был слишком тяжел на подъем и малопредприимчив. Кажется, что он пропустил несколько рискованных, но все-таки возможных случаев и в конце концов его открыли. Были замешаны и пострадали несколько лиц, в том числе дочь прокурора Долгушина. Малавскому и Долгушину прибавили по пятнадцати лет каторги. Малавский пытался бежать еще раз с Кары, но опять попался и был переведен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер...

Так же трагически кончил и Долгушин. Я не знаю точно подробностей дальнейших разыгравшихся в Красноярске происшествий. То, что доходило до меня, представляется в следующем виде: после побега Малавского самодур Островский освирепел и стал проявлять свою власть и свое самодурство. Однажды он отказал в какой-то законной просьбе жене Долгушина или кому-то из его родственников, причем сделал это в оскорбительной форме. Долгушин во время дневной прогулки во дворе подошел к нему и совершенно спокойно предложил вопрос: он ли, Островский, сделал такое-то распоряжение? Едва Островский ответил утвердительно, как раздалась звонкая пощечина. Это было в присутствии полицеймейстера, и таково было еще обаяние этого странного и физически слабого человека, что полицеймейстер, как рассказывали, бросился к нему с просьбой успокоиться.

На этот раз даже влиянию отца не удалось уже потушить дело, и Долгушину, как и Малавскому, пришлось жестоко расплатиться за свой поступок; ему сначала прибавили пятнадцать лет каторги, а потом он был тоже отправлен в Шлиссельбург, где и погиб...

Двадцать третьего сентября утром мне пришлось попрощаться с родными, так как вечером в тот же день за мной явились жандармы, и опять потянулись дни и ночи под однообразный звон почтового колокольчика. Из этого пути у меня осталось впечатление одной чудесной зари. Рассвет застал меня на главном спуске с гор за Нижнеудинском. Лошади бойко спускались с гор в долину. Перед глазами виднелась широкая даль, и на далеком горизонте стояла гряда ослепительно белых облаков какой-то странной формы, освещенных яркими лучами только что взошедшего солнца. Я не мог оторвать глаз от этого зрелища, и ямщик, взмахнув в том направлении кнутом, сказал:

— Белогорье это... Вишь, как явственно оказывает сёдни.

Я понял, что это не облака, а дальние снеговые горы...

Тридцатого сентября мы приехали в Иркутск.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

В Иркутской тюрьме

I

НАРОДНИКИ: РОГАЧЕВ, ВОЙНАРАЛЬСКИЙ И КОВАЛИК

В Иркутске, по обыкновению, меня прежде привезли в канцелярию губернатора, которым тогда был Педашенко. Его самого я не видел, и вскоре те же жандармы по распоряжению из канцелярии повезли меня в тюрьму.

Здесь опять обычные формальности, и меня с моим небольшим чемоданчиком повели в политическое отделение. Тут мне предстояла встреча с той самой партией, которую я уже видел при ее проезде в Перми.

Когда мы с тюремным сторожем вошли в довольно тесный, темный и грязный коридор, то принуждены были остановиться. Камеры были открыты, и их жильцы тесной толпой сгрудились в коридоре. Они вытягивали шеи и подымались на носки, стараясь взглянуть в середину толпы, откуда неслось пение в несколько голосов какой-то плясовой народной песни, кажется камаринского, и чей-то частый топот.

Оказалось, что это пляшет Рогачев. Он то опускался на пол вприсядку, то быстро привскакивал, и тогда мне было видно его лицо, сверкавшее веселым одушевлением. На голове у него была лихо заломлена арестантская шапка без козырька, из-под которой над лбом выбивались отросшие кудри (по тюремным правилам, у каторжан брили полголовы).

— О, черт бы побрал этого Рогачева! — сказал около меня один из зрителей, с восторгом и завистью глядя на плясавшего богатыря. На нем как будто совсем не отразились тяжелые годы централки, так сильно истомившие других. Я невольно вспомнил мою прошлогоднюю спутницу Веру Павловну и ее сердечную драму...

Когда Рогачев кончил пляску и, смеясь, стал отирать потный лоб, арестанты заметили прибытие нового члена компании и стали со мною знакомиться.

Меня ввели в довольно большую камеру, где для меня нашлось место на нарах среди шести или семи человек. Здесь мне прежде всего бросился в глаза Михаил Петрович Сажин, известный в революционных кружках под именем Росса, друг и сподвижник Бакунина, страшно воевавший с «лавристами». У него был совершенно обнаженный череп, что придавало ему среди нас солидный вид, но вместе с тем удивительно молодые блестящие глаза, сверкавшие по временам веселием и юмором. Впоследствии мне было суждено ближе сойтись с этим человеком и работать на общем деле.

В этой же камере был еще кавказец Карташов и два крестьянина Черниговской губернии, Олейник и Песковой, сосланные за так называемое чигиринское восстание, организованное посредством подложных царских грамот Стефановичем и Дейчем. Это были природные украинские крестьяне, которые до конца пребывания в Сибири не могли примириться с ней. Все здесь, по их мнению, было не по-людски, то есть не по-украински; даже сало не имело «никоторого скусу». И старик, говоря это, горько плакал.

Кажется, в той же камере, куда поместили меня, был еще Сыцянко, сын харьковского профессора, судившийся вместе с отцом. Отца оправдали, сына сослали в Якутскую область.

Других своих сожителей, кроме перечисленных, я не помню, может быть, потому, что наши камеры почти не запирались; мы целые дни могли сообщаться, и отдельные лица выплывают в моей памяти на общем фоне.

Во всяком случае, это собрание заключенных в иркутской тюрьме представляло необыкновенный интерес. Это был как бы своего рода геологический разрез напластований того революционного поколения, с его быстро сменявшимися настроениями от наивно-идеалистического народничества к террору. Здесь были представители большого процесса пропагандистов, охватившего, по словам правительственных сообщений, своей пропагандой тридцать шесть губерний. Предполагалось, что стоит раскрыть народу глаза на его положение, чтобы привести в движение «присущие русскому народу творческие силы». Это было поколение «хождения в народ» и большого процесса 193-х.

Одним из популярных и ярких представителей этого

периода являлся бывший артиллерийский офицер Рогачев, о котором мне пришлось уже говорить.

Кроме сердечной драмы Веры Павловны, он интересовал меня еще как автор «Записок пропагандиста». Как-то Григорьев, сохранивший связи с военной средой, принес мне записки бывшего артиллериста Рогачева, ходившие по рукам, когда мы были еще на свободе.

Лев Тихомиров в период своего обращения к Каткову в одном из фельетонов уже своего покаянного периода говорил, между прочим, и об этих записках. Он отозвался о них как о произведении совершенно бездарном. На меня они произвели совершенно другое впечатление. Надо сказать, что меня нелегко было подкупить «тенденцией». Мне не нравились гремевшие тогда «Знамения времени» Мордовцева, а Светлов из не менее популярного среди молодежи романа «Шаг за шагом» Омулевского казался мне слишком светлым, как хорошо вычищенный медный таз.

Помню, как возмущали эти мои отзывы моих сверстников-студентов.

Но записки Рогачева, лишенные художественных претензий, простые и бесхитростные, произвели на меня прямо обаятельное впечатление. В них Рогачев рассказывал только то, что видел в том новом мире, в который многие из нас стремились окунуться, сбросив с себя «ветхого человека». В его простых рассказах мне чудился волжский простор и поэзия того настроения, которому наше поколение отдало столько жертв. Не знаю, какое впечатление произвели бы на меня теперь эти записки пропагандиста. Тогда мне чудилась в них Волга, пристани с наваленным на них барочным лесом и два интеллигентных пильщика, жадно приглядывавшиеся к новому для них миру или, во всяком случае, к миру с новой для них точки зрения.

Рогачев с другим товарищем, фамилии которого я не помню, ходили летом по волжским пристаням, участвуя в артелях, нанимавшихся для распилки сваленного на пристанях леса. Теперь уже многое исчезло из моей памяти, но некоторые эпизоды остались... Помню, например, описанный Рогачевым вечер на песчаной отмели одной из волжских пристаней где-то, помнится, около Работок. К костру рыбаков, с которыми ночевали пильщики, подходит группа крестьян. Они — ходоки от общества и возвращаются в свою деревню ни с чем.

Дело, на их взгляд, простое: барин захватил крестьянские земли...

Был ли это действительно формальный захват, или у крестьян было только общее фантастическое представление об их «исконном праве», основанное на том, что земля божия и т. д.,— я теперь не помню. Во всяком случае, мы все тогда разделяли взгляд на землю как на достояние тех, кто на ней трудится: тогдашнее революционное поколение было в вопросах землевладения на стороне крестьян, идеализируя притом их общину и ее порядки. В данном случае закон, истекающий из римского права, из формальных соображений о сроках и давностях, был на стороне помещика, и крестьяне всюду встречали отказ. Кажется, доходили даже до царя.

Возникал вопрос: что же дальше? У костра водворилось унылое молчание, пока один мужик не заявил, что теперь миру остается одно средство. Помещичий дом стоит над волжским откосом, и окна выходят в глухой сад. Стоит пробраться туда вечером и выпалить в окно. Этим весь вопрос решится...

«Я громко захохотал»,— писал Рогачев в своих записках; и я теперь представлял себе хохот этого богатыря.

Впоследствии такой «бытовой террор» серьезно обсуждался и даже применялся как один из революционных приемов. Но тогда еще этого не было, и Рогачев стал объяснять при огне костра, что, кроме беды на всю деревню, этим ничего не добьешься. Явятся «законные наследники», и земля все равно не станет мужицкой. Виноват не тот или другой барин и не то или другое решение сената, а общие условия русской жизни. Нужно взяться за ум всем русским миром и наместо господской правды, поддерживаемой царем, поставить правду общую, крестьянскую, мирскую, а не царскую... и т. д.

Все мы тогда были народники, и все сочувствовали этим идеям. Теперь я, конечно, знаю, что картина была не так проста, как мне тогда представлялось. Авторитет царя был еще не поколеблен в глазах крестьянства, и все приписывалось козням хитрых господ. Разговоры о царе, наверное, возбуждали в слушателях Рогачева много сомнений и заставляли настораживаться. Но в тогдашнем нашем настроении все это казалось так просто и ясно.

Помню из тех же записок еще один эпизод. Рогачев

(на этот раз, кажется, один) пробрался в какую-то «раскольничью» деревню. Надо заметить, что так называемый «раскол», разумея под ним все старообрядчество и сектантство безразлично, представлялся в глазах интеллигенции настроенным оппозиционно к преследующему его правительству. Казалось, это так естественно: правительство преследует свободу религиозного убеждения. Значит... Но это была еще одна ошибка радикальной интеллигенции: старообрядчество было, наоборот, самая верноподданная и консервативная часть русского народа. Но эту ошибку разделяло тогда и само правительство в интересах, разумеется, господствующей церкви. Рогачев опять правдиво и просто описывал то, что видел.

Зайдя в дом богатого старообрядца, находившегося в то время в отсутствии, он застал здесь молодую девушку скитского типа, очевидно очень набожную, которая учила маленького братишку чтению. Преподавание шло, конечно, по-славянски — мальчик разбирал по складам Псалтырь. Прислушавшись к уроку, неизвестный странник решил вмешаться в него. Учить надо не тому и не так. Надо, чтобы мальчику было понятно, о чем идет речь. И он начал читать популярную тогда нелегальную «Сказку о четырех братьях». Четыре брата отправляются искать по свету правду, и их приключения в этих поисках составляют содержание сказки. Правды они не находят нигде: всюду царит неправда, поддерживаемая властями, не исключая и царя. Мальчик жадно слушает неведомого странника, читающего что-то так просто и понятно. Девушка сначала тоже заслушивается, но затем спохватывается, что в виде этого красавца явился соблазн и грех. В это время со двора слышен стук телеги. Вернулся отец. Девушка страстно просит странника не заводить таких речей при отце.

Целая полоса жизни легла между тем временем и настоящим, когда я познакомился с автором этих записок. Рогачев был арестован, долго просидел до суда и после — в централке. Когда наступил суд сената, то подсудимых, которых целые годы держали в тюрьмах, чтобы судить вместе, решили в видах удобства разделить на отдельные группы. Масса подсудимых (193), озлобленная и вообще склонная к протесту по всякому поводу, решилась не подчиняться, и зал сената стал ареной бурных эпизодов. Между прочим, рассказывали,

что Рогачев, вырвавшись у жандармов, подбежал к решетке, отделявшей сенаторов от подсудимых, и привел судей в ужас, с огромной силой сотрясая эту решетку, от которой его едва удалось оттащить жандармам.

И все-таки, когда вспоминаешь о том времени, невольно приходит в голову: какая это была, в сущности, невинная стадия русской революции!..

Были в иркутской тюрьме и другие представители «большого процесса» и идеалистического народничества: Порфирий Войнаральский и Сергей Филиппович Ковалик.

С ними были связаны несколько эпизодов, которые сделали их имена очень популярными в радикальной (так тогда называли) среде. Начать с того, что оба были уже далеко не зеленые юноши, как большинство подсудимых. Процесс застиг их уже мировыми судьями. Затем ими, очевидно, так дорожили в революционной среде, что было сделано несколько попыток устроить их побег. Первая попытка была сделана еще в доме предварительного заключения. Обоим удалось уже перебраться через стену, но один (кажется, Ковалик) сделал прыжок, сломал себе ногу, а другого догнал на улице на извозчике какой-то доброволец из публики. Тогда называли фамилию этого человека. Говорили, что, узнав, кого именно ему удалось задержать, он очень жалел об этом.

Другая попытка была сделана уже в то время, когда Войнаральского везли в одну из центральных тюрем Харьковской губернии. Это было дело чрезвычайно смелое, даже дерзкое, и о нем много писали в газетах. Среди белого дня, когда в полях работали крестьяне, на почтовую тележку, в которой два жандарма везли Войнаральского, напали верховые. Человек, переодетый офицером, остановил повозку и стал расспрашивать жандарма. Затем выстрелом из револьвера он ранил этого жандарма и долго гнался вместе с другими по дороге за повозкой, причем на эту странную гонку глядели равнодушно украинцы, опершись на свои косы. В конце концов ямщику удалось ускакать. Только дальше, когда погоня уже прекратилась, на дорогу выехал еще один всадник, которого жандарм и заподозрил в соучастии с первыми. Жандарм принял свои меры, и верховой проехал мимо. Это был тот самый Медведев-

Фомин, о котором я говорил уже. Теперь он был уже на Каре.

Войнаральский и Ковалик, связанные дружбой на воле, были дружны и здесь. Войнаральский был человек небольшого роста, подвижной сангвиник. Его приятель был, наоборот, большого роста и очень флегматичен. Только приглядевшись к этому большому, грузному, как бы отяжелевшему человеку, можно было разглядеть огоньки юмора, пробегавшие порой в его глазах, и услышать метко-остроумное замечание. Вообще же он производил впечатление помещика-сибарита, и арестантский халат порой казался на нем именно комфортабельным халатом. Говорили, что впоследствии, в Якутской области, он оказался очень деятельным хозяином, до известной степени культуртрегером. По возвращении из ссылки, после какого-то манифеста, он устроился при помощи старых приятелей и сослуживцев в либеральном акцизном ведомстве. Я с ним переписывался, но в последнее время мы потеряли друг друга из виду.

II

ИППОЛИТ НИКИТИЧ МЫШКИН

Но, быть может, самым ярким представителем не только народнического периода, но, пожалуй, и всех напластований революции того времени был Ипполит Никитич Мышкин.

Брандес в одном из своих историко-литературных очерков, характеризуя настроение французского общества перед Великой французской революцией, говорит об одном французе, с которым делались нервные припадки, когда при нем упоминали слово «священник» (curé или, не помню точно, аббат). Действительно, нужно было огромное движение в отдельных душах, движение до известной степени болезненное, чтобы все эти индивидуальные сотрясения могли вызвать тот огромный сдвиг в общественной психологии, который дал Великую французскую революцию. Разумеется, не во всякой душе это сказывалось так резко, но во многих происходили соответственные душевные сотрясения, заранее уже предвещавшие взрыв вулкана.

Мышкин был характерным представителем такого сотрясения в душе русского интеллигента.

С другой стороны, великий русский художник Тур-

генев, который, как известно, изучал русских революционеров, говорил о Мышкине Кравчинскому: «Вот человек!.. Ни малейшего следа гамлетовщины!»

Тургенев ошибался: в Мышкине было много болезненного, и если в ком были следы процесса, отмеченного Брандесом, то это именно в Мышкине. Правда, наряду с этим, в нем были признаки очень сильной личности. Сын николаевского солдата из кантонистов и простой крестьянки, он выделился уже в школе кантонистов яркими способностями и был переведен в Межевой институт как выдающийся воспитанник. По окончании этого заведения он изучил, кроме того, модную тогда стенографию, стал правительственным стенографом, завел собственную типографию и небольшой книжный магазин. Всякое практическое дело кипело у него в руках. В некоторых его биографиях упоминается, что в начале службы он попал в ординарцы к какому-то штабному генералу, который изобрел систему стенографической азбуки и демонстрировал ее перед Александром II. В качестве секретаря или ординарца при этом присутствовал и Мышкин. При таком начале, при счастливой наружности и при умении пользоваться благоприятными шансами для личных целей — ему предстояла блестящая карьера.

Но... Мышкин скоро свернул на путь, который увлекал тогда его поколение. Кажется, что ему пришлось стенографировать процесс нечаевцев для катковских «Московских ведомостей». Очень может быть, что здесь впервые проник в него микроб революционного настроения.

Как бы то ни было, он с прежней деловитостью и пламенной энергией пошел по этому новому пути. В своей типографии он стал печатать книги, хотя сначала и не прямо революционного содержания, но с известным подбором — так сказать, полузапрещенные. В качестве наборщиц он подобрал кружок интеллигентных девушек, между прочим, из того архангельского кружка, о котором я говорил выше. Представительницу этого кружка я встретил в Перми, в лице Ларисы Тимофеевны Зарудневой. Она пережила впоследствии довольно крутой перелом в сторону религиозного настроения, но, сколько мне известно, в душе ее теплился до конца настоящий культ преклонения перед Мышкиным.

Таким образом, у Мышкина в то время был уже кружок единомышленниц и почти готовая нелегальная

типография. Стоило ему случайно познакомиться с Войнаральским, и его типография стала печатать революционные издания для саратовских пропагандистов.

Однажды, подходя к дому, он заметил на окне условный сигнал. В квартире происходил обыск, причем жандармы неожиданно наткнулись на целый склад нелегальщины. Мышкин, разумеется, домой уже не явился. Все наборщицы были арестованы, а сам Мышкин скрылся за границу.

Здесь, не довольствуясь обычной жизнью эмигранта, он задумал экспедицию с целью освобождения Чернышевского, жившего в то время в Вилюйске. Это было со стороны правительства прямое беззаконие: за окончанием срока Чернышевского должны были бы отпустить на поселение, но (опять по высочайшему повелению) этот законный порядок был для него заменен поселением под караулом в особой тюрьме, выстроенной в Вилюйске для выдающегося повстанца Огрызко (в то время уже отпущенного). С этих пор освобождение Чернышевского стало одной из очередных задач русских революционных партий. Есть указания, что несколько лиц отправлялось с этой целью в Сибирь, в том числе известный Герман Лопатин, а в последнее время мне попалось указание, что в этом же намерении подозревался и Грибоедов, который сидел со мной в Литовском замке. Но один только Мышкин со своей пламенной энергией и стремительностью успел доехать под видом жандармского офицера до самого Вилюйска. Здесь его постигла неудача. Говорили, что он надел аксельбант не на то плечо, на которое следовало, и что это обратило внимание вилюйского исправника. Но это, конечно, неверно. Мышкин сам служил в военной службе и, конечно, хорошо знал подробности обмундировки. Но вообще предприятие было устроено непрактично: нельзя было миновать якутского губернатора. Исправник потребовал бумаги от губернатора, и Мышкину пришлось отправиться в Якутск. При этом он не мог не заметить, что двое провожатых казаков держали себя как караульные, приставленные к нему. Мышкин стрелял в них, одного ранил и сам был арестован. При этом мне кажется, что тут уже было много гамлетовщины: Мышкин выполнял скорее долг революционера, чем действительно стремился убить обоих казаков и освободиться.

Как бы то ни было, Мышкин был арестован. Здесь

опять он вел себя не совсем обычно. Все другие, попав в положение арестованных, относились к этому по возможности спокойно и держали себя с провожатыми как случайные спутники.

Мышкин держался иначе. Он сразу становился в положение воюющей стороны. Простодушный жандармский офицер, отвозивший его в Иркутск, рассказывал впоследствии (и это отмечают некоторые биографы Мышкина), сколько ему пришлось натерпеться дорогой. Когда, например, приходили сказать, что лошади поданы, Мышкин выходил на середину комнаты и становился неподвижно. Я думаю, что он ничем с своей стороны не желал содействовать жандармам в своем передвижении. Жандармам приходилось одевать его и вести в приготовленную повозку. Это, разумеется, тоже может быть названо тургеневским гамлетством. Это ожесточало провожатых и сильно ухудшало положение Мышкина. Простой русский человек не понимал таких сложных вещей. Но Мышкин менее всего думал о своем положении.

Таким образом, Мышкин был доставлен из Сибири и попал на большой процесс 193-х. Правительство тоже отнеслось к процессу этих наивных идеалистов-народников не просто и не спокойно. Оно испугалось, а за испугом обыкновенно следует жестокость. Мышкин сразу приобрел широкую известность. Он настоял перед товарищами, чтобы они позволили ему, не в пример другим, произнести в сенате речь. Он, вероятно, чувствовал в себе незаурядные ораторские способности. И действительно, когда он говорил эту речь, в сенате происходило нечто необычайное. Зал заседания прямо кипел. Жандармы рвались к Мышкину, его товарищи их не пускали. Профессиональные адвокаты прибегали в волнении к другим подсудимым, чтобы поделиться с ними потрясающими впечатлениями от красноречия Мышкина.

Когда после этого его решили перевести вместе с некоторыми другими в крепость, он, проходя по коридору, поднял на ноги весь дом предварительного заключения. «Прощайте, товарищи,— кричал он,— меня ведут пытать!» Вера Николаевна Панютина, сидевшая в то время в предварительном заключении, рассказывала мне, что вслед за этим по коридорам пронеслась настоящая буря истерик, грома по камерам и криков... Надо заметить, что в то время пыток со стороны прави-

тельства еще не было. Но Мышкин представлял себе поведение врагов именно таким образом.

Правительство потеряло голову. Вместо спокойствия силы, может быть, великодушия, царь ответил личной жестокостью. Даже сенат, принимая во внимание долгое предварительное заключение (прокурор Желеховский сказал с необыкновенным цинизмом, что многих держали «для фона»), ходатайствовал о значительном смягчении приговора. Были до такой степени уверены в этом смягчении, что многие заключенные в ожидании были даже отпущены по домам.

Царь отказал в этом смягчении. Это вызвало осуждение даже в нейтральных слоях общества. Царь, очевидно, поддался личному раздражению. Отпущенные были вновь арестованы и разосланы в ссылку, а к тем, кто заявил о себе в процессе особенно ярко, применили жестокую систему центральных тюрем, устроенных нарочно в Харьковской губернии (новобелгородская и андреевская или печенежская).

Я уже сказал, что это произвело самое отрицательное впечатление даже на нейтральное общество и, может быть, решило участь Александра II.

Из этих двух тюрем Мышкин попал в новобелгородскую, в которой режим был особенно тяжелый. Здесь он, едва осмотревшись, заметил в камере шатающуюся половицу и тотчас же создал план побега. Сняв доску, он проник под пол. Вынося землю во время прогулки в тюремной парашке, которую арестанты выносили сами, он уже вывел подкоп за стену. Теперь предстояло только выйти из-под земли с наружной стороны стены. Если часовой не заметит (Мышкин выбрал для этого канун пасхи), то являлась отдаленная возможность свободы. Случайность разрушила этот план: тюремный сторож заглянул в камеру в неурочный час, именно в тот момент, когда Мышкин, приподняв половицу, выходил из подкопа. В отчаянии от этой неудачи Мышкин решается сделать что-нибудь влекущее за собой смертную казнь. И вот в какой-то праздник во время торжественного богослужения он наносит смотрителю Копнину пощечину в церкви. Его страшно избили, но эпизод кончился все-таки неожиданно: это совпало с «диктатурой сердца», и Мышкина только перевели из новобелгородской в андреевскую централку, где режим был значительно мягче, а затем всех централистов вывезли в Мценск, где дали им отдохнуть, и повезли на

карийскую каторгу. Вот на этом пути я видел их сначала в Перми, а потом в Иркутске.

Уже из этой характеристики читатель видит, что Мышкин был человек обреченный: у него не было самообладания и спокойствия, необходимого в борьбе. Поведение врагов представлялось ему в преувеличенно злодейском виде, и к себе он был беспощаден. И действительно, вскоре после моего отъезда из Иркутска опять представился случай для нового выступления Мышкина. Умер, заразившись, кажется, тифом, староста нашей партии Дмоховский. Я сказал уже выше, что это был очень спокойный, уравновешенный человек, что его очень любили заключенные и уважало начальство. Мышкин, во время похоронной службы в тюремной церкви, вдруг выступил из рядов и, став у гроба, произнес пламенную речь, которую закончил словами: «На почве, удобренной нашей кровью, расцветет могучее дерево русской свободы». Все были настолько ошеломлены властным потоком мышкинского красноречия, что никто из начальства не решился остановить его. И только когда речь уже была кончена, то священник, испуганный и раздраженный, крикнул: «Врешь, не вырастет, врешь, не вырастет!»

За эту речь Мышкину прибавили еще пятнадцать лет каторги. Она была произнесена только в присутствии своих и тюремного начальства, и говорили, что на этот раз и сам Мышкин пережил некоторую рефлексию: он высказал перед товарищами сомнение, следовало ли ему произносить ее.

По прибытии на Кару партия тотчас же затеяла побег. Надо заметить, что этот период, то есть период перед приходом партии централистов, был один из самых тяжелых на Каре. К тяжелому режиму присоединились внутренние раздоры и дрязги среди самих заключенных. Я не знаю этого точно, но то, что рассказывали заключенные, рисует это время самыми мрачными красками. Говорили даже об убийстве в своей собственной среде. Прибытие централистов, конечно, немного рассеяло эту затхлую атмосферу, но все-таки раздоры среди политических каторжан продолжались. Претендентов на первую очередь при побеге было несколько, в том числе Александр Юрковский («Сашка-инженер») и одессит Минаков. Это были представители того пласта революционеров, в котором выступил на первый план элемент приключений, что, конечно, зна-

чительно понижало самый тип революционера. Минаков был сослан из Одессы за покушение на убийство шпиона. Он уже заявил себя несколькими попытками побега, задуманными и исполненными довольно легкомысленно.

По тщательном обсуждении, сопровождаемом более или менее страстными спорами, партия отдала предпочтение Мышкину, предоставив ему выбрать себе товарища. Он выбрал рабочего Хрущова. Вся партия содействовала побегу: для поверки устраивали чучела, и таким образом довольно долго удавалось маскировать побег. Мышкин и Хрущов достигли Благовещенска, и им оставалось только сесть на американский пароход. Но в это время Минаков заявил, что он не ждет ни одного дня сверх срока, и опять совершил побег так легкомысленно и необдуманно, что через несколько дней сам явился из тайги на кухню смотрителя и отдался в руки начальства. Тогда, разумеется, открылось также отсутствие Мышкина и Хрущова... В Благовещенск была снаряжена погоня, и беглецы схвачены чуть не накануне отправления американского парохода.

За этот побег Мышкина и Минакова перевели в Шлиссельбургскую крепость. Здесь их встретил тот ужасающий режим, о котором теперь читающая публика знает из многих воспоминаний. Тут оправдались самые фантастические представления Мышкина о врагах, только и думающих о всяческих унижениях тех, кто попал в их руки. Режим Шлиссельбурга останется вечным позором на прошлом режиме, начиная от царей и кончая последними жандармами. Весь этот состав был тщательно подобран, причем исключались все признаки человечности. Даже врачи (за редкими исключениями) боялись проявить по отношению к узникам искру человеческого чувства. Вскоре Минаков нанес удар тюремному доктору. В объяснении перед судом он заявил, что подозревает этого доктора в том, что вместо лекарства он давал ему яд. Это, конечно, было неверно, но показывало тон отношений между врачами и заключенными. В сущности, несомненно, что Минаков был ненормален. Но его все-таки повесили на тюремном дворе.

Тогда для Мышкина наступила страшная душевная драма. Когда Минакова вели на казнь (это было для его товарищей совершенно неожиданно), он крикнул в коридоре: «Прощайте, товарищи, меня ведут уби-

вать!» Ему никто не ответил. Не ответил и Мышкин. Но Мышкин не умел прощать себе даже и случайных промахов в отношении товарищей. После казни Минакова он много раз повторял: «Как, должно быть, тяжело было Минакову всходить на виселицу с мыслью, что никто из товарищей не откликнулся на его последнее прости». При этом у Мышкина, вероятно, вставало воспоминание о личных столкновениях с Минаковым на Каре. И вот у Михаила Родионовича Попова, ближе всех помещавшегося к Мышкину и часто с ним перестукивавшегося, стало являться подозрение, что он что-то затевает. Он перестал откликаться на его стуки. Потом накануне рождества стуки опять возобновились, всю ночь Мышкин говорил о матери. Он просил Попова, чтобы, если он, Мышкин, умрет, не повидавшись с нею, передать ей, что он умер с мыслью о ней.

В это время он принял уже свое решение. 25 декабря, когда смотритель обходил камеры, послышался звон металлической тарелки, покатившейся с лестницы. Это Мышкин бросил в смотрителя тарелкой. Оскорбление было, должно быть, символическое: Мышкин казнил себя за то, что не ответил товарищу на его последнее прощание. Жандармы остались верны себе до конца. Мышкина прежде всего бесчеловечно избили, а потом на его столе товарищи нашли надпись: «26 января я, Мышкин, казнен»...

Впоследствии из стен крепости вынырнули на свет и подробности казни. Мышкина расстреляли на заднем дворе крепости, где были сложены штабеля дров. До последней минуты он думал о матери. От одного жандарма, служившего в то время в крепости, мой знакомый слышал, что его последние слова были: «Мама, мама!» Другой жандарм рассказывал, что, когда его уже вели на казнь, навстречу ему попалась какая-то старушка, наверное из семьи кого-нибудь из служащих в самой крепости. Он и к ней кинулся с теми же словами: «Мама, мама!»

Но его ждала не мать, а открытая могила. Его похоронили тут и опять заровняли место штабелями дров...

Так кончил жизнь этот страстотерпец революции...

В этом рассказе я сильно забежал вперед. В то время, когда я был в иркутской тюрьме, трагедия Мышки-

на вся еще была впереди, хотя я теперь не могу избавиться от впечатления, что над ним и тогда уже носилась ее мрачная тень.

В то время он постоянно был окружен самыми скромными рабочими. Я никогда не видел, чтобы во время прогулок он ходил с Петром Алексеевым, прославившимся в радикальных кругах яркой речью на процессе 50-ти. Постоянным его спутником был рабочий Александров. Это была фигура самая неблестящая во всей нашей партии. Он был из так называемых «шпитонцев», то есть подкидышей Воспитательного дома. Александров, как и другой постоянный спутник Мышкина, Герасимов (впоследствии в одном из исторических журналов были помещены его воспоминания), были на первые годы отданы на вскормление в окрестные финские села, что оставило на их речи тот несколько комический оттенок, который я отмечал у первой моей петербургской хозяйки, Мавры Максимовны Цывенко. Мышкин относился к Александрову с трогательной внимательностью. Они постоянно ходили по дворику, постоянно о чем-то беседуя. Однажды, когда я гулял с Мышкиным и Александровым по нашему тесному дворику, к нам подошел Михаил Петрович Сажин и с веселыми огоньками в глазах сказал мне:

— Спросите у Александрова, откуда произошли люди... Рекомендую — это у нас новый Дарвин.

Мышкин насупился, а Александров с простодушной готовностью стал мне объяснять свою теорию:

— Были когда-то такие насекомины. И жили они на деревах. Таких деревов уже теперь нету, да и таких насекомин тоже нету. На деревах росли особые плоды. Вот надо такой насекомине сорвать плод. Сейчас она делает упор на задние лапы. Вот и ноги... А передними лапами тянется, срывает плод и подносит его ко рту. Вот тебе и руки. Так помалу и выработался человек.

Я невольно улыбнулся. Мышкин посмотрел на меня с укором. Он сразу омрачился при шутке Сажина, а теперь еще более насупился при моей улыбке. Думаю, что мне впоследствии так и не удалось ближе сойтись с Мышкиным, хотя у нас уже начиналось сближение, именно вследствие шутки Сажина и этой моей улыбки. По тому виду, с каким он старался вслушаться в речи Александрова, было заметно, что он относится к нему серьезно, внимательно и с своего рода уважением.

III

ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.— БОРЬБА БЕЗ НАРОДА.— ВООРУЖЕННЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.— ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА.— МОЙ ЗЕМЛЯК КОБЫЛЯНСКИЙ

Я так долго остановился на трагической фигуре Мышкина потому, что в большей или меньшей степени это была трагедия всей тогдашней русской революционной интеллигенции. Положение это было создано поразительным политическим невежеством народа, инертностью общества и проснувшимся сознанием в части интеллигенции, которая одна решилась на борьбу с могущественным государством, как ослепленный Самсон среди пирующих филистимлян. Народ был еще весь во власти легенды о непрестанной царской милости. Крестьянство даже в случае сильного раздражения можно было поднять на сопротивление только подложными царскими грамотами, как это было в случае с восстанием в Чигиринском уезде. Рабочие, правда, начинали уже кое-где просыпаться, но это были еще только отдельные, индивидуальные случаи, и они только увеличивали число жертв, не придавая заметной силы движению. Самым ярким представителем таких рабочих был Петр Алексеев, тоже бывший тогда в Иркутске. Это был коренастый сильный человек, по виду больше крестьянин, чем рабочий, настоящая черноземная сила. Его речь произвела тогда сильное впечатление. Он говорил, что одна революционная интеллигенция стоит за интересы рабочего народа и будет стоять за них до тех пор, «пока не подымется мускулистый кулак народных масс и не свергнет ярмо деспотизма». Но до этого было еще далеко.

В проснувшейся после великой реформы стране политическая жизнь была задержана, казалось, навсегда. Всякая попытка самостоятельного искания выхода прекращалась самыми варварскими мерами. А между тем интеллигенция уже проснулась и живо почувствовала бесправное положение страны. Но ей оставалось только теми или другими приемами пробуждать политически спящий народ. Мышкин с его интенсивной болью, с его попытками подать голос к народу и обществу из-за крепко запертых стен сената был настоя-

щим выразителем положения. В бессильной и отделенной от народа революционной среде начинались процессы изолированной борьбы. В феврале 1877 года в Москве разбирался процесс 50-ти. При аресте одного из участников, кавказца, кн. Цицианова, произошел следующий эпизод. Цицианов долго ходил в задумчивости по комнате, в которой жандармы производили обыск, как будто глубоко что-то обдумывая, потом внезапно выхватил револьвер и выстрелил. Не помню теперь, ранил ли он кого-нибудь, или это был только символ сопротивления. Помню, однако, что и тогда вся обстановка этого выстрела давала впечатление не столько непосредственного импульса, сколько рефлексии и раздумья. Этот выстрел был как будто откликом долгих разговоров в революционной среде. В мое время Цицианов тоже был в Иркутске, и впоследствии я еще раз видел его на обратном пути в Киренске, в семье Джабадари. Он держался все так же молчаливо и производил впечатление не вполне нормального.

Пример находил отклик. В 1878 году разбирался в Одессе процесс о вооруженном сопротивлении Ковальского, который кончился его казнию. Было немало указаний, что это был тоже не непосредственный импульс ненависти, а сопровождаемое рефлексией исполнение как бы программного долга. Говорили тоже, что Ковальский сильно жалел о своем поступке и надеялся, что его не казнят, но никакого малодушия не проявил. В Одессе по этому поводу произошли уличные демонстрации, помнится, даже с выстрелами. У нас были представители этого дела: Виташевский (совсем еще юноша) и Кленов, оба выдержавшие режим централки.

За этим следовали вооруженные сопротивления при аресте типографий. В особенности много говорили в свое время о сопротивлении в Саперном переулке, при котором один человек (Лубкин) застрелился, сделав предварительно несколько выстрелов в обыскивавших. У нас было два представителя этого дела: Бух и Цукерман. Бух был серьезный, молодой еще человек, с резкими чертами лица, но особенно запомнилась мне выразительная фигура Цукермана. Это был типичный еврей из рабочих (наборщик), очень плохо говоривший по-русски, так что все, что бы он ни говорил, приобретало невольно комический оттенок. Рассказывали, между

прочим, следующий эпизод процесса. После своей победы полиция и жандармы страшно избили уже связанных революционеров. Подсудимые при помощи адвокатов старались осветить этот эпизод, полиция, разумеется, это отрицала. Особенно отрицал это один пристав, лично избивавший как раз Цукермана.

— Как же ви говórите, что ви меня не били! А кто мне дал две подщечины по спине!

В публике и даже среди судей раздался невольный смех. Приговор по этому делу был сравнительно мягкий. Несмотря на вооруженное сопротивление, смертных казней, помнится, не было. Я любил беседовать с Цукерманом и убедился, что, несмотря на комизм его речи (который он по временам нарочно усиливал), это был человек умный и даже, по-своему, развитой.

Возрастали также случаи террористических убийств.

В 1881 году был убит в Харькове губернатор Кропоткин. Когда он проезжал по городу, на подножку его кареты вскочил молодой человек и убил его выстрелом в упор. Это убийство было ответом на жестокий режим центральных тюрем и показывало, какое ожесточение вызывалось этим и какое это было самоотверженное ожесточение. То, что терялось в смысле распространения идей, революционная среда решилась вознаградить страшной интенсивностью движения в своей среде. Помнится, исполнителем убийства харьковского губернатора был еврей Гольденберг. Во время процесса, который не мог для него кончиться иначе, как казнию, Гольденберг раскаялся и дал подробные показания, в которых, помнится, не было прямого доноса, но было много показаний, которыми, в конце концов, жандармы сумели воспользоваться. Вскоре после этого Гольденберг бежал, и тогда говорили, что этот побег был заранее условлен, как награда за измену. Несомненно, что у этого очень экспансивного человека перспектива виселицы сыграла при этом большую роль. Это был не Мышкин. Но мне тогда казалось, что пером Гольденберга водила не одна трусость. Было что-то еще в этом нервном стиле, что говорило и об известной степени искренности. Тогда его записка была напечата-

на в газетах, и в ней мне невольно чувствовалась душа увлекавшегося человека, останавливавшегося теперь в раздумии перед страшным путем, на который толкала революционную интеллигенцию сила вещей.

Одного из участников гольденберговского дела мне пришлось встретить в Иркутске. Вскоре после моего приезда в иркутскую тюрьму, проходя по коридору, я неожиданно попал в объятия неизвестного мне молодого человека...

— Я — Кобылянский из Ровно,— сказал он в объяснение, видя, что я не могу признать его.

В нашем городе была действительно семья Кобылянских из той разорившейся шляхты, о которой я как-то говорил выше и которая служила как бы промежуточным слоем между учащейся интеллигенцией и рабочими. Другие два его брата за недостатком средств были отданы в учение ремеслу. Никто из них особенными способностями не отличался, но все представляли много искренности и порыва. Старший, впрочем, одно время играл довольно видную роль в эмиграции драгомановского толка, хотя, помнится, под другой фамилией. С средним мне пришлось впоследствии встретиться в Якутской области, и даже возвращались мы вместе. Теперь передо мною был младший из братьев. Я его лично не знал, но он меня видел много раз на улицах Ровно, может быть, с братом, и теперь бросился обнимать меня, как родного. Это был совсем еще молодой человек, широкоплечий, медвежеватый и очень экспансивный. Во всех его приемах сквозила крайняя искренность, и я понял, почему он с такой легкостью отдался борьбе и почему его привлекла месть за жестокость в центральных тюрьмах.

Мне приходится упомянуть еще о нескольких заключенных народнического направления. Это были Пекарский, Ионов, Серяков, судившиеся за попытки пропаганды среди рабочих и даже в войсках. Попав в Якутскую область, Пекарский и Ионов стали серьезными исследователями якутского быта, и, может быть, в этом было их настоящее призвание.

Вспоминаю еще Быдарина, очень картинно рассказывавшего эпизоды из времени своего пребывания с целью пропаганды на рыбных промыслах Каспийско-

го моря. Впоследствии он прислал эти очерки в «Русское богатство», но они не могли быть помещены по цензурным условиям.

IV
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Партия уже довольно долго путешествовала вместе и, конечно, имела время переговорить о многом. Но централисты в своих каменных мешках так сильно отстали от жизни, что у них было еще много о чем расспросить у людей, действовавших в последние годы. По временам в какой-нибудь камере собиралась толпа. Кто-нибудь рассказывал о каком-нибудь выдающемся эпизоде из недавнего прошлого. Происходили подробные расспросы, порой возникали споры. Особенно запомнился мне один такой разговор.

В центре большой камеры на столе сидел, свесив короткие ноги, Зунделевич и рассказывал о знаменитом Липецком съезде, на котором было решено цареубийство. Он приводил разговоры на этом съезде, фамилии участников, из которых многих уже не было в живых. Тон рассказа был грустный и серьезный. Слушали рассказ тоже грустно и серьезно, с жадным вниманием. Слушатели сидели вокруг рассказчика на табуретках, на кроватях, порой прямо на полу. Помню фигуру Рогачева. Он сидел на тюремной кровати, не спуская глаз с Зунделевича.

Зунделевич был человек небольшого роста, с огромной окладистой черной бородой. Борода придавала ему на первый взгляд довольно суровый вид, но достаточно было обменяться с ним несколькими разговорами, чтобы увидеть необыкновенную мягкость, даже кротость, сквозившую во всех чертах его лица.

Я сблизился с ним еще тогда же, в Иркутске, и меня поразило, что такие добродушные люди могли принимать такие решения. Это, очевидно, указывало на ту психическую инерцию, которая неудержимо толкала тогдашнюю революционную интеллигенцию на путь террора, и притом, как тогда говорили, на путь «террора центрального». Это было сильнее индивидуальных свойств характера.

Липецк — небольшой городок Тамбовской губернии, с уездно-патриархальными нравами и такой же поли-

цией. Там и состоялось решающее конспиративное собрание. К этому времени предубеждение против конституционного строя, долго державшееся в нашей революционной среде, стало рассеиваться. Чувствовалась необходимость открыть форточку, чтобы просвежить затхлую политическую атмосферу России. К этому убеждению пришли многие, в том числе недавно примкнувший к исполнительному комитету Желябов. Но Александр II по-прежнему держался в центре реакции и сошел с этой дороги, когда уже было поздно. Место свирепых на вид, но в сущности очень скромных народников, произносивших потрясающие речи, как Мышкин, и потрясавших в буквальном смысле решетки сената, как Рогачев, занимали Квятковские, Кибальчичи, Желябовы, в самой корректной форме объяснявшие суду устройство мин, которыми был убит Александр II. Народники мечтали не о конституции, а о всеобщем катаклизме, который сразу перевернет весь строй. То, что шло на смену народничества, было скромнее по задачам, но гораздо опаснее по исполнению. Теперь Рогачев и Мышкин с жадным вниманием слушали рассказ добродушного Зунделевича о Липецком съезде.

Зунделевич рассказывал: на съезде было прочитано прощальное письмо Валериана Осинского (казненного в 1879 году), напечатанное впоследствии в одном из номеров «Земли и воли». Александр Михайлов произнес длинный обвинительный акт против Александра II, «который во вторую половину царствования уничтожил почти все то добро, которое он допустил сделать передовым деятелям шестидесятых годов под впечатлением севастопольского погрома». Когда после этого на съезде был поставлен вопрос, «должно ли этому царю проститься все то зло, которое он уже сделал и еще сделает в будущем», все присутствовавшие единогласно ответили — «нет», и этим судьба Александра II была решена. Нельзя сказать, чтобы народничество сразу уступило. Оно долго держалось своей точки зрения. Теперь из некоторых воспоминаний видно, что когда ранее в Петербург явился Соловьев с проектом покушения на Александра II, то народники, исходя из того несомненного факта, что народ признает заслуги «царя-освободителя», долго и страстно возражали. Раздавались даже голоса, что необходимо предупредить царя об опасности. И затем рядом с террористическим исполнитель-

ным комитетом возникла партия «Народной воли», направления народнического.

Когда Зунделевич среди глубокого молчания закончил свой рассказ, народническая точка зрения заговорила устами Рогачева.

— Скажите, Зунделевич,— спросил он,— что вы имели в виду, посягая на жизнь царя, которого весь народ еще признавал своим освободителем?

На этот вопрос, поставленный в упор, Зунделевич несколько смешался. Очевидно, готового ответа у него не было.

— Мы думали,— ответил он,— что это произведет могучий толчок, который освободит присущие народу творческие силы и послужит началом социальной революции.

— Ну а если бы этого не случилось и народ социальной революции не произвел... как и вышло в действительности... Тогда что?..

Зунделевич задумался, как бы в колебании, и потом ответил:

— Тогда... тогда мы думали... принудить...

Рогачев захохотал так искренно и звонко, что мне невольно вспомнились его записки и хохот его на волжской пристани при проекте мужиков разрешить земельный вопрос убийством помещика. Для меня же стало ясно еще раз то, что выяснилось при разговоре с Юрием Богдановичем еще в Перми: удар был нанесен в отчаянии, технически уверенно, но совершенно слепо. Народники были правы: цареубийство не послужило толчком для дальнейшего движения, и Россия пережила еще долгий период реакции, может быть более долгий, чем было бы без этого...

Первое марта было просто актом отчаяния.

V

ДЕЛО О ПРОЛОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ТЮРЕМНОЙ СТЕНЫ.— НОВЫЙ ТИП АДМИНИСТРАТОРА.— ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР АНУЧИН.— ЕГО ПОДЧИНЕННЫЙ СОЛОВЬЕВ

Я приехал в Иркутск 30 сентября, а выехал оттуда только вечером 6 ноября. Более месяца меня вместе с другими пересыльными держали потому, что в это

время над нашей партией производилось расследование о «проломе тюремной стены».

В одном из предыдущих очерков я говорил о «хороших людях на плохих местах». Таких хороших людей я встречал на разных ступенях, начиная с вятского и вышневолоцкого тюремного смотрителя (читатель припомнит Ипполита Павловича Лаптева) и кончая служителями и даже жандармами в Третьем отделении, которые разными приемами ухитрялись сообщать мне сведения о братьях. Присутствие таких людей смягчало для нас суровые впечатления и давало лучшие представления о человеческой природе.

Постепенно, однако, в администрации происходил своего рода психологический отбор, и состав ее менялся... На плохие места становились плохие, жестокие люди. Закончилось это Шлиссельбургом и систематическими пытками в тюрьмах... Самодержавию нужны были уже не Ипполиты Лаптевы, а люди, готовые на всякие низости, лишь бы это било по врагам самодержавия. Всякое человеческое чувство по отношению к заключенным тщательно изгонялось.

В Иркутск около этого времени был назначен новый генерал-губернатор Анучин. Это назначение вызвало в свое время много надежд. Анучин был серьезный военный писатель. Он написал военную историю пугачевского бунта, а также ряд статей по землевладению в Остзейском крае. Как всегда в таких случаях, русское общество и печать предались излишним надеждам. Ядринцев, издававший «Восточное обозрение» в Петербурге, издатели газеты «Сибирь», Загоскин и Нестеров, в Иркутске приветствовали назначение писателя на пост генерал-губернатора как «начало новой эры».

Вскоре наступило разочарование. Первые же шаги Анучина разрушили все надежды. При нем началась полоса небывалых преследований местной печати. Один из двух редакторов-издателей «Сибири» был человек, не лишенный остроумия. В объяснение своей ошибки с приветствием он пустил среди иркутского общества шутку, будто на настоящего Анучина, просвещенного человека и писателя, какая-то шайка беглых каторжников сделала по дороге нападение. Настоящий Анучин был ими убит, и теперь на посту восточносибирского генерал-губернатора водворился беглый каторжник.

В то время эта острота была в большом ходу и дошла даже до Якутска.

Анучин стал подбирать свой состав администрации. Для того чтобы выделиться при нем, недостаточно было строго блюсти закон и быть справедливым, нужно было еще питать заведомую злобу к идеям известного порядка и к людям, которые эти идеи проводят. Это, впрочем, водворялось и ранее во всей России, страшно исказило и принизило власть, может быть, погубило Александра II.

Видную роль при Анучине играл некто Соловьев. В мое время он был в тюрьме два раза, и каждый раз меня поражало выражение какой-то холодной жестокости в довольно изящном лице этого казачьего офицера. Мне рассказывали, что еще до моего приезда Соловьев внезапно вошел в большую камеру и очень уверенно направился к нарам. Здесь, произведя по очевидному плану розыски под нарами, администрация нашла пролом в стене. Тотчас же всех перевели в другую камеру, и началось дело. Соловьев утверждал, что пролом сделан политическими с целью побега. Сообщили об этом Анучину, наряжена была комиссия.

Со стороны арестантов при осмотре присутствовали староста Дмоховский и Михаил Петрович Сажин. Последний сразу обратил внимание на то, что под нарами оказался слой многомесячной пыли, которая не могла бы образоваться в короткое пребывание здесь политической партии. Соловьев объяснил это тем, что арестанты нарочно насыпали эту пыль. «Знаем мы, как ловко это делается!..»

Но натяжка была очевидна. В комиссии образовалось два мнения. Меньшинство с Соловьевым во главе настаивало на том, что это сделано политическими с целью побега. Но большинство отрицало это и успокаивало наших депутатов. На этой стороне был и губернский прокурор.

Скоро выяснилось, что за стеной помещались уголовные женщины и арестанты проломили стену, чтобы сообщаться с ними. Выяснилось даже больше: о проломе знала администрация тюрьмы, и смотритель сделал распоряжение о том, чтобы к приходу политической партии пролом был заделан, что не было исполнено надзирателем. Но об этом и смотритель, и надзиратель в комиссии умолчали, зная, что это разоблаче-

ние будет не угодно Соловьеву. Надзиратель стал теперь одним из главных пособников Соловьева... Дело стояло почти в открытую: «благонамеренность» требовала обвинения политических. Однако это было уже слишком. Большинство комиссии не согласилось с Соловьевым, и благонамеренная версия провалилась. С другой стороны, несмотря на явную злостность этой версии, доходившей почти до подлогов, это не могло повредить Соловьеву в глазах Анучина. Это было все-таки «благонамеренно». Дело кончилось заключением комиссии и прекращением дела о подкопе тюремной стены.

Интересна дальнейшая судьба Соловьева. Он был переведен на Сахалин главным заведующим сахалинскими тюрьмами. Место было чрезвычайно доходное, но здесь Соловьева погубила излишняя жестокость. Своей почти неограниченной властью он пользовался в амурных целях. Между тем, как бы низко ни пала известная среда, она все-таки стремится оградить свои бытовые основы известными устоями[1]. Соловьев не принял это в соображение и завел свои поползновения слишком далеко. Сахалинцы сделали засаду... и оскопили своего начальника.

Надзиратель, который был правой рукой Соловьева в деле о подкопе, был впоследствии убит административно-ссыльным Легким, впрочем, без связи с этим делом. Легкий был за это казнен.

VI

ПОСЛЕДНИЕ ИРКУТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.— РАБОЧИЙ БАЧИН И ТРАГЕДИЯ ЮЖАКОВОЙ

Однажды я гулял с Мышкиным и Александровым по нашему небольшому дворику. В это время невдалеке брякнула форточка, и в одном из противолежащих окон, из-за тюремной решетки показалась фигура арестанта.

— Это Бачин,— сказал про себя Мышкин и подошел к ограде нашего дворика, видимо намереваясь вступить в разговор.

---

[1] См., например, главу «Бродяжий брак» в моем очерке «Марусина заимка».

Я уже знал эту фамилию. При проезде моем через Красноярск Сергей Николаевич Южаков сообщил мне, что в Иркутске я, вероятно, увижу его сестру, Елизавету Николаевну Южакову. Она была сослана в Балаганск, Иркутской губернии, и оттуда бежала вместе с рабочим Бачиным. Оба в пути арестованы и содержатся в иркутской тюрьме до окончания следствия о побеге. Поэтому-то Бачин не был приобщен к нашей партии и сидел отдельно, в другом отделении тюрьмы. Теперь его фигура рисовалась из-за оконной решетки.

Может быть, это результат последующих событий, но мне теперь кажется, что Бачин сразу своим появлением произвел на меня какое-то неизгладимо мрачное впечатление. В это время среди рабочих обозначилось течение, стремившееся к резкому обособлению от интеллигенции. Впоследствии их называли «махаевцами» по имени Махайского, написавшего первую книгу в этом смысле, но я помню совершенно ясно, что еще когда я был на воле в Петербурге, в революционных кругах уже много говорили об этом «течении». В то время как Петр Алексеев на суде 50-ти произнес настоящий дифирамб революционной интеллигенции и звал рабочих к союзу с нею, будущие махаевцы, наоборот, старались поселить рознь в небольших еще рядах революционеров. Тогда объясняли это самолюбием некоторых вожаков из рабочих, которые не могли выдвинуться в первые ряды при участии интеллигенции. Мне тогда не пришлось познакомиться ни с кем из представителей этого направления, и Бачин был первым из них, которого я увидел. Поэтому я отнесся с интересом к предстоящему разговору и тоже приблизился к ограде.

Разговор, однако, не состоялся. В первой же фразе, с которою Бачин обратился к Мышкину, сопровождая ее какой-то кривой улыбкой, зазвучала фальшивая нота:

— Что-то долго ваша партия не приходила... Уж мы ждали, ждали!.. Что вы так долго возились в пути?.. С начальством целовались, что ли?

На лице Мышкина я увидел выражение недоумения.

Он, очевидно, готовился к серьезному разговору. Но в словах Бачина звучало только желание сказать что-нибудь язвительное, даже не зная и не пытаясь узнать человека, с которым говорит. Так как движение партии от нее не зависело, то вопрос был явно искусственный и даже бессмысленный. Мышкин же отличался чрезвы-

чайной искренностью. Он постоял несколько времени с выражением недоумения на лице. Затем повернулся и стал продолжать прогулку. Форточка Бачина опять резко брякнула и закрылась.

Больше я Бачина не видел. Рассказывали в то время, что бедная Южакова сошлась с ним случайно. Из Балаганска они бежали под видом рабочих, мужа и жены, и им пришлось на каком-то сибирском заводике стать в условия невольной близости, чтобы не возбуждать подозрений. После того как они были арестованы и сидели в иркутской тюрьме, оказалось, что из побега Южакова вернулась беременною. В Иркутске она (уже после моего отъезда) родила дочку и, для того чтобы дать малютке хоть какое-нибудь положение, решила выйти за Бачина замуж.

Это было самое худшее, что она могла придумать. Когда я расспрашивал о Южаковой, мне рассказывали, что Бачин — человек грубый и желчный. Говорили, что у него болезнь печени. Кроме того, он не мог простить Южаковой, что она дочь генерала, «интеллигентка и белоручка», что она получила прекрасное образование, работала в одесских газетах, читала английские и французские книги. В Иркутске знавшие ее еще в Одессе подруги уговаривали ее не связывать с этим человеком свою дальнейшую жизнь. Но она была беспомощна в этой далекой и холодной Сибири. Ее, как южанку, страшно пугали полярные холода Якутской области, куда ей предстояло отправиться по окончании следствия, пугала суровая жизнь в юрте без возможности какого-нибудь заработка. А Бачин был прекрасный работник (кажется, кузнец) и, по-видимому, серьезно относился к своим отцовским обязанностям.

Законный брак состоялся, помнится, еще при мне. Затем по отбытии нескольких месяцев тюремного заключения оба были направлены в Якутскую область, где впоследствии и разразилась трагедия: Бачин задушил Южакову, и маленькую девочку наутро нашли у холодной груди матери.

Впоследствии мне пришлось услышать рассказ об этом событии от одного из очевидцев, почти участника трагедии. Рассказ этот произвел на меня сильное впечатление, и я изложу его дальше.

VII

СТАСИК РЫХЛИНСКИЙ И ИСТОРИЯ ЕГО ВОСПОМИНАНИЙ

В один день меня позвали в контору, сказав, что там меня ждет посетитель, получивший разрешение на свидание со мной. Я догадался, что мне предстоит приятная встреча с человеком, чей образ живо сохранился в моей памяти еще из времен детства.

Читатель припомнит из первого тома этой «Истории моего современника» пансион Рыхлинского, в котором мы учились, мои детские волнения по вопросу о том, кто я по национальности, и роль, которую играли в этих волнениях сыновья Рыхлинского, в особенности младший из них, которого в нашей семье называли Стасиком.

Все три сына участвовали в повстании, куда Стасик ушел тотчас по окончании гимназии. Этот Стасик был для нас с братом своего рода идеалом. Он еще не отошел от нас настолько, чтобы стать взрослым, то есть чужим. Это был еще совсем юноша, с детским пушком на щеках, краснощекий, румяный и по-детски красивый. Он был общим любимцем, а мой отец, приглашенный на прощальный вечер, очень сердился и с обычной резкостью и прямотой говорил Рыхлинским:

— Все вы посходили с ума! Ну старшие как хотят, а Стасика я бы запер на ключ и прямо не пустил бы. Ведь это еще ребенок...

Но это предложение, разумеется, не было принято. Сыновья Рыхлинских торжественно прощались с родными и знакомыми... В заключение они стали на колени, и родители их благословили. Было пролито много слез, и в ту же ночь молодые люди уехали. Мне часто снился этот Стасик в разных героических положениях, то грозным для моих русских приятелей, то внушавшим тревогу за свою собственную судьбу.

А судьба эта скоро определилась. Всех переловили казаки и мужики. Старший, Феликс, при этом был ранен казацкою пикой и умер где-то на этапе под Красноярском. Двое других, Ксаверий и Станислав, попали на каторгу в Нерчинск.

Теперь один из них, именно Станислав, ждал меня в иркутской тюремной конторе. Мы горячо обнялись и стали делиться впечатлениями прошлого. Отец Станислава, пан Валентин, ходивший на костылях, давно умер. Мать, жившая у замужней дочери около Бреста,

умерла недавно, успев повидать перед смертью одного из сыновей, Ксаверия, получившего уже право вернуться на родину. Станислав, стоявший теперь предо мною, оказался человеком среднего роста лет под сорок. Розы, когда-то расцветавшие на щеках нашего Стасика, теперь поблекли, и жизнь избороздила его лицо преждевременными морщинами.

О времени своей нерчинской каторги он рассказывал с горечью. Это были тяжелые годы.

Чувства, вызванные в польском обществе восстанием, которые я описывал в первом томе, постепенно испарялись, уступая место «отрезвлению». Поляки мечтали теперь лишь об экономическом подъеме и накоплении богатств. Это настроение отразилось в романе Сенкевича «Семья Поланецких» и сопровождалось несколько презрительным отношением к повстанию с его патриотическим романтизмом.

Это не могло не отразиться на настроениях в глубине далекой сибирской каторги. Одушевление ее жертв, не питаемое сочувствием с родины, падало. Росли, наоборот, раздоры и тюремные дрязги, отравлявшие жизнь в казематах. Сначала поляки были не одни. Некоторое участие в восстании принимали венгерцы, не забывшие России ее венгерского похода, и итальянцы, среди которых кипело гарибальдийское настроение. Но затем вследствие заступничества своих правительств и венгерцы, и итальянцы получили право вернуться на родину, и поляки остались одни.

Об этом времени Рыхлинский рассказывал как о самом тяжелом. Нравы польских каторжан падали. Дело дошло до того, что однажды бывший повстанец по решению товарищей был высечен розгами...

Через некоторое время к полякам стали присоединять первых русских революционеров: каракозовцев, «воскресников», распространителей прокламаций. Потом на нерчинскую каторгу привезли Чернышевского. Рыхлинский говорил о последнем с большой теплотой, и кое-что из этих рассказов я ввел впоследствии в свои воспоминания о Чернышевском. Но это была лишь крупица из интересных рассказов Рыхлинского, и я горячо убеждал его записать все, обещая приложить старания, чтобы это было напечатано если не в польских, то в русских журналах.

Впоследствии, уже после моего возвращения в Россию, он это и исполнил, но эти интересные воспомина-

ния имели, в свою очередь, собственную трагическую судьбу.

В Иркутске жил в эти годы мой пермский знакомый Александр Александрович Криль, о котором я говорил выше, в главе о моем пребывании в Перми. Он всегда был на счету неблагонадежных, и, вероятно, этим следует объяснить его служебный перевод в отдаленный Иркутск. Здесь он, как и в Перми, держался близко к политическим ссыльным. В то время среди административно-ссыльных был в Иркутске некто Татаров. По общим отзывам всех его знавших, это был человек чрезвычайно привлекательный, и все относились к нему с большой симпатией. Сблизился с ним и Криль.

Однажды этот Татаров явился к нему с тревожной вестью: он узнал из достоверных источников, что у Криля в скором времени предстоит обыск. «Не надо ли что-нибудь скрыть?» Криль был хорошо знаком также и с Рыхлинским, который незадолго перед тем умер, оставив Крилю свои записки, поручив их переслать мне. Получив тревожное известие, Криль передал записки Татарову, которому предстояло скорое возвращение в Россию.

Этот Татаров оказался шпионом. Это стало известно в России. При этом случилось так, что два шпиона, Азеф и Татаров, стали в революционных кругах уличать друг друга.

Азеф оказался ловчее и ранее своего окончательного разоблачения успел убедить революционеров в причастности к сыску Татарова.

Тогда Татарова убили при ужасной обстановке. Он жил тогда в Варшаве с отцом-священником и матерью...

Однажды на квартиру священника явились неизвестные люди и потребовали свидания с сыном. В то время у Татарова были уже сильные опасения, и он согласился принять неизвестных только в передней, в присутствии отца и матери. Предосторожность не помогла. Едва он вошел, один из пришедших бросился на него с кинжалом и убил его на глазах родителей. Мать, кинувшаяся защищать сына, была ранена револьверною пулей.

Такие формы принимал тогда террор. Записки Рыхлинского для меня погибли.

Пришло наконец время моего отъезда из иркутской тюрьмы. Интрига Соловьева даже в то время крайней деморализации чиновничества, даже при генерал-губернаторе Анучине удаться не могла. Комиссия высказалась, и дело о подкопе тюремной стены закончилось ничем. Вместе с тем наступало время отправки задержанных в Иркутске административно-ссыльных и закончивших срок каторги.

Наступила и моя очередь отправки в Якутскую область.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

I

ПО ЛЕНЕ

Наконец расследование о мнимом подкопе закончилось. Комиссия дала свое заключение, и клевета Соловьева стала очевидной. Клевета была «благонамеренная» и повредить Соловьеву в глазах Анучина не могла. Но теперь не было причины задерживать отправку на места административно-ссыльных и кончивших срок каторги.

Таких в иркутской тюрьме было несколько человек, в том числе Михаил Петрович Сажин. С ним, между прочим, произошла характерная история. На него кандалы были надеты по высочайшему повелению, и, помнится, я, приехав в Иркутск, застал его еще с этим украшением. Русские самодержцы среди своих многосложных занятий находили время вникать в такие мелочи. Александр II с высоты престола внушал домовладельцам «смотреть за своими дворниками». Александр III нашел время просматривать списки отправляемых в Сибирь, увидел там фамилию известного бакунинца и распорядился надеть на него кандалы. Поэтому по приходе партии в Иркутск на основании правил со всех сняли кандалы на время отдыха, но относительно Сажина встретилось затруднение: потребовалось особое высочайшее повеление для их снятия.

Шестого ноября меня вызвали в контору, предупредив, что я должен захватить с собой вещи. Я попрощался с товарищами. Взаимные пожелания, несколько горячих объятий, и я вышел из политического отделения иркутской тюрьмы, унося впечатление самого трагического периода русской революции.

В конторе уже ждали меня жандарм и конвойный солдат. В Иркутске «выгодные командировки» распределялись между двумя ведомствами. Старшим, разумеется, считался жандарм. Я с любопытством взглянул на

людей, с которыми мне предстояло совершить последний и, пожалуй, самый трудный переезд.

Жандарм был человек худощавый и нервный. Конвойный, наоборот, был толстый увалень, малоподвижный и сонливый. Я предвидел, что в дороге мне придется сильно чувствовать тяжесть его грузного тела. Оба встретили меня приветливо. Путь до Якутска составлял около трех тысяч верст. По осеннему времени полагалась четверка лошадей, а можно было смело обходиться тройкой, а кое-где, может быть при удаче, и парой... Когда я заговорил о необходимости купить дорожные припасы, жандарм указал мне на два мешка, уже запасенные ими: «Можем рассчитаться из ваших кормовых».

Часов около семи вечера мы тронулись в путь и среди начинавшихся сумерек проехали Иркутск, направляясь на север. За городом перед моими глазами открылись отлогие возвышенности, покрытые лесом и поднимавшиеся все выше. Гористая даль, неопределенная, смутная, сумрачная... За городом ямщик отвязал колокольчик, который затянул в темноте свою долгую песню. Колеса стучали по мерзлой земле.

Провожатые мои гадали, удастся ли им хоть часть пути сделать по Лене водою. В Качуге они купили бы «шитик» (род небольшой барочки-лодки), и это была бы для них большая экономия. Они расспрашивали на станциях и у встречных проезжающих — есть ли еще путь от Качуга по реке, а в моей памяти в это время проносились образы дорогих людей, от которых я удалялся все дальше в неопределенную тьму.

Расчеты моих провожатых не оправдались: река уже начинала становиться, и за Качугом нам пришлось ехать опять на почтовых. Это значительно испортило настроение жандарма, и он то и дело рассчитывал, «сколько они от этого теряют». Затем встреча на одной станции с черкесом (описанная мною довольно точно в рассказе «Черкес») повергла жандарма в окончательную мизантропию. Если бы ему удалось захватить этого агента золотоискателей-хищников, везшего партию золота для продажи в Иркутск китайцам,— то это была бы такая удача, перед которой померкли бы все экономии. Но черкес понял опасность, держался начеку и в конце концов ускользнул. К этому прибавилась нерасторопность конвойного солдата, забывшего в повозке оружие, что повело за собой желчные нападки

и препирательства моих провожатых. Я невольно думал, что, будь это иначе, мне пришлось бы, может быть, присутствовать при настоящей хищнической трагедии. Теперь же жандарм только прислушивался, как в направлении к Иркутску замирали дикие крики хищника, увозившего с собой огромное богатство. Телеграфа тогда еще не было...

Этим сурово-хищническим впечатлением сразу встретила меня Лена. Жандарму удалось только дешево купить у черкеса очень удобный крытый возок, на который он получил от него записку и в который мы пересели через несколько станций.

Проехав около сотни верст по санной береговой дороге, мы наконец опустились в щель (так жители называют дорогу по Лене). Я то и дело протирал окна нашего возка, глядя, как мимо проносились гористые дикие берега Лены. Часто горы закрывались густыми туманами, настоящими облаками, которые ветер проносил щелью. Мне, жителю равнины, это зрелище казалось сурово-величественным и угрюмым, но все-таки поразительно красивым. Целые дни я не мог оторвать от него глаз, а порой смотрел в окно и ночью, глядя, как луна неслась высоко над мрачными громадами скал.

Невдалеке от Верхоленска мне бросился в глаза на левом берегу Лены огромный камень, по странной игре природы стоящий отвесно узким концом книзу, на самой верхушке одной из гор. Ямщик, указывая на него, объяснил мне, что камень называют «шаманским», вероятно, потому, что раза два в год сюда собираются таежные тунгусы и их шаманы отправляют перед камнем свое «архиерейское богослужение». Впоследствии мне говорили, что камень этот свергнут с высоты, откуда его можно было видеть далеко. Вероятно, языческие богослужения шаманов показались соблазнительными православному духовенству.

За Верхоленском мы проехали Киренск, расположенный на острове Лены, не останавливаясь, затем миновали приисковую резиденцию Витим, скрывшуюся от нас в густых туманах. Неопытный ямщик сбился с дороги между станциями Веледуйском и Крестами, и мы чуть не всю ночь брели пешком среди хаоса льдин, нагроможденных в самом фантастическом беспорядке. Порой это были целые огромные ледяные башни, которые река накидала друг на друга во время бурного осеннего ледохода.

II
МОИ ЛЕНСКИЕ ВИДЕНИЯ

Во время этого пути моим воображением овладела с большой силой одна картина, в которой как бы обобщились впечатления после 1 марта в Перми и в Иркутске.

В этом высоком холодном небе мне чудились два образа: Александр II и его убийца Желябов.

Так начать, как начал Александр II, и так кончить... Мне он вспоминался только жалким, затравленным и несчастным. «Везите во дворец... Там умереть...» И его везли во дворец, поливая улицы его кровью, пока бедный человек жаловался на предсмертный холод.

В фигуре Желябова, главного организатора цареубийства, для меня, как в фокусе, сосредоточилась вся трагедия русской интеллигенции в царствование Александра II. Было известно, что, арестованный ранее, без связи с цареубийством, он сам заявил о своем участии и потребовал во имя справедливости присоединения его к процессу Рысакова. Он находил, что с одним Рысаковым процесс будет слишком бледен и непонятен народу, и он отдавал свою жизнь, чтобы сделать его более ярким. Вместе с собой он взводил на плаху любимую женщину, Софью Перовскую. Несмотря на очень яркие фигуры первомартовцев, процесс если не вышел бледен, то все-таки остался народу по-прежнему непонятен. Эта толпа помнила, что убитый царь освободил крестьян, а любовь и ненависть его противников оставалась для нее в момент их казни совершенно чуждой.

Теперь, когда трагедия завершилась до конца, мне чудились оба они понявшими и примиренными. Они смотрят с высоты на свою родину, холодную и темную, и ищут на ней пути той правды, которая сделала их смертельными врагами, но когда-то, казалось мне, одушевляла по-своему и царя, когда он освобождал крестьян, и революционера, когда он боролся с наступившей реакцией. Эта правда затерялась среди извилистых путей жизни и привела одного к мучительной смерти, других на эшафот. И вот когда первомартовцы стояли над толпой на своей позорной высоте, до них доносился снизу грозный и враждебный гул человеческого моря. Русская толпа видела лишь одну половину правды. Она помнила, что Александр II был царь-освободитель, и не понимала, сколько он, в свою очередь, совершил пре-

ступлений против свободы. Любовь и ненависть людей, приносивших в жертву народу свою жизнь, была ему непонятна. А между тем есть где-то примирение, и теперь мне чудилось, что оба — и жертва, и убийца — ищут этого примирения, обозревая темную родину.

К этой теме я возвращался на протяжении долгого пути по Лене. Я не спал ночи, протирая обмерзшие стекла и следя, как над мрачными скалами неслась высоко холодная луна. Когда я приезжал на станки, я старался отогреть руки и набросать хоть отрывки поэмы. Но на станках издали слышали наш колокольчик и начинали готовиться. Поэтому едва я, успев согреть руки, пробовал набрасывать в книжечке обрывки образов и мыслей, как приходил ямской староста и сообщал, что лошади поданы. Приходилось опять выходить на холод и садиться в возок. И опять эти два образа властно входили в мое воображение.

Недавно я нашел одну из этих записных книжек, и опять то настроение пахнуло на меня со старых листков. Мне представлялся революционер, выхваченный из сутолоки борьбы, которого везут моим путем. Он, как и я, смотрит в то же ночное небо, так же чувствует неисходную трагедию борьбы без народа. Те же думы владеют его душой, и он задается вопросом, где правда в этом холодном мире... «Мороз, великий владыка северной пустыни, сжимает воздух. Иней валится широкими хлопьями и искрится в лучах луны. По огромной реке гремят точно выстрелы из пушек. Это лед трескается от мороза, и протяжный гул долго стоит на реке, уходя все далее меж гор, ущелий и сопок...» Так наступает полночь рождества 1882 года. Колокольчик выводит свою долгую рыдающую песню, и ссыльный, как и я, записывает приходящие в разгоряченную голову мысли. Его рукопись попадает в Россию в среду революционеров-террористов. Но там это настроение и эти вопросы — «где правда» — кажутся среди продолжающейся борьбы странными и непонятными. На обороте рукописи твердым, размашистым почерком написано: «Господи боже, какая ерунда! Очевидно, эти мечты — результат странной умственной болезни когда-то столь трезвого нашего покойного друга. Ему наконец стал мерещиться образ фантастического царя, «сильного державой и мечтающего о свободе». Можно же додуматься до такой маниловщины!.. Однако человек был все-таки превосходный и оказал большие услу-

ги нашему общему делу. Поэтому, друг Волчище, приложи все старания, чтобы исполнить волю покойного и доставить рукопись NN. Что она сделает с этими мечтаниями о примирении непримиримого — я не знаю, но она, кажется, знает...»

Поэма так и осталась неконченой. Вскоре другие мысли и другие впечатления вытеснили эти пустынные ленские мечты. Я привожу здесь эти бессвязные отрывки, так как они обобщают мои впечатления от великой трагедии 1 марта, ставшей трагедией всей интеллигенции, пожалуй, трагедией всей России. Сознание этой трагедии носилось в воздухе. Тогда даже террористы-цареубийцы приглашали русских самодержцев на путь мирных конституционных реформ...

III

ВОСПИТАННИК ДЕКАБРИСТОВ.— ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Между тем мы всё неслись по льду Лены. Войдя на станцию Тинную, я застал там проезжающего, ехавшего нам навстречу. Это был коренной сибиряк, но в его наружности было что-то как бы от чуждого Сибири прошлого. Он был невысок ростом, довольно полон, но все-таки в нем было что-то напомнившее мне пермского губернатора Енакиева, «человека XVIII столетия». К сожалению, я теперь забыл его фамилию. Знаю только, что родом он был из юго-западных областей Сибири и воспитывался под влиянием декабристов. Подавая мне стакан чаю и подвигая сибирские печения, он говорил:

— Да, просвещается наша Сибирь, просвещается. Прежде декабристы, теперь вот вы, господа политические. Россия вас высылает, а Сибирь приемлет себе на пользу. Не так давно я встретил так же вот, как вас, милостивый государь, молодую девушку Евгению Александрову. Может быть, фамилия вам известна?.. Едет в Верхоянск из любви к жениху, господину А—ву. Тоже, может, изволили слышать?

Фамилия мне действительно была известна. А—в был тот самый эксцентрический ссыльный, о котором мне рассказывал пермский жандарм Молоков. Значит, к нему проехала уже его невеста, которую он окликал во всех уездных тюрьмах... Видя, что я заинтересован

этим известием, воспитанник декабристов продолжал растроганным голосом:

— От детства моего сохранил я память о женах декабристов — княгине Оболенской, Трубецкой и других... Теперь эти благородные подвиги любви повторяются на наших глазах. Молодая девушка кидает семью, родственную среду и отправляется за Полярный круг. Притом и одежонка на ней далеко не сибирская. Посмотрел я, как она, простившись со мной, садилась в свои сани в лютый мороз... Поверите, даже слеза прошибла... Что-то дальше ждет ее, бедную?..

Впоследствии, вернувшись из ссылки, я познакомился с Евгенией Александровой. Это оказалась действительно очень хорошая и привлекательная молодая женщина, но что бы сказал мой романтический сибиряк, если бы узнал, что ее подвиг, которым он так восхищался, оказался ошибкой. Преодолев столько препятствий, она вскоре разошлась с мужем и вернулась в Россию.

На станции Мухтуй, когда мы с провожатыми уже собирались выходить и садиться в возок, перед станком послышался звон колокольчиков и бубенцов, и к нам буквально ворвался новый ссыльный. Это был некто Буриот. Он узнал от писаря мою фамилию и сразу кинулся меня обнимать, точно родной. Оказалось, что он едет непосредственно из Красноярска без остановки в Иркутске и хорошо знает моих родных. К сожалению, наши лошади были уже запряжены, а этих ленских, плохо объезженных лошадей очень трудно держать на морозе. Поэтому мне пришлось ограничиться самыми краткими известиями о своих и попрощаться с Буриотом. С ним ехала молодая жена и две прелестных девочки... Эту ночь я мало думал об Александре II и Желябове. Она была населена для меня образами дорогих и близких людей.

К нашему удовольствию, нас вскоре обогнала почта. Почта на Лене представляет зрелище внушительное и своеобразное, хотя на этот раз она была меньше обыкновенного и одна из заготовленных для нее троек оставалась для нас. Мы пристегнулись к почтовому каравану и поэтому поехали быстрее обычного, порой даже опережали почту и приезжали на станки заранее, а затем уже, после нас, с Лены на берег подымалась среди звона и криков целая вереница троек. Затем мы успева-

ли уехать вперед, глядя, как все население станка хлопотало около нового почтового каравана. Это каждый раз представляло дело сложное и трудное. Здесь почтовая гоньба представляет остаток старинных «ямов», и ямщики состояли тогда на «государевом жалованье». С своеобразным бытом этих станочников я успел ознакомиться уже на обратном пути, когда мне с двумя товарищами пришлось ехать по неостановившейся еще Лене больше месяца в качестве этапных арестантов. Теперь лишь изредка мы слышали жалобы этих закрепощенных государству людей на страшную эксплуатацию почтового начальства. Почтовое начальство действовало как настоящий кулак. И чем беднее был ямской поселок, чем меньше было у него средств прокормиться без почтовой гоньбы, тем тяжелее были ее условия.

IV

ТОСКУЮЩИЙ ПОРТНОЙ.— ПРИЕЗД В ЯКУТСК

За станцией Жербовской кончилась Иркутская губерния, и мы вступили в Олекминский округ Якутской области, минуя станки и приисковые «разведенции» (резиденции ленских золотопромышленных компаний), прятавшиеся от нас в туманах. На одной из таких станций я повалился в изнеможении на лавку и мгновенно заснул. Меня разбудил какой-то человек, настойчиво тормошивший меня за плечо. Раскрыв глаза, я увидел около себя человека небольшого роста, одетого в новую щегольскую серую пару. Он смотрел на меня извиняющимся и просящим взглядом.

— Извините, милостивый государь, что разбудил вас. Но, ради бога, посмотрите на меня.

Он снял с головы новенький картуз и показал его мне, поворачивая во все стороны.

— Посмотрите, нет, вы только посмотрите. Чапка!

Я знал, что «чапка» по-польски значит фуражка, но это мало мне объяснило, зачем он разбудил меня. Между тем незнакомец повернулся передо мной на каблуках, как-то охорашиваясь, причем лицо его сохраняло все то же умоляющее выражение.

— Камизелька (жилетка), шараваречки (брюки), сурдут...— И он поочередно указывал на эти принад-

лежности костюма, называя их по-польски и продолжая поворачиваться передо мною точно на пружинах.— Нет, вы только посмотрите, пожалуйста, посмотрите... Ведь хорошо!..

Сначала я подумал, что этот странный человек сильно выпил. Но он не был пьян. Это был портной, высланный сюда из Петербурга и стосковавшийся по своей настоящей работе. Недавно его пригласила партия приисковых служащих, главным образом поляков, выписавших на прииск массу материй чуть ли не из Парижа. Он провел несколько недель в приисковой резиденции, обшивая заказчиков, которые, кроме платы, дали ему материи для его собственного костюма. С тех пор он считал наиболее приличным называть разные принадлежности одежды по-польски. Но — увы! — ему пришлось все-таки вернуться с шумных приисков на уединенный приленский станок.

Я наконец понял, что ему нужно. Услышав почтовый колокольчик (это здесь не часто), он тотчас же надевал новый костюм и бежал, чтобы показаться проезжающему во всем великолепии...

— Чапка, камизелька, сурдут... Нет, вы только посмотрите, милостивый государь, вы только взгляните... Пожалуйста, еще с этой стороны...

Писарь рассказывал моим провожатым, что, когда бы ни послышался почтовый колокольчик, хотя бы это было в полночь или на рассвете, он тотчас же просыпался в своей юрте, торопливо напяливал на себя парадную одежду и бежал показаться проезжающему. Увидев во мне культурного человека, он с жадностью накинулся на меня, умоляя посмотреть на него еще и еще...

Я с грустью подумал о страшной пустоте жизни этого бедняги, и мне невольно пришло в голову, не придется ли и мне так же тосковать в каком-нибудь глухом углу будущей моей ссылки. Поэтому я выказал живейший интерес к его великолепным одеяниям, пока наконец нам не подали лошадей. Из благодарности за мое участие он вышел провожать меня на станочный двор.

— Правда, хорошо?..— были его последние слова, когда я усаживался, и его глаза смотрели на меня с той же смесью радости и вместе сожаления к себе... Я думал, что он внезапно расплачется.

Перед Олекмой навстречу нам стали попадаться тунгусские вьючные караваны. Олени с ветвистыми рогами, закинутыми на спину, шли, покачиваясь, под тяжелыми вьюками, а на некоторых вдобавок сидели, вытянув вперед ноги, тяжелые тунгусы. Это приленские звероловы выходили из тайги, вывозя на продажу плоды своего осеннего улова и стараясь закупить предметы, нужные им на зиму. Однажды нам попался таким образом тунгусский князек. Он похож был на башню, а рядом с ним бежал спешившийся родович, выслушивая его приказания. И этот последний казался таким покорным и маленьким. Я невольно подумал о том, сколько еще трудно искоренимого рабства в нашем отечестве... Ямщик и даже мой провожатый жандарм отзывались о «князе» с большим почтением.

Наконец 24 ноября благодаря ускоренному движению с почтой передо мной замелькали огни Якутска. Спускались сумерки, шел негустой, холодный снег. Большие пустыри сменялись кучками домов и юрт. В некоторых местах это были «амбары», то есть дома, построенные по-русски, из бревен, в других — простые юрты, с наклонными стенами и большими льдинами вместо окон. Уже в сумерках меня подвезли к темному двухэтажному зданию, в котором жил губернатор и помещалась его канцелярия.

V

ЯКУТСКИЙ ГУБЕРНАТОР ЧЕРНЯЕВ

Якутским губернатором был тогда Черняев. Это был человек большого роста, с крупными чертами маловыразительного лица. Он вышел ко мне, осмотрел внимательно нового ссыльного и, не сказав ни слова, удалился. Впоследствии мне рассказывали его прошедшую карьеру.

Он был сибирский казак и когда-то служил в конвое при постройке Кругобайкальского шоссе. На этой постройке работали, между прочим, каторжники, в том числе бывшие польские повстанцы. Меня до сих пор удивляет, как мы мало интересуемся выдающимися эпизодами из нашей истории. Мало кому, например, известно, что при этой постройке поляки задумали новое восстание в Сибири с целью пробраться к китайской границе. Предприятие было задумано и осуществлено

плохо, и скоро восстание было подавлено, но одно время Байкал был охвачен огненным кольцом инсургентов и представители русской власти захвачены в плен. Такая же участь постигла и Черняева. Говорили, что насмешливые поляки стали возить на нем воду из Байкала в свой лагерь. Эти своеобразные «страдания за отечество» положили начало его карьере, и в конце концов он стал хотя и якутским, но все-таки губернатором, не проявив ничем административных способностей.

Это был прежде всего человек добродушный, но совершенно незначительный. Чиновники делали с ним что хотели, и мне впоследствии пришлось испытать это на себе.

Так как мне слишком долго пришлось просидеть в Иркутске, то мои бумаги пришли в Якутск ранее меня, и место моего назначения уже определилось. В канцелярии мне сказали, что я назначен в слободу Амгу, расположенную около трехсот верст от Якутска, в пределах Батурусского улуса. Чиновник прибавил к этому, что это большая слобода, что в ней есть церковь, две лавочки и почтовая контора. Кажется, что этим назначением я был обязан знакомству Рыхлинского с каким-то влиятельным лицом в канцелярии губернатора Педашенко.

Затем меня отправили в тюрьму, обширное деревянное здание далеко за городом. Здесь я встретил товарища, политического ссыльного, Анания Семеновича Орлова, уже назначенного в Батурусский улус, то есть по соседству со мною. Дня через три он отправился туда, и мы условились повидаться, если окажется возможным, уже на месте.

А 29 ноября и я выехал в том же направлении.

VI

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕЕЗД

В этом последнем переезде меня уже сопровождал один только казак. Это был представитель местного казачества, очень еще юный и очень простодушный. Эти казаки отлично приспособлены к суровым условиям климата, но в них нет ничего воинственного. От местной обуви, называемой «унтами», в которых они являются даже на парадные смотры, их иронически называют «унтовым войском».

День был ясный и очень морозный. Ямщики то и дело останавливали лошадей и, засунув им палец в ноздри, вынимали оттуда длинные ледяные сосульки. Без этой предосторожности лошадь может вдруг упасть на бегу и издохнуть.

Под конец пути дорога вошла в так называемую Яммалахскую падь. Это — лощина между двумя отлогими горными кряжами, покрытыми лиственничными лесами. Порой на темном фоне этих лесов вставал высокий вертикальный столб дыма. Это означало близость какого-нибудь обывательского станка и перепряжки. Эти юрты были разбросаны по лесу в одиночку. Деревень нам вовсе не попадалось.

С некоторого времени до меня стали долетать странные звуки. К однообразному скрипу полозьев по снегу и к шуму тайги присоединилось еще что-то, точно жужжание овода, прерываемое какими-то всхлипываниями. Видя, что я с недоумением оглядываюсь, стараясь определить источник звуков, казак усмехнулся и сказал:

— Это он поет песню. Вам еще не в привычку.

Это была действительно якутская песня — нечто горловое, тягучее, жалобное. Начиналась она звуком *а-ы-ы-ы...*, тянувшимся бесконечно и по временам модулируемым почти истерическими, рыдающими перехватами голоса. Странные звуки удивительно сливались со скрипом полозьев и ровным шумом тайги...

Вечерело. В одном из станков мы решили согреться и напиться чаю. Для этого мы сделали привал. Хозяйка тотчас принялась хлопотать. Поставив самовар, она юркнула в темный угол юрты, за камелек, откуда послышалось однообразное жужжание.

— Это она мелет муку на лепешку,— пояснил мой казачок.

Я заглянул за камелек. Там была наша молодая хозяйка, полураздетая. Рубашки на ней не было. Весь костюм ограничивался меховыми штанами и такими же унтами с узорно расшитыми голенищами. И все-таки она была покрыта потом, который скатывался по лицу и по телу крупными каплями. По временам она выходила к камельку и, вынув из-за голенища коротенькую трубочку, закуривала. Тогда к ней сходилось все женское население юрты и, затягиваясь по очереди, женщины начинали без церемонии разглядывать нас и судачить на наш счет. По временам женское щебетание прерывалось взрывами веселого смеха. Казак про-

бовал отшучиваться, но скоро спасовал, а я был, конечно, совершенно беззащитен. Затем хозяйка опять уходила за камелек, откуда вновь раздавалось жужжание ручной мельницы.

Я подумал, что на таких мельницах мололи хлеб еще во времена Гомера. На невысоком столике был неподвижно укреплен жернов. Другой, приводимый в движение цевкой, укрепленной в доске между двумя угловыми стенками юрты, ходил по нем, приводимый в движение рукой, и мука тихо сыпалась на столик. Намолов достаточно для большой лепешки, хозяйка замесила тесто и изжарила лепешку перед пылающим огнем камелька.

В это время снаружи послышался звон колокольчика и бубенцов, и вскоре в юрту, вместе с густыми клубами морозного пара, вошел новый приезжий. Когда он разоблачился перед камельком, то я увидел молодого казака, который мне показался прямо двойником нашего провожатого: такой же безусый и такой же юный. Он ехал из Верхоянска с эстафетой губернатору.

— Что у вас нового, брат? Говори...— сказал мой провожатый.

Казаки уселись на ороне (лавка под косыми стенами юрты), и приезжий сообщил вполголоса действительно поразительную новость: с океана прибыли по реке Яне неведомые люди. Они подвигались вперед в лодке, измеряя глубину реки, и посылали вестовых назад, как будто за ними шел по реке большой корабль, а они были только передовыми. Когда они подошли таким образом к городу Верхоянску — одна ладья без корабля,— исправник не знал, что с ними делать. Хотел было посадить их пока что в каталажку, да политические отговорили. Один из них знает язык приезжих, разговорился с ними и говорит исправнику:

— Не сажай их в каталажку, а прими с честью. Не пожалеешь.

Вот теперь этот казак и послан спешно к губернатору с эстафетой, а жители не знают, что и думать: не то неведомые люди пришли воевать, не то мириться.

Выслушав с напряженным вниманием рассказ товарища, мой провожатый сказал с печальным вздохом:

— Ах, брат... Ежели пришли воевать, то всех они нас тут повоюют...

Верхоянский казак грустно согласился с этим нерадостным заключением и затем, напившись чаю, опять

оделся и, взяв заготовленных для нас лошадей, сел в возок и помчался к Якутску.

Через месяц или два весь мир облетела новость: экипаж «Жаннеты» разыскался. «Жаннета» был американский бриг, отправившийся в полярную экспедицию. Где-то среди льдов у северных берегов Сибири он потерпел крушение, и экипаж его затерялся. Газеты Старого и Нового Света были очень заинтересованы судьбой этого экипажа и ловили всякие слухи, которые удавалось узнать от кочевавших по берегам Ледовитого океана чукчей. Но затем все известия прекратились.

И вот теперь этот нехитрый казачок вез в своей сумке новость, которая должна была взбудоражить газеты всего мира: затерявшийся экипаж «Жаннеты» прибыл к Верхоянску, поставив местного исправника перед альтернативой: не то принять гостей с честью, не то для безопасности посадить их в каталажку. Тогда рассказывали, что если бы в это время в Верхоянске не находилась целая группа политических ссыльных, то путешественникам не миновать бы ближайшего знакомства с верхоянской каталажкой. Но политические отговорили от крутых мер, и американским гостям была предоставлена свобода. Исправник действительно не пожалел об этом: президент Северо-Американских Штатов прислал ему впоследствии почетную шпагу, для доставления которой в далекий Верхоянск была снаряжена целая экспедиция, и его имя, как просвещенного администратора, стало на время известно всему миру.

Кто знает, что было бы, если бы у русского правительства не было похвального обыкновения заселять самые отдаленные окраины европейски образованными людьми?

VII
НА МЕСТЕ

Выехав со станка ранним утром, мы опять ехали до вечера, останавливаясь только для перепряжек. На одном из станков нам попались скопцы с Усть-Майи (поселок на реке Майе, приток Алдана). Они ехали в Якутск. Это были первые скопцы, которых я видел в своей жизни. Один был мужчина средних лет, другой — почти мальчик. Старший, узнав, что я политиче-

ский ссыльный, сдержанно выразил мне сочувствие. Мальчик, пламенно сверкая глазами, сказал без всякой сдержанности: «Долго ли еще будут свирепствовать утеснители?» Он, очевидно, был в периоде фанатического возбуждения, и я с сожалением посмотрел на него: неужели и ему предстоит оскопление и эти глаза, теперь метавшие искры, потускнеют и потухнут?

Над горизонтом опять поднялась луна, когда мы стали приближаться к месту назначения. Наконец ямщик повернулся на козлах и сказал:

— Амга!

Я расправил башлык и выглянул на мороз. Ыммалахская падь расступилась, и передо мною открылась широкая равнина, заканчивавшаяся вдали искрящимся под луной крутым горным кряжем и усеянная высокими столбами белого дыма. Впереди, поближе, их было немного — как будто небольшой поселок. Но дальше множество таких же столбов подымалось к небу, точно своеобразный дымный лес.

Это и была Амга.

Скоро наши сани, въехав в широкую улицу, остановились перед довольно большой избой, построенной по-русски в сруб, только без крыши. Это была так называемая мирская изба, соответствующая приблизительно нашему волостному правлению.

Здесь еще шли занятия. Навстречу нам поднялся человек средних лет, темный брюнет с очень черной бородой и блестящими, тоже черными, быстрыми глазами. Он подошел ко мне, протянул руку и отрекомендовался:

— Николай Васильевич Васильев. Политический ссыльный и вместе здешний писарь. А это вот здешний тойон, сиречь староста, до известной степени начальство.

Тойон степенно поднялся из-за стола и протянул мне руку. Лицо его было довольно полное, безбородое и безусое. Оно было чисто инородческое. На нем был плисовый кафтан, туго перетянутый поясом. Рукава кафтана были сильно приподняты кверху, что придавало ему своеобразный вид какого-то дипломата прошлых времен. С Васильевым он говорил по-якутски и держался не без важности.

— Ну, теперь мы выдадим вашему казаку расписку в приеме и напоим его чаем. А мы с вами отправимся к товарищам. Здесь живут Иван Иванович Папин и Осип Яковлевич Вайнштейн. У них своя юрта.

Он в качестве писаря исполнил все формальности, и тот же ямщик повез нас в другой конец села. Когда мы ехали по улице, она показалась мне необыкновенно оживленной, хотя, в сущности, никакого движения на ней не виделось. Это впечатление создавалось клубами дыма, который вырывался из юрт, боролся с морозом и, треща, подымался высоко к небу. К этому прибавлялся переливавшийся сквозь ледяные окна свет пылающих камельков, что в общем создавало картину безмолвного ночного оживления. По временам отворялись двери и сейчас же с громом падали на наклонные стены. Амгинцы выглядывали на звон наших колокольцев. Увидев Васильева, они обменивались вопросами на якутском языке. Он отвечал так же.

Приблизительно в середине улицы (более версты длиной) стояла большая деревянная церковь, искрясь от инея и мороза. Миновав ее, мы свернули влево и подъехали к небольшой юртишке с такими же ледяными окнами, как и другие. На дворе было несколько пристроек, в том числе летняя изба, теперь стоявшая пустой. Здесь нас радушно встретили товарищи.

Прежде всего это был знакомый уже мне Иван Иванович Папин, встречу с которым на нижегородской барже при первой моей высылке в Сибирь я уже описывал выше. Он был сослан вместе с Долгушиным и отбывал каторгу в одной из харьковских централок. Теперь я был приятно удивлен его цветущим видом. Вместо сильно потускневшей в централке фигуры, какую я видел тогда в пути, передо мной стоял цветущий молодой человек с блестящими глазами и веселым лицом.

Другой был Осип Яковлевич Вайнштейн, еврей, студент-медик одного из первых курсов. За что он был выслан, я теперь не помню. У него было приятное, доброе лицо, а глаза тоже сияли оживлением.

Третий был некто Хаботин. Я называю настоящие фамилии моих товарищей. Только о Хаботине мне приходится сообщить мало лестного, и потому я прибегаю к измененной фамилии. История его ссылки довольно оригинальна. Он был не то приказчиком, не то мальчиком в какой-то петербургской мелочной лавочке. Однажды, кажется в воскресенье, в киоске для проходящих, помещавшемся у самой Публичной библиотеки, вдруг раздался выстрел. Тотчас же явилась полиция. Думали сначала, что это самоубийство, но когда открыли дверь отделения, то нашли там растерянного юношу,

который не мог объяснить, ни зачем у него револьвер, ни каким образом произошел выстрел. Время тогда было тревожное, и «опасного юношу», не долго думая и не разбираясь в деле, услали прямо в Якутскую область. Нам он тоже не мог объяснить толком происхождение таинственного выстрела и только как-то косо и угрюмо улыбался, когда Васильев, шутя, рассказывал, что Хаботин выслан за неумелое обращение с брюками, в которых случайно находился револьвер. При взгляде на его нескладную, неряшливую фигуру, с сильно стоптанными валенками, объяснение казалось довольно вероятным. Первоначально его выслали в поселок Чипчалган, населенный, как и Амга, объякутившимися крестьянами и находившийся всего в полутора верстах от слободы. Здесь жители так серьезно поняли свои обязанности по надзору, что, даже когда он выходил из юрты по своей надобности, его сопровождали караульные. Это продолжалось до тех пор, пока один из заседателей, сжалившись и над «опасным юношей», и над жителями, не исхлопотал ему перевода в Амгу. Папин и Вайнштейн приняли его в свою юрту, хотя молодой человек не был способен ни к какой работе.

Самым старшим поселенцем из политических в Амге был Николай Васильевич Васильев. Он был сослан еще в 60-х годах по делу так называемых воскресных школ. Это было просветительное движение, под влиянием которого в столицах, а отчасти и в провинции, стали основывать вольные воскресные школы. Участвовали в движении студенты, интеллигентные люди, дамы из общества. Сначала правительство относилось к ним терпимо. Посещали их ремесленники, швеи, рабочие. После каракозовского выстрела первые удары реакции не миновали и этого просветительного движения. Вскоре оказалось, что к просвещению примешалась наивная политическая пропаганда. Она велась кое-где совершенно открыто, без всяких конспираций. Правительство, не долго разбирая, закрыло все воскресные школы, а некоторых участников пропаганды судило и сослало на каторгу. Таким же образом попал на каторгу и Васильев, тогда еще совсем юноша. Отбывал он ее в Нерчинске, вместе с Чернышевским. По окончании срока он был выслан на поселение в Амгу и приехал сюда, когда новая волна политических ссыльных еще не стала сюда доплескивать. Ему сначала пришлось жить здесь одному. Очень живой и способный, он быстро изучил якут-

ский язык, женился на дочери местного объякутившегося крестьянина, обзавелся собственным хозяйством и до такой степени вошел во все интересы местной жизни, что общество выбрало его своим писарем, а начальство ничего не имело против его утверждения.

Вот почему, кроме тойона, в мирской избе меня встретил товарищ политический. Он радушно встречал всех новоприбывающих, и местные жители, по его примеру, так же радушно встречали нас. Когда первым прибыл в Амгу Вайнштейн, Васильев доставил ему работу — печь хлеб на прииска, причем его жена, превосходная женщина, первая научила Вайнштейна хлебопечению. Затем приехал (год назад) Папин. Он сначала помогал Вайнштейну, но потом перешел сам и склонил Вайнштейна перейти к земледелию. Они за семьдесят рублей купили усадьбу-юрту с надворными постройками, обзавелись хозяйством и с весны прошлого года уже вели правильное земледельческое хозяйство.

Мы долго впятером просидели в этот вечер за самоваром, встречая Новый год. Я рассказывал им привезенные из России и из Иркутска новости, они делились местными впечатлениями. Наконец, уже далеко за полночь Васильев ушел к себе на заимку, расположенную верстах в полуторах от слободы, товарищи улеглись, а я, по своему обыкновению, долго еще сидел со свечой за столиком и писал письма матери, сестрам, брату и Григорьеву. Вот я наконец на месте, здоров, бодр, все, что меня здесь ожидает, очевидно, будет в высшей степени интересно. Товарищи у меня хорошие.

После этого я уже глубокой ночью еще раз вышел наружу и был прямо поражен необыкновенной красотой прозрачного северного неба. Прямо против нашей юрты сверкало созвездие Большой Медведицы. Оно показалось мне несколько выше и ярче, чем у нас,— вероятно, вследствие сухости и ясности воздуха. Столбы дыма над слободой, все такие же белые и прямые, клубились вяло, как будто засыпали. По временам кто-нибудь в этих спящих юртах просыпался от холода и подбрасывал дров. Тогда из трубы камелька бурно вырывался сноп искр, и дым, энергично клубясь, подымался к небу, чтобы через некоторое время опять сравняться с остальными. Где-то вдалеке, за рекой Амгой, раздавался частый и пронзительный крик северной лисицы. Тогда собаки на слободе отвечали долгим, протяжным лаем, похожим на вой...

Мороз стал щипать мне щеки, и я понял, что тут нельзя безнаказанно любоваться красотами звездного зимнего неба. Я вошел в юрту и улегся на ороне под самой льдиной окна. Когда я погасил свечу, три фосфорических пятна странно выступили на темных стенах. За ними опять мне чудилась та же волшебная сверкающая ночь. Все мне казалось фантастическим, проникнутым невиданной красотой и интересным. Я думал об истекшем годе, о том, куда меня теперь закинула судьба, о далеком Красноярске, о сестрах Ивановских, о далеких друзьях и, кажется, долго еще улыбался во тьме.

Наутро Папин сказал мне, что в Амге есть еще один наш товарищ, политический ссыльный, и живет недалеко от нас.

Это оказался Ахаткин, бывший офицер и мой сожитель по вышневолоцкой политической тюрьме, уехавший в первой партии. Он был сослан за сношения с архангельским кружком Флеровского-Берви. У него были явственные признаки грудной болезни, кажется, даже чахотки, и наши товарищи, доктора Грабовский и Данилович, делали самые мрачные предсказания, если его сошлют в Якутскую область. Папин, однако, на мой вопрос о здоровье Ахаткина ответил, что, вопреки ожиданиям, он чувствует себя недурно, хотя ведет не совсем гигиенический образ жизни. К скудному казенному пособию (девять рублей в месяц при сильной дороговизне) он прибавляет кое-что клейкой гильз, которые сбывает местным священникам, торговцам и в две лавочки. Целые дни он с замечательным упорством, не разгибая спины, клеит гильзы с утра до вечера, а раз или два в месяц позволяет себе довольно вредную роскошь. Получив деньги, покупает у татар одну или две бутылки водки, зовет к себе кого-нибудь из веселых собеседников, преимущественно местного дьячка, который славится тем, что его никто не мог «перепить», и они всю ночь напролет проводят за выпивкой. А на следующее утро, опохмелившись, он принимался опять за ту же клейку гильз.

Он жил близко от Вайнштейна и Папина, и я в то же утро решил отправиться к нему. На этот раз я попал неудачно: Ахаткин только что закончил свое всенощное бдение. На крыльце юрты я увидел необыкновенно живописную фигуру, в которой сразу угадал дьячка:

Это был человек крупный, с большой окладистой бородой и густой шапкой седых волос. Он стоял на морозе в меховом подряснике, но без шапки, жадно вдыхая богатырскою грудью холодный воздух, и, очевидно, наслаждался.

— Здесь, кажется, живет Ахаткин... Могу я его видеть? — спросил я.

Патриарх посмотрел на меня внимательным взглядом, слегка усмехнулся и ответил:

— Живет-то он здесь, но видеть его бесполезно...

И опять легкая улыбка подернула его благообразное лицо:

— Почиет во дни скорби своея... А впрочем, войдите.

Я вошел. Ахаткин, с желтым и бледным лицом, лежал на лавке, прямо против жарко натопленного камелька. Он был в валенках, полушубке и меховой шапке. Я попробовал поздороваться, но увидел, что это действительно бесполезно. В том, как он лежал против камелька, видно было чью-то заботливую руку, но все-таки спереди его жарило пламя камелька, а сзади сильно продувало сквозняками от плохо приставленных льдин. На столе оставалось еще немного водки и стояли рыбные закуски.

— На опохмелку будет,— сказал дьячок, окинув остатки пирушки взглядом знатока.— А теперь мне пора. Прощайте.

И он степенно вышел. Ахаткин спал, как младенец, но лицо у него было страдальческое и изможденное.

И все-таки из Якутской области он уехал более здоровым, чем приехал сюда...

Когда я вернулся к товарищам и передал о своей встрече, Папин и Вайнштейн рассказали мне, что этот дьячок — личность в своем роде замечательная. Он был сослан в Якутскую область по распоряжению местного архиерея. В свое время он был дьячком в одном из монастырей средней России. В молодости он отличался необыкновенным голосом, превосходным знанием службы и вообще большими способностями, но сильно пьянствовал еще в семинарии. Из семинарии его исключили до окончания курса, и он попал в дьячки, вдобавок под начальство бывшего товарища, большого тупицы, но покорного теленка и пролазы. Этот священник не мог простить бывшему товарищу его насмешек в семинарии и любил при прихожанах поправлять его во время богослужения. Поправлял по большей части не

к месту. Однажды дьячок не вытерпел и на одно из замечаний ответил громко во время службы:

— Кто бы поправлял, а то...

И он во время торжественного богослужения привел неприличное прозвание, которым товарищи семинаристы дразнили этого священника. За это сначала он попал в монастырь, но не ужился и там. Рассказывали, что однажды он во время какой-то монастырской пирушки обобрал в кельях все иконы, навалил их на салазки и стащил в кабак. Тогда владычное долготерпение истощилось, и на основании каких-то архаических правил по распоряжению архиерея он был передан гражданским властям для ссылки в дальние места. Так он попал в Якутскую область.

Теперь он состарился и сильно остепенился. Держался он важно, как подобает особе, до известной степени напоминавшей Саваофа. У него были две дочери, уже взрослых. Рассказывали, что по временам и теперь «в подпитии» он позволял себе веселые, даже кощунственные песни. Особенно удавался ему один разговор монаха с богом. Монах лежит в кабаке в соседстве винной бочки, а бог его усовещивает. Завязывается спор, в котором победителем остается веселый монах. Эту песню он позволял себе петь только в исключительных случаях, например во время всенощных бдений с Ахаткиным, и при слушателях, в которых был уверен. Вообще же он был чрезвычайно сдержан, никогда не задавался во хмелю и пользовался отличной репутацией в глазах духовного начальства и среди обывателей.

VIII

СЛОБОДА АМГА И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

В Амге я прожил три года. Не скажу, чтобы это был самый счастливый период моей жизни. Самый счастливый наступил по возвращении из ссылки, когда вся моя семья опять соединилась, когда я женился на любимой женщине и вошел в литературу. Но что это был самый здоровый период жизни, когда мы с товарищами занимались земледельческим трудом,— это верно.

Мне приходится ознакомить читателя с условиями, в которых я прожил эти три года.

Жители Амги называли себя «пагына́й», в отличие от якутов, которых они называли «джякут». Название

«пагынай» происходило от русского слова «пашенный», которое указывало на их крестьянское происхождение. Говорили, что они переселены с Амура генерал-губернатором Муравьевым-Амурским, но, должно быть, это переселение совершилось ранее — до такой степени они успели утратить черты русской народности. Мужчины еще говорили по-русски, хоть и с сильным якутским акцентом. Женщины говорили только по-якутски и порой, понимая русский язык и даже умея немного говорить на нем, как будто стыдились говорить по-русски. Даже жена Васильева, порой заговаривавшая со мной по-русски, смолкала при посторонних и не могла мне объяснить, почему она стыдится русского языка. Но всякий раз ее лицо покрывалось краской, и она прекращала разговор, когда входили посторонние или даже муж. Женщине говорить по-русски считалось как будто неприличным.

Бывшие пашенные хранили воспоминание о своем происхождении и гордились им. Один из них, Захар Цыкунов (с которого я писал своего Макара), просил меня впоследствии, когда я получил возможность вернуться в Россию, прислать ему всю крестьянскую одежду, как носят в России. Перед смертью он намеревался одеться по-русски, чтобы явиться на тот свет, как прилично «пашенному».

В остальном они почти ничем не отличались от якутов: ходили в церковь, но и якуты были тоже православные, и по воскресеньям у церковной ограды можно было видеть привязанных верховых лошадей с высокими якутскими седлами.

На священников амгинцы смотрели, как и якуты: это были православные шаманы, но только шаманы казались сильнее. Жители Амги заключали это из того, что шаманы никогда не обращались в случае болезни к помощи священника, тогда как священники звали к себе порой шаманов, и они призывали для исцеления православного священника языческие невидимые силы. Шаман затапливал в таких случаях камин, и затем, когда огонь выгорал и в избе водворялась тьма, шаман начинал выкликать и бесноваться, причем изба наполнялась странными голосами, звучавшими из разных углов, а порой проносившимися над крышей. Все шаманы — искусные чревовещатели.

Кроме пашенных, слобода была почти наполовину заселена ссыльными татарами. Главный их контингент

были сибирские татары, переселенные откуда-то с юга целой деревней. Еще на дороге до Иркутска мне указывали такие деревни, население которых было снято с мест и выселено губернатором князем Васильчиковым за грабежи по тракту. Еще в то время, когда я проезжал этими местами, многие избы стояли пустыми. Так же были выселены и амгинские татары. Потом к первоначальным поселенцам прибавляли отдельные семьи с юго-западной Сибири и даже из Уфимской и Оренбургской губерний. Татары эти держались очень дружно и составляли одну воровскую шайку. Администрация заставляла амгинцев наделять их землей и выделять на их долю часть покоса. Работники эти татары были хорошие, но все же не довольствовались одной работой и то и дело прибегали к подсобным промыслам в виде воровства. В моем очерке «Марусина заимка» я довольно точно описал сложившиеся на этой почве отношения между якутами и татарами. Все воровства татары вели как общественное дело: собирали «мунак» (общественное собрание) и на нем обсуждали всякое сколько-нибудь крупное воровское предприятие. Это делалось на случай, если какое-нибудь из ряду выходящее воровство вызовет повальные обыски по татарским дворам; тогда может найтись многое, уворованное раньше. Перед вечером по дороге, мимо нашего двора, к лесу тихонько пробирались татарские подводы. Тогда мы знали, что татары готовятся к какому-нибудь предприятию и припрятывают наворованное раньше. Знали это и амгинцы, но как-то не умели защитить себя и только на следующий день неожиданно узнавали о совершенной краже.

Нас татары не трогали. Они очень любили Папина. Он был по происхождению донской казак. То и дело можно было видеть, как он скакал по прямой амгинской улице вперегонку с каким-нибудь татарином, причем остальные татары смотрели взглядами знатоков на эти гонки. Порой, проходя мимо татарского двора, можно было видеть Папина с трубкой в зубах, с глубокомысленным видом оценивающего в кружке татар статьи какого-нибудь только что приведенного конька, вероятно в эту ночь украденного «в якутах». Его мнению о лошадях татары придавали большое значение. Вероятно, благодаря этому обстоятельству у них было постановлено у «государских» не воровать. И действительно, нам случалось уезжать на целые вечера на

заимку к Васильеву, оставляя юрту на произвол судьбы. И всегда, возвращаясь, мы находили все в сохранности. Однажды только татары предупредили нас, что на последнем мунаке у них вышли раздоры. Нашлись несогласные с обществом «подлецы», заведенный лад расстроился, и теперь, говорил нам наш сосед-татарин, вы тоже поберегайтесь: могут ограбить и вас. Мы действительно поберегались, по очереди караулили по ночам, а одно время я даже спал на плоской крыше нашего «летника». Закончился этот караульный период юмористической сценкой. Было это весной. Солнце уже сильно пригревало, и на крыше уже было довольно сухо. Я караулил ночью и проснулся довольно поздно. Оказалось, что мои товарищи решили испытать мою чуткость. Они прежде всего вынули из-под изголовья револьвер, затем, видя, что я не просыпаюсь, скатили меня на землю с плоской крыши, утащили из-под головы подушку и полушубок. Только тогда я наконец проснулся. Картина, которую я при этом увидел, была для меня, как для сторожа, довольно безотрадна: кругом все над сторожем смеялись. Смеялись товарищи, смеялись соседи-амгинцы, и — что всего хуже — смеялись также соседи-татары.

Впрочем, скоро нам пришли сказать, что несогласия среди татар кончились, и мы опять получили возможность оставлять юрту на целые вечера под надзором только собаки Цербера, который всегда сидел над входом, как статуя верности, и встречал наше возвращение ласковым лаем.

Однажды (это, кажется, было во вторую зиму моего пребывания в Амге) Васильев пришел сказать нам, что татары затевают, по-видимому, что-то грандиозное: амгинские крестьяне сильно встревожены их приготовлениями и пришли предупредить его. Он на всю ночь выставляет около своей заимки караулы. Вечером я вышел к своей городьбе и прислушался. В слободе было слышно тихое движение и скрип полозьев. Ночь была темная. Из сумрака появилась фигура крестьянина-соседа.

— Караулишь, Владимир? — тихо спросил он.

— Да, татары что-то затевают...

— Да, мы замечаем тоже: ездят куда-то уже несколько ночей. А сегодня уехали на тридцати подводах. Ну все-таки спи, ложись. Ничего ночью не будет... Поехали в якуты... Вот что-то будет наутро.

Наутро в слободу с гиканьем и дикими криками примчался целый отряд якутов.

Оказалось, что татары ограбили в соседнем наслеге общественный хлебный магазин. Сделано это было необыкновенно ловко. Татары проехали не обычной дорогой, а горами, для чего возобновили старую, еще екатерининскую дорогу, наскоро ее отремонтировав... Этим и объясняется движение в слободе по ночам, которое мы слышали в течение нескольких ночей. Так как у якутов деревень нет и общественные магазины стоят просто в лесу, то татарам было нетрудно подъехать к такому магазину, выломать двери и увезти хлеб. К рассвету хлеб был уже в Амге и здесь как в воду канул.

Якуты заняли Амгу, точно завоеванную крепость. Они всем отрядом расположились на площади около церкви и оттуда, точно из главной квартиры, произвели набег на слободу, обыскивая всех подряд. Мы узнали, что, начав с противоположного от нас конца слободы, они уже обыскали Афанасьеву, мельника, теперь обыскивают начальника почтовой конторы Борисенко.

Этот Борисенко представлял фигуру чрезвычайно характерную. Худощавый субъект, с желчным цветом лица, необыкновенно гордившийся своим званием, своим мундиром и шпагой. К своим обязанностям он относился с изумительной простотой. Например, посылки, присылаемые на имя скопцов, он без церемонии вскрывал, деньги, присылаемые золотом, заменял бумажками и затем вступал с адресатами в торг, длившийся порой целые недели. Адресат требовал деньги или посылку, Борисенко старался выторговать побольше в свою пользу. Жалобы на него не помогали. В мое время дело велось якутскими чиновниками очень откровенно, по поговорке: «Ворон ворону глаз не выклюет». Чиновник, в особенности в столкновении с ссыльным, всегда оказывался прав. Однажды он таким же образом попробовал вскрыть посылку, адресованную Папину, но встретил со стороны Папина такой отпор, что тотчас же выдал посылку даже без формальностей полицейского осмотра.

Навстречу якутам, привалившим к нему с обыском, Борисенко вышел в полной парадной форме, в мундире и со шпагой. Он кричал, что они не смеют обыскивать чиновника, грозил жалобой, но разъяренные якуты хорошо знали о его воровских проделках со скопцами,

и его протесты показались им тем более подозрительными. Как бы то ни было, он напрасно ходил вокруг в мундире, помахивая смешной шпажонкой. Якуты сумрачно продолжали свое дело, предводимые своим писарем Лапчиком. Это был человек духовного происхождения, живший в Амге, фигура тоже довольно комичная. Во главе целого отряда разъяренных якутов он ходил из дома в дом, не принимая никаких протестов. Обыскали даже священников. Мы ждали у своих ворот, решив, со своей стороны, не сопротивляться обыску, так как признавали за якутами право искать свой общественный хлеб по горячим следам.

Вот наконец они поравнялись с нашим двором. Впереди шел Лапчик — человек низенького роста, полный, с лицом, на котором в данную минуту рисовалось сознание своей важности и силы. Поравнявшись с нашим двором, он вдруг остановился. Подозвав к себе нескольких якутов, он о чем-то стал совещаться с ними и потом приветливо махнул нам рукой.

— Сох! (нет),— крикнул он.— Эти не скроют.

— Сударский не надо! — подтвердил громко один из якутов, и весь отряд провалил мимо.

Это еще более оскорбило Борисенка, и в своей жалобе он особенно подчеркивал то обстоятельство, что его, чиновника, обыскали, а государственных преступников не обыскивали.

История эта в свое время наделала много шума не только в Амге и ее окрестностях, но и в Якутске. Вероятно, якутам пришлось вести объяснения с начальством, сопровождаемые аргументами, имевшими свою убедительность. Как бы то ни было, хлеб, привезенный на тридцати двух подводах, исчез бесследно. Конечно, нагрянула полиция из Якутска, ходили по татарским дворам, но ничего не нашли.

В своем очерке «Марусина заимка» я довольно подробно описал эту войну татар с окружавшими Амгу якутами. Неточность там только одна: в центре этой борьбы стояло не то лицо, которое я там выставил, а русский, живший в самой Амге. За этим отступлением в очерке верно изображены отношения воюющих сторон.

Между прочим, там изображен один эпизод с двумя слепыми стариками из якутов. Они заработали тяжелым трудом (помол хлеба на ручных мельницах) теп-

лые покрывала на зиму. Татары их украли, ограбив амгинского жителя, которому старики отдали свое сокровище на хранение. Старики, муж и жена, держась за руки, шли по улице слободы, и из незрячих глаз по их лицам текли слезы. Мне попались они навстречу, на них же смотрели татары. Я был сильно взволнован этим зрелищем и, подойдя к одному из татар, нашему соседу, которого, помнится, звали Александром, указал ему на стариков и сказал:

— Посмотри, Александр... Хорошо сделали ваши татары?

Должно быть, было что-нибудь в моем тоне, что его сильно задело.

Этот Александр был человек, представлявший для меня загадку. У него были прекрасные глаза, притом голубые, совсем не татарские. Он сильно интересовал меня и порой возбуждал прямо симпатию. Он как будто невольно тяготел к нам и иногда приходил «посидеть». В таких случаях он говорил мало, а больше слушал, как будто вдумываясь в слышанное. В его жизни было тоже большое горе. Все знали, что он без ума влюблен в свою жену, в которой тоже не было ничего татарского. Она была очень красива, и все знали, что она изменяла мужу. В Амге рассказывали, что, вернувшись с какой-то ночной экспедиции слишком поспешно, он застал у себя муллу, старого и очень некрасивого. Он чуть не убил его, но жене не мстил и по-прежнему находился у нее в полном подчинении. Порой он приходил к нам пьяный, бормоча что-то, и, видимо, в очень тяжелом настроении. Однажды он сказал мне, положив руки мне на плечи:

— Какие вы люди?.. Я не знаю, какие вы люди... А я вот какой человек: кабы мне не жена — давно я бы каторгу себе заработал.

Очевидно, «заработать каторгу» он считал достоинством, доказывавшим удаль. Однажды при нем заговорили об одном богатом якуте, жившем очень «людно». Татары давно подбирались к нему, но все неудачно. Народу у него жило много, и было очень опасно взламывать у него амбары. Александр слушал эти толки, и глаза его вдруг сверкнули.

— А я знаю, что нужно сделать... Подпалить юрту... Якуты станут выскакивать в дверь, а у двери поставить двух человек с топорами. Как выскочит, так и прикончить.

И его глаза сверкали одушевлением изобретателя. И я не уверен, что при известных условиях он не выполнил бы этого своего изобретения.

И вместе с тем в этой темной душе жили движения совсем другого рода. Когда я попрекнул татар слепыми стариками, он, очевидно, несколько дней находился под впечатлением этого упрека. Наконец однажды он привел ко мне семью татар, выселившихся в Амгу из улуса. Под впечатлением войны между татарами и якутами — якуты перестали им давать работу и равнодушно смотрели, как старики и дети слабели от голода. Семье не оставалось ничего более, как притащиться в Амгу, явиться на крестьянский сход и швырнуть им своих стариков и детей. Теперь Александр пришел ко мне, привел одного из этих несчастливцев и спросил у меня, сверкая глазами:

— Слушай, Владимир... А это, скажешь, хорошо?..

Я не мог, конечно, сказать, что это хорошо. Передо мной ясно встала жестокая трагедия этой жизни, которая путем суровых уроков превращает симпатичных по натуре людей в разбойников.

Конечно, не все среди татар были такие яркие фигуры. Рядом с нами была юртенка Туфея, или, как его чаще называли, Туфейки. Это был худой, истощенный человек с бегающими глазами мелкого воришки, и часто мы видели, как он ночью прокрадывался мимо нашего двора, увозя в лес ворованное имущество (может быть, даже ворованное не им). Его баба была такая же худая и истощенная, как и он, и дети бегали летом, как хищные зверьки, промышлявшие случайной добычей. Здесь уже, очевидно, исчезала индивидуальная ответственность и вступал в силу вопрос: ну а как же им быть? Было жаль крестьян и якутов, жаль до такой степени, что порой и мы ожесточались и готовы были принять участие в борьбе... Но... было жаль и иных татар... И настроение невольно обращалось к тому, что привело нас сюда, то есть к изменению социального строя... Обе стороны признавали наш нейтралитет в этой борьбе. Можно сказать определенно, что в мое время слова «государственный преступник», или в сокращении просто «преступник», были до известной степени лестным званием. Однажды мне случилось слышать, как амгинский обыватель, заспорив с одним из политических ссыльных, который, по его мнению, по-

ступил с ним неправильно, сказал с непередаваемым выражением укоризны:

— А еще называетесь преступник!..

IX

АМГИНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ

В Амге были два «магазина». Один из них принадлежал Татьяне Андреевне Афанасьевой, с которой я вскоре познакомился через товарищей, у которой учил детей и с семьей которой до сих пор поддерживаю дружеские отношения.

Другая лавка принадлежала поляку Вырембовскому. Это был честный и добрый человек, попавший на каторгу за восстание и отбывавший ее тоже в Нерчинске с Чернышевским. Казалось, теперь у него не было ничего общего с прежними молодыми увлечениями. Это был прозаический человек, низенького роста, с большими опущенными вниз усами. Ходил он постоянно в валенках и, казалось, думал только о своих торговых делах. Все знали при этом, что Вырембовский человек глубоко честный, никого не обидит, на слово которого можно было положиться, как на каменную гору; порой под его старопольскими усами являлась улыбка — добрая, но слегка ироническая. Мне всегда казалось, что она отложилась в лице Вырембовского как результат его отношения к своей жизни — жизни трезвого и практического человека, раз поддавшегося фантастическим увлечениям, которые и завели его на край света.

Если упомянуть еще об одном торговце, который, однако, своей лавки не имел и вел какие-то дела с тунгусами из тайги, то затем мне придется отметить еще мельника, у которого в противоположном конце слободы была деревянная мельница с конным приводом. Он считался у якутов представителем особой мудрости, дававшей ему возможность перемалывать невероятное количество муки. Якуты находятся еще в той стадии культуры, когда всякое ремесло считается чуть не колдовством. Мне случилось в улусе видеть двух кузнецов. Они считались вместе с тем и врачами, и колдунами.

Затем в качестве представителей культурного общества мне придется упомянуть только о священниках. Их было два. Один был местный уроженец, сын попика Ивана, о котором мне приходилось упомянуть в «Сне

Макара». Этот поп Иван был необыкновенно добрый человек; о нем в Амге сохранилась наилучшая память. Но у него был один недостаток: он был горький пьяница. Раз в пьяном виде он свалился в пылающий камелек и сгорел. Сын его был необыкновенно благообразен, но и необыкновенно туп. Рассказывали, что якутский архиерей, живший в монастыре под Якутском, считал своим долгом посвятить сына попа Ивана во священники. Этот архиерей был необыкновенно толст и в такой же степени добродушен. В нем, по-видимому, бродили какие-то идеи. Некоторым священникам он советовал познакомиться с каракозовцами Странденом и Юрасовым, рекомендуя их как замечательно умных людей, у которых можно многому научиться. Одна просветительная экскурсия закончилась довольно оригинальным образом: священник доказал, что он умнее Страндена тем, что успел надуть его на каком-то подряде. Посвящая благообразного сына попика Ивана, благодушный архиерей не раз восклицал громогласно в сердечном сокрушении на всю церковь:

— О господи, господи! Взыщешь ты с меня недостойного за то, что я такого тупицу (он выразился еще резче) ставлю пастырем и наставником!

Теперь отец Николай несколько уже лет был священником в Амге, изучил обыкновенные службы, а в экстренных случаях пользовался содействием дьячка. Жители к нему относились, в память отца, благодушно, тем более что голос у него был очень хороший и служил он благолепно.

Другой священник, настоятель церкви, был человек худощавый, желчный и нездоровый. Волосы у него были жидкие, причем рассказывали, что их значительно разредил какой-то дьячок в церкви, где он служил ранее, подравшись со своим настоятелем в пьяном виде. Священник сгоряча написал на дьячка жалобу и, приложив к жалобе прядь волос, послал все это к архиерею. Благодушный архиерей призвал обоих и в довольно суровом увещании склонил к «евангельскому» миру.

Порой духовенство, по случаю, например, именин, устраивало у одного из священников попойки, и нам случалось бывать на таких празднествах. От татарской водки, настоянной вдобавок на табаке, все быстро пьянели. Особенно слаб бывал сам настоятель. Подобрав полы своей рясы, он пускался в пляс, выделывая

ногами удивительные курбеты. Младший священник, Николай, играл при этом на скрипице, сохраняя то же невозмутимое выражение на своем благообразном лице, а великолепный, знакомый уже мне дьячок, на которого совершенно не действовала водка, укоризненно помахивал своей седовласой головой и говорил:

— Ах, батюшка, батюшка!.. Нет на тебя матушки... Была бы жива, задрала бы она на тебе ряску-то, да всыпала бы горячих... Прилично ли пастырю производить этакие неблаголепные выкрутасы?!

Священник становился против него и отвечал с большим сокрушением и горестью:

— Молчи, дьяче, молчи! Нет матушки, и к тому уже не будет...— И по лицу его текли слезы.

А отец Николай продолжал пиликать на скрипице. В общем, такие вечеринки наводили на нас тоску, пока не наступал единственный номер, действительно яркий, характерный и колоритный. Это был приход двух настоящих артистов из уголовных ссыльных. Один был глубокий бас, другой высочайший тенор. Они были неразлучны, и когда бывали в Амге, то приходили на вечеринки вместе. Я тогда же зарисовал обоих. Бас был необыкновенно лохмат и плотен, тенор — худой, с маленькой головкой на тонкой шее. Особенный эффект производил в их исполнении какой-то старинный романс нравоучительного свойства. Начинался он словами:

Среди игры, среди забавы,
Среди благо... благо... благополучных дней...

Начало это выводил тенор на самых высоких нотах. Потом рокотал бас:

Среди богатства, чести, славы
К полной ра... ра... радости свое-е-ей...

И это «ра... ра... дости» звучало, как гром, заполняя всю комнату, отдаваясь во всех углах. После этого вмешивался опять тенор, и оба голоса вместе гремели, далеко вырываясь за пределы поповского дома на морозный воздух. Казалось, квартира священника превращалась в какой-то гремящий улей. Звуки неслись далеко по лугам, привлекая внимание одиноких путников. У порога поповской гостиной собиралось все население поповского дома — прислуга, работники, работницы. Они тянулись друг за другом, вытягивая

шеи... Порой среди них появлялся проезжий якут в своем плисовом кафтане с приподнятыми рукавами и в остроконечной шапке. Он тоже жадно и не без удивления ловил неслыханные звуки. Якуты не только не знают хорового пения, но я не слыхал у них даже дуэта. Они поют только в одиночку, и то неполным голосом, с горловыми всхлипываниями. Не мудрено, что дуэт, да еще такой громоподобный, привлекал внимание якутов. Порой артисты даже сами уходили «в якуты», прослышав о свадьбе или какой-нибудь пирушке. Там опять гремело «Среди игры, среди забавы». Якуты, конечно, не понимали поэзии этой песни, сочиненной, наверное, каким-нибудь духовным пиитой. Но они отдавались течению гармонических звуков. После игры и забавы наступали превратности: судьба преследовала человека все грознее, бас становился все могущественнее и глубже, тенор вскрикивал все отчаяннее. Казалось, не оставалось места ни малейшему утешению... Но вдруг мотив опять смягчался, и тенор мягко и утешительно выводил первоначальные ноты: «Среди игры, среди забавы». Буря постепенно, гармоничными нотами, сходила опять на игры и забавы, и все звуки из бездны отчаяния взбирались опять на высоту гармонии.

Я уже сказал, что певцы были настоящие артисты и это была их любимая песня. Было очевидно, что они сами увлекались и увлекали слушателей. Слава их гремела далеко за пределами Амги. О них известно было в Якутске, в архиерейском хоре, откуда бас получал неоднократные приглашения. Но, верный дружбе, он не соглашался поступать в хор иначе, как вдвоем с тенором. Однако даже искренняя дружба порой изменяет — в один прекрасный день бас соблазнился, оставил своего компаниона и исчез. Трудно себе представить всю глубину несчастья, в котором после этого очутился тенор. Случилось это около пасхи, и он явился ко мне в отсутствие моих товарищей. Он показался мне еще худее и тоньше и — прямо попросил водки... Не могу без угрызений совести вспомнить, что я ему отказал. Я предложил ему всякой пасхальной снеди, посадил его за стол и стал угощать. Он сел в надежде, что я смилостивлюсь и поднесу ему водки. Но я предлагал все, что угодно, но водки не давал. Не помню, каковы были причины этой моей жестокости. Может быть, у меня тогда действительно не было водки,

а может быть, меня удерживал просто жестокий молодой ригоризм. Он смотрел на меня жалобным взглядом и потом внезапно, поднявшись из-за стола, повалился мне в ноги.

— Милостивец,— сказал он, глядя на меня жестоко страдающим, потухшим взглядом умирающего,— я пищи теперь совсем не потребляю... Водки мне, водочки... Хоть рюмочку небольшую... махонькую...

Мне хочется думать, что причина моей жестокости была уважительная. Папина и Вайнштейна тогда, вспоминаю, дома не было. Они уехали к недальним товарищам, а для себя я водки не покупал никогда. Мне хочется думать это, иначе я не могу простить себе этой жестокости. Помню, однако, что он поднялся с полу, отказался от угощения пищей, которую не употребляет, и, шатаясь, вышел из юрты. Вскоре он тоже исчез из Амги, дуэты смолкли, и об артистах я больше не слышал.

X

МОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

Однако мне приходится вернуться несколько назад, к первым дням моего пребывания в Амге.

Я решил поселиться отдельно от товарищей. Наша юрта была довольно тесная, а я нашел в Амге и урок: первая Т. А. Афанасьева стала посылать ко мне своего сынишку. За нею последовал мальчик вдового священника, и, наконец, третьим моим учеником был сын торговца без лавочки. Кроме того, мне хотелось порою уединиться, чтобы набросать заметку или занести в дневник какое-нибудь новое явление. Поэтому я спросил у товарищей, не найдется ли поблизости от них какая-нибудь отдельная юртишка.

Такая вскоре нашлась. Это была нежилая юрта, довольно большая для одного, на самом краю слободы. Она была в полуверсте от юрты товарищей, и я нанял ее у хозяина за три рубля в год. Хозяин был очень симпатичный местный крестьянин, от своего «пашенного» прошлого сохранивший следы усов и бороды, которые он тщательно сбривал косарем. Он сам не жил в этой юрте — семья у него была большая,— поэтому юрта давно не ремонтировалась. Она отделялась от жилья товарищей двумя-тремя дворами соседей и пустырем...

Дальше была околица, слободской коловорот в конце длинной улицы и дорога лугами. В юрте была даже русская печь и окна со стеклами — правда, слишком мелкими и вставленными в берестяные рамы. Вскоре я предпочел вставить льдины, так как на стекла намерзало столько инея, что они становились совершенно непроницаемыми для света. Печка тоже была с большими неудобствами: она садилась назад, отчего в трубе образовалась трещина. Трещина все расширялась, и в юрту пыхал из нее дым, а порой и пламя. Мне приходилось часто ее замазывать глиной. Кроме того, когда я стал чаще топить ее, чтобы выгнать холод из намерзших углов,— вся юрта стала расседаться, при этом она то кряхтела, как старуха, то издавала другие странные звуки, то из нее что-то сыпалось. Приходившие ко мне находили, что жить в этой юрте прямо опасно, но я относился к кряхтению старушки с молодой беспечностью. Засыпать мне приходилось под ее шепот и говор, особенно когда днем я затапливал печку. Но это бывало не каждый день.

Утро я обыкновенно проводил у товарищей. Затем приходил к себе на время уроков с мальчиками, а потом опять уходил к товарищам обедать и часто оставался до вечера. До сих пор помню ощущение легкой жути, когда я один возвращался в свою пустую юрту. По слободе после моего приезда пошли слухи о моем богатстве. Поводом для этого послужило, во-первых, привезенное с собой лохматое красное байковое одеяло, во-вторых, что я тотчас же после приезда купил лошадь. Об этих слухах меня предупреждали доброжелательные крестьяне, и каждый раз, когда я входил в затененные сени, мне невольно приходила в голову летучая мысль — не ждет ли меня уже кто-нибудь в этой молчаливой, как будто притаившейся пустоте... Затем я затапливал камелек, в юрте становилось светло и весело, и всякая тень опасения исчезала. Пока камин топился, я писал что-нибудь за столом, потом закрывал камелек, для чего приходилось лазить на плоскую крышу. При этом я не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться величественным зрелищем северного неба. Передо мной, так как моя юрта стояла на краю возвышения, расстилалась обширная равнина, за нею река Амга, и далее крутой кряж гор искрился под луной и звездами. Порой я невольно прислушивался к тихим шорохам ночи...

Скрипят полозья... Должно быть, татарин пробирается в «якуты» для какой-нибудь воровской экспедиции. Чьи-то запоздалые шаги скрипят по снегу: это какой-нибудь уголовный ссыльный идет в слободу из улуса... Лают собаки...

На этой крыше, под тихо продувающим холодным ветром, я понял истинное значение русского выражения «трескучий мороз». Однажды, когда я стоял и любовался ночью, мне послышался какой-то треск. Я невольно обернулся в ту сторону. Тогда и треск послышался с другой стороны. Я наконец понял: это замерзало мое дыхание, точно вблизи ворошили сухое сено.

Порой по вечерам у меня сидели товарищи или кто-нибудь из амгинцев. Особенно любил я посещение хозяина моей юрты, Александра. Это был умный и приятный крестьянин, отличавшийся необыкновенным чутьем погоды. Однажды я попросил у него седло.

— А когда поедешь? — спросил он.

— Завтра утром.

— Седло я дам, но куда же ты поедешь в дождь?

Дело было летом. Стояли жары, и на небе не было видно ни облачка. Я засмеялся. И, однако, на следующий день около полудня действительно пошел дождь, и я вымок до нитки.

— Спроси у Александра. Он знает,— говорили порой амгинцы. Я любил разговаривать с Александром. Мне нравилась его спокойная манера, нравились и самые суждения.

Однажды вечером я поставил свой самодельный жестяной самоварчик — тот самый, из которого я угощал еще починовцев. Мы сидели и беседовали, как моя юрта крякнула вдруг так своеобразно, что Александр вскочил.

— Слушай, Владимир,— сказал он с беспокойством.— Лучше же я добуду откуда-нибудь твои три рубля и отдам тебе... Эта юрта провалится.

Внимательно вслушавшись, он настоял, чтобы я перебрался на следующий же день. Так как, по моему мнению, Александр знал то, о чем говорил, то я послушался.

Признаться, мне было жаль покидать свою юрту. Я в ней провел три-четыре месяца и успел уже свыкнуться с ней. По вечерам мне было приятно писать в уединении, среди полной тишины за ее столом. По утрам — заниматься с мальчиками.

Я сказал, что их было трое. Первый был сын Т. А. Афанасьевой. Сын русской и якута — он был похож на якутенка лицом и подвижен, как обезьянка. Каждый день он приезжал верхом за спиной работника. Работник оставался на лошади, а Ганя тотчас же спускался с лошадиного крупа. При этом он без церемонии становился ей на задние ноги, а порой еще как-то особенно юмористически держался за ее хвост. Так же он влезал на лошадь после урока. Якуты вообще довольно бойки, сообразительны и среди других инородцев играют роль торговцев. Ганя никогда не задумывался в ответах. Удачно или неудачно — он отвечал сразу, схватывая все на лету, и во всех затеях играл первую роль. Когда между татарами и якутами обострялась вечная война, он всегда первый, ворвавшись ко мне, сообщал ее последние новости. Иногда эти новости сообщались в такой оригинальной форме, мальчики сыпали такими своеобразными суждениями, что у меня являлось желание немедленно записать эти разговоры. Общее сочувствие мальчиков было на стороне якутов и их предводителя. Однажды они наперебой засыпали меня сообщениями о происшествиях прошедшей ночи. Татары отправились в экспедицию в ближний наслег. Якуты сделали засаду, напали на их лошадей, поставленных в стороне, и отбили одну лошадь. Известному удальцу Александру пришлось вернуться из экспедиции пешком. Все это стало известно в слободе, и мальчики рассказывали с увлечением про эту удачу якутов.

— Учи-ти-иль...— спрашивал один из мальчиков,— как вы думаете: это *он* их научил, чтобы сделали засаду?

— Он,— подхватил Ганя,— непременно он... Правда, это он хорошо сделал, учити-иль?

Руководитель якутов в этой борьбе возбуждал истинный восторг моей маленькой школы. В течение нескольких следующих ночей татары осторожно подъезжали к якутским юртам и кричали издали, чтобы те отдали коня...

— Не отдадут, потому что они его уже съели...— решительно сказал Ганя.— Зарезали и съели на своем собрании. И как это Александр сплоховал. Теперь все над ним смеются, а он тоже храбрый молодец... Правда, учити-иль? Александр тоже удалой добрый молодец, как это говорится в сказке?

Едва ли какому-нибудь учителю в России приходилось иметь дело с такими мотивами... Борьба шла начистоту, и вопросы удали и силы покрывали другие мотивы, которые я старался ввести в их кругозор.

Когда я выбрался из юрты Александра, то сначала мальчики приезжали в юрту товарищей, а потом я нашел более удобное помещение у Захара Цыкунова (с которого я написал впоследствии своего Макара). Это был пашенный, женатый на якутке. У них была маленькая дочка. Жилье их состояло из юрты и русской избы с плоской крышей. Сами они жили в юрте с хоттоном (отдел для хлева), а русскую избу с прямыми стенами и широкими окнами сдавали мне. Отношение Захара с женой-якуткой были очень оригинальны. Они никогда не дрались, но порой ругались при помощи... песен. Начинала всегда жена. У нее было много поводов для огорчения: Захару нередко случалось выпивать так, что она узнавала об этом только после того, как буланка привозил хозяина от татар совершенно пьяным. Если порой он привозил бутылку татарской водки и угощал ее, она сначала была весела и приветлива, но потом вспоминала прежние обиды и начинала выпевать все его прегрешения. Порой они ложились мирно, но когда начинали засыпать, то вдруг раздавалось почти истерическое всхлипывание, и я из своей комнаты слышал, как якутка начинала петь жалобно и протяжно. Захар пытался возражать ей все так же нараспев, но вскоре принужден бывал сдаться. В особенности памятен мне один такой вечер. Помнится, это было под рождество. Захар ради наступающего праздника привез бутылку водки, и супруги совершенно мирно распили ее. Потом так же мирно улеглись. Но после некоторого молчания жена начала всхлипывать, и вскоре полились звуки якутской песни. Тогда уже я понимал по-якутски и с любопытством прислушался. Жена пела, что напрасно пошла за пашенного. Лучше бы вышла за якута. Он не стал бы так пьянствовать тайно от жены, и ей было бы веселее. Захар возражал также песней. Захлебываясь и всхлипывая, он пел, что, может быть, и он нашел бы жену получше. Но в его голосе не было уверенности. Действительно, его прегрешения значительно превышали то, в чем он бы мог упрекнуть жену. Кроме того, он владел песней не так свободно, как его благоверная. Поэтому его голос становился все тише, ее рулады, наоборот, все истеричнее и громче. Тогда он

грозил мною. Вот нюче (русский) за дверью все слышит и не даст якутке обижать пашенного... И все это происходило как будто во сне. С закрытыми глазами она выпевала свои жалобы, с закрытыми же глазами он возражал. Только в тот вечер под рождество дела моего бедного Захара стали так плохи, что он наконец появился на моем пороге. Глаза его были сильно заплаканы.

— Владимир,— сказал он,— зачем ты даешь якутке обижать меня?.. Она совсем выгнала меня из юрты. Прикрикни на нее. Она испугается.

Он был так жалок, что я подошел к порогу и сказал, хотя довольно ласково:

— Тытымá (замолчи), Лукерья... Будет тебе обижать мужа.

И она сразу смолкла. Но вместо нее раздались всхлипывания детского голоса. Маленькая дочь ее, в свою очередь, пела сквозь сон. Якутская песня вообще производит жалобное впечатление, но я не знаю, с чем сравнить этот детский голосок, вплетавшийся в песенные переругивания родителей. Что она пела — я не мог разобрать.

XI

УЛУСНИКИ

Так мы называли между собою товарищей, политических ссыльных, разбросанных вокруг Амги, невдалеке, а порой и далеко от слободы, по отдельным якутским юртам. Они невольно тяготели к слободе, являясь к нам довольно часто за покупками, а иногда и просто для того, чтобы отвести душу.

Первым из таких улусников явился в слободу Ананий Семенович Орлов, которого я встретил в якутском остроге. Он явился довольно скоро после моего приезда, и мы встретились, как знакомые. Это был человек среднего роста, с чисто русским, несколько скуластым лицом, с большой бородой, закрывавшей всю грудь, и чрезвычайно добродушный. Он писал стихи, довольно, правду сказать, плохие, и очень сердился, что мы не признаем его поэтом. Он приписывал это предрассудку: поэт, дескать, по нашему мнению, должен быть отмечен «перстом судьбы», а он для нас является человеком обыкновенным. Однажды, чтобы испытать нас, он принес стихотворение Надсона, выписанное из по-

следнего журнала, выдав его за свое. Он торжествовал заранее, предвидя, как мы его забракуем, и был очень удивлен, когда я не только определенно сказал, что это написано не им, но даже назвал вероятного автора.

За что был арестован этот человек — настоящее олицетворение благодушия,— я теперь сказать не могу. Он был телеграфист. Арест его произошел в одном из мелких уездных городов, и он очень колоритно рассказывал о своем пребывании в тюрьме этого города. Тюремным надсмотрщиком был у него старик, николаевский солдат, очень добродушный, относившийся к нему так же, как к Цыбульскому относился старик надзиратель Литовского замка, то есть покровительственно и несколько тиранически.

— Парень ты, я вижу, хороший, а на службе не ужился, даже в тюрьму, вишь, попал... Как же так?..

Орлов пытался объяснить, за что он попал в тюрьму: правительство притесняет всю Россию, а мы, дескать, пытаемся освободить народ.

Старик снисходительно слушал, улыбаясь, точно на ребяческие бредни.

— Значит, вы супротив царя... Та-ак... Глупые вы люди, ничего не понимающие... А ежели царь пошлет супротив вас войски... Мало ли их у него...

Орлов начинал объяснять, что войска тоже народ, что пропаганда проникает уже и в войска, и приводил примеры.

— Ка-ак, значит, вы уже бунтовать и войски!.. Ну, когда так, ступай в камеру. Будет тебе гулять, посиди, когда так, за решеточкой... Ты вот какой: войски бунтовать!.. Посиди, посиди, а то бы еще погулял.

И он, гремя ключами и ворча, загонял Орлова в камеру.

Кроме этого жанрового рассказа, я ничего от Орлова о его деле не слышал. Думаю, что и серьезного дела никакого не было: правительство в своем отношении к революционному движению не шло дальше философии этого надзирателя, с той оговоркой, что это была философия добродушного человека, а правительство прибавляло к ней много жестокости.

В течение нескольких месяцев Орлов часто посещал Амгу: он жил в одном из соседних наслегов, верстах в двадцати. Через некоторое время он стал нам рассказывать, что в его юрте живут двое новобрачных — почти еще детей,— сын хозяина и его молодая жена.

А далее мы стали замечать, что Орлов начинает писать якутские стихи, посвященные какому-то «идеалу».

Месяца через четыре, а может быть, и больше, однажды, когда мы возвращались от Васильева, перед моей лошадью вдруг выросла на дороге, среди снежной пурги, какая-то фигура. Я остановил лошадь. Фигура оказалась Орловым.

— Почему вы пошли так поздно? Дождались бы нас.

— Я боялся одиночества в вашей юрте... Особенно заметив, что у вас на полке револьвер,— ответил он уныло.

Когда мы приехали домой, то всем нам бросилось в глаза, что на Орлове, как говорится, лица не было. Он был бледен, страшно осунулся, исхудал. Оказалось, что его поэтическое сердце сильно затронуто молодой якуткой. Он ей писал якутские стихи, но она оставалась равнодушной. Все это он мог стерпеть, но вот прошлой ночью мужа не было дома, а в юрте слышны были все звуки... И вот поэт проследил ревнивым ухом, что его идеал изменяет мужу с каким-то проезжим якутом. Особенно уязвил его поэтическое сердце заключительный эпизод этой измены.

— Понимаете: я ясно слышал, как зазвенели четыре пятака...

И на лице бедняги выразилось такое страдание, что я прямо испугался.

— Надо на это обратить серьезное внимание,— сказал я товарищам,— дело, по-видимому, серьезное. Видите, парень совсем сохнет.

— Ничего,— сказал новоприбывший наш товарищ Ромась.— Я его знаю: до конца никогда не высыхает. Посохнет, посохнет, да и утешится.

И действительно, через некоторое время Орлов пришел значительно повеселевший. В объяснение своего расцвета он вынул записную книжечку и показал мне запись: «Идеалу — три рубля».

Когда я возвращался в Россию, то в Иркутске застал уже Орлова, который выехал раньше. Он приготовил, тщательно переписав, две или три тетради своих стихов и взял с меня слово, что я их передам в какую-нибудь редакцию. Я это исполнил — увы! — безуспешно. Всю переписку с редакциями я препроводил Орлову, чтобы показать, что на печальный для автора ответ не имело влияние «мое предубеждение»... После двух-трех опытов в нескольких редакциях бедняга убедился... У меня

сжалось сердце, когда я года через два-три узнал, что Ананий Семенович Орлов умер в Иркутске, оставив жену и сына. В последнее время он служил у Рыхлинского... В воспоминании моем осталось от этой фигуры, мелькнувшей в моей жизни, впечатление доброты, мягкости, благодушия, а один раз я горько раскаялся, что слишком легко отнесся к одному его предупреждению.

XII

ТРАГЕДИЯ ПАВЛОВА

Вскоре наша колония увеличилась еще двумя товарищами. Это были Ромась и Павлов. Ромась был родом с Юго-Западного края, по виду и по речи настоящий хохол. Это была фигура чрезвычайно своеобразная. Не получивший никакого образования, он, однако, производил впечатление совершенно образованного человека и мог поддерживать самый сложный интеллигентный разговор. Всего этого он добился упорным самостоятельным чтением. Всего, но не письма. Писал он каракулями, как человек совершенно неграмотный. Это впоследствии много ему вредило. Многие железнодорожные администраторы после первого разговора с ним готовы были дать ему любое интеллигентное место, но при взгляде на его почерк испытывали сильное колебание. Я много раз предлагал ему воспользоваться свободным временем и выработать себе при моем содействии такой же интеллигентный почерк; но он упорно от уроков отказывался, да, пожалуй, в его возрасте это было уже довольно трудно.

Его товарищ, Павлов, был петербургский рабочий. Он был ученик Халтурина, того самого, который проник под видом плотника в Зимний дворец и устроил там взрыв. Павлов рассказывал нам, как этот террорист убеждал со слезами на глазах своих учеников-рабочих продолжать пропаганду, но ни в каком случае не вступать на путь террора. «С этого пути возврата уже нет»,— говорил он. И действительно, сам Халтурин закончил жизнь виселицей после убийства военного прокурора в Одессе.

Казалось, нет двух людей более несходных, чем Ромась и Павлов: один родом из Вологодской губернии, из семьи крестьян, великоросс. Он был полон, даже, пожалуй, толст и довольно неповоротлив, сохранял

много крестьянского в приемах, хотя не любил крестьянских работ и никогда с нами в них не участвовал. Ромась, наоборот, был выше среднего роста, коренаст, сухощав и чрезвычайно упорен в работе. Они выразили желание поселиться вместе и были поселены в двадцати пяти верстах от нас, в якутской юрте, если не ошибаюсь, Балагурского наслега, расположенного на юг от слободы, по течению реки Амги. Я узнал вскоре, что они затеяли общий побег: они решили бежать следующей весной, с таким расчетом, чтобы выбраться заблаговременно, оставив за собой два или три ледохода горных речек. Я вскоре присоединился к этому плану, и мы стали готовиться вместе. Сначала они поселились в якутской семейной юрте. Я стал часто ходить к ним. В выработке нашего плана принимал участие Петр Давыдович Баллод, о котором скажу после. Мы стали хлопотать об обуви, которую должен был приготовить я, если не удастся выписать приискательские сапоги, которые мы могли достать у того же Баллода. Последний указал нам и путь: через Амгу пролегала когда-то торговая дорога так называемой «Североамериканской компании», которая вела торговлю с Сибирью. Эта американская дорога пролегала из Якутска через Амгу и дальше на тысячу верст горами, в которых сохранились еще следы старых дорог и тропок. Мы хотели приучить население и особенно местное начальство к нашим совместным отлучкам. Затем стоило перебраться через две-три речки перед самым ледоходом, и мы могли выиграть много времени, пока местное начальство спохватилось бы... А там...

Что было бы дальше? Мы намеревались, пройдя около тысячи верст гольцами (так называются вершины пролегающих этими местами гор), пробраться к Охотскому морю и там, если бы удалось, сесть на какой-нибудь американский пароход. Но это могло быть только случайно. Иначе же нам пришлось бы спуститься вдоль Охотского моря до устьев Амура и затем подыматься по Амуру обычными бродяжьими путями. Всего вероятнее, однако же, что нас настигла бы погоня и все закончилось бы самой прозаической тюрьмой и дальнейшей ссылкой.

Но в это время из России стали приходить известия о назначении сроков ссылки. Мы поневоле охладели к своему плану: брести по Амуру — на это понадобилось бы не менее трех лет. Поэтому мы с Ромасем скоро

отказались от побега. Верен плану остался только Павлов, который как-то страстно на нем настаивал. В это время Балагурский наслег решил для своих ссыльных выстроить новую избушку на берегу какой-то узкой речки, среди густого леса. Место было выбрано очень мрачное.

Мне приходилось упомянуть об одном происшествии, которое прибавило суеверно-мрачную черту к этой трагедии. Однажды Павлов, бродя по лесу, нашел там и принес, как курьез, какие-то игрушечные деревянные сани с таким же деревянным седоком. Мы отнеслись к находке как к курьезу и много смеялись над видом этого седока. Это было тогда, когда Ромась и Павлов еще жили в якутской юрте. Я часто приходил к ним, ночевал у них, и мы очень подружились. Так же я пришел к ним во время находки. Один из семейных, зайдя зачем-то в юрту русских и увидя находку, пришел в искренний ужас и стал убеждать нас тотчас же унести сани и седока на то же место в тайгу. И при этом он сомневался, удастся ли нам избавиться от беды. Оказалось, что это талисман. Когда якут заболевает, шаман завораживает духов болезни и уносит их в тайгу. Значит, Павлов принес с собой враждебных духов. Мы, разумеется, только смеялись над этим суеверием. Но мне показалось, что Павлову не по себе: крестьяне вологодских лесов тоже имеют дело с инородческими колдунами.

Когда отдельная изба была выстроена и Павлов и Ромась в ней поселились, я опять пришел к ним, и меня поразил мрачный вид этого жилья. Около него не было никакой пристройки, не было даже коновязи. Изба стояла на самом берегу быстрой речки и рисовалась своим свежим лесом на фоне темной тайги, которая густо высилась кругом избы и на противоположном берегу. Оттуда доносился глухой таежный шум.

— Ну недолго,— сказал Павлов,— только до весны...

Но зимой стали объявлять сроки... Было бы безумием настаивать на побеге, и нас очень удивила страстность, с которой Павлов все-таки настаивал. На этом началось некоторое охлаждение между товарищами, и их дружеские отношения стали охладевать. Павлов будто предчувствовал начинающуюся для него трагедию.

Ромась стал жаловаться, что Павлов становится невыносимым в общежитии. Ромась приходил к нам

в слободу и проживал целые недели. Приходил иногда и Павлов, но оставался не подолгу, уходя в свою одинокую юрту. Наши веселые беседы втроем за рыбной ловлей и наши разговоры с якутами теперь кончились... Я до сих пор не могу простить себе, что у меня не хватило достаточно воображения, чтобы представить себе положение Павлова в этой одинокой юртишке на берегу мрачной реки, на фоне не менее мрачного леса. Рассказы Ромася выставляли Павлова все более неуживчивым и странным.

Между тем наступила весна. Мы готовились к началу полевых и огородных работ. Это было самое веселое время в году. Мы звали Павлова, но он, по-видимому, не решался прийти. Он считал теперь Ромася своим врагом и, вероятно, думал, что Ромась восстановил и нас против него. Между тем к нам приехал новый сожитель — Осип Васильевич Аптекман (и теперь еще живущий в Петербурге). Павлов был с ним знаком раньше и прислал записку, прося его приехать немедленно к нему. Это была претензия несообразная: Аптекман только что приехал из Усть-Майи и чувствовал себя сильно усталым. Поэтому он написал, что он сам не может приехать, но что ждет Павлова в Амгу. Я прибавил к этому радушное письмо, в котором уверял Павлова, что все мы будем очень рады его видеть. Я отправил письмо с тем же поселенцем, с которым пришло письмо Павлова. На следующий день этот же поселенец принес нам печальную весть: в эту же ночь Павлов застрелился.

До сих пор этот сумрачный день стоит со всеми мелочами в моей памяти: по небу неслись весенние облака, из которых по временам моросил дождь, а по временам настоящий холодный ливень. Все было полно оживления и жизни. В словах поселенца мне послышалась укоризна: вот если бы, дескать, приехали по той записке, ваш товарищ был бы жив. Я имел еще большие причины укорять себя. Ананий Семенович Орлов говорил мне, что в последний раз, когда он был у Павлова в его мрачной избе, поведение Павлова показалось ему странным: потолок его избы был расчерчен, в некоторых местах вбиты были крепкие гвозди, и на одном из них висела веревка. Кроме того, Павлов заговаривал с Орловым о самоубийстве. Я в тот день очень устал, так как целый день пахал на огороде, и не обратил на предостережения Орлова достаточного внимания. Мне ка-

залось, что самоубийцы не предупреждают об этом товарищей. И, кроме того, приезд Аптекмана казался мне удобным предлогом для прихода Павлова к нам. А там мы сумеем удержать его. И вот теперь это известие...

Помню ближайшую ночь. В избе мне было душно. Я вышел на плоскую крышу юрты и здесь из-под наклонной крыши нашего «летника» все смотрел на небо, по которому неслись серые облака, по временам сыпавшие дождь. И много мыслей о жизни и смерти пронеслось в моем уме в эту ночь.

Через несколько дней приехали из Якутска доктор и заседатель для вскрытия тела. Мы получили приглашение присутствовать при вскрытии и решили с Ромасем поехать в избу Павлова. День был чисто весенний — полный какого-то особенного оживления: по небу неслись яркие облака, тайга шумела под налетом весеннего ветра глухо, но как-то особенно внятно. Природа порой удивительно вторит настроению человека, и нам с Ромасем казалось, что теперь она ясно говорила о нашей вине... «Прозевали, прозевали»,— слышалось мне в шуме ветра.

Когда мы подъехали к новому срубу на берегу мрачной речушки, вокруг нее шумел глухой косой ливень. Доктор и заседатель были уже тут, окна избушки были открыты, и из нее был слышен голос уже знакомого нам поселенца:

— Ну поворачивайся, товарищ!..— В этом голосе мне слышался добродушный цинизм.

— Пойдем,— сказал я Ромасю, указывая на дверь.

Он отрицательно покачал головой и, несмотря на ливень, остался под стеной избы и простоял там все время... Я скрепя сердце вошел...

Лицо Павлова было спокойно: ни тени страдания... Казалось, он простил нам все... Рядом со мной раздался шепот по-якутски. Я обернулся и узнал в числе понятых того самого якута, который с таким страхом отнесся тот раз к павловской находке.

— Вы тогда смеялись,— говорил он мне с укоризной.

Мне вспоминалась другая смерть в починковских лесах, вспомнилось и странное выражение на лице Павлова, когда ему говорили, что он принес нечистую силу. Он был тоже крестьянин. Кто знает, что говорили ему голоса ночи в эти последние часы его жизни. Может

быть, он ждал избавителей-товарищей. «Прозевали, прозевали...» И мне все вспоминалось предупреждение Орлова.

После вскрытия тело положили в грубо сбитый гроб и унесли его в могилу, выкопанную на берегу мрачной реки. Яма была глубокая, а в тех местах земля летом не оттаивает больше, чем на сажень. Я думаю, что и теперь Павлов лежит в ней с тем же скорбным, но все-таки примиренным выражением.

Когда мы вышли из избы, Ромась все стоял под ливнем на том же месте и с тем же выражением на лице.

Молодость беспечна и легко забывает. Пришли новые впечатления, новые заботы. Теперь я чувствую эту смерть гораздо живее, чем чувствовал ее месяц спустя.

XIII

ПЕТР ДАВЫДОВИЧ БАЛЛОД

Именем Петра Давыдовича Баллода была полна Амга, хотя он в ней тогда и не жил. Как-то, проходя мимо лавочки Вырембовского, я услышал стук в окно и, зайдя в лавочку, застал Вырембовского сияющим.

— Приехал Баллод,— сказал он, и по виду его было заметно, что он сообщает важную и радостную новость.

Баллод имел непосредственное отношение ко всей жизни Амги. Это именно он доставил первую работу Вайнштейну и Папину: они пекли хлеб на его приисковую партию, работавшую в тайге, где-то на реке Алдане. Через Васильева он часто доставлял работу также крестьянам, а раз в год, в начале зимы, целый обоз из Амги отправлялся в тайгу. Вся слобода смотрела, как вереница саней направлялась лугами, переезжала по льду через реку, потом являлась на другом берегу и узкой лентой подымалась по скалистой дороге на противоположный берег. Потом она исчезала на повороте дороги. Амгинцы везли припасы «господину Баллодову». Амгинцы брали с собой только воз сена и припасы для людей. Выносливые их лошадки кормились подножным кормом, на что способны только местные якутские лошади. После целого дня пути их отпускают на снег, предоставляя им добывать себе корм. Любопытны при этом их приемы: ногой в снегу они описывают круг, потом сильно фыркают, отчего пушистый про-

мерзлый снег разлетается, обнажая прошлогоднюю траву. И так эти местные лошадки проходят тысячи верст. Понятно, как этот путь труден и для людей: ночлегов под кровлей совсем не встречается, приходится ночевать под открытым небом, и только хороший заработок побуждает преодолевать эти трудности... Большая радость бывала в слободе, когда опять на той же скалистой дороге появились первые возвращающиеся слобожане. Источником этой радости был опять тот же Петр Давыдович Баллод: амгинцы привозили из тайги квитанции, по которым Вырембовский выплачивал деньги. Сам Баллод жил в алданской тайге. Порой к нам являлись от него рабочие приисковой партии и много любопытного рассказывали о своей жизни и опять-таки о Баллоде. Их рассказы были проникнуты восхищением, удивлением и любовью к «Петру Давыдовичу Баллодову».

— Господин Баллодов, Петр Давыдович, нас не выдаст,— говорили они, разумея заступничество перед золотопромышленной компанией.— Он за нас стоит крепко.

Их рассказы о его силе, выносливости и чутье местности бывали прямо изумительны. У него были карты Сибири, но он им не особенно верил и приводил много примеров, когда между реками, отделенными на карте сотнями верст, расстояние оказывалось только десятки, и, наоборот, там, где по карте можно было ожидать совершенного сближения русла двух речек, приходилось брести по тайге целые недели. Порой он оставлял партию с проводниками-тунгусами и по какому-то инстинкту отправлялся через горные кряжи напрямик, набивая себе карманы только шоколадом.

— Порою думаешь, пропал наш Петр Давыдович. Даже тунгусы качают головами... А глядишь, через несколько дней подходим к берегу какой-нибудь речушки... Глядь, горит огонек, а у огонька сидит наш Петр Давыдович и дожидается.

Однажды с ним случилось следующее истинно эпическое происшествие. Приходилось сплавлять вниз по течению очень быстрой реки барку со всем имуществом партии. Вдруг неожиданная быстрина подхватила барку и понесла на торчавшую внизу скалу. Всему имуществу партии грозила гибель. Не растерялся только Баллод: он обернул канат вокруг ствола большой лиственницы, и в конце концов ему удалось удержать барку.

В результате этого подвига у Баллода оказалась сломанной нога. Это было за тысячи верст от необходимой медицинской помощи. Баллод справился и тут: под его руководством рабочие соорудили необходимые в таких случаях лубки, Баллод сам забинтовал ногу и некоторое время пролежал в тайге, продолжая распоряжаться работами.

Вообще это был настоящий богатырь, и это подало повод к рассказам, что именно он послужил Чернышевскому прототипом к его Рахметову. Может быть, это и была правда. История его ареста тоже была очень любопытная. Васильев рассказывал, что его арестовали за печатанием известной в шестидесятых годах прокламации «Великоросс», довольно свирепой, как всегда, когда зовешь к тому, что еще самому не представляется ясно. Но это неверно. Баллод был человек мягкий, что всегда присуще силе, и он относился к «Великороссу» отрицательно; он был арестован в связи с делом Писарева. Писарев, тогда уже известный критик, просидел в крепости три года. Баллод учился в университете одновременно с Писаревым и был с ним на «ты». Однако я заметил, что в отзывах Баллода о Писареве чувствовалось отсутствие дружбы, даже, пожалуй, замечалось какое-то нерасположение. Я понял этот оттенок только теперь, когда прочел воспоминания о деле Писарева в «Былом». Баллод рассказывал мне, что Писарев был крайне непоследователен в своих взглядах. Проповедуя свободу чувства, он вместе с тем избил на Николаевском вокзале офицера только за то, что одна девица предпочла этого офицера ему, Писареву. Когда Баллода и Писарева арестовали, они были юноши, им было по двадцати одному году. Баллод убедил Писарева написать статью о Шедо-Ферроти, пресмыкающемся писателе, нападавшем в шестидесятых годах на Герцена, обещая напечатать на карманном станке. Статья Писарева была очень резкая, заключала много нападок на самодержавный строй и на личность Александра II. По случайному доносу у Баллода произвели обыск, и готовая, написанная рукой Писарева статья попала в руки жандармов. При этих условиях Баллод не видел причины отрицать принадлежность этой статьи Писареву: почерк Писарева был известен, и авторство легко могло быть установлено. Но Писарев почему-то долгое время отрицал это обстоятельство, и Баллоду пришлось на очных ставках уличать его. Вероятно, это обстоя-

тельство внесло известную долю горечи, которую я и заметил при упоминании о Писареве.

Вообще надо заметить, что арестованные тогда и арестованные в наше время держали себя совершенно иначе. Известно, как унижались перед самодержавием и лично перед царем многие декабристы. Известно, что от этого упрека не были свободны также и петрашевцы. Вообще можно сказать, что в те времена арестованный русский человек считал себя обязанным отвечать на все вопросы начальства и знал, что его товарищи будут держать себя так же. Я приводил пример, из моего уже времени, наивного дилетанта от революции С—ва, который считал себя вправе всякий раз при аресте непременно отвечать на все вопросы жандармов, выдавая товарищей. В наше время такие типы составляли редкость, но в двадцатых, сороковых и шестидесятых годах гипнотизирующее обаяние самодержавного строя было еще так велико, и я не уверен, что настоящий Рахметов не давал откровенных показаний. То презрение к власти, которое выработалось уже к нашему времени, еще отсутствовало даже в шестидесятых годах. В наше время считалось уже неприличным подавать просьбы о помиловании, а тогда не только Баллод, но и сам Писарев, клеймивший презрением самодержавный строй и его носителя в резкой статье о Шедо-Ферроти, считал сообразным со своим достоинством подать такое прошение, объясняя статью своим легкомыслием и молодостью. Иные времена, иные нравы, и нельзя прилагать одну мерку к разным поколениям. Тогда еще было обаяние, которое к нашему времени совершенно исчезло. Просить пощады считалось унизительным, и люди предпочитали смерть... И, быть может, лучшим предвестником гибели строя было именно это отношение к нему побежденных...

Я с удовольствием вспоминаю о многих вечерах, проведенных мною за разговорами с Баллодом во время его приездов в Амгу. Мы встречались с ним на заимке у Васильева, у Выремборского, который при этом неизменно сиял, или наконец Баллод порой приезжал в нашу юртешку. При этом когда он неожиданно выпрямлялся, то обнаруживалось полное несоответствие между нашим низким потолком и его богатырским ростом. У меня осталось от этих разговоров чрезвычайно приятное впечатление. Было какое-то соответствие между его богатырской силой и тем спокойствием, с ко-

торым он встречал наши порой страстные возражения на свои взгляды. Я был тогда еще страстный народник, и рассказы Баллода о его жизни среди сибирской общины, проникнутые взглядами индивидуалиста-латыша, часто встречали во мне горячий отпор. При этом мне всегда вспоминается спокойное достоинство, с которым Баллод парировал мои возражения.

Впоследствии я увидел его в России. Тогда он жил уже не в Якутской области, а приезжал в Петербург по поводу какой-то тяжбы с золотопромышленной компанией. Оказалось, что, воспользовавшись тем, что Баллод был очень доверчив к людям и не защитил себя против кляузных подвохов, компания затеяла с ним тяжбу, пытаясь оттягать, что можно. В то время он был такой же богатырь, и было известно, что он недавно женился. Если он еще жив и будет читать эти строки, я шлю ему привет и самые теплые пожелания.

XIV

Однажды, взойдя в светлый день ранней весны на нашу крышу, я увидел на лугах, в стороне Чипчалгана, сани, сопровождаемые всадниками. Сначала мне показалось, что это едет какое-то начальство. Оказалось, однако, что это к нам в гости приехали еще новые товарищи, которых мы до сих пор не видали. Скоро наша юрта наполнилась веселым гамом и суетой.

Это была компания политических ссыльных с Чурапчи. Мы их знали уже по слухам. Тут были, во-первых, Линев и Тютчев. Их обоих прислали в Иркутск почти накануне моего отъезда. С ними был тогда еще Шамарин и Екатерина Константиновна Брешковская. Они были первоначально сосланы в город Баргузин, Забайкальской области, но оттуда ухитрились бежать. Побег не удался. Проводник-бурят, сначала охотно взявшийся проводить их к китайской границе, потом испугался, раздумал и в конце концов скрылся, оставив компанию среди гор и ущелий. Местность была очень живописная, но без проводника совершенно непроходимая для маленького каравана.

Тютчев рассказывал очень живо, как однажды (уже без проводника) они с величайшими усилиями спустились в какую-то котловину, причем лошадей пришлось спускать на канатах почти по отвесной круче, и здесь,

на дне котловины, расположились на отдых. Беглецы не скрывали от себя, что положение их очень затруднительное, но данная минута осталась в их воспоминании очень поэтической. Казалось, стоит только оглядеться, и выход непременно найдется. А они наслаждались настоящей минутой и считали себя всецело вне пределов цивилизации и, во всяком случае, далекими от всякого начальства... И вдруг... как гром с ясного неба, с вершины той самой скалы, откуда они только что спустились, послышался звонкий молодой голос:

— Нико-лай Сер-ге-ич!..

Звали Тютчева. Начальство нарядило погоню из бурят-родовичей, отлично знающих горные дороги. Буряты, разумеется, относились с эпическим равнодушием к борьбе правительства и людей, которых они теперь преследовали. Но им исправник велел снарядить погоню, а они привыкли исполнять приказания исправника. Беглецы были окружены, и приходилось сдаться. Поэтическая страница закончилась, после раздолья гор и ущелий вся компания была вновь водворена в баргузинскую тюрьму и затем разослана в разные стороны. Шамарин, Линев и Тютчев попали в Якутскую область.

Теперь они жили в местности около Чурапчи, недалеко друг от друга, и видались часто, составляя как бы некоторый центр, вокруг которого группировалось много ссыльных той местности. Не могу поручиться, что они не затевали нового побега. Народ был молодой, предприимчивый и веселый. Линев получил в Америке серьезную сельскохозяйственную подготовку и решил «до перемены намерений» применить свои знания в новых условиях. Тютчев примкнул к нему. Шамарин, самый молодой из компании, очень живой и деятельный, тоже завел хозяйство, причем, так как он был в ветеринарном институте (помнится, в Дерпте), то присоединил к своим занятиям также и медицинскую деятельность, над чем товарищи подсмеивались. Тютчев в средствах к жизни не нуждался и имел возможность снабжать ими товарищей. Благодаря ему у всей компании были верховые лошади и охотничьи ружья. Верховые, которых я видел с крыши нашей юрты, были Кизер и Доллер. Эти последние были совсем молодые петербургские рабочие, и притом иностранные подданные: один — француз, другой — германец. Они родились в России, ни на каком языке, кроме русского, не говорили, но это не помешало им заявить протест про-

тив административной расправы с ними... Через некоторое время протест этот был уважен, и один из иностранных подданных был по этапу препровожден за границу, о чем, конечно, очень сожалел. Но эта горестная страница была еще впереди. А пока оба жили около Чурапчи, работали для якутов по кузнечной или по слесарной части. И я уверен, что теперь Кизер вспоминает об этой полосе своей жизни как о самой счастливой. Француз Доллер оказался, кроме того, замечательным охотником. С весной в якутские палестины налетало невероятное количество дичи. Целые дни и ночи Доллер пропадал в лесах и по озерам. Он не позволял себе стрелять эту дичь дробью. Выждет, когда две-три утки выплывут в ряд, и старается нанизать их на одну пулю...

Эту молодую компанию окружала особенная атмосфера веселья, которое они внесли в нашу слободу. С их приездом у Афанасьевых каждый вечер бывали вечеринки, в которых — увы! — я принимал всего менее участия. Дело в том, что веселая компания часто приезжала в сильно поношенных сапогах, и для того, чтобы чурапчинская компания могла отплясывать у Афанасьевых, я садился за починку. Товарищи смеялись, что первый мой взгляд после приезда «казаков» был на их сапоги. В самой Чурапче было тоже достаточно молодежи: дочери священников, торговцев и т. д.— там тоже шло веселье. Кончилось это тем, что Кизер и Доллер на Чурапче поженились.

XV

ЭПОПЕЯ ИВАНА ЛОГИНОВИЧА ЛИНЕВА

Старший из этой компании был Иван Логинович Линев. Мы все были сравнительно зеленая молодежь. Линев оставил уже позади себя целую полосу жизни. Сын костромского помещика, довольно состоятельного прежде, но впоследствии разорившегося, он изучал сельское хозяйство сначала в Горы-Горецком институте, потом в Германии и прошел довольно тяжелую службу в Америке.

Это было время, когда Америка особенно привлекала русских. Мы уже видели пример этого в скитаниях Маликова, Чайковского и других «богочеловеков»... Та

же полоса захватила и Линева. Сначала, по-видимому, он был человек веселый и изрядный кутила, но это не мешало ему смотреть очень серьезно на жизнь. За что он ни принимался, то доводил до конца. В самом начале семидесятых годов он эмигрировал в Америку с товарищем, фамилию которого я забыл.

Свои похождения в Америке он рассказывал с большим юмором. Приехали они на эмигрантском пароходе и высадились там же, где высаживались тогда все эмигранты, в учреждении, называвшемся Кастль-Гарден. Туда являлись фермеры для найма рабочих. Наши русские, даже настроенные самым демократическим образом, были невольно оскорблены приемами американских нанимателей: они принимались без церемонии ощупывать мускулы будущих рабочих, как у скотины. Хотя наши соотечественники были народ, по-видимому, здоровый, без особых телесных недостатков и не слабый, однако их систематически браковали, пока кто-то из администрации не посоветовал им сказать, что они знают специально известную область сельского хозяйства. Они последовали этому совету и были приняты.

Первые шаги оказались не совсем удачны. У наших эмигрантов были некоторые деньги, и они смотрели на свое положение не как на крайность. К этому присоединилось довольно грубое обращение и склонность американцев к боксу. Новый хозяин, не понимая русского языка, стал прибегать к языку общепонятному. Кончилось тем, что рабочие изрядно помяли хозяина, но так как в спросе на труд недостатка не было, то они скоро опять устроились. Только они решили, что им надо поставить себя в положение не столь привилегированное. Линев не без юмора рассказывал, как они наняли оркестр негров и ездили с ним мимо своего бывшего хозяина... Пусть, дескать, знает... Прокутив деньги, они, притиснутые голодом, стали брать всякую работу, сильно отощали, но поденную работу находили легко.

Товарищу, человеку, по-видимому, состоятельному, скоро прислали деньги, и он бросил эти опыты. Он предлагал то же и Линеву, но Линев был человек другого закала. Он решил остаться и во что бы то ни стало добиться цели. Товарищ уехал, а он остался.

После этого он много бедствовал и порой доходил до крайности. Линев был превосходный рассказчик. Когда он по вечерам рассказывал эпизоды из своего прошлого, в нашей маленькой юрте стояла жадная тишина. И он

именно был рассказчик. Иногда мы убеждали его записать эти рассказы. Я даже сам пытался это сделать, но ничего из этого не выходило. Линев говорил медленно, и записать было нетрудно. Но нельзя было передать тех оттенков слова, тех пауз, тех сверканий взгляда, той иронии и интонации, которые составляют настоящую музыку слова, порой вызывавшую неудержимые взрывы веселого смеха.

Помню одну яркую картину. Линев, сильно отощавший, шел через маленький городишко. Вдруг он увидел на площади большую телегу, вроде эшафота, запряженную парой наряженных в фантастическую упряжь лошадей. Оказалось, что это были «сибирские врачи». Два еврея, остановив повозку на площади, объявили, что у них есть средства от всех болезней. Тут был главным образом жир северных медведей. Такое врачевание в Америке никому не воспрещается. Если к этому прибавить фантастические костюмы вроде одеяний средневековых алхимиков, с остроконечными шапками, и значительную развязность этих врачевателей, то нетрудно представить себе также, что дела сибирских докторов шли отлично. На Линева напало нечто вроде припадка бешенства.

— Честный человек, ищущий честного заработка, умирает от голода, а разные шарлатаны обманывают невежественный народ...— Он сообразил, что евреи говорят по-русски, и сам заговорил по-русски.

Толпа остановилась и стала слушать непонятный разговор. «Врачи», наткнувшись на неожиданное препятствие, решили, что они уже кончили на сегодняшний день, и быстро собрались, пригласив и неожиданно встреченного соотечественника.

— Ну, господин, что вам надо,— заговорили они.— Всякий кормится, чем может. Пойдем, если вы голодны, к нам. А может быть, мы и вам что-нибудь придумаем.

Евреи оказались людьми добродушными, и они действительно придумали: им нужен теперь сибирский кучер. Они нарядят Линева в такой же фантастический костюм, и с этих пор они будут разъезжать вместе. Это будет отлично, и все они будут сыты. А кому это повредит?

Эта комбинация не состоялась: Линев не согласился, но и разоблачать «сибирских врачей» не стал; расспросив о дороге и переночевав у земляков, отправился дальше.

Много еще Линеву пришлось перенести бедствий. И, переходя от занятия к занятию, побывал он дровосеком и пильщиком на лесопилке... Один из эпизодов его скитаний стал известен в литературе. Это было в самом начале семидесятых годов. Скитающаяся русская компания забрела в штат Канзас и остановилась около городка Сенеки. Двое русских стали разряжать испорченный револьвер. Последовал выстрел, и один из русских оказался убитым наповал.

Об этом рассказал в «Неделе» или в журнале «Наблюдатель» известный в то время писатель Мачтет. К сожалению, Мачтет рассказал этот эпизод со свойственными этому писателю преувеличениями. Я слышал его непосредственно от Линева, и это было гораздо проще и гораздо ярче. Фамилию убитого не помню. Убивший назывался Речицкий. Вся компания была в отчаянии: убили товарища, и вдобавок люди в этих местах чужие. Могло возникнуть подозрение, что убийство произошло на почве личных счетов. К счастию, Линев уже тогда знал английский язык, к тому же в городке оказался еврей из Галиции, понимавший немного по-русски. В тот же день нарядили суд присяжных, и дело было быстро покончено. Защитник — тот же еврей — сказал очень хорошую речь, в которой изобразил компанию русских, ищущих на свете правды, которой они не находят в своем отечестве, вернее в своем правительстве. Они приехали за этой правдой в Америку, и вот их постигает тут несчастная случайность... Речь очень понравилась и польстила американцам. Они оправдали подсудимого и два дня водили из дома в дом, угощая русских. А затем — скитальцы опять пустились дальше, оставив позади безвестную могилу.

Линев вскоре отстал от этой компании. Ему нужно было войти в американскую жизнь, а для остальных это был лишь мимолетный эпизод. Линеву повезло. Не могу изложить дальнейших скитаний последовательно. Помню только, что он нанялся к какому-то богатому предпринимателю, построившему лесопильный завод в почти девственном лесу. На молодого русского пильщика обратила внимание интеллигентная жена хозяина. Она заговорила с ним и обратила на него внимание мужа. С этих, кажется, пор хозяин стал давать ему более ответственные и, значит, лучше оплачиваемые обязанности. Линеву удалось скопить небольшую сум-

му, и он завел свой фургон. Он решил завести собственное дело. В это время вспыхнула последняя (кажется) война с индейцами. Линев стал маркитантом. Он покупал припасы и продавал их американским войскам. Потом он приобрел участок земли и завел собственную ферму.

Теперь Линев был настоящий американский фермер и прочно стоял на ногах. Но тут-то у него явилась тоска по родине. Цели он добился. Нужно было приложить на родине все, что он приобрел в Америке. В это время в России шло сильное народническое движение, которое правительство произвольными мерами уже сбивало на террор. В Ардатовском уезде появился американец Филипс. У него был американский паспорт, американские приемы и некоторые деньги. Он арендовал имение у вдовы Симанской и стал группировать в этом имении разных «подозрительных лиц». Нет сомнения, что лица были действительно «подозрительные», и среди них впоследствии оказались видные террористы, как Баранников и Квятковский. Но тогда это были еще только народники-пропагандисты. На таинственного американца обратило внимание нижегородское жандармское управление — к Филипсу нагрянули с обыском. Обыск производил майор Воронич. Бедняга этот был, по-видимому, не особенно умен. Кроме того, Филипс-Линев успел внушить ему значительное уважение к своему американскому званию, и он совершил несколько крупных промахов с точки зрения жандармской практики. Сам Филипс был все-таки почтительно арестован, впредь до выяснения его американского подданства, но компания «подозрительных людей» разлетелась, как неосторожно испуганные воробьи. Для Линева началась наша обычная чисто российская процедура, в которой административный порядок перемешивался с судебным, и в конце концов Линев попал в «отдаленные места Сибири», где я его и встретил.

В это время его здоровье вследствие пережитых в Америке передряг было уже сильно расшатано. Ему по-настоящему следовало основательно отдохнуть. Америка дает многие возможности, но требует напряжения всех сил. Тютчев рассказывал мне, что еще в Забайкальской области им с Линевым однажды пришлось перегонять в грозу несколько лошадей ущельем. Вдруг Линев сел среди самого потока. Тютчев удивился.

Поток все прибывал, и сидящего Линева начало затоплять. Тютчев начал его стыдить:

— Неужели ты перенес столько трудов, чтобы потонуть в этом ручье?

— Это он, видите ли, старался подействовать на мое самолюбие... А куда тут! Я отлично понимаю свое положение, да у меня вдруг отнялись ноги: точно стопудовая тяжесть гнетет книзу. Да, американские заработки дались мне нелегко...

В другой раз мы ехали с Линевым и Тютчевым на тройке. Правил в таких случаях Линев. Дело было в сумерки, дорога довольно широкая. И вдруг мы заметили, что Линев направляет тройку мимо мостка. Нам едва удалось свернуть на настоящую дорогу, иначе предстояла серьезная опасность свалиться в овраг. Оказалось, что у Линева бывают припадки куриной слепоты — очевидно, тоже результат прежнего переутомления.

Через год, кажется, после своего возвращения в Россию я получил письмо: Линев тоже возвращается, но, вследствие того что за ним было уголовное дело (проживание по американскому паспорту), его не отпустили, как отпустили бы административно-ссыльного, а препровождали этапным порядком. Я уже готовился обнять его в Нижнем, но известие о его продвижении вперед все не приходило, и я узнал, что Линев умер на одном этапе, Кимильтее. Этап этот расположен между Иркутском и Красноярском. В 1877 году еще указывали на кладбище его могилу. Теперь, наверное, нельзя найти и следа ее. Так кончилась эта яркая жизнь.

XVI
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ТРУД

В год моего приезда в Якутск туда же приезжал академик Юргенс. Он доезжал по Лене до Ледовитого океана и производил климатические исследования. Приезжие из Якутска рассказывали, что он ставил свои термометры на Лене против города и они показывали по неделям свыше пятидесяти четырех градусов мороза.

У нас тоже был ртутный термометр, но он стоял замерзшим целые недели.

Наконец одним утром Папин пришел со двора оживленный и веселый.

— Весна, братцы, весна! Сегодня, наверное, мороз не больше двадцати пяти градусов!

Мы действительно температуру не ниже двадцати пяти градусов ощущали как настоящее веяние весны. Это понятно. В последние недели мы вынуждены были гонять лошадей на реку, потому что ближние водопои в стоячих водах промерзли до самого дна. Когда самое дыхание вырывается из груди с треском, когда нельзя пробыть на воздухе пяти минут, чтобы не отморозить ухо или концы пальцев, тогда понятно, что мороз в двадцать пять градусов может показаться настоящим веянием весны.

Раз начавшись, это смягчение идет уже неуклонно. Дни быстро прибывают. Зима начинает отступать. Переходный промежуток занимает короткое время. Только по ночам духи зимы вокруг юрты мечутся и стонут... Лошади чувствуют это и бегают вокруг двора с сумасшедшими глазами, распустив по ветру хвосты и длинные гривы. У каждой лошади при этом свой нрав. У нас их было три. Особенно беспокойный был конек у Папина. Серый в яблоках, очень красивый, он легко вспыхивал и бесился. С началом весны, когда к ночи начиналось как будто обратное веяние зимы, он начинал бегать вокруг двора с распущенным по ветру хвостом и длинной гривой (гривы у якутских лошадей вообще очень длинны). У Вайнштейна была белая лошадь, сильная, но несколько тяжеловатая. У меня — стального цвета, в яблоках, с белой гривой и белым хвостом. Обе наши лошади, моя и Вайнштейна, искоса и как будто с интересом смотрели на беснования папинского конька и сами начинали беспокоиться. Весенними ночами, под завывания вьюги, мы слышали вокруг юрты частый топот. Это значило, что беснования папинского конька уже заразили остальных. Мы держали лошадей на заднем дворе у стогов. Порой конек Папина ухитрялся перемахнуть через первую городьбу и носился вокруг нашей юрты. Потом топот стихал. Это значило, что папинский конь решился на смелый подвиг: наутро мы находили на городьбе клок шерсти, а порой и след крови. Конек умчался в луга на солончаки, где он тотчас же брал под свое покровительство несколько самок и вступал из-за них в сражение с жеребцами. Наутро мы с Папиным садились на оставшихся и отправлялись в солончаки, где нам стоило немалых усилий заарка-

нить беглеца и привести его домой, впредь до первой бурной ночи и до нового побега.

Этот период, когда зима еще отстаивает свои права, в тех местах длится недолго, до начала апреля. В это время ветры все меняются. То они дуют с океана суровым холодом, то начинаются сравнительные оттепели. Так, среди резких перемен, проходят две-три недели. Земля в это время тверда, как камень. Наконец под влиянием все прибывающего дня в воздухе чувствуется тепло. Снег как будто оживает: под ним начинают журчать ручьи, которые быстро несутся по твердой еще, как камень, земле. Наступает еще один парадокс: лето наступает среди зимы. Кругом лежит еще снег, но уже тепло совершенно по-летнему. В юрте нам уже душно, и я работаю на нашей плоской крыше в одной рубашке...

Мы, люди, привыкшие к европейской зиме, не представляем себе неожиданностей сибирской зимы. Начать с того, что реки замерзают здесь не сверху, как у нас, а снизу. Был яркий солнечный день, когда я (впоследствии) подъехал к Иртышу под Иркутском. Я был очень удивлен, увидя перед рекой настоящую стену густого тумана. Некоторое расстояние нам пришлось проехать как будто среди сумерек, под которыми река волновалась и кипела. Был уже сильный мороз, но река еще клокотала. Среди бурного течения она быстро достигает двух с половиной градусов, а при этой температуре лед становится тяжелее воды и тонет. Течение несет по дну настоящую кашу из льда, пока она, согревшись на дне, не всплывает на поверхность и не останавливает реку... Так замерзают многие сибирские реки.

Когда они начинают вскрываться, это опять своего рода драма, величавая и грозная. В одно утро я услышал вдруг сильный шум со стороны реки. У нас была привычка в таких случаях тотчас же заобратать лошадь и верхом отправиться на место. Я отправился к Амге.

Зрелище, которое я тут увидел, поразило меня своим величием. Амга сначала тронулась, потом вдруг остановилась. Образовался «затор». Льдины, громоздясь друг на друга, образовали громадную перегородку, на которую взбирались все новые льдины, бревна поваленного леса, и все это подымало воду. Потоки из боковых ущелий, обратившиеся в речки, еще увеличивали этот хаос. Я остановился, пораженный зрелищем. Кое-

где вода шумела, прорывалась, бурлила. Порой что-то в заторе будто вздрагивало...

Пока я стоял на своем коне и любовался, мне вдруг послышался с возвышенного берега отчаянный крик. Крик относился ко мне: кто-то из благоприятелей размахивал руками, делая мне знаки. Я сообразил, что стоял в опасном месте, и повернул коня, который весь дрожал подо мной. Едва я повернул его, он понесся, как вихрь, на возвышенный берег. Еще несколько минут — в заторе началось движение. Огромная льдина и несколько бревен качнулись, дрогнули, и затор с треском обрушился. Целый хаос льдин и бревен двинулся по течению с таким громом, точно наступило землетрясение. Амга сокрушала свои берега и ревела долго и протяжно... Я вынужден был отскакать еще дальше, причем вода гналась по пятам моей лошади. Через некоторое время затор более или менее ровно несся по течению. Льдины сталкивались, раскалывались с треском, целые деревья корежились среди льдин: все это гремело, трещало, неслось вниз по течению — сначала в Алдан, потом в Лену и в Ледовитый океан. Вдоль реки неслись громовые выстрелы.

Но еще задолго до того дня, когда река возвестила с таким торжеством на всю окрестность окончательную победу весны, весна уже всюду торжествовала: в лугах уже зеленела трава, пестрели разноцветные ирисы, всюду стояли ярко-синие озера. После ледохода на реку налетело невероятное количество птиц. Мы принялись уже за огородные работы, и порой в сумерках утки пролетали мимо нас, чуть не задевая крыльями. На озерах более мелких, по-местному «лывах», под вечер буквально стон стоял от многоголосого птичьего гомона и крика. Тут были и курлыканья, и скрежет, и разные другие звуки, в которых все живое выражало неистовую радость жизни.

Но и здесь опять северная природа дарила неожиданностями. Однажды Папин вошел в юрту — он вообще вставал раньше всех нас — и сказал:

— Взойдите на крышу, посмотрите на поля... Вы увидите неожиданность...

Я вышел, и то, что я увидел, было действительно неожиданно. Кругом нашего жилья в эту пору весны стояло много озер. Большие, малые, порой просто лужи, они давно уже растаяли и очень живописно отражали на темной земле клочки синего неба. Одно из

них в это утро опять оказалось белым, точно замерзло в эту ночь. Объяснение было просто. Эти озерки промерзают до дна. Лед на них начинает таять сверху и долго держится на дне на стеблях водорослей. Наконец эти стебли тоже обтаивают, и широкая сплошная льдина всплывает на поверхность, вспугивая огромное количество уток, которые долго носятся над такими озерками, наполняя воздух встревоженными криками. Это, впрочем, случается не каждый год. Порой лед незаметно «изнывает» до дна, и только изредка та или другая лыва вдруг забелеет. На этот раз побелело целое озеро в полуверсте от нашей юрты.

Замечательно, что птицы каким-то инстинктом узнают, пересохнут ли наступающим летом озера или нет.

— Смотри, Владимир,— сказал мне весной Александр,— лето будет жаркое. Птицы улетели на реку и на большие озера.

С половины апреля мы принимались за огородные работы. Я с большим интересом относился к началу этих работ. Руководил ими Папин. Начали мы их рано. Земля еще не совсем оттаяла, и по временам сошник выскакивал из промерзшей земли. Местные жители пашут неуклюжей русской сохой. У нас тоже была такая соха, но товарищам удалось купить, кажется у скопцов, пароконный плужок (вроде вятского), и мы предпочитали работать этим более усовершенствованным орудием. Это было много легче.

Большое затруднение представляли наши лошади. Всю зиму мы их кормили сытно и порядочно баловали: кроме возки дров с осени из лесу на расстоянии верст семи да поездок к товарищам — другой работы они не знали. Якутские лошади вообще довольно дикие. У них привычки к тяжелому земледельческому труду не выработалось поколениями. Только не догляди, они норовят бешено умчать легкую сошку. Особенно часто это случалось с Вайнштейном. У него вообще, как у многих евреев, не было в обращении с лошадьми достаточной уверенности, а лошади сразу это чувствуют. Поэтому с Вайнштейном случались приключения даже чаще, чем в первый год со мною. Еще зимой стоило Вайнштейну сесть в свои сани, лошадь начинала перебегать с одной стороны улицы на другую, и часто ему оставалось только направить ее в снежный сугроб. Когда же мы выезжали на пашню, особенно в первое время, лошади дрожали, косили глазами и заставляли нас держаться

сильно настороже. Раз у Вайнштейна лошади убежали с плужком, и, пробегая мимо городьбы, моя белогривая лошадь сильно напоролась боком на кусок торчащей в городьбе жерди. Пришлось позвать целое совещание добрых соседей. Это был прежде всего Пекарский, польский крестьянин, повстанец, большой наш приятель. Это была фигура своеобразная: небольшого роста, с большой бородой, как у Черномора. Он был женат на слобожанке, полуякутке. У него было несколько детей, и все дочери, что его очень огорчало и чего он, кажется, не мог простить жене, существу крайне изнуренному и довольно робкому. Затем пришли татары, друзья Папина. Общими силами мы стреножили раненую лошадь, повалили ее на землю и поставили диагноз. Рана оказалась неопасной: пришлось вынуть засевший под кожу довольно длинный конец жерди и затем лечить совершенно домашним способом. По совету одного из татар, считавшегося в своей среде опытным коновалом, мы ежедневно валили нашего больного на землю и — поливали мочою. Впоследствии, когда к нам приехал Аптекман, опытный врач, он сильно стыдил нас, что мы подчинились такому невежественному предписанию, но в то время нам не оставалось ничего более: говорили люди знающие, а мы не знали ничего. Не могу забыть, с какой поистине комической важностью татарин говорил при этом:

— По...вайте, господа, по....вайте, не ленитесь.

Пекарский тоже подтверждал эти авторитетные советы. И действительно, лошадь вскоре выздоровела.

Вообще якутские лошади больше верховые. К работе они не приучены поколениями, как наши, и потому то и дело с ними случаются вспышки бешеного испуга. Однажды во время бороньбы мы вдруг заметили, что у одного татарина сорвались три лошади с боронами. Зрелище было поистине ужасное: бороны задевали за неровное поле, подскакивая то и дело, ранили и без того взбешенных лошадей. Нам стоило много усилий удержать наших собственных коней, которые уже бешено косили глазами и порывались за остальными. Татарские лошади помчались в слободу, где наделали много тревоги: женщинам едва удалось убрать с улицы детишек...

Я еще зимой выучился хорошо справляться с лошадьми, и пашня скоро стала моим любимым занятием. Не помню, в этот ли первый год или на следующий

мы затеяли поднять целину. Захар Цыкунов расчистил участок леса и не смог с ним справиться. У него было слишком много работы: зимой он возил лес для нас и, кроме того, для татар (за водку). Поэтому расчищенный (лет уже десять тому назад) участок он уступил нам. Дело было трудное, но мы с Папиным взялись за него.

Папин направил наш плужок, и в одно утро я запряг в него нашу пару и отправился в поле под лесом. Сначала мы принялись вдвоем с Папиным, но, проработав день и достаточно утомивши лошадей, я убедился, что теперь справлюсь один. Работа, повторяю, была очень трудная. Почва была недостаточно расчищена от корней, и по временам мне приходилось оставлять пашню и приниматься рубить в земле эти корни. На соху приходилось налегать всею силою, и по временам меня самого швыряло из стороны в сторону. Порой я в изнеможении ложился в борозде перед лошадьми, пока они тяжело работали боками.

Жара была прямо тропическая. Ночь длилась дватри часа, это были, собственно, только сумерки. Остальное время солнце хотя не подымалось высоко, но оно светило так долго, что накаляло своими косыми лучами землю до жары почти тропической. Вдобавок в воздухе носились тучи комаров всякого вида, в том числе, особенно под лесом и над озерками, очень ядовитых. Порой мы вокруг нашей пашни зажигали костры из навоза, располагая их с подветренной стороны. Это всетаки несколько отгоняло комаров, хотя далеко не достаточно.

Приблизительно в полдень я с большим удовольствием видел Папина, который направлялся ко мне верхом на своей белой лошадке, нагруженной посудой и припасами для обеда. Тогда я выпрягал лошадей, пускал их куда-нибудь в тень и ложился на землю отдыхать. Невдалеке озеро дышало прохладой. На нем грузными комьями сидели утки, нисколько не стесняясь нашей близостью. Я лежал на земле и отдыхал, а Папин принимался за стряпню. До сих пор с удовольствием вспоминаю эти минуты. Горит наш костер, и мы с Папиным порой мечтаем о зиме.

— Представьте себе только, Иван Иванович, что ведь было время, когда кругом лежал снег.

— Ах, хорошо! — отвечал он, отмахиваясь от комаров и обливаясь потом...— На саночках бы теперь...

А кругом стоял палящий зной. Утки на озере лежали живыми черными пятнами. Порой среди них водворялась тревога, и они грузно подымались в воздух. Это значило, что к нам приближается Ромась. Всегда две-три утки кружились над озером, охраняя покой остальных, и стоило появиться хоть издали нашему Немвроду, они извещали об этом грозном событии тревожными криками. Опасность, положим, была небольшая. Ромась уходил с утра, и до нас то и дело доносились выстрелы...

— Опять умирать полетела,— усмехаясь, говорил Папин.

Это была фраза, которую мы неизменно слышали от упрямого украинца. Пороху он тратил невероятное количество, но никогда (буквально ни разу) не принес домой ни одной утки.

Наконец наша пашня была кончена, и Папин ее засеял. Посев — дело тоже довольно трудное: нужно засеять ровно, и я всегда любовался на уверенные взмахи руки Папина. Об урожае на целине у нас ходили баснословные слухи. Невдалеке от нашей слободы один богатый якут вырубил участок леса, обработал его и с самодовольством рассказывал нам, что получил урожая сам-сорок. Его пашня была в лесу хорошо защищенная от дыхания первых заморозков, а эти первые заморозки наступают очень рано, уже в конце июня. Если хлеб переживет эти критические дни, то есть вероятие, что он вообще уцелеет, зерно затвердеет и окрепнет.

В конце июня мы с Папиным и Вайнштейном грустно стояли верхами у нашей полосы: она была расположена на склоне и как раз на пути холодных ветров. Теперь она вся была в инее. Мы решили, что она пропала, и не смотрели ее до самого сентября, то есть до конца покоса. И вдруг Папин явился с радостною вестью:

— Садитесь на своего белохвостого, поедем — я вам покажу что-то.

Мы живо приехали к лесу. Оказалось, что наша полоса ожила и теперь стояла хотя далеко не такая, как можно было ожидать, но всходы переливались под ветром. Мы собрали с нее урожая сам-восемнадцать. Значит, мои труды на целине не пропали даром.

XVII
ПОКОС

В конце августа мы приступили к покосу. Амгинцы получили предписание начальства выделить покос и для татар. Неизвестно, на чем это предписание основывалось, но амгинцы согласились. Они обусловили это согласие тем, чтобы татары выделили часть своего покоса и «для сударских». Татары не имели ничего против, и, таким образом, мы получили участок рядом с татарским, за семь верст от слободы, над рекой Амгой. В прошлом году товарищи уже участвовали в разделе, и теперь мы приехали на готовые прошлогодние участки.

Над рекой стояло большое оживление. Татары весело перекликались и радушно окликали нас. Прежде всего нам предстояло построить шалаш. Распоряжался опять Папин. Мы нарубили крупных веток ивы, воткнули их в землю, переплели и прикрыли свеженакошенным сеном. Лучшим косцом опять оказался Папин. Он для шутки встал в ряд с первым косцом из татар и долго шел с ним рядом.

— Молодца, Иван Иванович... А все-таки долго с Ахмедзяном не выдержишь,— сказал один из татар.

Я косить совсем не умел, и мне сначала эта работа показалась очень трудной. Первый день я задыхался, а ночью чувствовал себя совсем разбитым. Татары-соседи советовали мне не надрываться. «Бульно ты горяч,—говорили они.— Так не долго и совсем себя испортить». Но я был тогда очень здоров и через несколько дней выравнялся настолько, что уже не задерживал товарищей. Правда, мы смотрели на покос как на удовольствие и не слишком надрывались на этой работе. Об этом времени я и до сих пор вспоминаю с удовольствием.

Мне приходилось учиться и еще кое-чему. До сих пор товарищи освободили меня от хлебопечения. Я порою чинил им сапоги и занимался уроками. Теперь этой причины не было, и мы по очереди ездили с покоса в слободу, чтобы печь хлебы и готовить горячие обеды. Печь хле́б я еще не умел. Поэтому товарищи в первый раз, когда я отправлялся в слободу с этой задачей, снабдили меня подробнейшими инструкциями.

Дело это оказалось, однако, не таким легким, как думал я и товарищи. Инструкций, хотя и подробных, оказалось недостаточно, и на первый раз я осрамился...

Инструкции перезабыл и наутро, заведя дежу, забыл, что ее надо замесить новой мукой... Беспомощно выйдя из юрты, я увидел Пекарского и прибег к нему за помощью. Но он не вмешивался в бабье дело и знал его плохо. Общими усилиями мы состряпали не хлеб, а какие-то жидкие лепешки. На следующий раз я записал уже инструкции подробнейшим образом, и хлеб у меня вышел на славу.

Покос шел у нас вполне благополучно, за исключением одного небольшого приключения. Татары предупреждали нас, чтобы мы присматривали за лошадьми: за рекой были якутские покосы, и стоило нашей лошади сорваться и переплыть реку — она в качестве татарской лошади попала бы в якутский котел. Однажды прибежал один татарин и спросил:

— Не ваша ли лошадь пробежала по лугам, серая в яблоках?.. Как будто лошадь Папина.

Я бросился к месту, где был привязан конек Папина, его там не оказалось. Времени терять было нечего. Я сейчас взнуздал своего коня и отправился по следам. Следы привели меня к реке, как раз в то мгновение, когда предприимчивый папинский конек выходил на другой берег... Не долго думая, я бросился с берега в быстрое русло реки. Меня сразу охватило холодное стремительное течение, и скоро я заметил, что моя лошадь с ним не может справиться. Она жалобно оскаливала зубы над самой поверхностью воды и начинала тонуть. Тогда я соскочил с нее в волны, не забыв захватить в руки узду. Плавал я хорошо, но лошадь, испуганная, окружив меня, опять потащила в быстрину. Я догадался, и, дав ей еще раз приблизиться к берегу, я отпустил ее и выгнал на берег. Затем бросился к товарищам, и с их помощью мы еще успели захватить предприимчивого конька, пока он не успел отбежать в якутские луга.

— Иначе быть бы ему в якутском котле,— говорили сведущие на этот счет татары.

Наконец покос был окончен; оставалось сметать стог и затем загородить его. Мы кое-как сметали его, но по неопытности не рассчитали точно. Поэтому осенью его, должно быть, пробивало дождями, и часть сена была попорчена. Теперь нам оставалось только загородить наш стожок. За это взялся я, и притом поехал один. За эту предприимчивость я чуть было не поплатился жизнью.

День был беспокойный, ветреный. В лугах завывал осенний ветер. Людей уже не было: татары справились раньше нас. Я приехал с утра, успел нарубить же дей и обгородить кругом наш стожок. Это было как раз вовремя. Амгинцы отпускают лошадей на время покоса в леса, и они там совершенно дичают. Проходя по лесу, в это время нередко можно встретить табуны лошадей под предводительством жеребца, искоса смотрящего на человека. Порой этот жеребец, дико поводя глазами, кидается в чащу. Тогда остальной табун бросается за ним, и по лесу в это время стоит топот и треск. К осени эти табуны опять возвращаются в слободу и первым делом кидаются в луга. Свежие стога представляют для них большую приманку, и незагороженные стога они порой совершенно разоряют.

Итак, я успел закончить свою городьбу и уже запряг лошадь, которая очень беспокоилась и стригла при порывах ветра ушами. Мне оставалось только сесть в телегу и вернуться домой. Но в это время сильный порыв ветра подхватил мой легкий халат и швырнул его на лошадь. От этого она вдруг взбесилась и рванула телегу вперед. При этом она подмяла меня под телегу, и я почувствовал удар копыта в бок, и кованое колесо пробежало у меня по лицу. К счастью, я не растерялся в этом поистине критическом положении, не выпустил из рук вожжей и успел направить взбесившегося коня в густой лозняк, где он и застрял, весь дрожа мелкой дрожью.

Сначала я чувствовал себя совершенно беспомощным. Пробовал кричать в надежде, что кто-нибудь запоздал на работе, как и я. Но на мои крики отвечали лишь печальные завывания ветра, шумевшего в пустых лозняках. Мне, разбитому, предстояло распрячь коня, вытащить из лозняка телегу и опять запрячь лошадь. Сначала я чувствовал себя совершенно разбитым и уже подумывал ночевать в лугах, рассчитывая, что наутро за мной приедут товарищи. Но тогда я был молод, силен, для меня не было неисполнимых задач. Навалив на землю сена и отлежавшись на нем, я сначала вытащил телегу из лозняка и потом запряг лошадь. Теперь предстояло доехать до слободы, причем на дороге у меня было несколько крутых оврагов. Я решил прежде всего утомить лошадь. Для этого, взобравшись в телегу на сено, я пустил лошадь по ровным лугам во весь карьер и, таким образом проскакав несколько раз

взад и вперед, пустился наконец в обратный путь. Теперь опасные спуски на утомленной лошади я миновал благополучно. Но все-таки товарищам пришлось снять меня с телеги, и несколько дней я пролежал в нашей юрте пластом.

Я думаю, что в этом приключении была до известной степени виновата моя беспечность: с татарином или даже с Папиным этого бы не случилось. Много значили выработанные долгою привычкою приемы. У меня таких рабочих привычек тогда не было, и оттого сначала я чуть не потонул в Амге, а потом рисковал погибнуть в лугах.

XVIII

НА ЯММАЛАХСКОМ УТЕСЕ

Под этим утесом я пережил несколько минут смертельной опасности, а на его вершине — одну из решающих минут моей жизни.

Это случилось еще тогда, когда Павлов был жив, Ромась жил с ним и нас троих соединяла тесная дружба. Я часто ходил к ним. Не помню, зачем поехал на этот раз. Помню только, что поехал не на своей лошади, а попросил лошадь у того крестьянина Александра, о котором я уже писал выше.

Не знаю, чем объяснить это... Товарищи говорили, что я часто думаю о разных литературных предметах и оттого порой «прозевываю» то, что нужно помнить,— но только со мной чаще, чем с ними, случались опасные передряги. Поехал я ранним утром, пробыл у товарищей несколько часов и уже возвращался обратно в Амгу. Дело было в день уже совершенно определившейся весны. День был светлый и теплый. Я ехал над Амгой и любовался закатом. В одном месте Яммалахский утес приближается к самой реке. В этом месте ручьи выбиваются из-под земли и спускаются по наклонному берегу. Здесь они, очевидно, вытекают под сильным давлением и тотчас же замерзают, оттаивая уже дальше у реки. Помню, я ехал задумавшись, но все-таки у меня мелькнула мысль, что в этом месте надо сойти с лошади. Но лошадь немного заупрямилась, остановилась не сразу, вступила на наклонные ледяные струи. Не успел я оглянуться, как она упала сразу со всех четырех ног. Я успел расставить ноги и под нее не

попал. Но случилось нечто худшее: лошадь сразу поднялась, а нога у меня осталась в стремени. Она стояла надо мною, а я лежал на земле с ногою в стремени.

К счастью, лошадь Александра была довольно смирная, но положение мое было все-таки отчаянное. Я лежал головой книзу. Всякая моя попытка подняться пугала лошадь. Она расширяла ноздри и по временам привскакивала; я предвидел, что она может понести меня по каменистому берегу, а тогда я едва ли имел бы теперь удовольствие делиться с читателями этими впечатлениями.

Эта минута навсегда запечатлелась у меня в памяти с какой-то фотографической точностью. В стороне слободы заходило солнце, я мог видеть всю реку вверх по течению до поворота. Мне виден был даже силуэт слободской колокольни. Надо мной на утесе склонялось корявое дерево, а впереди по каменистому берегу виднелись камни разной величины, падавшие в разное время со скал. Помню один камень с очень острыми краями. Помню также, что мне представлялось, как через несколько минут лошадь, потерявшая терпение, помчит меня за ногу мимо этого камня. Помню пылающую реку и особенно корявую лиственницу, свесившуюся со скалы и рисовавшуюся надо мной на синем небе.

К счастью, в такие минуты я не терялся. Сообразив, что лошадь не побежит на человека, я подтянулся прямо к ее передним ногам. Не стану описывать несколько минут, которые я провел в этом положении. Одно, что мне оставалось, это постараться, чтобы лошадь подняла меня своей мордой. Я был силен и ловок. Пригнув к себе морду коня, я вдруг нанес ей сильный удар снизу. Она бешено рванулась вперед, и я в это время успел схватиться за ее длинную гриву. Несколько минут бешеной скачки, и я очутился в седле. Лошадь мчала меня вихрем, и все-таки, когда я приехал домой, товарищи удивились моей бледности. Почти двенадцать верст бешеной скачки не успели разогнать моего волнения.

В другой раз я был опять у Ромася с Павловым, но уже пешком. Я носил им пилу. Мы работали целый вчерашний день, и теперь я возвращался обратно. Река внизу подо мною опять пылала. Все было так, как в ту критическую минуту. Взобравшись на вершину утеса, я почувствовал усталость, прилег на траве и внезапно

заснул. Как это часто бывает, я проснулся внезапно, точно от толчка, с мыслью: где я и что со мною?

Мысль побежала по дороге ближайшего прошлого. Прежде всего я над Амгой, на Яммалахском утесе. Вот корявая лиственница, свешивавшаяся надо мною в ту памятную роковую минуту. Я видел тогда ее снизу... Затем мое положение встало передо мной с какой-то роковой ясностью.

От Петербурга до Москвы — 600 верст, которые я проехал с братом. От Москвы до Перми — 1500 верст. Это уже без брата. Здесь на пути величавая Волга и суровая, порой мрачная Кама. От Перми 7000 верст до Иркутска... Громадная река, порой вдали снеговые вершины. От Иркутска почти 3000 верст до Якутска... Широкая Лена, каменные уступы, ту́маны в ущельях, низкие облака на скалистых вершинах, тунгусская пустыня по обеим сторонам и убогие юрты ямщиков, несущих здесь на голом камне тяжелую службу русскому государству...

Затем около 275 верст на восток от Якутска. Узкая дорога, то тайгой, то Яммалахским ущельем... Порой убогая юрта с длинной полосой дыма, порой всадник на высоком седле в остроконечной меховой шапке, или проскачет казак из города или в город... Убогая слобода объякутившихся поселенцев... Почта приходит сюда раз в две недели и не идет дальше. Телеграф остался за три тысячи верст, а известия из России приходят приблизительно через два месяца. Здесь три недели молились еще о здравии Александра II после первого марта.

Еще шесть верст лугами, потом вброд через небольшую речку и еще версты три до Яммалахского утеса. Голый камень вступил в реку и перегородил дорогу. От подъема к подъему, с уступа на уступ, и вот я на вершине Яммалахского утеса и думаю о своей жизни.

Не могу сказать, что все эти мысли шли именно так, как я их излагаю. Помню только, что я пережил тогда нечто вроде легкого душевного удара, какой-то толчок. Я здесь... Что ж будет дальше?

Я уже говорил ранее о том влиянии, которое имел на меня Василий Николаевич Григорьев, мой товарищ по академии. Часто в критические минуты моей жизни передо мною вставало его открытое честное лицо, и я думал, как он поступил бы в таких обстоятельствах. Недавно я получил от него письмо, которое произвело на меня большое впечатление. Он был арестован почти

одновременно со мной, просидел почти год, сначала в той же Спасской части, в которой сидел и я, потом в доме предварительного заключения. Потом его выпустили на волю. И вот, едва выпущенный, тотчас же, не спрашивая ни у кого разрешения, он бросился в Павловский кустарный район и, пока начальство спохватилось, успел написать замечательную книгу, о которой теперь говорили в литературе. Я представлял себе его лицо, когда он собирал материалы. Потребность узнать тот именно народ, для которого мы работаем, пробудилась тогда в интеллигенции с неодолимой силой. Она-то и вызвала движение в земскую статистику, которая дала огромные результаты. Теперь я, несомненно, был бы с ним вместе.

Но я пошел другим путем. Во имя чего? Во имя «народной мудрости».

Мы часто с Григорьевым говорили о честности перед собой. Теперь я оглянулся на свой путь. Был ли я честен перед собой? Где она, эта народная мудрость? Куда привела она меня?

Вот я на Яммалахском утесе. Внизу передо мною песчаный остров, какие-то длинноногие птицы ходят по песку, перекликаясь непонятными голосами, почти столь же непонятными, как и народная мудрость... Вдали, налево, виднеется слобода и ее колокольня, направо за островом бежит река, теряясь среди лесов и каменистых уступов. Там, за этими лесами, живут товарищи, с которыми мне предстоит долгий и безвестный путь, теряющийся в неизвестности.

Вот я во имя народной мудрости, таинственной, неопределенной, отказался от литературы, быть может, моего истинного призвания. Эта неопределенная народная мудрость привела меня к туманностям Златовратского, а теперь приводит к тому, против чего возмущается все мое непосредственное чувство: к смирению, к покорности...

Народ признает то, против чего возмущается, против чего борется интеллигенция. Где же правда?

И непосредственное чувство, и все, что я передумал, говорили мне ясно, что правда на стороне интеллигенции. Чувство смирения, к которому звал Златовратский, вызывало во мне одно возмущение. Если понадобится, то нужно восстать против целого народа. Я уверен, что правда в этом, и только в этом. Если верен тот голос, который так ясно говорит во мне, у меня есть для

этого орудие: литература. Но я одно время подавлял ее в себе во имя пресловутой народной мудрости...

Теперь передо мной долгий путь, туманный, мглистый, из которого мне, пожалуй, не выбраться... Наконец честность перед собой требует поставить еще один вопрос: действительно ли я революционер? Вот Юрий Богданович звал меня на революционное дело. Я отказался. Отказался ли бы настоящий революционер при этих условиях? Я подумал, что было уже несколько случаев, когда настоящий революционер на моем месте уже погиб бы или запутался бы гораздо больше, чем я. Это, во-первых, в том памятном для меня случае, когда мне представился случай побега еще в Вятской губернии. Мне тогда мелькнули в памяти мысли о мести Луке Сидоровичу, но я понимал, что эти мысли и тогда были у меня не серьезны. Мелькнули и исчезли. У настоящего революционера было бы не то... Из-за чего я тогда отказался от них?.. Из-за заманчивых наблюдений. Я не революционер, я наблюдатель... И потом в Тобольске... Мне все казалось, что хотя мне помешала тогда собачка... Но чувства, которые я тогда испытывал, были бы сильнее у истинного революционера.

Одним словом, честность перед собой заставила меня сознаться, что я не революционер... Наконец мои ленские мечты... Могли ли они быть у настоящего революционера, а не мечтателя? Мне казалось, что отзыв гипотетического лица, названного мною «Волком», гораздо ближе передает революционную психологию, чем все мои рассуждения.

В этом месте моих размышлений (повторяю: я их передаю очень неточно, стараясь лишь о том, чтобы они верно излагали общий ход моих мыслей) на дороге, которая вела на Яммалахский утес, послышался топот верховой лошади, и над обрезом утеса показался острый конец якутского бергеса (шапки). Я двинулся... Якут сразу исчез. Он подумал, очевидно, что на утесе сидит татарин, а встретиться на пустынном утесе с татарином, очевидно, не входило в его расчеты. Поэтому он сразу скрылся.

Но это не входило в мои расчеты. Мне страстно захотелось поговорить в эту минуту с живым человеком. Поэтому я его окликнул.

— Догор! (друг) — крикнул я.— Мин нюче сударской. Татар манна сох (я русский, государственный. Татарина здесь нет).

Над обрезом дороги опять появилась расцветшая физиономия якута. Он спешился, подвязал лошадь и сел на траве рядом со мной. Мы дружески поздоровались и затем вскоре разговорились. Это оказался человек добродушный и разговорчивый. Происходил он из наслега, расположенного по ту сторону реки, за островом, на котором звонко кричали голенастые птицы. Не помню теперь, как назывался этот наслег. Он рассказал предание о происхождении этого наслега. В основе предания была любовь. Было два брата, один хороший и для своей семьи, и для людей, другой — настоящий разбойник. Хорошего полюбила девушка. Она соглашалась прийти к нему в дом. Но разбойник тоже полюбил эту девушку и, увидя, что она хочет уйти к хорошему брату, решил отнять ее. Он осадил хорошего брата и его невесту с такими же разбойниками, как сам. Тогда хороший брат отбежал на лошади от берега и, сотворив молитву богам, перескочил через реку. Родовичи увидали в этом явное благоволение богов к хорошему брату, прогнали злого брата, а хорошего выбрали родовым тойоном.

После этого он перешел к более современным событиям. Они не знают, из-за чего был убит царь Александр II. Очевидно, одни русские не соглашались признать его царем, а другие соглашались. А для выбора нужно общее согласие. Соглашающихся было большинство. Из-за этого-то мы и высланы с родины на далекую сторону. Пока много несогласных, царь не может надеть шапку (корона и шапка по-якутски обозначаются одним словом). Так царь и ходит без шапки. Это, разумеется, очень неудобно. Из-за этого он распорядился несогласных выслать. Теперь со всей страны требуют депутатов. От них, из улуса, тоже потребовали (тогда действительно по случаю коронации Александра III призывали депутатов). Они в своем улусе сказали: «Пусть надевает шапку. Мы не противимся. Но наш улус бедный, нам убыточно посылать депутатов так далеко». Вот теперь, прибавил он, царь наденет с общего согласия шапку. Тогда и вы получите право вернуться на родину. А жаль, что наших депутатов не будет. Наши родовичи сказали бы: «Верни, тойон, когда наденешь шапку, сударских обратно. Народ они, мы видим, хороший: не воры, не разбойники, как, например, татары...»

Солнце между тем садилось в стороне слободы в расплавленную реку, и нам пора было подумать о возвращении. Я был благодарен этому неведомому якуту, с его наивными рассказами о двух братьях и еще более наивными политическими взглядами. Не так же ли наивна вся народная мудрость? И все-таки я чувствовал, что от этого разговора что-то у меня повернулось в душе. Любить этот народ — не в этом ли наша задача? А я в это время чувствовал к нему именно любовь.

Когда мы спустились с утеса, он долго тряс мою руку, дружелюбно заглядывая мне в глаза. Я тоже искренно пожимал его руку, чувствуя, что этот разговор, в свою очередь, дал мне много. Наконец мы расстались, и его темная фигура потонула в приамгинских лугах, а я со своей пилой пошел луговыми дорогами, и передо мной, на фоне всходившей луны, уже заливавшей ту сторону, рисовалась темным силуэтом острая колокольня амгинской церкви.

XIX

ЯКУТСКАЯ ПОЭЗИЯ.— НА «ЫСЕХЕ»

Я уже пытался дать читателю первые свои впечатления о якутской песне. Это нечто примитивное и крайне немелодичное. Но своя поэзия есть и у якутов. Один знакомый рассказывал мне, что однажды в сумерки он ехал с знакомым якутом по лесной дороге. По обыкновению, якут пел, и его песня сливалась с шумом тайги. Песня была рифмованная. Знакомый мой вслушался и стал разбирать слова. Якут пел:

Бу ордук тит мас турде,
Бу ордук мин ат барде...

то есть:

Вот так стояла лиственница,
А вот так бежала моя лошадь...

Мой знакомый стал вслушиваться далее, и понемногу песня стала его захватывать. Якут пел о том, что еще версты три... Будет в лесу озерко. А там появятся среди темного леса огни его юрты. Его встретит жена, которую он очень любит, и дети... И все это он пел, почти истерически захлебываясь. Тут не было песни в нашем смысле, не было мелодии. Но тут было нечто до

такой степени сливавшееся с настроением минуты, с этим протяжным шумом тайги, с мечтательными сумерками, что моего знакомого захватила эта песня...

Однажды мы позвали к себе в гости несколько девушек и молодых женщин. Особенное внимание возбуждала молодая девушка, которую звали Ленчик. Она не была красавица, в ней даже с ее полнотой было что-то смешное. При взгляде на нее хотелось смеяться добрым смехом. Она сама то и дело прерывала свои речи внезапными взрывами смеха. В этом было что-то очень женственное и очень милое. Девушки предложили нам спеть что-нибудь об нас. Это была бы поэтическая импровизация, и мы, разумеется, попросили их об этом. Ленчик посмотрела на меня и начала:

В Камчатке стоит серебряное дерево (береза),
На второй ветке этого дерева сидит тетерев.
Он распустил хвост.
На его хвосте есть загнутые очень красивые перья.
Твоя борода напоминает хвост этого тетерева и лучшие его перья.
Когда ты везешь дрова мимо моего двора,
Я выхожу на поленицу и смотрю на тебя.
Но ты на меня не смотришь, и я вздыхаю.

Таким образом они по очереди пели об остальных наших товарищах. К сожалению, повторить этого целиком невозможно. О Хаботине, например, они пели, называя все циничными именами. Они называли Хаботина «саксалы», что значит прихрамывающая утка. (Он постоянно стаптывал валенки и ходил на голенищах, что действительно производило впечатление прихрамывания.) Песня была очень циничная и постоянно прерывалась звонким смехом юных певиц.

Вообще у якутов есть большая склонность к поэзии, хотя не в нашем смысле. Я уже сказал, что закругленной мелодии у них нет, но зато есть другое — есть импровизация. Якут изливает в своей песне мимолетное настроение минуты. Я уже говорил о песенных спорах Захара Цыкунова со своей женой. Этим песням никак нельзя было отказать в искреннем горячем чувстве. Якуты часто садятся у камелька и, уставив глаза на огонь, слушают длинную импровизацию, целые поэмы... Иные поэмы можно петь несколько вечеров подряд, и их слушают все с тем же захватывающим вниманием. Мне помнится, между прочим, длинная поэма о человеке, который называется «Эрейдах-бурейдах, эр соготох»,— по-русски это было бы нечто вроде «при-

ключения одинокого бобыля». Эти приключения можно петь бесконечно. Замечательно, что приключения этого эрейдаха крайне разнообразны. Порой он попадает в места, которые певец описывает очень подробно. Описывается, например, покос. Тут есть, между прочим, описание всех кочек разных форм: кочки с круглыми головами, кочки с головами остроконечными, и для каждой формы есть особое существительное. Между прочим, меня поразило также упоминание в этой песне яблок, апельсин и тому подобных фруктов, о которых якуты, по-видимому, не должны иметь понятия. Объясняется это тем, что якутский эпос привезен в эти холодные страны с юга, и песенники сохранили не только слова, но и самые понятия, тщательно оберегая их от забвения.

Однажды собралась компания молодежи на так называемый «ысех». Это весенний праздник, когда освящается с разными древними обрядами весенний кумыс. Для этого якуты строят чумы — тунгусские шалаши, в память о том, что они жили одно время в таких чумах.

Мы отправились с толпой молодежи. К берегу Амги подходили и подъезжали много якутов и якуток. Когда мы подъехали к перевозу, то какой-то пьяненький якут, возвращавшийся с тройкой лошадей (по-видимому, он отвозил за реку какое-то начальство), стал горячо протестовать против того, что нюче (русские) тоже собираются присутствовать на ысехе. Он находил это неприличным нарушением старых обычаев. Остальные ничего против этого нашего участия не имели и стали его удерживать. Но пьяненький якут до такой степени разгорячился, что стал засучивать рукава, намереваясь, очевидно, вступить с нами в драку. Тогда его просто вывели из лодки с его лошадьми, и лодка отчалила без него. Тогда он стал кричать с берега, что его, сахалы (якута), высадили, а нюче взяли, что он все-таки пройдет на другую сторону, хотя бы ему пришлось утонуть, и он стал входить в воду.

— Вот я уже вошел по колени,— кричал он.— Вот я вошел по пояс. Якут утонет и не попадет на ысех, а русские попадут. Он расскажет об этом всему своему наслегу. Даже всему улусу... И он посмотрит, одобрят ли это его родичи.

Пока мы переправились на другую сторону, якут все кричал нам и грозился, что вот он войдет по шею и наконец утонет. Другие якуты не обращали на его крики внимания, но подошедший к тому времени к перевозу народ вывел пьяного из воды. «Сударской»,— слышал я тихонько передаваемое перевозчиками объяснение нашего присутствия.

Пройдя с полверсты от берега, мы увидели, во-первых, тунгусский чум, сооруженный по старинному обычаю. Это был остроконечный шалаш. В нем уже совершались обряды освящения кумыса. Перед чумом стояли ряды якутов и что-то пели. Я обратился к знакомому амгинцу и попросил перевести мне эти песни. Он стал переводить, но, очевидно, сам не все понимал. Видя, что я вынул записную книжку и пытаюсь записать песни, из группы стариков отделился почтенный, совершенно седой старик, приближение которого ко мне произвело на якутов известное впечатление. Они стали следить за нашим разговором. Я думал, что он станет протестовать против моих записей, но он, наоборот, охотно стал объяснять мне происходящее. Он говорил порядочно по-русски, а затем нам еще помогли знакомые амгинцы, и я приблизительно понял смысл этих религиозных песен. В них якуты молились, чтобы бог принял первую весеннюю жертву милостиво, взглянув на нее «с седьмого неба». Старик, показавшийся мне очень разумным, стал объяснять мне, что бог один у всех людей. Якуты сначала этого не понимали, но один разумный священник объяснил им это. Он объяснил им, между прочим, что у русских есть те же божества, которые есть и в древней якутской религии: бог-отец, живущий на седьмом небе, бог-сын, служащий посредником между божеством и людьми, бог дух святой (дыхание божества), божья матерь, которая родила сына (кажется, о божьей матери были у якутов слишком материалистические представления), и, наконец — по-видимому, это произвело на якутов особенно сильное впечатление,— у якутов оказались даже ангелы. Старик называл их анги, что во множественном числе звучит ангеллер, что уже совсем близко к русскому.

Старик говорил важно и немного торжественно. Остальные ему поддакивали, одобрительно кивая головами и очень интересуясь тем, чтобы мои записи вышли правильно.

Я шел по лесу под сильным впечатлением этого праздника и торжественных объяснений старика. Когда мы подошли к реке, за ней угасало солнце, заливая огнем заката вечернее небо. Спустились сумерки.

Я думал о том, что христианство не потеряло еще своего значения, что оно еще незаменимо для объединения человечества, и бог знает когда роль его кончится.

Из тайги доносились отголоски религиозных гимнов, захлебывающихся, истерических, но производивших на меня свое впечатление.

На берегу реки ко мне подошел тот самый якут, который протестовал против нашего присутствия на ысехе. Он видел, как со мной разговаривали старики, пожал мне руку и извинился.

Вообще в якутской поэзии, несмотря на отсутствие мелодии (в этом отношении она напоминает монгольские песни), есть то, чего у нас нет,— много непосредственности. Якут сразу выливает свои ощущения, без затруднения находя для них и рифмы, и своеобразный ритм, то есть то, что мы уже утратили...

XX

МАРК АНДРЕЕВИЧ НАТАНСОН И ЕГО ЖЕНА

К нам перевели из довольно отдаленного Балаганского улуса Марка Андреевича Натансона и его жену. Я не знаю, какие были побуждения у администрации для их перевода, но их поселили недалеко от нас, верстах в двадцати, кажется в Женкунском наслеге, в одинокой избушке в лесу, выстроенной нарочно для них.

Я встречался с Натансоном еще в Петровской академии. Однажды к нам на сходку приехал молодой студент-еврей, в очках, с очень умным лицом, и, помню, в этот первый раз стал толковать мне о том, что у нас мало обращают внимания на раскол и что внимание революционеров должно быть направлено на Урал, где много раскольничьих центров. Он говорил очень умно, но мне показалось тогда, что все это слишком теоретично.

После этого имя Натансона часто встречалось как имя довольно известное в революционной среде, так же как имя его первой жены, Ольги Натансон, русской. Ольга Натансон умерла, и теперь, в самое последнее

время, он женился на другой, дочери какого-то московского купца, которая разделяла его революционные убеждения. Она незадолго до того приехала к нему в Якутскую область, и скоро предстояла свадьба. Натансона перевели сначала на реку Алдан, а потом поближе к нашей слободе. В то время как я с ним познакомился в Петровской академии, Натансона причисляли к чайковцам — кружку, к которому принадлежал Маликов, но к «богочеловекам» он не принадлежал никогда. Для этого он был слишком практичен.

В ожидании окончания работ у их лесной избушки, где им предстояло жить, Натансоны поселились у нас в слободе и стали устраивать свое хозяйство. Между прочим, мы приискали им и прислугу. Это был старый бродяга, всю жизнь проведший по тюрьмам. Звали его «Иваном 38-ми лет». Лет ему было гораздо больше, но как-то его записали таким образом, и с тех пор он официально застыл на этом возрасте.

Это был человек очень оригинальный. Он внушил нам, амгинским ссыльным, общую симпатию, и мы несколько раз предлагали ему примкнуть к нашему хозяйству. Это ему было, очевидно, выгодно, но он почему-то упорно отказывался. Сначала я с любопытством присматривался к этому бродяге и старался объяснить себе его отказ. Потом мне показалось, что я его понял. В юности он был крепостным и провинился в каком-то бытовом крепостническом преступлении... Мне казалось, что прошлое имело над ним неодолимую власть. Крепостное право было давно отменено, но он продолжал жить в крепостном праве. Он мечтал о восстановлении своей жизни именно с того момента, с которого она прервана тюрьмой. Он мечтал о том, что ему удастся найти «настоящих господ», и тогда его жизнь будет восстановлена. Мы ему казались ненастоящими. Когда наши приятели (например, Пекарский) заговоривали с ним о нас, он отзывался о нас как о людях очень хороших, но все-таки оставался в его отзывах какой-то осадок неудовлетворения: для него мы были слишком демократичны. В нас мало было господского. Мы были «ненастоящие».

Я объяснил Натансону, как я понимаю психологию старого крепостного человека. Натансон с этим согласился, и идеал «Ивана 38-ми лет» получил наконец осуществление. Натансоны поместили бродягу в узенькой проходной каморке. Он вскакивал каждый раз,

когда через его помещение проходили «господин» или «госпожа», и был совершенно доволен. Наконец у него были «настоящие господа».

Между прочим, он был мастер на все руки. «Мне по бродяжеству все делать приходилось»,— говорил он. И поэтому, когда у нас испортилось заднее колесо перед самым отъездом к Натансону, он тут же его починил. Правда, колесо это не довезло нас даже до места и невдалеке от избушки свалилось. У бродяги и на это нашлось «средствие». Он срубил молодую лиственницу и приладил ее вместо колеса. К счастию, это случилось близко от избушки Натансона, и мы кое-как доехали. Но с тех пор в таких случаях у нас установилась поговорка: «Это по бродяжеству».

Я запряг нашу пару и лично свез Натансонов в их новое жилище. При этом не могу не упомянуть еще о маленькой, допущенной мною неосторожности. В это время я выработал привычку каждый день купаться в холодной амгинской воде. К Натансонам мы приехали уже поздно, в густые сумерки, и, распрягши и подвязавши лошадей, я тотчас же отправился в лес, где, по моим соображениям, должна была находиться река. Она была меньше чем в полуверсте от избушки, и я вскоре услышал шум ее быстрого течения. Я подбежал к берегу, быстро разделся и кинулся с разбега в холодные волны. Кинулся и, признаюсь, испугался. Меня сразу подхватил какой-то водоворот и понес по течению. Темные силуэты деревьев проносились мимо, тотчас же сливаясь в неопределенную массу, а меня все несло и несло. Вдобавок впереди слышался шум, точно от водопада... Я с неимоверными усилиями изменил несколько направление, и меня прибило к каким-то кучам хвороста, нанесенным течением. Не без усилий я выбрался на довольно крутой берег, и с полверсты мне пришлось пробежать по темному лесу до своей одежды. В избушке шумел уже самовар, поставленный «Иваном 38-ми лет». Натансоны ждали меня и начинали беспокоиться. Бродяга с радостной готовностью прислуживал господам. Натансоны, впрочем, отпустили его, налив ему чаю, но сделали это так величественно, что бродяге не оставалось ничего, кроме повиновения. Через некоторое время он стал самым верным слугой, которые перевелись в это время даже и на Руси.

С тех пор Натансоны зажили в своей избушке под шум леса. Впрочем, они часто приезжали к нам и про-

живали в слободе по неделе, оставляя «Ивана 38-ми лет» на хозяйстве. Когда у нас начались весенние работы, Марк Натансон изредка принимал в них участие. Я не могу забыть его курьезную фигуру, когда он боронил вспаханный нами огород. Дело было не только в том, что Натансон был еврей, а евреи вообще мало склонны к физическим работам. У нас был другой товарищ-еврей, Вайнштейн, и, однако, он удовлетворительно справлялся со всеми полевыми работами. Впоследствии к нам присоединился Осип Васильевич Аптекман, которого, несмотря на слабосилие, можно было упрекнуть в излишней смелости в обращении с лошадьми. Дело было просто в том, что в лице Натансона мы имели дело с теоретиком, более привычным к книге и революционной конспирации, чем к практическим работам. Во всяком его движении сказывалась эта неспособность. Вытянув руку с поводом насколько возможно, он с некоторым страхом смотрел на лошадь в очки, та с таким же страхом смотрела на него, а в стороне стояла Варвара Ивановна и не без опасения посматривала на обоих.

XXI

НРАВЫ ЯКУТСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Один из наших соседей, бедный обнищавший якут, решил наняться в город, чтобы немного поправить свое хозяйство. Через некоторое время ему повезло: мы узнали, что он нанялся к самому полицеймейстеру. Однако еще через короткое время он опять появился в наших местах. На наши вопросы он, сначала заминаясь, а потом смелее, рассказал следующую историю.

Однажды ночью его разбудил старший работник и велел вместе с другими рабочими снаряжаться за сеном. Наш якут удивился: кто же ездит за сеном ночью? Но другие рабочие приняли это как должное, точно это был установившийся порядок. Приехали на место, и старший рабочий указал, какой стог надо брать.

— Да ведь это не наш стог,— заметил якут.

— Дурак, кто же за своим стогом ночью ездит! — ответил распорядитель. Остальные засмеялись. Якут так испугался, что на следующий день скрылся и вернулся в свои места.

Об этом полицеймейстере ходили по городу еще более пикантные слухи. Говорили, что он не останавливается и перед конокрадством. Однажды ему очень понравилась красивая и резвая лошадь одного обывателя. Он стал торговать эту лошадь у владельца. Тот был любитель и именно эту лошадь уступить не согласился. Но, зная полицеймейстерские замашки, он принял свои меры: он расковал лошадь и на копытах выжег свое тавро. Через некоторое время лошадь действительно пропала, а в табуне полицеймейстера появилась новая лошадь другой масти.

Обыватель оказался человеком догадливым и настойчивым. Официально он заявил, что у него пропала лошадь и что он имеет все основания подозревать, что она находится в табуне полицеймейстера. Это был уже скандал. Купец, довольно влиятельный и богатый, сообщил об этом губернатору, а главное — это было бы не важно, с губернатором администрация делала что хотела,— но заявил еще беспокойному прокурору. Осмотрели табун. Купец определенно указал на свою лошадь — масть была другая, но владелец брался доказать, что она перекрашена. Прокурор считал себя призванным бороться с злоупотреблениями местной администрации. Подковы сняли, тавро обнаружилось, а через некоторое время обнаружилась настоящая окраска лошади. Скандал вышел слишком громкий, даже и для Якутска, и полицеймейстеру пришлось подать в отставку.

Эти подробности привез из города Папин, который к этому времени ездил в Якутск для продажи некоторых наших припасов. Он же привез и другую новость не менее пикантного свойства. Нравы якутской администрации были тогда чисто гоголевские. В областном суде был судья, у которого была, не помню, жена или любовница, большая любительница редких птиц. А у секретаря была тоже, не помню, жена или любовница, у которой была именно редкая курица кохинхинка. Судья потребовал эту курицу для своей дамы, секретарь или его дама заупрямились. Вышла ссора, перешедшая в громкую перебранку на улице, после того как судья загнал спорную курицу себе во двор. Секретарь стал на всю улицу высчитывать преступления судьи, судья, в свою очередь, стал перечислять преступления секретаря. У судьи таких преступлений оказалось больше. А недалеко при этих скандальных разоблачениях при-

сутствовал все тот же прокурор и мотал все эти разоблачения на ус.

Вероятно, все это было в традициях якутских чиновничьих нравов. Поссорятся, потом помирятся, и опять приятели как ни в чем не бывало. На этот раз это не обошлось так благополучно. Прокурор был человек, как уже сказано, беспокойный. Он был из правоведов и обладал наружностью, которая заставляла удивляться, как он попал в якутские палестины. И главное, не только попал, но и застрял здесь. Про него говорили, что он в чиновничьем мире держит себя высокомерно и беспокойно, как крупный шершень, попавший среди мух. Одно время он предпочитал даже неблагонадежное общество политических. Вот этот беспокойный прокурор потр бовал к себе секретаря и заставил его изложить все свои разоблачения письменно. Тот сгоряча согласился. Прокурор отправил донос в Иркутск, и судья впредь до разбирательства потерял место.

Чиновничья среда нашла, что это уже слишком. Когда к нам приезжали заседатели и мы иронически заговаривали с ними об этом, они (даже самый добродушный из них, Слепцов) делали холодные лица и старались замять разговор. Мы видели, что прокурор восстановил против себя всю чиновничью среду. Это не говорилось прямо — защищать конокрадство хотя бы и у полицеймейстера, на это нужно много мужества,— но это все-таки чувствовалось... Мы относились к этим административным бурям с юмористической точки зрения, нас это забавляло, но невольное наше сочувствие склонялось на сторону беспокойного прокурора, пока его беспокойный нрав не обратился против нас. Но об этом после.

XXII

МОЯ ПОЕЗДКА В ЯКУТСК.— ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ШИМАНСКИЙ

По примеру Папина я, в свою очередь, попросил разрешения съездить в Якутск. Особых дел у меня не было, но было одно поручение от приятеля: еще во время моего пребывания в Иркутске М. П. Сажин просил меня, если случится побывать в Якутске, передать его привет одной его давней заграничной знакомой, Смецкой. Она была в его женевском кружке антилаври-

стов, вернее, бакунистов (тогда Бакунин был еще жив). Когда-то она была рьяным политиком. Между прочим, она была очень горячего нрава и прославилась в эмиграции пощечиной, данной на улице одному из видных лавристов, писавших резкие статьи против Бакунина.

Теперь она вышла замуж за поляка Шиманского, у нее родился ребенок, и после этого она заметно успокоилась. Узнав, что я собираюсь в Якутск и что у меня есть к ней поручение, Шиманские пригласили меня остановиться у них на квартире. Я приехал к ним, передал привет Сажина, и они приняли меня очень радушно. Смецкая была женщина красивая и дворянски породистая. Ее большие глаза по временам еще вспыхивали прежним огнем.

Шиманский — впоследствии заметный польский писатель — до женитьбы сильно кутил и, между прочим, являлся собутыльником беспокойного прокурора, который в то время хандрил и заливал тоску вином. Говорили, что Смецкая вышла замуж за Шиманского, чтобы спасти от запоя этого поляка, в котором она угадала недюжинные способности. Это ей удалось. Со времени женитьбы он совершенно остепенился, бросил веселую компанию, жил чисто семейной жизнью. Мальчику Шиманских шел тогда уже второй год.

В то время Якутск был почти пуст от политических: их рассылали по улусам. Помню, у Шиманских бывал по вечерам Ширяев, брат погибшего в Шлиссельбурге, и еще какая-то пара, муж и жена, довольно состоятельные московские купцы, фамилию которых я теперь забыл.

В этой компании я прочитал тогда уже написанный мной «Сон Макара». На Шиманского мой рассказ произвел своеобразное впечатление. Я не сомневаюсь, что у Шиманского зародилась первая мысль о собственных произведениях в тот именно вечер. Он долго ходил по комнате, как бы что-то обдумывая под глубоким впечатлением. Он очень убеждал меня не бросать писание, но мне казалось, что он убеждает в чем-то также и себя. И действительно, когда Шиманский вернулся на родину, в польской литературе появилось новое яркое имя. В рассказах Шиманского описывались встречи с соотечественниками в отдаленном якутском крае. В них рисовалась тоска по родине, и Шиманский находил для нее искренние, глубокие ноты. Это была как раз самая благодарная для поляков тема, а Шиманский умел

находить для нее яркие краски. Некоторые из рассказов были переведены на русский язык. Особенное впечатление произвел переведенный в «Отечественных записках» рассказ «Сруль из Любартова», где та же тема (тоска по родине — Польше) мастерски преломляется в душе еврея. Вообще литературная деятельность Шиманского стала в польской литературе очень заметным явлением.

Умер Шиманский не очень давно, уже в 1919 году, но болен был уже давно. Ранее умерла его жена, и оба от одного и того же недуга: душевной болезни. Мне кажется, что я замечал в нем некоторые ненормальности еще в то время, когда в ней ничего не было заметно. Однажды вечером он стал рассказывать о том, как живший у них бродяга покушался на их жизнь. «Бродяги умеют открывать запертые двери особым способом»,— рассказывал нам Шиманский, и в голосе его слышались странные ноты. Однажды он проснулся глубокой ночью. Ему не спалось, разные мысли приходили ему в голову. Пришла мысль о бродяге-прислужнике. Кстати, Шиманский по некоторым признакам стал подозревать его. Он как будто собирался от них уходить куда-то, но ничего не говорил им о своем намерении. И вдруг... он слышит: кто-то осторожно подымается снизу (они жили в двухэтажном доме). Дверь снизу, положим, заперта. Но ему вспомнились разные приемы бродяг. Он встал с постели и подошел к двери, оставив свечку в соседней комнате.

Шиманский, длинный, худощавый, с выразительным лицом, сам подошел на цыпочках к двери и как будто замер.

— И вот... представьте... слышу... трогает. Я наложил руку на задвижку... Раз... другой... третий... Потом еще, еще и еще... Видит, что задвижка не поддается... И таким же образом... Тихонько...

Шиманский повернулся и, так же приподымая ноги, драматически показал, как бродяга спустился.

Все это он проделывал так драматично, своим рассказом так захватил всех присутствующих, что мне, признаюсь, показалось все это какой-то мрачной фантазией.

Мне показалось, кроме того, что Шиманская смотрела на мужа с каким-то особенным беспокойством.

Затем Шиманские развивали перед нами особенную систему воспитания, которую они намерены применять

к своему ребенку. Она русская, он поляк. Обе национальности имеют одинаковые права на его душу... У него будет пока два отечества... Поэтому они будут жить по возвращении на родину то в России, то в Польше. Таким образом, мальчик будет подвергаться то польским, то русским влияниям. Затем, когда он вырастет, он сам выберет себе родину. Не знаю, как они применяли эту систему, знаю только, что оба впали в душевную болезнь. Сначала она, потом он...

Через некоторое время я их увидел опять уже в России. Тогда у нее признаки душевной болезни были уже заметны. У нас был с нею разговор. Я тогда напечатал в «Русских ведомостях» фельетон об арзамасских «Божиих домах». Она сообщила мне, что теперь наступает ее очередь, то есть они будут жить в России. Она выбрала именно Арзамас. И теперь я выдвигаю чисто националистический мотив, чтобы ей помешать (в «Божиих домах» идет речь о горе близ Арзамаса, которая вся покрыта маленькими «божиими домами», в сущности, могилами казненных стрельцов). Я долго не мог понять, в чем дело. Но когда понял, то сердце у меня сжалось: она говорила так страстно, точно подозревала меня в заговоре с ее мужем. Вообще следы душевного расстройства проступали у нее совершенно ясно. Вспоминался мне тот вечер, когда Шиманский рассказывал о бродяге и когда мне показалось, что она смотрит на него с беспокойством. Я подумал: вот еще когда это началось. Если я тогда не ошибся, это беспокойство нарушило ее душевное равновесие. Затем они запутали неразрешимый национальный узел. Шиманский оказался крепче, чем жена, поэтому она дошла до конца раньше. Но после, тем же роковым путем, за нею последовал и он.

Польский критик Л. Козловский, посвятивший Шиманскому посмертную статью в «Русских ведомостях», говорит, между прочим:

«Адам Шиманский сразу пленил читателя и новыми картинами природы Сибири, в которой (заметим от себя) погибло столько поляков, и новыми образами польских изгнанников...

Как это могло случиться, что всем известный польский писатель приехал в Москву и в местной польской колонии никто не знал об этом? Я этого не знаю, но уверен, что это могло случиться с одним Шиманским, с этим загадочным и молчаливым гостем польской

литературы... В польскую литературу он вошел совершенно неожиданно, готовым талантом, сверкнувшим необычайно ярким светом, и так же неожиданно на долгие годы исчез из нее. Он написал всего несколько рассказов, оставив, однако, неизгладимый след в литературе. И затем смолк на целые десятилетия».

Меня очень интересовала фигура беспокойного прокурора, и Шиманские убедили меня сходить к нему. Они уверяли, что к политическим он относится с известной симпатией, что даже сочувствует, в общем, нашим идеям. Не помню, что помешало Шиманскому на этот раз пойти к нему, но я пошел один.

Прокурор жил в маленьком чистеньком домике, убранном опрятно, хотя без особых претензий. Я был тогда одет довольно странно. После Починков, после целого ряда тюрем, после Амги, в которой наш костюм обогатился некоторыми принадлежностями из кожи, могу сказать, что я был одет довольно фантастически. Все это дополнялось какой-то блузой, присланной мне старшей из сестер Ивановских, тоже довольно фантастического вида, с очень длинными широкими рукавами, вдобавок расшитыми по краям какими-то узорами. Передо мной же был молодой человек, лет двадцати восьми, одетый по-домашнему, но по всем правилам хорошего тона и даже причесанный с пробором надвое (à la Capoule),— тогда эта прическа была в моде.

Не помню теперь, о чем мы тогда говорили, помню только, что мне тогда показалось, что этот беспокойный прокурор гораздо умнее, чем оказалось по некоторым его поступкам впоследствии. Я говорю об этом потому, что через некоторое время он выкинул в отношении Натансона такую странную штуку, которая обратила его в посмешище всей якутской администрации.

Это было мое последнее свидание в Якутске. После этого я радушно попрощался с Шиманскими, и пара «обывательских» опять меня поволокла в направлении на восток и потом в Яммалахскую падь к Амге.

К сожалению, мне приходится закончить этот очерк печальной нотой, которая, быть может, имела роковое значение для обоих Шиманских, для него в особенности. Вскоре после революции в Якутске была найдена

переписка с министром внутренних дел, в которой Шиманский предлагал ему свои услуги по части доноса. Министр отказал предлагавшему, но все-таки предложение было сделано, и если она знала об этом, то неизвестно, как это могло отразиться на ней, бывшей горячей бакунистке.

XXIII

ВЫХОДКА БЕСПОКОЙНОГО ПРОКУРОРА

Теперь мне приходится рассказать маленький юмористический эпизод, в котором первая роль принадлежит именно этому беспокойному прокурору.

Была опять зима. Звуки разносились отчетливо и ясно. Казалось, в морозном воздухе звук совсем не умирает, а стоит, отдаваясь и уходя вдаль. В это время к нам вошел поляк Пекарский. Он часто сообщал нам новости, и всегда при этом умное лицо его принимало юмористический оттенок.

— Выйдите на свою юрту. Там едет, по-видимому, начальство, и по важному делу: не остановилось перед таким морозом.

Мы вышли на юрту. На других юртах виднелись фигуры заинтересованных татар. Кое-где они уже на всякий случай запрягали лошадей, может быть, понадобится отвозить что-нибудь в лес... Неудобство было только в том, что ночь была светла, как день: на дороге к лесу все будет видно.

Вдруг звон остановился версты за полторы от слободы. Потом колокольчик опять зазвонил, но уже, очевидно, подвязанный: звуки раздавались какие-то укороченные. Слобода еще более насторожилась. Очевидно, распоряжался человек неопытный. Не было лучшего средства, чтобы возбудить любопытство всей слободы.

— Это что такое,— спросил Пекарский,— не к вам ли это, господа политические? Чего доброго, не иначе, как к вам! Или уж к татарам? Ахметка, Ахметка, слышал ты?

— Слыхали, все мы слыхали...

— Что узнаете, приходите сказать и нам,— сказал Папин.

— Ладно, скажем...

С разных мест раздался топот лошадей, и молодые татарчата помчались в направлении въезда начальства в слободу. С этих пор мы знали о каждом шаге начальства.

Мы узнали прежде всего, что к мирской избе подъехало действительно начальство. Оно состояло из заседателя Слепцова и прокурора. Следующий посланец сообщил, что, кроме начальства, есть еще один... замаскированный, которого в мирскую избу не впустили. Через некоторое время он, однако, сильно озяб, стал проситься в тепло, его допустили, и тогда оказалось, что это Киргенняхин-сын. «Киргеннях» — значит, по-якутски, многодетный. Я уже говорил (еще рассказывая о Вятской губернии), что правительство стало разрешать административным порядком также и еврейский вопрос. Лес рубят, щепки летят. Одна из таких щепок был и злополучный Киргеннях. У него был старший сын, у которого явилась честолюбивая мысль попасть в политические, а может быть, и приобщить к этому привилегированному сословию кое-кого из семьи. Он жил недалеко от нас.

Натансон был человек замечательно умный, но у него была маленькая слабость. Даже во Франции, на почве совершенно свободной, я увидел у него те же приемы: он то и дело отводил в сторону того или другого собеседника и начинал с ним шептаться. Конспиративные приемы уже вошли у него в плоть и кровь и порой способны были вызвать подозрение там, где для него не было, по-видимому, почвы. Мы знали за ним ту черту и порой над нею посмеивались.

Киргенняхину-сыну это подало некоторые надежды. Он подумал, что через Натансона он сможет попасть в политические, а с тем вместе приобретет присвоенные этому званию девять рублей в месяц... Он начал действовать. Сначала он заявил о своем сочувствии и стал внимательно слушать его наставления. У Натансона было правило: не отталкивать людей, которые могут впоследствии пригодиться. Он не оттолкнул и Киргенняхина-сына, стал с ним толковать и принял его как «сочувствующего молодого человека». Молодого человека стали видеть с Натансоном в уединенных беседах. Но тому этот путь показался слишком медленным. Надо заметить, что многие из уголовных ссыльных мечтали о том, чтобы перевестись в политические, а один, фамилию которого я теперь забыл, серьезно

приступил ко мне с просьбой совета, как ему сделаться политическим. И иным это удавалось. Всего вернее был донос: стоило донести, припутав тут же себя,— и дело сделано. Этот именно путь избрал и Киргенняхин-сын. Он донес на Натансона, будто он у себя в лесу хранит склад динамита с целью взорвать губернаторский дом и присутственные места. Донос был сляпан так, что никто из обычных администраторов ему не поверил. Прежде всего задавались вопросом, какая польза местным политическим взрывать присутственные места в отдаленном Якутске. Нашелся, однако, человек, который поверил всей этой фантасмагории. И этот человек был... беспокойный прокурор, с которым я познакомился в Якутске.

Чем это объяснить, не знаю, но прокурор взял Киргенняхина-сына под свое покровительство, старался внушить другим, что в его измышлениях много вероятного, и... привез его светлым морозным вечером в Амгу...

С этих пор мы получали подробные сведения о каждом шаге начальства и Киргенняхина-сына. По некоторым чертам было видно, что заседатель (Слепцов) явно не верит измышлениям Киргенняхина-сына, но распоряжался не он, а прокурор. Поэтому через некоторое время колокольцы опять зазвенели и долго звенели в направлении леса, в котором жили Натансоны. Наконец последние отголоски колокольчиков замерли в морозном воздухе. Мы легли спать, отрядив несколько татар-охотников.

Наутро мы узнали продолжение фантастической истории. Начальство приехало к лесной избушке, у Натансонов произвели обыск. К сожалению, у них нашли печати (разумеется, фальшивые) и всю фабрику для приготовления фальшивых паспортов на случай побега. При этом оба Натансоны старались сжечь все это в камельке, но печати были металлические, и их захватили. Удалось сжечь только некоторые бумаги. Киргенняхин-сын торжествовал. Но затем ему и прокурору предстоял конфуз.

Невдалеке от избушки был в лесу холм. На этом холме стоял стог какого-то якута. Киргенняхин-сын донес, что в этом стогу скрыт целый склад динамита. Другие чиновники отнеслись к этому с сомнением. Прокурор поверил. Наши приятели видели, как на холм вышла целая комиссия, как на холм лазили казаки.

— Ну что? — спрашивал прокурор.

— Ничего, ваше высокоблагородие,— отвечал голос из-под стога.

— Я вам говорил,— заметил на это Слепцов.

На рассвете колокольцы опять послышались в слободе. Натансонов провезли в город.

Васильев рассказывал, что Киргенняхин-сын был сконфужен, но еще больше был сконфужен прокурор. Он предвидел, что теперь он станет посмешищем администрации, и без того к нему не расположенной.

Как бы то ни было, Натансона и его жену увезли в Якутск и посадили в тюрьму. Ее отпустили, а его держали несколько месяцев.

Тут Натансону приходилось пустить в ход всю свою ловкость. А он был очень ловок, и не неумелому прокурору было бороться с ним. Натансон использовал все шансы.

Одно время эта история гремела по Якутску, но я уехал ранее, чем она кончилась, и заключение ее было уже не при мне. Примешался еще какой-то бродяга, которого Натансон привлек к конспирации, человек довольно легкомысленный, запутались еще судья и полицеймейстер, которые служили в канцеляриях по вольному найму и понятно, на чьей были стороне. Они охотно служили Натансону верой и правдой. В конце концов пропали даже вещественные доказательства, и история кончилась тем, что Натансона выпустили (известно, какое значение имели в старых судах вещественные доказательства). Победил политический ссыльный. Тогда нам представлялось, что прокурор остался, как говорится, в дураках. Впоследствии он вышел из чиновников и занялся адвокатурой. Если верить последним сведениям, он остался в хороших отношениях с ссыльными.

Впоследствии Натансон попал в Сибирь вторично, уже в генерал-губернаторство графа Игнатьева, бывшего киевским генерал-губернатором. При этом заметно было как бы два периода в администрации этого генерал-губернатора: в Иркутске он был один, гораздо либеральнее, в Киеве — другой. Это приписывали влиянию Натансона.

XXIV
ТРАГЕДИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ НИКОЛАЕВНЫ ЮЖАКОВОЙ

Я уже говорил о том, как Елизавета Николаевна Южакова бежала из Балаганска вместе с рабочим Бачиным и вернулась с пути беременной. Потом она вышла за него официально замуж, они были судимы за побег, отсидели в Иркутске присужденный им срок и потом были высланы в Якутскую область. Попали они в Намский улус уже, кажется, в 1882 году. Место было сравнительно бойкое. Недалеко от них жил каракозовец Ермолов и были расположены скопческие села: Большая и Малая Марха, Павловское и другие деревни поменьше. Это было для Бачина — кузнеца и слесаря — очень удобно: была обеспечена работа.

Я характеризовал уже раньше Бачина как человека желчного и грубого. Он, однако, не отказывался от своих родительских обязанностей и старался содержать работой жену и дочь, хотя настоящей любви даже к маленькой дочке у него, по-видимому, не было. Носились слухи, что жизнь Южаковой с ним очень тяжела, но драма этой жизни была скрыта в стенах юрты, и нам было известно только по темным слухам приблизительно то, что я знал еще в Иркутске. Бачин человек тяжелый, и даже дружбы у Южаковой с мужем нет.

И вдруг всех нас поразил слух, что Бачин задушил Южакову и отравился сам. Сначала темный слух пронесся от улуса к улусу. Потом он стал вполне достоверным. Я услыхал его от Говорюхина, почти очевидца самой трагедии.

«Моя жизнь настолько была разбита еще до ареста,— писала бедная Южакова в одном из своих писем к матери,— что об устройстве своей судьбы я никогда не думаю. Полюбить кого-нибудь и выйти замуж для счастливой жизни я никогда и не могла, потому что не могла выйти за того, кого я люблю уже много лет и которого забуду лишь тогда, когда буду знать, что от меня его отделяет навеки неволя... Если что еще может отогреть меня, так это сознание, что я служу опорой и утешением одного из несчастных, которым нет надежды на лучший исход». Выбор ее остановился на одессите Минакове. Это, по ее мнению, человек, наиболее заслуживающий сострадания по безнадежности своего положения.

Эта идея — отдать себя в жертву для облегчения участи одного из каторжан — давно овладела ее воображением. Сначала она сообщает одной из подруг, что она получила предложение в таком роде от офицера Кривошеина, осужденного на четыре года каторги. «Зная, что если ему разрешат жениться, то положение его будет облегчено, я не решилась ему отказать, хотя мы очень неподходящая пара. Но я надеюсь деликатным образом отговорить его, тем более что он может найти себе невесту. Но тут есть люди, идущие на каторгу на 15—20 лет. Одному из них, именно Минакову, я бы охотно помогла в его ужасном положении, выйдя за него замуж». В следующем письме она сообщает, что вопрос о Кривошеине устранился, остается Минаков. Родители признали предполагаемый брак и стали хлопотать перед Лорис-Меликовым. Нужно, однако, сказать, что и этот выбор был чрезвычайно неудачным. Минаков был человек в высшей степени легкомысленный, даже в тех случаях, когда вопрос касался жизни. Жестокий приговор поставил его как бы во главе всей одесской группы, но этот признанный вожак был человек легкомысленный. Он пользовался всяким случаем для побега, как бы ни мало шансов он представлял, и его проект женитьбы на Южаковой нимало не изменил его поведения в этом отношении.

Говорюхин рассказывал мне и первое дело, за которое они с Минаковым были сосланы. Оно было отмечено печатью такого же легкомыслия. В кружке оказался шпион, некто Гоштофт. Это обнаружилось, и Минаков с Говорюхиным решили его убить. В один вечер, когда они втроем шли по какому-то пустырю, они остановили Гоштофта, сказали ему его вину и объявили приговор. Оказалось, однако, что у них нет подходящего кинжала. У Минакова был кинжал, но совершенно неподходящий, и рассказ об этом Говорюхина производил впечатление настоящего комизма. Они стали тыкать шпиона, но даже не могли серьезно ранить его. Тот стал проситься. Он уверял, что теперь он сознает всю силу революционной партии, которая «достанет его и на краю света», и обещал никогда более не предавать революционеров. Минаков и Говорюхин сдались на эти просьбы и решили на этот раз помиловать шпиона. Они взяли с него торжественное обещание уехать из Одессы и... привели его на квартиру Говорюхина. Минаков ушел по делам (нужно было отправить Гоштофта из

Одессы), а Говорюхин со шпионом улеглись на одной кровати. Говорюхин крепко заснул, а шпион тотчас же встал и отправился в полицию. Говорюхин проснулся, окруженный полицейскими...

Таково было «дело Минакова». Разумеется, если бы у нас политические дела судили присяжные, то оба предполагаемые убийцы отделались бы легким наказанием — до такой степени их дело помечено печатью благодушия и детского легкомыслия. Но у нас действовали тогда экстренные суды. Минаков попал в каторгу и стал до известной степени «центром». С этих пор он отметил свой статейный список рядом таких же детских побегов, закончившихся, как мы уже говорили, провалом серьезно задуманного побега Мышкина и Хрущова. После этого Минаков был сослан в Шлиссельбург, где закончил жизнь на виселице. В этой истории Минакова, быть может, более чем в какой другой, отразилась слепая свирепость тогдашнего правительства, совершенно не умевшего разбираться в мотивах, руководивших его противниками.

И с таким человеком решила Южакова связать свою судьбу. Разумеется, отнестись к этой жертве серьезно он тоже не мог. И оба они дошли до конца: он погиб на виселице, она попала в жены к Бачину и коротала нерадостную жизнь в одной с ним юрте.

Случаю было угодно, чтобы Говорюхин навестил Бачиных. То, что он рассказывал мне об этом последнем вечере ее жизни, рисует Бачина почти как сумасшедшего. По-видимому, главным предметом его сумасшествия было непомерное самолюбие. В его выходках по отношению к жене и гостю было заметно крайнее раздражение. Он, по-видимому, ревновал ее к воспоминаниям о том времени, когда она была близка с людьми интеллигентными. Его раздражала ее близость с ними, и он постоянно разражался грубостями. И то, что Южакова встретила Говорюхина как старого приятеля «по кружку» (они были на «ты»), Бачина, по-видимому, оскорбляло. Он неестественно и нервно смеялся, вышучивая их воспоминания. При этом играла значительную роль его ненависть к интеллигенции. Потом он вышел, оставив Южакову и Говорюхина одних. Говорюхина товарищи называли человеком роковым. С ним случались такие роковые случайности, которые дорого обходились другим. На этот раз, едва Бачин вышел, он затеял разговор с Южаковой о странностях ее мужа и вы-

сказал свое удивление, как она может жить с таким человеком. Южакова приняла вызов старого приятеля и призналась ему, что она уже потеряла терпение и подала в Якутск просьбу о переводе в другой улус. Она надеется, что на днях получит разрешение перевода и с Бачиным расстанется. Оказалось, что Бачин притаился под стенкой и подслушал весь разговор, происходивший в юрте. После этого он вернулся, стал очень груб с Говорюхиным и наконец прямо прогнал его, не позволив переночевать, как раньше предполагалось. Говорюхин ночью отправился к Ермолову... Что происходило ночью в этой юрте — неизвестно, но наутро Южакову нашли на полу мертвой. Бачин пошел в улусное правление заявить о своем поступке, оставив маленькую дочку, испуганную и плачущую, у холодной груди матери.

Вскоре я получил от старого знакомого Долинина, с которым вместе работал еще в «Новостях», письмо. Теперь он был сослан в Якутскую область, отсюда бежал, был пойман и сидел теперь в тюрьме. «Третьего дня,— писал он,— ко мне в камеру вдруг ввели Бачина. Едва войдя, он остановился посреди камеры и сказал: «Я прошлую ночь задушил Южакову своими руками. После этого я растворил в воде три коробки спичек и выпил раствор. И, как видите, до сих пор жив». После этого начальство спохватилось. За Бачиным явились тюремные прислужники, и его увели в другую камеру». На Долинина слова Бачина произвели впечатление аффектации и фальши. «Я думаю, что негодяй врет»,— заключил свое письмо Долинин.

Такое же письмо он под свежим впечатлением написал другому товарищу, А. А. Дробыш-Дробышевскому. Тот ответил на это превосходным анализом шекспировского Отелло и доказывал, что, наверное, теперь Бачин уже мертв. Это оказалось справедливо: вследствие сильного возбуждения яд подействовал не сразу. Все думали, что Бачин просто соврал, тем более что в его рассказе было много театральности и аффектации. Не поверили и врачи. А между тем Бачин говорил правду. Не прошло и суток, яд начал действовать с такою силою, что никакие противоядия не помогли, и Бачин умер.

Так закончилась потрясающая трагедия Южаковой. Впоследствии я слышал, что дочь Бачиных воспитывалась у Семевских и вышла замуж.

XXV
НЕЧАЕВ И НЕЧАЕВЦЫ

Уже на третий год моего пребывания в Якутской области к нам в соседний, кажется Женкунский, наслег, тот самый, где жили Натансоны, привезли первого так называемого нечаевца. Мы тотчас же поехали к новому товарищу.

Правительство задумало составить для окарауливания Петропавловской крепости особую команду из жителей рыбацких селений из самых северных губерний. Они должны были поступать прямо в крепость и, проведя тут всю службу, возвращаться на место. Таким образом, они были совершенно изолированы и возвращались бы домой не тронутыми пропагандой.

Но именно эти расчеты чуть не погубили все задуманное правительством дело. В это время в крепости сидел Нечаев. Это был человек изумительной энергии. Заключенным запрещалось разговаривать с караульными, и даже они не должны были отвечать на вопросы. Но Нечаев своей изумительной настойчивостью сумел обойти эти препятствия. Присланный к нам новый товарищ рассказывал, как Нечаев шаг за шагом сумел победить их тупое упорство. Сначала он просто заговаривал о родине, о родной деревне. Караульные не отвечали. Он повторял вопрос. Наконец какой-нибудь один не выдерживал и отвечал на какой-нибудь один безразличный вопрос. Нечаев шел дальше и расширял сферу своих вопросов. Он спрашивал, знают ли они, кого караулят. Опять молчание. Тогда Нечаев начинал говорить о притеснениях правительства и о людях, которые борются с этими притеснениями и страдают за это. Так мало-помалу, капля за каплей, Нечаев овладевал сначала вниманием, а потом и участием караульного. А так как караульные сменялись и у камеры Нечаева стояли разные люди, то ему был сравнительный простор.

Сначала понемногу, потом все больше и больше Нечаев овладевал вниманием и участием своего караула. Надо прибавить, что караульные, взятые из дальних глухих уездов, где даже грамота была редкостью (на это жандармы и рассчитывали), не могли противопоставить Нечаеву даже самых примитивных идей о служебном долге и были перед ним совершенно беспомощны. Мало-помалу Нечаев овладел почти всем караулом. Он

отличался, кроме замечательной энергии и преданности своему делу, изрядной беззастенчивостью. Через некоторое время он дал понять караульным, что теперь они у него в руках. Известно, как действовал этот человек.

Это прежде всего был циник. Он обманывал самых ближайших союзников и смеялся над ними. Он надувал видных революционных деятелей, как Бакунин и Огарев. Разумеется, это вскоре открылось, и политика Нечаева рухнула. Он стал известен как революционный обманщик, не стеснявшийся даже с ближайшими союзниками, и когда швейцарское правительство решило его выдать русскому правительству, то эмиграция хотя и протестовала, но, по-видимому, недостаточно энергично. Впрочем, были по этому поводу протесты, но Нечаев никому не внушал симпатии, и протесты не помогли.

Русское правительство действовало чрезвычайно беззастенчиво и бесцеремонно. Говорили о подкупе.

Как бы то ни было, он овладел всем караулом и распоряжался им без стеснения. Он завязал сношения с конспиративными квартирами, и у него уже был готов план побега. Но в это время готовилось 1 марта. Нечаева об этом известили, и он настаивал, чтобы его личное дело было отложено. Переговоры велись через Германа Лопатина. Какая-то неосторожность со стороны последнего — и дело провалилось. Последовали аресты; в том числе был арестован весь караул. За исключением нескольких человек, весь он был охвачен сетью Нечаева.

Затем, когда дело, так хитро задуманное, провалилось, даже этот железный человек, по-видимому, впал в отчаяние. Караульные по отбытии наказания последовали в Якутскую область, и один из них был поселен в двадцати верстах от нас.

Фамилию этого нечаевца я не помню. Помню только, что я у него был. У нас он не был ни разу. Объясняли это тем обстоятельством, что он сразу попал в такую же историю, как и Ананий Семенович Орлов. В юрте, в которой он жил, была хорошенькая якутка, и она совершенно овладела нашим нечаевцем. Надо заметить, что молодые якутки обладают каким-то очарованием. Старух сами якуты считают «абагы́», то есть злыми духами. Наш нечаевец был человек меланхолический и вялый, истый северянин, и я думал, что с ним Нечаеву справиться было легче, чем с другими. Он отзывался о Нечаеве благожелательно, хотя по временам

в его отзывах, когда он говорил о лукавстве Нечаева, звучала горечь. Да оно и понятно. Они чувствовали себя одураченными.

Были тогда в России так называемые «якобинцы». Я уже говорил об одном из них, именно Зайчневском, жившем в Орле. У него была идея: он намеревался постепенно, присоединяя к своему кружку все больше и больше членов, охватить Россию сетью конспираций, которые не знали бы друг друга, и вдруг, в один прекрасный день, по мановению из центра, Россия оказывается вся революционирована, с готовым правительством и с готовым порядком. Это было нечто вроде нечаянной метаморфозы. Россия нечаянно для себя оказалась бы в «новом порядке».

XXVI

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Наконец стали объявлять сроки. Первому объявили Хаботину, и этот молодой человек, о котором мне приходилось говорить так мало лестного, уехал, ни в ком не возбудив сожаления и участия. Можно сказать, что он совсем не был нашим товарищем. Он с нами пил, ел, но не работал, и вернулся в свою Ярославскую губернию, не оставив никакого следа в нашей памяти.

Затем объявили срок и Папину. Его отсутствие мы почувствовали очень живо. Здесь уже пришлось говорить о некотором разделе имущества. Надо заметить, что нам очень повезло: все три года урожай у нас был средний, а это в тех местах большая редкость. У нас хлеб ни разу не вымерзал, а после нашего отъезда неурожай был целых пять лет, и население сильно бедствовало. Мы поделились по-товарищески: речь шла только об остающихся, уезжающий считался счастливцем, и ему товарищи выделяли только на дорожные расходы. Папин вернулся в Западную Сибирь, откуда был родом.

За Папиным последовал Вайнштейн, и мы проводили его дружески. Он поступил впоследствии в Казанский университет, окончил там курс медицины, и некоторое время мы виделись с ним уже в России. В голодный год в Нижегородской губернии мы часто с ним виделись, пока не потеряли друг друга из виду. Знаю, что он был медиком в Петербурге и обзавелся семьей.

Наконец подошла и моя очередь. Меня очень занимал вопрос, потребуют ли у меня присяги. Я решил ее не давать. Надо заметить, что за нами было небольшое дело уже в Якутской области. Однажды мы решили съехаться у товарищей Чернявских, и это стало известно начальству. Дело это тянулось и кончилось только после моего отъезда. Меня оно волновало исключительно как задержка. Впоследствии я был приговорен к чему-то — кажется, две недели тюремной высидки; об этом мне писали товарищи, но дело так и заглохло без последствий.

Наконец объявили срок и мне. После моей ссылки в Сибирь мне предстояло три года. Такой же срок был объявлен моему брату, который оставался все в Вятской губернии, и зятю Лошкареву, который жил с семьей в Минусинске. Таким образом, мне ничего не прибавили за самовольную отлучку.

О сроке мне, государственному преступнику Короленко, говорили уже заседатель Слепцов, другой заседатель Антонович и исправник Бубякин, но сменивший его новый исправник Пиневич упорно не сообщал об этом в мирскую избу.

Этот исправник вообще был человек странный. Прежде всего было известно, что он не берет взяток, зато было известно и другое — он отличался феноменальной ленью, и дела у него совсем не шли. Письма наши залеживались по неделям и месяцам, что вызывало у ссыльных сильное неудовольствие, и мы собирались на него жаловаться. Я имел причину особенно нервничать по этому поводу. Было известно, что и другим ссыльным, которым приближался срок, полицейским управлением ничего об этом не сообщалось по улусам. В мою поездку в Якутск я узнал, что в полицейском управлении уже несколько недель лежит присланная для меня посылка от младшей сестры из Петербурга. Когда я получил ее, то оказалось, что там была, между прочим, коробка конфект. Она оказалась пустой, и в ней как бы в насмешку была каким-то служащим в полицейском управлении вложена записка: «Кушайте на здоровье». Записку эту я потерял и не мог ее представить по требованию полицейского управления на мою жалобу. Вообще небрежность полицейского управления, руководимого Пиневичем, выводила нас всех из терпения. Предвидя, что и со мною может случиться

такое же замедление, я подал амгинскому старосте следующее заявление:

«Согласно объявленному уже мне решению комиссии по пересмотру дел административно-ссыльных, срок моей ссылки сего 9-го числа сентября окончился, и с этого числа я не состою более под надзором крестьянского общества. Как известно из положения об охране, срок ссылки может быть продолжен лишь по особому представлению г. министра внутренних дел, а так как ничего подобного мне объявлено не было, то я считаю себя вправе уехать из Амги, что представляется мне тем более важным, что для дальнейшего пути я должен воспользоваться последними благоприятными днями перед распутицей. А так как до сих пор неизвестно, по какой причине из города за мной до сих пор никого не присылают, то я вижу себя вынужденным уехать отсюда на нанятых лошадях, если амгинский староста не найдет нужным препроводить меня, ввиду неожиданно возникшего недоразумения, в сопровождении старшины на обывательских лошадях. Задерживать же меня, вопреки официально объявленному мне распоряжению Верховной комиссии, полагаю, не во власти крестьянского старосты и даже полицейского управления.

Дворянин *Владимир Короленко.*

9 сентября 1884 года».

Поданное мною добродушному нашему амгинскому тойону заявление это привело его в чрезвычайное затруднение. На его заявление, что он не вправе распорядиться без бумаги от исправника, я решительно сказал ему, что 10-го числа, если он не распорядится иначе, я сажусь на свою лошадь и еду в город. Если он станет задерживать, я окажу сопротивление. Староста сочинил бумагу, вернее — сочинил ее Николай Васильевич Васильев, который изъяснил, что:

«Государственный преступник Короленко, кроме сего заявления, заявил словесно, что если он, староста, не примет никаких мер к отправке его со старшиной, то он, государственный преступник Короленко, несмотря на его запрещение, отправится в город Якутск верхом и один. Я просил его,— продолжал тойон,— остановиться и выждать или присылки нарочного, или какого распоряжения. Короленко на это согласия не изъявил, а решительно заявил, что 10 сентября отправится

в Якутск и более не живет в Амге ни одного часа. За отсутствием господина заседателя и ввиду столь решительного заявления государственного преступника Короленко, я нашел себя вынужденным отправить его со старшиной амгинского общества Егором Артемьевым».

Эта моя решительность подействовала, и 10 сентября у Яммалахской пади, под большим деревом, которое все было увешано какими-то амулетами (якуты, отправляясь в дальнюю дорогу, вешают на деревья мелкие тряпки, волосы, выдернутые из конских хвостов, и тому подобные умилостивительные жертвы), все знакомые из Амги и ближайших улусов устроили мне проводы. Тут, помню, было все семейство Афанасьевых, Н. С. Тютчев и еще кое-кто из амгинских (Орлов уехал еще ранее). Помню легкую смесь веселья и грусти, которая царила в нашем настроении при этих проводах под развесистым деревом. Наконец они кончились, товарищи и знакомые усадили меня со старшиной Артемьевым в повозку, и я тронулся в обратный путь.

Под Якутском больше чем на сутки задержала нас сильная буря. Лена расходилась, как море. На мой вопрос, нельзя ли мне переехать, якут-перевозчик ответил (до сих пор помню это якутское выражение):

— Бу тылга почта да кельябат (в такой ветер и почта не ходит).— Он отвернулся и опять заснул под шум ветра и плеск воды.

Делать было нечего: пришлось почти полторы сутки провести над бушующей рекой в виду Якутска.

Это было очень досадно. День был яркий. Город был виден как на ладони, а вместе с тем недоступен. Река бушевала. Волны подымались и падали с шумным плеском. Я должен был согласиться, что переправа была немыслима, и, кажется, именно в это время в нашей ссыльной колонии случилось печальное происшествие. Я говорил уже, что среди нас был смелый охотник, Доллер. Он задумал переправиться через Лену, несмотря на бурю. Несмотря на уговоры товарищей и посторонних, он все-таки отправился один, на середине реки лодка опрокинулась, и Доллер утонул. Не знаю, в этот раз это было или в другой, но только Доллер покончил жизнь именно таким образом.

На следующий день, по еще не стихшей реке, мы наконец переправились, причем придирок никаких к старшине не было. Артемьев сдал меня в полицейское управление, и мы с ним радушно попрощались, причем

я просил его передать мой привет всей Амге. В полицейском управлении сказали мне, что приезжие из улусов останавливаются обыкновенно у Зубрилова, и дали мне его адрес.

Я отправился туда. Зубрилов принял меня очень радушно. У нас с ним были уже некоторые отношения. Однажды мы, вся амгинская колония, получили от него и его сожителя профессора Богдановича странное письмо. Он сообщал нам, что, когда он явился со своим сожителем, львовским профессором Богдановичем, к якутскому губернатору, последний поставил им в пример нашу якутскую колонию: дескать, трудятся и подают пример местным жителям. Автор письма считал это с нашей стороны крайне предосудительным. Мы ответили, что мы не сообразуемся со взглядами начальства на наше поведение и поступаем, как считаем нужным. На этом переписка закончилась, и более об ней не было речи. Впоследствии мы убедились, что инициатива этого заявления принадлежала Зубрилову, а Богданович присоединился по мягкости и слабости характера. Теперь Богданович, по требованию австрийского правительства, был, в ожидании дальнейшей отправки, отправлен в Иркутск и находился в столице Сибири, где мы должны были встретиться и, может быть, ехать дальше вместе.

Зубрилов был брат моего товарища по Петровской академии, очень хорошего человека, и мы встретились как старые знакомые. В его квартире я нашел уже Ромася, из Балагурского улуса, прибывшего раньше, и Кобылянского, третьего брата из моих земляков Кобылянских, о которых я говорил уже выше. Зубрилов жил в маленьком мезонине, в деревянном доме, у какой-то вдовы купца, торговавшей, кажется, с тунгусами. Я ее видел в Амге, у Афанасьевой, когда она с караваном на оленях отправлялась в свою торговую экспедицию. Кроме нас троих, в квартире Зубрилова мы увидели еще молодую якуточку. Зубрилов, конфузясь, объяснил нам, что якуточку к нему прислали товарищи из улуса для «охраны». Дело в том, что среди ссыльных начала распространяться особая форма брака. Ссыльный покупал девушку, платя за нее калым, и считался ее мужем. Многим эта форма брака показалась безнравственной. Невеста и ее родители считали ее пристроенной прочно, тогда как для другой стороны брак был легко расторжим. Вот ссыльные из какого-то улуса

решили брак расторгнуть, а для охраны невинности невесты послать ее к Зубрилову. Эта особая форма доверия (причем молодая девушка вынуждена была жить в одной квартире с молодым человеком) внушила нам несколько игривостей; Зубрилов отнесся к ним очень строго. Он сказал нам, что у него на Дону есть невеста Надежда Ивановна и что он получил письмо, что она вскоре едет к нему.

Зубрилов был человек вообще не без странностей. Когда его арестовали, он вел себя довольно малодушно и дал странные показания. После этого он покушался на самоубийство, и товарищи, обсудив все дело, простили ему его малодушие и решили, что об этом не будет больше речи.

Вся квартира была полна именем Надежды Ивановны. Когда Кобылянский, вообще невоздержанный на язык и позволявший себе довольно грубые выражения, порою оглашал комнаты какой-нибудь сальностью, Зубрилов каждый раз краснел и смотрел на Кобылянского с таким красноречивым укором, точно Надежда Ивановна была уже здесь. В этом было много трогательного. Было известно, кроме того, что Зубрилов после своей попытки к самоубийству пристратился к морфию. К своей задаче охраны девственности якутской девушки он относился чрезвычайно строго. На его просьбы, обращенные к нам, мы с Ромасем ответили, что в этом отношении понимаем его положение.

— Представьте себе,— говорил он,— приедет Надежда Ивановна и услышит какую-нибудь сплетню...

Насмешливый Ромась уверял его, что мы не можем поручиться только за Кобылянского и что лучше всего надо на ночь привязывать Кобылянского за ногу к столу (надо заметить, что относительно Кобылянского это была тоже напраслина). И вот, однажды ночью, в нашей квартире послышался гром. Кобылянский поднялся с самыми невинными намерениями, не подозревая, что он привязан за ногу, вслед за чем на столе загремела посуда. Зубрилов выскочил из своей комнаты с настоящим ужасом в лице. Узнав, в чем дело, Кобылянский очень рассердился.

Мне приходится отметить еще одно маленькое приключение, которое, впрочем, для нас в то время не казалось маленьким.

Однажды ранним утром мы все проснулись от сильного холода. Кобылянский сидел на своей постели,

на полу, и, глядя перед собой бессмысленным взглядом, повторял одну фразу:

— Что такое, что такое...

Все двери были раскрыты, в том числе и наружная, выходившая на лестницу, прилаженную довольно нелепо к наружной двери, которая вела в наш мезонин. Все наши вещи, в том числе и микроскоп Зубрилова, оказались снесенными к порогу этой наружной двери. Под головой Кобылянского — нам это было известно — находились кожаные брюки, в кармане которых было семьдесят пять рублей, которые он скопил тяжелым слесарным трудом. Брюк теперь не оказалось. Кобылянский в ужасе вскочил и бросился на лестницу. Через несколько секунд оттуда послышался его веселый голос: «Брюки тут». Ромась усмехнулся иронически. «Да в брюках-то все ли?» — сказал он. И вслед за тем на пороге появился Кобылянский. Он держал в руках распластанные брюки и говорил самым жалким образом:

— Бедный я, бедный, несчастный человек! Теперь у меня нет на дорогу. И зачем я только приехал в эту квартиру? Жил бы у якута, деньги были бы целы.

Мы с Ромасем уверили его, что считаем это несчастье общим и дорожные средства тоже считаем общими. Вдобавок оказалось, что в ту же ночь ограбили того самого якута, у которого он жил до переезда к Зубрилову. Когда мы в этот день вышли на улицу и проходили мимо Лены, с барок, которые всякий год остаются после якутской ярмарки, неслись веселые песни бродяг, которые до зимы ютятся в этих барках.

— Мои деньги прокучивают, подлецы,— печально говорил Кобылянский.

Я находил, что в полицейское управление обращаться нечего, но Кобылянский все-таки обратился. Результатом этого было появление к нам одного полицейского чина, Бобохова, который стал нас убеждать, чтобы мы заявили подозрение на домохозяйку. Но эту хитрость мы поняли и решительно отказались. Мы поняли, что полиции нужно затеять дело, которое если кому-нибудь будет выгодно, то только самой полиции. А с полицией, кстати, у меня начинались нелады.

Я уже говорил ранее о феноменальной лености исправника Пиневича. Товарищи просили меня в разговоре с губернатором предъявить жалобу. Я это и сделал. При этом присутствовал и сам исправник, причем он был чрезвычайно неприятно поражен таким оборотом.

Я человек вообще мягкий, мы с ним разговаривали, вообще говоря, любезно, но я считал своим долгом сказать губернатору о всех неудовольствиях, которые имели мои товарищи против полицейского управления. Благообразное лицо Пиневича сразу стало как будто злобным. Все это при таких свойствах губернатора, о которых я уже говорил выше, ни мне, ни моим товарищам не принесло никакой пользы. Наоборот, мне, Ромасю и Кобылянскому это очень повредило. Мы уже имели бумагу, в которой значилось, что мы должны следовать не как арестованные, но этапным порядком.

Этапный порядок на Лене не похож на все другие места. По Лене даже простые бродяги, пересылаемые на место жительства, обыкновенно следуют на лошадях. Да это и понятно: жители должны сопровождать такого бродягу тоже пешком. Между тем на ленских станках недостатка в лошадях нет, и поэтому жители сами предпочитают поскорее доставить бродягу со станка на станок, лишь бы избавиться от неприятных жильцов, которых надо кормить. Зато по временам закутившие приказчики из Иркутска выхлопатывают себе в полицейском управлении бумаги, согласно которым они тоже препровождаются этапным порядком. Жители хорошо знают эту манеру полицейского управления, не считающего нужным отказывать в ничтожной услуге «хорошему человеку». Хитрый хохол снабдил нас именно такой бумагой, отняв у нас прежнюю.

И это сопровождалось для нас значительным неудобством в дальнейшем. Население станков принимало нас за таких прокутившихся приказчиков, злоупотребляющих знакомством с полицией.

В один прекрасный день к квартире Зубрилова подкатила лихая тройка с колокольчиком. Первую станцию мы ехали со звоном и шумом и думали (нас так уверили в полицейском управлении), что так же мы поедем и дальше. Но на следующей станции нам запрягли уже не тройку с колокольчиком, а пару волов. Мы было думали вернуться в Якутск и потребовать другой бумаги. Мы поняли план мести исправника. В бумаге было сказано только глухо, что такие-то отправляются этапным порядком и должны быть сданы в Олекминское полицейское управление. Но нам сказали на этом станке, что на других станциях волы едва ли найдутся и нас повезут на лошадях, и мы решили от-

правиться с этой станции на волах. День вдобавок был светлый, хотя и свежий. Мы очень весело, смеясь над местью Пиневича, отправились пешком, сопровождая телегу с нашими вещами. Я написал очень язвительное письмо исправнику и губернатору, в котором выразил сожаление, что легкое и нехитрое дело, как отправка трех человек установившимся уже порядком, доставляет его превосходительству столько хлопот. Исправник, конечно, бумагу эту губернатору не передал и приобщил ее к делам полицейского управления, откуда она была уже после революции извлечена и напечатана в одном из сибирских журналов.

А мы двинулись дальше, не подозревая, сколько нам предстоит затруднений. На следующей станции старик станочный староста выразил нам прямо подозрение, что мы прокутившиеся приказчики. Мы вдобавок сделали ошибку: согласились платить за одну лошадь. После этого на каждой станции каждый раз выходили большие споры. Ямщики требовали с нас полную плату; дело дошло до того, что однажды они совсем отказались везти нас, и нам пришлось бы сидеть голодными на голодном станке. Так мы просидели сутки. Я описывал эти впечатления в своем рассказе «Государевы ямщики». Нас выручила внезапно пришедшая почта. Я принялся писать письмо к губернатору, и, должно быть, физиономия у меня была довольно выразительная, так что ямщики согласились везти и дальше. Почти вплоть до Олекмы мы проехали уже беспрепятственно.

Наше положение при этих спорах было тем неприятнее, что мы чувствовали себя в чрезвычайно ложном положении. Я не встречал людей в таком тяжелом положении, как эти ленские станочники. Раз, кажется, в три года из Иркутска отправляется особая комиссия с целью установить цену на почтовую гоньбу. При этом, конечно, чиновничье усердие выражается в возможно дешевых ценах. Каждый раз, когда чиновники имеют дело с сравнительно хорошо обставленными жителями, имеющими, например, свою землю или покосы и имеющими возможность существовать без гоньбы, последние оказываются в сравнительно благоприятных условиях. Там же, где ни земли, ни покосов нету, местное население попадает на милость или немилость почтовых чиновников и вынуждено принимать всякие условия. Бедность на некоторых станках доходит до потрясающих

размеров, и торговаться на этих станках было для нас истинным мучением. Я начал собирать данные, намереваясь огласить их в печати. На каждой станции я записывал ее население, имущество и государево жалованье. У меня накопилось, таким образом, много данных.

Однажды, когда мы ехали с одного из станков, снизу по Лене надвигалась большая туча. Мы ехали верхами, вещи наши прикреплялись к седлам в виде вьюков, и нам постоянно приходилось смотреть, чтобы из этих вьюков что-нибудь не упало на каменистый берег. Особенные затруднения доставлял нам Кобылянский. Он был чрезвычайно здоров и мог спать, сидя в седле. Его лошадь постоянно отставала, а ямщик покрикивал пронзительным голосом:

— Не отставай, не отставай!

И я до сих пор слышу его высокий голос: «Не отставай, не отставай!»

Мы не заметили из-за вьюги, что Кобылянский у нас потерялся. Мне пришлось вернуться, и я увидел Кобылянского спокойно спавшим в седле. Лошадь его стояла у берега и щипала зеленые еще листья, и его засыпало снегом. Я разбудил его, и мы поехали дальше. Крик «не отставай, не отставай» едва доносился спереди из-за шума вьюги. Моя книжка со статистическими данными лежала у меня в кармане. Когда мы заторопились, я не заметил, что карман прорвался и мои записки упали в снег. Приехав на станцию, я спохватился, но о поисках не могло быть и речи: снаружи была настоящая пурга, а на следующий день все уже было бело от глубоко выпавшего снега. Так мои записи и пропали — наверно, следующей весной мою книжку унесло на какой-нибудь льдине в Ледовитый океан.

Уже за Крестовской станцией нас застигли морозы. Мы предпочитали ночевать на открытом воздухе, чтобы избегнуть духоты юрт. Но на этой станции мы едва могли выдержать мороз. Лена уже замерзала. Помню, как у меня на подушке обмерзал иней, и я рисковал отморозить себе нос или ухо. Товарищи предпочитали ночевать в юрте.

XXVII

ОЛЕКМА.— НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СКОПЦА

Наконец мы прибыли в Олекму. Здесь нам предстояло избавиться от бумаги, выданной в якутском полицейском управлении, и получить другую уже до Киренска. Избавляясь от бумаги, мы избавлялись, таким образом, от постоянных столкновений с ямщиками на станках, которые, конечно, были нам очень неприятны.

Исправник был человек очень добродушный. Кроме того, здесь жил политический ссыльный, доктор Белый, родом из Черниговской губернии, человек очень популярный. Ранее, до Олекмы, он жил, помнится, в Верхоянске, и о нем рассказывали легенды. Однажды они заспорили с исправником за картами.

— Можно ли так поступать с начальством? — шутливо сказал исправник.— Я вот вас велю арестовать!

— Знаете что,— ответил ссыльный,— давайте выстроим унтовое войско и выйдем вдвоем. Вы прикажете арестовать меня, а я вас... Кого ваше войско послушает?

Исправник почесался.

— Пожалуй,— шутливо сказал он,— послушают вас. Это мне невыгодно.

Приблизительно такие же отношения были у благодушного доктора и с олекминским исправником, и потому после Олекмы мы поехали с новой бумагой.

Я приобрел здесь интересное знакомство со скопцами. Я уже был знаком с ними в Амге. Здесь в Амге был представитель одного очень громкого процесса семидесятых годов. Это был сухой высокий старик, из известной московской купеческой фамилии. По-видимому, он был истинный скопец, занимался живописью, писал иконы, причем местный протоиерей обращал внимание, что Христос у него был похож на скопца.

Была в Амге еще целая колония скопцов. Внимание на себя обращал некто М—лов. Он жил с двумя женщинами. Одна была скопчиха и исполняла по дому хозяйственные функции. Другая не была оскоплена и имела притязание на некоторую кокетливость. Порой по слободе проносился слух, что М—лов «закрутил». Тогда на нем и на его любовнице, как говорится, лица не было. Только скопчиха вела себя, как обыкновенно: справлялась по хозяйству и ничем не обращала на себя внима-

ние. Это продолжалось несколько дней. Потом М—лов прекращал крутить, и все приходило в норму.

Компания эта хотя жила и отдельно, но порой устраивала вечеринки, и к ним ходили. Был среди них некто П. Анисимов. Это был человек озлобленный, и было известно, что он писал доносы, особенно на священников.

— Человек ехидный,— говорили про него.

В Олекме мы попали в квартиру, занимаемую тоже скопчихой, но это была скопчиха особенная.

Никогда я не видел существа более чистого и непорочного.

Историю своего оскопления она рассказывала следующим образом. По Лене ссыльные отправляются партиями. Она тогда была почти ребенком. Как только они тронулись по реке, она заметила, что к ней ее партия относится как-то особенно: ее гоняли с места на место, называли поганой. Наконец стали грозить бросить ее на берегу Лены. Они решили сделать вид, что бросают ее на пустынном берегу. Голые скалы, неприветные утесы и полное одиночество. Они соглашались взять ее с собой на одном условии, что она дозволит себя оскопить. Ей ничего не оставалось, как согласиться. И вот она поступила в руки «исправителей». Ее бросили на дно барки и здесь над нею произвели операцию, которую назвали добровольной. Как она перенесла ее — она и сама не знает. По холоду, между мрачных скал, в руках жестоких людей, без настоящего ухода... И тем не менее во всех отзывах ее сквозила какая-то мягкость, хотя по временам прорывалось невольное раздражение за испорченную жизнь. Более кроткого человека, чем эта скопчиха, я встречал только раз в жизни, и это был тоже скопец (это было в Румынии).

Очевидно, если уж человек решится простить такое искажение природы, как оскопление, то нет ничего, чего бы он не простил. Скопцы довольно жестоки. В Румынии я знаю случай, когда скопец-отец заманил обманом родного сына на тайное собрание и там оскопил его, несмотря на его протесты. У сына была невеста, которую он сильно любил... Скопцам удалось затушить это дело, хотя стоило оно недешево. Вообще это самая изуверная секта, какую я знаю, и надо сказать, что она внушает отвращение даже своим. Редкий скопец не сожалеет горько о том, когда он решился на этот шаг. Много молодых скопцов признавались мне, что они

раскаиваются и рады вернуть ту минуту, когда они решились, и ни за что бы не повторили эту ошибку.

В Олекме один скопец пригласил меня к себе... Меня предупреждали (положим, шутя), чтобы я не ходил и что бывали случаи насильственного оскопления. Но я этому не поверил. К тому же наша хозяйка сказала:

— Ступайте, ступайте, Владимир Галактионович, такой-то (она назвала хозяина) человек хороший и этого себе никогда не позволит. К тому же вы идете при всех.

Я пошел.

Был поздний прекрасный зимний вечер, когда я приблизился к дому скопца. Я постучал. Внутри двора гулко раздался мой стук. Залаяли собаки. Внутри началось какое-то движение и шум... Я пожалел, что не условился точнее. Мне пришлось ждать довольно долго. Наконец раздались последовательно звуки, приближавшиеся к двери...

— Кто тут? — спросил женский голос.

— Политический... по приглашению хозяина.

Послышался женский шепот.

— Пожалуйте.— Вслед за тем раздался звук отодвигаемого засова.

Я вошел. Во второй комнате меня встретил хозяин, веселый старик, несмотря на скопчество, с живыми движениями.

— А, знаем... Самоварчик нам живее. А я уж думал, вы не придете. Нас боятся, в особенности в вечернее время.

В квартире было тихо. Через некоторое время женщина внесла самовар. Войдя, она истово поклонилась. В это время хозяин занимал меня разговором. Он показывал мне гравюру с этикеткой Дациаро. Она была довольно любопытной. Какой-то царь, по-видимому Александр Благословенный, лежал на ложе, собираясь, по-видимому, приподняться. День был светлый, какой-то полк стоял, готовый его встретить. Солдаты были выстроены вдоль стены со стеклянной решеткой. Верховные начальники — к сожалению, я не мог назвать ни одного имени — бежали к царю с полной готовностью его встретить.

Это была, очевидно, одна из легенд, которыми так щедро окружили смерть Александра I и впоследствии нашедших отражение в известном сказании о старце, окончившем жизнь в Сибири, но с некоторыми измене-

ниями. Толстой, впрочем, одно время придавал этой легенде известное значение.

— Воскресение Александра Благословенного,— пояснил хозяин.

Я не счел нужным уверять, что Александр I никогда не воскресал. Разговор у нас шел вполголоса: хозяин, по-видимому, считал нужным вести его таким образом из какой-то предосторожности. Я подчинялся общему тону. К сожалению, я не счел нужным записать тотчас по приходе домой подробности этого разговора, на свою память я понадеялся напрасно, и многое исчезло. А многое было любопытно. Начать с того, что у скопцов вся новейшая история совершенно фантастическая. Начиная с Пугачева (которого они не считают самозванцем) и продолжая Александром Благословенным, они считают нужным понижать голос, когда говорят об этих царях, и вообще говорят особым тоном, и притом так, как будто допускают, что и вы тоже вместе с ними верите в эту фантасмагорию. Отчасти, положим, это объясняется особым тоном, которым интеллигентные люди часто говорят с низшими по развитию, тоном снисходительным, не считая нужным спорить.

Каковы были бы настоящие отношения между скопцами и «политическими», если бы не преследования за убеждения, сказать трудно. Для многих недоразумений места бы не было. Тогда же всякий скопец вперед предполагал, что мы союзники. И, несмотря на то что всякий из нас в глубине души питал отвращение к этому явлению, правительство делало нас союзниками.

Надо сказать, что это явление было исключительное, и ни один из нас не мог относиться к нему равнодушно. Вспомнить хотя бы оскопление нашей хозяйки. В самой Олекме был также трагический пример оскопления. Юноша полюбил молодую девушку, и она полюбила его. Любовь была искренняя и горячая, а между тем юноша был подвергнут оскоплению. Их историю рассказывала мне наша кроткая скопчиха. При этой трагедии присутствовал священник — человек, очевидно, с душой, доступной истинно трагическому. Священник нашел исход из неразрешимого положения. Он благословил союз не как брак, разумеется, но как союз, из которого они сделают, что смогут. Такова была жестокость скопцов. Нельзя простить тех, кто при таких условиях оскопляет.

Должен прибавить, что мой хозяин находил возможным отпускать двусмысленные шуточки. Они были довольно невинные, но все-таки производили отвратительное впечатление.

Наконец этот вечер кончился, и я вышел из гостеприимного дома скопца. Признаться, я вздохнул свободно, когда наконец очутился на улице. Я невольно оглянулся. Вдоль улицы веял ветер, развевая свежими дуновениями затхлые впечатления, которые я уносил от моего хозяина, с его рассказами, сдобренными скопческими двусмысленностями. Пока я шел вдоль слободской улицы, передо мной носились впечатления то от наивных легенд, то от хозяина, то от искаженных женских образов...

XXVIII
КИРЕНСК

В первых числах ноября мы прибыли в Киренск.

У меня тут были знакомые, которые пригласили меня заехать к ним. Это были Джабадари с женой и Цицианов. Я принял это приглашение и впоследствии раскаялся, так как вначале был решительно изолирован от всей остальной ссыльной компании. Джабадари и Ольга Любатович на мои вопросы о ссыльных ответили, что народ это не заслуживающий внимания и что я напрасно намерен познакомиться с ними. Я, наоборот, слышал, что среди местных ссыльных есть много людей интересных и симпатичных. В иркутском тюремном замке, где я познакомился с Джабадари, он показался мне, что называется, рубахой-парнем, задушевным и хорошим товарищем. Таковы же были отзывы о нем и других товарищей. Ольга Любатович принадлежала к другому типу — она была резка и требовательна, и всюду у нее выходили с товарищами столкновения. Ольга Любатович оказалась сильнее мужа, и этим объяснялась его перемена. Отношения их с остальными ссыльными особенно обострились из-за затеянного Джабадари побега, так как они потребовали от остальных ссыльных, чтобы за ними были признаны некоторые преимущества, без всяких к тому оснований. Из-за этого вышла ссора, и из-за этого я оказался в изолированном положении в киренской ссылке.

Я скоро от этого положения избавился, заявив решительно, что я не намерен быть удаленным от остальных товарищей, и стал посещать их. Ромась и Кобылянский уже раньше получили приглашение и поселились отдельно от меня. Я стал ходить всюду и не пожалел об этом.

Я приобрел знакомство с Лянды и его женой, с сестрой его жены, Леонардой Левандовской, и Н. В. Аронским и многими другими.

Читатель, вероятно, помнит главу о вышневолоцкой политической тюрьме. Там есть эпизод о рабочем Шиханове и его восторженных отзывах о рабочем Обручеве, сосланном именно в Киренск. Он проделал историю героя Достоевского — убил или намеревался убить богатую старуху для революционных целей. Когда об этом узнали товарищи, то отшатнулись от него, и он потонул в серой арестантской массе. Так кончился эпизод об «истинно практичном» рабочем Обручеве.

Среди остальной ссыльной братии выдающимся был Панкратьев. К сожалению, я познакомился с ним уже впоследствии. В это время он был в командировке от местного захудалого монастыря в Иркутск. Впоследствии он мне рассказывал юмористические эпизоды его монастырской службы; между прочим, его внимание обратил вкус подаваемой в этом монастыре ухи. Когда он спросил, каков секрет этого рецепта, то заведующий поварней ответил: «На мясной ухе варим».

Были здесь еще Свистунов, Микитьян, Геллис (брат каторжанина), Пылаев, распропагандированный в тюрьме и уже в качестве политического попавший в ссылку. Все это были люди полуинтеллигентные, единственное исключение составляла семья Лянды. Он был польский еврей, патриот в лучшем значении этого слова. Его жена, урожденная Левандовская, тоже вполне интеллигентная женщина и порядочная музыкантша. Познакомился я здесь со старой радикалкой Поповой.

Была здесь также группа так называемых нечаевцев. По-видимому, к нам в Якутскую область они попали позже. Аронский характеризовал их как мало развитых субъектов, которые не смешивались с остальными.

В 1882—1883 году ссыльное население Киренска стало возрастать. Наиболее выдающимися из них были

М. П. Сажин (Росс), Е. Н. Фигнер (впоследствии жена Сажина), польский писатель Шиманский (впоследствии переведенный в Якутск) и выдающийся деятель возрожденной Польши Пилсудский. Я посетил Сажина и возобновил знакомство, которое началось еще в Иркутске и которое впоследствии перешло в близкие товарищеские отношения.

Уже после моего проезда среди ссыльных появился Цицианов. Появление это было довольно неожиданно, так как он, так же как и Джабадари, не скупился на враждебные выходки против товарищей... Ссыльные, разумеется, не отказали ему в приюте на общем основании. При этом его не расспрашивали о причинах, заставивших его расстаться с Джабадари. Полагали, что Цицианов, как спутник предполагавшегося побега, стал стеснять Джабадари. А впрочем, причина могла быть и другая. Джабадари могли раньше заметить признаки начинающегося умственного расстройства у Цицианова и не захотели пускаться в опасное путешествие с сумасшедшим. Первое время он оставался угрюмым и необщительным, а затем стал обнаруживать ненормальную возбужденность. У него явилась какая-то теория путем скрещивания создать особую породу, среднюю между кошкой и собакой. Закончилось это тем, что Цицианов впал в буйное помешательство, попал в дом умалишенных и однажды оказался мертвым. Ссыльные потребовали расследования, но никаких наружных знаков насилия не было найдено.

Впоследствии Джабадари бежал. Это было значительно позже моего проезда. Он склонил было бежать с собой одного полицейского. Но тот впоследствии раскаялся и, когда Джабадари действительно бежал, отправился за ним в погоню, догнал его где-то далеко и доставил на место... Джабадари отделался очень легко. Ему удалось убедить следственную власть, что у него было в виду только повидаться с родными.

Вскоре мы распрощались с киренской ссылкой, распрощались с ссыльной братией и отправились дальше к Верхоленску. Помню светлый день, когда мы выехали из Киренска, и веселого ямщика, а также его своеобразные рассказы о киренской ссылке и начальстве.

XXIX

ВЕРХОЛЕНСК

Следующая остановка была в Верхоленске. Это захудалый городишко, и в моих воспоминаниях остался только рассказ о побеге Сыцянко.

Сыцянко был сын харьковского профессора. Судился вместе с отцом. Отец был оправдан, сын попал в Верхоленск. Отсюда он затеял побег; для этого сошелся с кавказцем, и этот эпизод можно было назвать эпизодом о кавказской верности. Сыцянко был сам по себе очень располагающий юноша, и кавказец привязался к нему на жизнь и на смерть... Что касается Сыцянко, то он скоро увидел, что со спутником надо держать ухо востро.

Начать с того, что у Сыцянко не было паспорта, и это доставляло беглецам много забот.

Однажды на Лене появилась лодочка. В лодочке плыл человек, по-видимому возвращавшийся с приисков. Кавказец сразу сообразил, что это именно то, что нужно. Не успел Сыцянко оглянуться, как приискатель уже был на прицеле под метким выстрелом. Сыцянко успел помешать, чем кавказец был очень удивлен: нужен паспорт, он сам плывет под выстрел, а друг мешает.

В другой раз Сыцянко попал в станочную кутузку, он был не так ловок, попался легче, чем кавказец. Сыцянко сидит в станочной кутузке, вдруг он слышит — на станке тревога. Верный друг является, вооруженный с ног до головы, даже в зубах у него два кинжала. Один он дает Сыцянку, другой берет себе и предлагает Сыцянку напасть на караульного. Очевидно, караульный зазевался. Удар, другой кинжалом — и свобода! Но у Сыцянко была другая мораль, чем у его приятеля. Он не решился напасть и остался под караулом. Так как станочники уже сбежались в большом числе, то верному другу пришлось убегать одному, что он и сделал. Эту историю очень юмористически мне рассказывал в Верхоленске сам Сыцянко.

В Верхоленске была целая колония ссыльных. Из них я помню теперешнюю Кон (теперь жена Феликса Кона).

Пробыли мы в Верхоленске недолго и вскоре тронулись дальше.

Мне приходится еще отметить несколько эпизодов, без которых колорит путешествия был бы не полон.

В одном месте меня разбудил ямщик... «Медведь»,— сказал он испуганным голосом. У одного из нас был револьвер. Товарищи спали, разбудить их требовалось время. Лошади рвались. Медведь сидел на обрезе горы, рисуясь на светлом небе силуэтом; очевидно, медведю стоило труда спуститься вниз. У него был явный расчет испугать лошадей: они понесут, при этом может случиться поломка, может кто-нибудь выпасть. Видя, что с револьвером дело долгое, ямщик подобрался и крикнул диким голосом на лошадей. Лошади того и ждали. Они сразу взяли с места. Береговая галька затрещала под санями, и мы пронеслись мимо. Берег был ровен, медведю жалко было расставаться с добычей, и он глухо зарычал.

— Счастливо отделались,— сказал ямщик, когда мы отъехали на порядочное расстояние.— Ишь, подлец, на что у него расчет!

Силуэт медведя долго еще рисовался на светлом небе по прямому плесу.

Несколько раз мы попадали в стаи волков. Тогда ямщики разгоняли лошадей и с гиканьем и свистом врезались в стаю, что, по-видимому, было менее опасно. Волки пробегали так близко, что можно было тронуть шерсть. Но мы не решались сделать опасный опыт.

XXX

Так мы миновали Киренск и Верхоленск и приближались к Иркутску. Мы ночевали на Скокинской станции. Здесь шла гульба. «Помочишку» составили — лодки вырубать из торосу. Меня особенно поразила совершенно пьяная прелестная девочка лет десяти.

— Кто тебя привез? — спрашивают старшие.

— Сама пришла.

— Девять-то верст, хлопаешь зря.

— Кто тебя угощал?

— Матушка.

— А кто подносил?

— Да кто подносил, матушка и подносила.

Ее расспрашивают, находя, по-видимому, естественным явлением пьяную девочку. Мы вмешиваемся с осуждением подобных угощений водкой ребенка, на-

ходя, что это вредно. Кое-кто с нами соглашается, но большинство противоречит: мать должна угостить родную дочь как можно лучше, а лучше водки не найдешь.

— А мне-ка чего не пить? — говорит ребенок.— Даровое подносят.

Глаза девочки потускнели, подвелись синевой, круглое прелестное личико осунулось...

— Шапку потерял,— вваливается в избу пьяный зобач.

— А какова шапка-то?

— Шоболья (соболья).

— Ну шоболья, так уж пропили.

И разговор переходит с девочки на соболью шапку.

— Нарродец у нас! — говорит зобач, высовывая на подымающуюся метель седую голову.

Когда мы перевалили горы и перед нами открылся широкий горизонт, нами овладело бешеное веселье. Более всех смеялся Кобылянский, меньше Ромась, я занимал середину.

В одном месте ямщик указал нам крест, мелькавший среди деревьев. Я заинтересовался этим памятником и вышел с ямщиком, остановив смирных лошадей. Ямщик рассказал мне следующую историю. Был в этом месте удалой ямщик, который отбил несколько раз седоков от разбойников. Разбойники сделали засаду и убили его. Начальство и купцы, из которых многих он спас, сложились и сделали ему памятник. Ночь была светлая, над крестом склонялись деревья, и на нем мелькали лунные отсветы. Этот памятник и рассказ ямщика произвели на меня особенное впечатление, и я долго находился под его влиянием.

Наконец мы спустились и повернули к Ангаре. Это была последняя станция перед Иркутском. Здесь мы застали проводы Анучина, было много начальства... Передавали, что Анучина (бывшего генерал-губернатора) убирают вследствие высочайшего неудовольствия. Он утвердил смертный приговор Неустроеву, предпочел месть, несмотря на то что ему дано было право помилования Александром III с явной надеждой на то, что он не утвердит приговор. История была следующая: Неустроев был молодой человек, учитель, служил в Иркутске. Случилось ему быть арестованным по каким-то пустякам. Он сидел в своей камере и играл в шахматы

с товарищами в то время, когда тюрьму посетил генерал-губернатор. Подойдя к камере, он остановился у порога и поманил Неустроева пальцем. Неустроев сначала не понял, к кому относится этот жест; говорят, он в недоумении оглянулся. Но генерал-губернатор повторил жест. Неустроев подошел. «Как вам не стыдно смешиваться с шайкой негодяев?» (или нечто в этом роде). Едва раздались эти слова, в ответ им грянула пощечина. Таково было дело Неустроева. Он был казнен. В Иркутске вообще утверждение приговора произвело неблагоприятное впечатление даже на чиновников, что и сказалось в возникновении легенды, сопровождавшей отъезд Анучина. Это был акт не управления, а мести.

Наконец мы были в Иркутске, и нам предстоял выезд оттуда. Здесь все еще было полно Анучиным, в том числе присутственные места и их порядки.

Наша компания, в которой мы приехали из Якутска, расстраивалась. У Ромася в Иркутске были друзья. Предстояло составить новую компанию. К этой компании примкнул очень интересный человек, львовский профессор Богданович, о котором львовское правительство вело с Иркутском переговоры, что выделяло его из числа остальных пересылаемых. Польский кружок в Иркутске принимал в нем большое участие, в том числе Рыхлинский, с которым мы дружески встретились и у которого я встретил старого якутского приятеля Анания Семеновича Орлова. Еще в Якутской области о Богдановиче ходили оригинальные рассказы, которые я передавал, хотя и вкратце, со слов его товарища Зубрилова. Рассказывали, например, что он купил лошадь, назначенную на общественный пир. Лошадь сначала покупают под песни, затем самые отвратительные старухи начинают насмехаться над нею, изображая участь, которая ее ожидает. Поняв эту песню, Богданович купил эту лошадь в собственность и взял ее себе в юрту, за что ему приходилось приплачивать особо. Кроме того, он водил ее гулять, находя, что для нее полезен моцион. Напрасно якуты старались внушить чудаку, что если уж так необходим лошади моцион, то он может кататься на ней час или два (Богданович был превосходный наездник), вместо того чтобы водить ее. Но он на это не соглашался, находя, что жестоко ездить на больной лошади. Якуты относились к этим чудачествам с тем полумистическим изумлением, с каким простой человек относится к человеку не-

много тронутому, но непонятному, то есть с глубочайшим уважением.

Раз только мне пришлось слышать о Богдановиче отзыв, проникнутый враждой. Это было на одной из станций между Якутском и Иркутском. В разговоре со смотрителем я заметил, что Богданович — личность глубоко оригинальная.

— Ну, не пожелаю и врагу такой оригинальности,— возразил он и в дальнейшие объяснения вступать не пожелал. Глубоко заинтересованный, я расспросил самого Богдановича, когда мы долгими ночами ехали с ним, сидя на облучке, рядом с ямщиком. Он усмехнулся.

— Это, должно быть, на N станции. Это, видите ли... особая история... Разговорились мы. Он и говорит: как это, профессор, вы позволили себе смешаться с такой дрянью? Наверное, в последний раз, более вас не заманишь... Я и говорю: знаете что, я человек не горячий. Иной горячий человек мог бы вас оскорбить по лицу.

Очевидно, несмотря на своеобразный язык, а может быть, именно благодаря ему, смотритель не мог простить Богдановичу этого «оскорбить по лицу». Помню его сухой тон будущего почтового бюрократа.

Компания наша составилась следующим образом: во-первых, профессор Богданович, я, Кобылянский, кавказец Ардасенов, больной, кажется, Верцинский, требовавший особого ухода, и подкинутый нам какой-то канцелярией, наверное за взятку, в качестве сопровождающего Верцинского, какой-то еврей. Этот господин сразу присвоил себе привилегированное положение, он занял лучшее место, стеснив больного. Я протестовал, но это не привело ни к чему. Проехав несколько станций; я наконец потерял терпение. У меня была отличная подушка, которую я предоставил больному. Привилегированный седок стал захватывать ее себе. Заметив это, я, во-первых, унес ее к себе, во-вторых, объявил, что я дворянин и на этом основании могу так же, как любой торговец, служить поручителем, что я беру на себя ручательство за доставку больного перед начальством, а он как хочет. Если ямщики повезут его дальше, это их дело, но мы решительно заявляем, что это нас не касается. К моему удивлению, это подействовало, и наш диктатор смирился. Положим, он занимал по-прежнему лучшее место, но мы не настаивали на

полном освобождении. Так мы и ехали дальше: привилегированный седок с частью своих привилегий, мы также с частью своих завоеваний.

Ночи были лунные, осенние. Порой пробегали волчьи стаи. Помню великолепную лунную ночь. Собаки окружали кружком огромного волка. Он стоял и выл, созывая остальных... Мы проехали мимо, не дожидаясь, чем кончится это великолепное зрелище.

Раз у нас с облучка свалился Кобылянский, и мы не сразу это заметили. Если бы пробежала в это время стая волков, неизвестно, что стало бы с нашим Кобылянским.

XXXI

Нам предстояло проехать через значительный сибирский город Красноярск. На пути к нему лежал Мариинск, где у меня был знакомый С. П. Швецов. Когда-то юношей, сидя в тюрьме, он прогнал из своей камеры великого князя Михаила Николаевича. Мариинск — торгово-промышленный город, и здесь в статистике он нашел работу, которая впоследствии составила ему заметное имя. Повидавшись с ним, я тронулся дальше к Красноярску.

В Красноярске у меня жили родные (теперь умершие) — мать, сестра и зять. Здесь у меня было довольно деликатное дело. Читатель припомнит, вероятно, Веру Павловну Рогачеву. Она разошлась с мужем и поручила мне взять ребенка от женщины, которой она отдала его на воспитание, и привезти к ней. К сожалению, дело это оказалось не таким легким, как мне казалось первоначально. Ребенок перенес множество болезней, приемная мать привязалась к нему, как родная. У нас в Красноярске происходили с Богдановичем горячие споры. Он, как настоящий романтик, стоял за то, что никто не вправе вмешиваться в права природы. Я же считал, что мать, уступающая добровольно ребенка другому, вместе с болезнями, которые требуют значительных забот, уступает и права. И приемная мать, и мальчик, зная, какие у меня права, со страхом смотрели на меня, пока я не выяснил свою точку зрения. Тогда оба переменили отношение ко мне, и я приобрел в них двух друзей. Расстались мы очень хорошо.

Из Красноярска мы выехали с попутчиком, сослуживцем моего зятя. Я полюбовался тюремным замком, в котором когда-то сидел под начальством Ржевского.

Мы приближались к Томску, то есть культурным пределам Сибири. В Томске было в то время две либеральных газеты. Одну из них издавал Корш, работавший раньше в Славянской книгопечатне у И. В. Вернадского. Он напечатал когда-то письмо Засулич, наделавшее много шуму. Этот самый Корш совершил легкомысленную растрату, был судим и сослан в Томск. Его отец поддержал его в его профессии, и таким образом в Томске появилась новая либеральная газета. Другой газетой, также либеральной, руководил Феликс Вадимович Волховской.

Проездом через Казань я повидался с Анненскими, которые там жили втроем: Николай Федорович, Александра Никитишна и их племянница. Они тоже немало пространствовали в ссылке. Анненский занимал должность заведующего статистикой (она входила тогда в моду). У Анненского выходили уже неудовольствия, приведшие к тому, что ему пришлось впоследствии расстаться с Казанью. Он был все такой же веселый, она все такая же солидная. Мы встретились очень дружески.

В Казани же жил брат мой с группой студентов, среди которых был глазовец Чарушников.

Анненский снабдил меня письмом к Гацисскому, жившему в Нижнем Новгороде, и, пробыв всего один день в Казани, мы тронулись дальше вверх по Волге. Всю ночь мимо нас мелькали сумрачные горы... Под утро я увидал, что находимся на въезде... В уровень с водой большими буквами было написано: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся»... Это был Нижний.

Мы поднялись по въезду и остановились против громадного здания, бывшего против реки, которая лежала еще в сумраке. На ней стояли зазимовавшие баржи и пароходы. Это оказалась гостиница, в которой мы и остановились. Здание было почти пустое. С реки доносились порой сторожевые крики.

На следующий день я пошел познакомиться с городом. Он расположен по горам и очень своеобразен. Нам надо было озаботиться выпиской родных, для чего было решено, что поеду я.

Я приехал в Петербург рано поутру. Мне советовали, чтобы я прямо с вокзала проехал в градоначальство. Я так и сделал. Здесь я застал характерную сцену. Просители, какие-то известные богачи-евреи, ходатайствовали, чтобы им было разрешено остаться на несколько дней в Петербурге. Градоначальник резко возражал, причем я слышал: «Нар-род эксплуатировать!» Я ждал, что меня градоначальник тоже примет резко... Но оказалось наоборот. Я был принят любезно, он согласился на все мои просьбы и разрешил мне пробыть в Петербурге «сколько мне угодно». Я задумался об этой перемене, и мне вспомнился глазовский способ разрешения еврейского вопроса.

В тот же день я был уже на квартире Никитина (фамилия зятя). Ко мне и к зятю собрались знакомые, и мы начали обдумывать отъезд.

Через несколько дней мы выехали и через сутки были в Москве. Авдотья Семеновна Ивановская нас встретила по старому знакомству на вокзале, и мы отправились вместе на Нижегородский вокзал, но по пути остановились на Садовой, в гостинице. Хозяева и прислуга, зная, что мы возвращаемся из ссылки, держали себя очень любезно, что нас прямо поразило. Заметна была прямо перемена в настроении.

Я заехал в редакцию журнала «Русская мысль» и узнал, что мой «Сон Макара» принят. Там я познакомился с редактором, Вуколом Михайловичем Лавровым, заметно в нем было купеческое происхождение, он был очень добродушен и полон. Второй редактор, Гольцев, сразу кидался в глаза лукавством и был человек хитрый. Был еще третий член редакционной коллегии Ремезов. Этот последний был Вуколу Михайловичу подсунут цензурным ведомством, которое согласилось утвердить Лаврова редактором лишь на том условии, чтобы член цензуры Ремезов был третьим редактором. Лавров согласился.

Таким образом, мои литературные дела были устроены, и, отправляясь на Нижегородский вокзал, я мог считать мою литературную карьеру начатой. Мы весело отправились на вокзал, кстати, и день был зимний, но радостно-яркий. Авдотья Семеновна Ивановская проехала с нами две станции и вернулась в Москву.

На следующий день мы были в виду нижегородских гор. Вот и так называемый Похвалинский съезд. Мы переправились через Волгу и весело поднялись на горы.

Я ехал с матерью. Она рассматривала новое местожительство. Только в одном месте ее лицо омрачилось. Перед нами была Варварка, прямая улица, завершавшаяся тюрьмой.

— Опять! — сказала мать.

— Ничего,— возразил я. И действительно, казалось бы «ничего». Я только что приехал в новое место. Еще ничего не успел сделать не только предосудительного, но и вообще ничего.

Весело водворились мы на новой квартире — скромной и даже очень скромной, состоявшей из одной комнаты, перегороженной пополам, и зажили по возможности весело. Сразу приобрели знакомство, разумеется среди неблагонадежных, сходили в публичную библиотеку и так далее.

А между тем моя таинственная неблагонадежность уже действовала, и ее последствия уже готовились.

И вот в один, нельзя сказать чтобы прекрасный, вечер ко мне нагрянула полиция... Перепугали семейных.

Мать была страшно удивлена, да и я также. Меня перетащили в тюрьму, благо было близко. Тюрьма была полна. Недавно здесь в ярмарку разразились антиеврейские беспорядки, было несколько убитых. Это был результат новой антиеврейской политики, закончившейся уже в наши дни «делом Бейлиса». Мне сразу пришлось наткнуться на страшный холод, против которого я запротестовал, так что мне пришлось вступить в конфликт с тюремным начальством.

Через некоторое время ко мне в камеру перевели какого-то нечестивца из антиевреев. Я протестовал и против этого. Нечестивец отправился в холодное помещение, а я — в теплое.

На следующий день я с ним увиделся на прогулке. Это был человек очень добродушный, не питавший против меня никакого неудовольствия. Он рассказал мне, что оправдали только тех, кто имел возможность выписать «Правыку» (так, очевидно, перефразировалась фамилия Плевако). Он не имел этой возможности и должен идти на каторгу. На следующий день я написал массу протестов и потребовал прокурора, но это не подействовало. И мне пришлось еще два дня или три прогуливаться с моим «Правыкой».

Наконец меня повезли обратно в Москву и дальше в Петербург. Всюду, где я мог, я протестовал, но на это

не обращали внимания: «Вот приедете на место». Но мне некогда было ждать приезда на место, мне вспоминалась мать, и я нервничал. Мне вспоминается генерал или полковник Середа и как он меня успокаивал: «Не виновны, так все это обнаружится». Но я по собственному опыту знал, как скоро это обнаруживается. Поэтому я протестовал везде, где мог.

Наконец меня привезли в Петербург и прямо в предварительное заключение. Я подал еще один протест и, должно быть, надоел, так что дело двинулось быстро.

Когда меня привезли в дом предварительного заключения и за мной захлопнулась дверь, я остановился посредине камеры и оглянул ее стены. Вот я объехал почти вокруг света и очутился на том же месте. Это доказывает, что Россия за это время не подвинулась ни на шаг, несмотря на многочисленные жертвы. Те же дома предварительного заключения, те же жандармские управления, что и были... Чем же это кончится?..

Вдобавок, когда меня привезли и ввели в жандармское управление, я там застал того же штабс-ротмистра Ножина, который арестовал меня в первый раз. Когда я напомнил ему об этом, он ответил:

— Не припомню,— заметив, вероятно, в голосе моем иронию.

Наконец мне предъявили обвинение. Это было письмо, написанное почерком, довольно похожим на мой, и поэтому я сразу не мог отрицать, что письмо это писано не мной. Я потребовал предъявления всего письма, и мне его дали.

В нем сообщались революционные похождения какого-то юноши, который писал своей знакомой девице, что он в своей поездке по такому-то уезду покрыл этот последний сетью нелегальных организаций и пр. Подпись была: Вл. Корол.

— Это не вы писали? — спросил меня неизвестный господин, стоявший сзади меня. (Я потом узнал, что это был прокурор Котляревский.)

— Не я! — ответил я сердито.

— Я так и знал,— сказал он,— и им говорил то же.

— Почему же вы это утверждали? — спросил я, заинтересованный категорическим заявлением незнакомца.

— Видите ли, я читал вашу переписку с Григорьевым, ну а это письмо, согласитесь, слабо написано, зелено...

— И это не помешало вам притащить меня в дом предварительного заключения, сделать у меня обыск, испугать семейных.

Ножин был сконфужен, но сдался не сразу. Он потребовал, чтобы я формально ответил на вопросы и написал, что письмо принадлежит не мне... Так как дело было сшито белыми нитками, то нужно было выполнить только некоторые формальности. Но меня впредь до выполнения их снова препроводили в дом предварительного заключения. На этот раз я вступал в него в другом настроении, чем раньше, и даже довольно весело.

Через несколько дней меня выпустили, обязав подпиской о невыезде.

Впоследствии я узнал, что автором письма, за которое я привлекался, был Бурцев, который тогда, будучи еще гимназистом, начинал таким образом свою революционную карьеру.

Наконец я прибыл в Нижний, и здесь началась моя нижегородская жизнь...

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ

Сны занимали в детстве и юности значительную часть моего настроения. Говорят, здоровый сон бывает без сновидений. Я, наоборот, в здоровом состоянии видел самые яркие сны и хорошо их помнил. Они переплетались с действительными событиями, порой страшно усиливая впечатление последних, а иногда сами по себе действовали на меня так интенсивно, как будто это была сама действительность.

Чтобы все излагаемое ниже было яснее и понятнее, я должен вернуться назад, к годам раннего детства.

В Житомире, еще до моего поступления в гимназию, у отца, когда он был судебным следователем, был «письмоводитель», пан Александр Бродский. Письмоводители у отца часто сменялись. Это по большей части были неудачники, помятые жизнью и выбитые из колеи. Порой попадались настоящие «талантливые натуры», а один, пан Корнилович, поражал даже отца, превосходно знавшего законы, своей феноменальной памятью относительно статей, примечаний и сенатских решений. Отец не мог нахвалиться своим письмоводителем, и иногда они производили маленькие турниры памяти, причем Корнилович оставался по большей части победителем. Но в лице и манере держать себя у него было что-то неприятное: лицо было одутловато, а взгляд не прямой, чего-то стыдящийся и потупленный. Через некоторое время он запил, явился к нам мрачный, растерзанный, не мог работать, путал бумаги, а затем и совсем исчез.

За ним сменилось еще два-три человека, появлявшиеся, мелькавшие недолго и исчезавшие с признаками более или менее значительных драм по пьяному делу.

Наконец появился пан Бродский. Он сразу произвел на всех очень хорошее впечатление. Одет он был просто, но с каким-то особенным вкусом, дававшим впечатление порядочности. Лет ему было под тридцать. У него было открытое польское лицо, голубые, очень добрые глаза и широкая русая борода, слегка кудрявившаяся. Одним словом, он совсем не был похож на «частного письмоводителя», и мы, дети, сначала робели, боясь приступиться к такому солидному господину, с бородой, похожей на бороду гетмана Чарнецкого.

Оказалось, однако, что у этого солидного человека была чисто детская душа, и вскоре мы все его очень полюбили, а у меня с ним завязалась настоящая и крепкая дружба. Дружба эта была на совершенно равных правах, точно мы оба были взрослые или, наоборот, оба — дети. Я тогда учился еще в пансионе и только начинал знакомиться с русской грамматикой (по-польски я говорил и писал тогда лучше). Он помогал мне иной раз учить уроки и усердно заучивал со мной вместе немецкие слова и грамматические правила. В свою очередь, и я иной раз помогал ему. Он был поляк, и усвоение буквы ѣ ему давалось труднее, чем мне. Порой по поводу того или иного слова в официальной бумаге у нас происходили настоящие совещания, и Бродский питал большое доверие если не к твердости моих познаний относительно «ятя», то к моему чутью, которое действительно редко обманывало. По вечерам, в свободные для нас обоих часы, он вынимал из своего кожаного чемоданчика польскую книгу и читал вслух стихи Сырокомли. До сих пор мне вспоминается его грудной, слегка певучий голос, проникнутый какой-то особенной ноткой чувствительности. Особенно запомнилась мне поэма, в которой описывались детские годы в школе иезуитов или пиаров. На стенах этой школы было, между прочим, много всяких надписей, и в том числе чья-то сиротская рука начертала:

О боже мой, боже!
Какой я бедный! И кто мне поможет! [1]

Бродский был человек взрослый, солидный, но в его устах это двустишие казалось мне как-то особенно выразительным. Однажды он куда-то ушел и вернулся довольно поздно. Мне показалось при этом, что у него

---

[1] O Boże-ż mój, Boże! Jakim ja biedny! Któ-ż mi dopomoże!

лицо не совсем обыкновенное, слегка одутловатое, как у Корниловича, а нос красноватый. Он порывисто обнял меня и сказал:

— Ничего это. Ничего... Так... Даже говорить об этом не надо...

Я, конечно, ничего ни с кем не говорил, но отец с матерью что-то заметили и без меня. Они тихо говорили между собой о «пане Александре», и в тоне их было слышно искреннее сожаление и озабоченность. Кажется, однако, что на этот раз Бродский успел справиться со своим недугом, и таким пьяным, как других письмоводителей, я его не видел. Но все же, при всей детской беспечности, я чувствовал, что и моего нового друга сторожит какая-то тяжелая и опасная драма.

Дружба наша длилась всю осень и всю зиму. А ранней весной ему почему-то пришлось уехать от нас куда-то на родину. Ехал он «с попутчиком», который должен был явиться за ним рано, на рассвете. Со всей нашей семьей он попрощался очень задушевно еще с вечера, а я спал с ним в одной комнате. Мы долго разговаривали. Мне было очень грустно, но — странно — всего значения разлуки я как будто еще не сознавал. Глаза мои начали слипаться. Бродский сидел на краю моей постели, тихо гладил мою голову своей сильной рукой, потом наклонился, поцеловал меня и потушил свечу. Я заснул.

Под утро мне приснился какой-то сон, в котором играл роль Бродский. Мы с ним ходили где-то по чудесным местам, с холмами и перелесками, засыпанными белым инеем, и видели зайцев, прыгавших в пушистом снегу, как это раз было в действительности. Бродский был очень весел и радостен и говорил, что он вовсе не уезжает и никогда не уедет.

И вдруг я проснулся. Начинало светать. Это было ранней весной, снег еще не весь стаял, погода стояла пасмурная, слякотная, похожая более на осень. В окна тускло, почти враждебно глядели мутные сумерки; освоившись с ними, я разглядел постель Бродского. На ней никого не было. Не было также и чемодана, который мы вчера укладывали с ним вместе. А в груди у меня стояло что-то теплое от недавнего счастливого сна. И контраст этого сна сразу подчеркнул для меня все значение моей потери.

Я вскочил и подбежал к окну. По стеклам струились дождевые капли, мелкий дождь с туманом заволакивал

пустырь, дальние дома едва виднелись неопределенной полосой, и весь свет казался затянутым этой густой слякотной мглою, в которую погрузился мой взрослый друг... Навсегда!

Вдобавок я не выучил немецкого урока, а пансионский немец, сухой человек с рыжеватыми баками, бритыми усами и подбородком, которые постоянно были засыпаны мелким табаком, был человек строгий, неприятный и педантичный. Мой друг исчез за этой мутью и мглой, а мне предстояло собрать книги и идти через пустырь, с печально белевшими пятнами снега, в пансион, к строгому немцу с невыученным уроком. Первое сильное детское горе переполняло до краев мою душу. Если бы еще не этот сон... Он был так ярок, что казался мне другой действительностью, с возможностью выбора. Стоит лечь, заснуть — и этой слякоти не будет, не будет и разлуки... Только — не просыпаться... Но — сумерки светлели, все предметы в комнате выступали во всей своей обыденности... Становилось прозаически ясно: Бродский уехал — навсегда, а к немцу идти надо.

С Бродским мы никогда уже не встречались. Жизнь развела нас далеко, и теперь, когда передо мной так ярко встал его милый образ, когда так хотелось бы опять пожать его сильную добрую руку, его давно уже нет на свете... Жизнь полна встреч и разлук, и как часто приходится поздно жалеть о невозможности сделать то, о чем как-то забывалось в свое время...

То было ощущение, усиленное сном, но вызванное реальным событием — разлукой с живым и любимым человеком. Как это ни странно, но такое же ощущение, яркое и сильное, мне пришлось раз испытать по поводу совершенно фантастического сна.

Это было все еще в Житомире. Я переходил из второго класса в третий — значит, мне было лет двенадцать. Перевели меня без экзамена, я был свободен и переполнен радостью этой свободы, которая оттенялась еще тем, что в гимназии экзамены шли своим порядком и общие каникулы еще не начинались. Весна стояла яркая, радостная, сверкающая. Мое время было свободно, и иной раз я нарочно проходил мимо гимназии. Она теперь, на мой взгляд, казалась совершенно особенной: такая же сдержанная, строгая, молчаливая во время занятий, но надо мной она не имела теперь власти, и это-то и было особенное, занимательное и радостное.

Порой выходила группа отэкзаменовавшихся гимназистов, весело разговаривавших об удаче или озабоченно — о возможности провала. Я подходил к знакомым, расспрашивал их, но внутрь гимназического двора заглянуть боялся. Важное здание наводило на меня суеверно-почтительный страх. Мне казалось, что стоит мне войти в коридор, и я буду вновь во власти гимназического режима. Меня тут же захватит математик Сербинов, которого я особенно боялся, и проэкзаменует, несмотря ни на что. Когда экзамен по какому-нибудь предмету кончался и из дверей показывались синие учительские мундиры, я убегал с радостным сознанием, что через несколько минут — буду далеко от них, на полной свободе. И это сознание свободы переполняло меня радостью, бившей через край и искавшей какого-нибудь особенного выражения. Я был счастлив, предприимчив и великодушен. В это время я готов был все сделать, все уступить другим, оказать всякую услугу.

В таком настроении одной ночью, или, вернее, перед утром, мне приснилось, будто я очутился в узком пустом переулке. Домов не было, а были только высокие заборы. Над ними висели мутные облака, а внизу лежал белый снег, пушистый и холодный. На снегу виднелась фигурка девочки в шубке, крытой серым сукном и с белым кроличьим воротником. И казалось — плакала.

Я совсем ее не знал, и теперь мне даже не было видно ее лица. Но волна горячего участия к этой незнакомой девочке прилила к моему сердцу почти физическим ощущением теплоты, точно в грудь мне налили горячей воды. Я подошел к девочке и хотел что-то сказать, что-то сделать, чем-то помочь... Как это часто бывает во сне — я не знал, почему мне это не удавалось. Девочка уткнулась лицом в свой белый воротник и полуотвернулась. Мне была видна только часть розовой щеки и маленькое ухо. Но вообще — дело было не в наружности, а в чем-то особенном, сразу меня захватившем горячим участием. Казалось, я могу и должен что-то сделать, чтобы эта девочка не сидела на снегу в этом унылом пустыре и не плакала... Но я еще не догадался, что именно надо сказать и сделать, как уже проснулся...

Проснулся, переполненный тем же ощущением, как в то утро, когда мне приснился Бродский, который ночью уехал. О Бродском я теперь не вспоминал, но на

душе была та же разнеженность и та же особенная боль. Некоторое время, как и тогда, я не узнавал своей комнаты: в щели ставен лились яркие, горячие лучи весеннего солнца, и это казалось мне несообразностию: там, на дворе, теперь должна бы быть зима с пушистым снегом, а иначе... иначе, значит, нет на свете и девочки в серенькой шубке с белым воротником. А если ее нет... Сердце у меня сжималось, в груди все стояло ощущение заливающей теплоты, в душе болело сознание разлуки, такое сильное, точно я опять расстался с живым и близким мне человеком.

Когда я поднялся в это утро — все обычное и повседневное представлялось мне странно чужим, и мне все казалось, что хотя теперь не зима, а лето, но я все же могу еще что-то исправить и что-то сделать, чтобы разыскать девочку, таким беспомощным, одиноким пятнышком рисовавшуюся на снегу в незнакомом мне пустыре. Нет ли где-нибудь такого переулка в нашем городе? Не нужно ли мне идти туда, не найду ли я там эту самую девочку? Неужели я потерял навсегда это странное видение, которое отозвалось таким явственным, сильным, прямо реальным ощущением во всем моем существе.

День был воскресный. Ученики должны быть у обедни в старом соборе, на хорах. С разрешения гимназического начальства я обыкновенно ходил в другую церковь, но этот раз меня потянуло в собор, где я надеялся встретить своего соседа по парте и приятеля Крыштановича, отчасти уже знакомого читателям предыдущих моих очерков. Это был юноша опытный и авторитетный, и я чувствовал потребность излить перед ним свою переполненную душу.

Когда служба кончилась, мы вышли вместе. Мой приятель был свободен, как и я. Меня освободили от экзаменов, его вовсе не допустили, и он собирался поступить в телеграфисты. Теперь он располагал собою, с полною беззаботностию наслаждаясь весной.

— Что ты сегодня какой-то... странный? — спросил он.— Точно хватил уксусу вместо чаю. Пойдем куда-нибудь?

— Пойдем.

— Хочешь во Врангелевку?

— Н-нет. Видишь ли. Мне хочется ходить по городу...

— Зачем?

— Я и сам, брат, не знаю зачем. Но... ты только не смейся, так я тебе, пожалуй, расскажу...

И я на ходу рассказал ему свой сон.

Мой приятель выслушал мой рассказ не только без смеха, но с большим и серьезным вниманием.

— А ты в сны веришь? — спросил он.

— Н-нет... не верю.

Я действительно в сны не верил. Спокойная ирония отца вытравила во мне ходячие предрассудки. Но этот сон был особенный. В него незачем было верить или не верить: я его *чувствовал* в себе... В воображении все виднелась серая фигурка на белом снегу, сердце все еще замирало, а в груди при воспоминании переливалась горячая волна. Дело было не в вере или неверии, а в том, что я не мог и не хотел примириться с мыслью, что этой девочки совсем нет на свете.

— А я верю,— сказал Крыштанович с убеждением.— Сны сбываются очень часто. Мой отец тоже видел мою мать во сне задолго до того, как они познакомились... Положим, теперь всё ругаются, а все-таки... Постой-ка.

Он остановился, подумал, наморщив лоб, и сказал решительно:

— Я знаю такой переулок, и там у меня есть знакомая девочка. Может, как раз она. Пойдем.

Мой приятель не тратил много времени на учение, зато все закоулки города знал в совершенстве. Он повел меня по совершенно новым для меня местам и привел в какой-то длинный, узкий переулок на окраине. Переулок этот прихотливо тянулся несколькими поворотами, и его обрамляли старые заборы. Но заборы были ниже тех, какие я видел во сне, и из-за них свешивались густые ветки уже распустившихся садов.

— Правда, похоже? — сказал мой приятель с торжеством.

— Немного похоже, но... нет, не то. Там только заборы и небо. А здесь сады.

— Дурак. Ведь то было зимою... Какие же сады. А теперь весна.

В одном месте сплошной забор сменился палисадником, за которым виднелся широкий двор с куртиной, посередине которой стоял алюминиевый шар. В глубине виднелся барский дом с колонками, а влево — неогороженный густой сад. Аллеи уходили в зеленый сумрак, и на этом фоне мелькали фигуры двух дево-

чек в коротких платьях. Одна прыгала через веревочку, другая гоняла колесо. На скамье под деревом, с книгой на коленях, по-видимому, дремала гувернантка.

— Поднимись сюда, посмотри,— сказал Крыштанович. Мы оба взялись руками за балясины, и некоторое время двое юных бродяг смотрели с улицы в маленький тенистый рай.

— Ну что, похожи? — спросил Крыштанович.

— Н-нет,— ответил я. Мне самому так хотелось найти свою незнакомку, что я бы с удовольствием пошел на некоторые уступки... Но... я бы не мог объяснить, что именно тут другое: другое было ощущение, которым был обвеян мой сон. Здесь его не было, и в душе подымался укор против всякого компромисса.— Не то! — сказал я со вздохом.

— Дурак! — опять отрезал мой приятель.— Да ведь ты их еще не видел.

Он спустился с приступки забора и, заложив палец в рот, издал легкий, осторожный свист. Девочки насторожились, пошептались о чем-то, и старшая, как будто вдогонку за разбежавшимся колесом, перепорхнула по двору к тому месту, где мы стояли за забором, и тоже поднялась, держась за балясины. Увидев меня, она вдруг потупилась.

— Здравствуй, Зоя,— ласково сказал Крыштанович.— Можно зайти к вам, поиграть в саду?

— Нет, нельзя,— ответила девочка, опять окинув меня быстрым взглядом.

— Почему?

— Бабушка не позволяет. А это кто с тобой?

— Это мой товарищ... Почему не позволяет?

— Она говорит, что ты шалун и невоспитанный мальчик. И что на свист выбегают только горничные.

— А ты, дура, рассказала.

— Не я. Вера рассказала. Бабушка говорит: правда? Я говорю: правда.

— Дуры вы обе! Я сам, когда так, не стану ходить.

Девочка посмотрела на нас, задумавшись.

— Погоди! Я попрошу бабушку. Скажу: пришли двое. Как было бы весело,— прибавила она с сожалением.

— Не надо. Скажи своей бабушке, что... сама она невоспитанная. Вот что! Скажешь?

— Нет, не скажу. А твоего товарища как зовут?

— Не твое дело. Иди целуйся со своей бабушкой. Пойдем!

— Ну что, похожа? — спросил он, когда мы отошли на некоторое расстояние. Девочка все еще смотрела нам вслед, держась руками за палисадник.

— Нисколько не похожа.

— Тогда, значит, младшая. Хочешь — позову. Ух, шустрая девчонка!

— Нет, нет, пожалуйста, не зови. Это не та.

— Почему же ты знаешь? Постой, у той, твоей, какое лицо?

— Лицо?..

Я оказался в большом затруднении, так как лица приснившейся мне девочки я совсем не видел... Я мог вспомнить только часть щеки и маленькое розовое ухо, прятавшееся в кроличий воротник. И тем не менее я чувствовал до осязательности ясно, что она была не такая, как только что виденная девочка, и не «шустрая», как ее младшая сестра.

— А может, и у них есть серые шубки? — сделал Крыштанович еще одно предположение, но я решительно пошел из переулка... Крыштанович, несколько разочарованный, последовал за мною: он совсем было поверил в пророческое значение моего сна. А подтверждение таких таинственных явлений всегда занимательно и приятно.

Несколько дней я носил в себе томящее, но дорогое впечатление своего видения. Я дорожил им и боялся, что оно улетучится. Засыпая, я нарочно думал о девочке, вспоминал неясные подробности сна, оживлял сопровождавшее его ощущение и ждал, что она появится вновь. Но сны как вдохновение: не всегда являются на преднамеренный зов.

Начиналось то, чего я боялся: образ девочки в сером постепенно бледнел. Мне было как-то жгуче жаль его, порой это было похоже на угрызения совести, как будто я забываю живого друга, чего-то от меня ожидающего. Но дни шли за днями — образ все больше расплывался в новых впечатлениях, удалялся, исчезал.

Между тем передо мной мелькали живые фигуры моих сверстниц — и я уже делал различие между знакомыми мальчиками и девочками.

Это вообще начинается очень рано. Помню, когда мне было лет семь или восемь, в пансионе пани Окрашевской училась со мной девочка, дочь местного кон-

дитера. Ее, вероятно, много кормили сладкими печеньями, и она сама была как горячая булочка: легко краснела, охотно смеялась и легко плакала. Она иной раз за уроком обращалась ко мне с вопросами, и я всегда отвечал охотно и просто. Но когда в перемену начинались игры, она всегда старалась сесть около меня, обнять меня за шею или взять за руку. И это мне тогда было неприятно. Раз она села рядом со мной, а я тотчас пересел в другое место. Она тотчас же перебежала за мной, и я опять пересел. Другие девочки засмеялись, а она вся покраснела и заплакала. Я видел, что очень обидел ее, но плохо понимал, почему это так вышло...

Потом я уже не делал таких грубостей и даже вел себя кавалером. Из среды девочек и девушек, которых всегда бывало много в соседнем доме Коляновских, я выделял уже красивых или, вернее, таких, которые мне казались симпатичными. Из них особенно вспоминаю одну; у нее был немного кривой бок, и она слегка хромала. Но зато в голубых глазах ее было столько доброты и печали, что я всегда старался сделать ей что-нибудь приятное. Она заметила мою тихую преданность и однажды, тронутая каким-то ее проявлением, поцеловала меня. Мне это было очень приятно.

Когда отца перевели из Житомира в Дубно, мы поехали к нему на каникулы. Сестра с матерью приезжали туда и ранее нас, и здесь у сестры завязалась дружба с девочкой, немного старше ее. У этой девочки было красивое уменьшительное имя Люня, ровные черные брови и бархатные, наивно-задумчивые глаза. Однажды мне пришлось провожать ее домой под вечер, и на нас напали собаки. Я обнаружил при этом чудеса храбрости, и, когда благополучно доставил свою даму, она с милым восхищением рассказывала об этом матери. Я чувствовал себя гордым и счастливым, когда ее бархатные глаза при прощании глядели на меня с опасением:

— А вы не боитесь, что они опять на вас бросятся? И еще их больше?..

Она говорила по-польски: «A pan sie nie boi?»,— и это звучало в отношении ко мне еще уважительнее.

Я, разумеется, не боялся. Наоборот, идя по широким темным улицам и пустырям, я желал какой-нибудь опасной встречи. Мне так приятно было думать, что Люня еще не спит и, лежа в своей комнате с закрытыми ставнями, думает обо мне с опасением и участием.

А я ничего не боюсь и иду один, с палкой в руке, мимо старых, обросших плющами стен знаменитого дубенского замка. И мне приходила в голову гордая мысль, что я, должно быть, влюблен.

Но этого в действительности не было. По отъезде из Дубно обратно в Житомир я почти весь год провел в бродяжничестве по окрестностям и как-то слишком скоро забыл и Люню, и ее черные глаза, и даже собственную необыкновенную храбрость...

В Ровно у сестры тоже были подруги, с которыми мне приходилось встречаться.

Однажды я лежал на траве в запущенном углу нашего сада в особенном настроении, которое в этом сонном городишке находило на меня довольно часто. Хотелось что-то сделать, и казалось, что что-то нужно и можно сделать, но трудно было определить, что именно. А то, что приходило в голову и за что я принимался, не удовлетворяло меня, потому что я ничего не умел. И я лежал с какими-то смутными, лениво проползавшими в голове мыслями, глядя, как над головой по синим пятнам неба между зеленой листвой проползают белые клочья медленно тающих облаков.

Вдруг вблизи послышалось легкое шуршание. Я оглянулся и увидел в двух шагах, за щелеватым палисадом, пеструю фигуру девочки-подростка, немного старше меня. В широкую щель глядели на меня два черных глаза. Это была еврейка, которую звали Итой; но она была более известна всем в городе как «Басина внучка».

Бася была пожилая еврейка, торговавшая кружевами и полотнами. Иной раз она приходила и к нам с небольшим коробом, но всегда это имело такой вид, как будто Бася приходит не для барыша, а делает одолжение своим добрым знакомым. Мать часто сажала ее за стол и угощала чаем, причем Бася держалась очень просто и как-то респектабельно, с сознанием своего достоинства. В лице ее, сохранившем следы красоты, было что-то тонкое, почти аристократическое. Внучка ее, Ита, была смуглянка восточного типа, и бабушка одевала ее, как странную куколку, в яркие кофты и платья, вышитые причудливыми узорами и блестками; на шее и груди бренчали и звенели нитки кораллов, жемчуга, серебряных монет и медальонов... Говорили, что Бася очень богата, происходит из знатного еврейского рода и готовит внучке судьбу, не совсем обычную для еврейских девочек. Иногда Бася брала ее с собой

в дома покупателей. Тогда маленькую еврейку ласкали и угощали конфетами.

Увидев ее теперь так близко, я быстро поднялся с травы.

— Я вас разбудила? Вы спали? — спросила она спокойно.

— Нет, я не спал,— ответил я с легким смущением.

— А я хотела посмотреть, нет ли в саду вашей сестры. Вы знаете, мы с нею познакомились, когда вас еще здесь не было.

Я ответил, что слышал от сестры об этом знакомстве, и вызвался разыскать ее.

— Да, пожалуйста, позовите ее. Мне очень нужно. Сейчас. Скажите: Басина Ита скажет ей большой секрет.

Она говорила уверенно, и эта своеобразная фигурка в пестром богатом наряде показалась мне чем-то вроде принцессы из фантастической восточной сказки, привыкшей отдавать приказания. Действительно, и Бася, и ее внучка пользовались особым почетом среди единоверцев. Впоследствии, когда я прочел «Айвенго», фигура Ревекки сразу слилась для меня с воспоминанием о Басиной Ите. В то время я еще «Айвенго» не читал, тем не менее вежливо поклонился и тотчас же отправился исполнять ее приказание... После этого я не раз встречался с нею на улицах и всякий раз почтительно кланялся, а она отвечала снисходительным кивком головы, а порой взглядом черных глаз, в котором светилась некоторая благосклонность.

Не знаю, какие именно «большие секреты» она сообщила сестре, но через некоторое время в городе разнесся слух, что Басина внучка выходит замуж. Она была немного старше меня, и восточный тип делал ее еще более взрослой на вид. Но все же она была еще почти ребенок, и в первый раз, когда Бася пришла к нам со своим товаром, моя мать сказала ей с негодующим участием:

— Бася, Бася! Да вы с ума сошли! Разве можно выдавать замуж такого ребенка?

Старая еврейка уверенно и спокойно отразила нападение:

— У нас, евреев, это делается очень часто... Ну и, опять, нужно знать, за *кого* она выйдет. А! Ее нельзя-таки отдать за первого встречного... А такого жениха тоже на улице каждый день не подымешь, когда его дед, хасид такой-то, приезжает в какой-нибудь город, то

около дома нельзя пройти... Приставляют даже лестницы, лезут в окна, несут больных, народ облепляет стены, чисто как мухи. Забираются на крыши... А внук... Ха! Он теперь уже великий ученый, а ему еще только пятнадцать лет...

Дом Баси, в котором помещался лучший заезжий двор, был недалеко от нас. Однажды я шел в гимназию с «большой перемены» и увидел, что к этому дому подъехала коляска и из нее вышло четыре еврея. Все они были одеты как-то особенно: на них были шелковые кафтаны старинного покроя, на головах — шапки вроде беретов, а необыкновенно длинные закрученные пейсы свешивались впереди по бокам головы. Особенное внимание обращали на себя двое: мужчина средних лет, с застывшим красивым лицом, и белокурый юноша. Остальные почтительно выводили их из коляски под руки и выказывали особые знаки почтения. Около дома стояла кучка евреев, которые в почтительном молчании следили за приезжими. Из их разговоров я понял, что это привезли жениха Иты.

Во мне шевельнулось чувство внезапного острого сожаления. Как — этот худосочный юноша, с жидкими, выцветшими пейсами, с нездоровым, желтым цветом точно налитого лица и тусклым взглядом — жених красавицы Иты... Я понял негодующий возглас моей матери и почувствовал, что совершается какая-то непоправимая роковая жестокость. Очевидно, жених был хасид, убивший молодость за бессмысленной, отупляющей зубрежкой талмуда и доведенный этим учением почти до идиотизма. Сходя со ступенек коляски, он запнулся. Его поддержали, но и затем, идя на крыльцо, он путался в длинных полах лапсердака своими жидкими слабыми ногами.

В кучке зрителей раздался тихий одобрительный ропот. Насколько я мог понять, евреи восхищались молодым ученым, который от этой великой науки не может стоять на ногах и шатается, как былинка. Басе завидовали, что в ее семье будет святой. Что удивительного: богатым всегда счастье...

Я шел в гимназию, охваченный чувством сожаления. И еще что-то особенное, как туманное, отдаленное воспоминание, шевелилось в душе, к чему-то взывая, чего-то требуя, напоминая о чем-то.

Это было ощущение беспредметное, бесплодное, смутное, скорее намек, чем определенное чувство. То,

что совершалось в семье Баси, совершалось в каком-то другом, недоступном мне и безразличном для меня мире. Еще через некоторое время по улицам нашего городка слышны были своеобразные звуки еврейского оркестра, в котором преобладали флейты и кларнеты. Оркестр был превосходный, привезенный из другого города. Играли какой-то особенный марш — медленный, ровный, размеренный и торжественно-печальный. За оркестром, густо окруженная толпой, шла Басина Ита и ее ученый жених. Лица ее я не видел, и только на одно мгновение мне мелькнула как будто часть смуглой щеки — и тотчас же исчезла за мерно и густо двигавшейся толпой.

Это была свадьба, совершаемая с соблюдением всех старинных обычаев. Венчали перед синагогой на площади, в сумерки. Над женихом и невестой держали богатый балдахин... Читали молитвы, пили вино, и жених, бросив на пол рюмку, топтал ее ногой...

И потом в тихий летний вечер, полусумеречный, полупронизанный светом луны, на улицах опять слышались печально-торжественные звуки флейт и кларнетов и размеренный топот огромной толпы, в середине которой шла Басина Ита с своим ученым супругом.

В моей тогда беззаботной душе отложилась на время легкая смутная печаль. Мне было как-то странно думать, что вся эта церемония, музыка, ровный топот огромной толпы,— что все это имеет центром ту маленькую фигурку и что под балдахином, колеблющимся над морем голов, ведут ту самую Басину внучку, которая разговаривала со мной сквозь щели забора и собиралась рассказать сестре свои ребяческие секреты. Теперь она уносит эти секреты, или, вернее — ее вместе с ними уносят эти ровные стихийные волны, и в них есть что-то неумолимое и грозное... Хотя все это совершается под звуки музыки, мягкой, ласкающей, торжественной и печальной...

Вскоре Басина внучка уехала навсегда из нашего города к знаменитой родне своего высокоученого супруга; сама Бася еще оставалась. Когда мать порой спрашивала, как живет Ита,— старая еврейка делала важное лицо и отвечала:

— Ну чего еще надо! Такие зна-менитые лю-ю-ди! Святые!

Не скажу, чтобы впечатление от этого эпизода было в моей душе прочно и сильно; это была точно легкая

тень от облака, быстро тающего в ясный солнечный день. И если я все-таки отмечаю здесь это ощущение, то не потому, что оно было сильно... Но оно было в известном тоне, и этой душевной нотке суждено было впоследствии зазвучать гораздо глубже и сильнее. Вскоре другие лица и другие впечатления совершенно закрыли самое воспоминание о маленькой еврейской принцессе.

Рядом с нашим двором, отделенный только низеньким заборчиком, стоял дом «городничего» Дембицкого. Это был последний на моей памяти представитель городнического звания, так как эта должность вскоре была совершенно упразднена. Дембицкий был человек необыкновенно толстый; в парадных случаях он надевал фрачный мундир, какой теперь можно видеть только в театре, когда дают «Ревизора», высокие сапоги с лакированными голенищами и треуголку. У этого мастодонта была дочка одного со мной возраста, веселая и очень бойкая. У нее были прекрасные большие серые глаза, вздернутый носик и слишком большие губы, всегда готовые к улыбке. Она, в сущности, была некрасива, и я отлично заметил это. Но было в ее лице что-то открытое, доброе, веселое и привлекательное. Она то и дело влетала к нам, хватала сестру, отводила куда-нибудь в сторону, и здесь у них начинались хохот, «секреты», какие-то символические знаки и недомолвки, имевшие явною целью заинтересовать нас, «мальчиков», если мы были поблизости. Мне она нравилась, между прочим, и тем, что первая стала называть меня по имени-отчеству, как взрослая девица взрослого кавалера. Ко мне она тоже благоволила и в «фантах» — когда приходилось, целовала без жеманства и несколько охотнее, чем это делается в игре «по приговору». Все это затрагивало меня гораздо сильнее, чем встреча с Итой, тон был другой: веселый, светлый, холодноватый, как лимонное мороженое в жаркий день. Мне опять казалось, что я немного влюблен, и опять я скоро увидел, что ошибался.

Однажды я, задумавшись, шел по двору, когда Маня Дембицкая окликнула меня по имени-отчеству.

— Вот это хорошо. Идет и не кланяется.

Я хотел ответить, по обыкновению, шуткой, но увиел, что она не одна. За низким заборчиком виднелись головы еще двух девочек. Одна — ровесница Дембицкой, другая — поменьше. Последняя простодушно

и с любопытством смотрела на меня. Старшая, как мне показалось, гордо отвернула голову.

— Позвольте вас познакомить,— полушутливо, полусерьезно продолжала Дембицкая.— Мои подруги Линдгорст.

Я вежливо приподнял фуражку. Мне нравилась эта церемония представления, кажется, тоже первая в моей жизни. Я на время остановился у забора, и мы обменялись с Дембицкой несколькими шутками. Младшая Линдгорст простодушно смеялась. Старшая держалась в стороне, и опять как-то гордо. Когда она повернула голову, что-то в ее красивом профиле показалось мне знакомо. Прямой нос, слегка выдавшаяся нижняя губа... Точно у Басиной Иты? Нет, та была гораздо смуглее, но красивее и приятнее...

— Как вам понравилась Лена? — лукаво спросила у меня Дембицкая при первой нашей встрече.

— Лена — это которая? — спросил я.

— Ну конечно, старшая.

— Не особенно.

— Ну, ну, не лицемерьте.

Я говорил совершенно искренно — она показалась мне суховато-надменной, и в ней не было того открытого веселья, которое теперь так нравилось мне в городнической дочке. Я сказал ей это.

— А вы, наоборот, понравились,— сообщила она лукаво, искоса глядя на меня своими серыми глазами.— Лена говорит, что приятно видеть в нашем городке такого воспитанного человека... Еще бы. Ведь вы «из губернии».

Я опять в первый раз услыхал, что я — «воспитанный молодой человек», притом «из губернии», и это для меня была приятная новость. В это время послышалось звякание бубенчиков. По мосту и затем мимо нас проехала небольшая тележка, запряженная круглой лошадкой; в тележке сидели обе сестры Линдгорст, а на козлах рядом с долговязым кучером — их маленький брат. Младшая обернулась в нашу сторону и приветливо раскланялась. Старшая опять надменно кивнула головой...

— Она очень красива и знает это,— сказала Дембицкая.

— Может быть,— ответил я равнодушно.

Подошла осень. Выпал первый снег. Моя мать и сестренка были у Линдгорстов и завязали знакомство.

Ждали ответного посещения. Матери условились, что это будет запросто, вечером.

И действительно, под вечер в субботу я зачем-то вышел в переднюю, когда открылась дверь со двора, повеяло холодком и запахом свежего снега, и вошла полная дама с двумя девочками и мальчиком. На девочках были шубки, крытые серым сукном, с белыми воротниками и белые шапочки из лебяжьих перьев. Я, как «воспитанный молодой человек», кинулся помогать им раздеваться. Когда старшая нагнулась, чтобы отстегнуть высокие калоши,— мне мелькнула при свете лампы покрасневшая от мороза щека и розовое ухо с сережкой. Когда она подняла лицо и сказала приветливо: «Благодарю вас»,— мне показалось, что это не та барышня, которую я видел у Дембицкой: ничего суховатого и надменного в ней не было. А было нечто другое, как будто смутно напоминавшее о чем-то...

Вечер прошел, как обыкновенно проходили такие вечера. В нашей тесной гостиной стояло старое пианино из тех, которые Тургенев называл «кислыми». Это было дешевое сооружение, издававшее дребезжащие звуки, под которые, однако, мы с большим оживлением отплясывали польку, вальс, «галопад» и кадрили. Потом, конечно, играли в прятки, в соседи, в птичку. Брались за руки и вертелись кругом с более или менее глупыми песнями, вроде:

Птичка улицей летает,
Кого встретит, всех считает,
А я себе в этом поле
Выбираю доброй волей...

Кольцо разрывалось, находившийся в центре его подавал кому-нибудь руку, остальные старались поскорее найти себе пару. Для игры нужно было нечетное число участников, и, значит, кто-нибудь оставался. Остававшийся давал «фант» и становился в середину.

Все эти маленькие невинные игры располагались так, что их главным содержанием являлось обнаружение взаимных симпатий, и на этой почве разыгрывались иногда полушутливые, а иногда и «серьезные» объяснения, поддразнивания, сценки ревности, ссоры, «измены», задевалось юное кавалерское или девичье самолюбие. Старшие смотрели, смеялись, поощряли.

В первый же раз, когда я остался без пары, с концом песни я протянул руку Мане Дембицкой. Во второй раз, когда осталась Лена, я подал руку ее сестре раньше,

чем она успела обнаружить свой выбор; и когда мы, смеясь, кружились с Соней, у меня в памяти осталось лицо Лены, приветливо протягивавшей мне обе руки. Увидев, что опоздала, она слегка покраснела и осталась опять без пары. Я пожалел, что поторопился... Теперь младшая сестра уже не казалось мне более приятной.

Когда в фантах я подвергся «цензуре», то среди разных мнений на одной записке оказалось мнение обо мне, изложенное по-французски en bon point[1]. Его в качестве «секретаря» громко прочитала Дембицкая и засмеялась. Я сразу угадал, что это мнение «панны Елены».

Весь этот вечер проходил оживленно и весело, а для меня в нем осталось несколько мелких, почти ничтожных эпизодов, значение которых выделилось даже не сразу, но которые остались в памяти навсегда. Так, когда играли в прятки, я наткнулся на кого-то из прятавшихся за дверью в темноватом углу отцовского кабинета. Когда я приоткрыл дверь, передо мной на полу сидела небольшая фигурка, отвернувшая голову. Нужно было еще угадать, кто это.

— Панна Елена,— сказал я нерешительно и ждал, пока она поднимет лицо. Она поднялась, отряхнула платье и подала мне руку. И лицо ее опять показалось мне новым, очень милым и приятным как-то по-особенному...

Под конец вечера послышалось на дворе побрякивание бубенцов. Это за Линдгорстами приехали лошади. Младшая стала просить у матери, чтобы еще остаться. Та не соглашалась, но когда подошла Лена и, протянув руки на плечо матери, сказала, ласкаясь: «Мамочка... Так хорошо!» — та сразу уступила и уехала с мальчиком, обещая прислать лошадь через полчаса.

Наконец этот «вечер» кончился. Было далеко за полночь, когда мы с братом проводили барышень до их тележки. Вечер был темный, небо мутное, первый снег густо белел на земле и на крышах. Я без шапки и калош вышел к нашим воротам и смотрел вслед тележке, пока не затих звон бубенцов...

Потом, повалившись в постель, я заснул как убитый.

Проснулся я необычно рано и в особенном настроении, как бы вне времени и пространства, по крайней мере — знакомого времени и знакомого пространства. Я не узнавал своей комнаты, ее стен, дверей, окон... Не

---

[1] Полностью *(фр.)*.— *Ред.*

мог вспомнить, где это я и когда именно проснулся. Отдельные черты личной жизни проносились точно в густом сумраке, мелькая, меняясь, исчезая и оставляя меня опять в пустой неопределенности. Мне кажется, я даже спрашивал себя: где я? кто я такой? с кем это я живу? что со мною случилось?.. Одно мгновение показалось, что я еще в Житомире... Туманное утро... Только что уехал Бродский? Или еще что-то?.. Приятное? Радостное? Или тяжелое и больное?

Наконец мне удалось установить прежде всего, что передо мной матово-тусклый прямоугольник, перекрещенный темными полосами,— окно; против него высокий темный предмет на белом фоне — железная печка. За этим выступили другие знакомые предметы комнатной обстановки, и я понял, где я. Я не в Житомире, а в Ровно; рядом со мной другая комната, где спят братья, дальше гостиная, потом спальня отца и матери... Но что же это случилось такое значительное и важное? Наяву или во сне? Что мне снилось сейчас и отчего в груди у меня и около сердца точно налито что-то горячее...

Я поднялся на своей постели, тихо оделся и, отворив дверь в переднюю, прошел оттуда в гостиную... Сумерки прошли, или глаза мои привыкли к полутьме, но только я сразу разглядел в гостиной все до последней мелочи. Вчера не убирали, теперь прислуга еще не встала, и все оставалось так, как было вчера вечером. Я остановился перед креслом, на котором Лена сидела вчера рядом со мной, а рядом на столике лежал апельсин, который она держала в руках.

Я остановился против этого кресла и несколько минут стоял неподвижно, с ощущением странного счастья и странной печали. Так вот что это было, важное и значительное, отчего моя грудь до сих пор залита какой-то дрожащей теплотой, а сердце замирает так странно и так глубоко. Я взял в руки апельсин, и никогда раньше я не думал, что простой апельсин может иметь такое особенное значение.

Воображение мое вдруг точно встрепенулось, как птица, и в памяти встал давно забытый детский сон: снег, темный переулок и плачущая девочка в серой шубке. Я подошел к двери, за которой вчера отыскал Лену. В этом уголке было несколько темнее, и я легко представил себе в сумраке темный комочек, как она сидела с опущенной головой, пока я ее не окликнул...

И я почувствовал, что та девочка моего детского сна, которую я видел зимой на снегу и которую уничтожило летнее яркое утро, теперь опять для меня найдена: она в серой шубке и вошла с первым снегом, а затем потонула в сумраке темного вечера под звон замирающих бубенчиков...

Да, это была она. В первое мгновение мне показалось даже, что у той девочки было то же самое лицо с красивым профилем и с тем же выражением в голубых глазах, которые вчера глядели на меня несколько раз с таким милым дружеским расположением. Я вспомнил, как она в игре протянула мне обе руки. А я... Как я мог отвернуться, не почувствовать, не предвидеть этого... Да, это, несомненно, она...

Только через несколько времени я припомнил во всех подробностях обстоятельства своего сна и то, что лица той девочки я не видел, о чем и говорил даже Крыштановичу. И странно, тотчас же исчезло из памяти и лицо Лены, и я не мог восстановить его так ясно, как вспоминал любое другое лицо: Мани Дембицкой, Люни, Басиной Иты, Сони. И это было мучительно — впоследствии не раз оно вдруг рисовалось передо мной с необыкновенной ясностью: красивый профиль, голубые глаза, волнистые кудри, спокойная улыбка. Но это бывало неожиданно, точно по капризу. Затем оно исчезало и не приходило на призывы памяти, как тот детский сон... И в это первое утро я уже испытал это странное ощущение, и с ним вместе стояло щемящее воспоминание о том, как я ее тогда потерял. А теперь...

Так я простоял в гостиной, перед креслом и апельсином, до полного рассвета, пока не пришла мать с горничной, чтобы привести все в порядок. Мать удивилась, застав меня уже одетого и странно мечтательного.

— Что ты тут делаешь? — спросила она с удивлением.

— Так... ничего,— ответил я, застыдившись, и быстро вышел, чувствуя, что мать провожает меня внимательным взглядом.

Я был способен — гимназия не могла захватить всех сил моего растущего ума. Я был подвижен, силен — и потребность движения не находила исхода в одних играх. Ощущение, что мне что-то нужно сделать и что я могу что-то сделать — хорошее, интересное, захватывающее, нужное,— достигало иногда во мне почти мучительного напряжения. Вероятно, от этого неиспользо-

ванного избытка сил мое воображение носилось в разных фантастических областях, занимательных, но бесплодных. Теперь это как будто разрешалось: раннее развитие воображения, парившего в мертвой тишине окружающей жизни, преждевременное и беспорядочное чтение сделали свое дело: я был влюблен — сразу, мечтательно и глубоко — на четырнадцатом году своей жизни.

Я ощущал в себе это новое чувство с ясностию почти физического ощущения. Оно залило своей особой окраской все остальные ощущения, точно это была только канва, ждавшая своего узора. И только теперь, казалось мне, она получала смысл, значение и красоту, и я спрашивал себя, как мог я жить до сих пор *без этого*. И как я смогу опять жить, если... если эта вторая девочка в серой шубке опять уйдет навсегда из моей жизни и пустая канва опять останется без узора... Нет, это не может случиться вторично, потому что... Я не знал почему, но все во мне противилось этой мысли. То было во сне. Теперь — это наяву, и я не потеряю ее... Мне вспомнилось, как вчера, в игре, она первая протянула мне обе руки... В ее взгляде мне чудилось что-то странно милое. Как будто действительно тогда это была она... И она знала, что мы тогда расстались, и мне это было так больно. А теперь — вот она возвратилась. И я ее не замечу.

Я попал во власть новой фантазии. До сих пор в мечтах я уже был польским рыцарем, казацким атаманом, гайдамацким ватажком и совершал подвиги в пустом пространстве и с неизвестною целью. Теперь у них оказалось нечто вроде центра: *она* была в опасности, *ее* похищали, а я гнался, побеждал, освобождал, вообще проделывал нечто вроде того, что впоследствии проделывали один за другим герои господина Сенкевича, только, конечно, с меньшим знанием истории и с гораздо меньшим талантом. Впрочем, теперь воображение часто выводило меня из областей исторического романтизма. Я представлял себя и ее в современной действительности и старался взвесить и оценить наши отношения. Она находит, что я — «воспитанный молодой человек», en bon point. Поэтому она отмечает меня, поэтому вчера она протянула мне руки... Мне нужно, чтобы она всегда протягивала мне свои руки и чтобы эти голубые глаза всегда глядели с таким же расположением. Значит, я должен быть «воспитанным моло-

дым человеком», ловким, находчивым, красивым, с хорошими манерами. Никогда до тех пор я не смотрелся в зеркало. Теперь произвел тщательный осмотр своей физиономии и остался крайне недоволен. Недоволен лбом, бровями, носом, торчащими врозь шершавыми волосами, всем ансамблем... Все это должно бы быть другое, и оно становилось другим в воображении. Молодой человек, которого я видел подходящим, разговаривающим с *нею*, спасающим *ее*, развлекающим *ее* интересными рассказами,— был тонок, гибок, грациозен, красив,— совсем не таков, как я в зеркале, и все-таки это был я... Оставалось что-то мое, и это было центром; только я выступал как бы в улучшенном издании. Я порой говорил ей такие интересные, веселые, остроумные вещи — опять-таки в воображении,— что сам готов был хохотать над ними, а порой бывал так трогательно чувствителен, что на глазах у меня навертывались слезы. Но увы! — наяву было далеко не так. Наяву я чувствовал, что я, в сущности, не тот, не гибкий, не тонкий, не ловкий, не грациозный; что у меня нет манер и что я вовсе не «благовоспитанный молодой человек» в ее смысле. И тогда я конфузился, и находчивость меня покидала...

Я не стану подробно описывать все мои маленькие радости, надежды, разочарования и огорчения. Было это давно, хотя... ведь это вечно новая сказка... К счастию или к несчастию, около этого времени в наш город приехал учитель танцев, и моя мать условилась с Линдгорст пригласить его для обучения детей совместно. Присоединились еще некоторые семьи. Нужна была большая квартира. Она нашлась у одного мелкого чиновника, умевшего хорошо обделывать свои дела, и с этих пор два раза в неделю мы являлись в эту квартиру. Жена чиновника играла на рояле, мосье Оливье, или Одифре — хорошенько не помню, но только господин с польским лицом и французской фамилией — ставил нас в позиции, учил ходить по комнате, садиться, кланяться, приглашать, благодарить. Мы с братом делали большие успехи в изящном хореографическом искусстве, и мною порой овладевала иллюзия, будто воображаемый *я* теперь начинает сливаться с реальным... Только подлое зеркало порой разрушало эту иллюзию... Но зато ее поддерживали ободряющие взгляды голубых глаз, и маленькие руки с милой благосклонностью протягивались мне в лансье и кадрилях.

Кажется, за это время я сильно глупел и, во всяком случае, терял непосредственность, воображая себя не тем, чем я был в действительности. В действительности я, кажется, был лучше того якобы щеголеватого фата, которым старался себя представить. Но я постоянно оглядывался на себя и сравнивал с другими. У одного из товарищей мне нравилась складка губ, у другого — походка, у третьего — сморщенные брови. И я старался так глядеть, так ходить, так морщить брови... *Она* читала французские книги и спросила у меня, люблю ли я французскую литературу. Я покраснел, но, конечно, не солгал: по-французски я не читал. Вскоре, однако, к моему удовольствию, среди старого книжного хлама на дне какого-то шкафа нашлась французская книжка с иллюстрациями. Я схватился за нее. Это был Поль де Кок. Я решил попробовать. Оказалось не очень трудно, и мы с младшим братом много хохотали, следя за приключениями трех молодых повес и одного воспитателя. Оказалось, однако, что к моей «благовоспитанности» этот роман прибавил немного, так как в нем слишком большую роль играли разные забавные происшествия, например... с клистирною трубкой.

Помню из этого времени один случай, когда на короткое время мое воображение как будто просветлело и в нем прорвалось наружу нечто непосредственное мое, как бы протестовавшее против насильственного режима «благовоспитанности» и «хороших манер». В нашей танцующей компании был один юный гимназистик, моложе меня. Он был первым учеником в своем классе, довольно, кажется, развитой, кое-что читавший и способный, но на вид это был совершенный медвежонок, смотревший всегда исподлобья. Его сестра училась танцам вместе с нами, и мать настояла, чтобы к этому изящному искусству приобщился также и сын. Тот долго противился, но наконец вынужден был согласиться. Мосье Одифре, или Оливье, долго выламывал ему ноги, выгибал талию, ставил в позицию, но все его усилия оказывались совершенно бесплодны. Мальчик оставался все тем же медвежонком, смотрел так же искоса не то угрюмо, не то насмешливо и, видимо, предоставлял мосье Одифре делать с собой что угодно, нимало не намереваясь оказывать ему в этих облагораживающих усилиях какое бы то ни было содействие... Это зрелище вызывало в нас, остальных, насмешливые взгляды и ус-

мешки, что, видимо, мучило его сестру, приобщившуюся к настроению грации и хороших манер.

Вероятно, за все это бедняге сильно доставалось дома, и в один прекрасный день он решительно взбунтовался. Когда мосье Одифре с сдержанной, но заметной саркастической улыбкой потребовал его участия в кадрили или лансье и мы все с интересом ждали его выступления соло — угрюмый юноша вдруг ринулся, точно сорвавшись с цепи, на середину зала, выделывая с видом героической решимости самые невозможные па; топтал каблуками, лягался направо, налево, назад, преуморительно мотая головой и размахивая руками. Хозяйка квартиры, сидевшая за фортепьяно, покатываясь от смеха, продолжала играть, все ускоряя темп, а танцор среди общего хохота продолжал дикий танец... Наконец, внезапно остановившись, он угрюмо тряхнул головой и сказал, обращаясь к мосье Одифре:

— Ну что, доволен? — и затем надел в передней шапку и пальто и вышел.

Все мы были чрезвычайно скандализированы. С урока шли мы обыкновенно вместе, в сопровождении, конечно, старших. Старшие шли сзади, мы чинно, благовоспитанно, парами — впереди. Я искоса любовался на красивый профиль Лены, на ее немного откинутую надменную головку и на уверенную плавную походку. Этот раз разговор, конечно, шел о невоспитанном юноше.

— Господи, что такое он танцевал? — сказала младшая Линдгорст, заливаясь искренним смехом.

— Танец диких вокруг костра,— сказал я.

Лена засмеялась и подарила меня взглядом, каким обыкновенно поощряла мои удачные шаги или изречения. Но у меня что-то слегка защемило в глубине совести. Инстинктивно я почувствовал, что говорю не свое, что, в сущности, этот медвежеватый мальчик, так своеобразно избавившийся от мучительного принуждения к танцам, к которым он не способен, и так мало обращавший внимания на наше мнение (в том числе и на мнение Лены) — мне положительно нравится и даже внушает невольное уважение...

Давно уже у меня выработалась особая привычка: вечером, когда все в доме стихало и я ложился в постель,— перед тем как заснуть, на границе забытья, в сумерках сознания и дремоты — я давал волю воображению и засыпал среди разных фантазий и приключений. Сначала я их выдумывал сознательно, потом они

тучей обступали меня, туманились, меркли и — опять прояснялись, уже во сне — те же самые или другие, еще интереснее и живее. С некоторых пор в эти минуты я вел с Леной воображаемые разговоры, по большей части довольно глупые и детски сентиментальные. Но этот раз воображение попало на более правильную дорогу. Эпизод с «танцем диких» запал куда-то в глубину моего мозга и тронул что-то лежавшее под налетом искусственной благовоспитанности. Когда я вспоминал свою остроту, мне становилось стыдно, и краска заливала невольно мое лицо.

Об этом я будто и заговорил с Леной в этот вечер, и слова у меня лились просто и задушевно. Я незаметно для себя и для нее взял ее за руку как товарища, и говорил о том, что все мы были не правы и тогда, когда злорадно следили за смешными неудачами нашего волчонка, и тогда, когда хохотали над его выходкой, вызванной, быть может, застенчивостью и желанием избавиться от бесполезных мучений... Я говорил, что молчаливо-уничтожающая ирония мосье Одифре, которая нам так импонировала, была, в сущности, возмутительна и что, наконец, мне стыдно за мою остроту, которая напрасно заслужила ее одобрение...

Должно быть, во сне я продолжал говорить еще долго и много в этом же роде, раскрывая свою душу и стараясь заглянуть в ее душу, но этого я уже не запомнил. Помню только, что проснулся я с знакомым ощущением теплоты и разнеженности, как будто еще раз нашел девочку в серой шубке...

Эта струя, однако, продолжения не имела. Весь склад наших встреч, взаимных визитов, игр и разговоров содействовал развитию влюбленности, но не дружбы, не откровенности, не таких душевных излияний. Кроме того, после следующего же урока танцев, который должен был быть последним, Лена тяжело заболела.

Уже во время самого урока у нее болела голова, а когда мы провожали их, по обыкновению, с урока домой, она сказала, что чувствует себя очень плохо и что, должно быть, это что-нибудь серьезное. Я с тревогой взглянул на нее. Лицо у нее горело, глаза глядели грустно, и говорила она серьезно, как взрослая. Дойдя до своих ворот, она обернулась, подала мне руку и сказала: «До свиданья... но, кажется, не скоро»... Рука была горяча, а горящие глаза ласково смотрели на мое

расстроенное лицо. Она казалась мне в эту минуту такой дорогой и близкой, как во время разговора во сне...

На следующий день стало известно, что Лена больна скарлатиной и что она еще простудилась, возвращаясь уже больной с последнего урока танцев.

Сношения между нашими домами прекратились. Порой, встречая ее брата или отца на улице, я спрашивал о здоровье Лены. Ничего еще сказать было нельзя. Ждали кризиса. По вечерам, когда движение на улицах стихало, я выходил из дому, шел по шоссе к шлагбауму, мимо дома Линдгорстов. На темную улицу глядели окна, задернутые занавесками. Порой в окне, где лежала больная, в щель неплотно сдвинутых гардин прокрадывался луч света, и мне казалось, что он устанавливает какую-то связь между мною, на темной улице, и комнатой, с запахом лекарств, где на белой подушке чудилось милое лицо, с больным румянцем и закрытыми глазами. Я ходил взад и вперед по улице, порой останавливаясь и подняв глаза кверху, молился, стараясь горячим сознанием «личного обращения» к богу пробить мутный полог оттепельного зимнего неба.

Так прошло несколько вечеров. Погода стала меняться. Вместо мутной зимней слякоти наступили легкие морозы, вечера становились светлее, на небе искрились звезды, и серп луны кидал свой мечтательный и неверный свет на спящие улицы, на старые заборы, на зеленую железную крышу дома Линдгорстов, на бревна шлагбаума и на терявшуюся в сумраке ленту шоссе. Говорили, что эта перемена погоды благоприятна для кризиса болезни. Я не смел думать, что это подействовала моя молитва, но какое-то теплое чувство охватило меня однажды в тихий вечерний час на пустой улице с такою силой, что я на некоторое время совершенно забылся в молитве. Когда я очнулся, то увидел в пяти-шести шагах от себя две женские фигуры. Это две бедные девушки, дополнявшие, как кажется, свой скудный заработок случайным промыслом на улице. Они бродили долго, вероятно удивляясь, что и я хожу взад и вперед без видимой цели. Я очнулся от их шепота.

— Молится,— с удивлением сказала одна, и, постояв еще несколько секунд, они пошли своим путем, делясь какими-то замечаниями. А я стоял на улице,

охваченный особенным радостным предчувствием. Кажется, это была моя последняя молитва, проникнутая живой непосредственностью и цельностью настроения. Мне вспомнилась моя детская молитва о крыльях. Как я был глуп тогда... Просил, в сущности, игрушек... Теперь я знал, о чем я молился, и радостное предчувствие казалось мне ответом...

Лена действительно выздоровела, и это мое предчувствие оправдалось, но зато в моем маленьком до сих пор безмятежном романе наступил кризис, для меня далеко не благоприятный. Я был страшно счастлив, когда в первый раз, заслышав знакомое треньканье бубенчиков и подбежав к своим воротам, увидел, что в тележке опять сидят обе Линдгорст. Младшая опять радостно поклонилась мне, но когда Лена повернулась ко мне с приветливым поклоном, мне показалось, что лицо у нее сильно изменилось: она стала еще красивее с отрастающими волнистыми волосами, черты были те же, но в них появилось что-то новое, как будто она стала взрослее и серьезнее.

Было это уже весной, подходили экзамены, наши вечера и танцы прекратились, потом мы уехали на каникулы в деревню. А когда опять подошла осень и мы стали встречаться, я увидел, что наша непрочная взаимная симпатия оказалась односторонней. Задатки этой драмы были даны вперед. Мы были одногодки. Я перешел в пятый класс и оставался по-прежнему мальчишкой, а она стала красивым подростком пятнадцати лет, и на нее стали обращать внимание ученики старших классов и даже взрослые кавалеры.

Я почувствовал себя глубоко несчастным... Однажды, на одном из наших вечеров, появился мой товарищ Колотковский. Это был малый очень добрый, очень поверхностный и легкомысленный, с которым мы были довольно дружны. Но когда он в первый раз пустился танцевать мазурку, то оказалось, что этот маленький верткий разбойник сразу затмил всех нас, учеников мосье Одифре. Он выделывал ногами такие изумительные штуки, и притом с такой удалой грацией и непринужденностью, что даже старшие толпились по стенам и заглядывались на юного танцора. Сначала я тоже с искренним восхищением смотрел на своего ловкого товарища, пока в какой-то фигуре Лена,

с раскрасневшимися щеками и светящимся взглядом, подавая мне руки для какого-то кратковременного оборота, не сказала:

— Ах как он танцует! Почему бы вам не танцевать так же...

Эта короткая фраза ударила меня, точно острие ножа. Я сразу почувствовал, как поверхностны и ничтожны были мои надежды: я не мог ни так танцевать, ни так кланяться, ни так подавать руку: это был прирожденный талант, а у меня — только старательность жалкой посредственности. Значит... я неизбежно обману ее ожидания, вернее, она уже видит, что во мне ошиблась.

Но Колотковский все-таки был только добрый малый, шансы которого ограничивались мазуркой. Настоящую ревность возбудил во мне другой мой товарищ, учившийся в одном классе со мной,— некто Мощинский. Это был сын богатого помещика-поляка, года на два старше меня, красивый блондин, с нежным, очень бледным лицом, на котором как-то особенно выделялись глубокие синие глаза, как два цветка, уже слегка опаленные зноем. Взгляд их был как-то спокойно-печален и ласков, и во всех манерах этого гимназиста сквозило какое-то мягкое, почти болезненное изящество. *Он не танцевал вовсе,* а между тем в первый же раз, как я увидел его на ученическом вечере, в клубе, рядом с Леной, я сразу почувствовал, что исключительно «благовоспитанный молодой человек», которого редко можно встретить в нашем городишке,— это именно он, этот хрупкий, но стройный юноша, с такой лениво-непринужденной грацией присевший на стул рядом с Леной. Мне хотелось утешить себя мыслью, что Мощинский, учившийся довольно плохо,— в сущности, ограниченный барчук, изнеженный и неспособный. Но тотчас же я почувствовал, что это неверно: в сущности, я совсем не знал его, и уже то, что его нелегко было разгадать, делало его интересным и оригинальным. И я скоро сказал себе, что он мне самому решительно нравится и что в нем есть, как свое, прирожденное, настоящее — то самое, за чем я гнался напрасно, как напрасно воображал себя польским рыцарем или героем гайдамацких набегов... И я даже сблизился с ним одно время, совершенно искренно восхищаясь неуловимым изяществом его взгляда, речи, всего обращения... Он относился ко мне, как и ко всем, просто и ласково, но

под этой лаской чувствовалось не то доброжелательное равнодушие, не то какой-то недосуг. Он и не знал, что я считаю его опасным соперником, но вскоре он получил такой шанс, который делал всякое соперничество смешным. Он заболел скоротечной чахоткой и через два месяца умер.

В городе говорили, что он был влюблен в Лену, что его отец сначала не хотел слышать об этой любви, но потом дал согласие: года через два Мощинский должен был оставить гимназию и жениться. Но все это были, кажется, пустые толки, которым отчасти содействовал отец Лены, человек несколько легкий и гордившийся дочерью...

В прекрасный зимний день Мощинского хоронили. За гробом шел старик отец и несколько аристократических господ и дам, начальство гимназии, много горожан и учеников. Сестры Линдгорст, с отцом и матерью, тоже были в процессии. Два ксендза в белых ризах поверх черных сутан пели по-латыни похоронные песни, холодный ветер разносил их высокие голоса и шевелил полотнища хоругвей, а над толпой, на руках товарищей, в гробу виднелось бледное лицо с закрытыми глазами, прекрасное, неразгаданное и важное.

Я тоже шел за гробом и чувствовал себя глубоко несчастным. Мне было искренно жаль Мощинского, и, кроме того, в душе стояла какая-то пустота, сознание своего ничтожества перед этой смертью. Я не мог умереть от любви так, как умер он, да, правду сказать, и не хотел этого. Иной раз, положим, в воображении я даже умирал, ради последовательности действия, но всякий раз так, чтобы каким-нибудь способом опять воскреснуть... Я был крепок, здоров, все мне давалось легко, но инстинктивно я чувствовал, что душа моя запуталась в каких-то бездорожьях, в погоне за призраками и фантазиями. Самый милый из этих призраков — была девочка в серой шубке, которую я когда-то потерял во сне, а теперь теряю уже наяву. Вот она идет недалеко, с этим знакомым лицом, когда-то на минуту осветившимся таким родственным приветом, а теперь опять почти незнакомая и чужая. А я отказываюсь от воображаемой своей личности — изящного молодого человека — и остаюсь... с чем же? Что я такое? Что из меня может выйти? К чему мне стремиться и что из себя сделать?..

Все это я скорее чувствовал в глубине души, как спутанный комок ощущений, чем сознавал в таком оформленном виде. Моя маленькая драма продолжалась: я учился (неважно), переходил из класса в класс, бегал на коньках, пристрастился к гимнастике, ходил к товарищам, вздрагивал с замиранием сердца, когда в знойной тишине городка раздавалось болтливое шарканье знакомых бубенцов, и все это время чувствовал, что девочка в серой шубке уходит все дальше... Чувство, очевидно, было упорно и глубоко: оно держалось года три и уходило только постепенно... Но долго еще оно держало меня в каком-то безвольном рабстве, превращаясь тоже в своего рода навязчивую идею.

Как я от него избавился, как постепенно начал опять находить себя и какую благодарную роль в этом процессе играла русская литература — об этом я расскажу еще в заключительных главах моей юности.

Теперь мне придется пригласить читателя в деревню, которая тоже играла важную роль в этой запутанной душевной истории.

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИККЕНСОМ

I

Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Коржениевского — произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать — авантюристский характер.

Я следовал в этом за моим старшим братом.

Он был года на два с половиной старше меня. В детстве это разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки

не отнимали. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть малый лучше читает книги». Брат получил «два злотых» (тридцать копеек) и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадями, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и больше все товар по тому времени ходкий: Дюма, Евгений Сю, Купер, тайны разных дворов и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь...

Брат и этому своему новому праву придал характер привилегии. Когда я однажды попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе, он вырвал ее у меня из рук и сказал:

— Пошел! Тебе еще рано читать романы.

После этого я лишь тайком, в его отсутствие, брал книги и, весь настороже, глотал страницу за страницей.

Это было странное, пестрое и очень пряное чтение. Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться с завязкой и потом следить за нею вразбивку. И теперь многое из прочитанного тогда представляется мне точно пейзаж под плывущими туманами. Появляются, точно в прогалинах, ярко светящиеся островки и исчезают... Д'Артаньян, выезжающий из маленького городка на смешной кляче, фигуры его друзей-мушкетеров, убийство королевы Марго, некоторые злодейства иезуитов из Сю... Все эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затем возникнуть уже в другом месте (в следующем томе), без связи в действии, без определившихся характеров. Поединки, нападения, засады, любовные интриги, злодейства и неизбежное их наказание. Порой мне приходилось расставаться с героем в самый критический момент, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тем роман еще не был кончен, и, значит, оставалось место для самых мучительных предположений. На мои робкие вопросы — ожил ли герой и что сталось с его возлюбленной в то время, когда он влачил жалкое существование со шпагой в груди,— брат отвечал с суровой важностью:

— Не трогай моих книг! Тебе еще рано читать романы.

И прятал книги в другое место.

Через некоторое время, однако, ему надоело бегать в библиотеку, и он воспользовался еще одной привилегией своего возраста: стал посылать меня менять ему книги...

Я был этому очень рад. Библиотека была довольно далеко от нашего дома, и книга была в моем распоряжении на всем этом пространстве. Я стал читать на ходу...

Эта манера придавала самому процессу чтения характер своеобразный и, так сказать, азартный. Сначала я не умел примениться как следует к уличному движению, рисковал попасть под извозчиков, натыкался на прохожих. До сих пор помню солидную фигуру какого-то поляка с седыми подстриженными усами и широким лицом, который, когда я ткнулся в него, взял меня за воротник и с насмешливым любопытством рассматривал некоторое время, а потом отпустил с какой-то подходящей сентенцией. Но со временем я отлично выучился лавировать среди опасностей, издали замечая через обрез книги ноги встречных... Шел я медленно, порой останавливаясь за углами, жадно следя за событиями, пока не подходил к книжному магазину. Тут я наскоро смотрел развязку и со вздохом входил к Буткевичу. Конечно, пробелов оставалось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасные дамы — все это каким-то вихрем, точно на шабаше, мчалось в моей голове под грохот уличного движения и обрывалось бессвязно, странно, загадочно, дразня, распаляя, но не удовлетворяя воображение. Из всего «Кавалера de Maison rouge» я помнил лишь то, как он, переодетый якобинцем, отсчитывает шагами плиты в каком-то зале и в конце концов выходит из-под эшафота, на котором казнили прекраснейшую из королев, с платком, обагренным ее кровью. К чему он стремился и каким образом попал под эшафот, я не знал очень долго.

Думаю, что это чтение принесло мне много вреда, пролагая в голове странные и ни с чем не сообразные извилины приключений, затушевывая лица, характеры, приучая к поверхностности.

II

Однажды я принес брату книгу, кажется сброшюрованную из журнала, в которой, перелистывая дорогой, я не мог привычным глазом разыскать обычную нить приключений. Характеристика какого-то высокого человека, сурового, неприятного. Купец. У него контора, в которой «привыкли торговать кожами, но никогда не вели дел с женскими сердцами»... Мимо! Что мне за дело до этого неинтересного человека! Потом какой-то дядя Смоль ведет странные разговоры с племянником в лавке морских принадлежностей. Вот наконец... старуха похищает девочку, дочь купца. Но и тут все дело ограничивается тем, что нищенка снимает с нее платье и заменяет лохмотьями. Она приходит домой, ее поят тепленьким и укладывают в постель. Жалкое и неинтересное приключение, к которому я отнесся очень пренебрежительно: такие ли приключения бывают на свете. Книга внушила мне решительное предубеждение, и я не пользовался случаями, когда брат оставлял ее.

Но вот однажды я увидел, что брат, читая, расхохотался как сумасшедший и потом часто откидывался, смеясь, на спинку раскачиваемого стула. Когда к нему пришли товарищи, я завладел книгой, чтоб узнать, что же такого смешного могло случиться с этим купцом, торговавшим кожами.

Некоторое время я бродил ощупью по книге, натыкаясь, точно на улице, на целые вереницы персонажей, на их разговоры, но еще не схватывая главного: струи диккенсовского юмора. Передо мною промелькнула фигурка маленького Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудля с железным крючком вместо руки... Нет, все еще неинтересно... Тутс с его любовью к жилетам... Дурак... Стоило ли описывать такого болвана?

Но вот, перелистав смерть Павла (я не любил описания смертей вообще), я вдруг остановил свой стремительный бег по страницам и застыл, точно заколдованный:

«— Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает...

— Вы не знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренса, опустив глаза в землю».

Читатель, вероятно, помнит дальше. Флоренса тоскует о смерти брата. Мистер Домби тоскует о сыне... Мокрая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в за-

плаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг дома, как будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидела одна в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах башни пробило полночь...

Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины — вся она встала передо мной как живая, бросая яркий свет на все прочитанное урывками до тех пор.

Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчика, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединение в этом месте, обвеянном грустью недавней смерти... И тоскливое падение дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных деревьев... И страшную тоску одиночества бедной девочки и сурового отца. И ее любовь к этому сухому, жесткому человеку, и его страшное равнодушие...

Дверь в кабинет отворена... не более, чем на ширину волоса, но все же отворена... а всегда он запирался. Дочь с замирающим сердцем подходит к щели. В глубине мерцает лампа, бросающая тусклый свет на окружающие предметы. Девочка стоит у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходит. Но луч света, падающий тонкой нитью на мраморный пол, светил для нее лучом небесной надежды. Она вернулась, почти не зная, что делает, ухватилась руками за половинки приотворенной двери и... вошла.

Мой брат зачем-то вернулся в комнату, и я едва успел выйти до его прихода. Я остановился и ждал. Возьмет книгу? И я не узнаю сейчас, что будет дальше. Что сделает этот суровый человек с бедной девочкой, которая идет вымаливать у него капли отцовской любви. Оттолкнет? Нет, не может быть. Сердце у меня билось болезненно и сильно. Да, не может быть. Нет на свете таких жестоких людей. Наконец, ведь это же зависит от автора, и он не решится оттолкнуть бедную девочку опять в одиночество этой жуткой, страшной ночи... Я чувствовал страшную потребность, чтобы она встретила наконец любовь и ласку. Было бы так хорошо... А если?

Брат выбежал в шапке, и вскоре вся его компания прошла по двору. Они шли куда-то, вероятно, надолго. Я кинулся опять в комнату и схватил книгу.

«...Если отец сидел за столом в углублении кабинета и приводил в порядок бумаги... Пронзительный ветер

завывал вокруг дома... Но ничего не слыхал мистер Домби. Он сидел, погруженный в свою думу, и дума эта была тяжелее, чем легкая поступь робкой девушки. Однако лицо его обратилось на нее, суровое, мрачное лицо, которому догорающая лампа сообщила какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение.

— Папа! Папа! Поговори со мной...

Он вздрогнул и быстро вскочил со стула.

— Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда?

Флоренса видела: он знал — зачем. Яркими буквами пламенела его мысль на диком лице... Жгучей стрелой впилась она в отверженную грудь и вырвала из нее протяжный, замирающий крик страшного отчаяния.

Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в воздухе, но не исчезнет и не замрет в тайниках его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!..»

Я стоял с книгой в руках, ошеломленный и потрясенный и этим замирающим криком девушки, и вспышкой гнева и отчаяния самого автора... Зачем же, зачем он написал это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Ведь он мог написать иначе... Но нет. Я почувствовал, что он не мог, что было именно так, и он только видит этот ужас, и сам также потрясен, как и я... И вот, к замирающему крику бедной одинокой девочки присоединяется отчаяние, боль и гнев его собственного сердца...

И я повторял за ним с ненавистью и жаждой мщения: да, да, да! Он припомнит, непременно, непременно припомнит это в грядущие годы...

Эта картина сразу осветила для меня, точно молния, все обрывки, так безразлично мелькавшие при поверхностном чтении. Я с грустью вспомнил, что пропустил столько времени... Теперь я решил использовать остальное: я жадно читал еще часа два, уже не отрываясь, до прихода брата... Познакомился с милой Полли, кормилицей, ласкавшей бедную Флоренсу, с больным мальчиком, спрашивавшим на берегу, о чем говорит море, с его ранней больной детской мудростью... И даже влюбленный Тутс показался мне уже не таким болваном... Чувствуя, что скоро вернется брат, я нервно глотал страницу за страницей, знакомясь ближе с друзьями и врагами Флоренсы... И на заднем фоне все время

стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обреченная ужасному наказанию. Завтра на дороге я прочту о том, как он наконец «вспомнит в грядущие годы»... Вспомнит, но, конечно, будет поздно... Так и надо!..

Брат ночью дочитывал роман, и я слышал опять, как он то хохотал, то в порыве гнева ударял по столу кулаком...

III

Наутро он мне сказал:

— На вот, снеси. Да смотри у меня: недолго.

— Слушай,— решился я спросить,— над чем ты так смеялся вчера?..

— Ты еще глуп и все равно не поймешь... Ты не знаешь, что такое юмор... Впрочем, прочти вот тут... Мистер Тутс объясняется с Флоренсой и то и дело погружается в кладезь молчания...

И он опять захохотал заразительно и звонко.

— Ну иди. Я знаю: ты читаешь на улицах, и евреи называют тебя уж мешигинер. Притом же тебе еще рано читать романы. Ну да этот, если поймешь, можно. Только все-таки смотри не ходи долго. Через полчаса быть здесь! Смотри, я записываю время...

Брат был для меня большой авторитет, но все же я знал твердо, что не вернусь ни через полчаса, ни через час. Я не предвидел только, что в первый раз в жизни устрою нечто вроде публичного скандала...

Привычным шагом, но медленнее обыкновенного, отправился я вдоль улицы, весь погруженный в чтение, но тем не менее искусно лавируя по привычке среди встречных. Я останавливался на углах, садился на скамейки, где они были у ворот, машинально подымался и опять брел дальше, уткнувшись в книгу. Мне уже трудно было по-прежнему следить только за действием по одной ниточке, не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на второстепенных лицах. Все стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движение, слово, жест врезывалось в память. Я невольно захохотал, когда мудрый капитан Бенсби при посещении его корабля изящной Флоренсой спрашивает у капитана Тутля: «Товарищ, чего хотела бы хлебнуть эта дама?» Потом разыскал объяснение

влюбленного Тутса, выпаливающего залпом: «Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте. Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, мисс Домби, а как ваше здоровье?..»

После этого, как известно, юный джентльмен сделал веселую гримасу, но находя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять веселую гримасу и наконец опустился в кладезь молчания, на самое дно...

Я, как и брат, расхохотался над бедным Тутсом, обратив на себя внимание прохожих. Оказалось, что провидение, руководству которого я вручал свои беспечные шаги на довольно людных улицах, привело меня почти к концу пути. Впереди виднелась Киевская улица, где была библиотека. А я в увлечении отдельными сценами еще далеко не дошел до тех «грядущих годов», когда мистер Домби должен вспомнить свою жестокость к дочери...

Вероятно, еще и теперь недалеко от Киевской улицы в Житомире стоит церковь св. Пантелеймона (кажется, так). В то время между каким-то выступом этой церкви и соседним домом было углубление вроде ниши. Увидя этот затишный уголок, я зашел туда, прислонился к стене и... время побежало над моей головой... Я не замечал уже ни уличного грохота, ни тихого полета минут. Как зачарованный, я глотал сцену за сценой без надежды дочитать сплошь до конца и не в силах оторваться. В церкви ударили к вечерне. Прохожие порой останавливались и с удивлением смотрели на меня в моем убежище... Их фигуры досадливыми неопределенными пятнами рисовались в поле моего зрения, напоминая об улице. Молодые евреи — народ живой, юркий и насмешливый — кидали иронические замечания и о чем-то назойливо спрашивали. Одни проходили, другие останавливались... Кучка росла.

Один раз я вздрогнул. Мне показалось, что прошел брат торопливой походкой и размахивая тросточкой... «Не может быть»,— утешил я себя, но все-таки стал быстрее перелистывать страницы... Вторая женитьба мистера Домби... Гордая Юдифь... Она любит Флоренсу и презирает мистера Домби. Вот, сейчас начнется... «Да, вспомнит мистер Домби...»

Но тут мое очарование было неожиданно прервано: брат, успевший сходить в библиотеку и возвращавший-

ся оттуда в недоумении, не найдя меня, обратил внимание на кучку еврейской молодежи, столпившейся около моего убежища. Еще не зная предмета их любопытства, он протолкался сквозь них и... Брат был вспыльчив и считал нарушенными свои привилегии. Поэтому он быстро вошел в мой приют и схватил книгу. Инстинктивно я старался удержать ее, не выпуская из рук и не отрывая глаз... Зрители шумно ликовали, оглашая улицу хохотом и криками...

— Дурак! Сейчас закроют библиотеку,— крикнул брат и, выдернув книгу, побежал по улице. Я в смущении и со стыдом последовал за ним, еще весь во власти прочитанного, провожаемый гурьбой еврейских мальчишек. На последних, торопливо переброшенных страницах передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем. У нее мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с детьми и смотрит на внучку с нежностью и печалью.

— Неужели они помирились? — спросил я у брата, которого встретил на обратном пути из библиотеки, довольного, что еще успел взять новый роман и, значит, не остался без чтения в праздничный день. Он был отходчив и уже только смеялся надо мной.

— Теперь ты уже окончательно мешигинер... Приобрел почетную известность... Ты спрашиваешь: простила ли Флоренса? Да, да... Простила. У Диккенса всегда кончается торжеством добродетели и примирением.

Диккенс... Детство неблагодарно: я не смотрел фамилию авторов книг, которые доставляли мне удовольствие, но эта фамилия, такая серебристо-звонкая и приятная, сразу запала мне в память...

Так вот как я впервые — можно сказать на ходу — познакомился с Диккенсом...

1912

ПОЛОСА

История одного молодого человека

Было очень темно. Холодный ветер гнал по небу бесформенные тучи. У высокого спуска к реке чуть-чуть выделялись в темноте очертания избушки, уже покину-

той перевозчиками, так как река встала, и только в середине слабо виднелась темная полынья в белых ледяных «заберегах». Далеко внизу, на полях за рекой неясно белели во мгле темной ночи широкие пятна недавно еще выпавшего снега. И теперь изредка ветер приносил колючие острые снежинки, от которых крыша перевозной избушки постепенно белела, выступая из темноты.

Можно было бы подумать, что берег совершенно пуст, если бы по временам от избушки не слышалось позвякивание колокольчика, да еще лошади, притихшие в темноте первой зимней ночи, изредка всхрапывали и фыркали от залетевших в ноздри снежинок. Издалека, снизу доносился треск мостков, проложенных через реку; очевидно, кто-то пробирался по ним осторожными шагами. В середине полыньи, невидимые в темноте, шуршали и бились о сваи мостков осенние льдины, оторванные от заберегов и уносимые быстрым течением.

Снег шел все гуще, и от этого небо становилось темнее, а высокий обрывистый берег светлел, и дальние поля за рекой, казалось, подымались, выплывая постепенно из темноты.

— А-а-у-у...— послышался на другой стороне чей-то призыв, приглушенный ветром и снегом.

— А-а-а-у-у... а-ба... у-у...— Кричавший произносил какие-то слова, но никто не откликался, и нигде не было видно огонька, не слышно лая собаки.

Одна из неровностей на обрыве, которая прежде могла бы показаться глыбой смерзшейся земли или камнем, вдруг зашевелилась. Человек, сидевший на четырехугольном ящике, поставленном на землю, поднял кверху голову, причем несколько снежинок упало ему на лоб и на лицо, потом, сняв баранью шапку, сплошь покрытую снегом, отряхнул измокшей рукой снег с кудрявых волос, хлопнул несколько раз шапкой о колено и опять надел ее на голову. Вероятно, он опять погрузился бы в прежнюю задумчивость, если бы в эту минуту совершенно неожиданно над обрывом не поднялась темная фигура ямщика.

— Мостки положены,— сказал он и стал отвязывать лошадей, намереваясь уехать. Усевшись в сани, он повернул пару и, остановив нетерпеливых лошадей, обратился к сидевшему:

— Как будешь инó?

— Что? — переспросил тот.

— Как ино будешь? Идти надо тебе.

— А? Да, пожалуй, надо. Как же я снесу ящик?

— А чижолый?

— Не очень, а все-таки одному трудно.

— Вишь, какó дело. Ах, будь он немилой, десятничек. Я чаю, придет, пособить-то.

Он привстал в санях и громко закричал:

— Десятни-и-к...

— А-о-о...— донеслось из-за снежного моря.

— Придет, видно,— предположил ямщик и, успокоившись на этом предположении, тронул лошадей. Колокольчик забрякал громко и резко и потом, будто спохватившись, что взял не в тон молчаливой ночи,— вдруг притих. Казалось, пара скрылась в густом лесу; ветер относил звон в сторону, а снег приглушал его. Ямщик все удалялся. По временам, когда ветер затихал, звон вдруг долетал яснее, и слышались удары полозьев по смерзшимся и не вполне закрытым снегом колеям, точно сани выезжали на прогалину; но тотчас же эти звуки опять замыкались, и от колокольчика оставалось только отдаленное треньканье, тихое, грустное... Все тише, все грустнее, точно воспоминание. Потом и оно стихло. Сидевшая на берегу фигура осталась одна. Снег усиливался с каждой минутой; теперь он повалил такой массой, что ветер, после нескольких попыток пробиться сквозь эту гущу, обессилел и затих; теперь уже и небо, и дальние поля — все потонуло, и только сруб избушки выступил из-под крыши темным пятном. А снежинки, одна за другой, неторопливо, тихо сыпались из темноты, без числа, без остановки, попадали на волосы, на воротник, на шею сидевшего на сундуке человека, таяли и стекали острыми струйками по спине... Он сидел неподвижно, чувствуя, что стоит ему пошевелиться, и снег посыпется всюду: за рукавицы, за воротник, на лицо...

Где-то в дальних сугробах за рекой мелькнул слабый огонек и погас, потом он вспыхнул опять и утвердился.

Кроме того, ему не хотелось нарушить овладевшего им настроения, которому он отдался на пустом берегу, у пустой избушки, над рекой, составляющей границу местности, куда он ехал... Он чувствовал, что эта река, этот обрыв, эта минута станут также и гранью в его жизни. Он не знал, давно ли ушел десятский разыски-

вать переправы и перевозчиков, давно ли уехал ямщик, давно ли побелела равнина, ранее утопавшая в беспросветной темноте... не знал, сколько времени просидел он неподвижно, пока его заносило снегом... Но и теперь еще, поднявшись и пожимаясь от холода, он не столько боялся расшевелить и обсыпаться снегом, сколько старался сберечь в душе смутные, только что пробежавшие по ней ощущения и то, что от них осталось в сердце. В эти минуты, пока темная ночь прояснялась и белела от снега, в его душе светило солнце и проносились далекие и близкие картины, и знакомые дальние голоса звучали у него в ушах, и кто-то плакал жалобным знакомым голосом, дорогим голосом его бедной матери, и кто-то тоже знакомый звал его куда-то, и сердце сжималось от боли; и слезы, и радость, и гордая уверенность, и темная грусть сменяли друг друга... И за радостью, и за горем, и за дорогими слезами, и за всеми грезами теперь он следил памятью, как мы следим порой за убегающими и утопающими на закате тучами, из которых недавно еще рвалась молния, и лился сверкающий благодатный дождь, и гремел гром, и которые потом золотило по разорванным краям яркое солнце, а теперь они расплываются и тают в сумраке вечера... И нам жаль, что они так быстро исчезли и что ночь близка...

А тут ночь не только близилась — она уже стояла кругом, и молодой человек смотрел с удивлением вокруг, стараясь припомнить, где он находится, и что с ним, и как он попал на этот пустой берег, к пустой избушке, с своим простым четырехугольным ящиком из белых досок, с крупной надписью, которую теперь легко было прочитать: «Сапожный инструмент».

Несколько секунд длилось странное состояние изумления. Ему казалось, что в его жизни произошел какой-то перерыв и что это, пожалуй, не он стоит здесь и смотрит на ящик с надписью «Сапожный инструмент». Откуда? Зачем ему сапожный инструмент? Как он попал сюда и действительно ли он видит эту избушку и кругом белую пелену снега, из-за которой слышно где-то внизу тихий шорох ледохода? Или это сон?

Вдруг две-три картины его раннего детства мелькнули в его памяти. Ночью, в теплой кроватке, он ищет в темноте руку матери. Нашел и страстно прижимается к ней лицом, покрывает ее поцелуями. «Спи, спи, мое

дитя!» — говорит мать и тихо проводит рукой по его щеке. И он опять засыпает...

Неужели это он?.. И он заснул и проснулся здесь, на пустом берегу среди темноты и холода, перед безвестною и нерадостной гранью, за которой ждет его неведомое будущее, тяжелые вопросы, а быть может, нужда и трудная борьба?.. А мать, еще за минуту рыдавшая над ним так близко и вместе откуда-то издалека, протягивавшая к нему руки. Что же это? Сон?..

Он вдруг выпрямился, резким движением опять снял шапку, вооружившись решимостью против посыпавшегося отовсюду снега, крепко ударил несколько раз шапкой об ящик, потом надел ее, глубоко, полной грудью вздохнул и улыбнулся чему-то в темноте. Он вспомнил все, и в его душе еще раз пронеслись только что пережитые ощущения, картины, только что населявшие его воображение. В них он нашел силу и бодрость для улыбки; он увидел, что от них, от этой минуты в его душе осталось что-то, что не утратится во всю жизнь. Это новое ощущение, которое залегло в глубине сердца, состояло в чудной смеси из грусти и радости, из запросов и уверенности в молодых силах, из сомнений и веры... Он посмотрел в том направлении, где лежал невидимый противоположный берег, и чувствовал, что глаза его загораются и сверкают навстречу неизвестному будущему, а грудь расширяется от желания помериться с ним. Только что пережитые мечты были молодые мечты и только что пережитая печаль — молодая печаль, от которой крепнет сердце, которая еще не разлагает душу бесформенной и беспредметной тоской. Он быстро подхватил свой ящик, который показался ему удивительно легким, и осторожно, но твердо стал спускаться по обрывистой тропинке. Поскользнувшись, он только улыбался; улыбался, ступая по узким доскам. На середине реки, где чернела струя полыньи, он остановился отдохнуть. Льдины ударялись в тонкие жерди, на которых были положены доски мостков, и утлый мост покачивался и вздрагивал.

Молодому человеку это доставляло наслаждение. Он посмотрел вокруг: высокий берег чуть-чуть виднелся в вышине, и избушка с черными стенами и белой крышей, казалось, плавала где-то под облаками. А внизу бежала темная глубь и мостик дрожал и шатался. А он не дрожит. Если бы «она» могла его увидеть... теперь, в эту ночь, если бы он ей хоть приснился именно в эту

минуту, и «она» увидела бы, что он не боится, что он бодр и уверен в себе, что его шаги тверды...

И он бодро пошел опять навстречу десятскому, который успел разыскать избушку в $^1/_4$ версты и забеспокоился долгим отсутствием порученного ему исправником молодого спутника. Он с неудовольствием оставил теплую избу и шел, утопая в сугробах и крича. Молодой человек улыбался и шел молча: он полагал, что эгоистический вотяк, так быстро скрывшийся с его подушкой, которой пользовался всю дорогу, и не подумавший помочь ему нести тяжелый ящик, заслужил это небольшое наказание.

Через минуту собачий лай встретил его у плетня, и из-за сугробов показался сруб избушки, и огонек замигал в обледеневшем и заснеженном окне.

Торлецкий вступил в первую избу Бисеровской волости, глухой и дальней волости Вятской губернии, где ему предстояло впервые еще встретиться с народом, жить его жизнью, проверить свои взгляды и свою веру в этот народ. Это была его давняя мечта. Правда, он думал сделать это при несколько иных условиях, но что же делать. Он помирился и с данными условиями, а то обстоятельство, что перед ним раскрывалась глушь и дебри — его даже радовало. Если здесь его вера в этот народ выдержит испытание, он выйдет из испытания закаленный и во всеоружии. Кроме того, необычная обстановка, неожиданная, суровая и даже мрачная, занимала молодое воображение народника.

II

А он был народник, но только... Я чувствую, что мне придется несколько разъяснить эту кличку, которую я так смело даю моему герою.

Он верил, во-первых, что где-то есть такой рычаг, найдя который можно повернуть мир, и он был достаточно молод и достаточно романтичен для того, чтобы отправиться на поиски этой земной тяги. Народ — лицо; народники не теоретики: теория, литература, культура — все должно было исчезнуть перед народом и тем, что он внесет на историческую арену. Узнать, что «он (лицо — народ) думает», приобщиться к его думам, стать его орудием. Но вместе... уверенность, что он думает именно то, что думаем мы, и что из общения

выйдет общая работа, кипучая, бурная, способная поглотить всю жизнь без остатка на пользу светлого будущего, такого, каким мы его себе представляли. Уверенность, что все лучшие идеи интеллиг⟨ентских⟩ кружков, наших книг, наших сходок,— что все это, переведенное на народный язык, на народные понятия, станет только ярче, глубже, жизненнее, не утрачивая в то же время ничего по существу,— такова была эта вера. И в то время это была живая вера. Много ли было верующих, но они были; это был немногочисленный отряд, горсть, но горсть, готовая в ту минуту отдать жизнь за свое фантастическое, пожалуй, знамя... Отряд рассеялся, жизнь погубила или взяла в свой плен тогдашних бойцов, рассеяла их по бездорожьям, или они сражаются под другими знаменами, а то знамя упало в грязь. И после жалкие обрывки подняли другие люди и разрезали их на флаги, служащие украшением лавочек в те дни, когда жителям дозволяется зажигать «иллюминации».

Десятский, встретивший Торлецкого, был вотяк из подгородней деревни. В числе натуральных повинностей в данной местности на крестьянских обществах лежит обязанность посылать в город по очереди несколько человек десятских в полицейское управление, в распоряжение исправника. В ожидании этих распоряжений они сидят на лавочке в прихожей, где Торлецкий не раз видел и своего теперешнего спутника, и потому называются *заседателями*. Общества обыкновенно нанимают таких заседателей, и вот почему вотяк Карманов заседал уже много лет, приобрел расположение властей, носил фуражку с красным околышем и огромным козырьком, а когда выезжал по особым поручениям, то вдобавок прицеплял к шапке ржавую кокарду и успешно разыгрывал роль начальства, хотя коверкал русские слова и правильно произносил одни ругательства. Эта фигура как-то странно дополняла впечатление, вынесенное Торлецким от этого грустного пути, от тихих полей и кочек, только что покрывшихся снегом, от темнеющих кустов и мглистых перелесков, от темных срубов, сиротливо и сумрачно выглядывавших из-под растрепанных крыш. И впоследствии, когда в его памяти возникали эти картины, к ним тотчас же присоединялось воспоминание о глуповато-шарлатанской фигуре заседателя, с поднятым кверху носом, с прищуренными плутоватыми глазами, со смешным козы-

рем форменной фуражки, и... с пугливо склоняющимися перед ним фигурами крестьян... Все это вызывало в Торлецком глухое раздражение против его спутника, и он не старался скрыть своего нерасположения. Вотяк, все более и более проникавшийся сознанием своего величия, по мере удаления от места своего заседательства не замечал этого настроения своего спутника, относился к нему отчасти покровительственно и отчасти с заискивающим приятельством. Последнее обстоятельство обусловливалось главным образом новыми сапогами Торлецкого. При всяком удобном случае он осматривал их и наконец однажды высказал прямо свое желание.

— Меней сапоги.— И он указал на свои старые бахилы.

— Не хочу менять,— ответил Торлецкий кратко.

— Не хочешь — как хочешь,— сказал заседатель дипломатично, чтобы не набивать цену, но, в сущности, надеялся еще на успех.

Теперь, подходя к избушке, он сказал Торлецкому:

— Мужики тут из Бисерова — поданя в город везли, недоимку. Да я воротил.

— Зачем же?

— Мало выбили. Исправник говорит: усиленные меры, больше надо... А ты вот что, слушай... Тебе с ними жить будет... с мужиками-ту. Хочешь, я тебя хвалить буду... а? Сапоги менеешь?

— Убирайся ты! — сказал Торлецкий, пробираясь рядом с заседателем по сугробам.

Он был не совсем спокоен. Там, за дверью избы, он встретится с теми самыми мужиками, с тем народом, с которым ему придется жить. Какова будет встреча? Быть может, влюбленный юноша, идущий на первое свидание, поймет ощущения моего героя, когда он подымался по лестнице и брался за щеколду двери. Снег перестал идти, и когда Торлецкий оглянулся, противоположный берег выделялся перед ним довольно ясно. Луна выплыла над мглистым краем убегающей снеговой тучи, река лежала в холодеющих серебристо-белых берегах, уступы горы искрились; все предвещало мороз, и перевозная избушка опять, казалось, плавала в вышине, отсвечивая белою крышей. Торлецкого одно мгновение манила слабая надежда, что он увидит поля, по которым он ехал, увидит убегающие вдаль леса, кусты, перелески... за одним из таких перелесков мелькнула в его глазах в последний раз родная кучка про-

вожавших его из города товарищей... Но это была фантастическая, несбыточная надежда. С тех пор прошло два дня и две ночи, в течение которых по бокам дороги мелькали все такие же перелески, поля и кочки и полозья тихо визжали, унося его все дальше и дальше. Но он все думал о том, что оставалось назади, и потому, как будто все еще не расставался с ним окончательно. Теперь ему надо было думать о том, что ждало его за этой дверью и дальше впереди. Поэтому он остановился и инстинктивно бросил еще один взгляд назад; в нем была грусть прощания... Но этот взгляд уперся в обрывистый берег Вятки, и только избушка на гребне напомнила ему еще раз его недавние грезы.

Торлецкий решительно вошел в избушку, куда вотяк отправился раньше его.

В избе березовая лучина в светце горела переливающимся неровным светом; было людно, туманно и тепло. С первой же минуты Торлецкий различил особенный запах высушенной в печке березы, с которым с тех пор приходилось ему сродниться надолго. С тех пор прошло немало лет; много в душу Торлецкого легло впечатлений, таких же сумрачных, как леса той местности, таких же угрюмых и темных, как ее обитатели. Но отчего же всякий раз, как его обоняния коснется этот характерный запах разогретой сухой березы, ему тотчас вспоминается дальняя одинокая избушка в лесу над рекой, и переливчатый свет лучины, которую то и дело сменяет в светце мальчишка, и ее характерный тихий треск, и шипение нагоревших угольков, обламывающихся и падающих в воду под светцом... и на него повеет чадным теплом курной избы, и зажужжат прялки молодухи и свекрови... И вспомнятся ему его колодки, и недоконченный мужицкий сапог, и рядом — не виданная еще в том месте газета, и букварь, по которому два подростка учились грамоте... И вспомнится полоса его жизни, когда он жил в этом дальнем лесу одной жизнью с темными лесными обитателями, когда его называли мужиком, когда ему казалось, что сбываются его мечты, потому что между ним и мужиками действительно рушились все преграды, воздвигнутые историей, сословностию, различием состояний... Мечты рассеялись, в душу легло много горечи, и ожидания не сбылись... Юные ожидания, юные фантазии... Но все же

пусть над ними смеется, кто сумеет и захочет. А ему и теперь еще снится порой переливчатый свет лучины в окошке под лесом, над дальней рекой. И еще снится ему, что он спешит туда, молодой и полный прежних ожиданий. Проснувшись, он вспоминает, что огонек этот и этот лес мелькают лишь во мгле прошедшего. Но он знает также, что этот огонек на время осветил его жизнь...

Итак, он вошел в избушку. Заседатель как раз в ту минуту забрался на печку, откуда свесились его ноги в бахилах, а шапка висела на колышке, сверкая красным околышем и как бы оттеняя своим видом каждое слово, произносимое невидимым заседателем.

— Назад, назад,— говорил он,— исправник бает: сам приеду к имя...

Восемь пар мужицких глаз сразу устремились на вошедшего.

— Здравствуйте,— сказал Торлецкий, поставив ящик на лавку и снимая шапку.

Ему никто не ответил. Рослые, здоровые мужики, казавшиеся еще выше при мглистом освещении душной избы, молча продолжали оглядывать новоприбывшего, и в их внимании он чувствовал что-то враждебное. Это было ему больно, и он сразу ощутил неловкость и горечь. Неловкость оттого, что в своем приветствии к этим угрюмо молчавшим мужикам он почувствовал какую-то неловкую заискивающую ноту. Горечь — оттого, что заседатель с красным околышем и кокардой, видимо, чувствовал себя как дома, и на его приветствие, без всякого сомнения, ответили единодушно. Но в ту минуту Торлецкий не анализировал мимолетного ощущения. Впоследствии уже он отдал себе в нем отчет и вспомнил все остальное: и то, что он действительно несколько заискивал, потому что в ту минуту он не видел в угрюмой куче мужиков отдельных личностей. Впоследствии он ознакомился с ними: узнал и старшину, молодого атлета в «хорошей одеже», торговавшего в волости и обиравшего крестьян; узнал и другого, высокого черного сборщика Федюху, за которым обнаружились впоследствии неоднократные утайки собранных денег. Узнал и многих других, с их личными свойствами, узнал и успел даже крепко с некоторыми поссориться. Но в ту минуту он не видел отдельных лиц; все эти мужики казались ему на одно лицо и даже более: *одним лицом — народом;* а он, кающийся дворянин, сто-

ял перед народом с сознанием вины и своей неправды. Положение, мало способствующее сохранению личного достоинства, и потому чувство оскорбленного самолюбия действительно шевелилось где-то в глубине души, но настроение сказывалось в тоне голоса, в манерах.

— А будь ты пустое местышко,— начал кто-то из мужиков обычной местной поговоркой, выражающей нечто вроде заклятия и общего неудовольствия.— Кто еще такой, а?..

— Сосланной, к вам опять...— послышался с печки равнодушный голос заседателя.

В куче мужиков произошло движение неудовольствия и ропот.

— А будь ты проклятое местышко. Чё это наша сторона за несчастная... ну!..

— Хошь бы от нас их убирали... Все шлют да шлют... Беды!..

— Хлопотá, будь они немилые.

Мужики подошли, обходя стоявший посередѝне стол с неубранной от ужина посудой и окружили Торлецкого. Народ видимо сердился и мрачно молчал.

Минута была не из приятных. Так вот что ждало его за этой гранью, за этой дверью. Он шел сюда иззябший, голодный, но об этом он забыл... Он пережил там у избушки грустные и разнеживающие душу грезы и воспоминания, он подавил их, скрыл далеко в груди, чтобы отдаться всецело новой полосе жизни, и теперь при этой суровой враждебной встрече — все эти разнеживающие грезы подымались в груди, заявляя свои права, и Торлецкому страстно захотелось, чтобы настоящая минута была лишь сном, чтобы он все еще сидел там, у избушки, с ласкающими, хотя и грустными мечтами. Это была минута малодушия, и что-то подступило к его горлу.

Но он овладел собой. Чего же можно было ожидать другого от первой встречи, думал он, стоя с понуренной головой, пока народ, ободренный молчанием нежданного пришельца, начинал роптать все сильнее и грубее... Они отягчены наплывом уголовных ссыльных, беспокойных и вносящих разврат в их среду. Это невольный протест, который я бы одобрил, если бы он не относился ко мне... так думал народник, а народ между тем продолжал наступать все шумнее.

— До коих пор терпеть вас... Чё вы к нам лезете, житьишка не стало...

— Что, ра́зве вас ссыльные обижают? — спросил Торлецкий и опять почувствовал, что внутри него подымается протест против этого объективного вопроса, в то время когда его лично оскорбляют.

По-видимому, этот тон и самый вопрос был несколько неожидан и для народа. Видимо, мужики не привыкли встречать подобную объективность вместо защиты, и это их озадачило. Или, быть может еще, что вопрос разбил возраставшее враждебное настроение отвлечением внимания в сторону. Как бы то ни было, на минуту шум стих, и из кучки, плотно обступившей Торлецкого, послышались отдельные ответы:

— Коли не пакостят...

— Пакостят во всяко время, будь они проклято́е местышко. Харла вон избу спалил.

— Лесу сколь попалил же.

— Августович из оружья по мужикам палил...

— Другой Харла деньги, сказывают, сбостил...

— Обида нам от вашего брата...

— Погоди, ребята,— заговорил вдруг, проталкиваясь вперед плечом, молодой светло-русый мужик с энергичным и несколько хитрым лицом. По одежде и авторитетным приемам он видимо выделялся из остальных.

— Погоди. Не то баете, дайте-ко я с ним побаю... Никакой нам обиды нет-то... Понял ты? Пакостить шибко на́ртите вы, пропасти на вас нету, да и мы не шутим. Понимай-ко! Чуть ежели что — мы те, братик, взбутетеним... то есть так отделаем...

— Баско бает Гордейко,— поддержали мужики и сдвинулись еще плотнее.

— Вестимо, мы не дадимся...

— Мы своим судом... мы тебе покажем...

— Да что,— угрюмо пробасил высокий, черный, как галка, сборщик.— На нас, брат, управы нету... Мы и в Каму тебя бросим, и в ответе не будем.

— Не будем, верно... Наша сторона такая... Край света живем, под небо сугорбившись ходим.

— К нам и начальство не заглядыват...

Кругом тесной стенкой стояли рослые мужицкие фигуры, шум продолжался, унизительные угрозы усиливались от его молчания и потупленного взгляда. Он поднял опять глаза; так как он сидел на лавке, то принужден был смотреть на своих собеседников снизу вверх. Теперь ему уже это не понравилось. Чувство

собственного достоинства, шевелившееся в его груди, теперь овладело им, и личная гордость пересилила народнические рефлексии. С покрасневшим лицом и сверкающими глазами он резко поднялся с лавки и выпрямился. Неожиданное движение заставило мужиков отшатнуться, и в их движении Торлецкий заметил испуг. Это доставило ему теперь ощущение некоторого удовлетворения и вызвало еще больший румянец на его лице. В гордо выпрямленной фигуре, с буйно курчавой головой и сверкающими глазами — теперь не было уже прежнего народнического смирения.

— Что вам от меня нужно? — заговорил он с сдержанным гневом.— Что вы, ничего не видя, набросились на человека, которого еще не знаете? Я вам зла не делал, я к вам еду не своей волей... Будь моя воля,— сказал он с тем же гневом,— может быть, я бы рад вас век не видать....

В озадаченной толпе послышалось бормотание...

— То оно...— сказал один из передних.— Мужик правду бает. Не своей волей...

— Вестимо, не своей, да пакостят много...

— Постойте,— заговорил Торлецкий спокойнее.— Вы еще от меня пакостей не видали и, может, не увидите, а сами накинулись уже, как волки. Что вам нужно?.. Я у вас ничего не прошу и просить не стану. Что мне надо — заработаю, а себя тоже — помните это — в обиду не дам.

Шум опять поднялся, и в кучке мужиков заметно было возбужденное разногласие. В это время хитрый вотяк, следивший за всей сценой своими маленькими лукавыми глазами, счел удобным вмешаться с некоторой торопливостью. Он имел свои виды, и, замечая, что еще минута — и Торлецкий выйдет из затруднительного положения собственными средствами, он быстро спустился с печи и растолкал мужиков.

— Погоди вы, дерёвы. Цё наскоцили здря на мужика! Он не из таких, он мужик добрый, дворянин-сын.

Последнему заявлению мужики, видимо, не поверили, но заключение заседательской речи окончательно их усмирило.

— Он человек роботный,— произнес заседатель.— Гли-кося, струмент с ним. Роботáет.

В кучке послышался ропот одобрения.

— Роботному человеку рады мы.

— Роботной человек, известно, он роботает.

— А по коей части?

— Чеботной... Гли-ко, сам сапоги себе сошил. Баско это,— заговорил проворный светло-русый мужик, как оказалось впоследствии, старшина, опять проталкиваясь вперед и нагибаясь, чтобы рассмотреть сапоги на ногах Торлецкого.— Баско... А бабе моей чирки изладишь?

— Отчего же.

— Ну, мы тебя — буди в волосте́ оставим,— недели со́ две, пока Кама встанет, а то теперь не проехать будет. И товар есть?

— Есть...

— Ну? гли-кося!

— Не попомни на лихом слове.

— Рады мы роботному человеку. Живи ино́...

— Как вы к нам, так и мы к вам. Который не пакостит человек, тех любим мы.

— Цё не любить... не пакостит дак.

Теперь настроение резко изменилось. Мужики разглядывали ящик, щупали сапоги, спрашивали имя. Все они были обуты в лапти, на одном только были сапоги со стоптанными каблуками. Как Торлецкий узнал впоследствии, во всей Бисеровской волости был только один сапожник, и тот был завален работой.

— Ди-ко сюды,— поманил Торлецкого заседатель. Они вышли на крыльцо. Луна закатилась; река, берег, избушка — все теперь потонуло в темноте; предрассветный ветер обвеял разгоряченное лицо Торлецкого.

— Видел? — с лукавой ласковостью заговорил заседатель...— Вот народ какой! Разбойники. Страшшать тебя выдумали это... Хе-хе!..

— А как я хвалил тебя-а? — добавил он и тотчас же предложил опять: — Меней сапоги.

— Нет,— ответил Торлецкий, глубоко вздыхая и подымая глаза кверху. Опять его воспоминания о дорогих людях, о матери и «о ней» поднялись в его душе, но теперь все они были спокойны, как эта предрассветная тишь. Он был доволен собой, и они были бы довольны, если б видели его в эту минуту. Своекорыстное лукавство заседателя теперь не раздражало Торлецкого; он как-то механически отражал его поползновения, даже не отдавая себе в этом отчета.

— Э, какой ты человек,— говорил между тем заседатель.— Знал бы, не хвалил бы тебя мужикамту. А то вишь говорю: дворянин-сын, чеботно́й.

— А ты не хвалил бы...

— Зачем не хвалить, люблю дак... А ты мне подметки подкинешь?

— Ладно.

— Из своего товару?

— Ну это зачем, сам купишь товар.

— А работа?

— Черт с тобой, отвяжись, за работу не возьму.

«Зачем я это?» — подумал Торлецкий, но тотчас махнул рукой.

Когда он вошел в избу, заседатель опять «хвалил его» так, что ему стало даже досадно.

Через час он дремал в дровнях, которые быстро несли его по направлению к селу Бисерову, где было волостное правление и жил урядник.

Видимо, здесь метель была гораздо сильнее, чем на горе. Сани то и дело ныряли в снежные сугробы; при этом Торлецкий просыпался от дремоты и видел вверху светлевшее холодное небо. Мороз крепчал, сани бежали быстро, а сзади то и дело наскакивали лошади сборщиков, ехавших верхами. Торлецкий смотрел на широкие снежные поля, на небо, на силуэты лошадей и всадников, казавшихся громадными, потому что он смотрел на них лежа, и в его воображении действительность сливалась с фантазиями и грезами в одно крупное и величаво-угрюмое ощущение...

Он не помнит, как заснул и проспал вплоть до остановки. Сон был так глубок и крепок, что он не просыпался на ухабах, не проснулся окончательно, даже и вывалившись из дровней. На мгновение в его сознании мелькнула темная ночь, чуть-чуть выделявшаяся из темноты снежная равнина с черными полосами перелесков, которые терялись где-то, не то близко, не то далеко, и неопределенно темное небо...

— Что, Миколай, не зашибся? — спрашивали, наклоняясь над ним, какие-то фигуры, и их участие на мгновение тронуло его и разнежило. Но тотчас же он опять повалился на дровни, жадно хватаясь за продолжение виденных за минуту снов. И сны с родными и дорогими лицами и голосами потянулись опять так ярко, что все в его сознании перевернулось: сон казался действительностью, а врывавшийся в эту родную действительность ночной ветер, тянувший по пустынному полю, и толчки дровней, и однообразное визжание по-

лоза, и топот лошадей — казались лишь отдаленным воспоминанием и сном.

— Розоспался Миколай-от,— говорили мужики, когда дровни остановились у крайней избушки спавшего села. Один из них стучал кнутовищем в темное окно и приговаривал тем несколько сдавленным голосом, каким говорят ночью, на пустой улице, объятой сном деревни:

— Федотка, Федотка-а-а... Федот!..

— Миколай, подымайся-ко,— лениво говорил между тем другой, толкая Торлецкого.

Тот приподнял голову, заиндевевший край шапки коснулся его лба, и он услышал возгласы, обращенные к Федотке. Но так как в это время возгласы смолкли, то Торлецкому опять показалось, что дровни, и темные фигуры, и смутные очертания неподвижных облаков на мглистом небе,— что все это сон. Он припал опять на сено в дровнях и вернулся к действительности. Он подымался по знакомой лестнице, торопясь к ним,— в знакомую комнату. Он быстро взбежал по ступеням, дернул звонок. Звонок отдался и замер, точно квартира была пуста. Неужели они успели съехать оттуда в то время, когда он прислушивался к стуку в окно?

— Федотка, Федотка-а-а! Федот,— опять упираясь в стекло, глухо кричит кто-то.

Потом во сне кто-то задвигался, в каком-то окне мелькнул огонек, заскрипели ворота и на Торлецкого пахну́ло спертым теплом скотного двора. Это сани въехали во двор, под поветью. Теплая морда лошади наклонилась к нему, понюхала и потом фыркнула прямо в лицо влажным паром. Он поднялся с чувством досады и торопливо пошел кверху по ступенькам лестницы, в избу. Перед ним, будто обгоняя его, неслись обрывки только что виденных родных картин, сердце щемило еще от унылого звука колокольчика в пустой квартире. Поэтому он быстро, не раздеваясь, скинув только шапку, улегся на лавке и тотчас же отправился в погоню за улетавшими грезами.

— Дрыхнет, вишь,— говорили мужики, «разболокаясь» и тоже выбирая места. Хозяева, не интересовавшиеся приезжими, храпели на полатях, и сам десятский полез на печку. Через минуту лучина в светце погасла; уголек тлел еще несколько мгновений, потом и он сломался, упал и, шипя, погас в корыте с водой.

В темной избе над головой усталого Торлецкого опять встали не покидавшие его грезы, не имевшие ничего общего с окружавшей его действительностью. Он разыскал своих, все опять были на месте, и он рассказывал им свой сон. Странный сон: его мечты о сближении сбылись, но в каком невероятном виде — его везли будто к народу на казенный счет, и он чувствовал себя странно и не совсем приятно. Рослые и угрюмые мужики надвигались на него стеной, а десятский с красным околышем защищал его, уверяя, что он «дворянин-сын» и поэтому они должны его уважать. Мать слушала этот сон, тихо плача; у *нее* сверкали глаза от любопытства, смешанного с восторгом... «Все-таки это жизнь!» — говорила она. А его друг смотрел задумчивыми серыми глазами и, снисходительно улыбаясь ее оживлению, вместе с тем грустно покачивал головой. «Мы еще не знаем, что из всего этого выйдет», — говорил он.

Наутро, свет еще только забрезжил в заснеженные окна, как сборщики поднялись один за другим и все вышли из избы, чтобы разойтись по своим деревушкам и предупредить односельцев о предстоящем новом сборе недоимок. Хозяева поднялись несколько позже и отправились на гумно молотить, бабы погнали коров, и в избе остался только заседатель, храпевший на полатях, да Торлецкий, которому луч холодного зимнего солнца ударил в лицо, и он слегка улыбался во сне навстречу этому лучу. Да еще старуха хозяйка возилась около печки, готовя ранний обед для семьи. Она сунула хлебы в печку, закрыла их заслонкой и стала убирать посуду. Поглядывая на Торлецкого, в его черном пальто, она что-то ворчала про себя.

Заседатель проснулся, зевнул на всю избу громко и с выражением человека, который всюду чувствует себя хозяином, потом сел на брус, свесил с полатей босые ноги и, болтая ими в воздухе и опять зевая, обратился к хозяйке:

— Ставь обедать, старая хрыцёвка...

Старуха прекратила воркотню и принялась смиренно исполнять приказание. В эту минуту Торлецкий тоже проснулся, с удивлением оглядел избу, потом снизу вверх посмотрел на заседателя, сидевшего на брусе и лукаво смотревшего на него своими узенькими глазками... Еще несколько секунд — и все то, что он

считал и о чем рассказывал, как о сне,— превратилось в действительность.

Старуха смотрела на Торлецкого со знакомым уже ему выражением недоброжелательного внимания.

— Цё еще за целовек-от наверзился? — спросила она наконец, обратившись к заседателю, пока Торлецкий умывался.

— Сосланой,— ответил тот лаконически.

Старуха застучала горшками, ворча что-то про себя. Затем она покрыла стол скатертью и поставила две деревянных чашки и два горячих ячменных хлеба. Потом принесла большую чашку горячих «штей», то есть просто жидкую кашицу из ячменных круп.

Торлецкий покраснел и чувствовал, что кровь продолжает приливать к лицу, которое и без того горело. Он знал, что платить за обед ему не придется, что это не принято и оскорбительно для хозяев. Он видел, что прибор поставлен и для него, чувствовал сильный голод и не знал, как поступить, тем более что и в другом месте будет то же. Хозяйка, видимо, угощала его по обязанности, как пересыльного; ее воркотня и упреки относились к нему.

Умывшись, он сел на лавку, опустив голову. Он боялся теперь вспоминать о ночных грезах, чувствуя, что и без того нервы его напряжены, и какое-то малодушное сожаление к себе овладело его сердцем. Впрочем, он подавил это ощущение и стал размышлять о том, как ему поступить, пока вотяк молился перед иконами и клал земные поклоны.

И опять он обсуждал свое положение с особенной, не своей точки зрения. Он сумел объективировать его, даже стать на место продолжавшей ворчать старухи. «Беднота, заботы, жизнь, полная труда и лишений,— думал он.— Самим, быть может, есть нечего, а тут привозят чужого человека, какого-нибудь воришку или мошенника, которому здесь представится полное раздолье буянить, жечь избы и т. д. Как должна эта старуха смотреть на такого приезжего?» Это рассуждение не только усмирило подымавшийся в душе Торлецкого гнев против старой ворчуньи, но сделало даже больше.

Он так проникся чужой точкой зрения, что еще ниже опустил голову и смиренно исполнил неприветливое приглашение старухи:

— Лезь ино за стол. Чё сидишь-от?

Он «полез» за стол и, весь красный, взял ложку. Да, он должен смиренно выносить это от народа. Ведь если она и ошибается, если он не мошенник и не воришка, то все же он признает себя виновным перед народом, он — его должник, и должник неоплатный, хоть и кающийся. В пору ли неоплатному должнику, поставленному в такое положение, что его же кредитор вынужден возить и кормить его, вспоминать о своей гордости, о своем личном достоинстве.

И он съел, хотя и с трудом, несколько ложек щей и, робко протянув руку, отломил кусок хлеба. И все более чувство жалости к самому себе овладевало его душой.

Таким образом он проникся чужим взглядом на себя и чувствовал, что этот разделенный им самим взгляд — подавляет и угнетает его. И таково уж свойство восприимчивой человеческой природы — его настроение только усилило соответствующее настроение старухи. Ему приходилось видеть, как держал себя в таком положении настоящий воришка. Он шутил и смеялся, покрикивал на хозяйку и высказывал недовольство предложенной пищей.

«Какая это пища! Ты, хозяюшка, эту пищу плесни собакам, а я человек, мне давай настоящую».

И хозяева извинялись. «Нет-то ничего лучше, не взыщи!» А теперь его сконфуженное молчание, его потупленное лицо и робкие движения вызывали столь ясную идею об его виновности, что в избе воцарилось то особенное напряжение, какое бывает в присутствии человека, сознавшегося в том, что он сделал другим великое и непоправимое зло. Даже десятник ел щи молча и с таким видом, какой, вероятно, имел библейский фарисей, гордо сравнивавший себя с каявшимся и угнетенным от своего нечестия мытарем.

Старуха швыряла посудой все сильнее.

— А будь ты проклятое местышко,— теперь уже слышались слова ее воркотни.— Корми еще их, немилых... Лешачок их возьми... Сами вот голодом пропадаем...

Душевное состояние, овладевшее Торлецким, дошло до степени почти невыносимой. Он чувствовал, что положение это ложно, что тут что-то не так. Как и вчера, в нем подымалась реакция личного чувства.

«Чем я виноват, чем, чем виноват?» — думал он. Историческая вина, в которой он не участвовал сознательно, отодвигалась и меркла перед этой реаль-

ною казнью, которую он нес добровольно. Не он создал условия, в которых родился, не он выбирал и среду. Теперь, когда он может выбирать, он сознательно и добровольно стремится отрешиться от своих «привилегий» и стать с ними в одно положение. Так что же он сделал этой старухе, чем виноват перед ней. Она не знает всего этого? Правда, но он знает и потому не обязан смиряться и подавлять натуральное чувство обиды и гнева.

Он вдруг поднялся, отодвинул скамейку и вышел из-за стола.

— Чё вылез? — спросила старуха.

Заседатель посмотрел на него в изумлении.

— Есть здесь у вас на селе лавки?

— Есть одна. Чё надо?

— Рыбу соленую продают?

— Продают, я чаю.

— Ну, хозяйка, спасибо на угощении — пойду себе рыбы куплю.

— Чё еще скажет! Ништо нашими штями брезгуешь, што ли?

Она говорила другим тоном. Теперь в ее голосе слышалась обида хозяйки, которой угощение отвергают, а не сознание его виновности, признанной им самим.

— Ништо в вашей стороне так делают: в избе ночевал, хлеба-соли кушать не хочешь. Чё ваша за сторона за такая.

— В нашей стороне, тетушка, хлебом-солью угощают без попреков,— ответил Торлецкий.— Лучше деньги заплатить, чем слушать твои попреки.

Он хотел выйти. Но старуха с испугом загородила ему дорогу.

— Чё ино скажет. Неуж из-за стола уйдешь, не хлебавши... Садись, садись ино. Какой горячий, гликося. Это нам грех большой, что страннего человека не кормя отпустить.

— И у нас это грех,— сказал Торлецкий, сдаваясь на просьбу.— Но еще больший грех попрекать человека в несчастии.

Старуха сама отодвинула скамейку, стряхнула со скатерти крошки хлеба, поправила чашку и сама налила Торлецкому щей.

Он был удивлен этим исходом столкновения, но чувствовал с удовольствием, что круг тягостного смире-

ния разорван, что обе стороны вышли из него, вследствие его апелляции к чему-то более широкому, чем прежняя основа их взаимных отношений.

Теперь Торлецкому приходилось ехать дальше «по десятским», то есть от деревни к деревне, и он расстался с заседателем. Последний вместе с урядником отправились вперед, избрав село А. как операционный базис своих операций по сбору недоимок. Когда около полудня, сменив раза три лошадей в деревушках и починках (для чего приходилось колесить по сторонам), Торлецкий въехал в А.— там господствовало значительное оживление. У избы десятского толпился народ, изнутри слышались чьи-то громкие голоса; какой-то лохматый мужик, без шапки, весь красный, точно из бани, вылетел вдруг из избы и быстро спустился по ступеням. За ним вышел другой, с озабоченным и несколько растерянным видом.

— Петрован, а Петрован, Петрух!..— звал этот последний.— Воротись, слышь... зовет ведь урядник-от...

Но Петрован удалялся с решительным и гневным видом.

— Не-е...— бормотал он.— Лучше же убечь будет ни то. Пра, ей-богу — сбегу. Гли-кося, по морде как чешет, лешак его ешь...

И завернув за угол, Петрован припустил во все лопатки, а тщетно призывавший его мужик остался, разводя руками, с окончательно растерянным видом.

— Чё теперь будет... Экой немило́й, отчаянный мужик,— обратился он к стоявшей у крыльца кучке.

Но мужики, ожида́вшие здесь своей очереди в тревожном и угрюмом молчании, выказали мало участия к его заявлению. Некоторые, видимо, подумывали, не последовать ли примеру Петрована.

— Чё ино... правду мужик бает. Этто какой порядок: неделю назад собирали, теперь опять гли-кося, да еще пуще прежнего лупят.

Разговоры вдруг смолкли: на крыльце избы появился вотяк-заседатель; он тоже был несколько красен, но потное лицо выражало начальственное удовлетворение. Козырь его фуражки особенно величаво приподнялся кверху, а красный околыш и кокарда сверкали на солнце. Увидев Торлецкого, он ему дружески улыбнулся и кивнул головой.

Торлецкого раздражал вид этой самодовольной фигуры, а дружеский кивок в присутствии угрюмо молчаливой и несколько запуганной толпы окончательно вывел его из себя.

— Что это вы тут делаете? — спросил он резко.

Вőтин мигнул лукаво и так комично, что в другое время Торлецкий непременно бы расхохотался.

— Лезь в избу — увидишь. Поданя собираем.

— А зачем вы деретесь? По закону не имеете права.

Вотяк посмотрел на Торлецкого с удивлением.

— А зачем мы посланы? — спросил он.— У меня гумага от самого исправника. «Принять усиленные меры».

— Так что же? Разве сказано в бумаге, чтобы бить по мордам?

— Чё ино? Другое время — пишут — принять меры, а теперь «усиленные меры». Исправник сам подписал...

И вотяк опять повернулся к избе, в которой меры урядника, видимо, усиливались все более и более.

Торлецкий не пошел в избу и выждал, пока ему подали лошадь к завалине, на которой он сидел со своим ящиком. Белобрысый десятский из какой-то деревушки, возвращавшийся домой, согласился довезти его прямо к себе верст за двадцать, не завозя по сторонам в починки для смены лошадей. Десятский этот, простой небогатый мужик, быть может и сам подвергшийся усиленным мерам, был добродушен, но грустен и неразговорчив. Его настроение передалось и Торлецкому. К тому же последний был расстроен только что виденной сценой и испытывал острое ощущение того недовольства собой и всем миром, которое истекает из бессилия при виде неправды; поэтому окружающий пейзаж, тянувшийся и убегавший тихо назад перед его глазами, казался ему особенно грустным. Небо было затянуто облаками, и трудно было даже определить место, где должно было находиться солнце. Облака эти слегка передвигались низко нависшим туманом вверху, а на горизонте слоились темными, широкими и неподвижными массами. От этого, хотя по часам было не более полудня, Торлецкому казалось, что над этими тихими полями, с темным кустарником, с холмами и долинами, покрытыми синеватой пеленой снега, спускаются вечерние сумерки. Он ехал и удивлялся, что так долго не наступает полная ночь, которой он даже

ждал, так как ему хотелось, чтобы темнота поскорее закутала этот грустный пейзаж и затерла в его душе тяжелые и раздражающие мысли.

Но до вечера было еще далеко, и по мере того как маленькая лохматая вятская лошаденка тихой рысцой уносила дровни все вперед по узкой колее, картина становилась все сумрачнее и грустнее. Полозья тихо визжали и скрипели; по временам из-за кустов или из-за угора вдруг появлялась точь-в-точь такая же лошаденка и тогда, чтобы разминуться, кто-нибудь из встретившихся сворачивал в сторону. Дровни сразу утопали в снегу, лошадь погружалась по самое брюхо и, насторожив лохматые уши, провожала встреченных путников умным и внимательным взглядом. Казалось, даже лошадям отрадно было встретить подобное себе существо, и они обменивались приветным фырканием.

— Здравствуешь, Павелко,— говорил встречный мужик.— Далеко ли ездил?

— В Афанасьево.

— Правду ли бают, опять поданя выбивают там?

— Чё ино не правду. Урядник тама. К вам ужо-тка пойдут. Слышь, крылець у Федотка сломали.

— Хлопота́,— скорбно произносил встречный мужик, глядя перед собой тем же задумчиво-грустным взглядом, какой Торлецкий заметил у своего спутника, и через минуту два черные пятнышка опять удаляются друг от друга.

Холмы становились все больше, склоны круче... В глубоких долинах черными лентами извивались по снегу незамерзшие еще ручьи. На горизонте все вырастали и близились широкие склоны, сплошь покрытые лесною чернью; точно неподвижные волны, вздымались эти лесные склоны, меняя оттенки: буро-зеленый, дальше бурый, темно-синий, черный, сизый, и наконец наверху мглистая лесная чернь сливалась с облачным небом. Тучи клубились над лесом, меняя его очертания, и, казалось, рыли там на далеких вершинах холмов какие-то рытвины, ущелья и ямы. По временам с этих вершин из-под облаков срывался ветер, летел, взметая столбом снег над верхушками деревьев, которые спускались в долины, терялись в их неопределенной мгле и вновь появлялись, спускаясь по склонам, точно по ступеням. Тогда лошадка беспокойно водила ушами, а взгляд мужика становился озабоченнее.

— Лешак это идет по лесу-то,— сказал он однажды Торлецкому. Торлецкий пожал плечами, но когда он взглянул с вершины холма, на которой они находились, на один из этих снежных столбов, который прыгал по склонам над лесами, точно прыгая с одного холма на другой,— ему удалось тогда схватить то представление, какое должно было возникать в уме мужика. Порой, выбежав из лесов, снежный циклон расстилался вдруг по синеватому снегу, терялся и исчезал. Но тогда беспокойство лошади и возницы возрастало. Конек стриг ушами и жался к стороне, порой сбиваясь с дороги, а возница хлестал его кнутом и ободрял словами. Действительно, через несколько минут вихрь вдруг взметал снег в нескольких шагах, кидал его в глаза, колол лицо и руки острою снежною пылью, свистел и шуршал по насту тихо, жалобно и как-то жутко — и затем мчался дальше.

И еще грустнее становилось тогда на душе у Торлецкого...

Наконец они въехали в область лесов, которые будто расступились перед ними. Та самая узенькая белая полоска, которая издали чуть виднелась, взбегая на холмы, теряясь и являясь то в одном, то в другом месте, всякий раз все выше и выше,— оказалась широкой неровной лощиной, по которой пролегала дорога. Порой лес отступал на значительное расстояние, порой широкими уклонами падал вниз, порой также широко подымался на противоположную гору, а лошадка бежала по гребню холма, и ее ноги, казалось Торлецкому, мелькают над верхушками лесов, отхватывая сразу сказочные расстояния. По временам снежные сугробы принимали вдруг причудливые странные очертания и из-под снега черными пятнами проглядывали срубы и окна занесенной избушки, деревни или починка.

— Феклистята это,— говорил десятский,— а это Сенькины, а это Гребяты... Починочки... А это вон ворськой починок.

И он указал кнутом по направлению к лесу. Теперь уже действительно спускались сумерки, и вдали, над долиной, на лесистом холмике Торлецкий увидел смутный огонек. Потом, вглядевшись, он различил избу и какие-то строения.

Огонек мерцал, над крышей вился в вечернем воздухе синий дымок.

Десятский остановил лошадь и присмотрелся к огню своим грустно-внимательным взглядом.

— Печку, гли-ко, затопили. Кую пору собрались...

— Чей, ты сказал, починок? — переспросил Торлецкий.

— Ворськой. Воры этто живут будто. Воруют они.

— У кого тут им воровать?

— А у кого придется... У шабро́в по починочкам... Скотину ино место зарежут. Ино место хлеб где ни то сбостят.

— С чего ж это они? Земли у них нет, что ли?

— Ись нечего, ись!.. Захудали. Скотину попродали — голодом, слышь, живут... Нечего ись... Стало быть, Бог попустил...

— Что ж вы им не поможете? Оправились бы — не стали бы воровать.

— Чё это? — спросил мужик, трогая лошадь.

— Не поможете отчего?

Мужик не ответил. Торлецкому показалось, что он не совсем понял его вопрос. Самому ему порой трудно было понимать странное вятское наречение, с своеобразными выражениями и оборотами. Кроме того, и понятные слова звучали в устах местных жителей своеобразно, смягченными звуками, что придавало речи характер какой-то почти детской наивности, странно гармонировавшей с величаво-угрюмой и даже мрачной природой.

Уже порядочно стемнело, когда Торлецкий с десятским подъехали к избе последнего. Завтра Торлецкий будет уже на месте, если можно будет перебраться через Каму, а пока приходилось ночевать.

В избе господствовала полутьма. Лучина была воткнута в стену над полатями, и ее колеблющийся свет терялся в верхней части избы, темной и просторной (как и все в той лесной местности). На полатях виднелись две фигуры. Одна, старуха, точь-в-точь похожая на ту, с которой Торлецкому пришлось утром препираться по вопросу о гостеприимстве,— оказалась хозяйкой, женой десятника. Другая была еще по-видимому молода; голова ее была повязана платком, она была в зипуне и на руках, прикрывая полой, держала ребенка. Ее глаза, большие и черные, сверкали из-под платка при свете лучины, и Торлецкому показалось, что они заплаканы. Лицо было худое и бледное.

— Сосланой же, видно? — сказала она, присматриваясь к необычной одежде пришельца, привезенного десятским. Теперь Торлецкий яснее разглядел выразительное лицо и потухшие громадные глаза молодухи. В ее голосе он расслышал недавние слезы, хотя теперь, как это часто умеют делать тотчас после плача крестьянки, она говорила спокойно и глаза ее выражали лишь внимание и любопытство.

— Да,— ответил Торлецкий.

— У меня мужик-от тоже сосланой теперя... И гдей-то он, сердешной. Может, где, как ты же, на чужой стороне... О-ой-ой...

Она тихо и как-то надрывающе завыла.

— За что? — спросил Торлецкий.

Крестьянка вытерла концом платка нос, потом обтерла слезы на глазах.

— Ох, за што?.. Ты вот за што ссылаешься?..

— Долго рассказывать, голубушка.

— Чай, тоже от нужды... Господь попустил, бес-от попутал... Так вот и мой. Ребятки малыи, ись просят. Ой-о-о-о-й.

И опять тихий, душу надрывающий вой...

Когда она ушла, завертывая ребенка и пряча за пазуху несколько шанег, данных старухой, хозяева сказали Торлецкому, что это женщина из «ворського починочка». Муж ее еще недавно сослан «по приговору суседов». Та же участь ждала и его брата, который остался с двумя семьями на руках и которому, стало быть, «неминучее дело, тоже воровать надо».

Рассказывая эту историю, старуха гневно смотрела на сына, который сидел на лавке, понурив русую голову, и угрюмо смотрел в землю.

— Не воровали бы,— сказал он в ответ на эти укорительные взгляды.

— Ись нечего... может бы, справились... Не бай, не бай... Неладно это вы спроворили, мужички-те...

Поужинав, на этот раз без всяких неудовольствий, Торлецкий улегся на лавке. В избе стало темно, хозяева улеглись, за стеной шуршал ветер и сыпал снегом в окна. Темнота, окружавшая теперь Торлецкого, казалась ему теперь громадной и беспредельной, как никогда еще прежде. Горы и долины, безмолвные снежные сугробы и темные леса, которые отделили его от последних друзей и товарищей, вставали в воображении среди этой темноты, и над головой витало представление сум-

рачных далей. Мысли были грустны и как-то величаво-спокойны. В душу повеяло какой-то эпической простотой. Торлецкому казалось, что все до сих пор виденное укладывается так легко и просто в рамку известной мысли, в один образ.

«Да,— думал он,— вот он — лес! Вот она — глушь, истинная близость к природе. Вот где зреют и набираются первичные молекулярные силы русской общественности». Он вспомнил, как когда-то в детстве отец привел его к ручейку и сказал: вот начало великой реки. Он знал эту реку дальше, под городом, где по ней неслись плоты, лодки, караваны барок. А тут... лес окружал небольшое болотце, по которому струился ручей. В одном месте ключ образовал светлую бочажку с чистым плоским дном. Над бочажкой стояла часовенка, кругом лес сомкнулся зеленой стеной. Чуткая осина трепетала листвой, березки, ели, вязы стояли неподвижно, точно прислушиваясь к журчанию рождающейся реки... Мальчик испытывал странное ощущение: свое предчувствие кипучей и полной жизни, среди этого бережно сомкнувшегося точно в немом благоговении леса,— он перенес на самый лесок, на деревья, и он боялся заговорить громче, боялся ступить каблуком на брошенную через ручей доску. Он боялся потревожить спокойствие реки, которой предстоит такая кипучая деятельность. Вот она — вся тут, я ее вижу всю, могу перешагнуть через нее.

Теперь он испытывал то же ощущение. Еще так недавно жизнь, шумная, кипучая, полная сложной деятельности, мелькающая и дробящаяся в тысячах явлений,— неслась перед его глазами, и он несся вместе с нею. И он терялся среди этой сложности, которая порой выдвигала самые неожиданные факты против основных его воззрений, которые он считал установившимися окончательно.

Здесь не то; здесь, казалось ему, у этих первоисточников общественного строя, все так ясно, так первично просто, так очевидно. Несмотря на грустный колорит, картина, отлагавшаяся в его душе, низводила в эту смятенную интеллигентную душу мир и спокойствие. Шум, сверкание и грохот — стихли, остались где-то далеко-далеко, чуть не смутным воспоминанием. А здесь, в тишине и на просторе, в его уме, точно кристалл в недвижной глубине моря, начинают осаждаться и складываться образы и идеи, которых он

искал, которые составляли лучшие предчувствия его души.

Все это не в таких определенных формах — в виде неясного душевного фона — присутствовало в глубине настроения Торлецкого, между тем как он, лежа на лавке с закинутыми за голову руками и глазами, широко открытыми в темноту, обдумывал все виденное в этот день.

Как это все просто, как это все ясно, насколько тут невозможны вопросы о симпатиях и антипатиях. Урядник, заседатель — в отдалении те, кто предписывает усиленные меры,— это одна сторона; другая — страдальцы, со скорбными взглядами, как у десятского Федота... Или эти воры... Устраните нужду, и вы устраните воровство — это он знал давно; но сколько раз ему приходилось видеть в Петербурге прекрасно одетых воров, в цилиндрах и пальмерстонах, не брезгующих убогим кошельком бедного мастерового. Усложнение... Правда, он и тогда понимал, что это не опровергает общего правила, но самое правило, которое приходилось разыскивать среди массы противоречивых проявлений, становилось каким-то отвлечением, туманившимся и излишне отягчавшим душу. Здесь не то: «Ись нечего, ись»,— как это просто, ясно и несомненно. «Неминучее дело, тоже воровать придется»...

Уже засыпая, он вспомнил вдруг еще раз ворчунью старуху, и ее замешательство, даже испуг, когда он встал из-за стола.

О какой, однако, нашей стороне он говорил этой старухе. «И в нашей стороне грех не покормить странного человека, но еще больший грех — попрекать его в несчастии». Как легко это сказалось, и он не подумал о том, что ведь он, в сущности, солгал. В нашей стороне, в той стороне, откуда он приехал,— Пески, 4-я улица, № 24,— никогда никакого страннего человека кормить не приходится, да и дворник не допустит незнакомого странника путаться по квартирам и искать гостеприимства.

«Ну, все равно,— улыбнулся он.— Я говорил, конечно, не о Песках, 4-й улице... А о каком же месте?..

О каком,— вспомнил он через минуту... За окном слышались завывания ветра, и метель сыпала снегом в окно...— О таком месте, которое ни здесь и ни там...»

Его мысли путались, сон опускался над сознанием... «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна»,—

вспомнилось вдруг ему... Да, именно об ней... И он тотчас заснул, но впоследствии ему пришлось вспомнить эту мысль, явившуюся ему в состоянии полудремоты, под шепот метели в темной вятской избе.

Придет время, и даже скоро, когда Торлецкий подойдет ближе к этой жизни, которая теперь пахну́ла на него только первыми, самыми общими впечатлениями,— и эта ясность исчезнет, и опять образ, начинавший слагаться так цельно и величаво, разлетится на тысячи отдельных противоречивых впечатлений, непримиримых, разрозненных, подвижных и разнообразных, как жизнь. И как жизнь — их трудно будет осмыслить, обнять одной обобщающей идеей. И опять сомнения и тревожные искания займут место величавого покоя этих ночных грез и ночных мыслей. А пока... пока эти новые грезы скрасили его одиночество и тягость его положения. Они сделали то, что еще одно впечатление залегло светочем на всю жизнь в его памяти; и нередко впоследствии он вспомнит темную избу, со звонким треньканием сверчка и шепотом метели за стеной,— как отрадный оазис в пустыне интеллигентных поисков нашего смутного, тревожного и сомневающегося времени...

Под утро он сладко спал, когда за стеной залаяли собаки. Хозяин вздул лучину и через минуту ввел нового гостя. Это урядник приехал к нему, чтобы дать инструкции насчет Торлецкого, так как Федот должен был завтра доставить его на место в починки, где надо будет поселить его в какую-нибудь избу. Поселить, повидимому, оказывалось не так-то легко, судя по озабоченному лицу, с каким урядник с десятским перебирали по именам хозяев.

— Не пустит Фатька...

— У Фатьки Харла два года жил...

Наконец совещание кончилось, урядник опять ушел, опять залаяла собака, заскрипели санки. Федот загасил лучину и полез на печь. Но прежде он с полминуты стоял над Торлецким, приподняв кверху лучину, и с обычным скорбно-недоумелым выражением присматриваясь к молодому лицу. «До сих пор не приходилось еще возить эких-то...» — думал он, глядя, как молодой человек жмурит во сне от света закрытые глаза, между тем как на губах бродит неясная мечтательная улыбка.

— Экка беда, экка беда!..— закончил Федот свои размышления и потом, улегшись на теплой печке, еще прибавил: — Хлопотá, ей-богу... Чё только их возят...

Ветер стих, метель перестала шуршать по стеклам. На дворе снег валился тихо, большими хлопьями.

ИСКУШЕНИЕ

Страничка из прошлого

I

15 августа 1881 года около шести часов вечера меня «доставили» в Тобольск. Красивый полицеймейстер, в папахе сибирского казачьего войска, выехал из своих ворот, когда увидел нашу тройку. Он быстро соскочил со своей пролетки, подошел к нам, поговорил с жандармами, потом подошел ко мне, вгляделся в лицо и сказал:

— Неужели... Господин N... Ай-ай-ай! А помните, что я вам говорил год назад?

Год назад, в период лорис-меликовской «диктатуры сердца», начиналось, как мы тогда говорили, «веяние на запад». Из большой партии политических ссыльных восемь человек возвращены были с дороги обратно в Россию. Я был в числе этих первых ласточек.

Меня возвращали из Томска под надзор полиции, в европейскую Россию...

Тогда-то я и познакомился с красивым полицеймейстером. Сначала у нашей маленькой партии вышла с ним ссора, так как нас хотели рассадить по одиночкам. У нас же были женщины и дети. Одна из них, г-жа М., мать грудного ребенка, сама не могла его кормить (она была очень болезненна), и В. П. Рогачева кормила своего и чужого. Рассадить их по одиночкам значило бы убить одного из этих младенцев.

Полицеймейстер после моих сравнительно спокойных объяснений понял это, а сообразив вдобавок, что мы не подследственные и не высылаемые, а, наоборот, «возвращаемые», он и совсем махнул рукой. Женщинам нашли большую камеру, меня со спутником отвели в «подследственное». Не злой и не глупый по натуре, тобольский полицеймейстер был, в сущности, благодарен мне за спокойное разъяснение положения, которое помешало ему сделать бесполезную и ненужную жесто-

кость. Поэтому, провожая нас, он пожал мне руку и сказал:

— Ну, желаю всего хорошего. Знаете что? Я служу уже немало лет и не видал еще, чтобы люди, которых везли как политических в Сибирь, возвращались обратно.

— Бывало, господин полицеймейстер.

— Знаю, да я не видал. Но вот чего уж наверное не бывало: чтобы попавшие вторично когда-нибудь опять возвращались. Итак, не говорю «до свиданья». Искренно желаю более вас здесь не видеть.

Я поблагодарил, и мы весело двинулись из Тобольска «на запад» — в Европу!..

После этого прошло около года. Я жил это время в Перми и успел написать очерк, где были изображены ужасные порядки тобольской тюрьмы.

Вслед за тем произошло событие 1 марта. Началось опять «веяние» — с запада на восток, которое прихватило меня с собой...

Одиннадцатого августа мои пермские товарищи и сослуживцы прощались со мною на дебаркадере. Я кланялся из уходящего вагона, сидя меж двух жандармов, а мне махали платками...

Поднялся какой-то шум, кого-то оттесняли, кого-то вели для составления протокола... Что-то туманило мне глаза, и суровые виды Урала, ель, сосна и камень неслись мимо быстро улетающего поезда... А пятнадцатого августа, как уже сказано выше, красивый тобольский полицеймейстер качал головою и говорил мне укоризненно:

— Ай-ай-ай! Господин N. Ну теперь уже кончено! Говорил я вам — не послушались! Не видать вам теперь России, так и знайте! Женитесь здесь, обзаводитесь хозяйством и считайте себя сибиряком... Кончено.

Бедняга, очевидно, был плохой пророк. Через три года я еще раз ехал «на запад», но тобольский полицеймейстер не был уже тобольским полицеймейстером. Он был человек веселый, с эпикурейскими взглядами на жизнь, и как-то проштрафился столь серьезно, что даже сибирская Фемида не могла остаться слепой: красивый полицеймейстер попал под суд и сам сидел в тобольском «за́мке»...

Но все это случилось после, а пока продолжаю рассказ.

Погрозив мне, в сущности, довольно весело, он опять вскочил на свою пролетку и приказал ямщику: «За мной!»

Наша тройка вихрем помчалась за его мохнатой папахой, обращая на себя внимание редких прохожих сибирского города, к губернаторскому дому.

Свидание с его превосходительством было коротко. Губернатором в то время был Лысогорский, прославившийся впоследствии суровостью своего режима по отношению к ссыльным. Меня он почему-то принял любезно, согласился исполнить мои маленькие просьбы относительно писем и телеграмм к родным, потом пошептался о чем-то с полицеймейстером, то и дело поглядывая в мою сторону, как мне показалось, многозначительными взглядами... Наконец он сказал с благодушным видом:

— Ну-с, а теперь в тюремный замок.

И мы опять помчались за казацкой папахой.

В конторе тюрьмы я увидел знакомое лицо «его благородия» тюремного смотрителя, жестокости которого я описал в своем очерке. Он тоже сразу узнал меня, и на его сухом, еще не старом, но несколько мрачном лице с деревянно-неподвижными чертами промелькнуло загадочное выражение. Полицеймейстер распорядился, чтобы у меня не отнимали моих вещей и оставили в собственном платье, шепнув еще два-три слова смотрителю, лицо которого при этом оставалось все так же неподвижно, а затем приветливо кивнул мне головой и уехал.

Я с невольной грустью проводил его глазами.

Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой мрачной обстановки... Я вспомнил свое возвращение год назад, вспомнил друзей и товарищей, с которыми тогда ехал, и почувствовал еще острее свое одиночество...

— В военно-каторжную,— сказал смотритель надзирателям, окончательно «приняв меня» у жандармов.

— Как, в военно-каторжную? — удивился я.— Ведь я не военный и не каторжный, даже не осужденный. Я только пересылаюсь административным порядком.

Смотритель не ответил ничего, а двое служителей уже взяли мои вещи. Я увидел, что здесь никто не расположен обсуждать со мной этот вопрос, и последовал за надзирателями.

Мы вышли из конторы в ворота, потом прошли небольшой двор и остановились у запертых ворот другого. Мой провожатый приложил лицо к оконцу в воротах и крикнул дежурного. За воротами послышалось звякание связки ключей, потом калитка отворилась и опять захлопнулась за нами. Теперь трое крепко запертых ворот с тремя огромными висячими замками отделяли меня от вольного божьего мира.

Двор, в который мы вошли, был узок. С левой стороны бревенчатый сарай цейхгауза примыкал к высокой тюремной стене, с правой тянулся одноэтажный корпус, с рядом небольших решетчатых окон, прямо — глухая стена тюремной швальни, без окон и дверей. Сзади ворота, в середине будка, у будки часовой с ружьем, над двором туманные сумерки.

В этом тесном пространстве, наверное, гуляли весь день военно-каторжные арестанты, но теперь их угнали, может быть потому, что уже приближалось время поверки, а может быть, в честь моего прибытия. Пока я шел в своем черном пальто и шляпе — столь необычных в этом месте,— на меня из каждого окна смотрело по паре внимательных глаз. Одиночные арестанты изучали нового пришельца, держась руками за решетки и прильнув бритыми головами к отверстиям... Их бледные, тюремные лица выделялись в темноте окон резко и странно. Для военно-каторжного отделения мое появление было целым событием.

Мои провожатые прошли весь дворик. Входная дверь была в конце. Вступая в нее, я ждал увидеть длинный коридор и уже предвкушал интересные минуты первого знакомства с моими будущими соседями. Вот, казалось мне, захлопнется дверь коридора, провожатые уйдут, я подойду к своей двери с круглым глазком и прислушаюсь. И, наверное, услышу какое-нибудь приветствие или вопрос:

«Эй, политический, хочешь цигарку?»

А затем пойдет в ход изумительная по изобретательности и ухищрениям тюремная почта, и не одно, быть может, доброе движение души, не один задушевный рассказ из-за запертой двери вновь скрасят мое пребывание в этой тюрьме, как это бывало не однажды... И еще раз я повторю себе старую истину, что люди — всюду люди, даже и за стенами военно-каторжной тюрьмы.

II

Мне, однако, пришлось горько разочароваться. Пройдя узкий входной коридорчик, мои провожатые повернули не направо, как я ожидал, в общий коридор военно-каторжного корпуса, а налево. Мы очутились в маленькой конурке с кроватью и с сильным жилым запахом, не похожей, однако, на тюремную камеру. Дело объяснилось, когда ключник отпер еще одну дверь, и меня пригласили войти в открывшуюся одиночку.

Теперь я понял! Мне, как заключенному, придают особенную важность: я буду отрешен от всего, даже от тюремного мира. Меня запрут здесь, а в первой комнатке всегда будет находиться сторож, чтобы мешать всякому сообщению со мной арестантов. Итак, к трем воротам, отделявшим меня от вольного света, присоединились еще трое дверей, которые должны были отделить меня даже от мира тюремного.

— Ну пожалуйте,— сказал мне один из тюремщиков, увидя, что я не решаюсь переступить порог камеры. А другой прибавил грубо:

— Ступай, ступай, нечего!

— Нечего,— сказал и дежурный унтер-офицер, начальник нашего караула.

Что-то поднялось во мне неопределенное, но тяжелое. Это было сожаление к себе, точно к кому-то другому, но такое острое и жгучее, соединенное с таким сознанием несправедливости и насилия, что я был готов кричать, ругаться, сопротивляться. Но это было именно только мгновение. Темперамент у меня несколько иронический и спокойный, и, кроме того, во многих подобных случаях меня спасало любопытство. Если я окажу сопротивление караулу, я знал, что буду избит, может быть, изувечен, может быть, умру в тюремной больнице, и мои родные будут извещены, что я умер от тифа. В этом будет, пожалуй, убежден искренно даже и сам его превосходительство г. губернатор Лысогорский, и только разве красивый полицеймейстер сомнительно покачает головой. А впрочем, ему какое дело... Ну а если я войду в назначенную для меня камеру, то еще не знаю наверно, что будет дальше.

И я вошел и слышал, как последний замок щелкнул за мной с металлическим, довольно музыкальным звоном, который я до сих пор слышу в памяти, точно это

было вчера. Потом еще хлопнула дверь, и я остался один.

Моя камера имела три с половиной шага в ширину и шесть в длину. Потолок у нее был сводом, стены выбелены известкой. Но так как от ветхости с них, очевидно, много раз отваливалась штукатурка и белили их по образовавшимся неровностям, то все они были как-то пестры и грязны, на неровностях и выступах сидела траурными темными каемками густая пыль. У задней стены стояла круглая печка, у двери в стене было проделано отверстие, закрываемое железной заслонкой. Сюда подавали заключенному пищу и воду (очевидно из этого, подумал я, что ключи от двери хранятся не у моего сторожа, а в конторе). Дрянная «парашка» — старое и ржавое железное ведро с крышкой — распространяла острый аммиачный запах, к которому я, однако, скоро притерпелся. Деревянная кровать и небольшой столик составляли всю меблировку.

Свету в камере было совсем мало. Правда, начинались сумерки, но все-таки на дворе еще было светло. Я подошел к окну, которое было довольно высоко, и убедился, что пространство против окна, выходившего во дворик и находившегося между крыльцом и глухой стеной швальни, было забрано высокими досками, позволявшими видеть только небольшой клочок неба.

Я скинул с себя пальто и, подойдя к этому окну, облокотился на стол, поднял лицо кверху и долго смотрел на клочок неба, прорезанный четырехугольными силуэтами высоко поднявшихся досок. Больше, правду сказать, мне и делать-то было нечего. А в этом клочке неба, светившем и мерцавшем ко мне сверху, тихо продвигались облака, потом появился рог молодого месяца, который медленно проплыл в своей вышине, причем мне казалось, что он осторожно пробирается по ребрам моего дощатого забора. Он напоминал мне о широком и вольном божием свете, о полях и холмах, которые я видел так недавно, о том, что через несколько часов на него так же будут смотреть глаза дорогих и близких мне людей и, может быть, вспомнят обо мне. Но никто не угадает, что я теперь отделен от всего живого мира в этой странной келье, где даже клочок неба и месяц вижу, пожалуй, лишь по начальственному недосмотру...

Потом месяц стал углом на последнюю из досок, постоял на ней с полминуты и скрылся из моего тесного горизонта, оставив меня в моей конурке с сердцем, преисполненным тоской, разнеженностью от воспоминаний и сожалением о себе... К глазам в этой темноте подступали слезы. Мне хотелось кинуться на свою кровать, уткнуться лицом в подушку и, пожалуй, заплакать, как я плакал когда-то ребенком.

Но я этого себе не позволил. Во все время моих скитаний по тюрьмам я старался строго держать себя в руках и никогда не позволял себе в заключении трех вещей: спать днем, валяться на кровати, когда не спишь, и затем — отдаваться этим порывам разнеженности, когда к ним соблазняло одиночество, тоска и порой расстроенные нервы.

И теперь я не поддался, даже не лег, и стал думать: что же, однако, значит это странное обращение со мной? И зачем меня посадили в эту клетку, явно назначенную для самого строгого, из ряда вон, заключения? Тысяча самых диких мыслей приходила мне в голову. Мне стало казаться, что я никогда уже не выйду отсюда: я вспоминал выражение лица Лысогорского и тихое перешептывание с полицеймейстером, ласковое сожаление в красивых и беспечных глазах последнего, новый шепот его со смотрителем и каменное лицо «его благородия». Потом вспоминался самый род моего исключительного преступления, которое, как мне сказал добряк губернатор в Перми, не предусмотрено кодексом обыкновенных наказаний, но и безнаказанным остаться не может. Потом пришло на память обстоятельство, которое вовсе не казалось странным в свое время: что этот добряк уехал из города накануне моей высылки,— и теперь я объяснил это побуждением Пилата, умывающего руки...

Все это было дико, мрачно, нелепо, но ведь положение мое тоже было и дико, и мрачно... Я посмотрел на крепко запертую дверь, на железную печку, на стены каменного мешка... Здесь можно погибнуть безвестно и навсегда... Потом пришло в голову, что если закрыть эту печку с угаром...

Вообще начинался какой-то странный кошмар...

III

— Барин, возьмите свечку!

Отверстие в стене, вроде печной дверки, открылось; в него мелькнул свет, и протянулась рука с подсвечником. Камера осветилась, но не стала приветливой. Я взял свечу не торопясь. Мне хотелось заговорить с моим сторожем. Голос, которым он сказал эти слова, был грудной и приятный. В нем слышались простые ноты добродушного человека, и я тотчас же вспомнил, что это тот самый, который первый пригласил меня в келью деликатным «пожалуйте».

И, взяв свечу из руки, я сказал, наскоро придумавши предлог для продолжения разговора:

— Послушайте, я голоден.

— Ах, барин,— ответил невидимый сосед,— нынче вы уже не записаны, вам не полагается.

— В конторе мои деньги, нельзя ли сходить купить чего-нибудь.

— И, барин, невозможно! Здесь строго. Кабы в общей или в подследственной, а здесь ведь военно-каторжная.

Он говорил тихо, как будто боялся, что наш разговор кто-нибудь все-таки может услышать. Потом как-то нерешительно протянул руку, взялся за заслонку, чтобы закрыть ее, рука еще задержалась как бы в нерешительности, и наконец он захлопнул дверку.

Тогда я сразу почувствовал, что я действительно очень голоден. С утра я напился только чаю, рассчитывая, что мы приедем еще рано в Тобольск. Я думал, что мы только явимся к полицеймейстеру и тотчас же поскачем дальше. Остановка в этом мешке совсем не входила в мои расчеты. Теперь, несмотря на волнения этой неожиданности, голод вступил в свои права. Я поставил свечку на уступе железной печки и разложил свою постель на кровати. Потом опять сел, попробовал было взглянуть в окно, но клочок неба был темен, а доски подошли совсем близко, освещенные желтым огнем из моего окна. Я отвернулся и стал оглядывать стены. Заслонка опять тихо отворилась. Я подошел к ней. Рука протянулась, и сторож просунул деревянную чашку, в которой было немного щей, и кусок хлеба.

— Не побрезгуете, может,— сказал он с радушием простого человека.

Я немного колебался.

— Не побрезгуйте,— повторил он.

— А сами вы? — сказал я нерешительно.

— Мне что. Я обедал. А вам с дороги.

Это была правда. Я победил в себе легкий протест против этой подачки тюремщика, в лице которого видел теперь простого, доброго и деликатного человека. Я взял чашку и хлеб... Через четверть часа он заглянул в круглое отверстие двери и сказал:

— Кончили, господин?

— Кончил, спасибо.

— Пожалуйте чашку. А то скоро поверка будет. Смотритель увидит у вас мою чашку. Неловко.

Добрый человек, очевидно, опасался обнаружить перед «его благородием» излишнее по отношению ко мне добросердечие.

Действительно, вскоре в мою конурку проник заглушенный стенами рокот барабана, и через четверть часа в комнате сторожа столпились звуки шагов, голоса, звякание шпор и стук прикладов. Моя дверь быстро отворилась, и все эти звуки хлынули в мою одиночку. Несмотря на привычку, трудно преодолеть некоторое смущение, когда дверь отворяется и десяток незнакомых людей смотрят на вас лишь затем, чтобы смотреть. Впереди стоял офицер, еще молодой и потому тоже несколько смущенный. Рядом виднелось каменное лицо «его благородия». Последний окинул опять мою конурку, меня и мои вещи загадочным взглядом, в котором я прочитал что-то вроде внутреннего удовлетворения. «Его благородие» находил, по-видимому, что все идет совсем хорошо.

— Тридцать четыре! — прочитал офицер по списку.

Фельдфебель ответил:

— Есть! — И дверь опять захлопнулась.

Я чувствовал себя усталым, не спал от самого Екатеринбурга, где в то время кончался железнодорожный путь, или спал только в почтовой телеге. Поэтому я позволил себе лечь раньше обыкновенного.

Эпизод с чашкой и присутствие за стеной добродушного человека разогнали пока мои мрачные мысли. Я лег и заснул вскоре крепким и беззаботным сном.

IV

Наутро, проснувшись довольно рано, я быстро оделся, умылся из кружки над «парашкой» и стал оглядывать свое жилище...

Прежде всего мне бросилось в глаза на стене большое пятно, продолговатое, точно написанная строчка. Подойдя ближе, я увидел, что это была действительно надпись, глубоко врезанная гвоздем в стену и после тщательно сцарапанная скребком. Очевидно, это была фамилия моего предшественника, прежнего жильца этой камеры. Казалось, разобрать ее было совершенно невозможно. Я подумал, что мне может разрешить этот вопрос мой сторож, и потому тотчас после поверки постучал в дверку.

— Послушайте,— сказал я.

— Чего тебе? — ответил грубый голос.

Я с грустью убедился, что у меня сменили сторожа. Это был теперь тот из двух моих вчерашних провожатых, который первый назвал меня на «ты» и грубо требовал, чтобы я вошел в камеру.

— Во-первых, незачем «тыкаться»,— сказал я по возможности спокойно.

— Поговори у меня!

Я отошел от двери.

Нет таких иероглифов, которых нельзя было бы разобрать, сидя в одиночке. Я по десяти раз подходил к затертой надписи и простаивал перед ней по получасу. Она интересовала меня тем более, что, кроме нее, нигде на стенах камеры не было написано ни одного словечка, тогда как обыкновенно стены всех камер исписаны кругом. Кусок карандаша, а то уголек, гвоздь или обожженный конец спички служат орудиями этой стенной тюремной литературы. «Здесь еврей N страдал без вины» — такова была первая надпись этого рода, которую я прочитал во время первого же моего ареста в полицейском участке. Затем утомительный ряд черточек на стене отмечал день за днем бесконечную вереницу этих дней, проведенных страдавшим без вины евреем. Помню, я насчитал их тогда семьдесят две, и мне казалось совершенно немыслимым, чтобы меня, именно меня, Владимира Короленко, ни в чем не обвиняемого, могли продержать дольше этого срока. Потом и я начал ставить свои черточки, и — увы! — если сосчитать все число дней, которое я провел, как и этот неведомый

страдалец, в четырех безмолвных стенах, то их оказалось бы во много раз больше!

Обыкновенно к этим начертаниям начальство относится довольно терпимо. В пересыльных тюрьмах Сибири стены сплошь исписаны этими обращениями к будущим жильцам камер. «Скажите, братцы, Дуньке Полтавской, станет ее Никифор поджидать в Ачинске». «Братцы, Иван Семенов из Тюмени — изменник общества». «Прошел в сентябре месяце Павел Гаркушин на каторгу. Кланяюсь землякам». И т. д., и т. д. Порой лирическое излияние, в прозаической или стихотворной форме, разнообразит эти своего рода публикации, вызванные желанием оставить где-нибудь слух о своей горькой жизни или передать деловое сообщение.

В моей камере все эти надписи были тщательно затерты, и по ним еще побелили известкой. Оставалась одна в виде широкого, длинного углубления, врезанная слишком глубоко для того, чтобы можно было ее уничтожить бесследно.

Исследуя ее, я заметил, во-первых, что рытвина разделялась на две части. Вторая часть была короче. Очевидно, фамилия состояла из меньшего числа букв, чем имя. Имя говорило мне мало, фамилия могла быть все-таки известна...

И я тщательно занялся фамилией.

Она, очевидно, начиналась с кружка и кружком кончалась. Следы округленных букв остались довольно заметны. Я сосчитал затем число углублений, соответствовавших буквам, и после многих соображений пришел к заключению, что их было шесть. Тогда, принимая, что первая буква могла быть Ф, а последняя Ъ, внезапно был осенен догадкой, вскоре принявшей форму полной уверенности.

Да, несомненно, я был в камере Фомина.

V

Почти год назад, с двадцать пятого августа, как уже было сказано выше, я провел несколько дней в той же тобольской тюрьме, только в другом ее отделении. Однажды к моей двери подошел арестант по фамилии, кажется, Ефремов и передал мне записку, написанную на обрывке серой бумаги. Из нее я узнал, что в тобольской тюрьме, в военно-каторжном ее отделении, сидит

уже третий год в строжайшем одиночном заключении политический осужденный, «именующий себя Фоминым».

История его была еще свежа у всех в памяти. После так называемого большого процесса (1877—1878 годы) осужденных Ковалика и Войнаральского, видных деятелей мирного периода революционной борьбы, перевозили из Петербурга для заключения в Белгородскую харьковскую центральную тюрьму. В это время среди белого дня, на шоссе, на виду у косцов и жниц, работавших в поле, на почтовую тройку, в которой сидел Войнаральский и два жандарма, напали двое верховых, которые выстрелом из револьвера убили одного из провожатых и долго гнались за убегавшей по шоссе тройкой. Боязнь ранить арестанта мешала нападающим стрелять, а быстрота лошадей — догнать их. Вскоре они отстали, и уцелевший жандарм с убитым товарищем и с арестованным Войнаральским поехали дальше. Они уже были близко от места назначения, когда с проселочной дороги на шоссе выехал еще один всадник и поехал навстречу. Жандарм приготовил револьвер в полном убеждении, что это запоздавший сообщник. Всадник проехал мимо.

Впоследствии в арестованном на вокзале молодом человеке жандарм признал этого последнего всадника, а дальнейшие розыски доказали, что этот молодой человек, «именующий себя Фоминым»,— один из деятельных участников революционных кружков, что его самого пытались освободить в Одессе, во время процесса Ковальского, и что после этого он все-таки бежал из киевской тюрьмы. Побег был совершен с необыкновенной находчивостью и незаурядною смелостью. Боясь новых попыток освобождения, его после приговора увезли из России с такими предосторожностями, что долго никто не знал, куда его девали. Теперь в своей записке он сообщил мне, что его везли под номером, что даже жандармы не знали его фамилии, что его сопровождал целый отряд из пяти жандармов, причем от участка до участка с ними скакали заранее предупрежденные заседатели, а на этапах, где происходили иногда остановки, «сбивали народ» и всю ночь жгли кругом костры.

Вся эта странная история показалась мне сначала несколько подозрительной: в тюрьмах очень много охотников рассказывать подобные вещи проезжающим

политическим ссыльным, чтобы выманить деньги. Однако я ответил, и между нами завязалась переписка. Почтальоном служил арестант, подававший Фомину пищу.

Как ни строго было заключение, долгая практика всегда укажет известные бреши — и порой арестант мог перемолвиться с Фоминым словом или передать записочку. Это меня не удивило.

В одной из записок Фомин сообщал, что он сидит в своей конурке третий год безвыходно. Его не пускают гулять, даже не водят в баню. Раз в месяц вносят в камеру большую ванну, и он моется в присутствии сторожа и смотрителя. При этом у «его благородия» хватало совести насмехаться над заключенным, который — «ишь ты, моется в ванне, как барин».

Единственным развлечением Фомина было приготовление фигурок и игрушек из мятого хлеба — искусство, которое на моей памяти процветало среди заключенных за восстание поляков. Мой родной город, Житомир, был тогда переполнен этими изделиями, так как покупка их была легальной формой помощи арестантам.

Фомин изловчился сделать глобус и подарил его ребенку смотрителя. Тогда смотритель позволил ему продолжать ремесло, и Фомин сделал уже весь планетарий, для чего пользовался проволокой из оконной решетки. Смотритель и на это посмотрел благосклонно, так как он стал продавать эти изделия на сторону, платя Фомину по рублю. Сколько он сам получал — оставалось неизвестным.

Понемногу я переслал Фомину бумаги, конвертов, десять рублей, тщательно заделанных в конец копченой колбасы, и, наконец, несколько стальных перьев, кисть и кусок туши, которая всегда бывала со мною (очень удобно хранится и служит вместо чернил).

Особенные сомнения внушали мне деньги, так как арестант-посредник едва ли бы удержался от искушения. В тот же день, когда я послал их, к нашей двери явился высокий молодой арестант, назвавший себя тюремным старостой. Это был человек располагающей наружности и державший себя вполне независимо.

Он спросил у меня, не пересылал ли я Фомину денег, и предупредил, что Ефремов человек ненадежный. «Общество» ему не доверяет, и староста боится, что

он украдет деньги, назначенные Фомину. Я, конечно, не имел тогда оснований особенно доверять и этому своему собеседнику, который легко мог быть подослан не «обществом», охранявшим интересы одиночного узника, а смотрителем. Поэтому я холодно ответил, что это дело мое, и мы расстались не особенно дружелюбно.

На следующий день я получил через Ефремова записку, написанную, как и предыдущие, очень простым шифром. Деньги и все остальное дошли по назначению. Тем не менее, забегая вперед описываемых событий, я должен сказать, что теперь я с чувством уважения и благодарности вспоминаю о старосте и о честном предостережении со стороны тюремного «общества».

В сентябре того же года, которым начинается настоящий рассказ, то есть через год с небольшим после моей переписки с Фоминым, я был в Томске. Там меня посадили в общую камеру в так называемой «содержающей» (тюрьма, назначенная для приговоренных на сроки к тюремному заключению). Оказалось, что Ефремов был в это время там; он уже кончил свой срок и пересылался на поселение, но его держали особо от пересылочных, так как над ним тяготела гроза тюремного общества. Оказалось, что Фомин написал письмо и дал Ефремову денег на подкуп сторожей, которые бросили письмо в почтовый ящик. В письме Фомин извещал товарищей о своем заключении и просил помощи. А так как на его имя всякие сношения были абсолютно невозможны, то для высылки денег он дал адрес Ефремова, который около этого времени оканчивал срок. Действительно, вскоре Ефремов получил семьдесят рублей от имени будто бы своих родных. «Общество» знало, кому назначены деньги, и потребовало, чтобы Ефремов честно передал их Фомину. Ефремов отлынивал и наконец вышел из тюрьмы для отправки на поселение. В это-то время я и встретил его в коридоре томской тюрьмы и не узнал, так как не видал его около года. Однако не мог не обратить внимания на то, что встречный арестант, с лицом, напоминавшим мне что-то, потупился и как-то сжался при встрече, точно виноватая собака. На следующий день в «содержающую» пришло из пересыльной сообщение о том, что Ефремов есть «изменник общества» и об его поступке с Фоминым... Его жестоко избили.

Целый день несчастный прятался под нарами в пустых камерах, а во время поверки кинулся в ноги смотрителю, прося, чтобы его перевели в секретную. Я стал просить арестантов, со своей стороны, чтобы они пощадили несчастного негодяя. Мне ответили, что в этой тюрьме жизни его не грозит опасность. Сидящие на сроки не решатся сделать «крышку», но бить его будут все время, как собаку, походя и при всяком случае. Если же тут были бы каторжане, то никакая секретная не спасла бы изменника, так как Фомина, заключенного с такой строгостью в каторжной тюрьме, они, не зная лично, считали все-таки своим.

VI

С тех пор как я посылал деньги и перья Фомину, прошел год. И вот сам я сижу почти в том же положении и, судя по всем признакам, в той же камере. Он писал мне, между прочим, что ему стоит величайших усилий хранить недозволенные предметы, так как еженедельно у него производят тщательные обыски.

Теперь я стал разыскивать его тайники. Я осмотрел стены, рамы и окна, всякую черточку на железной печке, но ничего не находил подозрительного. Наконец я стал осматривать кровать. Она была деревянная, грубо окрашена темною краской. Исследуя каждый квадратный вершок, я заметил, что одно место спинки было слегка неровно и как будто немного чернее. Я попробовал мокрым пальцем: палец оказался черным, между тем как в остальных местах краска не отставала. Тогда я стал скоблить это место. Оказалось, что оно закрашено тушью поверх тонкого слоя мягкого хлеба. Я сорвал тоненькую пленочку и увидел, что под нею, с искусством, которое присуще или самому ловкому столяру, или одиночному арестанту, в кровати вырезано углубление не больше трех квадратных дюймов и около $^1/_2$ дюйма в глубину, закрываемое тоненькой задвижной дощечкой. Чтобы нельзя было заметить щелочек, искусная рука прикрывала дощечку слоем хлеба, который после окраски тушью давал полную иллюзию цвета и неровной густоты масляной краски. С волнением человека, находящего признаки ближнего в пустыне, я открыл эту заслонку. В углублении лежала свернутая бумажка, два стальных пера и кусок туши.

Прежде всего я жадно развернул бумажку. Это было мое собственное письмо Фомину.

Год назад я был доволен и счастлив. Неожиданная и благоприятная перемена в моей судьбе, возвращение «на запад», милое общество случайно, но очень удачно собранных судьбою людей, в том числе несколько хороших женщин,— все это настраивало радостно. Помню, что я писал тогда в настроении счастливого человека, которому хочется передать частицу своего счастия другому. Я сообщал о нашем возвращении, о признаках новых веяний, толки о конституции, которыми ознаменованы были первые месяцы царствования Александра III... Помню, что ответ Фомина был полон горечи и сомнений.

И вот я теперь читал свое радостное письмо в той же камере...

Того, кому я писал, может быть, не было в живых. Я один, еду опять теми же местами неизвестно куда. А что, если здесь-то и есть конец моего пути? — внезапная и горькая, опять мелькнула во мне эта мысль. Что, если через некоторое время у меня отнимут мое платье, мои вещи, мою постель, все, что напоминает мне о воле,— и принесут сюда арестантский халат, может быть снятый с плеч моего умершего предшественника, и дни бесконечной вереницей потянутся надо мной, не трогая меня, ни в чем не меняя моего положения, как идут они над могилой, как шли над Фоминым? И мне раз в месяц станут вносить ванну, и те же неуклюжие шутки, которые слышал Фомин, «его благородие» станет отпускать теперь по моему адресу... Ведь в самом деле род моего преступления не предвиден законом...

Эта мысль привела меня в такое состояние, что я в первый еще раз кинулся на свою постель, уткнувшись лицом в подушку. Подушка оказалась жестка и колюча. Перестилая постель, чтобы посмотреть, нет ли надписей на досках, я вывернул наверх лежавшую на ней лепешку, набитую соломой, превратившейся отчасти в труху. Может быть, эта тюремная подушка лежала здесь с того времени, как Фомин выплакал на ней свои последние слезы. Я не отбросил ее. Эта мысль доставила мне теперь своего рода горькую отраду. Пусть... так лучше!.. Так я полнее отдавался теперь мрачному чувству, поднявшемуся из глубины сердца.

Среди этих ощущений спустились сумерки. Я не вставал, изредка только подымал голову от подушки. В камере стояла полутьма. Прежде я любил смотреть, закинув голову, на клочок вечернего неба, которое заглядывало ко мне светлым пятном. Теперь оно меня раздражало. Мне хотелось как можно полнее прислушаться к тишине моей сумрачной камеры, и, подымая голову, я нарочно отворачивался к двери, черневшей прямым четырехугольником. Около него и в углах было совсем темно. Черта разобранной надписи чуть-чуть виднелась на стене... И мне казалось, что здесь невидимо присутствует прежний жилец этой камеры. Когда я лежал лицом к его подушке, мне казалось, что он стоит надо мной и иронически качает головой с бледным лицом и воспаленными мрачными глазами. И мне слышался беззвучный шепот погибшего террориста...

«Мечтатели, слабые души, слепые... Что значат ваши средства перед силой, которая не считается ни с чем и последовательна в своих проявлениях? Нет, надо было принять десять присяг и, произнося слова клятвы, обдумывать средства мести за нас, погибших, и для освобождения живых...»

Моя голова становилась тесна для этих жгучих мыслей, как тесна была эта каморка для всяких планов борьбы и мести. Я вскочил, присел на своей постели, охватил голову руками и пытался призвать к себе обычное самообладание.

В это время загремели опять запоры, опять сторожка наполнилась звоном сабель, шпор и ружей, опять распахнулась моя дверь. Мне показалось, что это решается моя судьба, что меня сейчас или уведут отсюда, или отнимут мои вещи и оставят здесь навсегда. Мне кажется, что в последнем случае я способен был в эту минуту на какое-нибудь безумство. Но я забыл — это была просто поверка.

— Тридцать четыре!

— Есть!

По какому-то внезапному, инстинктивному побуждению я вскочил со своей постели.

— Господин смотритель,— сказал я.

— Что еще?

— Я желаю видеть полицеймейстера и прокурора.

— Это лишнее.

Офицер сказал что-то смотрителю, а тот опять обернулся.

— Что вам нужно?

— Я хочу принести жалобу. Меня, пересыльного, держат в каторжной одиночке. Вы не выпускаете меня гулять, я не могу написать письмо, я чувствую себя нездоровым.

Смотритель не ответил ничего; поверка ушла.

VII

Однако на следующий день меня выпустили гулять.

Целый день по дворику ходили каторжане, порой слышался звон кандалов, порой, когда солнце светило прямо в мои доски перед окном, в щели между ними можно было видеть мелькающие тени. Когда же барабан отбивал свою дробь и тюрьму закутывали молчаливые сумерки, тюремная жизнь уходила в камеры. Тут до огня бродяги рассказывают о своих похождениях, порой молодой и надтреснутый голос говорит с тоской о своем «несчастии», о судьбе, о преступлении и как оно случилось. Порой циничный и удалой рассказ каторжника-убийцы резко звучит среди молчаливой камеры, редко одобряющей излишние откровенности.

В это время меня выпускали на полчаса. Ворота были тщательно заперты, солдат дремал у будки, поддаваясь тихому веянию сумерек, переполненных тенями, неуловимым шепотом, просачивавшимся будто сквозь стены тюрьмы, и отдаленным рокотанием колес в городе, за тюремной стеной. Я ходил взад и вперед, от глухой стены швальни до ворот, между цейхгаузом и корпусом каторжного отделения. Надо мной было небо, казавшееся мне теперь неизмеримо глубоким, а над воротами, невдалеке, на меня глядели окна с занавесками и цветами. Эти окна меня очень удивили. Потом я сообразил, что это, наверное, частная квартира смотрителя. В один вечер что-то замелькало между цветов. Вглядевшись в неопределенный сумрак, я различил, однако, голову и лицо ребенка. Дитя смотрело, должно быть, на мою одинокую фигуру, невиданную и странную, в черном пальто и шляпе, в этом царстве серых халатов и военных мундиров.

Пока я гулял, мои сторожа должны были находиться тут же, во дворике. Таким образом, меня караулили двое. Сторож обыкновенно садился на толстый обру-

бок, вроде того, на каком мясники разрубают мясо. Этот обрубок стоял недалеко от ворот. Солдат стоял у середины узкого пространства. Таким образом, гуляя от ворот до швальни, я постоянно был у них на виду.

Впрочем, был небольшой уголок, прямо против входной двери в коридор, где я мог быть не видим для обоих. Цейхгауз, пристроенный к тюремной стене, был не во всю стену. Между ним и перпендикулярной стеной швальни оставался четырехугольник, на котором валялись кучи мусора и отбросов. Бревенчатая стена цейхгауза упиралась прямо в каменную ограду. Когда я подходил к этому концу двора, маленький пустырь оставался у меня на левой стороне. На него выходило мое окно, забранное досками (всякий раз, как я глядел на эти доски, мне становилось как-то жутко думать, что за ними мое жилье). Затем наше крылечко с тремя ступеньками. Его дверь была обыкновенно открыта, и в нее виднелся короткий тупой коридорчик. В нем не было никогда ни души. Наконец еще одно окно из ряда каторжных одиночек тоже выходило на пустырь. Остальные же находились против стены цейхгауза.

В первый день, когда меня выпустили, дежурил Гаврилов. Я знал уже этот тип тюремных надзирателей. Это люди серьезные, семейные, дорожащие службой и не склонные к подкупу. Я убежден, что Ефремов передавал Фомину записки не в его дежурство или по крайней мере без его ведома. Подкупать легче было другого. Но зато Гаврилов был доступен простым человеческим движениям души, не делал ничего лишнего для отягчения участи заключенного и рад был сделать все, что не ставило его в положение отчаянного, легкомысленного, рискующего человека. Между прочим, он охотно вступал со мною в непродолжительные, правда, беседы; он интересовался, есть ли у меня жена и дети, прибавил, что у него их трое, что всех надо кормить. Потом спросил, есть ли отец и мать, и покачал при моем ответе головою. Он, видимо, был очень доволен, отворяя мне камеру и выпуская меня на прогулку. Сам он сел на обрубок и просидел на нем, подремывая, все время, пока я ходил, разминаясь, взад и вперед.

В один из этих моих рейсов, от ворот до стены швальни, я заметил, что в последнем окне мелькнуло

лицо. Каторжник с обритой наполовину головой делал мне какие-то жесты. Я удивленно остановился, но он тотчас же скрылся за стеной камеры. Я понял: мне не следовало останавливаться, так как сторож или солдат могли заметить это, и потому я прошел мимо тем же размеренным шагом.

Подходя во второй раз к этому окну, я замедлил шаги и посмотрел искоса, не поворачивая головы. Арестант опять стоял у окна и махал руками, как птица.

Это опять продолжалось лишь несколько секунд. Зато почти минута оставалась на обсуждение таинственного сигнала. Что он хочет сказать? Неужто эти птичьи размахи означали намек на свободу, на вольный полет?

С этим вопросом в уме я опять поравнялся с окном. Мой таинственный собеседник сидел на подоконнике на корточках. Пока я миновал его и пока поворачивался назад, он все подымался во весь рост, хватая воздух руками, и всей белой фигурой, выделявшейся на темном фоне окна, изображал приемы человека, который карабкается кверху. Я опять кинул недоумелый взгляд, но затем пришел к безошибочному заключению, что таинственный собеседник, несомненно, намекает на возможность побега.

Я шел к окну в четвертый раз. Теперь каторжник стоял неподвижно и только протянутой рукою указывал мне прямо на четырехугольник двора, за стеной цейхгауза. Затем он еще присел, поднялся, как будто делая прыжок, и взмахом обеих рук указал, что мне следует потом бежать вдоль тюремной стены направо. Я вспомнил, что тут крутые, поросшие бурьяном пустынные обрывы горы ведут к реке Иртышу или Тоболу и что внизу раскинута прибрежная часть города, с трактирами и кабаками...

Теперь, пока я шел взад и вперед по двору, мое сердце усиленно билось, в висках стучало; я подошел к окну и тихо прошел мимо. Каторжник глядел вопросительно и ничего уже не показывал. Я уперся почти в стену швальни, плохо сознавая свое положение. Тут, поворачиваясь, я очутился прямо против досок, закрывающих окно моей камеры. Одна щель была расковыряна, и в нее на одно мгновение мелькнула часть моего окна. В камере мы оставили свет, который теперь освещал пустое пространство между стеной и досками. В этой освещенной пустоте было что-то жуткое.

Я круто повернулся и пошел за стенку цейхгауза.

Бревенчатая стена примыкала к каменной. Она была сложена из толстых лиственниц, а так как лиственница очень щелевата, то в каждом бревне были широкие щели, за которые легко было цепляться концами пальцев. Это была удивительная оплошность тюремной администрации, одна из тех, которые являются невольно в деле, идущем день за днем по заведенной рутине. Впрочем, может быть, администрация знала слабое место этого двора, и потому-то Фомина, известного беглеца, не выпускали вовсе. Каторжники гуляли днем, когда скрыться немыслимо. И только я в эту минуту стоял лицом к лицу с начальственным недосмотром. Крыша цейхгауза не доходила вплоть до верхушки стены, но тут оставалось не более полутора аршин.

Очутившись вне взглядов моих сторожей, я быстро подошел к углу и стал карабкаться кверху. Помню, что в это время у меня не было определенного плана. Сердце билось, в висках стучало, в воображении рисовалась верхушка крыши и гребень стены, потом заплаканное лицо матери, доброе лицо Гаврилова и его трое детей. Совесть говорила мне ясно, что я не должен пользоваться его доверием, что было бы гораздо лучше, если бы этот случай представился в дежурство Иванова. Но я карабкался кверху, повторяя про себя: все равно это невозможно... Это я только пробую...

Может быть, все эти разнообразные ощущения были причиной, мешавшей энергии моих усилий, или действительно препятствие было неодолимо, но только ноги скользили, пальцы тоже, подъем был труден и долог. Я соскочил с пятого бревна и тихонько пошел из-за угла. Когда я вышел, солдат и Гаврилов смотрели в мою сторону. Арестант тоже смотрел жадным взглядом, вытянув шею.

Весь этот вечер, в своей камере, я думал об этом случае и о своем положении. Помню, что это было во вторник. В среду обыкновенно проходил мимо Тобольска пароход с арестантской баржей. Запирая меня на ночь, Гаврилов тихо сказал мне, что «может, завтра вы уедете. Завтра провезут политическую партию».

Я вздохнул с облегчением и как-то радостно посмотрел на доброго человека... В эту ночь я открыл форточку и долго смотрел в ясный клочок неба. Вечером я написал письма, проникнутые бодростью и надеждой...

Утром я спал долго и не слышал поверки. Эта вольность дозволялась мне в моей одиночке — в общих камерах все должны подниматься и выстраиваться при входе «поверки». Первый звук, который я услышал, одеваясь, был долгий, гулкий, протяжный свисток, доносившийся с реки в мою открытую на ночь форточку...

Я быстро оделся, наскоро разболтал чай в полуостывшем кипятке, который был подан в отверстие, когда я спал, и стал ждать. Я знал, что баржа простоит несколько часов, так как с нее спустят и на нее примут еще партию тобольских арестантов. Год назад я сам был на этой барже. Ее отвели тогда на середину реки, закрыли брезентами со стороны города, и мы, гуляя по палубе за решетками, старались приподнять брезенты и полюбоваться на красивый город с его крутой и высокою горой. Оттуда я видел впервые на верхушке горы и этот тюремный замок...

Эти воспоминания усилили мое нетерпение до степени лихорадки. Часы ползли медленно; я ходил по камере, кидался на кровать, опять вставал и бегал по своей клетке. Заслонка открылась, мне подали оттуда обед. Я не обратил внимания, кто подает его, взял, не говоря ни слова, миску, но есть не мог. Все равно, думал я, меня накормят товарищи на барже. И предвкушение скорой встречи, приветствий, расспросов, новых знакомств, может быть, встреч со старыми знакомыми, потом Красноярск, предстоящее свидание с сестрой и матерью, которые проехали туда год назад к сосланному одновременно с нами зятю,— все это промчалось в душе какой-то полурадостной, полумучительной бурей...

В таком настроении услышал я первый свисток парохода. Я заметался, еще раз осмотрел свои вещи, как человек, который боится опоздать к пароходу... Но моя дверь оставалась запертой.

Вскоре за первым послышался второй, потом третий свисток. Еще через четверть часа — прощальный гул пронесся вниз по реке и замер. Очевидно, пароход обогнул тобольскую гору, и партия плыла дальше. Я видел в воображении, как раскрываются брезенты, молодые люди и девушки жадно глядят из-за решеток, как тихо уплывают берега, церкви, здания Тобольска. И, может быть, им видна еще на горе стена моей тюрьмы. Тупое отчаяние, над которым глухо закипало бессильное бешенство, овладело моей душой...

Я лег на кровать кверху лицом и лежал, не двигаясь, заложив руки под голову. Помню очень хорошо, что я ни о чем не думал. В голове моей не было ни мыслей, ни представлений, ни образов. Это была тяжелая пустота.

И, однако, странно: в этой пустоте как-то само собой созрело решение. Когда я поднялся со своей постели, оно было готово, и я начал действовать, как будто исполняя чьи-то распоряжения.

Прежде всего я принялся за простывший обед и съел почти все. Потом открыл чемодан и развязал узлы.

В одном из узлов у меня был чекмень, вроде казакина из легкой мерлушки, покрытой так называемой чертовой кожей. Это был подарок одного мало мне знакомого доброжелателя. Незадолго до моей высылки он приехал в Пермь, стараясь склонить меня на некоторые предприятия, от которых я, однако, решительно отказался. В те несколько часов, которые мне были оставлены от объявления о высылке до отхода поезда, ко мне приходили многие пермские знакомые, пришел и он. Отозвав меня в сторону, он подарил мне этот чекмень и сказал, что около воротника, на спине, есть карман, сделанный необыкновенно ловко, который можно вскрыть.

— Может быть, пригодится,— прибавил он.—А тогда мы опять увидимся и потолкуем о том, что я предлагал вам... Думаю, вы тогда будете сговорчивее...

Я поблагодарил и принял, улыбаясь, подарок. Я думал, что чекмень может пригодиться и без кармана на спине. Теперь я тотчас же распорол шов около воротника и вынул оттуда два серых полулиста бумаги. Один был «вид на жительство». В нем говорилось, что чернский, Тульской губ., мещанин Иван Иванов отпускается во все города Российской империи для сбора, по доверенности причта такой-то церкви, на возобновление сгоревшего в 1879 году храма. Другой удостоверял с приложением церковной печати и за подписью дрожащей руки какого-то благочинного, что я по усердию взялся сделать дело господне, к коему и приглашаются усердные даятели. Я тщательно перечитал оба документа, рассмотрел подписи исправника, мещанского старосты и причта, потом критически исследовал печати. Они были оттиснуты довольно явственно, но не так, однако, чтобы возбудить подозрение излишней отчетливостью. Все было в порядке.

Потом я стал перебирать бумаги и письма. Это была переписка с матерью, сестрой, друзьями, с девушкой, которая впоследствии стала моей женой. Все это теперь нужно было уничтожить, чтобы эти имена не фигурировали в официальной переписке по моему делу. Я знал по опыту, что всякое самое простое упоминание фамилии — есть своего рода зараза. Имя упоминалось, значит — человек «замешан».

Когда я перечитал последнее письмо матери и поднес его к свечке, невольная слеза зашевелилась в глазах. Мне представился ясно этот новый удар моей матери, но это меня не остановило. Здесь или за стеной — я для нее уже не существую. Листок загорелся, и мне казалось, что вместе с последним язычком пламени исчезло все мое прошлое. С этих пор я становился фактически чернским мещанином Иваном Ивановым. Мой план был готов и полон...

Затем я вскрыл и несколько строчек, написанных на обертке удостоверения химическим способом. Здесь мой доброжелатель записал при помощи шифра несколько адресов в разных городах Сибири и Восточной России. Это были имена лиц, принимавших участие в подпольной организации так называемого «Красного Креста», имевшей целью способствовать побегам, впоследствии открытой правительством.

Заучив на память два тобольских и еще несколько адресов в других городах России, я смыл самую надпись. Если бы эти документы даже попались в руки тюремщиков, никому не пришло бы в голову, что здесь были еще надписи, которых совсем не видно. Потом я пересчитал бывшие со мною деньги, около сотни рублей, и привел все в прежний вид.

После поверки, в те четверть часа, которые еще оставались до прогулки, я наскоро переоделся в другое платье, надел под пальто чекмень, в котором никто не видел меня в тюрьме, спрятал в карман барашковую шапку, вид на жительство и, готовый к выходу, стал ожидать прогулки.

Сердце во мне теперь не билось, и думаю, что вид у меня был совершенно спокойный. А между тем где-то глубоко-глубоко, на дне души лежала тяжелая горечь и озлобление... Что сделал я, за что судьба вела меня этими незаметными, постепенными и неизбежными переходами к этой минуте...

По характеру, по всем склонностям, я, мечтатель и художник, склонный к мирным занятиям, к рефлексии и наблюдению, теперь я стою у порога новой и чуждой мне жизни. Это было в третий раз, но этот раз гораздо сильнее, чем оба предыдущие: судьба толкала меня на этот путь. Я сознавал ясно, что я, Владимир К—о, теперь начинаю умирать. Через час я буду или действительно мертв, или вместо меня народится на свет мещанин Иван Иванов, существо скрытное, преследуемое, обозленное, которому предстоит двойная, странная жизнь, полная неведомых приключений и тайны. И я чувствовал, что это уж буду не я. Моя судьба поведет меня дорогой, которая мне чужда и неприятна. И куда приведет меня та сила, которая теперь так властно предписывает мне все, что я исполняю с отчетливостью повинующейся машины,— я уже не мог ни предсказать, ни предвидеть... В последние минуты мой личный нерешительный и мягкий темперамент сказался опять какой-то жгучей тоской, безграничной жалостью к себе самому, к своей нравственной личности, ко всему, чем я жил до сих пор, что думал, во что верил, на что надеялся. Потом опять лицо матери взглянуло на меня с тоскливой мольбой... Но это было неясно и недолго. Я чувствовал, как кровь отливает у меня от сердца, как брови мои сжимаются...

Наверное, лицо мое было очень бледно, а глаза горели лихорадочным огнем... Во мне поднимался протест против разнеженности и добрых побуждений мягкой и слабой души. Этот протестующий и строгий голос говорил мне, что ничто и никто не судья теперь того, что я сделаю впоследствии... Потому что я буду теперь мстить... Мстить всему, что убило во мне прежнего человека, что привело меня к этой минуте, что сделало из меня чернского мещанина Иванова. И я чувствовал, что мне нет уже другого суда, кроме этого голоса...

VIII

Замок тихо щелкнул, дверь открылась...

На пороге стоял Гаврилов.

— А, это опять ты? — сказал я, пораженный его появлением довольно неприятно. Я представлял себе,

что меня будет сторожить теперь это грубое животное Иванов, и мне доставляла некоторое наслаждение мысль, что своим побегом я подведу именно его, что мещанин Иванов первыми своими шагами погубит Иванова-тюремщика.

— Да, барин, опять я. Иванов отпросился на именины к матери.

«Ну все равно,— подумал я.— У меня тоже есть мать...» Но эта мысль теперь уже не смягчала, а ожесточала еще больше.

— А пароход-то ушел? — сказал я с горечью, как будто в этом виноват именно он, Гаврилов.

— Так точно, барин. Ушел,— сказал он сконфуженно, как будто и сам признавал себя виновным.

Он отвернулся и вздохнул.

— Ничего, бог милостив. Сказывали в конторе, будто вас увезут опять с жандармами, на тройке.

Я пронизал его взглядом. Я был убежден, что он врет и отворачивает глаза потому, что слышал совсем другое... Его утешения подымали во мне глухую злобу. «Утешаешь, добрый человек,— думал я с горечью.— Эх вы, добрые люди! Нет ничего хуже русского доброго человека... Разве не он, не русский добрый человек, виноват во всем? Разве он, жалеючи, не сторожит в тюрьмах всякого, кто стремится к свободе и правде?.. Ну хорошо же,— думал я с ожесточением,— сторожи же теперь, *добрый человек*, покрепче. Не я виноват, если ты по своей доброте зазеваешься. Каждому свое. Ваше дело смотреть, а наше освобождаться. Пусть каждый делает свое дело, а детей, страдающих и плачущих об отцах, не меньше и даже больше на нашей стороне, чем на вашей... Правда, когда-то, и еще недавно, я думал, что этих добрых людей надо жалеть и щадить... Но это «недавнее» было все-таки так давно. Меня уже нет... Жалел NN, а теперь будет мещанин Иванов...» Очень может быть, что Гаврилов заметил мое настроение. Может быть, если не сознание, то чувство шевельнулось в нем в том же направлении, в каком шла теперь моя мысль, и, вынимая ключ из замка, пока я выходил, он сказал тихо:

— А я, барин, скоро брошу эту службу.

Эту фразу я слышал второй раз от своих тюремщиков. В первый раз она меня очень обрадовала. Теперь только обозлила. То же самое, может быть, ты, добрый

человек, повторял Фомину, пока он не умер, и ты все-таки запирал его аккуратно, произнося свои добрые слова и немудрые утешения...

Я ничего не ответил, и он не пытался заговорить больше. Мы были опять на узеньком дворике. Он сел на свой обрубок и даже повернулся к стене. Мне показалось, что он сделал это не случайно, что ему немного стыдно теперь следить за мной.

«Ладно,— подумал я опять.— Ты можешь деликатничать потому, что надеешься на замки и на высокие стены. Посмотрим».

Около Гаврилова тихо ласкалась и визжала маленькая собачка...

IX

Первый мой взгляд был опять на крайнее окно. Каторжника не было видно, когда мы проходили вместе с Гавриловым. Но в первый же раз, как я пошел мимо один, он опять появился, ткнул пальцем в угол четырехугольного пустыря и нырнул за стену так быстро, как будто боялся последствий. На обратном пути я внимательно посмотрел в этот угол и вздрогнул.

Чего добивался мой искуситель или искусители, так как теперь мне было совершенно ясно, что все каторжное отделение принимало участие в моей судьбе? Было ли это участие или простое любопытство?.. Правда, что нам часто приходилось встречать проявление товарищеского участия со стороны каторжан, которые видели, что для нас, политических, тюрьма готовит все свои суровости и стеснения, не представляя взамен никаких облегчений, связанных с обществом себе подобных и с артельною жизнью. Однако в ту минуту мне представилась другая сторона дела: так скучно сидеть месяцы и годы в этом дворике, так однообразно идут дни за днями... А тут побег, может быть, выстрел часового на верхушку стены, может быть, стон и падение человеческого тела, а может быть, и удача, за которую переберут все начальство... Это, конечно, хорошая программа для временного увеселения тоскливого и тесного военно-каторжного дворика.

Думаю, что я был совершенно не прав по отношению к моим соседям и, если хотите, товарищам того времени.

Если бы я действительно убежал, следы несомненного содействия со стороны каторжан должны были бы обнаружиться, и все отделение подверглось бы репрессиям и стеснениям. А на это, несомненно, также не мог бы решиться ни один из членов этого общества самовольно. Итак, это сделано было, по всем видимостям, именно каторжной артелью, и каторжная артель действовала бескорыстно и даже самоотверженно.

Как бы то ни было, но дело в том, что, пока я сидел в своей конурке в течение дня, арестанты, гулявшие по двору, натыкали в щели бревенчатой стены цейхгауза обломки железа, толстые щепы, а в одном месте торчало даже сломанное долото. Все это образовало теперь вертикальную лестницу почти до крыши.

Невольная дрожь пробежала по мне при виде этой дороги к свободе или к смерти...

Я быстро прошел мимо и потом замедлил шаги, чтобы еще раз обдумать свое положение. Что-то говорило мне, что я поступаю нерасчетливо и безумно. Кто мне сказал, что я останусь здесь надолго? Один только свисток удалявшегося парохода и мрачная камера, в которой как будто бродил призрак несчастного Фомина... И из-за этого я рискую своей судьбой, этим бедным Гавриловым, у которого трое детей, этим часовым, который теперь склонился головой на ружье. Наконец, горем матери, жизнь которой, я чувствовал это, ставится теперь на карту вместе с моей...

Однако все это шевелилось где-то слишком глубоко, как это случается часто... Теперь, когда я вспоминаю весь этот эпизод, эти соображения меня трогают и разнеживают, но в то время я их почти не сознавал. Как будто они тихо всплывали со дна души, но на поверхности сознания появились уже значительно позже.

Я, или вернее, тот, другой, мещанин Иванов, решил за меня, что я пройду еще три раза, а на четвертый незаметно скользну за стену. С этой мыслью я весело кивнул каторжнику и пошел дальше. В окне смотрительской квартиры мелькнули очертания детской головки. «Еще, быть может, одна невинная жертва,— подумал я про себя.— Отец будет без места, мать будет плакать, девочке придется, пожалуй, голодать и томиться...» Но тотчас же эту мысль сменило беспокойство. Она увидит меня на крыше! Впрочем, что же поймет ребенок, а если и поймет, то, пока она позовет отца, я уже буду на пустыре, за стеной, или...

Проходя мимо солдата, я взглянул на угол крыши, прилегающей к стене. Здесь я буду виден ему совершенно ясно, значит, нужно будет вооружиться ловкостью для последнего прыжка с крыши на стену. Впрочем, я много занимался гимнастикой и прыгал очень легко и ловко...

В третий раз, подойдя к углу цейхгауза, я круто повернул за угол. Гаврилов по-прежнему сидел на своем обрубке, понурив голову, собачки с ним не было. Солдат охватил штык руками и свесил голову: дремотные сумерки нагнали на него сон или тихие мечты о далекой родине, может быть тоже о жене и о детях.

Каторжник смотрел в окно, вытянув шею, точно хищная птица...

Я быстро скинул пальто и попробовал первые ступени. Все было прикреплено прочно. Я взялся за обломок долота, потом ступил шаг, другой... Помню, что в эти несколько секунд во мне замерли все соображения. Я ничего не думал, ничего не вспоминал, кажется, был совершенно спокоен и видел ясно только деревянный сруб цейхгауза, натыканные в щели ступеньки импровизированной лестницы и гребень стены...

X

Не знаю, что предстояло мне через минуту, если бы не неожиданная случайность. Теперь мне казалось уже, что там, за стеной, я был бы почти наверное свободен. Наружного караула не было. Стена очень высока, но я прыгал ловко. Моим тюремщикам придется пробежать три двора, а в это время я спущусь в город и буду у людей, адрес которых помнил. В одежде, в которой никто в тюрьме меня не видел, с паспортом в кармане, мне стоило еще остричь буйные волосы и сбрить бороду — и я мог бы безопасно ходить по улицам Тобольска... Меня не узнал бы красивый полицеймейстер...

Если бы на крыше лист жести загремел под ногой или я оборвался бы со стены, тогда, наверное, пуля часового уложила бы меня на месте или меня прикончили бы озверевшие тюремщики. Случай, вероятно, заставил бы говорить о себе...

Побег из тюрьмы несомненное преступление. Солдат, застреливший беглеца, только исполнил бы свой

долг, а преступник понес бы должное наказание... Этим наказанием и была бы импровизированная смертная казнь...

Пришло ли бы тогда кому-нибудь в голову проверить хоть на этот раз первоначальное обвинение и все ступени этой фатальной лестницы «печальных недоразумений», которые привели меня, невинного, не осужденного и даже никогда ни в чем не обвинявшегося, под пулю столь же неповинного солдата?..

«Мы должны согласиться,— говорил мне впоследствии один либеральный господин в департаменте полиции,— что первоначальная ваша ссылка была результатом «печального недоразумения»...» Одним «недоразумением» больше или меньше, что за беда! Мой избитый труп похоронили бы в деревянном ящике, наскоро сколоченном тюремным плотником... Получилось бы в Петербурге соответствующее донесение, которое пришили бы к делу «об административно-сосланном N». Может быть, тогда его превосходительство счел бы не лишним перелистовать дело. Может быть, при этом обнаружилось бы, что все первоначальные подозрения по отношению ко мне давно пали сами собой...

Вздохнул ли бы, по крайней мере, его превосходительство о напрасно загубленной жизни этого «по недоразумению» сосланного молодого человека, подумал ли бы, что ряд тюрем, ссылок, наконец, смерть от пули — слишком суровое наказание за все, что прочитано только в сердце молодого студента да еще плохо прочитано полуграмотным шпионом?..

XI

К счастью, от последнего вывода меня спасла маленькая собачка. Это была черная небольшая дворняжка, почти щенок, которого обыкновенно приводил с собою и ласкал Гаврилов. Иванов гонял ее, и потому она показывалась только в дни дежурства Гаврилова на дворике каторжного отделения. Теперь, получив от Гаврилова свою долю хлеба и ласки, она, довольная, свернулась на куче мусора, в уголке за цейхгаузом и мирно дремала. Помню, что она поглядела на меня, когда я свернул за угол, как-то искоса, умными черными глазами, но ничем более не выразила своих подозрений. Однако, по-видимому, тюремный хлеб делает тюремщи-

ками даже животных. Как только я стал подыматься на свою воздушную лестницу и повис на третьей или четвертой ступеньке, собака нашла, что это уже слишком. Она внезапно с визгом подбежала к стене, подпрыгнула и, ухватясь за полу моего казакина, повисла на ней всей своей тяжестью.

Все было, разумеется, кончено. Я услышал крик и шаги Гаврилова. Добрый человек объяснил очень просто мою отлучку за угол, и мне нужно было удержать его в этом убеждении. Я легко спрыгнул на землю, отбежал шага три и быстро надел скинутое пальто. Соскакивая, я видел в окне моего доброжелателя каторжника. Он безнадежно взмахнул руками и скрылся за стеной...

Не знаю, догадался ли Гаврилов о настоящей причине этого эпизода. Я отошел от угла, чтобы он не увидел устроенной арестантами лестницы, и продолжал надевать пальто на ходу. Солдат оглядывался чутко и беспокойно. Гаврилов хотел было пнуть собаку ногой, но она отбежала так разумно и с таким видом своей правоты, что он не пошел за ней к ее куче мусора и только задумчиво несколько раз перевел свои глаза то на нее, то на меня...

— Пожалуйте в камеру, пора,— сказал он мне наконец с каким-то особенным выражением.

XII

Должно быть, арестанты успели наутро разобрать свои сооружения незаметно для начальства; по крайней мере мне не удалось узнать о последствиях этого эпизода для каторжного отделения.

А вскоре дверь моя отворилась как раз перед прогулкой, но вместо прогулки Гаврилов пригласил меня собирать вещи.

— Слава те господи, на волю! — сказал он с искренней радостью.

Воля для меня представилась в виде двух бравых жандармов, которые ждали в конторе. Принимая меня из тюрьмы, они не были слишком строги при обыске моих вещей...

В последнюю минуту прискакал красивый полицеймейстер. Он опять радушно попрощался со мной и лукаво погрозил пальцем.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я, обращаясь к нему и к смотрителю,— на каком основании вы держали меня в военно-каторжном отделении?

Каменное лицо смотрителя осталось неподвижно, но полицеймейстер захохотал, закинув назад свою голову в папахе.

— А что? — спросил он.— Вы находите, что вид оттуда не обширный?

— Помилуйте, даже окно забрано досками...

— Так лучше, господин Короленко, меньше видно. Мы не любим, когда об нас пишут,— прибавил он, многозначительно улыбаясь и пожимая мне на прощание руку.

Я тоже невольно засмеялся и вздохнул полной грудью, когда за мной щелкнули замки тяжелых ворот. У ворот стояла тройка бойких сибирских лошадей. Один жандарм устроился уже в сидении, другой, по правилам, дожидался, пока я сяду в середину. Ласковая, хотя и свежая августовская ночь приняла нас вскоре в свои владения.

Мы мчались быстро и без остановки. Я не спал, любуясь то степью, то темным лесом, то туманом над какой-нибудь речкой, то ночным перевозом с заспанными фигурами перевозчиков, чуть видными в темноте, то тихим позвякиванием колокольчика, которое дрожало над сонной рекой и отдавалось в бору противоположного берега.

Все это — и ночь, и дали, и горы, и звезды, и туманы — казалось мне исполненным невиданной прелести... Я чувствовал себя точно вновь родившимся, и действительно я опять был — я, имярек, хотя на мне был все тот же казакин чернского мещанина Ивана Иванова.

Но чернский мещанин Иван Иванов мирно покоился у меня за спиной все в том же потайном кармане.

Вдобавок жандармы сообщили мне «по доверию», что мой предшественник Фомин жив и переведен в Карийск. Это настоящая каторга, но все же не смерть в одиночке...

Я мчался тоже в далекую ссылку, но что за дело!.. Я был полон жизни и надежд, неясных, как эти дали, искрившиеся в золотистых туманах лунной ночи...

1891

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ

Многоуважаемый Александр Михайлович.

Прошу поверить, что только полная невозможность исполнить обещание раньше заставила меня только теперь взяться за перо, чтобы набросать, согласно Вашему желанию, эти несколько черточек внешней моей биографии. Только третьего дня вернулся я со своей поездки, причем все время неотложные дела, с одной стороны, гоняли меня по столицам, с другой — звали настоятельно домой. Ввиду этого я решительно не мог выбрать минуту досуга; теперь посылаю обещанное в надежде, что сведения еще не опоздали. Вот краткое curriculum vitae[1], впрочем, весьма мало интересное в той части, которую можно обнародовать.

Владимир Галактионович Короленко.

Родился 15 июля 1853 года в губернском городе Житомире. Отец мой — из дворян Полтавской губернии, чиновник. Дед был директором таможни сначала, кажется, в Радзивиллове, потом в Бессарабии. Прадед, по рассказам моего отца, был запорожец, казацкий старшина. Это, впрочем, уже смутное семейное предание, факт состоит, однако, в том, что отец происходил из чисто малорусской семьи, и еще мой дед, чиновник русской службы, до конца жизни не говорил иначе как по-малорусски. Мать моя — полька, дочь шляхтича-посессора. Таким образом, семья наша смешанная, одна из типических семей Юго-Западного края, с его разнородным населением, среди которого, как мне кажется, естественное слитие шло в прежнее время свободнее и успешнее, чем в настоящее.

Первоначальное образование (не считая элементарной грамоты) я получил в пансионе В. Рыхлинского, в свое время лучшем заведении этого рода в нашем городе. Затем, поступив во второй класс, пробыл два года в житомирской гимназии. В это время отец, переведенный сначала в г. Дубно, на место уездного судьи, убитого польским фанатиком, затем перешел на службу в уездный же город Ровно, той же губернии, куда за ним переехала из Житомира вся семья. Я с братьями поступил здесь в реальную гимназию (в тре-

[1] Жизнеописание *(лат.)*.— *Ред.*

тий класс), в которой в 1870 году и окончил курс (с серебряной медалью). Этот небольшой городок, ныне оживившийся после проведения железной дороги, с полной точностью описан в рассказе моем «В дурном обществе».

В 1868 году (31 июля) умер отец. Это был человек строгой и редкой по тому времени честности. Получив самое скудное воспитание и проходя службу с низших ступеней среди дореформенных канцелярских порядков и общего взяточничества, он никогда не позволял себе принимать даже того, что по тому времени называлось «благодарностию», то есть приношений уже после состоявшегося решения дела. А так как в те годы это было не доступно пониманию среднего обывателя, отец же был чрезвычайно вспыльчив, то я помню много случаев, когда он прогонял из своей квартиры «благодарных людей» палкой, с которой никогда не расставался (он был хром вследствие одностороннего паралича). Понятно поэтому, что семья (вдова и пятеро детей) осталась после его смерти без всяких средств, с одной пенсией. Я был в то время в 6-м классе.

Частию казенному пособию, выданному во внимание к выдающейся служебной честности отца, но еще более истинному героизму, с которым мать отстаивала будущее нашей семьи среди нужды и лишений,— обязан я тем, что мог окончить курс гимназии и затем в 1871 году — поступить в Технологический институт в Петербурге.

Здесь почти три года прошли в напрасных попытках соединить учение с необходимостию зарабатывать хлеб. Пособие с окончанием гимназического курса прекратилось, и теперь я решительно не мог бы дать отчета — как удалось мне прожить первый год в Петербурге и не погибнуть прямо с голоду. Беспорядочное, неорганизованное, но душевное и искреннее товарищество, связывавшее студенческую голытьбу в те годы,— одно является в качестве некоторого объяснения. Как бы то ни было, но даже восемнадцатикопеечный обед в тогдашних дешевых кухмистерских Елены Павловны для меня и моих сожителей был в то время такой роскошью, которую мы позволяли себе не более 6—7 раз во весь этот год. Понятно, что об экзаменах и систематическом учении не могло быть и речи. В следующем году я нашел работу: сначала — раскрашивание

ботанических атласов г-на Ж., потом корректуру. Видя, однако, что все это ни к чему не ведет, я уехал в 1874 году с десятком заработанных рублей в Москву и здесь поступил в Петровскую академию, где у меня были товарищи. Выдержав экзамен на второй курс, я получил стипендию и считал себя окончательно устроившимся; с этих пор началась новая полоса моей жизни.

Подробно говорить о ней здесь еще не время. Ограничусь поэтому внешними чертами: в 1876 году, как видно из выданного мне академией свидетельства, я исключен с третьего курса «за подачу директору коллективного заявления студентов». Я был выслан одновременно с двумя товарищами из Москвы: сначала — в Вологодскую губернию, откуда с дороги был возвращен в Кронштадт, где в то время жила и моя семья,— под надзор полиции. Год спустя мы все переселились в Петербург, где я с братьями опять занялся корректурой. К 1879 году относятся первые мои литературные попытки, и в том же году последовал арест всех мужчин моей семьи. Мы без объяснения причин были разосланы в разные места. Я попал сначала в Глазов Вятской губернии, затем в глухие дебри Глазовского уезда, откуда, опять по неизвестной мне причине, высылался в Сибирь; возвращен из Томска в Пермь, оттуда в 1881 году выслан в Якутскую область (первый случай, причина которого мне известна). Из Перми я послал в «Слово» два очерка, которые и были напечатаны. Вернувшись же из Якутской области в 1885 году — я окончательно отдался литературе, вновь дебютируя «Сном Макара» в «Русской мысли».

Остальное более или менее известно. Теперь я живу в Нижнем Новгороде, женат, имею трех дочерей. Издал книгу «Очерков и рассказов» в 1887 году (теперь идет пятое издание, в общей сложности это составит около 13 тысяч экз.), «Слепого музыканта» (идет третье издание) и в настоящее время издаю «Вторую книгу очерков и рассказов». Первая книга появилась в переводах: на немецком, французском, английском (Boston: Little Brown and Company) и чешском. «Слепой музыкант», как известно, издан в Лондоне (London: Ward and Downey, 1890) и в Бостоне (Little Brown and Company, 1890). Из отдельных переводов упомяну об армянском («Сказание о Флоре и Агриппе») и затем прошу прощения, что за недостатком времени вынужден ограни-

читься этими несистематическими и неполными набросками. Кажется, что необходимейшие внешние биографические черты здесь даны все. Если же представится надобность в каких-нибудь дополнениях или более точных библиографических сведениях, рад служить впоследствии.

Затем прошу принять уверение в полном моем уважении.

Влад. Короленко

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Милостивый государь.

Только на днях я вернулся в Нижний из поездки в Москву и Петербург, где провел частию на месте, частию в разъездах довольно много времени. Здесь застаю уже второе Ваше письмо, из которого вижу, что Вы не получили еще моего ответа на первое. Это очень жаль, но это, к сожалению, в порядке вещей. В Америке мне говорили, что там не гарантируют и не отвечают за потерю рекомендованных писем, направляемых в Россию. И это совсем не потому, чтобы наша почта была хуже других, а потому, что наши письма слишком часто натыкаются на мели и подводные камни, лежащие совсем вне почтовых порядков и почтового фарватера. В Нижнем, как Вам известно, предполагается выставка в 1896 году, с приездом высокопоставленных особ. Этого достаточно для того, чтобы письма, идущие в Нижний или из Нижнего, подвергались всяким превратностям. Они приходят к нам то с непонятными запозданиями и следами вскрытия, то, еще хуже, совсем не приходят. И это не потому, что в них заключается что-нибудь преступное, а просто потому, что господа, на которых лежит деликатная миссия контролировать эту реку корреспонденции, завалены непосильной работой и порой, очевидно, не успевают заклеить то, что расклеено, и заделать опять то, что разделано. Что-ниб⟨удь⟩ подобное случилось, вероятно, и с моим ответом, может случиться и с настоящим письмом, которое, однако, я пошлю заказным. Будьте добры, известите о получении и извинитесь перед г. Дэкав. Мы

здесь все-таки не такие невежи, чтобы совсем не отвечать на те или другие деловые предложения, каково и Ваше письмо.

Приходится сразу отвечать на оба письма. Что касается биографических сведений, то посылаю их теперь, но, кроме этого, не могу сделать ничего больше. Наша пословица говорит: что город, то норов, что страна, то обычай. У нас совсем еще не в обычае те формы литерат⟨урной⟩ рекламы, которые в других странах составляют обычное явление. Я не могу, конечно, сделать для перевода то, чего никогда не сделаю для оригинала, и потому вынужден отказаться от Вашего предложения написать для фран⟨цузской⟩ печати что-либо, имеющее целью — напомнить или заявить о себе и знакомить со своим именем. Охотно буду присылать Вам свои работы: если они могут интересовать — хорошо. Нет — что же делать. Должен прибавить, что я пишу немного, и притом не в одной лишь художественной области. С этим письмом вместе — посылаю свою книгу «В голодный год». Это, как увидите, работа наполовину публицистическая. Разумеется, она и не претендует на общий интерес, и читать ее всю Вам незачем. Просмотрите, если заинтересуетесь, только главы, подчеркнутые карандашом в общем оглавлении в конце книги.

Теперь биографические черты, которые вам нужны.

Родился я в 1853 году, в Житомире, губ⟨ернском⟩ городе Волынской губернии. Вы, вероятно, знаете этот край. Сельское население в нем — малороссы; помещики и вообще среднее сословие по б⟨ольшей⟩ части поляки, с примесью русского чиновничества; наконец, в городах много евреев. Семья моих родителей была смешанная. Мать — полька, дочь арендатора (посессора). Отец — малоросс по происхождению, дворянин Полтавской губернии. Дед мой по отцу был уже чиновник, начальник таможни в Радзивиллове, но прадед, сколько мне известно, был каким-то казацким старшиной, выходцем (по словам отца) из Запорожья. В семье моего деда-чиновника говорили не иначе как по-малорусски. Мы с детства знали три языка: польский, русский и малорусский.

Я хорошо помню время польского восстания. Отец мой был уездным судьей и участвовал в следственных комиссиях. Это был человек неподкупной честности и очень гуманный. В то тревожное время он как-то

сумел сохранить уважение русского начальства и любовь поляков. В 1863 или 1864 году в гор. Дубно уездный судья был убит фанатиком-поляком среди белого дня, на улице, и моего отца назначили на его место, как человека, который мог одновременно заставить уважать закон и привлечь к себе уважение и любовь населения. Оттуда отец переведен вскоре в соседний городок Ровно, куда за ним последовала семья и где я окончил курс гимназии.

Этот небольшой городок описан совершенно точно в рассказе «В дурном обществе». По отношению к интересующему Вас произведению могу прибавить, что здесь еще мальчиком я познакомился впервые со слепой девушкой. Это была взрослая уже племянница нашей домовладелицы, слепорожденная. У нее было необыкновенно развитое осязание. Она очень любила щупать материи, покупаемые ее знакомыми и подругами, часто оценивала их с точки зрения красоты и раздражалась до слез, когда ей говорили, что она об этом не имеет понятия. Эпизод с падучей звездой вечером, изображенный на стр. 105 Вашего перевода, приведен целиком из детских воспоминаний об этой бедной девушке. Кроме нее, я наблюдал еще мальчика, постепенно терявшего зрение, затем — молодого человека, ослепшего в первые дни после рождения. Он был отчасти музыкант. Наконец, слепой звонарь, в Саровской пустыни, слепорожденный, рассказами о своих ощущениях подтвердил ту сторону моих наблюдений, которая касается беспредметной и жгучей тоски, истекающей из давления неосуществленной и смутной потребности света. Он рассказывал мне, как он молится, чтобы бог дал ему «увидеть свет-радость хоть в сонном видении». Это было на верхушке высокой колокольни, куда он привел меня по узкой и темной лестнице. Снизу доносился шум монастырского двора, полного богомольцев, вверху нас обдавал ветер, приносивший свежесть и аромат окружающего бора, и бедный слепец, разнеженный и растроганный, выкладывал передо мной свою наболевшую и подавленную душу. Мне говорили часто и говорят еще теперь, что человек может тосковать лишь о том, что он испытал. Слепорожденный не знал света и не может томиться по нем. Я вывожу это чувство из давления внутренней потребности, случайно не находящей приложения. Концевой аппарат испорчен, но весь внутренний аппарат, реагировавший на свет у

бесчисленных предков, остался и требует своей доли света... Саровский звонарь своими бесхитростными рассказами убедил меня окончательно в верности этого взгляда.

Однако я отвлекся от биографии. В 1868 г. умер отец и на руках у матери нас осталось пятеро. С необыкновенной энергией она старалась дать нам образование. В 1871 году я окончил курс гимназии и приехал в Петербург с 17 рублями в кармане. $2^{1}/_{2}$ года прошло для меня в бесплодных попытках учиться, и это — одна из самых тяжелых полос моей жизни. Я занимался рисованием, чертежами и корректурой. Наконец в 1873 г. я оставил Петербург и опять наудачу отправился в Петровскую академию под Москвой. Здесь я выдержал экзамен сначала на второй, потом на третий курс и получил стипендию. В апреле 1876 года в Академии произошли беспорядки, вызванные частыми арестами студентов и тем участием, которое принимало в этом академическое начальство. В числе трех депутатов, подавших начальству коллективное заявление студентов, был и я, и поэтому подвергся ссылке. Сначала меня послали в Вологодскую губ⟨ернию⟩, потом с дороги вернули, и я провел год под надзором полиции в Кронштадте. Через год я поселился в Петербурге, с семьей, работая в качестве корректора в газетах.

В 1879 году я опять был арестован, вместе с братьями и мужем моей сестры. Точные основания и причины этого ареста мне до сих пор не известны. Несомненно, однако, что даже в глазах тех, кто этим распоряжался, теперь это является результатом т⟨ак⟩ назыв⟨аемого⟩ «печального недоразумения». Мне не предъявляли никаких обвинений, не требовали никаких объяснений, не объявили моей вины, а просто продержали в тюрьме с февраля до мая, а в конце мая выслали в дальний город (Глазов), дальней Вятской губернии, под надзор полиции. Здесь я опять не сделал ни одного шага, который можно было бы назвать незаконным. Но я сделал кое-что худшее: жаловался на исправника и губернатора, и, что всего хуже, мои жалобы были уважены. Тогда случилось нечто до сих пор для меня загадочное: сначала меня выслали (властию губернатора) в самый северный край Глазовского уезда, на верховья Камы, где я прожил несколько месяцев в одинокой избе, окруженной дремучим лесом, вместе

с крестьянской семьей. Не скажу, чтобы здесь мне было очень плохо. Наоборот, люди были хорошие и глушь очень интересная. Беда была, однако, в том, что, пока я сидел в этой избе, слушал шум леса и изучал первобытные типы лесных обитателей, вятская администрация написала в Петербург, что я бежал с места ссылки. Вследствие этого меня опять взяли в моей избушке, среди прощаний и слез простодушных моих хозяев, привезли в Вышний Волочек, выдержали 6 месяцев в тюрьме и — послали, как беглеца, в Сибирь. О причине ссылки и о мнимом побеге я узнал только случайно, уже в пути.

К счастию, это совпало с либеральной диктатурой Лорис-Меликова, и меня вернули с пути (из Томска), но, к несчастию, либерализм того времени не доходил до уничтожения в корне подобных «недоразумений». Поэтому я был возвращен в Пермь, опять под надзор полиции, без права выезда за черту города и с ограничением занятий. К еще большему несчастию, к этому времени я как-то потерял философское настроение, поддерживавшее во мне что-то вроде юмора стороннего наблюдателя во всей этой эпопее. В октябре 1880 года я напечатал все здесь изложенное в № 282 газеты «Молва» (помнится, от 12 октября 1880 г.)[1], а в 1881-м подал через губернатора резкое заявление, вследствие которого попал в конце того же года в якутскую юрту, где и познакомился с моим Макаром.

В 1885 году я возвращен в Россию, в Нижний Новгород, где живу уже 9-й год. Здесь я женился, имею детей, занимаюсь одной литературой. К сожалению, однако, я должен сказать, что «печальные недоразумения» у нас очень похожи на оспу: они оставляют следы на всю жизнь, и я это испытал еще недавно, когда мне было отказано в просьбе издавать в Нижнем Новгороде под предварительной цензурой местную газету. Очевидно, что «печальное недоразумение», прилипшее ко мне в юности, проводит Владимира Короленко до могилы.

Вот все, что я могу сообщить Вам из своей жизни. Если г. Дэкав пожелает воспользоваться этим биографическим материалом, то, разумеется, я не имею ничего

---

[1] Очевидно, г. Дэкав слышал именно об этой заметке.

против того, чтобы он сослался на меня как на источник этих сведений. Я не убивал, не таскал платков и не участвовал ни в каких уголовных деяниях. Стыдиться не имею причин, и еще меньше — скрывать что бы то ни было в моей жизни.

Затем — жму руку и желаю всего хорошего. Напишите, пожалуйста, о получении этого письма.

С совершенным уважением *Вл. Короленко*

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Черты автобиографии

Родился 15 июля 1853 года в Житомире, городе с смешанным русско-польско-украинским населением, в семье тоже смешанной национальности: дед и отец, русские чиновники украинского происхождения, были женаты на польках. Учился первоначально в Житомирской гимназии, потом, с переводом отца по службе, перешел в Ровенскую реальную гимназию, которую и окончил с серебряной медалью, но без права поступить в университет. Мечтой его с ранних лет было писательство и адвокатура.

В 1871 году поступил в Технологический институт, но два года прошли в борьбе с нуждой и в плохо оплачиваемой работе. Занимался раскраской ботанических атласов, чертежами и корректурой. На третий год бросил Петербург и поступил в Петровскую академию. Учился изрядно, но в 1876 году за подачу «коллективного заявления студентов» в числе трех депутатов исключен из академии и выслан административно сначала в Вологодскую губернию, потом — под надзор полиции в Кронштадт.

Через год вернулся в Петербург, куда за ним и его семьей последовала прочная репутация «неблагонадежности». При всяком более или менее выдающемся событии полиция считала необходимым произвести в семье высылавшегося студента «внезапные обыски». Хотя при этом ни разу ничего особенно предосудительного не находилось, но по тогдашним (а может быть, и теперешним?) полицейским взглядам, большое количество хотя бы и безрезультатных обысков означало (пропорционально) большую степень неблагонадежно-

сти. На этом достаточном основании в феврале 1879 года по настоянию пом⟨ощника⟩ градоначальника Фурсова все мужчины «неблагонадежной семьи» были арестованы и высланы в разные места европейской России и Сибири, а семья была разметана по свету. На все настойчивые запросы К⟨ороленко⟩ о причинах столь серьезной меры получался стереотипный ответ: «За политическую неблагонадежность».— «В каких поступках оная проявилась?» — «Это государственная тайна»...

Нет никакого сомнения, что в основе высылки лежали ложные доносы «агентов» и совершенный вздор. Впоследствии, уже в 90-х годах, К⟨ороленко⟩ имел удовольствие услышать от директора департамента полиции Зволянского подтверждение этого — правда, в форме очень мягкой: «печальное недоразумение»... «Но ведь ваш образ мыслей... и теперь...» — прибавил Зволянский в виде ultima ratio[1]. «Образ мыслей» действительно был, и притом, с полицейской точки зрения, вполне предосудительный. Как и большинство тогдашней молодежи, К⟨ороленко⟩ и его близкие не питали ни малейшего уважения к существующему политическому строю, основанному на полицейском всемогуществе и произволе, и к строю социальному, покоящемуся на неравенстве и привилегиях. Он готов был содействовать перемене этого строя на лучший. Что касается средств для этого коренного улучшения, то они были идеалистичны и туманны. Мы думали, что у дверей грядущей русской истории уже стучится великий незнакомец, называемый русским народом, который придет и скажет свое решающее слово. В те годы Достоевский сказал над могилой Некрасова: «Некрасов был последний народный поэт из господ. Теперь уже придет поэт из народа, и поэзия станет новая». Мы расширяли это пророчество. Все творчество жизни перейдет к народу, и станет «новое небо и новая земля». Социальный и политический мир завертится на новой оси. Роль интеллигенции при этом является, думали мы, чисто служебной. В этот период К⟨ороленко⟩ перестал одно время мечтать о литературе — «не стоит... Все будет новое». Это было уничижение мысли и вместе... необыкновенная ее самонадеянность: у народа есть вещее слово... Но заставить его сказать это слово должна была

---

[1] Последний довод, решающий довод *(лат.)*.— *Ред.*

зеленая молодежь. И она же вперед угадывала его общий смысл: свобода!

Молодежь того поколения готовилась к торжественному историческому моменту. Предстояла трудная задача — совлечь ветхого человека и слиться с трудовой массой. Трудно сказать, как удалось бы осуществить эту задачу К⟨ороленко⟩ и его друзьям, но в это время подоспело всеразрешающее административное вмешательство. В 1879 году К⟨ороленк⟩а и его брата экспортировали из Петербурга в двух каретах, по сторонам которых скакали конные жандармы. Зятя еще раньше выслали в Сибирь. В это время К⟨ороленко⟩ думал с гордой надеждой, что «это уже ненадолго»...

Ссылка продолжалась 6 лет. К⟨ороленко⟩ приобрел репутацию «беспокойного человека», благодаря главным образом совершенно легальной борьбе с «административным порядком». Вследствие этого его постоянно переводили с места на место. Глазов, потом глухие лесные дебри Вятской губернии, потом высылка в Сибирь, возвращение во время Лорис-Меликова в Пермь и вторичная высылка в Сибирь, в Якутскую область. К⟨ороленко⟩ — молодой и здоровый — относился к этим приключениям с веселой философией: они дали ему возможность увидеть самые глубины народной жизни и стать с народом в отношения полного равенства: в ссылке он по зимам шил сапоги; летом вместе с товарищами пахал землю. Казалось, сбылась мечта его юности. «В народ» он был доставлен на казенный счет.

Вначале он еще жадно вслушивался, ожидая услышать в дебрях «вещее народное слово». Под конец идеалистический туман рассеялся. Осталось уважение к человеку в народе, как и вне его. Выросло уважение к интеллигентной мысли, и мечта о литературе возродилась с новой силой...

В. Г. КОРОЛЕНКО

Родился в 1853 году, в Житомире, Волынской губернии. Население Волыни смешанное: крестьяне по большей части малороссы; помещики и городское население в большинстве поляки и частию русские. Затем много евреев. Семья, в которой родился Короленко, тоже была смешанная: мать — полька, отец — чинов-

ник из украинцев. Учился сначала в частном пансионе, потом поступил в гимназию, в гор. Житомире, откуда вследствие перевода отца перешел в Ровенскую реальную гимназию. Школьные годы описаны в недавно вышедшей «Истории моего современника». По окончании курса поступил в 1873 г⟨оду⟩ в Петерб⟨ургский⟩ технологический институт; в 1873 г⟨оду⟩ перешел в московскую Петровскую земледельческую и лесную академию. В 1876 году, во время студенческих беспорядков, как депутат, избранный товарищами для подачи коллективного заявления, был выслан сначала в Вологодскую губернию, откуда возвращен в Кронштадт (где в то время жила его мать) под надзор полиции. По прошествии года переселился в Петербург, где вместе с братьями зарабатывал средства к жизни разными свободными профессиями: уроками, рисованием и главным образом корректурой.

В 1879 году все братья были арестованы и Вл. Короленко с младшим братом высланы без объяснения причин в гор. Глазов, Вятской губернии. Отсюда начались продолжительные ссыльные скитания: из Глазова, как человек беспокойный, Вл. Короленко выслан сначала в лесную глушь на верховья реки Камы, а затем, по проделке местного начальства, до сих пор еще вполне не выясненной,— арестован, просидел полгода в вышневолоцкой тюрьме и весной 1880 года выслан в Сибирь, опять без объяснения причин. Случайно, уже в дороге, удалось узнать, что он высылается в Якутскую область якобы за побег с места первоначальной ссылки. Такого побега, впрочем, он никогда не совершал.

Это было время «диктатуры» гр⟨афа⟩ Лорис-Меликова. Начинались смягчения репрессий, многие ссыльные возвращались из места ссылки, и Короленко вместе с десятью товарищами сначала остановлен в Томске, а затем препровожден в Пермь, где все-таки отдан под надзор полиции, без права выезда. Здесь его застало трагическое событие 1 марта 1881 года, когда был убит Александр II. Репрессии усилились. Начиналась глухая реакция, отметившая собой все царствование Александра III и подготовившая потрясения, из которых и теперь еще не вышла Россия. При перемене царствования у ссыльных потребовали особой присяги. Короленко подал пермскому губернатору заявление, в котором, изложив то, что испытал сам и что видел во время своих скитаний по тюрьмам, отказался принести при-

сягу беззаконному порядку, поставившему его без суда в положение лишенного гражданских прав... За это он был вновь арестован и отправлен на этот раз в Якутскую область, которой избег год назад.

Среди якутов Короленко пробыл еще три года. В 1885 году он вернулся в Россию, в Нижний Новгород, где сошлась вся семья, раскиданная по свету тем же административным порядком. Здесь в первые же дни его опять арестовали по «новому недоразумению», которое вскоре рассеялось. Это был последний арест Короленко, но и до самого последнего времени администрация не оставляет его своим вниманием, и в газетах нередко встречаются известия о безрезультатных обысках в квартире писателя.

Писать начал в 1879 году в журнале «Слово». Высылка в Якутскую область на время прекратила его писательскую карьеру — три года он занимался земледелием, а по зимам сапожным ремеслом. По возвращении дебютировал вновь рассказом «Сон Макара», помещенным в журнале «Русская мысль» (март 1885 года). Живя в Нижнем, много работал в приволжской и столичной печати в качестве корреспондента и публициста, интересуясь главным образом правовыми вопросами местной жизни. Эта его работа, всегда неприятная местной администрации, и способствует поддержке его неблагонадежной репутации в глазах местных властей. В 1896 году выступал в печати и на суде защитником группы вотяков, неправильно обвинявшихся в принесении языческим богам человеческой жертвы. Два раза злополучные и темные вотяки были осуждены, но в третий раз благодаря вмешательству печати удалось разорвать сеть интриги, их опутавшей, и невинность их была доказана, а мрачная сказка рассеяна. В глухом городишке Казанской губернии разыгрался третий, и последний, акт этой судебной драмы, и после речей защитников, в том числе известного адвоката Карабчевского, а также Короленко (взявшего на себя этнографическую часть защиты), присяжные вынесли оправдательный приговор, который одновременно явился обвинением инквизиционной системы русского следствия...

В тревожные дни 1905—⟨190⟩6 года Короленко жил в Полтаве, где принимал ближайшее участие в редактировании демократической газеты «Полтавщина». Здесь он поместил «Открытое письмо статскому совет-

нику Филонову», в котором обвинял его в ряде жестоких и беззаконных истязаний, произведенных над сорочинскими крестьянами. В заключение он требовал суда над Филоновым или над собой, если его заявление окажется неправдой. Письмо, перепечатанное всеми русскими прогрессивными газетами и многими иностранными, ставило администрацию в довольно трудное положение. Но в это время молодой человек Кириллов убил Филонова на улице выстрелом из револьвера. После этого ретроградная печать старалась выставить Короленко подстрекателем к террористическому убийству. Он был (впрочем, только для вида) привлечен к следствию, которое тянулось год, хотя суду было отлично известно, что все, оглашенное в «Открытом письме», совершенная правда. Следствие раскрыло картину преступлений даже более ярких, чем описал Короленко, и дело было прекращено. К сожалению, русский суд до сих пор является еще покорным орудием политики. Это была маленькая услуга со стороны суда, давшая возможность администрации оттянуть финал скандального дела на целый год, пока другие события не покрыли собой острое впечатление филоновского дела.

Короленко — художник-беллетрист только наполовину. Другая половина его работы — публицистика, преимущественно по конкретным поводам, в которых выступают характерные черты современного русского строя.

С половины девяностых годов Короленко редактирует в Петербурге ежемесячный журнал «Русское богатство», являясь представителем группы писателей-товарищей, продолжающих традиции «Соврем⟨енника⟩» и «От⟨ечественных⟩ зап⟨исок⟩».

АВТОБИОГРАФИЯ, НАПИСАННАЯ ДЛЯ СЛОВАРЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Владимир Галактионович Короленко родился в июле 1853 г. в городе Житомире Вол⟨ынской⟩ губ⟨ернии⟩.

Отец мой был чиновник — сначала судьей, потом судебным следователем, потом опять уездным судьей в г. Дубно, а затем в Ровно той же губ⟨ернии⟩, где он

и умер в конце 60-х годов, когда я был в 6-м классе гимназии. Мать моя — полька, дочь помещика средней руки. Всех детей было пятеро: три брата и две сестры. Отец оставил семью без всяких средств, так как даже в то время, при старых порядках, он жил только жалованием и с чрезвычайной щепетильностью ограждал себя от всяких благодарностей и косвенных и прямых приношений. Я помню, что при каждом новом назначении приходилось выдерживать настоящие штурмы со стороны доброхотных даятелей, в особенности евреев, которых ему нередко даже приходилось гонять палкой из квартиры. В 1870 г. я окончил курс Ровенской реальн⟨ой⟩ гимназии с серебряной медалью и поступил в Технологич⟨еский⟩ институт. В Петербург я приехал с 17 рубл⟨ями⟩, и два года прошло в трудовой борьбе с нуждой (я занимался раскрашиванием ботаническ⟨их⟩ атласов — работа крайне неблагодарная), на 3-й, уехав в Москву, поступил в Петровскую академию. Перейдя на 3-й курс этого заведения, за подачу коллективного заявления студентов 1875 г.— выслан из Москвы в Вологодскую губ⟨ернию⟩. Оттуда (еще с дороги) возвращен под надзор полиции в Кронштадт, где в то время жила и моя семья. Через год, будучи освобожден из-под надзора, переехал с семьей в Петербург, где и жил до 1879 г.

В феврале этого года, после двукратного обыска, арестован вместе с двумя братьями, зятем и двоюродным братом, а в мае того же года все мы (кроме одного старшего брата) разосланы в разные места без объяснения причин высылки. Я с младшим братом попал в Глазов, Вятской губ⟨ернии⟩.

Затем, опять без объяснения причин, из Глазова был выслан в так называемые Березовские Починки (на сев⟨ере⟩ Глазовск⟨ого⟩ уезда), откуда в феврале 1880 г.— в вышневолоцкую политическую тюрьму № 2, для пересылки административно в Сибирь. Как оказалось после, я высылался вследствие якобы побега с места ссылки, которого я никогда не совершал. Перед пасхой того же 1880 г. вышневолоцкую тюрьму посетил князь Имеретинский по поручению Лорис-Меликова, спрашивавший заключенных по политич⟨еским⟩ причинам об обстоятельствах их дел и о причинах высылки.

В августе же партия была отправлена в Сибирь, и я с нею. Быть может, вследствие расследования, произведенного князем Имеретинским, моя высылка

в Якутскую область (куда ссылали за побег) была отложена, и я вернулся в Пермь, откуда написал в газету «Молву» (12 октября 1880 г., № 282) письмо, излагавшее любопытную историю моей ссылки. В 1881 г. вследствие отказа от присяги[1] (но опять без объявления причины) был вновь выслан в Якутскую область; на сей раз достиг места назначения. В декабре 1881 г. прибыл в селение Амгу, где и поселился вместе с ранее туда высланными товарищами. В 1882 году мне был объявлен срок моей высылки (до 9 сентября ⟨18⟩84 г.). Таким образом, я жил в Якутской области без двух месяцев три года, занимаясь земледелием. По истечении срока, вернувшись в Россию, поселился в Нижнем Н⟨овгороде⟩, куда собралась почти вся рассеянная семья и где живу до настоящего времени.

Первая моя работа была напечатана в «Слове» 1879 г., подписанная только инициалами. Это юное произведение было отвергнуто «Отеч⟨ественными⟩ записками» как весьма незрелое, по отзыву Салтыкова, что я сознавал уже и тогда. Тем не менее ее помещение в «Слове» оказало мне громадную услугу, так как совпало с моей высылкой, когда семья моя была лишена сразу всех работников. В 1880 г. в том же журнале «Слово» была напечатана моя корреспонденция «Ненастоящий город» и затем в феврале 1881 г.— «Временные обитатели подследственного отделения» — рассказ, рисующий тобольскую тюрьму (где мне пришлось побывать на возвратном пути из Томска во время первого возвращения из Сибири). Рассказ этот сгруппирован около характерной фигуры сектанта (неплательщика, как я узнал впоследствии), которого держали в одиночном заключении и который заявлял свой неуклонный протест безустанным стуком в тюремную дверь.

Ссылка в Якутскую область прерывала мою литературную работу. Кроме того, мои первые небольшие рассказы, проходившие вообще незамеченными, и мне самому казались незначительными; вследствие этого я почти совсем оставил давние мечты о литературной деятельности. Другие интересы заняли их место, и только по временам под давлением теснившихся в голове образов я набрасывал эти образы на бумагу — иногда в виде лишь отрывков, иногда в виде целых картин. Так был написан, между прочим, «Сон Макара» — еще

[1] Не совсем удобно напоминать об этом печатно.

в Якутской области, напечатанный в «Русской мысли» 1885 г., уже по моем возвращении.

В том же году появились следующие мои рассказы: «Очерки сибирского туриста» в «Северном вестнике» и «Соколинец» (там же). Темой обоих этих рассказов послужили поразившие меня своеобразные черты сибирского быта. Затем в «Русской мысли» были напечатаны: «В дурном обществе» (из быта Юго-Западн⟨ого⟩ края); многие черты взяты с натуры, и, между прочим, самое место действия списано совершенно точно с города, где мне пришлось оканчивать курс; «Лес шумит» (полесская легенда) — небольшой рассказ из давнего прошлого. Наконец, в фельетонах «Русских ведомостей» печатался этюд «Слепой музыкант», который в исправленном виде появился затем в июльской книжке «Р⟨усской⟩ мысли». В этом этюде я задался целью проследить душевную драму слепого. Для того, чтобы психический процесс явился в чистом виде, чтобы страдание от недостатка зрения не усложнялось побочными мотивами, я поставил своего героя в совершенно благоприятные, быть может, даже несколько исключительные внешние условия. Думаю, что этого требовала задача «психологического» этюда. Материалом послужили воспоминания о слепорожденной девушке, которую я знал в детстве, наблюдения над мальчиком (моим учеником), который постепенно терял зрение, и, наконец, над одним взрослым слепым человеком, развитым и образованным и вдобавок музыкантом по профессии [1].

ЧЕРТОЧКА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Первое мое печатное произведение была репортерская заметка в небольшой тогда петербургской газете. Речь шла об освещении одного «народного движения» в Петербурге — погрома дворников и полиции в Апраксином переулке — в 1878 году. Вся петербургская печать освещала эту, редкую тогда по характеру и размерам массовую вспышку, как вызванную национальным антагонизмом (дворники были татары, а сведения шли

---

[1] Эта статья наглядно показывает, до чего дошла современная цензура.

из полицейских источников). Я доказывал, что примесь национального мотива случайна, что движение было вызвано притеснениями дворовой и участковой полиции. Для меня это была тогда не простая репортерская заметка. Вспышка была внезапная и бурная. Вызывались войска. Теперь такие явления нередки; тогда это было как внезапный подземный толчок еще далекого землетрясения. В качестве наблюдателя я замешался в самую гущу толпы и пытался установить истинный характер происходившего. Заметку перепечатали на следующий день многие другие газеты, и я испытал знакомое всем писателям ощущение «первого тиснения» и, как он ни был скромен, первого успеха.

Потом я дебютировал уже в журналах рассказами, и первое же мое беллетристическое произведение, еще очень зеленое и туманное, было напечатано. Вообще с рассказами мне везло. Но все же я постоянно пытался писать корреспонденции и публицистические заметки. Большая часть из них ставила сразу довольно острые вопросы à outrance[1] с наивной и горячей прямотой. Поэтому они не могли попасть в печать, что меня очень огорчало. У меня всегда было стремление вмешаться прямо, с практическими последствиями, в те области жизни, которые стояли ко мне близко и на виду...

Прошло шесть лет ссылки. Когда меня и моего брата увозили из Петербурга в двух закрытых каретах, по сторонам которых скакали конные жандармы, я думал с гордой надеждой: «Это уже ненадолго. Скоро станет «новое небо и новая земля». Произвол исчезнет».

Через шесть лет я вернулся из ссылки в разгар темной, тупой и угрюмой реакции. В ссылке я много видел и много думал, испытал много разочарований и не ждал уже так скоро «нового неба и новой земли». «Партии» были рассеяны и разбиты, да моей партии не было и прежде. Но страстное желание вмешаться в жизнь, открыть форточку в затхлых помещениях, громко крикнуть, чтобы рассеять кошмарное молчание общества, держалось во мне и даже еще выросло после ссылки. Я сказал себе: ни партий, ни классов, которые бы вели сплоченную борьбу за право общества и народа, нет. Создавать их — не мое призвание. Мне остается выступить партизаном, защищая право и достоин-

---

[1] До предела *(фр.)*.— *Ред*.

ство человека всюду, где это можно сделать пером. И с первых же дней я опять стал одновременно писать рассказы, публицистические заметки и корреспонденции. Первые мои произведения по возвращении из ссылки были заметки в казанской газете «Волжский вестник».

Их печатали охотно, но появлялись они порой в ужасном виде. В Казани был цензор — профессор, сам собиравший коллекцию цензурных курьезов, в том числе и из собственной практики. Я все же с теплым чувством вспоминаю эту маленькую провинциальную газету, радушно приютившую меня с моими партизанскими вылазками. Редакция принимала у меня все. Цензура устраняла очень много. Кое-что все-таки оставалось.

Неудобство было, во-первых, в захолустности газеты и, во-вторых, в этой толерантности редакции под покровом цензуры. Я чувствовал, что для того, чтобы стать настоящим провинциальным публицистом, мне нужно обратное: строгая редакция и отсутствие цензуры... Нужно так отточить перо, чтобы оно писало тонко, отчетливо, чтобы был заметен и значителен каждый оттенок, и вместе с тем не было бы наивной при тогдашних условиях подчеркнутости, которую в провинциальной печати так бесцеремонно истребляла цензура. Я чувствовал, что мне нужна школа. И я стал стучаться в «Русские ведомости».

Тогда это была чуть ли не единственная определенно либеральная газета. «Голос» недавно погиб, да, правду сказать, либерализм «Голоса» был слишком двусмыслен. Начать с того, что на страницах его находили место вульгарно-антисемитские статьи, чуть ли даже не произведения Лютостанского, которым теперь было бы место только в «Русском знамени» или «Земщине». Болеслав Маркевич, ретроград и сотрудник Каткова, после одной скандальной истории, когда он оказался слишком скомпрометирован даже для «Московских ведомостей», нашел приют у Краевского в «Голосе» и писал там в том же мракобесном духе. Только под конец судьба помогла «либеральной газете» умереть с честью...

Другие газеты являлись и исчезали, как эфемериды. Только в Москве, у самого очага катковщины, зародились, окрепли и говорили полным голосом «Русские ведомости».

Их недаром называли «профессорской газетой». Много знания, много солидности, много корректной сдержанности и под этой сдержанностью постоянно бьющееся горячее гражданское чувство. Газета вызывала много озлобления и целый град катковских доносов; но никогда она не позволяла себе из самосохранения ни одной заведомо фальшивой ноты. Профессорская газета говорила ровно и убежденно. Читатель отлично слышал то, что она говорила, и не менее ясно слышал он также то, о чем она молчала. Это был комплекс взглядов, выраженных ясно и полно, без вызывающих подчеркиваний, но ясных даже тогда, когда какая-нибудь деталь оставалась без освещения. Целое освещало частности и умолчания.

И газета все время держалась на том опасном рубеже, по одну сторону которого — явная гибель, по другую — излишняя осторожность и бледность... Редакция была постоянно в линии огня, постоянно рисковала, но держалась на позициях, хорошо укрепленных и имевших некоторые шансы удержаться.

Так она продержалась и успела создать традицию русского либерализма того времени в широком чисто русском смысле этого слова. В тогдашнем либерализме, как в зерне, хранились возможности всех передовых направлений, еще связанных морозами тогдашней исторической минуты.

Я был очень польщен, когда редакция любимой газеты обратилась ко мне с приглашением. И здесь я попытался дебютировать с беллетристикой и публицистикой почти одновременно.

Беллетристику встретил успех, несколько даже меня смутивший. В это время я как раз женился и предпринял поездку в Москву на месяц, который намеревался провести по возможности беззаботно, знакомясь с литературной Москвой. Таким образом мой дебют в «Русских ведомостях» отсрочивался. Но для того, чтобы доказать искренность своих намерений, я послал в редакцию главу «Слепого музыканта», который мне самому рисовался еще смутно как относительно плана, так и размеров. Я представлял себе только основной мотив: борьбу за возможную полноту существования. Весьма возможно, что я отступил бы перед трудностями задачи и впоследствии заменил бы эту первую главу, присланную в редакцию, чем-нибудь другим. Во всяком

случае я не представлял себе, что эта первая глава может быть напечатана еще без продолжения...

Как это вышло, не знаю. Возможно, что редактор, которому я прислал письмо, сменился другим по обычной очереди, а тот решил тиснуть первую главу, не зная о содержании моего письма... Как бы то ни было, в один из первых дней по приезде в Москву я увидел под дверью своей комнаты в «Московской гостинице» подсунутый коридорным номер «Русских ведомостей», в котором с некоторым ужасом я увидел первую и единственную написанную главу «Слепого музыканта». С полным отдыхом пришлось распрощаться и тотчас же приняться за продолжение. Возможно, что без этого «недоразумения» мой бедный «Музыкант» так и остался бы у меня в виде начала.

Совсем иначе пошли мои дела с публицистикой. Первая же моя корреспонденция или заметка (не помню) вернулась ко мне с кратким извещением, что редакция, к сожалению, воспользоваться ею не может. Это меня очень огорчило, так как я придавал значение этой стороне своей работы. Правильно ли или неправильно было такое раздвоение,— но я никогда не представлял себе иначе своей литературной работы. Это была у меня вторая натура, и иначе я не мог. Поэтому я отдавал заметки в приволжские газеты, там их уродовала цензура, а я продолжал стучаться в «Русские ведомости». Я сознавал, что мой стиль, слишком задорный и плохо забронированный, не подходил к тону «профессорской газеты». Мне это было досадно и, пожалуй, обидно. О моих рассказах уже много говорили, а между тем оказывалось, что я не умею написать простой заметки или корреспонденции для столичной газеты. Из самолюбия я пытался объяснить эти неудачи излишней «сухостью» редакции, ее «осторожностью», непривычкой к индивидуальным особенностям стиля. Может быть, порой у иных редакторов это отчасти и было. Но все же, когда я брал в руки номер газеты и читал в ней иную передовицу, или статью по острым и опасным вопросам минуты, или берлинскую корреспонденцию Иоллоса,— я не мог не чувствовать, что, несмотря на крайнюю сдержанность изложения, под этими строчками бьется и трепещет приподнятое и горячее гражданское чувство. Правда, порой действительно в ровном течении этой умной коллективной речи

исчезала индивидуальность, но зато тем сильнее звучала общая доминирующая нота.

И я все настойчивее стучался в редакцию любимой газеты, чувствуя, что в этих попытках я действительно прохожу строгую школу, вырабатывая «ответственный» слог под влиянием таких писателей, как Соболевский и Посников, Чупров, Иоллос и весь тесно спевшийся отряд «Русских ведомостей»... Наконец мне удалось достигнуть того, что мои статьи проходили целиком, без купюр и редакционных изменений. Может быть, этот результат достигнут в конце некоторого компромисса. Я вырабатывал стиль, позади которого не чувствовалась надежда на цензуру, по образцам, которые были у меня перед глазами. И в некоторой степени, быть может, редакция прислушалась и стала терпимее к некоторым моим личным особенностям. С этих пор я стал провинциальным журналистом в лучшей столичной газете. Вместе с другими товарищами мы провели немало кампаний в местной прессе. И когда почва бывала подготовлена на месте, я давал в «Русских ведомостях» общие итоги кампании, и дело приобретало при помощи авторитетного органа общее значение.

И только после этого я почувствовал, что мое литературное воспитание в известной мере закончено. Благодаря участию в «Русских ведомостях» я прошел строгую публицистическую школу, дававшую тон всей провинциальной прессе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Третья книга впервые: М.: Задруга, 1921.

Четвертая книга впервые: Голос минувшего. М., 1920—1921, без обозначения номера; и 1922. № 1. Отдельное издание: М.: Задруга, 1922.

А. В. Храбровицкий в статье «О тексте „Истории моего современника“» (см. примеч. к т. 4 наст. изд.) высказал мысль, что текст, напечатанный в журнале «Голос минувшего»,— это более поздняя редакция. Действительно, в журнальном варианте есть несколько фраз, отсутствующих в отдельном издании (одно предложение в конце главы «Мои ленские видения»; в главе «Петр Давыдович Баллод» — воспоминание Баллода об «эпидемии поджогов» в 1860-х годах), и некоторые менее существенные разночтения.

Однако, на наш взгляд, некоторые стилистические разночтения могут свидетельствовать о том, что издание «Задруги» представляет собой более позднюю, окончательную редакцию. Так, в главе «Эпопея Ивана Логиновича Линёва» в журнальной редакции читаем: «Сам Филипс был все-таки арестован». В отдельном издании: «Сам Филипс был почтительно арестован». В журнальной редакции: «...множество дымных столбов поднималось к небу, точно своеобразный белый лес». В издании «Задруги» читаем: «...множество таких же столбов подымалось к небу, точно своеобразный дымный лес». Эти и другие примеры авторской правки говорят о том, что Короленко работает над журнальным вариантом, иногда несколько сокращая его и улучшая стилистически. Не решая вопроса окончательно, считаем, что убедительных доказательств пока недостаточно, чтобы менять устоявшуюся практику издания «Истории моего современника», подкрепленную дочерьми писателя.

Приведенные примеры стилистической работы над текстом говорят о внимании писателя к художественной стороне своего произведения, хотя третий и особенно четвертый том «Истории моего современника» свидетельствуют о постепенно совершающемся переходе от автобиографической прозы к мемуарам в точном смысле слова. Эту наметившуюся разницу Короленко незадолго до смерти так объяснил в письме от 6 дек. 1920 г. к своему другу В. Н. Григорьеву: «...Очень рад, что мой «Современник» доставил вам некоторое удовольствие. Замечание твое относительно разницы в тоне первого и второго тома вполне, конечно, справедливо. Между ними около 15 лет разницы. Это во-первых. Во-вторых, и предмет другой. Детство в воспоминаниях, даже самых правдивых, все-таки овеяно всегда дымкой поэзии, которая отражается и на тоне изложения. Думаю, что и современность тоже кидает свою иссушающую тень.

⟨...⟩ Теперь уже напечатан в Москве, в «Задруге», второй и третий томы. Сейчас пишу четвертый, в котором будет заключаться мое пребывание в Иркутской тюрьме (где я встретил представителей чуть не всех напластований русской революции) и затем — Якутская область и конец ссыльных скитаний. Не знаю, удастся ли мне довести «Историю» до наших дней. Это очень много. Но буду работать, пока хватит сил. Боюсь, что тон третьего тома далеко не всюду удовлетворит тебя. Нельзя избежать тона мемуаров, когда говоришь о событиях, которых миновать нельзя. Тогда нужно было сразу взять другую манеру, вроде той, в какой писал свои воспоминания Анатоль Франс: он брал лишь отдельные яркие эпизоды и отдельные яркие фигуры. Я поставил себе несколько другую задачу: рассказать именно «историю моего современника», то есть события, которым был свидетелем, а эти события сами по себе представляют интерес своей мемуарной стороной, так что их не минуешь, помимо их художественного интереса. Об этом я говорю немного в одной из первых глав третьего тома. Говорю именно о том, как порой во мне борются бытописатель с художником. И мне приходится отдавать предпочтение бытописателю. Третий том все-таки начинается с «Починков», и тут все-таки для художника больше простора» (Полн. посм. собр. Т. 5. С. 20—21). Интересные наблюдения о художественном своеобразии «Истории моего современника» см. также в кн.: Comtet M. Vladimir Galaktionovič Korolenko (1853—1921). L'homme et l'oeuvre: In 2t. Lille; Paris, 1975.

Текст печатается по изданию: Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965; с некоторыми исправлениями и уточнениями.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Зап. книжки — Короленко В. Г. Записные книжки (1880—1900). М., 1935.

Короленко в восп.— В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962.

Луппов — Луппов П. Н. Документы о вятской ссылке В. Г. Короленко//Каторга и ссылка. 1933. № 1. С. 59—99.

Полн. посм. собр.— Короленко В. Г. Полное посмертное собрание сочинений. Гос. изд-во Украины, 1923—1929.

Революц. народничество — Революционное народничество 70-х годов XIX века / Под ред. Б. С. Итенберга. М., 1964. Т. 1.

Сибирские страницы...— Сибирские страницы жизни и творчества В. Г. Короленко. Новосибирск, 1987.

Собр. соч.— Короленко В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1953—1956.

Храбровицкий — Короленко В. Г. История моего современника. М., 1968 / Подгот. текста и примеч. А. В. Храбровицкого.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

КНИГА ТРЕТЬЯ

С. 7. *В семье Гаври Бисерова.*— Имя и фамилия действительные. Как установил П. Н. Луппов на основании «Посемейного списка жителей Березовских починков Вятской губернии за 1879 г.», большинство упоминаемых здесь крестьян дано под вымышленными именами (Луппов. С. 98—99).

...говорил Тургенев.— Имеется в виду стихотворение «Сфинкс» (1878).

С. 8. *...Фрол-Лавёр, нанявшийся в пастухи...*— «Известно, что Св. Муч. Флор и Лавр (в просторечии Фрол и Лавр) считаются покровителями лошадей, почему в день почитания их памяти лошадей пригоняют к церкви, окропляют святою водою и, по возможности, дают им в этот день отдыхать» (Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Всенародный месяцеслов. СПб., 1901).

С. 10. *Волоковое окно* — задвижное окно, через которое выходит дым.

С. 15. *...разбросаны отдельные дворы этих лесных жителей.*— В письме к родным 29 окт. 1879 г. Короленко писал: «Теперь о Починках. О географическом их положении сказать могу очень мало. Посмотрите на карту, найдите Глазов. От Глазова мне пришлось переехать через Вятку, затем через Каму у села Харина, затем еще через Каму у самого места... «Починок» от слова «почин», начало, это зарождающиеся поселения, будущие людные села...» (Собр. соч. Т. 10. С. 26—27). Березовские починки входили в состав Бисеровской волости, Глазовского уезда, и находились на расстоянии около 200 км севернее Глазова.

...в Вятской губернии заметны следы новгородских поселений.— Об этом Короленко мог получить сведения из книги Н. И. Костомарова «История Новгорода, Пскова и Вятки» (СПб., 1881), которую он читал в ссылке.

С. 19. *...у нас в этот день не едят до звезды.*— Обряд празднования Рождественского сочельника в Юго-Западном крае Короленко описал в незаконченном рассказе «Обычай умер». См.: Полн. посм. собр. Т. 22.

С. 24. *...рабочий Лазарев...*— В «Донесении Петербургского градоначальника А. Е. Зурова Петербургскому временному генерал-губернатору И. В. Гурко о причинах участившихся стачек рабочих» Новой бумагопрядильной и ткацкой фабрики среди других назван крестьянин «Калужской губ., Медынского у., Кузовской волости, деревни Шугайлова» Ф. Л. Лазарев (ок. 1852— ?), который «выделяется из массы по своему развитию» и потому способен влиять на других рабочих. Выслан в 1879 г. в Глазовский уезд. В 1880 г. был переведен под гласный надзор полиции по месту рождения. См.: Становление революционных традиций питерского пролетариата. Л., 1987. С. 264; Буня И. М. Короленко в Удмуртии. Ижевск, 1982. С. 113.

С. 27. *Федор Богдан.* — Ф. О. Богдан в 1879 г. был сослан в Глазовский уезд «за подстрекательство к подаче необоснованных жалоб и за побег в 1878 г. из-под надзора полиции на родину» (Луппов. С. 97). Его историю Короленко привел также в брошюре «Падение царской власти (речь простым людям о событиях в России)» (М., 1917). Подробнее о людях, встреченных Короленко в ссылке в Вятском крае, см. также: Храбровицкий А. В. Летопись жизни и творчества В. Г. Короленко. Вып. I—IV. Машинопись 1970—1972. ИРЛИ. Ф. 1. Оп. 33. Ед. хр. 102-б (частично опубликовано в кн.:

Сибирские страницы...); Петряев Евг. Записки книголюба. Киров, 1978; Буня М. И. В. Г. Короленко в Удмуртии. Ижевск, 1982. Прошения на имя вятского губернатора от Ф. Лазарева и Ф. О. Богдана, составленные Короленко, см.: Луппов. С. 96—98.

С. 33. *А на Морской канцелярия градоначальника.*— В 1876 г. было принято решение о передаче здания Губернских присутственных мест на Б. Морской (ныне ул. Герцена) Управлению С.-Петербургского градоначальства. См.: С.-Петербургская столичная полиция и градоначальство. СПб., 1903.

С. 37. *...«Анчутку беспятого»...*— Анчутка Беспятый — «в восточнославянской мифологии злой дух, одно из русских названий чертенят, по всей видимости происходящее от балтийского названия утки. ⟨...⟩ Анчутка связан с водой и вместе с тем летает. Обычные его эпитеты «беспятый», «роговой», «беспалый» (Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1987. Т. 1).

С. 38. *...того наводнения, которое в наши дни унесло трон Романовых.*— В первоначальной редакции было такое объяснение: «Я должен еще сказать об одном слушателе, а именно о моем современнике. Я чувствовал, что здесь в далекой курной избе Березовских починков происходит именно то, о чем и я, и большинство моего поколения мечтало: просто, естественно, без конспирации тихо разрушалось суеверное преклонение перед той властью, которую мы ненавидели. Но вместе я чувствовал также, что исходные точки у нас различные. Эти земельные рассказы казались мне невежественными и детски наивными. Я плохо тогда разбирался в них, но чувствовал, что на этом миросозерцании трудно поставить основы какого-то бы ни было нормального строя. Во всяком случае против самодержавия подымалось какое-то широкое народное представление о земле и владении ею. И самодержавие не находило другого ответа, кроме тюрем и этапов. И мое впечатление было смутно. В нем была и некоторая нежность к этим взрослым детям, воюющим с несуществующими министрами Финляндцевыми, и злорадство по адресу самодержавия, и смутное еще представление о какой-то все-таки сказывающейся «народной правде» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 10—10 об.).

С. 44. *Эвелина Людвиговна Улановская* (1860—1915) — в 1879 г. была арестована за участие в студенческой вечеринке и выслана сначала в Олонецкую, а затем в Вятскую губернию. В 1883 г. жила в Харькове, где входила в народовольческую группу. В 1887 г. вновь была сослана в Иркутскую губернию, а затем в Якутию, где жила до 1905 г. См.: Буня М. И. Короленко в Удмуртии. С. 63—72.

С. 45. *Вы кощунствуете, называя этих людей народом...*— В первоначальной редакции этой главы Короленко так комментировал эту фразу: «Еще не очень давно я сам держался того же взгляда на какой-то отвлеченный народ, которого мы, революционно настроенная интеллигенция, отстаиваем не только интересы, но которого невысказанные мнения совпадают с нашими лучшими чаяниями. Теперь близкие общения с жителями глазовской слободки — и потом с починковцами — сильно расшатали эту веру. Я чувствовал, конечно, что ни починковцы, ни те жители Пудожского уезда, которые тащили лямкой лодку с ссыльными, не исчерпывают представления обо всем русском народе, но я уже чувствовал, что наши представления обманчивы и что огромное большинство народа еще слепо подчиняется приказам и готово тянуть какую угодно лямку» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 18).

...отказал мне в законном пособии...— Административно ссыльным из дворян полагалось пособие 6 руб. в месяц, ссыльным других сословий — 3 руб.

С. 50. *...Решетников писал своих подлиповцев с нынешних моих соседей.*— Имеется в виду повесть Ф. М. Решетникова «Подлиповцы» (1864). Об этом же сообщал Короленко своему брату Иллариону 23 ноября 1879 г.: «Здесь, брат, все непосредственные, брюховые, животные интересы. Народ с задатками, это правда. Но пока ни малейших запросов нравственного или умственного свойства и просто даже удивительное отсутствие восприимчивости к подобного рода вопросам. Здесь, более чем где-либо, видно огромное влияние условий среды на самое их возникновение, влияние собственного практического интереса на восприимчивость к религиозным и другим теориям. Здесь же — застой почти полный... Потребности невелики и удовлетворяются почти вполне, новым потребностям возникать неоткуда (сообщение с остальным миром плохо). Земли достаточно; подати уплочены, начальство почти не заглядывает, кроме, конечно, урядника. Ну, и живут себе. Летом работа, страда, зимой работы по дому,— а то, что деется на остальном белом свете, ни одной сторонкой не касается нас. Ну, мы и относимся ко всему этому, как к рассказам о белой Арапии. Какие тут секты! Тут, брат, ни искания новой веры нет, ни приверженности к старой. Так, рутина, терпимость, конечно, истекающая из равнодушного индифферентизма» (Полн. посм. собр. Т. 50. С. 48).

...судьба дарила меня приятными неожиданностями.— В начале первого варианта этой главы, называвшейся «Самородки», Короленко гораздо сильнее акцентировал «светлые» стороны крестьян, среди

которых он жил: «Я боюсь, что из предыдущих очерков читатель получит уж слишком невыгодное впечатление о жителях описываемой мною глухой стороны. Судьба действительно занесла меня на край русского света, чуть не к началу культурной жизни. Где-то за Камой начинался Чердынский уезд Пермской губернии, родина описанных когда-то Решетниковым подлиповцев — Пилы и Сысойки, и мне часто вспоминались эти ужасные (очерки — зач.— *Б. А.*) картины полузвериного существования, когда я жил в Починках. Должен, однако, сказать, что на этом темном фоне, как золотые блестки, то и дело попадались восхищавшие меня примеры природного ума и даровитости, умственной или нравственной, пробивавшиеся сквозь глубокую кору чисто подлиповских нравов. Один из таких примеров я уже старался набросать перед читателем в лице Лукерьи. Несмотря на ее «злопаешь зря», удивившее и огорчившее меня в вопросе о присвоении чужой собственности,— я постоянно любовался той выдержкой и мягкостью, с которой она умела совершенно ни для кого незаметно вести свою неудачную семью. Может быть, читателя удивит, когда я скажу, что и «непросужего» Гаврю, у которого не двигалась рука и который четыре раза бросал свою превосходную жену через брус, я тоже считаю одним из самородков» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 11—11 об.).

С. 51. *...при внезапном пробуждении умершего прошлого...*— В первоначальной редакции главы об этом говорилось так: «На меня она производила глубокое и странное впечатление. Многое уже исчезло из этого народного эпоса и ускользает даже от более острого понимания. Но в этой девочке, полуребенке, было как будто что-то непосредственно родственное этой давно умершей поэзии, и душа ее, очевидно, откликалась на нее какими-то скрытыми струнами» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 3. Ед. хр. 38. Л. 13).

С. 66. *...картину признанной всеми смерти.*— В метрической книге Глазовского уезда под номером тридцать значится умершим 10 декабря 1879 г. «государственный крестьянин Починка Березовского Иаков Ефимов Кытманов, 30 л. Причина смерти: от запора» (Л у п п о в. С. 99).

С. 68. *...Буй, Костромской губернии...*— В действительности Кай, Вятской губернии.

С. 70. *...«сидя уже на санѣх»...*— Толкование этого выражения см. в кн.: К о л е с о в В. В. История русского языка в рассказах. М., 1976. С. 75.

С. 77. *...Михаил Павлович...*— В действительности Михаил Николаевич Попов (1856— ?), высланный из Харькова в 1879 г. за

участие в панихиде по умершим студентам, арестованным во время студенческих беспорядков, сначала в Глазов, а затем в Березовские починки. Освобожден от ссылки в 1883 г. См.: Луппов. С. 70.

С. 79. *...я раскрыл газету, если не ошибаюсь, «Молву».*— В газете «Молва» (1879. 27 нояб.) была перепечатана корреспонденция из «Московских ведомостей» «Катастрофа 19 ноября», содержание которой весьма точно пересказывает дальше Короленко, за исключением того, что взрыв был произведен не на Николаевской, а на третьей версте Московско-Курской железной дороги.

С. 80. *...мужем и женой Сухоруковыми.*— Под этой фамилией проживали народовольцы Л. Н. Гартман (1850—1913) и С. Л. Перовская (1853—1881), снявшие дом неподалеку от Курского вокзала. Подкоп вели А. Д. Михайлов (1855—1884), А. И. Баранников (1858—1883), Г. П. Исаев (1857—1886).

С. 82. *Около этого времени я задумал переехать в другой починок.*— В первоначальной редакции этой главы далее следовал такой текст: «Я достаточно уже насмотрелся на семейные порядки Гаври. Кроме того, хотя я не очень давно решил, что скоро должны прийти писатели из самого народа, а мы с нашей извращенной культурой сможем только извращать и литературу (см. 2-ой том), и на время у меня стихло даже всегдашнее искание литературной формы для каждого нового явления,— но теперь меня все чаще стало посещать желание записать кое-что из своих впечатлений» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 3. Ед. хр. 48. Л. 32). Переехав в починок Г. Ф. Бисерова, который Короленко описывал в письме к родным от 29 января 1880 г. (Полн. посм. собр. Т. 50. С. 60—61), он работал над автобиографической повестью «Полоса» (часть ее см. в «Приложении» к наст. тому) и очерками «В Березовских починках».

С. 87. *...доставить немедленно политического ссыльного такого-то в губернский город.*— 14 декабря 1879 г. глазовский исправник подал рапорт вятскому губернатору, в котором сообщалось, что по донесению полицейского урядника политический ссыльный Короленко самовольно отлучился от места жительства на 39 верст. «Ввиду того, что отлучка ссыльного Короленко на такое расстояние может дать ему полную возможность к совершению побега... я счел себя обязанным испросить разрешения Вашего Превосходительства, следует ли передать... протокол о самовольной отлучке Короленко... мировому судье для наложения взыскания»,— писал исправник. За подобное нарушение мировые судьи приговаривали поднадзорных к тюремно-

му заключению на срок от одного месяца и более. Вятский же губернатор в рапорте министру внутренних дел от 23 декабря просил позволения решить дело следующим образом: «Имея в виду, что означенный ссыльный Владимир Короленко при подобных самовольных отлучках легко может сделать побег и что вообще все действия его во время состояния его под надзором полиции выражают стремление к неисполнению правительственных распоряжений, относящихся до него, настоящая отлучка, по всей вероятности, сделана им с той же целью, я имею честь... испрашивать разрешение на применение к Владимиру Короленко Высочайшего повеления... о высылке политических ссыльных за покушение на побег или за совершение оного в Восточную Сибирь». 15 января министр внутренних дел отвечал вятскому губернатору: «По соглашению с главным начальником III отделения с. е. и. в. к. признано необходимым состоящего в Бисеровской волости, Глазовского уезда, под надзором полиции дворянина Владимира Короленко выслать... в Восточную Сибирь за побег из назначенного ему места жительства. Сообщая об этом... прошу... отправить Короленко в распоряжение начальника Тверской губернии, для помещения в вышневолоцкую тюрьму, впредь до отправления по назначению...» (Л у п п о в. С. 82—83). Таким образом самовольная отлучка, при которой возможен был бы побег, превратилась в совершившийся факт побега.

С. 88. *...которого я впоследствии описал в одном из своих очерков...*— Имеется в виду очерк «Чудная» (1880).

С. 90. *В Вятке... меня отвезли... в тюрьму.*— В вятской тюрьме Короленко пробыл с 1 по 15 февраля 1880 г.

С. 93. *...я узнал... о взрыве царского дворца...*— Взрыв Зимнего дворца, организованный исполнительным комитетом «Народной воли», произвел 5 февраля 1880 г. рабочий С. Н. Халтурин, поступивший в Зимний дворец столяром.

...разговоры о Лорис-Меликове, о данных ему царем особых полномочиях, о покушении на него со стороны Млодецкого.— М. Т. Лорис-Меликов (1825—1888) — генерал-адъютант, фактический руководитель военных действий на Кавказском театре войны в 1877—1878 гг. С февраля 1880 г. по май 1881 г.— начальник Верховной распорядительной комиссии с чрезвычайными полномочиями. И. О. Млодецкий (1856—1880) 20 февраля стрелял в Лорис-Меликова, но пуля, пробив сюртук, не ранила генерала. Арестованный на месте покушения, Млодецкий объяснил на допросе, что стрелял в генерала, так как считал образование Верховной комиссии вредной для развития социализма мерой. После допроса Млодецкий был заключен

того же 20 февраля в Петропавловскую крепость, на следующий день приговорен Военно-окружным судом к смертной казни и 22 февраля публично казнен на Семеновском плацу. См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 3. С. 101.

С. 95. *...меня привезли в Москву...*— Это произошло 20 февраля 1880 г.

С. 100. *...не центрально-каторжной, а только Вышневолоцкой политической тюрьмы...*— До образования в середине 70-х гг. каторжных политических централов, просуществовавших более пяти лет, осужденные за государственные преступления на каторжные работы направлялись в Сибирь на Кару. Одной из причин создания каторжных централов было желание правительства содержать наиболее опасных преступников ближе к себе под непосредственным наблюдением. См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 3. С. 293—294.

...«История одной газеты» и «Панфил Панфилыч».— П. М. Волохов (1852 — после 1921) опубликовал рассказы «Провинциальная газета» и «Панфилов» в «Отечественных записках» (1879. № 6, 7).

С. 102. *Алексей Александрович Андриевский* (1845—1902) — преподаватель гимназии в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), в 1879 г. вел переговоры об устройстве типографии для печатания украинских книг, был выслан, вероятно, за украинофильство. Краткую его биографию и список некоторых опубликованных им работ см.: Луппов П. Политическая ссылка в Вятский край. М., 1933. С. 71—72.

С. 103. *Николай Федорович Анненский* (1843—1912) — статистик, литератор, брат И. Ф. Анненского, близкий друг и соавтор Короленко. В 1880 г. был арестован как «политически неблагонадежный» и затем сослан в Сибирь, в 1883 г. переехал в Казань, с 1887 г. жил в Новгороде, где заведовал статистическим отделом. В 1895 г. переехал в Петербург, стал членом редакции «Русского богатства» и позднее — вице-президентом Вольного экономического общества. Короленко посвятил ему две статьи: «О Николае Федоровиче Анненском» (Рус. богатство. 1912. № 8) и «Третий элемент» (Собр. соч. Т. 8). О нем см. статью М. Г. Петровой в биографическом словаре: «Русские писатели. 1800—1917». М., 1989. С. 88—89.

Я уже видел его раз, попав на собрание «трезвых философов»...— Об этом кружке вспоминает Короленко в некрологе «О Николае Федоровиче Анненском», упоминание о нем содержится в кн.: Коро-

л е н к о В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 81—91. Подробнее об этом кружке см. также: С к а б и ч е в с к и й А. М. Литературные воспоминания. М.; Л., 1928. С. 328—330. Т. А. Богданович вспоминала: «В «трезвых философах» принимали участие Н. К. Михайловский, В. В. Лесевич, Анненский и др. В. Г., студентом, был на них однажды и рассказывал потом, что с тех пор запомнил Анненского, хотя не был еще тогда знаком с ним» (Короленко в восп. С. 105).

С. 104. *...«майор» Павленков.*— «Отставной гвардейской конной артиллерии Брянского арсенала поручик Флорентий Павленков, из дворян Тамбовской губ., был сослан в Вятку по предписанию Александра II в октябре 1868 г. Причиной высылки его было издание им сочинений известного критика Д. И. Писарева. Еще в 1866 г. Павленков издал часть вторую сочинений Писарева, которая в июне 1866 г. полицией была заарестована в количестве 2490 экз. В сентябре того же года полиция наложила арест на 6-ю часть сочинений Писарева, изданную Павленковым в трех тысячах экземпляров. Против Павленкова начато было дело по 1001 и 1035 ст. уголовного уложения. Правда, дело это кончилось ничем: 6-я часть была выпущена прокуратурой из-под ареста еще до суда, а за издание 2-ой части он был оправдан С.-Петербургской судебной палатой, но администрация свела счеты с Павленковым в иной форме. Будучи личным другом Д. И. Писарева, Павленков произнес на его похоронах речь (в июне 1868 г.) и затем начал собирать пожертвования на увековечение памяти умершего, для чего напечатал бланки писем с соответствующим текстом и с пробелами для заполнения их по надобности. С этими письмами 3 сентября 1868 г. он был арестован и 26 сентября посажен в Петропавловскую крепость, в которой и пробыл до окончания его процесса в сенате. Сенат оправдал его, но Александр II, по представлению министра внутренних дел, в октябре 1868 г. приказал выслать Павленкова в Вятку как личность с зловредным направлением, с воспрещением ему на будущее время издательской деятельности и въезда в столицы» (Л у п п о в П. Политическая ссылка в Вятский край. С. 62).

С. 105. *...астрофизика аббата Секки... из его книги «Единство физических сил»...*— А. Секки (1818—1878) — итальянский астроном, директор римской обсерватории. Одним из первых применил фотографию в астрономии. Труд Секки в переводе Павленкова вышел в Вятке в 1873 г.

С. 106. *...Павленков издал какую-то азбуку...*— Имеется в виду «Наглядная азбука для обучения и самообучения грамоте» (СПб.,

1873). В 1876 г. была переиздана под заглавием «Чтение и письмо по картинкам. Азбука для обучения и самообучения грамоте по наглядному способу» без подписи автора; «...в азбуке, снабженной рисунками, между прочим были рядом поставлены рисунки: аналой (церковная принадлежность) и стойло, корова и корона, петух с великолепным хвостом и гребнем и монах в мантии с длинным хвостом и клобуком, портрет Александра II с надписью «царь» и рисунок виселицы. В тексте азбуки был приведен такой диалог: «Как приятно умирать за отечество»,— сказал солдат, убегая с поля сражения. «Я вполне с тобой согласен»,— отвечает ему другой, перегоняя его. ⟨...⟩ Вятский губернатор Чарыков 11 ноября 1874 г. писал в министерство внутренних дел, что Павленков составил с свящ. Блиновым, также замеченным в политической неблагонадежности, азбуку для народных школ, которая хотя и была пропущена цензурой, но впоследствии при 3-м издании признана министерством народного просвещения настолько вредной, что строжайше воспрещена к употреблению в школах» (Л у п п о в П. Политическая ссылка в Вятский край. С. 63).

С. 107. *...с «Вятской незабудкой», на которую из Вятки летели жалобы...*— После третьего выпуска этого сборника последовало следующее «Представление министра внутренних дел Тимашева в комитет министров от 22 апреля 1878 г. за № 2245 о воспрещении выпуска в свет «Вятской незабудки» (памятная книжка Вятской губ. на 1878 г.)», в котором, в частности, говорилось: «Возбуждая поголовное обвинение против местного служебного персонала, на основании сведений и фактов, ничем не подтвержденных, «Вятская незабудка» представляет притом и небывалый в русской печати пример диффамации. Авторы статей, помещенных в «Незабудке», скрывая свои собственные имена, дозволяют себе не только обвинять публично других, не только... глумиться над этими лицами, но и употреблять относительно их даже чисто бранные выражения. Так, например, к вятскому губернатору Н. А. Тройницкому относятся почти прямо эпитеты «глупец», «Колюшка-простачок», о нем говорится, что... он покровительствует самым выдающимся развратникам и казнокрадам...

Возбуждение сильнейшего недоверия к правительству, избирающему своими агентами самых возмутительных администраторов, судей, наставников юношества и охранителей государственных имуществ, составляет неизбежное, для неразвитых читателей, впечатление после чтения этой книги. Но это впечатление идет далее, так как на стр. 308, 314, 362, 363, 364, 369 и 370 этой книги проводятся чисто

революционные идеи» (Л у п п о в П. Политическая ссылка в Вятский край. С. 180—181).

С. 108. *...ему шел двадцать первый год.*— О П. З. Попове (1857—1884) Короленко писал из тюрьмы 18 июня 1880 г. родственникам: «В прошлом письме я писал уже вам, что Петя Попов здесь. Из рассказов его о его житье за этот год я убедился, что несколько ошибся в прошлом письме: у него действительно бывали очень тяжелые минуты очень сильной хандры,— но и только. Что же касается до его теперешнего состояния, то я нисколько не ошибся. Он значительно оживил нашу камеру, в которой мы живем с ним вместе с 6-ю остальными товарищами» (Полн. посм. собр. Т. 50. С. 79).

С. 109. *Есть у Щедрина рассказ «Непокорный Коронат»... не полагалось пахать землю, как мужику...*— Очерк Салтыкова-Щедрина «Непочтительный Коронат» (1875) из цикла «Благонамеренные речи» никогда не подвергался коренной переделке. О сыне священника, который «желал пахать землю», Салтыков-Щедрин писал в «Письмах к тетеньке». См.: С а л т ы к о в - Щ е д р и н М. Е. Полн. собр. соч. и писем: В 24 т. Л., 1972. Т. 14. С. 444—448.

С. 110. *В очках и пледе?* — «В зимнее время неизменной принадлежностью большинства студентов был плед, накинутый поверх летнего или осеннего пальто. В этом костюме, постельных принадлежностях и груде лекций очень часто состояло все движимое имущество студента, презиравшего земные блага и считавшего позором заботиться об изяществе костюма. Спустится, бывало, такой пламенный, но не в меру рассеянный вершитель мировых судеб с четвертого или пятого этажа с связкой лекций в руках да с подушкой, увязанной в одеяло,— и — спохватившись, закричит наверх: „Хозяюшки! Сбросьте-ка мне плед, я на другую квартиру переезжаю“» (Н и к и ф о р о в Н. Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев//Вестник Европы. 1912. № 11. С. 163).

С. 115. *...«веселый меланхолик», как Пушкин когда-то назвал Гоголя.*— В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1834), говоря о «великом меланхолике», «имеющем иногда свои минуты веселости», Пушкин не называл имени Гоголя, а просто относил это определение к «одному из своих приятелей». Вопрос о том, относятся ли эти слова к Гоголю,— предмет споров среди литературоведов. В. Э. Вацуро, например, считает, что это автохарактеристика самого Пушкина. См. статью «„Великий меланхолик“ в „Путешествии из Москвы в Петербург“» в кн.: Временник Пушкинской комиссии. Л., 1977.

С. 116. *...Кеннан приводит затем свой разговор...*— Короленко не совсем точно вспоминает этот эпизод из книги американского журналиста Д. Кеннана (1845—1924) «Сибирь и ссылка» (СПб., 1906). Рассказав о встрече со ссыльными девушками, Кеннан пишет: «Мысль о том, что могущественное русское правительство для охраны себя от молодых девушек-подростков принуждено отрывать их от семейств и ссылать за тысячи верст этапным порядком, в азиатскую пустыню, казалась мне слишком нелепой» (Кеннан Д. Сибирь и ссылка. СПб., 1906. Ч. I. С. 47). О взаимоотношениях и переписке Короленко и Кеннана см.: Меламед Е. И. В. Г. Короленко и Дж. Кеннан//Рус. литература. 1977. № 4. С. 152—157.

А. Ф. Кони так характеризовал труд Кеннана: «...в 1891 году появилась за границей книга Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в подробностях, но ошибочно приписывающая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия» (Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 459).

С. 117. *...Петя Попов застрелился...*— Это произошло в Минусинске осенью 1884 г. См. об этом также: Белоконский И. П. Дань времени. М., 1928. С. 319—320.

Сергей Порфирьевич Швецов (1858—1930) — в 1878 г. был арестован по делу кружка Иосселиани (а не Орбелиани, как ошибочно пишет ниже Короленко) и в 1879 г. выслан в Западную Сибирь. Позднее стал видным сибирским деятелем-этнографом, статистиком, экономистом, писателем. Опубликовал воспоминания «В. Г Короленко в Вышнем Волочке» (В. Г Короленко в восп. С. 42—51).

С. 118. *Полицейский Лекок* — герой детективного романа Э. Габорио «Лекок» (1869).

С. 120. *...нелегально существовавшего политического Красного Креста...*— Нелегальная политическая организация «Красный Крест» возникла в середине 70-х гг. по инициативе членов кружка «чайковцев» Л. В. Синегуб (1856—1923) и Л. И. Корниловой (1852—1892) для помощи заключенным «в крепости, «предварилке» и других тюрьмах». Первая оформленная организация «Общества Красного Креста» возникла в 1881 г.

...экономист Джон Стуарт Милль, написавший гениальную книгу об утилитаризме и свободе...— Две работы английского философа и экономиста Дж. Милля (1806—1873) под общим названием «Утилитарианизм. О свободе» вышли в Петербурге в 1869 г. Существует

ряд более ранних отдельных изданий этих трудов Милля на русском языке.

С. 121. *...в журнале «Вперед» П. Л. Лавров сделал математический расчет...*— Короленко пересказывает статью Лаврова «Роль народа и роль интеллигенции» (Вперед! 1876. № 34).

С. 124. *...«Мы,— говорит Адам Смит,— любим, когда к нам относятся дружелюбно...»* — Короленко пародирует следующую мысль из книги английского экономиста А. Смита (1723—1790) «Теория нравственных чувств»: «Природа, создавая человека для общественной жизни, одарила его желанием нравиться ближним и опасением оскорбить их. Она побуждает его радоваться их расположению или страдать от их неприязни» (Смит А. Теория нравственных чувств. СПб., 1868. С. 157).

С. 126. *...с женой Анненского, известной детской писательницей, и ее племянницей...*— А. Н. Анненская (1840—1915), детская писательница, автор воспоминаний о Н. Ф. Анненском. Ее племянница — Т. А. Криль (1872—1942), по мужу Богданович, будущая писательница и журналистка, редактор «Недели „Современного слова“». Ей принадлежат также «Биография Владимира Галактионовича Короленко» (Харьков, 1922) и воспоминания «В. Г. Короленко в Нижнем» (В. Г. Короленко в восп. С. 93—109) и «В. Г. Короленко в последние годы жизни» (Былое. 1922. № 19).

С. 131. *...свои очерки из фабричной жизни.*— В 1879 г. в журнале «Еженедельное „Новое время“» были опубликованы очерки П. Волохова «Стрюцкий», «Чиновник (из быта заводских рабочих)» (№ 18, 23—26).

С. 132. *Ган-исландец* — герой одноименного романа В. Гюго, написанного в духе романов «тайн и ужасов».

С. 133. *...волна «диктатуры сердца», как (впоследствии)... назвал... Катков...*— Выражение «диктатура сердца», получившее вскоре самое широкое распространение, не принадлежит Каткову. Впервые оно было употреблено в редакционной статье газеты «Голос» (1880. 16 февр.) как отклик на обращение «К жителям столицы», подписанное Лорис-Меликовым. В статье указывалось: «Если это слова диктатора, то должно признать, что диктатура его — диктатура сердца и мысли».

...На этом заседании постановлено было... рассмотреть и проверить списки арестованных... Имеретинский, командированный для проверки...— На заседании Верховной распорядительной комиссии 15 апр. 1880 г. члену комиссии, начальнику штаба гвардии и Петербургского военного округа князю А. К. Имеретинскому (1837—

1900) было поручено ознакомиться с положением в Московской, Мценской и Вышневолоцкой тюрьмах. На заседании 1 мая было заслушено сообщение Имеретинского, в котором, в частности, говорилось, что дела некоторых арестованных могли бы быть пересмотрены. Подробнее об этом см.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. М., 1964. С. 169—170.

С. 137. *«Унылый, сумрачный бурлак»... «Кто живет без печали и гнева»...*— из стихотворения Некрасова «На Волге» (1860) и «Газетная» (1863—1865).

В. А. Осинский (1852—1879) — один из учредителей «Земли и воли», руководил рядом террористических актов, был очень популярен в революционном подполье.

...профессор Грушевский дал очень злую характеристику тогдашнего «украинофильства»...— Украинский историк и политический деятель М. С. Грушевский (1866—1934) неоднократно выступал в своих статьях с критикой «правого», «культурнического украинофильства». См., например, его статью «Движение политической и общественной украинской мысли в XIX столетии» (Грушевский М. С. Освобождение России и украинский вопрос. СПб., 1907. С. 51—54). Конкретно Короленко имеет в виду статью М. Грушевского «Еще о большом и малом национализме» (Рус. ведомости. 1916. № 122).

Драгоманов пытался придать украинскому движению политический и социальный характер... его работа проходила в Галиции, где он господствовавшие тогда консервативно-москвофильские течения стремился направить в народническое русло...— Характеристика Короленко деятельности М. П. Драгоманова в Галиции во многом соответствует тому плану, который наметил сам Драгоманов, пытаясь руководить общественным движением в Галиции: «...Я составил план: распространить в Галиции украинское направление посредством новой русской (великорусской) литературы, которая своим светским и демократическим характером подорвет в Галиции клерикализм и бюрократизм и обратит молодежь к демосу...» (Драгоманов М. П. Автобиография//Былое. 1906. С. 195).

С. 140. *...на тему из одного стихотворения Полонского...*— Короленко не совсем точно цитирует стихотворение Полонского «На пути из гостей» (1856).

С. 142. *...студенты, присланные из варшавской цитадели по делу так называемого «Пролетариата».*— После трех массовых арестов польских социалистов в Варшаве в 1878—1879 гг. возникло так на-

зываемое «дело 137-ми», по которому в административном порядке 32 человека были сосланы в Сибирь. С обвиненными по этому делу и встретился В. Г. Короленко. «Пролетариат» возник позднее, в 1882 г.

С. 143. ...*Вацлав Серошевский... получивший широкую известность в польской и русской литературе.*— В. Серошевский (1860—1945) — известный писатель и этнограф, писавший одновременно на польском и русском языках. За участие в социалистических кружках и, позднее, в бунте узников Варшавской тюрьмы в 1880 г. был сослан в Сибирь, где прожил до 1892 г. В 1896 г. опубликовал научный труд «Якуты». Помимо большого числа публикаций в русских газетах и журналах (повести, рассказы и путевые очерки), в России вышло четыре собрания сочинений В. Серошевского, последнее в 1908—1909 гг. в 8 томах (СПб., т-во «Знание»). В. Серошевский опубликовал свои воспоминания о политической ссылке (Против волны. М.; Л., 1929).

...*«Еженедельное обозрение», в котором работали так называемые «позитивисты», в том числе Свентоховский и Сенкевич.*— А. Свентоховский возглавлял либеральное течение польской общественной жизни, так называемый «варшавский позитивизм», ведущим органом которого был журнал «Еженедельное обозрение», где он и печатал свои публицистические и философские произведения. «Варшавский позитивизм» оказал влияние на раннее творчество выдающегося польского писателя Г. Сенкевича (1846—1916).

...*Венцковский, Геринг...*— А. И. Венцковский (ок. 1854— ?) — один из издателей нелегальной народнической газеты «Начало», автор многих прокламаций, конструктор печатной машины для тайной типографии «Земли и воли». Арестован в 1879 г. в Варшаве по «делу 137-ми», выслан в Сибирь и поселен в Минусинске. По этому же делу был сослан С. Э. Геринг (1854—1931), деятель польского и русского революционного движения. Подробнее о них см.: С н ы т к о Т. Г. Русское народничество и польское общественное движение. М., 1969. С. 152, 159—160.

Дело это обратило в свое время серьезное внимание, а с ним вместе привлек внимание высших сфер В. К. Плеве.— В архиве Короленко хранится вырезка из газеты «Рус. ведомости» (1906, 14 дек.) с такими воспоминаниями И. П. Белоконского о причинах ссылки Серошевского и С. А. Лянды (1855—1915) и о начале карьеры будущего министра внутренних дел, шефа отделения корпуса жандармов В. К. Плеве (1846—1904): «Дело поляков, предшественников партии «Пролетариата», замечательно было тем, что оно велось под руковод-

ством знаменитого временщика фон Плеве, который начал свою карьеру в качестве товарища прокурора по политическим делам. По словам наших товарищей, фон Плеве проявил в их деле удивительный талант, раскрыл все нити и корни их дела, чем впервые обратил на себя внимание Петербурга. Довольный таким успехом, фон Плеве предложил закончить названное варшавское дело административным порядком и скоро был переведен в столицу, где, оцененный по заслугам, уже беспрепятственно пролагал себе путь к власти. Из числа привлеченных по Варшавскому делу только известный нынче писатель Серошевский да Лянды судились и, лишенные прав, были сосланы на поселение, но это явилось не результатом самого дела, а по обстоятельству, имевшему место в варшавской цитадели, где содержались заключенные. Там совершилось такое событие: часовой застрелил рабочего Бейта, разговаривавшего с товарищами в окно; тогда Серошевский и Лянды подняли бунт и оказали сопротивление властям, выломав доски с нар. За это их и судили».

С. 144. *...братьев Грабовских... Абрамовича, Августовича... Рогальского, Мондштейна...*— А. Грабовский (ок. 1854—?), М. Грабовский (ок. 1856—?), П. Абрамович (ок. 1853—?), К. Августович (ок. 1857—?), С. Рогальский (ок. 1858—?), Б. Мондштейн (1852—?) — члены Варшавской социально-революционной организации (1878—1881).

С. 148. *...во второй половине июля 1879 года...*— Это было 17 июля 1880 г.

С. 149. *...Иван Иванович Папин, осужденный по одному из ранних процессов, вместе с Гамовым, Дмоховским...*— И. И. Папин (1849—1907) — один из видных членов революционно-народнического кружка (1872—1874), организованного А. В. Долгушиным (1848—1885), в который входили Л. А. Дмоховский (1851—1881), Д. И. Гамов (ок. 1847—1876), а также Н. Плотников, А. Васильев, А. Чиков и др. Осуждены в 1874 г. по «процессу 13-ти». Все осужденные, кроме Папина, погибли в заключении. Подробнее об этом см.: К у н к л ь А. Долгушинцы. М., 1930.

...Патти и Нильсон.— А. Патти (1843—1919) — итальянская певица. К. Нильсон (1843—1921) — шведская певица. Обе певицы в 70-х гг. неоднократно гастролировали в Петербурге.

С. 150. *...провезли политических, приговоренных по последнему процессу... Папина... процедура лишения прав.*— Через 9 месяцев после вынесения приговора по делу Долгушина — 5—6 мая 1875 г.— были произведены обряды публичной казни, то есть выставление

осужденных у позорного столба. Обряд происходил на Конной площади (ныне пл. Тургенева). Для производства этой церемонии осужденные были разделены на две группы. В первую группу входили Долгушин, Дмоховский и Гамов. Папин был отнесен ко второй группе, то есть обряд над ним производился 6 мая. Об этом см.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 3. С. 69; Каторга и ссылка. 1926. № 23. Обряд гражданской казни над осужденными в каторгу и ссылку был отменен 6 окт. 1878 г.

С. 151. *И. П. Белоконский* (1855—1931) — общественный деятель, историк земства, литератор. Выступал в периодической печати с 1875 г. В 1870-е гг. вел народническую пропаганду в Киевской губернии. В 1879 г. арестован и затем выслан в Сибирь. В книге «Дань времени» (М., 1918) вспоминает о своих встречах с Короленко и его семьей во время ссыльных скитаний. Опубликовал также книгу «В. Г. Короленко в его письмах. Письма В. Г. Короленко к И. П. Белоконскому, 1883—1921» (М., 1922).

...Коленкину и Бердникова...— М. А. Коленкина (1850—1926) — участница «хождения в народ», в 1875 г. вошла в кружок «южных бунтарей». Активный член «Земли и воли». При аресте в 1878 г. оказала вооруженное сопротивление и была приговорена к десяти годам каторги. Л. Ф. Бердников (1852—1936) — член основной группы «Земли и воли», участвовал в выработке плана убийства шефа жандармов Мезенцева. В 1878 г. арестован и приговорен к пятнадцати годам каторги.

С. 155. *...очерк «Ненастоящий город»...*— был опубликован в журнале «Слово» (1880, № 11). Об этом очерке см.: Бялый Г. А. С. 29—33.

С. 160. *...мы прибыли в Томск.*— Короленко прибыл в Томск 8 авг., выехал из города 18 авг. Подробнее об этом см.: Соркина Д. Л. В. Г. Короленко в Томске // Рус. литература. 1975. № 1. С. 177—178.

С. 161. *...супруги Вноровские...*— У. У. Вноровский (ок. 1851—1913) — организатор народнического кружка в Вильно. В 1875 г. арестован и выслан в Вологодскую губернию. В 1879 г. отбывал наказание в Мценской тюрьме. О. И. Вноровская (1849—1932) была арестована в 1875 г. во время демонстрации по поводу объявления приговора членам кружка Долгушина и выслана сначала в Костромскую губернию, а затем в Великий Устюг, где вышла замуж за У. У. Вноровского. Подробнее о них см.: Белоконский И. П. Дань времени. М., 1918.

Осинская (ок. 1854—?) — входила в революционный кружок, организованный Н. К. Бухом. Арестована в 1878 г. за участие в разработке плана убийства шпиона К. Беланова.

...Фекла Ивановна Донецкая, жена Донецкого...— Ф. И. Донецкая (1855—1889) привлекалась по «процессу 193-х», отбывала ссылку в Перми и Вятской губернии. В. Ф. Донецкий (1850 — после 1884) в 1873 г. по возвращении из-за границы был задержан с прокламациями, осужден на пять лет каторги и заключен в Ново-Белгородскую тюрьму. В 1880 г. сошел с ума. См.: Буня М. И. С. 88—91.

С. 163. *...«подследственное отделение», которое я впоследствии описал в рассказе...*— Имеется в виду рассказ «Временные обитатели „подследственного отделения“», впоследствии получивший название «Яшка». См. т. 1 наст. изд.

...Фомин... пытался освободить Войнаральского...— А. Ф. Фомин (подлинная фамилия Медведев, 1852—1926) в начале 1870-х гг. вел пропаганду среди рабочих Одессы. В 1878 г. совершил покушение на киевского прокурора Котляревского. В этом же году принимал участие в попытке освободить одного из главных организаторов «хождения в народ», П. И. Войнаральского (1844—1898), осужденного по «процессу 193-х» на десять лет каторги. А. Ф. Медведев 28 июля 1878 г. пытался бежать из Харьковской тюрьмы, был пойман и под именем Фомина приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Содержался в тобольском и омском централах, а затем на Каре. В 1891 г. вышел на поселение.

С. 165. *...проект организации побегов... раскрытый во время обыска у Валентина Яковенка.*— В. И. Яковенко (1859—1915) — член организации «Черный передел». При аресте 16 дек. 1881 г. у него были найдены фамилии и адреса членов «Красного Креста Народной воли» — общества, основанного в 1881 г. по инициативе члена исполнительного комитета «Народной воли» Ю. Богдановича (1849—1888). Главной целью общества была организация побегов ссыльных и заключенных.

С. 166. *...приехали в Пермь.*— Это было 16 сент. 1880 г.

С. 171. *...перешел на службу табельщиком...*— в дек. 1880 г. Эта работа дала Короленко материал для незаконченной повести «Табельщик», над которой он работал в 1885—1887 гг. Две главы из этой повести были опубликованы в 1887 г. в газете «Рус. ведомости». См.: Собр. соч. Т. 4. С. 423—437, 499—502.

Тун, в своем известном труде «Революционное движение в России», упоминает имя Маликова...— Короленко цитирует примечания

Л. Э. Шишко в книге А. Туна «История революционного движения в России» (СПб., 1906. С. 112). Работая над главой об А. К. Маликове (1839—1904), Короленко использовал, в частности, статью А. И. Фаресова (1852—1928) «Один из семидесятников» (Вестник Европы. 1905. № 5).

...о предшественнике Л. Н. Толстого в теории непротивления.— Об этом и о встрече Н. В. Чайковского с Маликовым, о котором Короленко упоминает ниже, так писал Н. Богучарский: «Вот сам, давший имя кружку, Николай Васильевич Чайковский. Кандидат петербургского университета, он принимает деятельнейшее участие во всех трудах кружка, но затем с ним происходит переворот. Будучи всегда человеком напряженного морального долга, он встречается с А. К. Маликовым, интересным человеком, проповедывавшим еще в семидесятых годах учение о «непротивлении злу насилием», близкое к учению Л. Н. Толстого, которого он и явился в этом отношении предшественником. Маликов отрицает, во имя нравственного начала, во имя той «божественной искры», которая живет в каждом человеке, всякое насилие, в том числе не только какие бы то ни было насильственные революционные акты, но и самый принцип революции. Он становится основателем среди интеллигенции чего-то вроде секты так называемых «богочеловеков». Чайковский вполне проникся идеями Маликова, они отправились вместе в Америку, где основали общину для жизни на новых началах, но община успеха не имела. Проведя три года в Америке, где много пришлось им перетерпеть трудов и лишений, Маликов вернулся затем в Россию, а Чайковский в Англию. Там приобрел он столь широкую популярность, что, когда он снова был арестован в России в 1908 году, англичане собрали пятьдесят тысяч рублей для внесения за него залога. Преданный суду, Чайковский был оправдан» (Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912. С. 156). Отношение самого Толстого к учению Маликова было неоднозначным. После разговора с Фаресовым о теории Маликова Толстой записал в дневнике: «Все это было прекрасно, все было христианское: будьте совершенны, как Отец ваш, но нехорошо было то, что все учение имело целью воздействие на людей, а не внутреннее удовлетворение, не ответ на вопрос жизни. Воздействие на других — главная ахиллесова пята. Так что мое положение, ложное для людей, может быть, оно-то и нужно» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 53. С. 184).

С. 172. *...уволен по третьему пункту.*— То есть без объяснения причин и права обжалования.

С. 173. *Н. В. Чайковский* (1850—1926).— В 1869 г. был создан кружок радикальной молодежи под руководством М. Натансона. В него входил студент естественного факультета Петербургского университета Н. В. Чайковский, по имени которого и стал называться кружок. Сам Чайковский писал, что его роль в кружке основывалась на деловых отношениях с книгопродавцами и издателями, так как главным делом члены кружка считали распространение среди студенческой молодежи прогрессивной литературы по доступной цене. В 1874 г. стал последователем учения Маликова о богочеловечестве и эмигрировал. В 1880 г. в Лондоне принимал участие в организации «Фонда вольной русской прессы». Позднее Чайковский был одним из основателей партии народных социалистов. После Октябрьской революции возглавил белогвардейское правительство в Архангельске.

...*Теплов и Аитов*...— В воспоминаниях С. Ф. Ковалика, впервые опубликованных в 1906 г. в журнале «Былое», так говорилось об их участии в народническом движении: «Кружок артиллеристов состоял большею частью из бывших воспитанников Михайловского артиллерийского училища и находился почти исключительно под влиянием чайковцев... В этой группе находились, между прочим, Давид Александрович Аитов, Николай Никитич Теплов... Для подготовки к ремеслу артиллеристы под руководством или же при участии Шишко и других чайковцев устроили первую в Петербурге солидную мастерскую, в которой интеллигентная молодежь обучалась слесарному делу, а отчасти и революционному. Мастерская эта имела известное значение в истории революционного движения в Петербурге. В ней перебывало много народа, и она стала своего рода революционным клубом.

Из членов кружка Теплов и Аитов вскоре отказались от чисто революционной деятельности. Под влиянием вдохновенной проповеди Маликова, основателя богочеловеческой религии, они вместе с учителем своим уверовали, что только пропагандой социализма во имя религии и непротивления злу можно спасти народ и доставить ему счастье. Это не помешало прокуратуре привлечь их к «большому процессу». В настоящее время Аитов живет в Париже» (цит. по кн.: Революционеры 1870-х годов. Л., 1986. С. 164—165).

...*коммуна русского выходца Фрея (Гейнса)*.— В. К. Гейнс (1839—1888) принял имя Вильгельм Фрей при переходе в североамериканское подданство. Писатель, математик, философ-позитивист, проповедник «религии человечества» О. Конта. Окончил Академию генерального штаба, был оставлен преподавателем в ней, но

в 1868 г. вышел в отставку и эмигрировал в Северную Америку, где с группой единомышленников организовал коммуну. После распада коммуны в 1879 г. многие годы скитался, вернулся в Россию в 1885 г. Свои взгляды изложил в письмах к Л. Н. Толстому, который писал о нем: «Это один из самых замечательных людей нашего времени» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 65. С. 32). Подробнее о нем см.: Русские пропилеи. М., 1914. Т. 1. С. 276—362.

...его письмо...— «Письмо коммуниста» В. Фрея опубликовано в сб. «Вперед!» (Лондон, 1874. Т. 3. С. 120—143).

С. 176. *П. Г. Зайчневский* (1842—1899) — с серебряной медалью окончил гимназию и поступил в Московский университет, где стал во главе революционно настроенного кружка, издававшего нелегальную литературу. В 1861 г. был арестован и, находясь под арестом, совместно с друзьями сочинил и распространил прокламацию «Молодая Россия», призывавшую к «кровавой и неумолимой революции». В 1862 г. был сослан в Сибирь, где провел шесть лет. В 1874 г. жил в Орле, где продолжал революционную пропаганду среди молодежи. В 1877 г. снова сослан в Сибирь. См. статью «Петр Григорьевич Зайчневский» в кн.: Афонин Л. Рассказы литературоведа. Тула, 1979. С. 99—113.

С. 178. *Лариса Тимофеевна Заруднева* (ок. 1856—?) принимала участие в печатании запрещенных книг в типографии И. Мышкина. Привлекалась по «процессу 193-х», но признана невиновной. Позднее была сослана в Пермь.

С. 181. *...Маликов состоял в переписке с Победоносцевым.*— К. П. Победоносцев (1827—1907) — обер-прокурор Синода с 1880 г. по 1905 г. Автор манифеста 1881 г. об укреплении самодержавия. Пользуясь доверием Александра III, во многом определял политику государства в 1880-е гг. В 1850—1860-е гг. исповедовал весьма либеральные идеи. Об этом см. главу «Константин Петрович Победоносцев» в кн.: Смоларчук В. И. А. Ф. Кони и его окружение. М., 1990. Переписка Маликова и Победоносцева сохранилась. См.: Храбровицкий. С. 994.

...администрация расплачивалась со мной за язвительность стиля.— Действительно, в рапортах Короленко за внешне официальным стилем часто скрывалась весьма язвительная ирония, которая очень задевала глазовского исправника Луку Сидоровича Петрова, также обладавшего своеобразным, почти литературным слогом, что видно, например, из его отзыва о своем сопернике от 14 января 1880 г.: «Короленко, как человек развитой в литературном отношении, при имеющейся закоренелой наклонности к противопра-

вительствующим идеям... оставляя после себя хитрозлостную кротость, которая не могла быть замечена только при единоличной его жизни в ссылке, но при общественности с подобными ему ссыльными она проявляется в твердо уклончивом и хитростном вреде на каждого, имеющего с ним короткое сношение» (Л у п п о в. С. 96).

С. 182. *...в одном из сибирских журналов...*— Короленко имеет в виду журнал «Сибирские вопросы» (СПб., 1912. № 24).

С. 183. *...над номером, помнится, 312 «Молвы»...*— В действительности № 282 от 12 окт. 1880 г. Публикуя эту статью, В. Водовозов так характеризовал газету: «„Молва“ была газета, заменившая в 1879 г. газету «Биржевые Ведомости» (не те «Биржевые Ведомости», которые приобрели широкое распространение уже в XX веке и которые были основаны Проппером только в восьмидесятых годах, а другие, издававшиеся в шестидесятых и семидесятых годах сперва Трубниковым, под конец Полетикой и прекратившиеся в 1879 г.). Во главе ее стоял В. А. Полетика, сотрудничали в ней А. Н. Плещеев, Ф. Ф. Воропонов, В. Ф. Корш и многие другие писатели либерального или демократического направления; помнится, по четвергам помещал свои фельетоны, пересыпанные стихотворными вставками, не глубокий и не серьезный, но бойкий и хлесткий, популярный в то время сатирик Д. Д. Минаев. Рядом с «Новым Временем», уже тогда вполне определившимся в качестве газеты «Чего изволите», рядом с очень умеренно либеральным, беспрестанно изменявшим своему либерализму «Голосом», «Молва» была в то время единственным последовательно и выдержанно прогрессивным органом. С облегчением цензурных условий при Лорис-Меликове она помещала немало корреспонденций и статей обличительного характера, в частности, статей, обличавших административный произвол» (В. Г. Короленко. Жизнь и творчество. Пг., 1922. С. 160—161).

С. 184. *...обозреватель «Русской мысли» (С. А. Приклонский) посвятил ему значительную часть очередного обозрения.*— Обозрение в «Русской мысли» (1880. № 11), в котором передавалось содержание письма Короленко, было написано В. А. Гольцевым. Публицист С. А. Приклонский (1846—1886) излагал это письмо во внутреннем обзоре газеты «Земство» (1881. № 10).

С. 193. *Трагедия 1 марта 1881 года.*— Александр II должен был быть взорван миной, заложенной на Малой Садовой, но так как маршрут его следования изменился, С. Л. Перовская поручила Н. И. Рысакову (1861—1881) и И. И. Гриневицкому (1856—1881) взорвать царя бомбой. Первым бомбу бросал Рысаков, ранив нескольких

сопровождающих и повредив карету. Когда царь вышел из кареты, бомбу бросил Гриневицкий. При взрыве оба были смертельно ранены.

С. 194. *...царя, произносившего освободительные речи...*— См., в частности, очерк «Легенда о царе и декабристе» в т. 3 наст. изд.

...каким его описал Гаршин...— Короленко вспоминает следующий эпизод из рассказа Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова», в котором, однако, впечатление героя рассказа от встречи с царем несколько отличается от впечатления Короленко: «Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть, приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал» (Гаршин В. М. Сочинения. М.; Л., 1951. С. 193—194).

С. 195. *...беззаконное заключение Чернышевского в Вилюйске...*— В 1871 г. закончился семилетний срок каторги Чернышевского, но он не был отправлен на поселение, а переведен в Вилюйск, где в полной изоляции пробыл до 1883 г.

...указа о созыве уполномоченных...— Утром 1 марта 1881 г. Александр II вызвал председателя комитета министров П. А. Валуева и передал ему проект правительственного сообщения о созыве в Петербурге подготовительных комиссий для обсуждения административных и экономических реформ, разработанных министерством. Решения подготовительных комиссий должны были в дальнейшем обсуждаться Общей комиссией с участием представителей от земства и некоторых больших городов. Подробнее об этом см.: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. С. 283—299.

С. 196. *...один орган...*— Короленко имеет в виду журнал «Вольное слово», издававшийся в Женеве с авг. 1880 по май 1883 г. С 1882 г. редактором его был М. П. Драгоманов.

...потребовали введения... конституционной свободы.—В «Письме исполнительного комитета Александру III» народовольцы выдвинули требования: политическая амнистия, установление политических свобод, выборы в народное собрание.

С. 197. *...в старой записной книжке...*— См.: Зап. книжки. С. 70—71.

С. 200. *...подписал заявление...*— Текст заявления впервые был опубликован в сборнике «Жизнь и литературное творчество В. Г. Ко-

роленко» (Пг., 1918. С. 93—96). См. также: Храбровицкий. С. 996—998.

...ход вашему заявлению.— На «Отношение» пермского губернатора В. А. Енакиева с сообщением об отказе от присяги Короленко (Сибирские страницы. С. 114) В. К. Плеве представил министру внутренних дел доклад, в котором содержалось следующее «Заключение»: «Принимая во внимание предыдущую вредную деятельность Владимира Короленко и вредное направление, обнаруженное им ныне отказом от принятия присяги на верность подданства, полагалось бы необходимым выслать Короленко на распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для водворения его на жительство во вверенном ему крае под надзор полиции» (Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко. Пг., 1919. С. 97).

С. 203—204. *...Джабадари, Цицианов... Зданович, Дмоховский, Гамов, две сестры Фигнер...*— И. С. Джабадари (1852—1913), А. К. Цицианов (1850—1885), Г. Ф. Зданович (1855—1917) — члены «Всероссийской социально-революционной организации», которая в 1875 г. начала активные действия по революционной пропаганде среди рабочих и крестьян. Судились по «процессу 50-ти» в 1877 г. Один из авторов устава организации, Джабадари, приговоренный к пяти годам каторги, опубликовал об этом процессе воспоминания (Былое. 1907. № 10). Цицианов, принимавший участие в побеге Н. А. Морозова из тюрьмы и оказавший при аресте вооруженное сопротивление, был приговорен к десяти годам. Зданович, арестованный на вокзале в Москве при получении агитационной литературы и выступивший с речью на суде, приговорен к шести годам восьми месяцам каторги. Л. А. Дмоховский (ок. 1850—1881) — один из главных участников кружка А. В. Долгушина. В 1874 г. был обвинен в печатании и распространении революционных прокламаций среди крестьян и приговорен к десяти годам каторги. Содержался в Ново-Белгородском централе. В 1880 г. был отправлен на Кару. Д. И. Гамов не мог быть в партии ссыльных, так как в 1876 г. сошел с ума и умер. Из сестер Фигнер в партии была Евгения Николаевна (1858—1931), член «Народной воли». О ней см.: Фигнер В. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1929. Т. 5. С. 304—315.

С. 204. *Вера Павловна Рогачева* (ок. 1851—?).— Чтобы избавиться от опеки родителей, вступила в 1873 г. в фиктивный брак с Д. М. Рогачевым. Этот брак перешел в действительный. В 1874 г. поступает работницей на Охтинскую фабрику в Петербурге. При аресте в том же году у нее находят нелегальную литературу. В 1876 г. заключена в Петропавловскую крепость, после «процесса 193-х» выслана в Во-

логодскую губернию. В 1881 г. приняла решение отправиться в Восточную Сибирь к мужу.

С. 207. *...вследствие оплошности полиции.*— 23 февр. 1881 г. лавку на Малой Садовой посетила «санитарная» комиссия во главе с генералом К. О. Мравинским. При поверхностном осмотре следы подкопа обнаружены не были, а производить обыск, не имея особого разрешения, Мравинский не решился, за что впоследствии и был предан полевому суду.

С. 210. *Г—ч.*— Короленко вспоминает об И. А. Гуревиче (1860—1924), сосланном в Сибирь в 1881 г., так как при обыске у него были найдены прокламации исполнительного комитета «Народной воли». Подробнее о нем см.: Рощевская Л. П. И. А. Гуревич в тобольской ссылке (В кн.: Ссылка и каторга в Сибири. Новосибирск, 1975. С. 177—190).

С. 212. *...А-ва...*— Короленко вспоминает В. П. Арцыбушева (1857—1917), одного из организаторов газеты «Молодая Россия», сосланного в 1880 г. в Сибирь.

С. 216. *...19 сентября...*— В действительности 19 авг.

«...На пол падают, гремят».— Далее следовали такие строки:

За мной закрылись двери,
Застонал, звеня, замок...
Грязно, душно, стены серы...
Мир — тюрьма... Я одинок...

А в груди так много силы,
Есть чем жить, страдать, любить...
Но на дне тюрьмы-могилы
Все приходится сложить...

Страшно... Светлые мечтанья
Вольной юности моей
И святые упованья
В силу гордую идей

Смолкли все и в миг единый
Улеглись в душе на дне...
Божий мир сошелся клином,
Только свету, что в окне!

Впервые опубликовано: Полн. посм. собр. Т. 5. С. 188.

С. 224. *Сашка-инженер* — кличка Ф. Н. Юрковского (1851—1896), который совместно с Е. И. Россиковой 3 июня 1879 г. произвел экспроприацию более миллиона рублей на революционные цели из херсонского казначейства. Был приговорен к каторге на двадцать лет. В 1881 г. на Каре принимал участие в неудачном массовом побеге, за

что срок каторги был увеличен еще на десять лет. Участвовал в убийстве подозреваемого в предательстве нечаевца Успенского, после чего был переведен в Петропавловскую крепость, а затем в Шлиссельбург, где и умер.

С. 228. *...в рассказе об «Убивце».*— Рассказ Короленко «Убивец» был написан в 1882 г., опубликован в журнале «Северный вестник» (1885. № 1).

...приехали в Красноярск...— Подробнее об этом см.: Владимиров Е. Короленко в Красноярске (Енисей. 1969. № 4. С. 103—107).

С. 230. *...политический процесс (долгушинцев).*— В 1874 г. состоялся один из первых процессов пропагандистов-народников, так называемый «процесс долгушинцев», всего привлекалось 12 человек. Под руководством А. В. Долгушина члены кружка составили прокламации «К интеллигенции», «К русскому народу», «Как должно жить по закону правды и природы» и распространяли их в различных слоях общества. Несмотря на то, что эти прокламации не вызывали никаких волнений ни среди крестьян, ни среди рабочих, главным обвиняемым был вынесен суровый приговор: А. В. Долгушин, Л. А. Дмоховский были приговорены к каторжным работам в крепости на десять лет, И. И. Папин и Н. А. Плотников — к каторжным работам на заводах на пять лет, Д. И. Гамов — к каторжным работам в крепости на восемь лет.

С. 234. *С. Н. Южаков* (1849—1910) — социолог, публицист, экономист. Короленко написал о нем очерк «Сергей Николаевич Южаков» (ПСС (1914). Т. 2. С. 311—323).

С. 237. *...убежал Малавский. Ему помогли несколько человек с воли...*— Побег В. Е. Малавского (1853—1886) был организован дочерью енисейского прокурора С. Долгушиной совместно с Ю. Колотиловой и А. Цитович. Подробнее об этом см. статью В. М. Андреева в кн.: Ссылка и каторга в Сибири. С. 200—201.

С. 240. *Михаил Петрович Сажин* (Арман Росс, 1845—1934) — участник движения 60-х гг., в 1869 г. бежал за границу. Организовал русскую колонию в Цюрихе, а также типографию, где печатал сочинения Бакунина. Член I Интернационала и участник Парижской коммуны. В 1876 г. при возвращении в Россию был арестован, судился по «процессу 193-х». В 1881 г., после окончания срока каторги, был отправлен на поселение в Сибирь, где провел около шестнадцати лет. В 1904 г. Короленко предложил М. П. Сажину заведовать хозяйственной частью журнала «Русское богатство», и до 1916 г. Сажин занимал эту должность. Во время работы над «Историей

моего современника» Короленко много раз обращался к нему с просьбой уточнить факты, события, фамилии. Сажин опубликовал свои воспоминания о совместном с Короленко пребывании в Иркутской тюрьме (С а ж и н М. П. Знакомство с В. Г. Короленко. М., 1928).

С. 241. *...бывший артиллерийский офицер Рогачев... автор «Записок пропагандиста».*— Д. М. Рогачев (1851—1884) окончил военную гимназию и артиллерийское училище. Уйдя в отставку в чине поручика, в 1872 г. поступил в Петербургский технологический институт и принял активное участие в студенческом движении. Привлекался по «процессу 193-х». Лишен всех прав состояния и сослан на десять лет в Сибирь. Умер от воспаления легких в тюрьме Карийской каторги. Подробнее о нем см.: И т е н б е р г Б. Дмитрий Рогачев, революционер-народник. М., 1960; Б а з а н о в В. Г. Д. М. Рогачев — «особенный человек» // Рус. литература. 1978. № 4. С. 117—135.

Лев Тихомиров в период своего обращения к Каткову...—Л. А. Тихомиров (1852—1923), член исполнительного комитета «Народной воли», автор ряда программных народовольческих документов и прокламаций, редактор «Вестника „Народной воли“» (1883—1886). В 1888 г. он написал брошюру «Почему я перестал быть революционером», где отказался от своих взглядов, вернулся в Россию, сотрудничал у Каткова и в других консервативных изданиях, выступая, по его словам, с позиций «монархиста церковного направления». Подробнее о нем см.: Ф и г н е р В. Полн. собр. соч.: В 5 т. М., 1928. Т. 5. С. 282—299.

С. 243. *...нелегальную «Сказку о четырех братьях».*— Это произведение, точное название которого «Где лучше? Сказка о четырех братьях и их приключениях», написал Л. А. Тихомиров.

С. 244. *...Порфирий Войнаральский и Сергей Филиппович Ковалик.*— П. И. Войнаральский (1844—1898) — мировой судья, богатый помещик; отдал свое состояние на нужды народнического движения. В ряде районов России на его средства были организованы сапожные и столярные мастерские, которые должны были служить «очагами революции». Подпольная типография И. Н. Мышкина, организованная с помощью Войнаральского, снабжала эти мастерские нелегальной литературой. По «процессу 193-х» был осужден на десять лет каторги. Выйдя на поселение, заведовал образцовой казенной сельскохозяйственной фермой в Якутске и издал ряд научных статей. Его основной труд «Приполярное земледелие» (Сельское хозяйство и лесоводство. 1897. № 7) получил высокую оценку специалистов. С. Ф. Ко-

валик (1846—1926) — мировой судья в Черниговской губернии. В 1872 г. оставил земскую службу, приехал в Петербург и отдался революционной деятельности. Объездив несколько губерний, организовал более десяти революционных кружков. По «процессу 193-х» осужден на десять лет каторги. Под руководством С. Перовской было предпринято несколько попыток освобождения Ковалика и Войнаральского. Об одной из них М. Р. Попов вспоминает следующее: «Баранников в форме жандармского офицера потребовал от унтер-офицеров, сопровождавших Войнаральского, чтобы они остановились. Те, ничего не подозревая, повиновались. Баранников выстрелил и ранил одного из них. Другой унтер-офицер, очевидно, понял, в чем дело, вставил конец своей шашки в кольцо кандалов Войнаральского, чтоб тем предупредить попытку последнего выскочить из телеги, и крикнул ямщику: «Пошел!» Квятковский забежал вперед и выстрелил в лошадей, надеясь, что, попав в голову лошади, он свалит ее с ног и тем задержит экипаж. Но, очевидно, Квятковскому не удалось попасть в голову, а несколько выстрелов в мягкие части лишь разгорячили лошадей, и они бешено помчались. Догнать их было невозможно, и пришлось отказаться от дальнейших попыток» (Попов М. Р. Из моего революционного прошлого // Былое. 1907. № 7. С. 252). По воспоминаниям участников этих событий, Фомин был арестован на вокзале в Харькове.

С. 245. *Ипполит Никитич Мышкин.*— В первоначальном варианте книги главы, посвященной И. Н. Мышкину (1848—1885), не было. Над его биографией, предназначенной для второго тома «Узников Шлиссельбурга», Короленко работал в 1907—1908 гг., пользуясь материалами, опубликованными в журнале «Былое» (1906. № 2. № 6—8), и сведениями, сообщаемыми ему людьми, лично знавшими Мышкина (И. С. Джабадари, М. Р. Поповым, Л. Г. Зарудневой). Часть написанной в 1908 г. биографии Короленко включил в эту главу, часть неиспользованных писателем материалов опубликовал Н. Митрофанов (Дон. 1967. № 9. С. 170—189).

...Брандес... говорит...— В главе «Революция во Франции» многотомного труда «Главные течения в литературе XIX века» датский критик и публицист Г. Брандес (1842—1927) пишет: «Еще во время директории, в ту эпоху, когда проявлялись уже первые следы реакционного движения в низших слоях населения, встречались, по рассказам современников, в числе собрания лица, заболевавшие нервными припадками при одном слове «священник»...» (Брандес Г. Собр. соч.: в 20 т. СПб., 1906—1914. 2 изд. Т. 7. С. 43).

С. 245—246. *...Тургенев... говорил... Кравчинскому...*— Эти слова Тургенев говорил Кропоткину (Кропоткин П. А. Записки революционера. Ч. 6. Гл. 5).

С. 246. *...в школе кантонистов... переведен в Межевой институт...*— Об этом в «Заявлении товарищу обер-прокурору Сената В. А. Желеховскому» Мышкин писал: «Вследствие бедности моих родителей я с десятилетнего возраста был помещен в одно из училищ военного ведомства, которые тогда только были сформированы из бывших баталионов военных кантонистов... не принадлежа к привилегированным сословиям, я не имел права на перевод в среднее учебное заведение; единственное, чего я мог добиться, это быть переведенным из провинциального училища, где были только писарские классы, в Петербургское (также низшее), где воспитанники готовились к другим профессиям. Я поступил в учительский класс... И вдруг... от начальства вышло распоряжение об изгнании из учительского класса детей непривилегированных сословий... Некоторые из моих товарищей вышли немедленно на службу в писаря, а другие, в том числе и я, остались на год еще в школе, продолжая курс уже не в учительском, а в другом отделении (топографском)» (Революционное народничество 70-х годов XIX в. Т. 1. М., 1964. С. 183—185).

В рукописной биографии Мышкина Короленко так писал об этом периоде: «В школе его застало не только предчувствие, но и начало реформ. Уже в 1856 г. (т. е. когда Мышкину было 8 лет) уничтожена обязательная крепостная принадлежность кантонистов к военному ведомству. В 1858 г. «школы кантонистов» преобразованы в особые училища военного ведомства, с другим характером, а в 1866 и 1868 гг. они превратились в военные прогимназии. Последнее преобразование совершилось, очевидно, уже по окончанию Мышкиным курса,— первые совпали приблизительно с началом его учения, которое таким образом почти все прошло в период борьбы старых и новых начал, в период неустойчивости и ломки 〈...〉

«Новые идеи» о различных формах жизни и воспитания носились в воздухе, проникали в институты, корпуса и казармы. Новое становилось рядом со старым, а это, конечно, наиболее благоприятная почва для зарождения и развития протестантского, оппозиционного настроения. В школах же кантонистов «старое» являлось в формах более грубых и жестоких, чем где бы то ни было, и таким образом смутные, но светлые и радостные ожидания только подчеркивали уродливые формы упорно отстаивающей себя старины. Михаил Родионович Попов, близко знавший Мышкина в последующие периоды его

многострадальной жизни, говорит между прочим, что Мышкин отличался от других товарищей революционеров непосредственностью революционного чувства, «накопившегося всей действительностью его жизни». Без сомнения, «школа кантонистов» даже в период ломки и реформы сыграла в этом выдающуюся роль» (ГБЛ. Ф. 135. I. Оп. 19. Ед. хр. 1161. Л. 5—6).

Кажется, ему пришлось стенографировать процесс нечаевцев... Об этом Мышкин вспоминал: «Иметь в это время в качестве правительственного стенографа два билета на вход в суд, как я имел, читать подлинное дело, быть единственным стенографом, допущенным на заседание, и в то же время сознавать, что я принадлежу к лагерю, враждебному правительству,— нужно было побывать в моей шкуре, чтобы понять то приятное ощущение, которое я испытывал тогда» (См.: Антонов В. С., Ладыженский А. М. Шлиссельбуржцы об Ипполите Мышкине. Прометей. Т. 3. М., 1967. С. 252).

...в лице Ларисы Тимофеевны Зарудневой.— Выдержки из писем Л. Т. Зарудневой к Короленко опубликованы Н. Митрофановым. См.: Науч. зап. Полтавского государственного литературно-мемориального музея В. Г. Короленко. Вып. 1. Полтава, 1961. С. 92.

С. 247. *...выдающегося повстанца Огрызко (в то время уже отпущенного).*— Ю. Огрызко (1827—1890), издатель польской газеты «Слово» в Петербурге, был близок к кружку Чернышевского. В 1863 г. Огрызко являлся уполномоченным польского повстанческого Национального правительства в Петербурге. В 1864 г. арестован, приговорен к смертной казни, замененной двадцатилетней каторгой.

...освобождение Чернышевского стало одной из очередных задач русских революционных партий.— Подробно об этом см.: Итенберг Б. С. Восемь попыток освобождения Н. Г. Чернышевского // Вопросы истории. 1978. № 7.

...Герман Лопатин... в этом же намерении подозревался и Грибоедов...— Г. А. Лопатин, отвечая на вопросы Короленко о Мышкине, писал: «...ездили в Иркутск Грибоедов и Клеменц, чтобы узнать для меня фамилию жившего в Вилюйске при Чернышевском жандарма и знает ли он меня в лицо (вначале при нем держали только таких моих знакомцев), а также добыть подпись нового генерал-губернатора и нового начальника Иркутского жандармского управления». Письма Короленко к Лопатину опубликовал О. А. Сайкин (Сов. архивы. 1972. № 3). Вошли в книгу материалов о Лопатине «Мятежная жизнь», составленную Л. Харченко и А. Винклер (Ставрополь, 1975).

С. 248. *...тургеневским гамлетством.*— Короленко имеет в виду характеристику людей «гамлетовского» типа, данную Тургеневым в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1859). См. также статью Ю. Д. Левина «Русский гамлетизм» (От реализма к романтизму. Л., 1978. С. 214—236).

...когда он (Мышкин.— *Б. А.*) *говорил эту речь, в сенате происходило нечто необычайное.*— Речь Мышкина на суде и описание беспорядков, происшедших в конце речи, см. в кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX века: В 2 т. / Под ред. Б. С. Итенберга. М., 1964. Т. 1. С. 371—392.

С. 249. *...жестокую систему центральных тюрем, устроенных нарочно в Харьковской губернии...*— В 1875 г. по инициативе шефа жандармов Мезенцева в Харьковской губернии были открыты две центральные каторжные тюрьмы — Ново-Белгородская и Ново-Борисоглебская. За пять лет в этих двух центральных тюрьмах было заключено тридцать пять человек, из которых семь сошло с ума и восемь умерло. В 1880 г. по указанию Лорис-Меликова эти тюрьмы были закрыты, а заключенные переведены в Мценскую пересыльную тюрьму.

С. 250. *«Врешь, не вырастет...»* — Л. Дмоховский умер в декабре 1881 г. в Иркутской тюремной больнице от оспы. На похоронах его, по воспоминаниям Виташевского, И. Мышкин произнес речь, которая заканчивалась словами: «...и на почве, орошенной кровью таких, как ты, дорогой товарищ, вырастет дерево народной свободы!», на что присутствовавший священник вскричал: «...нет, нет!.. неправда! не вырастет!» (Виташевский Н. А. В Иркутской тюрьме двадцать пять лет тому назад // Минувшие годы. 1908. № 7. С. 109).

Говорили даже об убийстве в своей собственной среде.— В 1881 г. каторжане Забайкальского острога задумали побег и приступили к рытью подкопа. Нечаевец П. Г. Успенский (1843—1881), принимавший участие в убийстве И. Иванова в Петровской академии, от побега отказался, но работал в подкопе наравне с другими. Подкоп был обнаружен охраной, и его участники, ошибочно подозревая измену, заподозрили Успенского. Его задушили в бане, а затем повесили. См.: Давыдов Ю. В. С. 54—55.

С. 251. *Вся партия содействовала побегу...*— Обстоятельства этого побега Короленко передает с некоторыми неточностями. Подробнее об этом см.: Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. М., 1927. С. 55—119.

За этот побег Мышкина и Минакова перевели в Шлиссельбург-

скую крепость.— Мышкин, Минаков, Долгушин, Юрковский и др. были переведены в Петропавловскую крепость за организацию голодовки в связи со значительными ухудшениями условий содержания заключенных.

Вскоре Минаков нанес удар тюремному доктору.— Об этом см.: Попов М. Р. Борьба за право умереть (конец Минакова и Мышкина). Л., 1931.

С. 253. *...Петром Алексеевым, прославившимся в радикальных кругах яркой речью на процессе 50-ти.*— «Процесс 50-ти» происходил в Петербурге с 21 февр. по 14 марта 1877 г. над членами «Всероссийской социально-революционной организации». В состав ее входили члены «кружка кавказцев» (И. С. Джабадари, М. Н. Чекоидзе, Г. Ф. Зданович и другие), женского кружка, возникшего в Цюрихе (С. И. Бардина, Б. А. Каминская и другие), рабочие П. А. Алексеев, В. Грязнов и другие. Суд приговорил пятнадцать человек к каторге на разные сроки, двух — к ссылке на поселение, остальных — к менее тяжелым наказаниям. В судебном заседании 9 марта было предоставлено слово тем подсудимым, которые отказались от защиты. После С. И. Бардиной и Г. Ф. Здановича речь, ставшую центральным событием процесса, произнес один из авторов устава организации, П. А. Алексеев. Текст этой речи и комментарии к ней см. в кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX века. Т. 1. С. 363—367, 428—430.

Александров... Герасимов (впоследствии в одном из исторических журналов были помещены его воспоминания)...— Д. А. Александров (ок. 1850—1925) и В. Г. Герасимов (1852—1892) — рабочие, под влиянием студента Петербургского университета В. М. Дьякова приобщились к революционной деятельности, вели агитацию на фабрике Чешера в Петербурге. В 1875 г. арестованы и приговорены первый к десяти, второй к девяти годам каторги. Воспоминания В. Г. Герасимова были написаны в Сибири по просьбе В. П. Рогачевой в 1881 г. Первоначально опубликованы под названием «Питомец воспитательного дома» в журнале «Былое» (1906. № 6). Затем вышли отдельным изданием под названием «Жизнь русского человека полвека тому назад. Записки рабочего-социалиста Василия Герасимова» (М., 1923).

В письме к М. П. Сажину от 14 ноября 1920 г. Короленко спрашивал: «Не можете ли сообщить, который из двух названных Вами рабочих — Герасимов или Александров — постоянно был с Мышкиным и изобрел собственную теорию Дарвина («Люди произошли от насекомых, которые жили на особых деревах»). Я говорю о низко-

рослом, широком в кости рабочем, похожем немного на Квазимодо, впрочем довольно неповоротливом» (ГБЛ. Ф. 135. II. Оп. 8. Ед. хр. 40).

С. 255. *В 1878 году разбирался в Одессе процесс о вооруженном сопротивлении Ковальского, который кончился его казнию... В Одессе по этому поводу произошли уличные демонстрации... У нас были представители этого дела: Виташевский... и Кленов...*— И. М. Ковальский (1850—1878) в 1876 г. организовал революционный кружок в Одессе, в который вошли В. С. Иллич-Свитыч (1853—1916), позднее опубликовавший свои воспоминания «Мое знакомство с И. М. Ковальским» (Былое. 1906. № 8), Н. А. Виташевский (1857—1918), также написавший воспоминания о вооруженном сопротивлении И. М. Ковальского (Былое. 1906. № 2), рабочий В. Д. Кленов (ок. 1856—1912). В 1878 г. при аресте в типографии, где ими было напечатано несколько прокламаций, Ковальский и Виташевский оказали вооруженное сопротивление. Виташевский приговорен к шести годам каторжных работ, Кленов — к четырем. Ковальский расстрелян 2 авг. 1878 г. После объявления смертного приговора Ковальскому члены кружка С. Ф. Чубарева (1845—1879) организовали в Одессе демонстрацию протеста.

...о сопротивлении в Саперном переулке, при котором один человек (Лубкин) застрелился... У нас было два представителя этого дела: Бух и Цукерман.— Во время ареста при печатании третьего номера «Народной воли» в типографии в Саперном переулке организатор типографии Н. К. Бух (1853 — после 1934) оказал вооруженное сопротивление, Л. И. Цукерман (1852—1887) был арестован, С. Н. Лубкин (1857—1880) застрелился. По «процессу 16-ти», состоявшемуся в октябре 1880 г., Бух приговорен к каторжным работам на пятнадцать лет, Цукерман — на шесть. См.: Бух Н. К. Первая типография «Народной воли» // Каторга и ссылка. 1929. № 8/9.

С. 256. *В 1881 году был убит в Харькове губернатор Кропоткин... Исполнителем убийства был еврей Гольденберг... Гольденберг раскаялся и дал подробные показания...*— Г. Д. Гольденберг (1855—1880) 9 февр. 1879 г. смертельно ранил губернатора Д. Н. Кропоткина. Будучи арестован, дал подробные показания, уверовав в возможность «взаимных уступок» и примирения между правительством и революционерами. В 1880 г. повесился в Петропавловской крепости.

С. 257. *Одного из участников гольденберговского дела...*— В покушении на Кропоткина принимал участие Л. А. Кобыляньский

(1857—1886), в 1879 г. предлагавший свою кандидатуру для убийства царя и осужденный по «процессу 16-ти» на двадцать лет каторги.

...Пекарский, Ионов, Серяков...— Э. К. Пекарский (1858—1934) — почетный член Академии наук СССР. Участвовал в «хождении в народ», в 1879 г. был арестован и сослан в Якутию, где совместно с В. М. Ионовым (1851—1922), арестованным в 1876 г. за пропаганду среди рабочих, составил словарь якутского языка. А. И. Серяков (1855—?) совместно с Герасимовым и Александровым вел пропаганду на фабрике Чешера. Приговорен к шести годам каторги.

А. А. Быдарин (ок. 1850 — ?) — учитель в селе Юрьевке Павлоградского уезда. Знакомил своих учеников с запрещенной литературой, создал кружок местной молодежи, в котором читались нелегальные издания, вел пропаганду среди крестьян. В 1877 г. приговорен к пяти годам каторги.

С. 258. *...Зунделевич... рассказывал о знаменитом Липецком съезде, на котором было решено цареубийство.*— Съезд части членов «Земли и воли» состоялся 15—17 июня 1879 г. в связи с обострением разногласий в организации о дальнейшем направлении деятельности. Весной этого года группа землевольцев (Михайлов, Квятковский, Зунделевич, Соловьев и др.) поставила вопрос об убийстве Александра II и решила вынести его на обсуждение совета организации, так как террор не входил в программу партии. На заседании Совета сторонники социалистической агитации в деревне («деревенщики») выступили против цареубийства и политического террора. Тогда Михайлов, Квятковский, Морозов, Тихомиров и другие решили собраться в Липецке для того, чтобы выработать тактику поведения на предстоящем общем съезде партии в Воронеже. Участники липецкого съезда признали необходимость политической борьбы с самодержавием и объявили себя исполнительным комитетом социально-революционной партии. Видный член «Земли и воли» и «Народной воли» А. И. Зунделевич (1854—1923), арестованный в 1879 г. и приговоренный к бессрочной каторге, на съездах не присутствовал, но был хорошо знаком с решениями съездов.

С. 259. *...объяснявшие суду устройство мин, которыми был убит Александр II.*— Н. И. Кибальчич (1853—1881) подробно объяснял на суде устройство мины и свойства созданных им взрывчатых веществ, так как при взрыве в Зимнем дворце погибло более пятидесяти человек, что нанесло большой моральный урон партии «Народной воли». Поэтому необходимо было доказать, что сконструированная

мина не обладает очень сильным разрушительным действием и от ее взрыва погибнет только царский экипаж и конвой.

...на съезде было прочитано прощальное письмо Валериана Осинского... напечатанное впоследствии в одном из номеров «Земли и воли». Александр Михайлов произнес длинный обвинительный акт против Александра II...— Письмо В. Осинского, в котором он писал: «Дай же вам Бог, братья, всякого успеха! Это единственное наше желание перед смертью. А что вы умрете, и, быть может, очень скоро, и умрете с не меньшей беззаветностью, чем мы, в этом мы ничуть не сомневаемся. Наше дело не может никогда погибнуть — эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти»,— было прочитано на съезде в Воронеже (18—21 июня 1879 г.). Съезд в Воронеже вынес компромиссную резолюцию, в одном из вариантов которой было записано: «Так как в последнее время репрессалии правительства дошли до своего апогея, съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизацион⟨ной⟩ группе в см⟨ысле⟩ борьбы с прав⟨ительством⟩, продолжая в то же время и работу в народе в смысле посел⟨ений⟩ и народной дезор⟨ганизации⟩». В результате этого организация раскололась на две партии: террористическую («Народная воля») и народническую («Черный передел»). А. Михайлов произнес свою речь на липецком съезде. Отрывок из этой речи Короленко цитирует по воспоминаниям Н. А. Морозова (см.: Морозов Н. А. Повести моей жизни: В 2 т. М., 1961. Т. 2. С. 425).

С. 260. *...принудить...*— В одном из вариантов Короленко писал: «...Мне показалось, что желание «принудить» было импровизацией Зунделевича. Нужен был ответ на рогачевское «а если», и члену Липецкого съезда оставался только один ответ. Иначе пришлось бы признать, что удар, на целое поколение определивший усиление русской реакции, был нанесен по инерции слепо растущего террористического настроения, куда реакция стихийно загоняла усилия всех оппозиционно настроенных классов общества» (Храбровицкий. С. 1006).

...совершенно слепо.— В ранней рукописи глава имеет следующее окончание: «После этого народ не просыпался еще более четверти столетия, и для того, чтобы он проснулся, нужны были экстренные старания двух царей, несчастная война и стечение необычных обстоятельств» (Храбровицкий. С. 1006).

С. 261. *Анучин был серьезный военный писатель.*— Д. Г. Анучин (1833—1900) написал исследование по истории Кавказа, истории пугачевского восстания.

Ядринцев, издававший «Восточное обозрение» в Петербурге, издатели газеты «Сибирь», Загоскин и Нестеров...— Н. М. Ядринцев (1842—1894) с 1882 по 1891 г. был редактором еженедельной газеты «Восточное обозрение». М. В. Загоскин (1830—1904) с 1881 по 1887 г. редактировал газету «Сибирь», издателем которой с 1878 по 1883 г. был А. П. Нестеров (1838—1901).

С. 263. *Сахалинцы сделали засаду...*— В действительности дело обстояло так: один из организаторов «Южно-Русского рабочего союза», Н. П. Щедрин, избил жандармского полковника Соловьева за оскорбление Е. Ковальской и Е. Богомолец и был приговорен к смертной казни, замененной отправкой на Кару.

Легкий — Е. Г. Легкий (1861—1882), член харьковского революционного кружка, 9 июня 1882 г. в иркутской тюрьме убил надзирателя и был казнен. В письме М. П. Сажину от 27 октября 1920 г. Короленко писал о нем: «Легкого я хорошо помню. Кажется, у него была какая-то трагедия с женой, следовавшей за ним добровольно, и чуть ли не из-за этого Легкий решился на такой отчаянный поступок. Впрочем, это я только из праздного любопытства: не совсем удобно даже теперь говорить о таких вещах: Легкая, может быть, еще жива» (ГБЛ. Ф. 135. II. Оп. 8. Ед. хр. 39).

С. 264. *Елизавета Николаевна Южакова* (1852—1883) обвинялась по делу об ограблении херсонского казначейства и по делу о покушении на жизнь Гоштофа, сослана в Якутскую область. В 1883 г. убита своим мужем И. А. Бачиным (1852—1883).

...Махайского, написавшего первую книгу в этом смысле...— Я. К. Махайский (псевдоним — А. Вольский, 1867—1926) в 1890-х гг. в якутской ссылке написал книгу «Умственный рабочий», в которой доказывал, что интеллигенция является паразитическим классом, живет за счет труда рабочих и готовит себе грядущее мировое господство.

С. 267. *...в романе Сенкевича «Семья Поланецких»...*— В этом романе, написанном в 1895 г., Сенкевич создает образ практического дельца, чуждого всяким высшим порывам.

...не забывшие России ее венгерского похода...— Речь идет о военной помощи императору Францу Иосифу в 1849 г. для подавления венгерской революции.

...в свои воспоминания о Чернышевском.— Короленко имеет в виду «Воспоминания о Чернышевском», написанные им в 1890 г. под впечатлением знакомства с Чернышевским и изданные в России в 1904 г.

С. 268. *...два шпиона, Азеф и Татаров, стали в революционных кругах уличать друг друга.*— Е. Ф. Азеф (1869—1918) — член партии социал-революционеров, с 1903 г. стоял во главе боевой организации. Участвовал в ряде крупных террористических актов, будучи одновременно осведомителем и провокатором. Выдал ряд боевых организаций, нелегальных типографий, многих выдающихся революционеров. В замечаниях Н. С. Тютчева к «Истории моего современника» говорится: «Татаров и Азеф лично никогда не встречались. Татаров действительно уже по возвращении из-за границы заявил, что Азеф — шпион и что его выдачу ошибочно приписывают ему, Татарову. В признании Татарова шпионом Азеф роли не играл».

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

С. 271. *...в рассказе «Черкес»...*— Этот рассказ впервые был опубликован в 1892 г.

С. 274. *...одну из этих записных книжек...*— См. примеч. к с. 197.

С. 276. *Буриот* — Н. П. Буриот (ок. 1851 — ?), арестован в 1875 г. в Петербурге во время демонстрации протеста после объявления приговора членам кружка Долгушина. Как и Короленко, отказался от присяги Александру III.

С. 277. *Здесь почтовая гоньба представляет остаток старинных «ямов», и ямщики состояли тогда на «государевом жалованье».*— Об этом Короленко подробно писал в очерке «Государевы ямщики» (1900—1901).

С. 279. *...поляки задумали новое восстание в Сибири...*— Кругобайкальское вооруженное восстание польских ссыльных началось 24 июня 1866 г. Восставшие (около 700 человек) обезоружили конвойные отряды, но против них власти двинули войска и артиллерию, и 28 июня восстание было подавлено. Подробнее об этом см.: Митина Н. П. Во глубине сибирских руд. М., 1966.

С. 280. *Ананий Семенович Орлов* (ок. 1851 — ок. 1887) — за распространение нелегальной литературы в 1878 г. приговорен к высылке в Сибирь. Отказался от присяги Александру III и был сослан в Якутскую область.

С. 283. *...экипаж «Жаннеты» разыскался.*— Судно «Жаннета» под началом Джорджа Де-Лонга в начале сентября 1879 г. вмерзло во льды близ острова Геральда и дрейфовало 21 месяц. В июне 1881 г. «Жаннета» затонула после сильного сжатия льдов.

Экипаж сначала дрейфовал на льдине, а затем на двух шлюпках подошел к дельте Лены. Одна группа (19 человек во главе с Де-Лонгом) погибла от голода, другая была спасена эвенками.

С. 284. *Николай Васильевич Васильев* (ок. 1845—1888) — принимал участие в студенческих волнениях в 1861 г., создал кружок, возможно представлявший собой одну из «пятерок» общества «Земля и воля». В 1862 г. написал прокламацию «Граждане!», в которой призывал к восстанию и убийству царя. В 1863 г. приговорен к смертной казни, замененной десятилетней каторгой.

С. 284. *Осип Яковлевич Вайнштейн* — И. Я. Вайнштейн (ок. 1850 — ?) в 1877 г. привлекался по делу житомирского революционного кружка. В 1878 г. за сношения с домом предварительного заключения арестован вторично и помещен в Петропавловскую крепость. В марте 1880 г. сослан в Амгу.

С. 290. *...«джякут»*.— См. статью Г. И. Убрятовой «Якутские слова в произведениях Короленко» (Сибирские страницы. С. 9—33).

С. 298. *...Татьяне Андреевне Афанасьевой... у которой учил детей...*— В своих воспоминаниях о Короленко Н. С. Тютчев писал о Т. А. Афанасьевой (ок. 1850 — ?): «С этого времени и до самой революции 1917 года Т. Андр. была неизменным другом и вполне своим человеком среди многочисленных генераций политических ссыльных...» (Короленко в восп. С. 83). О том, что Короленко был учителем в Амге, см.: «Мои воспоминания» Т. А. Афанасьевой и письма Короленко к ней в кн.: В. Г. Короленко в Амгинской ссылке. Якутск, 1947.

С. 310. *Ромась* — М. А. Ромась (1859—1920), за участие в революционном движении был выслан в Восточную Сибирь. Отказался от присяги Александру III и был сослан в Якутскую область. В 1884 г. выехал в Киев, а затем вместе с Горьким поселился в селе Красновидове. Его образ с большой симпатией воссоздан Горьким в «Моих университетах».

Павлов — А. П. Павлов (ок. 1858—1883), принимал участие в «Северном рабочем союзе». Будучи арестован и заключен в Вышневолоцкую тюрьму, отказался от присяги Александру III. Повесился 3 мая 1883 г.

...Халтурин закончил жизнь виселицей после убийства военного прокурора в Одессе.— 18 марта 1882 г. Халтурин и Желваков убили Стрельникова, а через четыре дня оба они были повешены.

С. 313. *Осип Васильевич Аптекман* (1849—1926) — участник «хождения в народ», с 1878 г. член партии «Земля и воля», после

раскола которой становится одним из основателей «Черного передела». В 1880 г. выслан в Якутию. В 1893 г. участвовал в создании организации «Народное право». Автор книги «Общество «Земля и воля» 70-х годов» (Пг., 1924). Опубликовал воспоминания о встречах с Короленко (Короленко в восп. С. 52—81).

С. 315. *Петр Давыдович Баллод* (1839—1918) — создал тайную типографию, в которой издал прокламацию П. С. Мошкалова «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» и собирался издать статью Писарева на ту же тему. В 1862 г. арестован и осужден на каторгу и вечное поселение в Сибири. Несколько лет отбывал каторгу вместе с Чернышевским. После выхода на поселение служил на промыслах Ленского Золотопромышленного товарищества, а затем встал во главе золотопромышленного дела Ниманского промысла на Амуре.

С. 317. *...прототипом к его Рахметову.*— При создании образа Рахметова Н. Г. Чернышевский воспользовался отдельными чертами П. А. Бахметьева. Точку зрения Короленко о том, что П. Д. Баллод послужил прототипом, развил и аргументировал В. Свирский в книге «Откуда вы, герои книг?» (М., 1972. С. 117—163). То, что Н. Г. Чернышевский не был знаком с Баллодом до Сибири, не позволяет окончательно принять эту гипотезу. Подробнее об этом см. примечания С. А. Рейсера в кн.: Чернышевский Н. Г. Что делать?: Лит. памятники. Л., 1975. С. 848—849.

...прокламации «Великоросс», довольно свирепой...— В 1861 г. в Петербурге вышли три подпольных печатных листка «Великорусс». Составители призывали к борьбе с самодержавием, критиковали крестьянскую реформу, требовали передачи всей земли крестьянам. Возможно, Короленко имеет в виду прокламацию «Молодая Россия», в которой автор ее Зайчневский писал: «...бейте императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на нас, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам».

...о деле Писарева в «Былом».— Короленко вспоминает статью М. Лемке в журнале «Былое» (1906. № 2).

С. 318. *...статье о Шедо-Ферроти...*— Шедо-Ферроти — псевдоним барона Фиркса (1812—1872). Им написаны и изданы на русском и французском языках две брошюры, направленные против Герцена и его деятельности. В 1862 г. Писарев написал статью в защиту Герцена и против Шедо-Ферроти, за что был осужден и провел четыре года в Петропавловской крепости.

...Писарев... считал сообразно со своим достоинством подать такое прошение...— Д. И. Писарев, находясь в Петропавловской крепости, подал петербургскому градоначальнику А. А. Суворову (1804—1882) прошение, в котором писал: «Я знаю, что виноват, и несу с полной покорностью заслуженное наказание... не закрывайте раскаявшемуся преступнику единственной дороги к полному исправлению и к новой жизни, разумной, полезной и скромной». См. статью Н. Быховского «Д. И. Писарев в Петропавловской крепости» в кн: Литературное наследство. М., 1936. Т. 25—26. С. 664.

С. 319. *Н. С. Тютчев* (1856—1924) — видный член «Земли и воли». Организовал стачку на Новой бумагопрядильне в Петербурге в 1878 г. Был сослан в Сибирь и в 1881 г. бежал вместе с Линевым и Брешко-Брешковской из Баргузина, за что сослан на пять лет в Якутию. По возвращении в Россию вместе с Натансоном в 1893 г. был организатором партии «Народное право». Н. С. Тютчев написал воспоминания о Короленко (Короленко в восп. С. 82—89), а также замечания к «Истории моего современника», которые использованы в этом комментарии.

К. Я. Шамарин (1854—1902) — за распространение нелегальной литературы судился по «процессу 193-х» и был выслан в Баргузин. В 1885 г вернулся в Центральную Россию и позднее вновь был арестован по делу партии «Народное право».

Е К. Брешко-Брешковская (1843 — после 1929)—одна из главных деятельниц «Киевской коммуны», участница «хождения в народ». По «процессу 193-х» приговорена к пяти годам каторги. После неудачного побега ей увеличили срок каторги еще на четыре года. В 1896 г. она вернулась в Россию, приняла участие в основании «Боевой организации», но была выдана Азефом и снова осуждена.

С. 320. *В. Э. Кизер* (ок. 1860 — ?) и *А. И. Доллер* (1862—1893) — арестованы в 1881 г. за участие в «Южно-Русском союзе рабочих» и сосланы в Якутию.

С. 321. *Эпопея Ивана Логиновича Линева.*— И. Л. Линев (ок. 1842—1885), окончив Сельскохозяйственную академию, в 1875 г. вместе с Мачтетом отправился в Северную Америку с намерением организовать коммуну. Вернувшись в Россию с агитационными целями, арендовал ферму, в 1877 г. арестован за пропаганду и проживание по чужому паспорту. Выслан в Восточную Сибирь, откуда бежал, был пойман и выслан в Якутию на четыре года. И. Линев — прототип Нилова из повести Короленко «Без языка».

С. 324. *...писатель Мачтет.*— Г. А. Мачтет (1852—1901),

в 1872 г. выехал в Америку, где некоторое время жил в земледельческой коммуне вместе с А. К. Маликовым. Вернувшись в Россию, принял участие в революционном движении, в частности в создании плана побега С. Ковалика и П. Войнаральского. В 1876 г. арестован. Пробыл в одиночном заключении в Петропавловской крепости полтора года. Затем сослан в Архангельскую губернию, из которой за побег переведен в Тюкалинск. В 1884 г. возвращается в Центральную Россию и отдается литературной работе. Короленко вспоминает два произведения Мачтета из американской жизни: очерк «Под американским судом» и рассказ «Два мира».

С. 333. *Немврод* — легендарный основатель Вавилонского царства. В Библии о нем говорится как об отважном охотнике.

С. 339. *От Перми 7000 верст до Иркутска...*— В действительности 3740 верст.

С. 340. *...он* (В. Н. Григорьев.— *Б. А.*) *успел написать замечательную книгу...*— Короленко имеет в виду книгу «Кустарное замочно-ножевое производство Павловского района» (1881), которую он использовал при создании «Павловских очерков» (1889—1890). См.: Бялый Г. А. В. Г. Короленко. Л., 1983. С. 117.

С. 345. *...якутский эпос привезен в эти холодные страны с юга...*— Якутский эпос возник в глубокой древности, когда предки якутов жили в соседстве с тюрко-монгольскими народами. См.: Окладников А. П. Якутский эпос (олонхо) и его связь с югом: История Якутской АССР. М.; Л., 1955.

С. 347. *...Марка Андреевича Натансона и его жену.*— М. А. Натансон (1850—1919) — один из организаторов общества «чайковцев» и один из создателей и руководителей «Земли и воли». Арестован в 1878 г. и выслан в Якутию. Вернувшись, участвовал в основании партии «Народное право», вновь арестован и выслан в Восточную Сибирь на пять лет. Вторая жена Натансона — В. И. Александрова (1852—1924) — в 1870 г. входила в Цюрихе в кружок В. Фигнер. В 1875 г. участвовала в выработке устава «Всероссийской социально-революционной организации». В 1875 г. арестована и выслана в Иркутскую губернию. В 1882 г. добровольно последовала за мужем в Якутию.

О. А. Натансон (урожд. Шлейснер, 1850—1881) — входила в кружок «чайковцев». В 1872 г. последовала за мужем в ссылку. В 1876 г. вступила в общество «Земля и воля». В 1878 г. арестована и в 1880 приговорена к каторжным работам на шесть лет. В тюрьме заболела и умерла от чахотки.

С. 352. *Н. А. Смецкая* (1851—1905) — училась в Цюрихе и принадлежала к кружку бакунистов. Участница «хождения в народ», вела пропаганду среди крестьян Самарской губернии, в 1875 г. арестована и выслана в Ветлугу, а после неудачного побега — в Сибирь. В 1879 г. вновь пыталась бежать. Сослана в Якутию. Умерла в психиатрической больнице.

С. 353. *А. И. Шиманьский* (1852—1916) — польский писатель. Инициатор создания тайной организации с центром в Варшаве. В 1879 г. арестован и выслан в Сибирь, где жил до 1885 г. В 1890 г. опубликовал два тома очерков из сибирской жизни, которые были хорошо встречены читателями. Писал также стихи и новеллы. В последние годы жизни работал в педагогическом издательстве.

...Ширяев, брат погибшего в Шлиссельбурге...— П. Г. Ширяев (ок. 1853 — ок. 1899) — член народнического кружка в Саратове. В ссылке стал представителем «Красного Креста» в Якутске. Его брат, С. Г. Ширяев (1856—1881), был членом исполнительного комитета «Народной воли», организовал производство динамита и участвовал в покушении на Александра II 19 нояб. 1879 г. Приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости.

С. 354. *...переведенный в «Отечественных записках» рассказ «Сруль из Любартова»...*— Один из наиболее популярных рассказов Шиманьского. На русском языке был напечатан в журнале «Образование» (1905. № 1).

С. 355. *...фельетон об арзамасских «Божиих домах».*— Очерк «Божий городок» впервые опубликован в газете «Рус. ведомости» (1894. № 215).

...Л. Козловский, посвятивший Шиманскому посмертную статью в «Русских ведомостях»...— Статья Л. Козловского «Памяти Адама Шимановского» (Рус. ведомости. 1916. 29 марта).

С. 362. *А. Ф. Говорюхин* (ок. 1859 — ?) и Минаков в 1879 г. покушались на жизнь члена одесского нелегального кружка «Самообразование» (в котором состояли сами) Н. Гоштофа, подозреваемого в предательстве.

С. 366. *Он надувал видных революционных деятелей, как Бакунин и Огарев.*— В 1869 г. в Швейцарии С. Г. Нечаев встретился с Бакуниным и Огаревым и расположил их в свою пользу. Вместе с ними развернул пропагандистскую кампанию на средства, выданные Огаревым из фонда для субсидирования революционной деятельности. В Россию Нечаев вернулся с выданным ему Баку-

ниным мандатом никогда не существовавшего «Русского отдела всемирного революционного союза». Опасаясь ареста, в 1869 г. снова выехал в Швейцарию и совместно с Огаревым издавал «Колокол». В 1870 г. Огарев и Бакунин порвали отношения с Нечаевым.

...эмиграция хотя и протестовала, но, по-видимому, недостаточно энергично.— 14 авг. 1872 г. Нечаев был арестован в Цюрихе и выдан русскому правительству как уголовный преступник. Русские эмигранты в Цюрихе выпустили брошюру на немецком языке, разъясняющую смысл деятельности Нечаева, устроили несколько митингов, обратились за помощью к рабочим союзам Швейцарии, но все меры успеха не имели.

Переговоры велись через Германа Лопатина.— Г. Лопатин не имел отношения к переговорам исполнительного комитета «Народной воли» с Нечаевым. Они велись через Е. Дубровина, Г. Исаева и А. Филиппова. Подробнее об этом см.: Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М., 1929. С. 257—322.

С. 370. *Орлов уехал еще ранее.*— «Это утверждение есть, однако, одна из ошибок его памяти, столь естественная в воспоминаниях, писанных почти сорок лет спустя. А. С. Орлов, как устанавливается архивными материалами, выехал из якутской ссылки несколько позже Короленко, именно 12 октября 1884 г.» (В. Г. Короленко в Амгинской ссылке. С. 70).

С. 371. *В. П. Зубрилов* (1851—1917) — в 1876 г. из четверых своих братьев, А. И. Дубровина, П. И. Морозова и др. создал нелегальный кружок «Наши» и вел пропаганду среди крестьян Воронежской губернии. В 1879 г. приговорен к четырем годам каторжных работ. Некоторое время жил на поселении в Якутске.

...профессором Богдановичем...— Ф. Г. Богданович (1845—1894) — австрийский подданный, приват-доцент Львовского университета. Еще гимназистом принимал участие в польском восстании 1863 г. В 1878—1879 гг. входил в Киевскую террористическую группу А. Гобста, готовившую покушение на Александра II. В. Серошевский вспомнил, что Богданович «приехал нарочно в Россию, чтобы учить тогдашних террористов искусству приготовления взрывчатых веществ» (Серошевский В. Против волны. М.; Л., 1929. С. 61). После случайного взрыва на его квартире был арестован и приговорен к каторге. Некоторые его черты Короленко придал герою рассказа «Мороз».

С. 377. *...знакомство со скопцами.*— «Дикая, противоестественная восточно-евнушеская секта» (А. Щапов) скопцов была образована

крестьянином Орловской губернии Кондратием Селивановым во второй половине XVIII в.

С. 379. *...гравюру с этикеткой Дациаро.*— И. Х. И. Дациаро — владелец художественных магазинов в Петербурге и Москве.

С. 380. *Толстой... придавал этой легенде известное значение.*— Мысль написать повесть о Федоре Кузьмиче — Александре I — возникла у Толстого еще в 1890 г. Перед тем, как приступить к работе (1905), изучал исторические материалы об Александре I. М. С. Сухотин писал, что «...как бы ни пленяла его (Толстого.— *Б. А.*) эта благодарная для романиста тема, ему пришлось от нее отказаться вследствие ее исторической неправдоподобности». Впервые незаконченная повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» была напечатана в Берлине, а затем, с рядом купюр,— в журнале «Русское богатство» (1912. № 2). За напечатание этого произведения Короленко был предан суду, но оправдан.

С. 382. *...приобрел знакомство с Лянды и его женой, с сестрой его жены Леонардой Левандовской, с Н. В. Аронским...*— С. А. Лянды (1855—1915) арестован в 1878 г. по делу о Варшавской социально-революционной организации и за участие в тюремных беспорядках и вооруженное сопротивление караулу сослан в Сибирь. Ф. Н. Левандовская (ок. 1853 — ?) входила в террористический кружок С. Виттенберга в Николаеве, разгромленный в связи с делом Ковальского в Одессе. Была сослана в Киренский округ, затем в Иркутскую губернию, где вышла замуж за С. А. Лянды. Л. Н. Левандовская (ок. 1863 — ?) была сослана сначала в Архангельскую губернию, затем в Восточную Сибирь. Н. В. Аронский (1860—1929) арестован в 1881 г. и выслан в Сибирь на пять лет.

Г. В. Свистунов (ок. 1856 — ?) — за участие в народнической пропаганде в 1879 г. сослан в Сибирь. *И. Г. Микитьян* (ок. 1850 — ?) — член «Южно-Российского союза рабочих», наборщик в типографии Е. О. Заставского; в 1878 г. арестован и выслан в Восточную Сибирь. *П. Я. Геллис* (ок. 1858 — ?) за пропаганду среди одесских рабочих в 1880 г. сослан в Киренск.

С. 383. *Ю. Пилсудский* (1867—1935) — польский политический деятель. В 1887 г. арестован по обвинению в подготовке покушения на Александра III и сослан в Сибирь. В 1892 г. вошел в Польскую социалистическую партию, создавал террористические группы. В 1918 г. был провозглашен главой Польши, в 1920 г. руководил военными действиями против Советской России. См. посвященную ему главу в кн. М. А. Алданова «Портреты» (Берлин, 1931. С. 5—55), в которой о начале его деятельности говорится следующее: «Пил-

судский принимал участие в кружке виленских революционеров, которому было предложено принять участие в покушении на жизнь Александра Третьего. Хотя Пилсудский был против этого, когда кружок был арестован, его сослали в Сибирь на пять лет» (С. 9—10).

С. 384. *...жена Феликса Кона.*— Х. Г. Кон (урожд. Гринберг, 1857—1942). В 1880 г. стала членом «Народной воли», в 1882 г. арестована, судилась по «процессу 17-ти» и была приговорена к пятнадцати годам каторги, замененной ссылкой на поселение. Ее муж, Ф. Я. Кон (1864—1941), в 1884 г. осужден по делу польской партии «Пролетариат» и приговорен к смертной казни, замененной каторгой. После восьми лет, проведенных на Каре, переведен в Якутскую область.

С. 386. *...памятник и рассказ ямщика произвели на меня особенное впечатление...*— Это впечатление легло в основу одной из сюжетных линий в рассказе Короленко «Убивец» (1882).

С. 388. *...Кобылянский, кавказец Ардасенов...*— К. А Кобыляньский (ок. 1858 — ?) участвовал в пропаганде среди петербургских рабочих, вел рабочий кружок, распространял нелегальную литературу. Привлекался по «делу 137-ми». Был выслан первоначально в Тюкалинск, после неудачной попытки бежать переведен в Якутск. А. Г. Ардасенов (ок. 1855 — ?) — участник революционного кружка, возникшего в Закавказье в 1875 г. В 1876 г. был арестован в Москве по обвинению в пропагандистской деятельности.

С. 389. *На пути к нему лежал Мариинск...*— Мариинск находится за Красноярском.

С. 390. *Другой газетой, также либеральной... руководил Феликс Вадимович Волховской.*— Ф. В. Волховский (1846—1914) — участник кружка «чайковцев», организатор кружков в Одессе и Херсоне. По «процессу 193-х» приговорен в 1878 г. к ссылке в Тобольскую губернию, а затем переведен в Томск. О своей работе в газете Волховский писал: «Для провинциальной прессы я стал работать с тех пор, как попал в Томск, то есть с 1882 года. Приглашенный в литературные обозреватели «Сибирской газеты», я с течением времени стал последовательно ее театральным рецензентом, фельетонистом и наконец принял участие во всех литературных и редакционных работах по изданию, отдавая ей все свое время» (см.: Ямпольский И. Г. К библиографии Ф. В. Волховского // Уч. зап. Ленингр. ун-та. Вып. 74. № 349. 1971. С. 187).

С. 391. *...«Сон Макара» принят.*— Рассказ был напечатан в журнале «Рус. мысль» (1885. № 3).

...познакомился с редактором, Вуколом Михайловичем Лавровым, заметно в нем было купеческое происхождение... Гольцев сразу кидался в глаза лукавством... Был еще третий член редакционной коллегии Ремезов.— В 1879 г. крупный хлеботорговец В. М. Лавров (1852—1912) начинает издавать журнал «Русская мысль», в 1881 г. совместно с С. А. Юрьевым становится его редактором, приглашая на место ответственного секретаря профессора Московского университета В. А. Гольцева (1850—1906), который с 1885 г. вплоть до своей смерти фактически руководил журналом, умело избегая цензурные препятствия и публикуя авторов самой различной ориентации. Видную роль в журнале в 80-е гг. играл автор исторических романов, путевых очерков, обзоров театральной жизни М. Н. Ремезов (1835—1901), писавший также под псевдонимами «Анютин», «Ан.». Короленко опубликовал в «Русской мысли» «Сон Макара», «Соколинец», «В дурном обществе», «Прохор и студенты». 59 писем Короленко к Гольцеву опубликованы в кн.: Архив В. А. Гольцева. М., 1914. С. 117—197.

С. 392. *...«делом Бейлиса».*— В 1913 г. состоялся процесс, по которому приказчик кирпичного завода в Киеве Мендель Бейлис обвинялся в убийстве с ритуальной целью мальчика Андрея Ющинского. На самом деле Ющинский был убит воровской шайкой Веры Чеберяк из боязни доноса. Короленко присутствовал на суде в качестве журналиста, освещая ход процесса в газетах «Русская мысль» и «Речь». За статью «Господа присяжные заседатели», в которой Короленко доказывал, что состав присяжных заранее подобран, писатель привлекался к судебной ответственности.

С. 394. *В. Л. Бурцев* (1862—1942); в 1885 г. арестован за принадлежность к партии «Народная воля» и сослан в Сибирь, откуда бежал за границу. С 1889 г. издавал в Лондоне и Женеве журналы «Свободная Россия» и «Народоволец», а в 1900 г. начал издавать журнал «Былое». Приобрел широкую известность разоблачением провокаторов Е. Ф. Азефа и Р. В. Малиновского. После революции 1917 г. эмигрировал и был одним из организаторов антисоветского «Национального комитета».

...началась моя нижегородская жизнь...— Продолжением биографии Короленко являются книги дочери писателя С. В. Короленко «Десять лет в провинции» (Ижевск, 1966) и «Книга об отце» (Ижевск, 1968).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 5. Печатается по тексту: Короленко В. Г. История моего современника. М., 1965.

По первоначальному замыслу Короленко эта глава должна была войти в первый том «Истории моего современника».

С. 398. *В. Сырокомля* — псевдоним польского поэта, драматурга и историка литературы Л. Кондратовича (1823—1862).

С. 407. *...внучка ее, Ита...*— Бася и ее внучка изображены Короленко также в незаконченной повести «Братья Мендель» (см. т. 3. наст. изд.).

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИККЕНСОМ

Этот очерк, дополняющий XXIX главу первого тома книги Короленко, впервые был опубликован в «Неделе современного слова» (1912. 30 янв.). Печатается по тексту 5-го тома Собр. соч. Короленко.

С. 427. *Эжен Сю* — псевдоним популярного французского писателя М. Жозефа (1804—1857).

С. 428. *...«Кавалера de Maison rouge»...*— Точное название этого романа А. Дюма — «Le chevalier de la Maison rouge».

С. 429. *Однажды я принес брату книгу...*— Имеется в виду роман Диккенса «Домби и сын» (1848), содержание которого далее точно пересказывает Короленко.

ПОЛОСА

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 5, по тексту которого и печатается.

В предисловии «От редакционной комиссии» к пятому тому сообщается: «В архиве хранится рукопись в тетради, озаглавленной «Полоса (История одного молодого человека)». На первой странице рукописи позднейшим почерком В. Г. написано: «Это писано еще в 80-х годах. Я пробовал тогда моим воспоминаниям придать белле-

тристическую форму приключений вымышленного героя. Но многое верно». Впоследствии, в нижегородский период жизни, В. Г. вернулся к этому произведению. Заглавие варианта, относящегося к тому времени,— «Полоса» (или «Недавнее») или «То, что прошло».

ИСКУШЕНИЕ

Впервые: Рус. богатство. 1914. № 8. Печатается по тексту: Храбровицкий. С. 866—892. Очерк написан в 1894 г. О нем Короленко писал 8 мая 1914 г.: «Вскоре пошлю в «Русское богатство» очерк из воспоминаний «Искушение». Написал я его давно. Но не надеялся, что он прошел бы в то время через цензуру, а затем — задумал ввести его в «Историю современника». Но сия история затянулась, да и очерк может идти и самостоятельно» (Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду. Л., 1924. С. 112—113).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО А. М. СКАБИЧЕВСКОМУ

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 5. Печатается по тексту: Собр. соч. Т. 10.

С. 495. *Отец мой...*— Подробные сведения о роде Короленко и детских годах писателя см.: Меламед Е. И. Из комментариев к «Истории моего современника» // Рус. литература. 1989. № 4. С. 149—154.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Впервые: Изв. ОЛЯ. 1957. Т. 16. Вып. I (янв.— февр.) / Публ. и примеч. А. В. Храбровицкого, по тексту которых и печатается. Содержалось в письме 4 ноября 1894 г. к переводчику произведений Короленко на французский язык Леону Гольшману.

С. 498. *...извинитесь перед г. Дэкав.*— Л. Гольшман в письме, на которое отвечает Короленко, сообщал, что французский писатель и публицист Л. Дэкав (1861—1949) хочет написать предисловие к переводу «Слепого музыканта».

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

(Черты автобиографии)

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 5, по тексту которого и печатается.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Впервые: Полн. посм. собр. Т. 5, по тексту которого и печатается.

С. 506. *...поступил в 1873 г. ...*— В 1871 г. *...в 1873 г. перешел в Московскую Петровскую... академию.*— В действительности 1 февраля 1874 г.

АВТОБИОГРАФИЯ, НАПИСАННАЯ ДЛЯ СЛОВАРЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Впервые: Короленко В. Г. Письма. 1888—1921 / Под ред. Б. Л. Модзалевского. Пб., 1922. Текст печатается по этому изданию с некоторыми уточнениями.

В редакционном предисловии, предварявшем «Автобиографию», сообщалось: «...она поступила в Пушкинский Дом в числе историко-литературных материалов, собранных покойным В. М. Воиновым, и, насколько нам известно, еще не была в печати; дошла она до нас в виде гектографированного отпечатка, на бумаге в формате четверти писчего листа, и вышла, очевидно, из дружественной автору среды его молодых поклонников, прибегнувших к тайному и нелегальному способу размножения ценного для них документа; для какого именно «Словаря писателей» эта автобиография была написана, сказать не можем,— но полагаем, что не для «Критико-биографического» словаря Венгерова, который, как известно, начавшись в 1886 году, к 1904 году дошел лишь до буквы В,— и вопроса о печатании,— а следовательно, и о представлении в цензуру,— автобиографии Короленко тогда не могло еще и возникнуть; между тем, как значится на экземпляре гектографированной ее копии, она была не пропущена цензурою. Время составления автобиографии определяется приблизительно тем последним годом, до которого доведено изложение событий литературной жизни писателя,— то есть приблизительно 1887—1888 гг., ибо автор упоминает о появлении «Слепого музыканта»

в июльской книжке «Русской мысли» за 1887 год. Мы печатаем этот документ в полном виде,— с курьезным негодующим примечанием «издателя» в конце о том, „до чего дошла современная цензура“» (С. 338).

ЧЕРТОЧКА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Впервые: Русские ведомости (1863—1913). Юбилейный сборник. СПб., 1913. Печатается по тексту: Полн. посм. собр. Т. 5.

С. 511. *...первое мое печатное произведение...*— «Драка у Апраксина двора» (Новое время. 1878, 7 июня). См.: т. 4 наст. изд. С. 519—522, 644.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

[1] В указателе приводятся имена исторических и литературных деятелей, а также членов семьи Короленко, встречающиеся на страницах «Истории моего современника». Указания на 4-й, 5-й тома данного Собрания сочинений выделены курсивом. Курсивом отмечены также ссылки на страницы примечаний.

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лесная глушь

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вышневолоцкая политическая тюрьма

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Перми

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

По пути в Якутскую область

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

В Иркутской тюрьме

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Короленко В.

К68 Собрание сочинений: В 5 т. /Редколл. Г. Бялый, Г. Иванов, В. Туниманов. Т. 5: История моего современника: Кн. 3, 4; Приложения / Сост., подгот. текста, примеч. Б. Аверина.— Л.: Худож. лит., 1991.—592 с.

ISBN 5-280-01351-X (Т. 5)
ISBN 5-280-00850-8

В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя.

К $\frac{4702010101\text{-}056}{028(01)\text{-}91}$ подписное ББК 84.Р1

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в пяти томах
Том пятый

Составитель
Борис Валентинович Аверин

Редактор *Т. Шмакова*
Художественный редактор *В. Лужин*
Технический редактор *М. Шафрова*
Корректоры *А. Борисенкова, Е. Крутова*

ИБ № 5657

Сдано в набор 11.04.90. Подписано в печать 07.02.91. Формат 84 × 108[1]/32. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,29. Уч.-изд. л. 32,92. Тираж 200 000 экз. Изд. № ЛI-244. Заказ № 602. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



